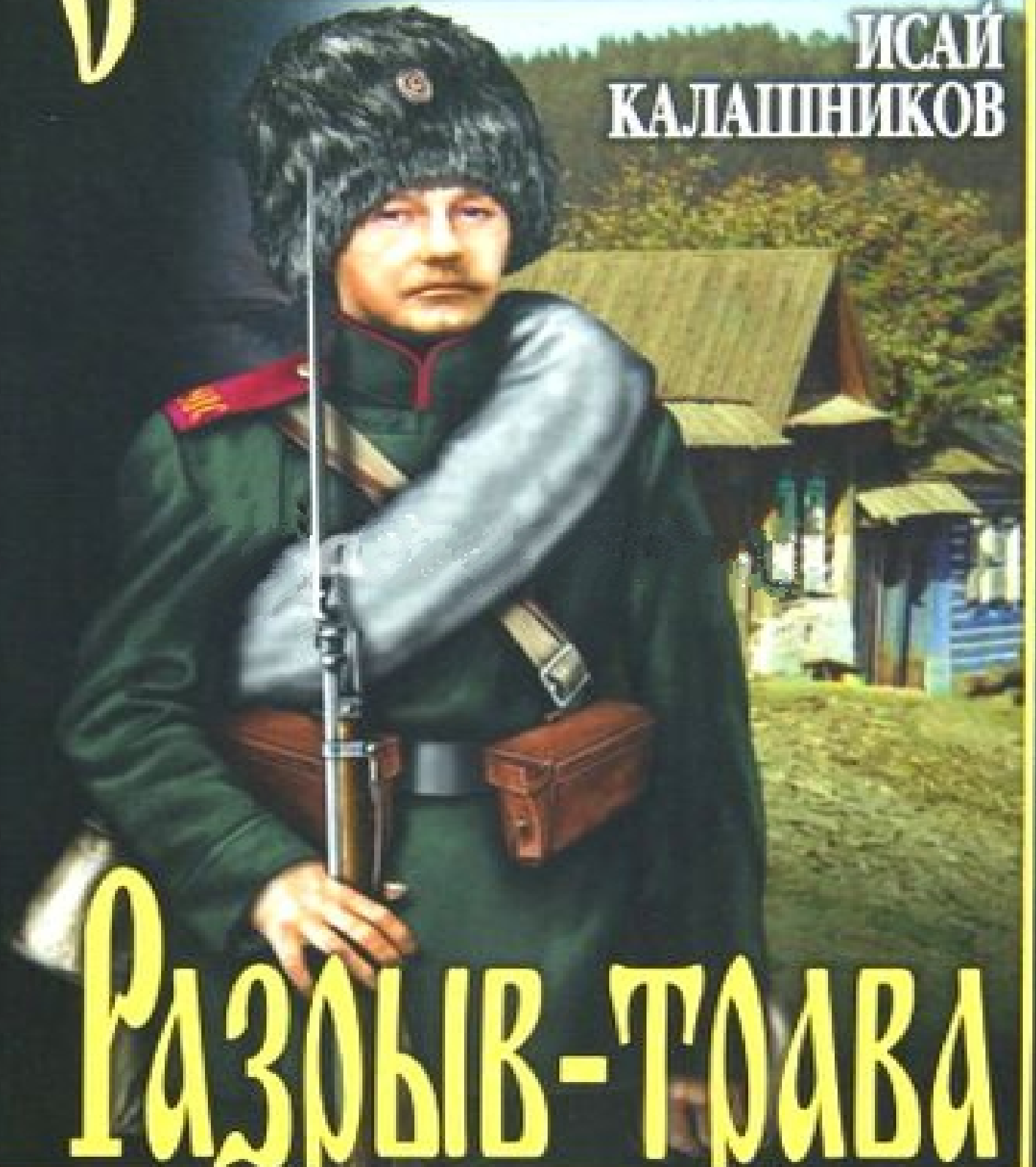


СИБИРИАДА

ИСАИ
КАЛАШНИКОВ

РАЗРЫВ-ТРАВА



Annotation

«Разрыв-трава» одно из самых значительных произведений Исаия Калашникова, поставившее его в ряд известных писателей-романистов нашей страны. Своей биографией, всем своим творчеством писатель-коммунист был связан с Бурятией, с прошлым и настоящим Забайкалья.

Читателю предлагается многоплановая эпопея о забайкальском крестьянстве.

- [Исай Калашников](#)
 - [ВМЕСТО ПРОЛОГА](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)

- [23](#)
- [24](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)

- [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [Эпилог](#)
-

Исай Калашников

Разрыв-трава

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Скоро будет неделя, как слег Назар Иваныч. Знал: невозвратно ушла силушка, смерть стоит в изголовье и тихо ждет своего часа.

Лежал он на старой деревянной кровати, на той самой, где родился. На ней и отец помер, и дед...

В избе было холодно. Стекла обросли рыхлым льдом и почти не пропускали света, густой сумрак скрывал и передний угол, и куть. Холод вползал под овчинное одеяло, студил ослабевшее тело. Скрюченными пальцами Назар Иваныч держал одеяло у бороды, свитой в помело, и шарил взглядом в темноте переднего угла, там, где едва угадывалась божница, шевелил сухими губами: «Мать пресвятая богородица, заступись перед всевышним за меня, грешного». А рядом со словами молитвы текли мысли суетные, земные и неизбывной тоской томили душу. Видел всю свою жизнь, и до того она маленькой, коротенькой оказалась, что всю ее охватывал одним взглядом от смерти отца до этого часа.

Он рано помер, батька-то. Хворый был, надорвался в молодости, да так и зачах, будто колос, прихваченный ранними заморозками. Перед кончиной говорил малолетнему Назарке: «Прости, сынок, не сподобил господь оделить тебя по-людски». От деда батьке досталось справное хозяйство не удержал в немощных руках, растерял по крохе. Оставил после себя эту избу старую, срубленную еще в то время, когда мужики пилы не знали, коровенку с телком оставил, кобылу охромевшую.

Другого бы с таким хозяйством нужда в бараний рог свернула, а он, Назар, ничего, сумел оклематься, стать на ноги крепко. Помог господь. Баба попалась добрая ловкая, сильная, на работу зарная. В супряге с ней тащил, бывало, и то, что двум мужикам не под силу. Жизнь стала налаживаться. Дом новый, пятистенный срубил, лошадей завел хороших, сбрую справил. Сыновья начали подрастать и один по одному рядом подпрягаться. Четырех сынов принесла Наталья, дай ей бог царство небесное...

А не вышло жизни сытой, беспечальной, звать не судил господь. Началась война с германцем, потом ни с того ни с сего царя скovyрнули. Царя не шибко жалели. Было у семейских давнее,

застарелое нелюбие к царям державным. За веру старую, истинную натерпелись от них бог знает сколько. Попервости по всей Расеематушке, как псов бездомных, гоняли, канали-маяли со злобой неуголимой, а позднее баба подлая, Катька-государша, вытурила их за студеное Байкал-море. Через всю землю русскую, через горы крутые, через леса дремучие гнала непокорные, богу верные семьи... С того и семейские. Посадила на земли скудные, суходольные хошь живи, хошь помирай.

Выжили. Все горести-напасти вынесли, веры праведной не смерили, обычаев древних не порушили. На земле, потом и слезами сдобренной, теперь растут хлеба богатые. Господь все видит, помог утвердиться, силу обрести. Может, за те муки, за те слезы и подсек царский корень.

И все бы ничего, да без царя осатанел народишко, взлютовал, как с цепи сорвался, и покатила по земле, закрутилась кровавая кутерьма. Не обошла стороной, не минула та кутерьма и деревню Тайшиху. С гоготом, свистом, стрельбой налетела казачня атамана Семенова и ну шастать по дворам, по амбарам, тащить все, что поглянется, а скажи слово поперек шкуру плетью снимут.

У него в ту пору было три добрых коня. Казаки их оседлали, повели со двора, оставив взамен двух запаленных, загнанных коняг. Пробовал не давать куда там! Отшвырнули с дороги, как мешок с мякиной, нагайкой по заду полоснули. От изгальства такого, от горя помутился у него рассудок. Кинулся на казаков с кирпичом в руках. Не успел ударить. Скрутили руки и так уделали, что полгода кровью харкал. С тех самых пор вся середка нездорова, отбили окаянные. «Через них, душегубов, раньше срока в могилу схожу».

А помирать неохота. Еще бы жить да жить... Прадед Ероха до ста лет дотянул. Знаменитый человек был. Сказывают, мог на спор полведра самогона выпить и пройти, не оступаясь, по одной половице. В шестьдесят быка кулаком сваливал, до глубокой старости в самые лютые морозы шапку не надевал. Дед в него. Был буен нравом, любил вязываться в разные драки и свары. И голову прошибали, и ребра ломали, а все же восьмой десяток ему пошел, когда призвал господь. Батька выродился не таким могутным. Но, гордясь, что ерохинского корня, любил людей удивлять. Надорвался, поднимая просмоленный краж... Помня об этом, он, Назар, силу свою зря не растрчивал,

решил, что если ерохинского рода, то жить ему долго. Не пришлось... «А может, еще оклемаюсь, подымусь», подумал с робкой надеждой.

У крыльца проскрипел снег. Кто-то подергал примерзшую дверь, не смог отворить, стукнул ногой. Дверь отскочила от косяков, распахнулась. В избу с беремцем дров вошла Настя, дочка Изота, соседа. Она затопила печь, принялась мыть посуду. Споро работала Настя, без шума и лишних разговоров. Хорошая девка выросла у Изота. Чем-то походит она па покойницу Наталью. Та в молодости была такой же полногрудой, краснощекой, так же вот, без звона и бряканья, умела обиходить дом. Берег ее, не лупил ремнем или вожжами, как другие мужики делают, а помирать приходится в пустом доме, без женского присмотра.

Казаки-то не над ним только изгалялись, редко какой двор обошли, мало кого не тронули. Сильно озлобились мужики, сгуртовались в партизанский отряд. В тот отряд пошли и все его парни. Старшему, Макарше, шел тогда двадцать второй, младшему, Максюхе, только пятнадцатый.

И оципали мужики казачню подходяще, а те японцев, басурман коротконогих, привели. Запылала Тайшиха с обоих концов. Назар успел со скотом в лесу спрятаться, по пятистенок новый со всем накопленным добром, амбар с хлебушком сгорели. И Наталья сгорела. Не могла добром попуститься, спасать в огонь кинулась...

Старший, Макар, с войны не вернулся, убили его японцы под Зардамой. Игнат, Корнюха и Макся весь восток прошли, столкнули японцев в море, вернулись домой, а у него все хозяйство в разоре. Один из семеновских копей сразу же издох, другой еле ноги таскает что па нем наработаешь? Парней женить, выделять надо что выделишь? Помытарились они без малого четыре года, прибытков никаких, на злосчастье, неурожай за неурожаем случался в те годы, совсем разорились. Отправил их на отхожий промысел, копейку добывать...

От размышлений этих отвлекла Назара Настя. Чай заварила, подала стакан на блюдце. Стакан в его руках ходуном ходил, чай расплескивался на постель. Давно ли ворочал этими руками пятипудовые мешки... Господи, за что покарал меня? Из своих рук, как маленького, Настя напоила его. И кашей с ложечки накормила.

В избе стало тепло, и он столкнул с волосатой, словно бы замшелой груди одеяло, повернулся на бок. Лед на окошках

высветлился, с подоконников на пол потекла вода.

— Дядя Назар, я сон видела: навсегда остались ребята в городе. Настя глядела па него с настороженным ожиданием.

— Пустое... Куда денутся от хлебоборобства, от земли?

О парнях его каждый день разговоры. Оба ждут их не дождутся. Настюха невестится, хотя и не хочет вида показать. Кто ей приглянулся Игнат или Корнюха? Макся-то не подходит, молодой еще и нельзя ему раньше старших жениться. Приедут разберутся сами. Только бы не избаловались, не запутались в сетях нечестивого. Жизнь-то вон какая вертячая, беспутная стала, непотребства в ней не менее, чем гнили в болоте. В самое нутро ссмейщины змеей вползает богопротивная новина, подтачивает стародавние устои. Настюхин брат, Лазурька, привез с войны бабу стриженую. Стыда не ведая, ходит она в мужних штанах, перед образом господним крестом себя не осеняет. Сам Лазурька табачище жгет. Бедный Изот принужден кормить сына и невестку из особой посуды, вроде басурманов каких. Случись такое в старые времена Лазурьке бы ноги повыдергали, а его супружницу в речке, как поганую суку, утопили. Теперь мужики молчат, будто ничего не замечают, а недавно его к власти допустили, председателем сделали.

Когда Настя вышла кормить скотину, перекрестился на иконы, хриплым шепотом попросил:

— Господи, не дай затвердиться окаянству, опали гневом своим праведным семя неверья и разврата.

В посветлевшем сумраке переднего угла тускло поблескивала позолота старых икон, но ликов святых разглядеть было невозможно, и от этого тяжесть на душе Назара Иваныча увеличивалась. Надо было затеплить перед божницей свечу, но самому не добраться до переднего угла, а Настя, должно, до вечера не придет.

Но она пришла раньше. Не успев закрыть за собой дверь, закричала:

— Приехали! К Тараске подвернули! Свои манатки снимает с воза Тарас.

Он хотел подняться, но не смог. Настя подскочила к нему, усадила. В углах его глаз копились слезы и сползали вниз по бороздам морщин.

— Поддай мне, доченька, рубаху. Там она...

Из сундука Настя достала косоворотку красного сатина, надела на него, застегнула все пуговицы неверными, торопливыми пальцами.

Взвизгнули ворота, во дворе слышались осипшие, простуженные голоса. Настя припала к окошку, продула во льду кружок.

— Распрягают... Ой, господи, идут! — она бросилась в куть, вернулась, одернула курмушку, поправила платок и остановилась у кровати.

Сидеть Назару Иванычу было трудно, он быстро изнемог. Дверь с белыми полосками инея в щелях заколыхалась, словно отражение на беспокойной воде, поплыла. Но он собрал все силы, чтобы не упасть: ребят надо встретить, как подобает отцу.

Парни вошли в избу, стуча мерзлыми обутками, остановились у порога, сдернули шапки, чинно, неспешно перекрестились. От одинаковых дубленых полушубков сизоватым дымком струился морозный воздух. Эх и парни же у него! На плечах Игната полушубок чуть не лопается, широк в кости, матер, весь в ерохинскую родову. И борода у него совком, как у всех ерохинских. А Корнейка-то как раздобрел, он будет, пожалуй что, помогутнее Игната. О Максюхе этого не скажешь. В росте не прибавил, не окреп в кости. Война его, зеленого, замотала, не дала вырасти.

— Раздевайтесь. Настюша, потчуй чем-нибудь. Он лег. На землистом лице расправились морщины; в глазах, старчески линялых, затеплилась голубизна.

Средний, Корнюха, скинул полушубок, повесил на гвоздь,

— Вернулся. — Назар Иваныч обомлел. Сразу-то, из-за поднятого воротника полушубка, он и не заметил, что подбородок у Корнюхи голый, как бабья грудь. И у Макси тоже... Господи боже мой!

— Поди сюда, Корнейка!

Чего, батя? — сын наклонился над ним, опираясь руками о край кровати. В синих глазах тревога и жалость,

— Где твоя борода?

— Ах, это... виновато моргнув, Корнюха провел ладонью по подбородку. — Неловко, батя, с бородой, просмеивают.

— Нечестивцы! — слабой костистой рукой ткнул ему в нос. — Игнат!.. Ты куда смотрел?

— Я им говорил...

— Говорил! Ишь что говорил! По сопатке бить надо! По харе бесстыжей!..

Корнюха сделался красным. В смущении теребил, он чуб и переводил взгляд с братьев на Настю. Бубнил простуженное

— Каюсь, батя. Не буду больше. Думал: какая беда...

— Замолкни, окаянный! — голос у Назара Ивановича осип, будто ему кто горло сдавил. — Деды наши веру через все пронесли чистой... незапятнанной. Этим... род свой сохранили. В ней сила... крепость. Порухите не защитит господь...

Говорил он все тише, задыхался. Корнюха, жалея его, попросил:

— Помолчи, батя, передохни.

— Пропадете! — Назар Иваныч приподнялся на локте. — Захлестнет, изничтожит вас злоба и низость. Дети... ваши... погрязнут в слепости духовной... В грехах тяжких. Род наш рассосется, сгинет в неверии. Блюдайте старину, блюдайте! — он задохнулся, пал на подушку, сверкнув белками глаз.

Макся зачерпнул в кадучке воды, поднес отцу. Лязгнув зубами по железу ковша, Назар Иваныч сделал глоток, затих. Корявые пальцы его, похожие на корни старого кедра, слабо мяли складки одеяла. Под ногтями копилась, густела землистая чернота.

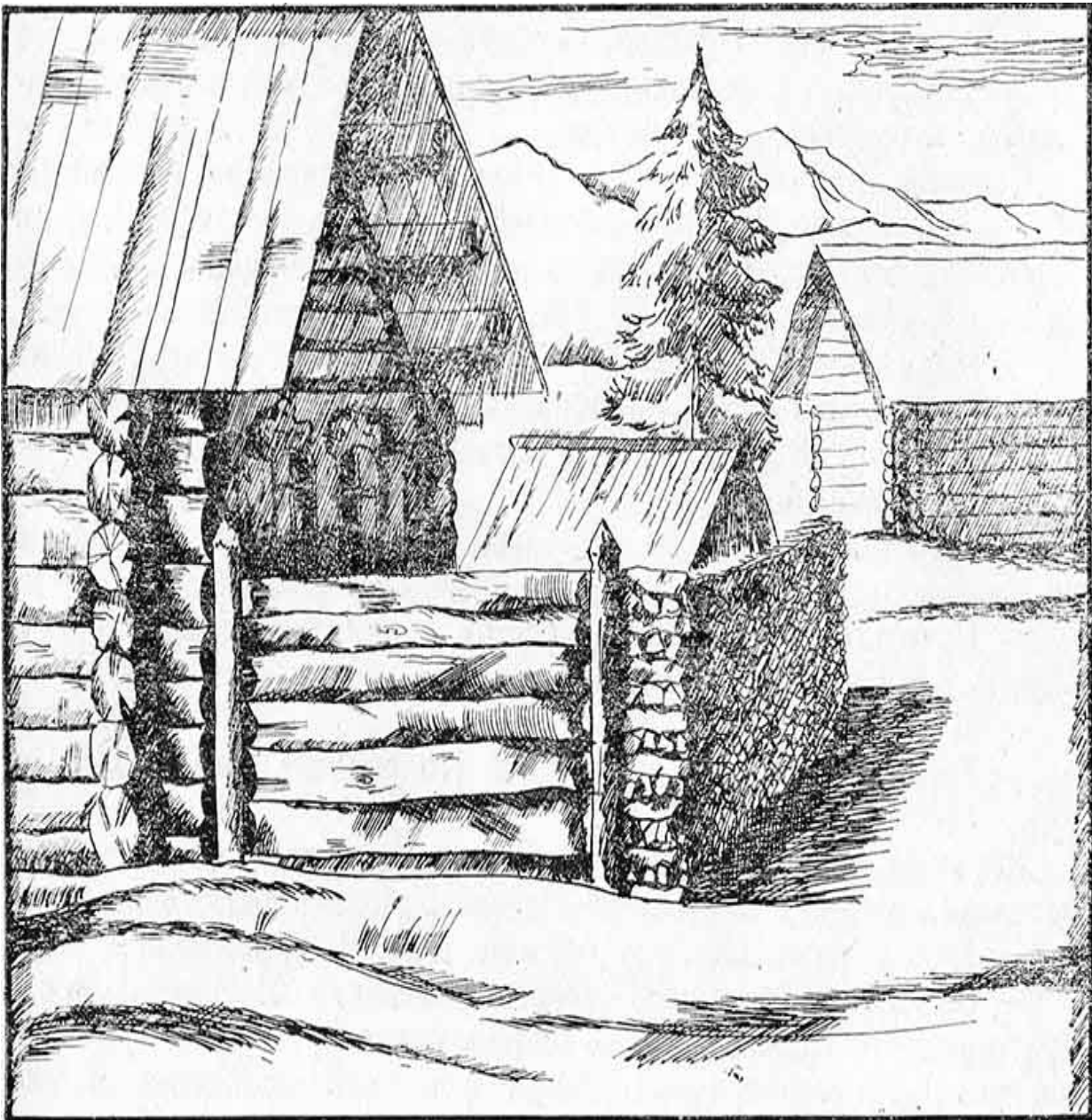
Все молчали. В тишине шелестел лишь судорожный, испуганный шепот Насти.

— Господи... Сусе Христе...

Руки Назара Ивановича дернулись и замерли. Еле слышно он и проговорил:

— Ничего не вижу. Темно. Душно. Голова сползла с подушки, запрокинулась, торчком встала борода, нижняя губа отвалилась, обнажив желтые крупные зубы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Поземка слизывала с могильных холмиков снег и белыми космами стлалась по полю. Почерневшие кресты стояли вкривь и вкось, напоминая обгорелые, мертвые деревья. Темный, как все другие, со снегом, набитым в щели, стоял крест и на могиле матери. Когда ребята вернулись с войны, отец приводил их сюда.

Они нарвали голубых подснежников, положили на холмик. Могли ли думать тогда, что так скоро придется копать рядом еще одну могилу... Игнат вздохнул, глянул вниз, на село, залегшее в неглубокой лощине. И там мела, крутила, гнала потоки снега поземка. Дома, казалось, плыли в белой кипени и никак не могли уплыть от этой сопки с черными крестами.

Камнем звенела под ломом мерзлая земля, от нее откалывались мелкие кусочки, сыпались под ноги. За спиной скреб лопатой Корнюха. У края ямы, спиной к ветру, сидели на корточках Тараска Акинфеев и Лазарь Изотыч, или, попросту, Лазурька.

Тараска хлопал рукавицами, согреваясь, и, как всегда, языком трепал, балаболит о чем-то, скаля белые зубы. Лицо у Тараски круглое, пухлое и красное, будто снегом натертое, глазки крошечные, усмешливые, с простоватой хитрецей. Игнат прислушался к разговору.

— ...гладкая, круглая, верткая, бравая, словом, бабенка. Домик свой, с другой стороны, и машина швейная, и копейка водится. А я ей все равно нет! Не могу, говорю. Гонять на базар каждый божий день раз, в тарелочках кормиться два. Тоска, не жизнь. Дома у меня кладовая под боком. Захожу, отсекаю полпуда мяса, заваливаю в чугуны. Сварилось, за один присест заметаю. Дышать тяжело, а на душе теплынь, благодать...

Игнат с силой ударил ломом. Брехун, ботало. О жратве да о женитьбе, других разговоров у него нету. За годы, что с ним на заработках были, надоел хуже не знаю кого. Хы... «Гладкая», «бравая». Нашел гладкую. Плоская, как стиральная доска, во рту половины зубов нет. Глядеть на такую и то лихо, а он... Ну, ладно бреши, если охота, то найди для этого другое место. Тварь ты какая или человек?

— ...просится. А я ей: ты что, ошалела? — ввинчивается в уши голосок Тараски. — Шитьем у нас не прокормишься. В поле тебе нельзя: красоту попортишь ты без выгоды и я в убытке.

Лазурька усмехался, косил на Тараску недоверчивым глазом. Игнат разогнулся, хмуро крикнул:

— Будет вам базарить! — протянул лом Тараске: — На, подолби.

Лом перехватил Лазурька.

— Погреться надо, — он скатился в яму, стащив полами полушубка комья земли и снега.

Чтобы не привязался Тараска со своей болтовней, Игнат пошел меж могил. Ветер трепал бороду, заворачивал воротник, хлестал по голенищам черствой снежной крупой. За холмиками, снег закручивался, оседал в сугробы, и они горбились точно так же, как могилы. Сразу не различишь, где просто сугроб, разве что по крестам, но и они не везде уцелели. Многие свалились, лежат тут же, и нет до них никому дела. За кладбищем косогор без снега и травы, гладкий, обструганный ветрами, покато сбегал к пряслам огородов и гумен. Щебнистая земля была нага и мертва, по ней без задержки мчались жидкие ручейки поземки. Над некоторыми домами Тайшихи поднимался дым, ветер заворачивал его и растягивал вдоль улиц. Избы с гривой дыма напоминали Игнату паровозы, бегущие в заснеженную даль. И он с горечью подумал, что жизнь так же вот обманчива, кажется, что она мчится на всех парах к новым станциям, оглянувшись стоит на одном месте, как эти избы, придавленные снегом.

По улице, путаясь в широченном сарафане, пробежала бабенка. С костылем проковылял старик. Рысью промчался мальчонка с ведром. У всех какие-то дела, заботы, хлопоты, все суетятся, мечутся, а того не понимают, что только эта вот полоска земли, голой и убогой, отделяет жилища живых от последнего пристанища мертвых.

В приземистых избах, за бревенчатыми стенами плачут и смеются, любят и ненавидят. А зачем? Никто не скажет.

Зачем? Первый раз задал себе этот вопрос Игнат много лет назад в такой же вот вьюжный день, когда стоял на коленях перед обезображенным телом братухи Макара. Макся и Корней были тогда в другом отряде, они не видели брата мертвым. Ни им, ни батьке он ничего не рассказывал. И не смог бы рассказать...

Когда японцев прижали у Зардамы, Макара снарядили в разведку. Ушел и не вернулся. Через три дня нашли его в сугробе. Макара нельзя было узнать. Ему выкрутили все пальцы, сорвали ногти, сожгли волосы на голове. Замученных видел Игнат и раньше. Но то были люди, которых он знал совсем мало или вовсе не знал. А это братка, мягкий, жалостливый. За что же его так? Какое остервенелое сердце надо было иметь, чтобы дойти до такого измывательства над человеком. Звериная безжалостность ледяным сквозняком прохватила душу Игната. С того самого дня он с подозрительным вниманием приглядывался к людям. Никогда ничем нельзя оправдать убийства человека человеком, а убивают! Почему? За что? Для чего? Сказывают, корень всего звериного в человеке ненасытная жадность. Ему все время мало того, что есть, зависть червем ест его душу. Он не гнушается ни воровства, ни грабежа. Но кому охота быть ограбленным? Схлестываются две силы, и вспенивается, бьет через край ненависть, и рвут друг другу горло, не зная милосердия, безумея от пролитой крови. Так говорят про это умные люди. Наверно, они правильно говорят. Но почему люди не поймут одного: как бы они ни тужились стать богаче, сильнее, смерть всех выравнивает. От каждого останется только крест да бугорок земли. И то не навечно. Крест рухнет, сгниет, рассыплется в труху, дожди и ветры сровняют с землей могильный бугорок.

— Игнат, иди, взгляни, — позвал его Корнюха.

Он подошел к могиле, заглянул в нее, махнул рукой — хватит.

— Тогда пошли, — Лазурька оперся руками о край ямы, одним махом вынес не крупное, подбористое тело свое, подал руку Тараске.

— И тяжел же ты.

— А что же, тело у меня есть! — Тараска с пыхтением выбрался наверх.

— Брюхо у тебя богатое. Не брюхо, а кадушка. — Лазурька забросил на плечо лом, стал осторожно спускаться с косогора, за ним, семеня короткими ногами, покатился Тараска. Корнюха, еще горячий от работы, с заиндевелым чубом, в расстегнутом на груди полушубке остановился напротив Игната, хотел что-то сказать, но тут же передумал, быстро пошел вниз.

Гумнами, по сугробам прошли в свой двор. Под ветхим сараем белела груда крупной щепы. Тут мужики вытесывали гроб из домовины. Эта домовина толстое ошкуренное бревно лежала под

сараем с тех пор, как Игнат помнит себя. По старинному обычаю, у каждого хозяина хранится такая домовина. У него может не быть ни коня, ни коровы, но домовина есть.

В избе было жарко, душно. Покойник лежал под образами. Чадили восковые свечи, бросая на его лицо неровный желтый свет. Полукругом теснились старики и, задрав нечесанные бороды, отпевали покойника. Из приглушенных, недружных голосов выпирал бас уставщика Ферапонта.

Да святится имя твое, да при-идет царствие твое, старательно вытягивал Ферапонт и украдкой сдувал с сизого, пришлепнутого носа капли пота. От усердия он разопрел, рубаха липла к круглой спине, взмокшая борода висела сосульками.

Когда стали выносить гроб, бабы, до того молчавшие, разом заголосили, запричитали пронзительно и тоскливо. Корнюха засопел, всхлипнул, закусил губу, низко наклонил голову. Игнат до боли сжал челюсти. В истошном завывании баб ему чужилось лицемерие. Не горе, не страх перед смертью заставляет их выть, а обычай, привычка. Пойми они хоть на минуту, что такое жизнь и, смерть, от ужаса вылупили бы глаза и подавились криком.

Ветер стал еще сильнее, злее. Он обжигал лицо, прохватывая сквозь полушубок. На ветру бабы перестали плакать. По улице прошли торопливо, отворачиваясь от ветра. Обогнав процессию, ребяташки первыми вскарабкались на косогор, столпились у могилы.

— Кыш-ш отседова, пострелята! — замахал на них руками Ферапонт.

На пеньковых вожжах гроб опустили в яму, и бабы опять запричитали, но уже не так голосисто, как дома. Мужики, намерзшись, живой рукой столкнули землю в могилу, поставили крест И заспешили в тепло. Игнату было жалко этих суетливых людей, себя, батьку, но жалость не рвалась наружу со слезами, она непомерной тягостью наваливалась на сердце. Рядом всхлипывал, вытирал щеки рукавицей Макся. Корней держал в руках шапку, и русый чуб трепыхался на ветру.

Спускаясь с косогора, Игнат оглянулся. Свежий холмик заносило снежком, и он становился неотличимым от других.

В душе Корнюхи недолго было темно и горько. За годы войны и скитаний в поисках заработков он успел отвыкнуть от батьки и теперь без усилий забывал его. Тем более что горевать особенно было некогда: все хозяйство распоручено, коровенка ночует в дырявом сарае, дров ни полена, батькин конь совсем ослаб. Ладно, что они купили в городе кобылёнку, а то бы вовсе замаялись. На Саврасуху и упряжь с телегой потратили без малого все свои заработки. На какие капиталы теперь подниматься?

Невеселый ходил Корнюха по засугробленному двору, раскачивал руками обветшалые заборы и злился неизвестно на кого.

Надо было что-то придумать, а старшой, Игнат, все молчит, о том, как дальше жить, похоже, не очень печалится. И раньше он удальством да бойкостью не отличался, а теперь, после похорон отца, до того тугим стал, что прошибить его ничем невозможно. На одном стоит крепко порядок дома держит по старинке, как при родителях было. На чужой-то стороне он, Корнюха, и Максимка тоже не только бороды брили, но и табак курить навалились. Там Игнат не перечил, а после похорон достал мешочек с махоркой, вытряхнул в печку на горячие угли.

Тогда ему Корнюха ничего не сказал, смолчал. Но недавно не стерпел... Вернулся из лесу, куда за дровами ездил, проголодался и сел за стол, позабыв сотворить молитву. Игнат поднялся на него, закричал:

— Куда, бесстыдник? А ну вылазь!..

Корнюха, неловко усмехаясь, вылез, перекрестился, снова сел за стол, угрюмо проговорил:

— Ты, братка, по божественной части скоро самого Ферапонта переплюнешь. А какая польза от твоей святости? Одно знаешь молитвы шептать. Дошепчешь, скоро жрать будет нечего!

Чудно как-то, будто на дурачка или малолетка, глянул на него Игнат, с осуждением качнул головой. Корнюху это и вовсе обозлило. Он бы наговорил ему черт те чего, да помешал Макся. Насмешливо улыбаясь, младший сказал вроде ни с того ни с сего:

— Тараска опять обожрался. Помогал колоть кому-то кабана и так свежинины натрескался, что неделю брюхом мается. С лица весь

сменился.

Макся, он завсе так, придумает что-нибудь и брякнет под руку. Спорить после этого уже не хочется. Главное, бухнет о чем-то совсем постороннем, а подумаешь, вроде бы и тебя задевает. Где, язвы его, обучился?

Вечером собрались почесать языки все тот же Тараска (живой и здоровый, черта ли ему сделается), Лазурька и Лучка Богомазов. Лучка этот наипервейший друг Максюхи, хотя и старше его, кажись, лет на пять. В партизанах Лучка был пулеметчиком, а Максюха у него вторым номером. Желторотых япошек и белой сволочи немало они положили.

В черненой борчатке и белой мерлушковой шапке, форсисто сломанной на затылке, Лучка теперь мало походил на лихого партизанского пулеметчика. Во всей его ладной фигуре, в лице с топким носом и короткой кучерявой бородкой появилась медлительная степенность. А когда пришел Лучка с германской в задрипанной шинелишке, был худой, весь какой-то изверченный, издерганный. Теперь-то ему дергаться неотчего, конечно. Повезло парню. Ушел в зятя к Тришке Толстоногому, а у того хозяйство дай бог любому. Сволокут Тришку на косогор все Лучке достанется.

Который уже вечер подряд вели разговоры об одном и том же: сильно обеднел мужик за последние годы, редко кто живет в достатке. Земли пустоует много, пахать не на чем: коней война ухайдакала.

— А как на это власть смотрит? — спросил Макся у Лазурьки. Мы, к примеру, воевали за нее должна как-то подмогнуть?

— Должна, согласился Лазурька. А чем? Она навроде нас с вами: за что ни хвати в люди кати. Все разорено, побито, пограблено.

Корнюхе такой ответ не по нутру.

— За что же мы воевали, Лазарь?

— Как за что? — На чернявом, цыгановатом лице Лазурьки удивление. — За волю воевали.

— Ха! За волю... Что мне с твоей воли в соху ее не запряжешь! — Корнюха слегка стукнул кулаком по столу. — Воли и раньше хватало.

— А что, верно... — поддержал его Лучка. — Земли в Сибири дополна, помещики на шее не сидели. За что же я воевать шел? Жизнь нам сулили новую, совсем не похожую на ту, прежнюю. И ничего пока нету. Как и раньше, пристают с ножом к горлу: дай хлеба. Выходит, власть наша новая, а песня у нее старая: дай, дай, дай!

— Почему бы и не дать? — прищурился Лазурька. — Ты голодный? Нет. Почему же другие должны голодать? Одному жирные щи, другому кашу из отрубей? За то мы, между прочим, и воевали, чтобы у всех на столе щи были. А ты чего хочешь?

— Не об этом разговор, Лазарь, — мягко, раздумчиво возразил Лучка. — Понять мне надо, куда, в какую сторону жизнь идет, что она мне подготавливает. Про ранешнюю жизнь я только заикнулся, а досказать не досказал. Это верно, что жили раньше почти все в сытости. Но разве только для этого рожден человек, чтобы на пузо свое век работать? Сколько хорошего есть на свете мужики, чего мы никогда не увидим и не узнаем. Во многих местах мне довелось побывать, разное повидать. Какие на земле города понастроены, какие на ней сады растут. А мы... С малолетства до старости гнемся за сохой. Одна у нас радость хлобыстнешь в праздник самогона...

— Чего же не остался в тех городах? — засмеялся Тараска. — Ничего ты не понимаешь! — Лучка поморщился.

— На днях ночевал у меня товарищ Петров из волости, про то же мы с ним говорили. Сказывал он: Советская власть все перевернет, перепашет, ничего старого не оставит. — Шаркая по полу, присыпанному жженым песком, Лазурька прошелся взад-вперед, остановился, подпер плечом чувал печки. — Коммуны везде организуют. В коммуне все будет общим: кони, коровенки, курицы вся живность. И кормежка из общего котла.

— Добро, а? — Макся толкнул в бок Тараску. — От коммуны, я смекаю, самая большая выгода тебе будет.

Тараска благодушно улыбался, сыто жмурил хитроватые глаза.

— А как с верой? — спросил Игнат. Он все время молчал, внимательно слушал, крепко сжав в кулаке бороду.

— С верой?

— Ага, с верой, Лазарь Изотыч. — С устоями старинными.

— Не знаю, — честно сказал Лазурька и там же, у печки, сел на лавку-ленивку. Свет лампы-коптюхи едва достигал до него, лицо Лазурьки белело пятном, черные глаза беспокойно мерцали. — Новый дом на старый оклад никто не ставит, так разумею. — А ты чего, вроде как жалеешь устои старины?

— Нет, радуюсь, — буркнул Игнат и сердито дернул бороду.

— Он боится: зачнут мужики табак курить напропалую и весь воздух спортят, — опять засмеялся Тараска.

— Не клокочи! — с досадой сказал Корнюха. — Неужели будет-таки коммуния? Еще когда воевали, нам про нее талдычили. Мужики не верили, посмеивались.

— Смеяться не над чем, — сказал из темноты Лазурька.

— Как же не над чем? Нас вот три брата, и все разные. А что будет в коммунии? Максюха верно подметил, у кого брюхо большое, тому лафа. Получится: когда у котла равняются на самого обжористого, когда работают на самого ленивого.

— В партизанах, припомни, на самых трусливых никто не равнялся, и еду делили как полагается.

— Сравнил кочергу с оглоблей! Там другое, мотнул Корнюха чубом. Там на время, тут на всю жизнь. А еще ребятишки. Скажем, у тебя семья сам да баба, а Тараска каждый год по ребятенку слепливает. И будешь ты на Тараскину шпану хребет ломать.

— Ну и что? Зато, когда состарюсь, его дети меня прокормят. Вся деревня как одна семья будет.

— Пустое говоришь, Лазарь, пустое, — вздохнул Игнат. — Уж на что крепко держали в руках семейщину уставщики, а и то, едва столкнулась она с безверием, понесла к себе в дом всякую нечисть. А что будет, когда старые устои под корень подсекете? Откачнете человека от бога все кувырком пойдет.

— Я бы, к примеру, не стал о старых устоях много думать. Пользы от них немного, а вот тут, — Лучка притронулся к вязаному шарфу, намотанному на шею, — они хомутом давят.

Корнюху тревожило совсем другое. Если Лазурька не брешет, если коммунию установят, нечего пуп надрывать, поднимая хозяйство. Все уйдет на общий двор. А с другой стороны, сам Лазурька в точности не знает, какая она будет, коммуния. Может, придется бежать от нее без оглядки.

Когда мужики стали расходиться, Корнюха придержал у дверей Лучку.

— Тебе работник не понадобится?

— А что?

— Да что... На одной кобыленке втроем далеко не ускачешь. Придется нам с Максюхой в работники подаваться.

— Не знаю, — Лучка сдвинул на брови папаху. — Поговорю с тестем. Одно-то, может, и возьмем, а двоих нет: сейчас, брат, за работников прижимают.

Закрывая за Лучкой дверь, Корнюха спохватился: с Игнатом не перетолковал, а в работники нанимается неладно это, в доме должен старший распорядиться. Хотел тут же и поговорить обо всем, но Игнат сидел за столом, опустив лохматую голову, отрешенный от всего, увязший в своих думах, и Корнюха понял: ничего он сейчас не присоветует.

Позднее, мало-помалу, неприметно для себя Корнюха стал в доме за главного. Надо что сделать по хозяйству сам, не спрашивая Игната, решает и делает. Игнат, похоже, не замечал этого, а может, и замечал, да не хотел мешать Корнюхе налаживать хозяйство.

Но, как и раньше, Игнат заставлял их отбивать поклоны, запрещал есть скоромное в постные дни, не отпускал на посиделки. Вечерами, когда к ним никто не приходил, Корнюха и Макся томилась от скуки и наедине зло подшучивали над неожиданной суровостью брата. Строгие правила семейщины казались им дикими и глупыми, и покорялись они старшему лишь из уважения к памяти отца.

Вскоре Макся нанялся в работники к Лучкиному тестю и уехал на заимку. Без него Корнюха совсем было заплесневел, но тут случилось то, чего он никак не ожидал.

Не было дня, чтобы к ним на часок-другой не забежала Настя. Поначалу-то Корнюха к ней не присматривался. Смотреть особо не на что. Кругленькая, справная, конечно, но и других девок бог здоровьем не обидел, поджарую, тонконогую днем с огнем не найдешь во всей Тайшихе. Настя, как все, может, только одно и отличие, что больно уж смеяться любит. Чуть что залилась на всю избу, да так, что не утерпишь, вместе с ней засмеешься. На что уж Игнат строгость на себя напустил, а и он, бывало, блеснет зубами из бороды. Со смехом, с шуточками Настя обихаживала избу, и у них завсегда было чисто, свежо, будто и не холостячили.

Лазурька, заставая у них свою сестру, весело хмыкал, похлопывая ее по плечу.

— Прогадаешь, Настюха. Старайся, не старайся, жениха в этом доме не заарканишь.

Настя и тут посмеивалась.

К каждому из братьев она относилась по-своему. С Максеем шутила, смеялась как-то по-свойски, запросто, а с Игнатом сдержаннее, мягче, с ласковой осторожностью; его же, Корнюхи, вроде как сторонилась, стеснялась, что ли. Иногда раз глянет на него, скраснеет, отвернется, а чаще прыснет в кулак. Что смешного в нем находит не поймешь. А если он долго на нее смотрит теряется. Взяв это на заметку, он стал нарочно изводить ее. Сядет напротив, уставится в лицо и не спускает глаз. Настя заторопится, сделается неловкой и беспрерывно что-нибудь уронит, прольет. Прямо потеха.

Но однажды она не потупилась, не отвела взгляд, и усмешка сама сползла с Корнюхиных губ. Карие, в крапинках Настины глаза смотрели на него с шалым, бесшабашным вызовом, что-то озорное, задиристое появилось в ее лице. Продолжалось это всего секунду, ну, две, а для Корнюхи Настя сразу стала другой, совсем не похожей на ту, прежнюю.

Приходила Настя обычно утром, в то время, когда они задавали корм скотине. Садилась доить корову, а потом все вместе шли чаевать. Как-то Настя припозднилась. Набросав в ясли сена, Игнат ушел налаживать завтрак, Корнюха остался чистить двор. Настя прибежала, закутанная в платок, с подоюником на согнутой руке, стрельнула глазами в Корнюху, пошла под сарайчик, к корове.

Глянув на обмерзшее, бельматое окошко избы, Корнюха отошел за угол, позвал Настю.

— Хочу кое-что показать тебе.

— Что? — она остановилась поодаль, придерживая обеими руками пустой подоюник. На толстом платке, на пряди волос, свисшей на лоб, белым пухом осел иней. Корнюха облапил ее сильными руками, притиснул к стенке сарайчика. Упал, покатился со звоном подоюник.

— Сдурел! Отпусти! Закричу! — зашептала она.

Его губы коснулись тугой, нахолодевшей щеки, и в это время Настя, высвободив руку, схватила его за ухо, больно дернула. Корнюха от неожиданности охнул, ослабил руки. Настя вывернулась, отбежала, поправляя платок, засмеялась.

— Эх ты, даже поцеловать не можешь. — И пошла, вздернув голову. Обернулась, спросила: — А что показать-то хотел?

— В другой раз покажу.

В избе, процеживая молоко через ситечко, Настя сказала Игнату:

— За сараем мне Корнюха штуку показал. Такая чудная!

— Что за штуку? — заинтересовался Игнат.

— Скажи, Корнюха, — ласково попросила Настя.

Сперва Корнюха остолбенел, потом, красный, поспешно схватил со стола лепешку, впихнул в рот и, еле переворачивая, мыкнул что-то непонятное, ткнул пальцем в отдутую щеку занят, не до разговоров. Игнат терпеливо ждал, пока он прожует. И Настя ждала, посмеивалась.

— Цветок в снегу нашел, — с той же усмешкой сказала она. — Замерзший, а как живой.

Игнат хмуро двинул бровью, подул в блюдце с чаем. А Корнюха, вытирая вспотевший лоб, про себя ругался: «Погоди, чертова девка, я те дам! Тихоня!»

С того дня Корнюха начал искать встречи с Настей наедине, но она увертывалась от таких встреч и все поддразнивала его своей неунывчивостью. До того распалила, что он и о хозяйстве на время думать забыл, и разговоры мужиков о новой жизни стали казаться надоедливыми. Не столько слушал эти разговоры, сколько думал, как бы половчее перехитрить Настю.

Однажды вечером она пришла поставить тесто. Когда уже заканчивала работу, Корнюха накинул полушубок, притворно зевая, сказал брату:

— Пойду побрехать к Тараске, а то сон долит.

За воротами у стены притаился. Стоял, пряча подбородок в тепло овчинного ворота, улыбался, гадая, как поведет себя Настя. На другом конце улицы мерзло простонал журавль колодца, ударились о сруб обледенелая бадья все было слышно так, будто колодец находился совсем рядом.

Тяжело бухнула дверь, захрустел снег под быстрыми Настинными ногами. Выйдя за ворота, она, не заметив Корнюху, обернулась, чтобы заложить щеколду. Он рывком повернул ее к себе и заглушил губами испуганный вскрик. Настя билась всем телом, как большая рыбина, попавшая в сеть, но вдруг обмякла, нависла на его руки и, когда, задыхаясь, отклеилась от его губ, Корнюха стал быстро спрашивать, ладно ли он целует, однако тут же смолк. Настя стояла непонятно смиренная, уткнулась лицом в его грудь и затихла, замерла.

— Настя...

Плечи ее дернулись, затряслись. Под Корнюхиными ногами беспокойно заскрипел снег. «Не заголосила бы на всю Тайшиху...»

— Настя! — запрокинул ее лицо и понял: она смеется. Сквозь смех выдохнула:

— Переполошил до смерти...

Корнюха вскинул ее, крутнулся на одной ноге. Настя сама на минуту прильнула к нему, поцеловала и отпрянула, будто обожглась.

— Теперь не подходи! — строго сказала она. — И не подкарауливай меня. Знаю, тебе смешки-шуточки. Наловчился в чужих краях девок тискать. А я... Такусенька была и уже на тебя глаза пялила. Знай про это и не лезь с баловством.

Она убежала.

— Хы-ы... озадаченно протянул Корнюха, помолчал, повторил: — Хы-ы.

В небе колючими стеклышками блестели звезды, в темный горб Харун-горы запахался сошник ущербного месяца. Прокаленная морозом, засугробленная земля молчала, казалось, ждала, что еще, кроме «хы», скажет Корнюха.

По дороге, накатанной до крепости льда, Саврасуха бежала веселой размашистой рысью. Игнат перебирал ослабленные вожжи и вприщурку смотрел на сопки, круглые и белые, тесно прижатые друг к другу, как яйца в лукошке. Солнце лучилось теплом и ярким, режущим глаза светом. Осевшие суметы были осыпаны разноцветными блестками, и в воздухе, еще холодноватом, ощущалась предвесенняя мягкость. Скоро солнце оголит поля и сопки, над ними с гоготом потянутся клинья гусей туда, за хребты, к своим родным местам. У птиц все просто: прилетели, скрутили гнездо. А тут... В избе, если долго не приходит Настюха, пусто и сиротливо, так и кажется, что не дома они, а на временном постое.

За спиной Игната шевельнулся Корнюха.

— Скоро весна, — не оборачиваясь, сказал Игнат. Корнюха промолчал, и Игнат повторил:

— Слышь, братка, весна придвигается.

— Ну, весна... с неохотой отозвался Корнюха.

Игнат примотал вожжи к головкам саней, сел так, чтобы видеть брата.

— Пахать, сеять будем. А там сенокос... Жить дома не придется.

— Это уж так. В глазах Корнюхи дремала какая-то своя, непонятная Игнату, думка, и не хотелось ему, видать, расставаться с этой думкой.

— Видишь, я к чему... За домом догляд нужен, а Настя тоже в поле будет. И вот об чем я кумекаю жениться мне, что ли? Так ли, иначе ли, а женитьбы не минешь. Зачем же тянуть в таком разе? Тараска вон привел в дом молодуху...

— Жениться? — вскинул голову Корнюха.

— А чего? — Саврасуха перешла с рыси на шаг. Игнат взял и руки вожжи, понужнул ее. — Настя у нас, как работник.

— Настя? — у Корнюхи напряглись скулы. — Что Настя?

— Добрая девка она, сердцем ласковая. Может, ее и посватать, а? Изот не должен бы отказать, — Игнат замолчал, заметив, что брат вдруг

переменился в лице и смотрит куда-то в сторону косым сердитым взглядом.

— Так что присоветуешь, братка? Других-то девок я путем не знаю, а Настюха, она подходящая. Очень даже подходящая.

Корнюха неожиданно зло хохотнул.

— Ха! Жених выискался!

— Ты чего это? — удивился и обиделся Игнат. — Ты почему со мной говоришь таким манером?

— Как говорить, если твоя башка трухой набита? — всколыхнулся Корнюха. — У тебя, жених, одни штаны, да и те с дырками на мягком месте. Жди, пойдет Настя за всякую голь-шмоль. О ней даже думать позабудь!

Таким разъяренным Корнюху Игнат видел редко. Эк его разобрало, того и гляди, кулаки засучит. Больно уж близко к сердцу принимает нехватки дома зачем? Бог даст, все наладится.

Дальше ехали молча. Каждый думал о своем. Игнат вздыхал, подстегивая прутиком Саврасуху. Дорога свернула в густой тальник, сани застучали по кочкам, заметались на раскатах, но Игнат все понужал и понужал кобылу. Быстро домчались до Трех Бугров. Не доезжая до разгороженного остожья, Игнат резко остановил лошадь: сена не было. Из-под сугроба черными-космами выглядывали гнилые одонья все, больше ничего. Куда же делся зарод сена, едва початый?

Игнат слез с саней, увязая в черствых сугробах, обошел остожье. Метель засыпала, загладила все следы. Корнюха выдрал из-под снега пласт гнили, отбросил от себя.

— Сволота! Узнаю, кто украл, спалю к чертовой матери! Тяжело было на сердце Игната, тяжело, больно и горько.

До чего докатились люди! Тянут все, позабыв о страхе господнем, о совести. Разболтался народ, развратился, страшным и непонятным стал. Жизнь все перевершила, опрокинула, законы старые поломала, а новых не затвердила. Раньше жилось просто. Зимой мужик много ест, много спит, шевелится лениво: силу копит для горячих весенних дней. А коли хлеба недостаток в работники нанимается к тем, у кого хозяйство справное. В работниках, известно, не мед, каждый старается выжать из тебя побольше, однако и тут какой-то порядок был. Теперь все шиворот-навыворот. Дело, постыднее какого нету, воровство, промыслом стало. Вместо того, чтобы своим горбом, своими руками

добывать пропитание, людишки озоруют по ночам. У бурят, слышно, пограбили скот, в своей деревне у одного, у другого утянут барана либо теленка. Жаловаться народ опасается. Лазурька, что он сделает? Самого, того и смотри, пристрелят. Какой уж год скрывается на заимках Стигнейка Сохатый, «заступник» семейщины. Скор на расправу Стигнейка. Чуть что не по нем красного петуха подпустит. Изловить, говорят, нет никакой возможности, укрывают Стигнейку мужики, одни из корысти, другие из страха: выдашь Сохатого, а дружки-корешки останутся, они житья не дадут. На селе теперь навроде две власти. Одна в руках у Лазурьки, другую Стигнейка держит. Что будет дальше никак не угадаешь.

Может, и правильно взъярился Корнюха: какая уж тут женитьба... Обождать надо, с силенками собраться. На душе смута и томление, а за работу придется ухватиться обеими руками. Теперь их дела вовсе неважнецкие...

В тот же день вечером Игнат пошел к Харитону Малафеичу Петрову, просить, чтобы помог выбраться из беды. Недолюбливали Харитона мужики, прохиндеем считали, однако же чуть ли не все к нему шли выручи, родимый.

Жил Харитон в новом, недавно построенном доме. Не дом игрушка. Карниз в кружевной резьбе, ворота и те резные, ставни на окнах веселой голубой краской крашены. Лес еще не успел почернеть, на торцах бревен каплями топленого масла застыла смола. А в самом доме непорядок. Пол затоптан, замусорен, у порога на соломе телок лежит, тут же стоят мешки с чем-то. Прибору никакого. Харитон недавно овдовел, живет с сыном Агапкой, бабью работу оба делать не умеют.

Дома был один Харитон. Узколицый, подслеповатый, с растрепанной сивой бороденкой, в длинной, мукой испачканной рубахе, он раскатывал на столе пресную лепешку. Увидев Игната, бросил работу, ласково улыбаясь, оглядел со всех сторон, удивился:

— Эко что вымахал! Чистый богатырь. Весь в батьку выдался, и лицом и статью. Добренный был у тебя батька, дай ему бог царство небесное. Харитон сложил в крест пальцы, облепленные тестом, помахал ими перед носом. — Ба-альшие мы друзья с ним были.

Говорил Харитон тоненьким сипловатым голоском, и вспомнил Игнат, что по заглазью его звали Пискуном.

— Как жизня-то? Денег, поди, приволокли торбу? — с такой же ласковостью спросил Харитон, повел острым носом, будто принюхиваясь. Ты раздевайся. — Сейчас Агапка придет, ужинать будем.

Он вернулся к столу и взялся за скалку.

— Я по делу... — Игнат коротко рассказал, как они остались без корма, и попросил займы воза два-три сена.

— Украли! — ахнул Пискун, бестолково закрутился у стола, приговаривая: — Ай-я-я, ай-я-я, напасть какая! Что за язва варначит. Креста на вороту нету... А сена я вам дам, дам, Игнаша, как не дать! Сколько надо, столько и берите. Да ты не торопись, посиди со мной.

Почти что силком Пискун усадил Игната за стол. Разрезая лепешку, он все сокрушался, ахал. Можно было подумать, что это у него самого уволок сено. Когда пришел Агапка, такой же тонкий в кости и остролицый, как батька, по молчаливый, неприветливый, Харитон заново заставил Игната рассказать о краже. Агапка скривил губы в непонятной усмешке, ничего не сказал.

За столом с шумом хлебали лапшу, Харитон допытывался:

— Что будет с нами, Игнаша? От кого идет такой кавардак нашей жизни? От большевиков, или господь за грехи обходит нас своей милостью? А?

— При чем тут большевики? Сами мы хороши.

— Оно так, сразу согласился Харитон. До того хорошие, что лучше-то уж и некуда. Намедни твой дружок, Тараска, попросил у меня мешок хлеба и посулился за него дровишек на заимку подвести. Потом назад попятился... Скоро, говорит, коммуна будет, все добро в одну кучу свалят. Получается, говорит, не у тебя займы взял у коммунии, ей и отдавать буду. Она что вытворяет! Одно слово сукин сын!

— Ему эта мука поперек глотки пойдет! — зло буркнул Агапка.

— Цыц, ты... Дай с человеком поговорить, — одернул его Харитон.

— Надо было Лазурьке об этом сказать! — Игнат, скосив глаза, разглядывал Агапку. Что он за человек, что у него на уме? В партизанах не был, отсиделся на заимке. Максюха его, кажись, помоложе будет...

— Лазурьке сказать? — спросил Харитон, дробно засмеялся. — Им паскудная баба правит, твоим Лазурькой.

И, должно, заметив, что сказанное не по нутру Игнату, тут же прибавил:

— Сам-то Лазурька мужик ничего, стоящий... Но... До него ходил в председателих Ерема, тот был много лучше. А за сеном приезжай хоть завтра. Хлеб понадобится бери хлеба. Я, Игнаша, не скупердяй.

— Спасибо, Малафеич...

— Что спасибо! Только дураки в толк не берут: для нас теперича одно спасение держаться друг за дружку.

У порога завозился, зашумел соломой телок, и в нос ударил кислый запах мочи и прели... Игнат поднялся из-за стола. Встал и Харитон. С тревожным ожиданием, заглядывая слепенькими глазами в лицо Игната, спросил:

— Неужели же конец старой жизни приходит? А? Неужели семейщина дозволит командовать над собой кому попало?

Встревоженность Пискуна, жалкое помаргивание его глаз охолонули Игната тоской и печалью. Тоже мается человек, тоже душа не на месте, а что ему скажешь, когда и самому ничего не понять?

Чуть подождав, Пискун перевел разговор на другое: — Как жить-то думаете? Что делать вам, сильным ребятам, без тягла?

— Корнюха собирается в работники.

— Подрядился уже?

— Нет еще.

— Тогда присылай ко мне. Поселю на своей заимке, коня дам, семян, пускай сеет, сколько убрать в силах. Осенью урожай поделим.

— Что-то не пойму...

— Я и сам в этой жизни ничего не понимаю. Земля вхолостую гуляет, а с работниками не связывайся. Лазурька вмиг присобачит налог непосильный. Если же повернуть таким манером, будто я вам помогаю семенами и прочим и держать наш уговор в тайности польза вам и мне.

— Игнат обрадовался, но тут же насторожился. Пискун мужик с худой славой, ну, как вздумал объегорить? Чужая душа потемки, никаким ее фонарем не просветишь. Но он сразу же устыдился своей подозрительности. Думать о человеке плохо, когда он ничего плохого тебе не сделал, не сказал, грех великий. Не потому ли на земле столько зла, что никто друг другу не верит...

— Ладно, я с Корнюхой посоветуюсь...

По дороге домой Игнат опять обдумывал слова Харитона и окончательно уверился: не лукавит мужик. Не из тех он,

которые по глупости своей не берут в соображение, что таких ребят, как они, мятых и битых, на мякине не проведешь, а пропечешь потом не обрадуешься. Неспроста, конечно, льнет к ним Пискун. В новой жизни, запутанной до невозможности, опору обрести хочет. А на кого же ему опереться, как не на них, бывших партизан, утвердивших эту жизнь? Плохого тут ничего нет. Опора, она всем нужна. Вот и он о Настюхе подумывал не потому лишь, что хозяйки в доме нет, хочется почувствовать рядом сердце другого человека, не замученного думами.

Корнюхе предложение Пискуна совсем не понравилось. Даже путем не выслушав Игната, он заерзал на лавке, засопел толстым носом, съехидничал:

— Какой ты шустрый стал, братка! С чего бы?.. Спровадить хочешь?

— Ты же сам говорил, что надо наняться. — Игнат перестал понимать брата: что ни скажи не так. Какого черта он злобится? Чего рычит?

— Говорил... — подтвердил Корнюха, отводя взгляд в сторону. И то, что он прячет глаза, раздражало Игната пуще всего.

— Ну так что?!

— А то, что давно это было. Тогда ты помалкивал, прыти такой не было у тебя, — Корнюха усмехнулся так, будто знал за ним, Игнатом, какой-то грешок, что-то недозволенное. И это вывело Игната из себя, в нем разыграла кровь ерохинской родовой.

— Замолкни! — рубанул кулаком по столу. Больно много знать стал! Волю забрал! Пойдешь к Харитону! Завтра же!

От неожиданного крика Корнюха вылупил глаза, подскочил, сгреб шубу, шапку и метнулся к двери. Игнат сунул вздрагивающие руки под ремень, заметался по избе. Почти сразу же пожалел, что наорал на брата. Видно, он становился таким же, как другие, позабыл о тихом душевном слове, криком захотел утвердить свою власть над братом.

Посмотрел на себя в тусклое, мухами засиженное зеркальце, поморщился. Борода растрепана, давно не стриженные волосы лохмами свешиваются на уши тьфу, страшилище какое, а еще в женихи наметился. Повернулся к иконам, со вздохом проговорил:

— Укрепи дух мой, господи!

Заимка Харитона Пискуна была верстах в десяти от Тайшихи. Старое, в землю вросшее зимовье, дворы и надворные постройки прилепились к подножию некрутой сопки, покрытой мелким сосняком. За сопкой начиналась чащобистая, изрытая буераками тайга, а перед окнами зимовья косогорились голые, исслеженные скотиной увалы.

На заимку Корнюху привез Агапка. Не отвертелся-таки Корнюха от найма, пришлось покориться брату. Чуть больше недели проработал у Пискуна дома, и вот заимка. Жить тут придется до поздней осени, а не уродится хлеб и год, и два, и три.

С крыши зимовья сыпались капли, во дворе разрывали навоз чирикающие воробьи. Лохматый, вислоухий пес, встретив подводу на дороге, простуженно гавкнул и завилал хвостом. Подвернув лошадь к пряслу (*Прясло — забор из жердей*), Агапка кинул Корнюхе вожжи.

— Распрягай... — сам валкой походкой, не оглядываясь, направился к зимовью, за окном которого маячило бабье лицо.

«Сволочь!» подумал Корнюха, глядя в спину молодого Пискуна. С первого дня возненавидел его Корнюха за писклявый голос, за остренькое, словно мордочка хорька, лицо, за молчаливость и хозяйскую хватку, за то, что не подминал он грудью сугробы, прячась от пуль, а живет и будет жить, как ему, Корнюхе, и во сне не грезились. За ту неделю, что проработал у них дома, все хозяйство по два-три раза ощущал завистливыми глазами. Все у Пискунов было новое, добротное: от ичихов и зипуна на Агапке до сбруи и дома, изукрашенного резьбой; рвани-драни какой-нибудь у них не водилось. Не один раз в те дни Корнюха помянул недобрым словом покойного родителя: не сумел, черт старый, сбережь добро. Ему теперь что лежит, а ты по его милости гни хребет на дохлых Пискунов обоих, батьку и сына, одной соплей перешибить можно, но ты им покоряйся.

Распряженная лошадь нетерпеливо переступила ногами, потянулась к сену. Корнюха двинул ее кулаком по храпу нахальная, как хозяйева, пошел в зимовье.

Агапка уже сидел за столом. Пожилая баба в ситцевом сарафане гремела ухватом в печке. В зимовье пахло парным молоком, было тепло

и чисто.

— Масла-то, Агапша, только два туеска получилось, — говорила баба. — Молоко жидкое, ссядется сметаны на пальчик.

— Творог вари.

— Варю, а то как же. Варю, миленький. — Она собрала на стол, пригласила Корнюху: — Садись обедать. Слава богу, что приехал. Одна я тут замаялась. Надо коров доить, кормить, поить, на пастьбу гонять.

— Говорил тебе: привези дочку, — сказал Агапка. — Ты баба глупая, ничего не понимаешь.

— И правда глупая, — она засмеялась, открыв коротенькие, съеденные зубы. — Приедет она к лету. Продаст домишко и тут будет жить.

— Пускай скорее приезжает, а то я передумать могу.

— А ты бы сперва с батькой поговорил.

— Не учи, сам знаю, что надо делать.

О чем они толкуют не понял Корнюха, отвернулся к окну. За стеклами с крыши свисали белые свечи сосуллек, на наличниках ворковали голуби, блестели снега на увалах, оплавленные жарким солнцем. «Не выдюжу, подумал Корнюха, кину к чертям собачьим, уйду куда глаза глядят».

— Ешь да пойдем, покажу, что делать надо, — поторопил его Агапка, вылезая из-за стола.

От горячих щей, от чая с молоком его пробило потом, тонкая жилистая шея налилась краснотой, а большие уши вроде увяли, все одно что листья щавеля в жару. «Один раз садануть кулаком мокрота, как от букашки, останется, и больше ничего», с брезгливостью подумал Корнюха и перевел взгляд на бабу, ворошившую свое барахлишко в сундуке. Откуда-то с самого низа она вытянула рушник, расшитый петухами, расправила на руках, чтобы петухи виднее были, протянула Агапке.

— Вот оботрись чистеньким. Дочино рукодельство...

«Что ты перед ним лебезишь, старая кикимора!» хотелось сказать Корнюхе. Ел он нарочно медленно и нарочно громко чавкал, заметив, что Агапке это не глянется. Не дождался его Агапка, вышел, бросил лошадям беремце сена, сел на прясло и принялся чистить зубы щепочкой. За ним и баба вышла. Она что-то говорила Агапке, прижимая руки к усохшим грудям, а он смотрел вниз, на юфтевые

ичиги, стянутые у щиколотки тканными из цветных ниток подвязками, и слегка кивал головой.

Корнюха наелся, посидел, не спеша оделся, пошел к ним. Не слезая с прясла и продолжая ковырять в зубах, Агапка сказал ему:

— Дворы вычистишь.

А во дворах, сейчас только и разглядел Корнюха, высятся целые горы навоза, смешанного с соломой и снегом.

— Почистить надо, а то стыдобушка, — подсудыркивала баба.

— Сено все свозишь. Где сено, она, Хавронья, покажет. Жердей наготовишь. Ясли сруби. Земля оттает прясла новые поставь.

— Первое дело ясли, — выждав, когда умолкнет Агапка, уточнила Хавронья. — Много корма скот под ноги сбивает.

— А еще что? — спросил Корнюха. — Может, срубить тебе теплый нужник, какие в городах бывают? Хозяева... По уши в дерьме сидите! Меня, что ли, ждали?

— Заимка к ним недавно перешла, не успели еще порядок навести, — стала оправдываться Хавронья, но ее перебил Агапка.

— А еще дрова наготовь... Саженой восемь десять, чтобы на всю зиму... Еще...

— У меня сколько рук? Вот они, две! — Корнюха сунул прямо под нос Агапке квадратные кулаки, туго обтянутые кожаными рукавицами.

Агапка поднял голову, подслеповатые глаза его вдруг стали зоркими, острыми, зрачки таили огонь, точно капсули винтовочных патронов. «Только пикни всю харю раскровеню!» со злой радостью подумал Корнюха. Но Агапка обычным, разве что самую малость подрагивающим голосом приказал Хавронье запрягать лошадей и только после этого сказал Корнюхе:

— Не хочешь, не держу. Хучь сейчас катись на все четыре. И без тебя полно голопузых, есть кому дерьмо возить.

— Поговори еще! Я те хребтину-то живо сломаю!

— Смотри, Корнейка, не задавайся, — с тихой угрозой сказал Агапка. — Самому наперед хребтину сломят.

Как ни зол был Корнюха, а понял: не с перепугу бахвалится и грозит Пискунок, есть за ним что-то крепкое, надежное. Но не это удержало его. Противно было бить такого мозгляка. Да и к чему? Даст ему по роже, сорвет свою злость дальше что? Идти наниматься к другим, и все начнется сызнова.

Ушел в зимовье.

Бесконечной вожжей потянулось время. Корнюха не вел счет дням, не прикидывал, через сколько недель начнется вешняя, не радовался дружному теплу, плавящему снега, то впрягался в работу и, забывая о еде, отдыхе, без устали сокрушал железным ломом мерзлые горы навоза, то вдруг все бросал и часами сидел без движения, смотрел тоскующими глазами на плеши проталин, испестривших увалы, на синь лесов, на облака, что рыхлыми копнами плыли неизвестно откуда, невесть куда... Первые дни Хавронья досаждала расспросами, но когда убедилась, что это его раздражает, обиженно умолкла. С раннего утра до поздней ночи она топталась во дворе, в зимовье: доила и кормила коров, сбивала в кадушке масло, помогала вывозить навоз. И все молчком. Но вечером, когда Корнюха стлал себе постель на сдвинутых лавках и ложился, а она садилась к горящим в очаге смолянкам вязать чулок, молчать ей, должно, становилось невмоготу рассуждала про себя, не заботясь, слушает ли ее Корнюха. Из этих рассуждений узнал, что до прошлой осени она жила в соседней деревне с младшей дочерью Устей. Старшая замужем, в Бичуре, мужик убит японцами. От хозяйства, и раньше захудалого, ничего не осталось только дом да амбар. Чаще всего Хавронья вспоминала молодость.

— В девках-то я была красивая. Какой бы парень мимо ни шел, голову заворотит. — Вязальные иголки в ее руках взблескивали все реже, руки опускались на колени, она умолкала, сидела чуть улыбаясь, сразу помолодевшая, потом вдруг спохватывалась, поджимала губы и строго говорила: — Красота без ума божье наказание. В ту пору Харитон жил в нашей деревне. Бегал он за мной, как собака за возом. А я нос кверху: получше Харитона парни есть, кого захочу, того и выберу. Выбрала... Здоровяк, косая сажень в плечах, голова кудрявая, а удалой, ловкий никто с ним не сравнится. Промахнулась я. Для хозяйства он был не старательный, больше по приискам шлялся, гулять любил. Хозяйство на меня легло. А я что? Баба... И ребятишки у меня на руках. Билась я как рыба об лед. Когда пришел японец, мой забалуи подседлал последнего коня, ружье на плечо и уехал. Пришлось мне под старость лет вдовой, обнищавшей просить милости у Харитошки, на которого раньше глядеть не хотела. Слава богу, принял, не вспомнил дурость мою девичью. Теперь его Агапша на мою Устюху засматривается, а она, непонятливая, тоже, как я, нос от него воротит. Ну да я ее обломаю,

будет потом нею жизнь благодарить, добром вспоминать. Сама не попользовалась, пусть хоть дочке достанется...

Хавроньины разговоры беспокоили почему-то Корнюху, заставляли заново осмысливать свою жизнь. Не пришлось бы ему, как ее Евсюхе, мотаться всю жизнь по заработкам то в городе, то тут. А Настя, она что же, сто лет ждать не станет, выскочит за кого-нибудь. Может, сейчас, пока он тут бока пролеживает, под нее кто там клинья подбивает, красными словами улещает. Он-то ей ни единого слова не сказал насчет того, что... Как расстались тогда у ворот, так и не виделись больше с глазу на глаз. Что она должна подумать после того? Молчит, значит, не нужна она ему. Очень просто может так подумать.

Все беспокойнее становился Корнюха, все больше думал о Насте. В один из вечеров соскочил с лавки, оделся, сказал Хавронье, что вернется поздно, и, заседлав коня, поскакал в деревню.

Под копытами хрумкал тонкий ледок, отсырелый ветер облизывал Корнюхино лицо, щекотал открытую шею. Ночь была темная, беспроглядная. Ключья уцелевшего снега на полях мелькали, будто чьи-то тени, будто крались они по сторонам, зажимая Корнюху. С тревожным сердцем вглядывался он в тусклые огни деревни, проколовшие темноту. А ну как опоздал? А ну как Игнат замыслил отобрать у него Настю? Что тогда будет?

У околицы придержал коня и направил его не в улицу, а на зады. Против своего зимовья соскочил с седла, накинул поводья па кол прясла и через гумно прошел во двор. В окне зимовья, закрытом ставнем, светилась узкая щелочка. Корнюха на цыпочках подошел к окну, заглянул в щель. Прямо перед ним, спиной к окну сидел Игнат, подпирая голову ладонями. Он что-то говорил что, Корнюха не мог разобрать, как ни вслушивался, голос сливался в беспорядочное бормотание. И кому говорил, не видел: спина брата закрывала все. Но вот Игнат повернулся, и Корнюха увидел на столе лампу, а за ней лицо Насти. Она сидела одетая, в платке, должно, собралась уходить, тербила пальцами протертую на углу клеенку и отрицательно качала головой. Игнат забормотал что-то и опять заслонил Настю спиной.

Подождал Настю за воротами, на том самом месте, где впервые поцеловал. Ждать пришлось долго, весь изозлился, еле сдержался, чтобы не ввалиться в зимовье, не наговорить ей и брату своему самых

подлых слов... На этот раз Настя, едва приоткрыв ворота, увидела его. Нисколько не удивилась, будто знала, что встретит его тут, спросила:

— Давно стоишь?

— Нет... Только что...

— А зачем? Говорила же...

— Мне ног не жалко, стою, когда хочу... — Разговор, чувствовал Корнюха, получается не тот, все слова, придуманные там еще, на заимке, куда-то вдруг запропастились, а тревога потеряла остроту и отодвинулась, но он знал, что если сейчас не скажет Насте всего, уедет прежние думы навалятся сызнова, прищемят душу.

— Хочу на тебе жениться. Слышишь? — почти со злостью сказал он.

Настя молчала. Он наклонился, вглядываясь в ее лицо, стараясь понять, что она сейчас думает, но было слишком темно, Настино лицо белело пятном...

— А все другие пусть не заглядываются. Любому шею сверну! Слышишь?

— Слышу... — тихо, с обидой проговорила Настя.

— Ладно, не сердись. Это я так. — Он притянул ее к себе, сдвинул платок на затылок и погладил по голове. Осенью свадьбу сыграем... Ты согласна?

— Не знаю... Я ничего не знаю. — Она доверчиво и ласково, как теленок, потерлась о его грудь. И это ее движение отозвалось в нем сладкой болью. Стыдясь своего чувства, он опустил руки, грубовато спросил:

— А кто знает?

— Ты. Корнюша. Я-то с тобой смогу жить, а вот ты со мной... — Приглядишься сперва. А то будешь потом спину ремнем разрисовывать, злость свою изливать.

— Скажешь тоже!.. — засмеялся Корнюха.

— До осени далеко, развиднеется... — Ты с заимки?

— С заимки. Игнату ничего не говори. Я сейчас назад. Ты о чем долго с ним говорила?

— Обо всем. Чудной он, Игнат-то. То умный, как старик, то маленький. Жалко его, измаялся весь.

— Не будет дурость на себя напускать! — Корнюху царапнули слова «жалко... измаялся». Пусть, дурак, мается, может, чуточку

поумнеет.

Обратно на заимку Корнюха ехал шагом. В успокоенные све-глые мысли мутным ручейком сочилось беспокойство. Осенью свадьба, А где они будут жить? На заимке у Пискуна? Его коров станет доить Настя, его зимовье-развалюху будет блюсти? От такой жизни веселей не станешь...

Возле печки, на нарах, под яманьей дохой корчился в ознобе Максюха. По лбу, по щекам катился холодный липкий пот, намокшая рубаха присосалась к телу. Три дня назад он переходил Тугнуй по источенному льду и ухнул до пояса в воду. Пока прибежал на заимку, насквозь продрог, и в тот же вечер тело охватило жаром. Ночью спал не спал не поймешь, в голову лезла всякая чепуха, мерещилась разная диковина. Возле него почти неотлучно находилась Лучкина сестра Татьяна, большеглазая, длинноногая девка. Она мочила в холодной воде рушник и прикладывала к горячему лбу, поила чаем. За время болезни она ни разу путем не выспалась. Устала, бедная. Прошлой ночью села возле него, привалилась спиной к печке да тут же и задремала. Максим разостлал полушубок и осторожно положил Татьянку. Она что-то пробормотала сквозь сон, сунула ладонь под щеку так и проспала до утра, ни разу не повернувшись.

Сейчас она хлопотала во дворе, громко ругаясь с младшим братом своим Федоской. Никак не хотел ее слушаться Федоска, вечно перечил, супротивничал, стыдился, видно, ей подчиняться.

На заимке Лучкиного тестя они жили втроем, ухаживали за баранами. Лучкин тесть, Тришка Толстоногий, коров почти не держал, давно сметил: бараны дают пользы много больше. Снег и долине Тугнуя, где его заимка, мелкий, отара без малого всю зиму да подножном корму, сена вовсе немного требуется, а за шерсть, за овчины хорошие деньги дают. Пока Еленка, дочка его, не привела в дом Лучку, Тришка держал на заимке двух работников. Потом они стали без надобности: столкнул всех баранов на руки Татьянке и Федоске. Максю в работники брать никак не хотел для чего лишние расходы? Пилил долго своего зятя за нерасчетливость, с тобой, мол, в корень разориться можно Лучка ему: «Не наговаривай, как на грыжу. Не глянется, что я делаю, отдели, сам по себе жить буду». Где же его отделил Тишка! Зять с сестрой и братишкой со всем хозяйством управляют. Сам-то за последние годы растолстел, обленился, корма коню дать не хочет, не только что... Моду взял по гостям ездить. Запряжет Пеганку и укатит, неделями дома не показывается. На Максю он до сей поры исподлобья

смотрит. Приезжал сюда раза два и все бубнил себе под нос, к любой мелочи придирался.

За окнами зимовья стихли голоса Татьянки и Федоски, и показалось Максе, что телега колесами простучала. Опять, поди, черти принесли Трифона. Вот уж некстати. Макся поднялся на локте, глянул в окно. У крыльца распрягал коня Лучка, ему помогал Федоска. Обрадовался Макся. Поднял выше изголовье, чтобы все видно было. Услышав его возню, из-под нар выскочил ягненок, остановился, растопырив палочки-ноги, круглые глупые глаза его влажно поблескивали. Когда заскрипело крыльцо, ягненок стриганул под нары, затих там.

Лучка вошел с кожаной сумкой через плечо. Полушубок распахнут, из-под папахи во все стороны топырится растрепанный чуб, в бородке блестит соломинка. Весь он был какой-то на себя непохожий, бесшабашно-удалой, а когда заговорил, Макся понял: выпивши.

Ты что это хворать вздумал? Лучка поставил сумку на лавку, притронулся холодной рукой к Максину лбу. Эж тебя разобрало! Но ничего, сейчас я тебя на ноги поставлю. Самогону приволок целую четверть. Он подмигнул Максе, засмеялся и, открыв дверь, крикнул: — Танюха, бросай все к дьяволу, ставь самовар.

— Ты с какой радости загулял? — спросил Макся.

— А что, только с радости гуляют? Поминки справляю, Максюха.

— Какие поминки?

— А вот, — Лучка взял сумку, выкинул из нее на стол петуха и двух куриц с окровавленными перьями, всю птицу тестеву перестрелял. — Ка-ак шарахну из дробовки... Перья по всему двору.

Лучка весело засмеялся, лихо тряхнул головой. Пришли Татьяна и Федос, и он заставил их теревить кур, сам ходил взад-вперед по зимовью, рассказывал:

— У меня собака была охотничья. Такая, Максюха, собака, каких не часто встретишь. На белку идет, на медведя, на кабана, утку из болота достанет. А у тещи курица потерялась, потом еще одна. Теща на собаку грех возвела и науськала тестя... Стеклом толченым накормили. Пропала собака. Тогда я взял ружье и давай ихних курей изничтожать. Всех до единой истребил. Теща и баба моя, как куры, вокруг меня прыгают, руками махают, кудахтают. Баба побежала в Совет, Лазурьку

привела, арестовать меня хотели. Арестуй попробуй, если у меня ружье в руках. — Лучка сел на край нар. — Правильно я сделал?

— Правильно. Кровь за кровь...

— Смеешься. Эх ты...

— Он смеется, а тебе надо плакать, — сказала Татьяна. — Герой выискался. Смерть куриная!

Федоска, тощий, длинный, согнулся, фыркнул.

— Заржал! — накинулась на него Татьяна, шлепнула по кудой спине. — Убирайся отсюда! И Лучке: — Зря тебя не посадили в тюрьму!

— Дай-ка мне ремень, я тебе по спине врежу, — сказал Лучка.

Из хомута, висевшего у порога, она выдернула супонь, протянула брату:

— На, врежь.... — Лицо серьезное, брови насулены, а в больших глазах смех, но не веселый, смех сквозь слезы.

Лучка сложил супонь вдвое, накинул на шею Татьянке, потянул к себе, со вздохом сказал:

— Ты молодец у меня, сестренка. — Никогда не совершь, всю правду выложишь. Только тут ты ошибаешься, маленькая моя. Смерть я верно. Но не куриная. Однако знать тебе про это не надо. Иди готовь скорее ужин. — Оттолкнув сестру, Лучка пропел ладонью по лицу, прищурился, вроде бы во что-то вглядываясь, судорожно дернул щекой.

— Знаешь, Максюха, я иной раз жалею, что в живых остался. Сколько добрых парней положили на войне...

Донельзя был удивлен всем этим Макся, ему-то казалось, что живет Лучка куда с добром: баба у него ни умом, ни красотой не обделенная, нищета горло не сдавливает что же еще надо?

— Глупости собираешь, слушать лихо! — сказал ему сердито.

— Может быть, может быть... — Лучка соскочил с нар, подошел к рукомойнику, умылся, намочил голову, причесался: смиренный и скучный сел за стол.

— Убери, Федос, куриц, чтоб глаза мои не мозолили. Ты, Максюха, выпьешь? — Из сумки достал бутылку, зубами выдернул пробку-колышек.

— Иди, посиди со мной маленько.

— Что он насидит, когда весь ослабший! — воспротивилась Татьяна. — Не вставай, Максим, поесть тебе в постель подам.

— Видал-миндал, повеселиться не дает, — усмехнулся Лучка. — Эх, бабы, бабы, проклятье рода человеческого. Все беды на свете от баб, Максюха. А ты, Федос, на стаканы не поглядывай, отучишься рукавом нос вытирать, пожалуйста.

— Нужно очень! — вспыхнул Федоска. — Духу ее не выношу.

— Придет время вынесешь. И не то еще вынесешь, братка. — Отодвинув стаканы, Лучка опять подошел к Максе, сел, сказал протрезвевшим голосом: — От прежних друзей один ты остался, Максюха. Другие отодвинулись.

— То на себя, то на других наговариваешь...

— Нет, Максюха, отодвинулись, вижу, какое ко мне отношение.

— Плохо смотришь. Оттого-то и мерещится...

— А что смотреть? Ковыряют своими разговорчиками мимо ушей пропускаю. Грешил: от зависти бормочут. Про себя думаю: подождите, я вас еще заставлю удивляться. Жил этой думой, радовался, а теперь ничего не осталось, на душе склизь одна.

Замолчал Лучка, прикусив короткий ус. Плыли за окном сумерки ясного вечера, из двора доносилось меканье козленка; в запечье тонко, будто на тальниковой свистульке, пел самовар. И Максе хотелось, чтобы спокойствие этого вечера, эта негромкая тишина вытеснили из Лучкиного сердца промозглость, чтоб говорил он о чем-то другом, говорил с ясной и теплой задумчивостью, как бывало там, у нежарких партизанских костров.

— Чем ты хотел удивить мужиков? Расскажи...

— Что рассказывать, Максюха? По нашим, мужицким, понятиям это вроде как блажь... Но кому что. Я, к примеру, до смерти люблю в земле копать, пытаться, что она может уродить. Чудное это дело, диковинное. Лучка помолчал, сел поудобнее. Ты видел, бабы наши для красоты в огородах под окнами киюшку выращивают? Попал я в теплые края, вижу, произрастает наша киюшка, только она в три раза больше и по-другому называется кукурузой. Там она солнце любит, землю влажную. Приехал домой, стал узнавать, откуда взялась киюшка в нашем стылом, засушливом крае. Прадеды в ссылку семена привезли, кормиться ею думали. Не получилось. Но совсем не забросили. То один, то другой в землю зерно кинет. И прижилась, приладилась киюшка к сухоте и ранним заморозкам. В росте, конечно, поубавила и зерна такого не дает, как кукуруза. Так ведь без догляду прижилась... А

если с доглядом? Яблоки и другая разная фрукта тоже должна к нашей земле приладиться. Как ты думаешь?

— Не думал про это, врать не хочу.

— Ты не думал, другие и подавно. Жизнь ни к черту не годная у нас. Одно знаем: веру беречь. Доберегли! Со стороны посмотришь на семейского, он вроде той киюшки умом не вверх, а вниз двинулся, от земли еле поднимается.

— Тут ты загнул, Лука.

— Загнул? Пусть... Не дал ей бог крыльев, нашей семейщине. Оно, конечно, верно, что не до мудреной огородины многим, не до садов. А у кого в закромах не пусто, выгоду свою упустить боится. Мой тесть такой... Ему все чудное, непонятное нож вострый. Что ему сады, красоты на земле, была бы утроба набита.

— А а-а, ладно... — Лучка принес стаканы один полный, до краев, из него самогон плещется, другой до половины налит. Полный подал Максе: — Чебурахни все за раз, полегчает.

Максим с опаской примерился к стакану многовато, не стали бы хуже.

— Выпей, сказала Татьяна, все мужики так от простуды лечатся.

Она поставила на нары капусту, редьку тертую со сметаной, Хлеб, но Макся закусывать не стал. Не захотелось. От самогона по всему телу разлилось тепло, голова отяжелела. Без лишних церемоний Татьяна согнала брата с нар, поправила на Максе доху, укрыла его еще двумя полушубками, и он, обессиленный, распаренный, почти сразу же заснул.

Проснулся в окна бьет солнце и расстиляет на полу косые квадраты света, в одном из них блаженно дремлет ягненок; в углу за столом пьет чай Лучка, напротив него, одетая, в кичке и кашемировом полушалке по плечам, полнолицая, необветренная Еленка, Лучкина супружница. Видать, только что вошла, бренчит монистами, полушалок развязывает и с осуждением смотрит на своего мужа. В зимовье, кроме них, никого нет, Татьяна и Федос, наверное, скотину кормят. Лучка дует на блюде с чаем, спрашивает:

— Батька послал?

— Сама сдогадалась... А хоть бы и батя! — Елька сняла полушалок вместе с кашемириком, на груди желтыми огнями заиграли янтарные корольки, заискрились стекляшки бус. Шея у Еленки

длинная, будто нарочно вытянутая, чтобы побольше монист нацепить. — Тебе надо повиниться перед батей и мамой.

— Это за кур ей-то?

— За курей и изгальство.

— Про какое изгальство говоришь?

— Ума пытаешь? — вскинула голову Елька. — На смех всей деревне выставил и еще спрашивает об чем-то!

— Ты не дергайся, Еленка, — Лучка осторожно поставил блюдце на стол. — Ты мне вот что скажи: как дальше жить будем?

— Ты об чем?

— Не могу я, Елька, больше. Хочу жить по своему разумению, батька твой пусть живет по своему.

— И что ты навалился на батьку, на маму? Они свой век доживают, а мы только начинаем...

— Потому-то, Елька, надо как-то все переиначивать. Не хочу я, чтоб моя жизнь была такой же, как у твоего батьки.

На белом Еленкином лице выгнулись и сошлись у переносья брови, удивленным, обиженным стало лицо.

— Дай бог всем так жить и столько нажить...

— Ты не пузырься, а послушай, что скажу. Я женился на тебе, а не на приданом. Если хочешь жить по-человечески уйдем.

— Да ты что! Еленка вцепилась обеими руками в нитки бус. Ты что это выдумал! Куда мы уйдем от хозяйства такого? Оно нашим будет. Наше оно, твое и мое!

— Наше?

— Конечно, наше.

— И я могу им распоряжаться, как захочу?

— Конечно, Лукаша, ты хозяин. От века так хозяин домом правит.

— Как ни поверну, будешь согласна?

— Зачем спрашиваешь? Заранее согласна.

— Вот и брешешь, Еленка. Коммуна будет первым в нее пойду и все хозяйство сдам. Что скажешь? Запоешь другим голосом, а батю твоего разом кондрашка хватит.

— За что казнишь меня, бессовестный?

— Не казню, Еленка, понять ты меня должна.

— Поняла... Нету сердца у тебя! — Еленка всхлипнула, закрыла лицо руками.

Лучка навалился на кромку стола грудью, хмурясь, взялся водить пальцем по пустому блюду.

Неловко было Максе слушать весь этот разговор и притворяться дальше, что спит, становилось просто невозможно повернулся, громко, протяжно зевнул. Еленка быстренько вытерла ладонями слезы, улыбнулась.

— Здоровенько, Максим!

А Лучка все продолжал писать пальцем на блюде, Еленка его за рукав тронула, попросила: — Собирайся, поедем.

Уже одетый, Лучка подошел к Максе, постоял молча, вроде как не решаясь что-то сказать, подал руку.

— Поправляйся...

Ничего к этому не добавил. Вышли друг за другом Лучка впереди, Еленка за ним. В руках у Еленки бич. И Максе показалось вдруг, что этим бичом она будет подстегивать своего мужика всю дорогу, чтобы в сторону не сворачивал. Бедный Лука, тоже сбился с панталыку. Будь на его месте кто другой, Корнюха, к примеру, жил бы припеваючи. А может, и нет. Сам-то он, Макся, попади в такой дом, радовался бы? Пожалуй, нет. Конечно, нет! Это что же получается? Царя и всех его выкормышей, солдатню разных держав вымели из страны, а Тришка, тесть Лучки, Пискун, хозяин Корнюхи, раньше миром правили и сейчас правят. Раньше на них спину гнули за кусок хлеба, и сейчас гнут. Хотя бы и он сам. Рад-радехонек, что Тришка не гонит с заимки. Красный партизан, завоеватель новой жизни! Э-эх!

Игнат собрался ужинать, когда звякнули ворота. Он подошел к окну. Во двор вводил подседланную лошадь какой-то бурят.

Привязав лошадь, гость, обходя лужи с красными отблесками закатного солнца, направился в зимовье. Игнат встретил его у порога и тут, вглядываясь в лицо, от удивления рот открыл.

— Бато?

Бурят сверкнул белыми зубами, засмеялся, отчего его узкие глаза будто и вовсе зажмурились.

— Я, Игнат.

— Откуда ты взялся, Батоха?

— А тут, рядом, в улусе Хадагта живу.

— Чудеса, да и только! Нам мужики сказывали, будто ты богу душу отдал.

— Не, японцы тут дырку провертели, — Бато показал чуть ниже правого плеча, — а ничего, заросло.

Рассказывая, Бато снял шубу, буденовку. Голова его была острижена наголо, и от этого лицо казалось еще более скуластым. Игнат начал было доставать из столешницы еще одну ложку, для Бато, и тут вспомнил: Батоха нехристь, чужая, поганая у него вера. Нельзя его кормить за общим столом, под образом бога, из общей посуды. А посадить отдельно обидится. Как ему не обижаться: были в партизанах ели из одного котелка, кусок хлеба пополам разламывали, мерзли в одном сугробе, грелись у одного костра. Война отодвинула различие в вере, в обычаях. Но то война. А как поступить сейчас?

Не слушая больше, что говорит Бато, Игнат бесцельно перебирал деревянные, с обкусанными краями ложки. Бато присел на лавку, глянул на него, замолчал, потом смущенно попросил:

— Давай другой посудка.

По ломаному выговору, по смущению Игнат понял, что Бато обо всем догадался. Махнул рукой:

— Садись, чего там!

И все же разговор за столом плохо ладился. Помутнела радость встречи, пропала куда-то душевная близость. Игнат пожалел, что нет

дома Корнюхи. Тот старые обычаи ни во что не ставит, совсем обасурманился, и с ним Батоха ничего бы такого не почувал. Хотя... Батоха понятливый, завсегда моментом отзывался на доброе и худое. Просто даже жалко, что такой славный человек, а нехристь.

Поужинали торопливо, будто на пожар спешили.

— Ночевать будешь? — спросил Игнат.

— Поеду. Ближе тут. Прошлым годом это место жить стал, у вашего батюки гостевал. Помер он? И мой батюка помер. Давно уже. Дырку залечивали мне, тогда помер, а мать недавно померла. Тут дядя живет. К нему с сестрой кочевал.

Понемногу Бато разговаривался. В улусе, сказывал, тоже ждут люди перемен, по-разному ждут: есть радуются, есть боятся.

— Ты как, не боишься?

— Я чужой скот пасу. У кого стадо больше, тот боится. Оно так... Но ить, Батоха, стариной попуститься надо, всем, чем отцы наши жили. Не жалко? Первым делом, верой...

— Что мне вера давала? Ничего мне вера не давала, я не лама! — быстро заговорил Бато. — Кто лама, тому шибко плохо...

Уклончиво, невразумительно ответил ему Игнат:

— Оно, конечно, потому как вера ваша не настоящая.

— Зачем такой стал? — с удивлением и укором спросил Бато. — Совсем другой человек был. Эх-хе, Игнат, пропадать будешь, погубить себя будешь! Не надо... Солнце греет, степь широкая живи!

Узенькие глаза Бато светились участием, и Игнат закричал, потупился, угрюмо обронил:

— Никак жалеть вздумал... Давай говорить про другое.

Проводил Бато за ворота, подал руку.

— Забегай, когда тут будешь.

Дома, убирая со стола, повертел в руках стакан, тот, из которого пил Бато, поставил на место. По доброму-то стакан надо было выкинуть, он теперь вроде как опоганенный, грех из него пить верующему. Но разве меньший грех принимать человека как друга, сидеть с ним за одним столом, а потом, едва он за порог, выкидывать в помойку все, что от него осталось, все, к чему прикоснулись его руки? Отчего так верой установлено, что ежели ты не семейский поганый? Неужели на всем белом свете, среди тьмы всякого народа, одни семейские отмечены перстом божьим, одни они чисты?

Так и не решил, что сделать со стаканом Батохи, так и не убрал со стола. Как в теплую затхлую воду, погрузился в свои думы, вновь вспомнил похороны отца, свежую могилу его, вмиг присыпанную снегом и ставшую, как все другие. Что же такое есть человек? Многие теперь говорят: бога нет, души нет. Для чего тогда жизнь?

На дворе стемнело. В избах зажглись огни. Хлопали ставни окон, запираемых на ночь, скрипели ворота, сонно взлаивали собаки. Игнату стало ясно, что Настя сегодня не придет. Одному сидеть в пустой избе тягостно, а пойти, считай, некуда. Но почему ни разу не сходил к уставщику? Уж он-то все о вере знает. Можно прямо сейчас к нему...

Уставщика застал за вечерним чаепитием. В исподней рубахе, с рушником на шее, разомлевший, сидел он у медного самовара, тянул чай маленькими глоточками, тяжело пыхтел.

— Ты чего ко мне, по делу? — прогудел Ферапонт.

— Как сказать... Вроде бы и не по делу...

— Сейчас, сынок, приходят ко мне только для того, чтобы попросить что-то.

— Трудно живется людям, Ферапонт Маркелыч...

— Трудно, ох, трудно, вздохнул Ферапонт. Ну да вам-то что, сами все сбаламутили. Радуетесь, должно?

— Чему радоваться-то?

— Чего же не радоваться... Стариков можно теперь ни во что не ставить, меня, пастыря духовного, стороной обегать. Кругом слобода. На все ноги расковались, а только худо все кончится, сынок. Без подков, сам знаешь, чуть ступил на гололед брык набок.

Не попрeki и жалобы хотел услышать Игнат от Ферапонта, совсем за другим к нему шел. Помрачнел.

— Говоришь так, будто я во всем виноват.

— Не ты один. Но и ты. Все обольшевичились! — Ферапонт стянул с шеи полотенце, скомкал, бросил на лавку. — Дух свой унизили, чрево возвысили.

— А может, люди не виноваты в этом? Большие сумления в вере есть, кто на них ответит, распрояснит?

— Для истинно верующего не может быть никаких сумлений, а чуть пошатнулся, лукавый тут как тут. Зачнет сомущать на каждом шагу. Только истинно верующему не страшны ни люди-греховодники, ни козни нечестивого. А веру крепит молитва.

— Не всегда молитва поможет. Например, так... Бог запрещает человеку даже бессловесную скотину зря обижать. А мы людей другой веры презрением оскорбляем, есть с ним за одним столом гнушаемся. Это от бога или люди выдумали?

Ферапонт моргнул глазами так, словно их запорошило, придвинулся ближе к Игнату, спросил:

— А сам как думаешь? Игнат помолчал, сказал твердо:

— Не от бога это. От людей, от недомыслия.

— Хм, от людей, говоришь, — Ферапонт был, кажется, в затруднении, поскреб ногтем в бороде. — От людей... Не с того конца веревку тянешь, сынок. И не ты один так. Многие теперь на жизнь смотрят с одного бока, одно на уме имеют утробу свою насытить. Все помыслы к тому сводят, всю силу рук и ума на это кладут. Но оглянись на дело рук человеческих, и ты узришь, как все обманчиво, — голос Ферапонта отвердел, загудел густо и ровно. — Все, чего мы на этом свете добиваемся, чему радуемся, прах и тлен.

Игнат молча кивал. Он давно сам до этого додумался, ничего нового не открыл Ферапонт, но то, что уставщик мыслил сходно с ним, радовало, располагало к доверию.

— Только душа человека нетленна, бессмертна. Заметь, только душа. — Ферапонт поднял толстый, в рыжих волосинках палец, ткнул им, будто хотел вдавить свою мысль в наморщенный лоб Игната.

И о бессмертии души Игнат, конечно, знал без Ферапонта. Но верил ли? Сейчас, вслушиваясь в густой голос уставщика, он ощущал, как исчезает зыбкость мысли и все становится четким, определенным. Суть человека душа его. Тело одежда души. Обветшала одежда господь освобождает от нее, и предстанешь ты перед судом голеньким, нечем прикрыть ни пустоту, ни язвы, ни пороки.

А Ферапонт увлекся, заговорил нараспев:

— Твори дела, угодные богу, снимай грехи постом и молитвой, и будет твоя душа чиста, аки у младенца...

— А какие дела угодны богу? — остановил его Игнат.

— В писании сказано: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего, ни осла его...

— Я так понимаю: делай людям добро и ты будешь чист перед богом? Верно я понимаю?

— Верно, сынок. Зло, причиненное другому, ущерб твоей душе.

Больше Игнат ни о чем спрашивать не стал, заторопился домой: боялся, не смутил бы вновь Ферапонт мысли каким неловким словом.

Дома зажег лампу, помыл стакан Бато и поставил вместе со всеми. Ни Ферапонт, ни другие старики, в вере твердые, не одобрили бы этого, но он теперь знал: делает правильно. Перед всевышним каждый отвечает за свою душу сам, и никто не вправе возвышать себя над другими, мнить себя лучше и чище. Какая у него вера не твое, а богово дело. Твое дело, если хочешь жить в ладу с богом и своей совестью, относиться к любому человеку так, как относятся к тебе твои близкие.

Но тут он вспомнил о споре с Корнюхой и вновь пожалел, что не сдержался тогда, ожесточил его своей руганью. Совсем отдалился Корнюха, приезжает с заимки редко, а приедет трех слов не скажет, повернется и был таков.

Недели за две до пахоты Лазурька созвал сходку. В здание сельсовета, бывшую сборную, набилось полно мужиков, знали: не будет Лазурька в такое горячее время зря отрывать от дела. Игнат еле нашел, где сесть. Бывший председатель Совета Ерема Кузнецов подвинулся, освободил край скамейки.

— Присаживайся. Чтобы боевой партизан стоял на ногах не позволю. Нам бы полагалось сидеть на первой скамейке, а?

— И тут ладно.

— Ничего не ладно. Сердце не выносит, когда нашего брата затирают.

«Выпивши он, что ли? Да нет, трезвый». Игнат с недоумением смотрел на Ерему. Сильно-то боевым партизаном он не был, в одном бою участвовал, а потом куда-то потерялся. Говорили ребята: захворал, понос подхватил... А после войны сам Ерема твердил, где только мог: ранили его. Может, и ранили...

— У нас, товарищи, имеется всего один вопрос, — Лазурька встал из-за стола, одернул солдатскую гимнастерку. — Поскотину надо городить, мужики...

Сдержанным шумом неодобрения ответили ему мужики. Ерема поднялся, громко сказал:

— Тебе заняться нечем али как? — сел и добавил негромко: — Красоваться, захотелось перед народом созвал. Зачем таким власть доверяют?

— Баба тесто не сдобила, печь не затопила, а вы: пирог подавай. Тебе же, Еремей Саввич, — Лазурька приподнялся на носках, чтобы увидеть Ерему, — вовсе нечего высываться. В твою бытность председателем поскотину на дрова растянули, колья одни остались. Сроду такого не было. А без поскотины нам никак нельзя. В прошлом году сколько потравы было? Так что раньше сроку заворковали, мужики, будем городить поскотину, как и в старину, всем миром.

Над головами мужиков поднялся Харитон Пискун, огладил реденькую бородку, тихим голосом укорил мужиков:

— Как вам не надоест шуметь? Надо же поскотину городить? Надо. Об чем же разговор? Другое дело, не след по такому пустяку людей скликать. Из века заведено держать поскотину в порядке, так что нечего было митингу разводить, а сказать, кому сколько заборов поставить надобно, и все.

Лазурька слушал Харитона Малафеича с усмешкой.

— Сколько же заборов ты раньше ставил? — спросил он.

— Разно бывало. Заборы делили на души, а душ в деревне числом бывает то больше, то меньше.

— На души? — Лазурька перестал усмехаться, потемнел липом. — То-то и оно, на души. За душой у тебя, может, нет и паршивой баранухи, а ты мантуль наравне с теми, у кого скота полон двор. Так было, но так не будет, Харитон Малафеич!

— Кто за свою жизнь баранухой не обзавелся, что о них говорить. А ты какую холеру придумал? — с подозрением и беспокойством спросил Пискун.

— Мужики, такое есть к вам предложение. Поскотина делается, чтобы уберечь посевы от потравы. Будет по справедливости, если тот, у кого скота больше, больше и заборов поставит.

— Да ты что, Лазарь Изотыч? — удивленно протянул Пискун. — Никогда такого не бывало у нас. Для чего старину ломаешь?

— Старина твоя давно поломата, теперь только обломки из-под ног убрать требуется.

А мужики молчали, шевелили губами, подсчитывали, кому будет от нового порядка выгода, кому убыток. Игнат тоже прикинул, похвалил Лазурьку: хорошо придумал. У них в семье три души, у Пискуна две. По-старому Пискуну городить пришлось бы меньше, хотя скота у него в несколько раз больше.

— Высказывайтесь, мужики, нечего тут молчком сидеть, — сказал Лазурька. — Ну, кому слово дать?

Встал Лучка Богомазов, наморщил лоб, собираясь с мыслями, а за его спиной чей-то старческий голос проскрипел недовольно:

— Пошто молодые вперед лезут?

— Одно молодой, другое не хозяин, в зятях околачивается, — съехидничал кто-то и попал в точку. Лучка от этих слов вздернул голову, как пришпоренный конь.

— Захлопни зевальник! — и сел, угрюмо потупив взгляд.

— Дозвольте мне, люди добрые, — степенно проговорил уставщик Ферапонт, поднялся над мужиками дремучая бородища во всю грудь, в руках палка, крючком согнутая..

— Не позволю! — негромко, но так, чтобы все услышали, сказал Лазурька, вышел из-за стола. — Ты зачем пришел сюда, пастырь? Лишен ты голоса, как служитель религии, потому иди с миром до дому, батюшка.

— Это как же так? — Ферапонт не ждал такого, осекся, тяжело повернулся в одну, в другую сторону. — Дожили!

— Иди, батюшка, иди, — почти ласково выпроваживал его Лазурька, и эта ласковость была для Ферапонта хуже брани, хуже злого крика.

— Вы-то что молчите, мужики? — увядшим голосом спросил он, шагнул к дверям, пригрозил палкой. — Ну-ну, молчите, дойдет черед и до вас.

И когда он выходил, из дверей на всех пахнуло холодом ночи. Мужики зашевелились, недовольно загудели.

Лазурька сосал потухшую папироску, цыгановатыми глазами настороженно всматривался в лица мужиков, даже не пытаясь утихомирить собрание. Игнат вздохнул. Негоже так вести себя с народом. Выгнал Ферапонта, не считаясь ни с возрастом, ни со званием его. Лишен голоса вон ведь что придумал. Не доброе то дело рот затыкать. Ума на это много не надо. Если правда у тебя, никакой чужой голос не помеха.

А шум все нарастал и нарастал, уж и покрикивать стали на Лазурьку.

— Хватит! — Лазурька выплюнул папироску. — Хватит! Прошу не горланить. Всех кулацких крикунов и их подголосков вытурим отсюда, если будут мешать. Вашей власти теперь нету. Теперь бедняцкому классу первый голос.

— Давай, председатель, я выскажусь. Мне-то можно высказаться? — Петруха, по прозвищу Труба, узкоплечий, длинношей мужичок, поднял руку.

— Говори, Петруха.

— Все вы знаете, кто я такой. Я, можно сказать, самый наипервейший бедняк. Дома у меня, кроме пяти ребятишек и семи куриц, ничего нету. Всю жизнь в мельниках у Прокопа живу.

— Да знаем, говори по делу!

— Нашел чем хвастаться!

Сбитый с толку криками, Петруха замолчал. Говори, говори, приободрил его Лазурька.

— Так я что хочу сказать? Советская власть нас всех уравнила. Теперь что Прокоп, что я одинаковы, я вроде даже чуть выше, потому как бедняку честь. И ты не дело говоришь, председатель. Не принижай бедняков, дели на душу, как раньше делили.

— Очумел! — звонкий женский голос, такой неожиданный здесь, заставил Игната вздрогнуть. Это Епистимея, баба Петрухи Трубы, как-то затесалась сюда и сейчас, возмущенная речью мужа, вскочила, ударила его по спине кулаком. — Садись, постылый! Садись и не лезь на народ с худым умом.

Мужики смеялись: кто громко, весело, кто слегка похохатывал, прикрывая рот рукой. Со всех сторон на бедного Петруху посыпались язвительные шуточки:

— С кем теперь сравнялся Петруха с бабами!

— Бей его шибче, будет умнее!

После этого веселый гул так и не угас до конца собрания. Закончилось оно быстро. Никто больше не решился отстаивать старый порядок дележа работы.

Домой Игнат возвращался вместе с Харитоном Пискуном. Старик всю дорогу вздыхал, качал головой.

— Никакой жизни не стало, Игнаша. Задавили нашу вольность, слова тебе не дают сказать.

— Ты зря спорил, — осторожно возразил Игнат. — Лазурька, он правильно измыслил.

— А разве я говорил, что неправильно? Тут, думаешь, дело в поскотине? Пусть загорожу я десять двадцать лишних заборов у меня не убудет. Тут, Игнаша, другое. Лазурька старые порядки уничтожает. Сегодня городьбу не так поделил, завтра землю обрежет, послезавтра в закром с мешком полезет. Видно же, куда гнет. Еремка, тот был лучше, со стариками совет держал и власти хорошо и нам неплохо. А этот ничего не понимает. Вы с ним навроде друзья. Поговори, втолкуй ему, что нельзя так. Надо жить тихо-мирно, как деды наши жили.

— Что я ему скажу? Ничего в таких делах не понимаю.

— Пойдем ко мне, чайку попьем, поговорим.

— Спасибо. Но мне некогда. Дела дома есть.

Не терпящих отлагательства дел у него нет. Думал, что пришла, может, Настя. Но ее не было. В избе который уже день не прибиралось, грязно, прямо как у Пискунов, а Настюха глаз не кажет. Что-то она реже и реже стала приходить. Как-то зашел к Изоту поздно вечером спросить, возьмется ли Настя починить рубахи.

— Так она у вас, — сказал Изот. — Стемнело ушла. Потом он спросил у Насти, где она была в тот вечер. Девка покраснела, сказала что-то непонятное, а переспрашивать Игнат не стал. У него вдруг защемило сердце. Уйдет от них Настя. Бегает, видно, на вечерки. Парней молодых в деревне много. Что он перед ними? Угрюмый мужчина, ни песню спеть, ни слова веселого сказать.

В одиночестве поужинав, Игнат лег спать. Не спалось. С тоскливой неохотой думал о своей скособоченной жизни. Годы немалые, к тридцати подкатывают, половину своего века, должно, уже прожил, а ничего доброго в жизни не видел, только муки, страдания людские. И все время ждешь: вот-вот направится жизнь, посветлеет, уплывет все худое, как мусор по полой воде...

Лежать без сна, думать о передуманном надоело, сел па приступку крыльца. Темень стояла непроглядная. С неба почти неслышно моросил мелкий дождик. В деревне дверь не проскрипит, собака не тявкнет. Поздно, видать. Может, утро скоро.

Игнат зевнул, поежился, встал, собираясь идти в избу. На улице приглушенно застучали копыта лошадей. По звуку можно было определить, что ехали, приближаясь, два всадника. Напротив ворот они остановились, перебросились двумя-тремя словами, и вдруг хлестко, лопнувшим обручем, ударил выстрел, за ним другой, третий. Зазвенели стекла, завыли собаки. Игнат метнулся на забор, повис на нем, закричал: Вы что делаете, варначье?!

Навстречу ему из тьмы колюче вспыхнул выстрел, и пуля взвыла высоко над головой. Всадники ускакали, стук копыт замер в ночи. Собачий лай покотился от двора к двору по всей деревне.

Игнат спрыгнул с забора, перебежал через улицу, остановился под окнами Изотовой избы. Тихо было в избе, наружу не доносилось ни звука. Может, и не в Лазурьку стреляли? Может, баловал кто? Осторожно постучал в ставень. В избе что-то шебаркнуло, но никто не откликнулся.

— Лазарь, а Лазарь, это я, Игнат. Открой. Они убежали.

— Ты, Игнат? Сейчас.

В избе засветился огонь. Загремев болтом, открылся ставень, распахнулось окно. С лампой в одной и наганом в другой руке у окна стоял бледный, всключенный Лазурька. Из-за спины выглядывал старик Изот. Он держал в руках старую берданку.

— Лезь сюда. Окно надо закрыть. Не вернулись бы, сказал старик.

— Не вернутся. — Лазурька поставил лампу на стол, смел с подоконника осколки стекла. — Пакостливы, как кошки, трусливы, как зайцы. Сколько их было, не заметил?

— Не, темно. По слуху понять двое, — Игнат остался стоять на улице. Мелкие брызги дождя оседали на лице, на шерсти старенького зипуна. — Никого не задело?

— Нет, — Лазурька высунулся из окна, взгляделся в тьму. — Сволочи! Я еще посчитаюсь с вами!

— На том свете посчитаешься! — сердито сказал Изот и, опираясь на берданку, пошел к кровати. — Ухайдакают они тебя, парень, помяни мое слово.

— Уедем отсюда! — из-за печки вышла Клавка, Лазурькина баба, она зябко куталась в платок, вздрагивала.

Лазурька закурил, нервно попыхивая папирсой, сказал:

— Сто раз было говорено, никуда не поеду! Из-за перегородки выглянула Настя, кивнула Игнату.

— Она правильно говорит: уезжайте. Убьют тебя, братка.

— Не твоего ума дело, Настюха, помалкивай. — Игнат поднял воротник зипуна, прикрывая шею от дождя.

— И верно, уехал бы ты, Лазарь, обождал, когда затихнет. Потом возвернешься.

— Ну уж нет! Это мой дом, моя земля, никуда меня никто не выживет отсюда! Так-то, Игнат. За то ли мы воевали, чтобы в родном доме от всякой падали житья не было?

— И это правильно... С другой стороны, тебе надо помягче, полегче с народом... Зачем ты вечером Ферапонта посрамил? Старик он, уважительность к летам его быть должна, опять же, если в бога верует, кому какой вред?

— Ты ничего не видишь, Игнат. Куриная у тебя слепота. В молитве усердствуешь, шишек на лбу набил и ждешь, когда господь ниспошлет

благодарить. Не дождешься, божий угодник.

— Мои молитвы не задевай...

— Смотреть, как ты расквасился? Как забыл кровь братьев-товарищей?

— Братка! — предостерегающе сказала Настя, — На ком попало зло не срывай.

— Молчи! За косу оттаскаю! — Лазурька лег животом на подоконник, наклонил голову к Игнату. — Думаешь, по мне они огонь ведут, по Лазурьке? На черта я им сдался. Дело наше они обстреливают. А у тебя порох отсырел.

— Ты чего добиваешься, Лазарь, непонятно мне?

— Жизни другой для людей. И кто поперек этой жизни станет не помилую! Не только Ферапонту, самому господу бороду повыдергаю.

— Экий ты, Лазарь, невоздержанный и озлобленный. Крови пролил народ и так достаточно. Иззяблись люди, умаялись, себя потеряли многие. Мир, теплое слово более всего им нужны сейчас, а ты вновь войну навязываешь.

— Я навязываю? А ты спроси, сколько раз вот так, стрельбой в окна, нас с постели поднимали... Война не кончилась еще, и рано ты винтовку на стену повесил. Ты не сердись на меня, Игнат. Сам понимаешь, тяжело мне. Приходи завтра утром в Совет.

В Совет, кроме Игната, пришли еще человек пятнадцать, все бывшие партизаны.

— Вот что, мужики. Стрельбу по ночам, воровство надо кончать! — решительно сказал Лазурька. — Небольшая нам цена будет, мужики, если допустим, чтобы селом правил Стигнейка Сохатый. Каждую ночь будем караулить все ходы-выходы из деревни.

— Надо бы милицию пригласить. Они за это деньги получают, — сказал Тараска Акинфеев.

— Пробовали, приглашали. Пока милиция тут все тихо-мирно, уехали Сохатый пуще прежнего гадит. Кругом глаза и уши. А мы будем потихоньку.

— Верно, Лазарь Изотыч, какие же мы партизаны, если одного Сохатого не словим, — подал голос охочий до разговоров Ерема Саввич.

— Работа же, братцы! — взмолился Тараска. — День на поле майся, а ночью в канаве лежи с винтовкой в обнимку. Кому как, но мне

лучше с бабой своей обниматься. Молодоженов-то, поди, ослободите? — Тараска хитро заулыбался.

Шутку его никто не принял, не до шуток было.

— Караулить будем по переменке. С тобой, Тарас Акинфеевич, ничего не делается, если один раз в неделю недоспишь. Порешили, значит, мужики? — Лазурька обвел взглядом лица бывших партизан. — Но чтобы ни гугу! Чтобы ни одна собака об этом не разнюхала.

Вплоть до начала весновспашки Корнюха через день-два тайком приезжал в деревню. Настя поджидала его на берегу речушки в кустах тальника. Там было тихо, только речка булькала на камнях, да ветер иной раз шебаршил прошлогодним листом. Говорила Настя мало, молча прижималась к нему, ерошила чуб, терлась щекой о его колючую щеку. Зато сам Корнюха становился разговорчивым, никаких мыслей от нее не прятал, самое сокровенное выкладывал.

— Я тебя, Настюха, в нашу старую избу не поведу. Новый дом построю. Высокий, с большими окошками, с резьбой по карнизу. В доме будет смоляным духом, свежим лесом пахнуть. Одни будем жить, полная воля нам... А ты чего посмеиваешься? Не веришь, думаешь, заливаю? Плохо ты меня знаешь! Я уже обмозговал!.. Старый Пискун даст мне столько семян, сколько захочу, кони есть. Я из себя все жилы вымотаю, а засею столько, что на еду и на продажу хватит. За лето лесу наготовлю. А осенью помощь соберу. Мужикам что надо ведро самогону в день и закусь кое-какая. Самогона я на займке сколько хочешь высижу. Начальство туда не заглядывает, а Хавронья никому не скажет.

— Помощь, братка говорил, запретили...

— Это для кулаков запрет. Я же не кулак... На другой год коней купим и будем жить с тобой, Настенька, лучше всех. Всего у нас будет вдоволь...

— Я бы с тобой, Корнюха, не только в новом доме, в самой последней завалюхе жила бы и радовалась. Не надо мне ни нарядов, ни богатства...

— Ты так говоришь потому, что ничего не видела, нигде не была. Я нагяделся на жизнь людей. У нас разве жизнь! Тягомотина... Батька мой оставил нам в аккурат то, что ему от деда досталось. А ведь всю жизнь работал, как конь слепой. Сам доброй одежды не износил, нам не давал. Таковую жизнь тащи назад. Мои дети будут сыты, обуты, одеты. На это всю силу свою положу. Ну и сам поствовать не собираюсь — за хорошую жизнь я воевал, и пусть-ка мне подсунут тягомотину, черта два!

Корнюха верил, что все задуманное в точности сбудется, и сладко ему было говорить об этом Настюхе, суженой своей, жене невенчанной.

Но с началом полевых работ ездить на свидания стало некогда. Целый день шагал за однолемешным плугом, вспарывал пыреистую землю. Ни лошадям, ни себе не давал никакого отдыха. А весна стояла прямо на заказ теплая, дождливая. И больше всего ночами дождик шел. Потрусит с вечера, а утром всходит солнце теплое, в небе мороку нет, только облака белые. Над зеленеющими увалами жаворонки поют, нагретый воздух течет-течет к небесной сини. С веселым остервенением работал Корнюха. Босой, без рубахи ходил за плугом по прохладной мягкой борозде, покрикивал на лошадей, мурлыкал себе под нос:

Родимый ты мой батюшка, жениться я хочу!
Не шутишь ли, Иванушка? Ей-богу, не шучу.
Женись, женись, Иванушка. У мельника есть дочь,
красивая, богатая и за тебя не прочь.
Хотя она горбатая и тронута умом,
зато уж с ней приданое такое вот возьмем:
коровушек, лошадушек и двадцать пять овец...

Дальше он песню не помнил. Помолчав немного, начинал сначала: больно уж легко она пелась. Пробовал партизанскую петь, да плохо выходило. Не для одного такие песни.

Однажды, разворачиваясь в конце гоней, заметил на вершине увала двух всадников. Неторопливой рысью они ехали к нему со стороны бурятского улуса. Ладонью Корнюха заслонился от солнца, взгляделся. В одном из всадников он узнал Лазурьку, другой был незнакомый пожилой бурят.

Они подъехали, спешились, сели на траву.

— Пашешь? — спросил Лазурька.

— Ковыряю понемногу.

— Пискуна обрабатываешь? — Лазурька лизнул край бумажки, склеил папироску, подал кисет буряту, и тот принялся набивать трубку.

— Для себя стараюсь, на кой мне ляд Пискун, — помолчав, ответил Корнюха, что-то неладное чуялось ему за всем этим разговором.

— А плуг, лошадей он тебе подарил? — в глазах Лазурьки скакнули и пропали насмешливые искорки.

— Нет, Советская власть на блюдечке преподнесла — бери, Корней Назарыч, за пот твой, за кровь твою плата. — Корнюха выдернул из земли плуг, черенком бича счистил налипшую землю. Лемех жарко вспыхнул на солнце, свет ударил в лицо Лазурьки. Он отвернулся.

— Глупости городишь... Не на ту дорогу повернул. У Пискуна среди зимы льдом не разживешься, а ты хочешь с его помощью достаток добыть. Дура! Почему с ним договор не заключил?

— Я же не в работниках... А вообще, чего прискребаешься?

— Стало быть, не в работниках? Хозяин? Так почему же ты, хозяин, пашешь земли, которые не наши? Еще прошлой осенью они к ним вот, к бурятам, отошли. Так же, Ринчин Доржиевич?

— Так, подтвердил бурят. Коммуну тут делать будем. Большое общее хозяйство делать.

— Ты меру шуткам знай! — рассердился Корнюха.

— Какие уж тут шутки... — Лазурька бросил окуроч, вдавил ногой в землю.

— Дай закурю, — Корнюха взял кисет, оглядел вспаханную полосу.

Пласты земли, сшитой корнями пырея, ровными рядами переваливались через увал, исчезали за ним в логотине.

— Ты почему молчал до сей поры? — после того, как Игнат сжег табак, Корнюха не курил и сейчас, от первой же затяжки, голова пошла кругом, тошнота к горлу подступила бросил папироску. Выждал, когда до соплей наработаюсь? А еще вроде бы друг...

— А ты спрашивал у меня, советовался? — Лазурька поднялся, кинул повод на шею коня, вскочил в седло. Вперед будешь знать, как от своих товарищей откалываться и под кулачьим боком гнездо вить. Будь у тебя договор, сельсоветом заверенный, содрал бы с Пискуна за работу, а теперь получишь кукиш с маком.

Бурят, прежде чем сесть на коня, вынул изо рта трубку, обвел ею вокруг себя, сказал:

— Давай, паря, ослободдай землю.

— Пошел ты к черту! — процедил сквозь зубы Корнюха. Не понял бурят, переспросил:

— Ты как сказал?

— Вали отсюда, а то скажу, не рад будешь! — Корнюха пошел выпрягать лошадей.

В тот же день на взмыленном коне он примчался в деревню и прямо к дому Пискуна. А дом заперт на замок. Сообразил: в поле... Поскакал туда.

Оба Пискуна отец и сын сидели под телегой в холодке, полдничали. Лошади стояли на привязи, хрумкали овес. Над гаснувшим огнем висел на треноге тагана чайник. Не здороваясь, не слезая с коня, Корнюха закричал:

— Ты что же это, старая кадильница, кочерыжка недоеденная, дурачить меня вздумал?

На четвереньках выполз Харитон из-под телеги, заморгал слепенькими глазами непонимающе, с испугом.

— Что приключилось? Сказывай скорее!..

— Зачем чужие земли засеять заставил? А ну, говори, не то дерну бичом вдоль спины рубаха лопнет! Кого дурачить вздумала, старая балалайка!

Пискун тихо засмеялся, придерживаясь за обод колеса, горбатясь старчески, поднялся, сел на телегу.

— Тьфу, как с цепи сорвался! Думал, случилось что. А язык не распускай, не лайся, нехорошо это.

Малость сбитый с толку смехом Пискуна, Корнюха проговорил тише:

— Погляди на него смеется!.. Чему обрадовался?

— Не разговаривай с ним, батя! — подсказал из-под телеги Агапка. — Еще бы он орал на тебя.

— Сиди там! — Харитон болтнул ногой, достал пяткой плечо сына. — На ту землю у меня бумага имеется. Арендную ее у сомонного председателя, у Дамдинки Бороева. Что ты думаешь, дурнее твоего Лазурьки? Как бы не так! — Пискун весь сморщился, засмеялся, но смех у него вышел не заправдашний, силой выдвленный.

— Ты чего-то крутишь, старик. Бумага у тебя, а землю буряты требуют.

— Дак и у них не без горлодеров. Баламутов всяких и там хватает. Но их Дамдинка приструнит. Не все же председатели такие, какого нам бог послал. Сегодня же в улус сбегаю.

— Батя, ты на него, на Корнейку, бумагу переделай.

— А ить верно! — хлопнул себя по острому колену Пискун. — Справно варит твоя голова, сынок. Что, Корней Назарыч, подходит тебе это?

— А за аренду я платить?

— Ни, боже упаси. Только бумага на твое имя будет, чтобы Лазурька не бесился. Я-то для него кость в горле. Тебя же мотать не посмеет. Все будет по закону.

— Ну давай, так сделай. Да смотри не вздумай жульничать! — Корнюха уже остыл и пристращивал Пискуна так, для порядка.

— Чудной ты какой! Зачем мне жульничать, если и по-честному вести с тобой дело выгодно. Могут они и еще к тебе приехать. Но ты живей засевай пашню. Засеешь не сгонят, тут Советская власть за тебя вступится. Ну, теперь смикитил, что к чему? Парень ты ухватистый, не то что твой братуха старший. С тобой мы еще провернем и не такие дела. Есть одна задумка... Ты слезай, покалякаем.

Корнюха сел на телегу. Старший Пискун подал ему кружку чая.

— Пей... Коня-то как уделал, — Пискун осуждающе покачал головой, погладил потный круп лошади. — Беречь надо животную. Она хотя и не твоя, а все же кусок хлеба на ней зарабатываешь. У меня в городе знакомый начальник есть. Посулился мне молотилку достать. Одному мне ее содержать неподсилью. Давай, припаряйся. Еще двух-трех мужиков сговорим, и будет у нас свой купиратив. А?

— На какие шиши я буду покупать молотилку?

— Экий ты непонятливый. Куплю я на свои любезные, но надо, чтобы видимость была, что не моя она. Ты осенью будешь хлеб мужикам обмолачивать. А это живая копейка. Сто суслонов обмолотил три рубля отдай. Ну как, глянется тебе это дело?

Нельзя сказать, чтобы Корнюхе это сильно поглянулось. Слишком уж все заковыристо и не совсем чисто. Но и лишний рубль упускать в его положении было бы дуростью. Сказал нетвердо:

— Вези машину... там посмотрим.

— Машина, скоро будет во дворе.

Возвращаясь на заимку, Корнейка крутил головой, удивлялся. Ну и жох этот Пискун, ну и прохиндей!.. Что ему Лазурька со своей властью? И его, и власть вокруг пальца на дню шесть раз обведет. А Лазурька еще с попреками: «У кулачья под боком гнездо вьешь». Под твоим боком не больно-то совьешь. Власть, она павроде чернильницы-непроливашки, какие у городских ребятишек бывают. В нее чернила заливай хоть ложкой, а обратно будешь доставать по капельке. А что эти капельки, если у тебя ничего нет? Поневоле пойдешь к Пискуну. Да и нет в этом никакого позора. Не разбой, не воровство это, так что нечего Лазурьке с попреками соваться. Каждую копеечку, прежде чем в руки получить, потом своим омоет... И бурятам ничего не сделается, если погодят со своей коммунией. Но прохиндей прав, торопиться надо. А что, если Максимку с Тришкиным конем дня на три-четыре залучить? Здорово будет. Тришка и не узнает, а Лучка, если ему известно станет, слова не скажет.

Корнюха так обрадовался этой мысли, что тут же повернул измученного коня и потрусил на заимку Трифона Толстоногого.

Не сразу согласился Макся помочь брату. Сидел на пороге зимовья, не отвечая Корнюхе. В распахнутые двери степь дышала горечью трав, запахом овечьей шерсти, прелого навоза.

Спутанная лошадь скакала к речке, брякая боталом.

— Ты почему стал таким боязливым, Максюха? — наседал на него Корней.

Брат думает, что он, Макся, боится Тришки. Кабы это! Два дня назад, поздно вечером, когда они с Федоской ужинали у огня, к ним тихонько подъехал всадник. За спиной у него, в свете костра, тускло взблескивал винтовочный ствол, сбоку, оттягивая пояс, топырилась кобура нагана.

— Здорово, мужики! — гаркнул всадник, легко соскочил с лошади, протянул Федоске повод. — Расседлай.

Сам сел на корточки у огня, снял плоскую барашковую шапку.

— Приглашай ужинать.

Придвигайся, Макся впервые видел этого человека. Наголо остриженная голова, короткая черная бородка, реденькие усики нависли над толстой верхней губой. Стигнейка Сохатый!

— Что смотришь, патрет мой ндравится? — Стигнейка сдвинул кобуру, сел, по-бурятски подвернул под себя ноги, широко перекрестился, взял Федоскину кружку с чаем, кусок хлеба.

— Почему не спросишь, кто я?

— Догадываюсь.

— Не боишься? — Стигнейка шевельнул в улыбке толстую губу.

— Видели кое-что и пострашнее.

— До чего смелый парень! — усмехнулся Стигнейка.

— Приходится. На смелого собака только лает, а трусливого в ключья рвет.

— Занозистый ты. Язык у тебя длинный. Слыхал ли, что кое-кому языки укорачиваю?

— Слыхал, как же, а видеть не доводилось. — Макся хотел встать, но Стигнейка надавил на плечо, приказал:

— Сиди! Поговорить с тобой охота. — А сам метнул быстрый взгляд на зимовье, крикнул Федоске. — Неси сюда свое ружье!

— Нет у нас никакого ружья, не бойся. Разве Татьяна пульнет кочергой из окошка. Но не должна бы, она у нас девка смиренная, — Макся чувствовал, что нельзя, опасно так разговаривать со Стигнейкой, а сдержаться не мог, его так и подмывало позлословить, пощипать Сохатого со всех сторон. — Сам подумай, для чего нам оружие? Тебе оно, конечно, нужно...

— Мне, слов нет, нужно, а для чего понимать надо.

— Я понимаю... Для чего волку зубы, рыси когти как не понять.

Стигнейка перестал жевать хлеб, резко поставил кружку на землю.

— Замолкни, щенок! Из-за кого я винтовку который год в руках держу? Мозоли на ладонях набил. Ни бабы у меня, ни хозяйства. Из-за кого?

— Из-за большевиков, думаю.

— А то из-за кого же?

— Ну и я говорю из-за них. Они тебя к Семенову служить погнали. Они заставили с самыми подлыми карателями спознаться. Все они, большевики да комиссары красные.

Не понял Стигнейка скрытой насмешки или пропустил ее мимо ушей, подхватил:

— Да, они всю жизнь изуродовали! Я уже тогда видел, куда приведут комиссары. Но ничего, им тут житья не будет. Уж цари ли не гнули, не ломали семейщину, проклятое никонианство навязывая, а что вышло? Большевики хуже Никонки-поганца. Совсем веру извести хотят. Пусть попробуют! Зубы обломают.

— Едва ли... Не верой одной сыт человек. А потому ни тебе, ни другим не поднять людей за двуперстный крест. Теперь, после войны, люди с понятием стали.

— Ты рассуждаешь, как партийный, — зло прищурился Стигнейка.

— А я, может, партийный и есть...

— Да нет. Кто у вас партийный, я знаю. Все они у меня помечены. Ты красненький, да и то с одного боку, с другого еще зеленый, незрелый. Но помни, чуть чего, не погляжу, что молодой.

К огню подошла Татьяна, опасливо покосилась на Стигнейку, собрала пустую посуду, унесла в зимовье.

— Лукашкина сестра? — спросил Стигнейка, провожая ее взглядом. — Ничего, бравенькая деваха.

— Ее не задевай!

— Ишь ты, сердитый... Ну давай, веди меня ночевать.

В зимовье Стигнейка проверил, не открываются ли окна, велел Татьянке наладить постель на полу у порога и, не раздеваясь, лег спать. Сказал, вынимая из кобуры наган:

— Ненадежный ты парень. А мне сказывали: ерохинские ребята ничего. Ты ненадежный, зато умный, сообразишь, что стоит брякнуть обо мне где не надо, и твоя шмара длинноносая, твои братья и ты сам сразу же получите по конфетке, от которых кровью рвет. Понятно? Каждый твой шаг мне будет известен. Лазурька охрану каждую ночь выставляет, поймать меня хочет. А я лучше самого Лазурьки знаю, где, за каким углом его караульные дремлют.

До полночи не мог заснуть Макся. Из всего разговора с Сохатым больше всего запало в душу вскользь оброненное замечание: «Ерохинские ребята ничего». Мразь, дерьмо собачье, с каких это пор красные партизаны стали для тебя ничего! Не было, нет и не будет у нас с тобой мира, бандюга! Но кто ему сказал такое? Когда, чем дали братья повод для такого навета? Может, тем, что, в хозяйстве увязнув, ничем не помогают Лазурьке? Или хуже что? Да нет, не должно... Ну да ладно, с этим потом разберемся. А сегодня я тебе, поганец, покажу, какие они, «ерохинские ребята».

К боку Максима жался Федоска. Боялся парнишка. Макся обнял его, шепнул: «Спи, ничего не будет». И Федоска заснул. А Татьяна не спала, это Макся чувствовал по ее дыханию. Она лежала тут же, на нарах, у печки. Он протянул к ней руку. Татьяна схватила ее обеими руками, крепко сжала.

Сохатый спал, слегка посвистывая носом. Макся обдумал, как будет действовать. В трех шагах от нар, в подпечье лежат березовые поленья. Добраться до них. Потом на цыпочках к Сохатому. Хватить разок по голове не дрыгнет. Только бы не промахнуться!

Освободив руку, Макся неслышно сполз к краю нар, спустил на пол босые ноги, встал.

— Куда? — в темноте шелкнул предохранитель.

— Пить хочу, — Макся протяжно зевнул. — Тебе, поди, докладывать об этом?

— Да!

— А если по нужде? Тоже?

— Да!

— И по какой нужде уточнять?

— Ложись!

Макся зачерпнул из кадки воды, попил для отвода глаз, вернулся на нары, досадуя на кошачью чуткость Стигнейки. Татьяна подползла к нему, дыхнула в ухо:

— Не вздумай чего, Максюшка. Я боюсь.

— Трусиха? — так же тихо спросил он.

— Ага. Погляди, какие у него глаза. Оледенелые.

— Эй вы, я не люблю, когда мне мешают спать! — крикнул Сохатый.

— Тебе твой страх мешает... — Ладонью Татьяна закрыла ему рот.

— Молчи, Максимушка, молчи ради бога! Не зли его, родимый...

На своей щеке он почувствовал ее губы робкий поцелуй. А может быть, ему только показалось, может быть, Татьяна невзначай прикоснулась губами?

Утром Стигнейка все время разглядывал Татьянку серыми, выстуженными глазами, разглаживая пальцем усики.

Уезжая, сказал:

— Буду, видно, наведываться сюда... Так ты, еще раз говорю, не звякай обо мне. Иначе смерть! И воду пей с вечера.

...Все это сейчас вспомнил Максим. В другое время он бы с радостью помог Корнюхе. Но как теперь быть? Как оставить на заимке Татьянку и Федоса без взрослого мужчины? Правда, он послал Федоса в деревню, предупредить Лазурьку, и председатель велел пока что помалкивать, не говорить никому ни слова. Что он там задумывает, кто его знает. Пока подготавливается, Сохатый может не раз побывать на заимке. А поди угадай, что у него на уме.

Корнюха, не зная, как истолковать молчание брата, обиженно спросил:

— Да ты никак подсобить мне не хочешь?

Почему же не хочу. Но не знаю... Как думаешь, Танюха? — взглядом спросил, боится ли она остаться с Федоской. «Боюсь», ответили глаза Татьянки. Но сказала другое:

— Поезжай, Максим. Все будет хорошо. Нет, правда, поезжай. С работой мы одни справимся.

— Ну хорошо, поехали.

Только дорогой Корнюха рассказал Максе об истории с землей, да и то не все рассказал, а так, самое необходимое. Макся все это не одобрил.

— Надо же, впутался! — сказал он. Пискун тебя приберет к рукам.

— Не такие у него руки, чтобы меня прибрать.

И нотки самохвальства, проскользнувшие в голосе Корнюхи, не понравились Максиму. Повернулся к нему.

— Отгадай, братка, загадку. По-бычьи мычит, по-медвежьи рычит, а наземь падает, землю дерет.

— Это про кого же? Должно, зверь какой-то. Тигра, может?

— Нет, не тигра. Жук. А тигром кажется, да?

— Ты опять что выдумал? — забеспокоился Корнюха. — Разговаривай, как все люди, брось эту моду слова вверх дном переворачивать. Иной раз трудно с тобой говорить.

— Не все легкое хорошее, ты и без меня это знаешь, а все равно богатства хочешь одним прыжком достигнуть. Не то на ум себе взял, братуха.

— Ну-ну, поучи. Игнат с одной стороны, ты с другой... Так я скоро стану умнее вас обоих. Корнюха тронул коня, поскакал рысью.

В седле сидел он ловко: черные, с землей под ногтями руки крепко держали поводья, пузырилась на спине припыленная рубаха. Каким-то особенно крепким, сильным показался сегодня Корнюха Максе. Даже недельная щетина на его щеках и та как бы подчеркивала здоровье засмуглевшего лица. Если уж Макся завидовал чему, так это могучности своих братьев. Что Игнат, что Корнюха каждый сильнее его раза в два. Он решил не возвращаться к затеянному разговору, но его возобновил сам Корнюха.

— А ты что, братка, за то, чтобы мы дальше бедствовали? — Корнюха придержал коня.

— Не так уж мы и бедствуем... Но я о другом думаю. Скажем, ты разбогател. А дальше что?

— Нашел об чем спрашивать! Жить буду.

— Как жить? Как Пискун? Или Тришка, Лучкин тесть?

— Что ты меня с ними равняешь! Оба рылом не вышли, чтобы по-человечески жить. На это у них толку не хватает.

— Да нет! Понять меня не хочешь... Стал ты, например, богатым и начнешь ездить на работниках, на родственниках неимущих. Как другие делают. А против кого мы воевали?

— Ну ты и хватил! — засмеялся Корнюха, потом задумался, тряхнул головой. — А хошь бы и так... В бога нас верить отучили, на рай я не надеюсь, а жизнь у меня одна-единственная, запасной нету. И никто мне эту жизнь хорошей не сделает, если сам не постараюсь.

— А какая жизнь хорошая?

— Это и вовсе понятно, — не задумываясь, ответил Корнюха. — Когда у тебя всего вдоволь в самый морозный день ясно. Нужда человека не красит, озлобляет. Возьми Петрушку Трубу. Помню его молодым. На вечерках, бывало, наяривал на гармошке любо-дорого. Епистимея, баба его, голосистая была, заведет песню за сердце берет. А намедни я ездил на мельницу, чаевал у них. В избе грязно, ребяшня в рвань... Про гармошку и песни не упоминают. Какие уж там песни! Их ругань заменила. Грызет Петрушку баба с утра до ночи. Обида ей, мужик детишек понаделал, а прокормить не может. И вот ведь что худо, привык Петрушка к нужде и к бабьему скрипу, живет, будто так и надо. А я бы к этому не привык. Я лучше удавлюсь, чем так жить.

На этот раз Максим промолчал, не нашел, что сказать в ответ. С одной стороны, прав Корнюха, слов нет. С другой, неладное что-то в его рассуждениях. Взять Лучку. Уж у него-то все есть, живи, радуйся. А не может он радоваться, ест ему нутро какая-то болячка. Разворот ему нужен, воля нужна. Но воли ему не видать, даже после смерти Тришки. Хозяйство забот требует, чуть опусти руки уплыло. Или вон Стишка Белозеров, его, Максима, однолеток, секретарь Совета. Самостоятельно грамоту одолел, писать протоколы лучше всех научился, первым в деревне иконы с божницы скинул. Богатству Стишка не завидует, больше всего тешит его душу то, что он власть, что сила за ним стоит огромная. И люди чувят это, величают не по летам: «Стефан Иванович», хотя совсем недавно был просто Стишка Клохтун. Корнюха одно, Лучка другое, Стишка третье, Игнат четвертое... Каждый ждет от жизни чего-то своего, каждый в свою сторону тянет. Может, потому-то и живет до сих пор Стигнейка Сохатый, топчет землю сапогами, запачканными людской кровью.

По кремнистой тропе они поднялись на сопку, вспугнули стадо баранов. На вершине другой сопки сидел Федоска, рядом девчушка-бурятка в длинном старом халате и островерхой шапочке с красной кисточкой на макушке. Эту девчушку, пастушку из улуса Хадагта, и Максим и Татьяна не раз видели вместе с Федоской. Шутили: «Женись на ней». Федоска вспыхивал маковым цветом, бурчал: «Да ну вас!..»

Максим направил коня к ним. Оба вскочили, роняя на землю цветы ургуя. Девчушка глянула на Максима черными-черными, как угли, глазами, резко взлетела на лошадь и галопом поскакала за сопку.

— А что она убежала? — спросил Максим.

— Откуда же я знаю. Приехала, уехала, какое мое дело.

— Я уезжаю дня на три-четыре... Ты тут посматривай. В случае чего дуй на заимку Харитона Пискуна. Знаешь, где она?

— Знаю.

Почти одновременно с братьями на заимку прискакал Агапка.

— Батя бумагу выправил. Он подал Корнюхе вчетверо сложенный листок.

Тот развернул его, быстро глянул на подпись, на печать и спрятал в карман.

— Хавронья, мне с тобой поговорить надо, — Агапка вышел на улицу, Хавронья побежала за ним.

Корнюха достал бумагу, не торопясь прочитал, сказал с завистью:

— Да-а, Харитон мужик сильный.

Агапка уехал, не заходя больше в зимовье, а Хавронья вернулась расстроенная, села на лавку, всплеснула руками:

— Вот горюшко какое! Присоветуйте, ребята, что мне делать. Агап Харитонович последнее слово сказал, если дочка до осени не придет, он на другой женится. А я ее сюда залучить не могу. Домишко не продает, в работники нанялась.

— А что он сам туда не поедет, не посватает? — спросил Корнюха.

— Зачем же он поедет, если она за него идти не хочет? Тут-то бы она не отвертелась.

— Не хочет, зачем неволишь? — сказал Максим. — Жизнь ей погубишь, больше ничего.

— Ты молодой еще, в жизни мало понимаешь. Свои дети будут, тогда узнаешь. Каждому родителю хочется свое дите лучше

пристроить. Такого жениха упустить да ты в своем ли уме, парень? Поеду я к ней. Ты тут один побудешь? — спросила она Корнюху.

— После сева...

— Отпусти сейчас. Привезу ее. За косы притяну, если добром не пойдет. Отпусти, голубчик!

— После сева, может, что-нибудь сделаем, — нахмурился Корнюха.

— После сева? Да у меня за это время вся середка выболит.

— Ничего твоей середке не сделается. Сейчас даже не думай. Тебе же коня надо? Надо. И коров без присмотру не оставишь. И доить их надо.

— Брательник твой попасет. На коне попашешь, а подоить уж как-нибудь вдвоем подоите.

— Правда, что волос длинный, а ума ни черта нет. Распределила! Затем только и позвал Максюху, чтобы ты по гостям разъезжала. Пошли, Макся, запрягать.

Хавронья горестно сложила на груди руки, в ее глазах заблестела влага. Максим задержался в зимовье, ласково сказал:

— Вы не печальтесь, мать. Никуда Агапка не денется. И не надо отдавать дочку силой.

— А что же, ждать, когда за голодранца выскочит?

— Не любит же она его...

— Ха, любовь... Про нее говорят мужики, когда к девке или вдовушке подлаживаются, а что любовь, если баба его собственная.

Корнюхе Максим сказал:

— Ты бы с ней как-то по-другому говорил...

— А ну ее к черту, кобылу старую! На чужое добро рот разевает, а укусить не может зубы сношены.

Сказал это Корнюха со смехом, но все равно Максе стало за него неловко. У Хавроньи, конечно, дурь в голове, а все же нельзя с ней так...

Проработал Макся на заимке три дня. На несколько рядов проборонил пахоту, выдирая из земли белые корни пырея. А Корнюха все пахал и пахал. Он бы, наверно, дай ему волю, распахал все увалы.

Работу кончили вечером. Край неба на западе был схвачен зоревым пламенем, пыль, поднятая бороной, красная в лучах закатного солнца,

медленно плыла над увалами, тонула в зелени леса. Корнюха вытирал подолом рубахи потное лицо, смотрел на черный бархат пашни.

— Ишь сколько мы с тобой наворочали! Эх, кабы это поле да было нашим... Но ничего, братуха, будет урожай в накладе не останемся. Ты, может, еще побудешь день-два?

— Нет, братка, надо ехать.

Собрался уезжать, на заимку прискакал Лазурька.

— Я тебя разыскиваю, — сказал он Максимке. — Был на заимке, сказали ты тут...

— Зачем он тебе? — насторожился Корнюха.

— Есть одно дельце... А ты меня не послушался-таки. На себя будешь потом пенять, Корнюха.

— Ничего, обойдется, — Корнюха достал бумажку, развернул, не выпуская из рук, показал Лазурьке. — Ну как? Что ты теперь скажешь?

— Чудно что-то... — удивился Лазурька. — Дай мне бумагу.

— Э-э, нет! Бумагу я бы и батьке родному не дал. А тебя попрошу, Лазарь, ради нашей дружбы не шабутиться. Даешь мне слово?

Лазурька помолчал, поиграл пальцами на столе, поднял глаза на Корнюху.

— Сам смекаешь, что не все тут ладно? Тем хуже для тебя, Корнюха. Не буду я это дело ворошить, буряты и сами как-нибудь разберутся. Но учти: попадешься со своими хитроумными увертками худо тебе будет. Поехали, Максим, провожу тебя малость.

Солнце уже село, на красном небе горел один тонкий луч, будто кто огненным резцом черкнул. Но и тот луч быстро укорачивался, наконец исчез. Заря стала густеть, обугливаться по краям, уменьшаться.

— Завтра будет ведро, сказал Лазарь. Я что к тебе... Возьми эту штуковину.

Он достал из кармана вороненый револьвер, крутнул барабан, подал Максиму. Из другого кармана достал горсть патронов.

— Сгодится. Это мой партизанский, у офицера отобрал.

— Дарю тебе.

— А как же ты? Тебе он нужнее.

— У меня еще есть. Стигнейку, если удастся, попытайся взять живым. В самом крайнем случае прихлопнуть можно. Очень он живой нужен. Не можем никак под его корешков подкопаться. Ты Корнюхе ничего не говорил?

— Нет.

— И не говори. Не надо.

— Ты что о нем так?.. Ты это бросай, Лазарь. Я ему не говорил и до времени не скажу, порядок знаю, но подозревать...

— Не подозреваю я, чего ты вскипел! Не его подозреваю. Пискуны, чувствую, Стигнейке опора. А уличить нечем. Ни их, ни других. Кто-то из наших им все разговоры передает. Тяжело, Максимка. Говоришь с мужиками, а у самого на уме: может, этот, может, тот вон ночью в кулацкий дом наши задумки крадучись понесет. Друзья старые не все понимают, одно у них на уме хозяйство. И ячейка маленькая, трое нас всего: Абросим Кравцов, Стишка да я. Лазурька натянул поводья. Поверну тут домой... Поезжай. Будь осторожен с тем гадом. На разговоры не набивайся. А то мне Татьяна рассказывала... И вот что, Максюха, главное... Пиши заявление в ячейку. Ты еще в партизанах, помню, собирался.

— Было такое. Потом меня царапнуло, отлеживался...

— Надо, Максюха... Будет собрание дам знать. Ну, удачи, дружище!

Рассыпав частый цокот подков, Лазурька ускакал. Макся посмотрел на проступающую из тьмы звездную сыпь, вздохнул. Надо бы поговорить, а он уехал. Но, поди, и лучше так-то. Тут своим умом решать надо, без пособников. Когда ходил с братьями на заработки, был рад, что не вписан в партию. Только бы числился... Теперь, кажись, подошло время выбирать свою дорогу. Не одобряют его выбора братья. Нехорошо как! Завсегда вместе были, а тут вроде подошли к расстаням и дальше каждый свой путь держит.

Подъезжая к заимке, он не увидел огня, не услышал лая собаки. Встревожился, погнал лошадь галопом. Подлетел к зимовью, спрыгнул с седла. На стеклах слепых окон мерцали, отражаясь, звезды, за пряслами двора сопели овцы, на огнище красным глазом светился горячий уголь.

На стук за дверью откликнулась Татьяна. Голос ее прозвучал испуганно. А он, радуясь, закричал:

— Я это, я!

Откинув крючок, Татьяна зажгла лампу и, кинув за плечо косу, вся потянулась к нему, будто стебель ковыля под ветром, но застеснялась, попятилась к столу, оперлась о его кран руками.

— Таня... — это слово вырвалось у Максимки само собой. Впервые он ее назвал так — Таня. И прозвучало ее имя совсем иначе.

С нар соскочил Федоска, сел на лавку у стола, проговорил:

— Думал: он, стук такой, резкий...

— Кто он? На минутку Макся совсем позабыл о Сохатом, но тут все вспомнил, похолодел: — Опять наведывался?

— Сегодня был. Только что уехал.

Макся невольно потянулся к карману, оттянутому револьвером.

— Татьянка, это правда?

Ага... Только уехал Лазарь Изотыч, он и заявился. Едва разминулись. А я тут одна, Федос-то на пастбище был.

— Ну и что? — торопил ее Макся.

— Про тебя спрашивал. Собаку застрелил. Буду, говорит, к вам ездить, так чтобы не гавкала. Ужинал здесь... — Татьянка замялась, замолчала. Она чего-то, кажется, не договаривала.

Макся попросил Федоса расседлать коня и, когда он вышел, спросил:

— А еще что? Все говори, Таня, все...

Даже при тусклом свете лампы было заметно, как вспыхнуло лицо Татьянки, она потупилась, кашлянула.

— Он... он лез обниматься... Такой охальник. А руки у него потные, склизкие. Бабой, говорит, моей будешь, обвенчаюсь с тобой.

Макся сел, долго молчал, стискивая кулаки.

— Стерва! — наконец сказал он. — Я его обвенчаю с гробовой доской!

— Боюсь я, Максим. Страшно... Татьянка поежилась.

— Ничего, Танюша, ничего... Он взял ее за руки, усадил рядом, обнял за плечи. — Теперь я вас одних не оставлю.

Игната разбудил дождь. Звонкие струи расхлестывались о стекла окон, дробью сыпались на крышу. Во дворе тускло светились заплаты луж, на них плясали дождевые капли, вздувались и лопались пузыри, за воротами в канаве вспенивался ручей. Все небо было затянуто сумеречью. Дождь вроде бы окладной. Слава тебе, господи, помочка добрая будет. И передохнуть можно. Устал Игнат за вешнюю до смерти.

Не торопясь, позевывая, он оделся, пошел доить корову. Сарайчик протекал, корова чуть ли не по колено стояла в раскисшем навозе. Надо было дранья надрать и поправить крышу, а когда? Хлеб, правда, посеял, но зеленка на очереди, пары, а там уж и сенокос не за горами, за сенокосом страда. Зря, видно, послушался тогда Корнюху, отказался от женитьбы. С Настей жилось бы куда как легче. Теперь она почти не помогает, самому надо и коровенку доить, и убираться. Хочешь не хочешь вставай ни свет ни заря и принимайся за муторную бабью работу, да спеша, а то в поле выедешь позже всех, и мужики просмеют. Вечером всем другим! отдых, а ему снова домашняя маета. Кроме всего Лазурька. То и дело гонит в ночной караул Стигнейку ловить. Пока что Стигнейку ни один караульный в глаза не видел, не дурак он, Стигнейка-то. Но все-таки польза от караулов есть. Воровство поубавилось, давно никто не шарит по амбарам, по омшаникам. Это хорошо. Это Игнат одобряет. Тяжело только без передыху, шибко тяжело. Эх, зарядил бы дождик дня на два-три, то-то поспал бы...

Корова в грязи стоять не хотела, переступала с ноги на ногу, головой вертела, норовя поддеть его рогом. Но он на нее не злился, почесывал мокрый бок, уговаривал:

— Погоди маленько, Чернуха, сейчас на волю выпущу. Погоди... Не глянется хозяин? Настюха, конечно, обходительнее, но видишь, как с ней получается.

Выпустив корову на выгон, Игнат за воротами постоял, поджидая, не покажется ли во дворе Изота Настюха. Но за глухим заплотом было тихо, должно, успели убраться. Вон из трубы дымок тянется, стало быть, печку топят, Настюха, может, блины к чаю стряпает. Пойти бы к ним, да все равно не поговоришь при людях, если уж без людей,

наедине ничего ей не мог сказать. — Сколько раз собирался, но все откладывал. Опасался: ну как получит полный отказ, тогда что? Потихоньку выпрашивал у молодых ребят, не гуляет ли она с кем нет, не гуляет. Когда так, тянуть нечего, сказать ей все, а там будь что будет. Ей и разжевывать не надо, чуть намекнуть, дальше сама обо всем сдогадается. Верится, не оттолкнет его Настя, не позарится на другого. Сегодня она придет, в другие-то дни ей некогда, тоже в поле работает. Придет ли? Если придет, все будет хорошо, если нет...

Оттого, что льет дождь и можно отдохнуть, от ожидания встречи с Настей, Игнату было как-то по-особому хорошо. Возвращаясь в избу, он снял шапку, поставил голову под струю воды, сбегавшую с крыши, умылся. Дома навел полный порядок, ножом выскоблил пол, посыпал его речным песком, затопил печку. И ему почему-то все время казалось, что сегодня не просто вынужденная передышка, а праздничный день.

Все сделав, лег на кровать, но не спал, лениво потягивался, смотрел в окно, слушал то затухающий до тихого шепота, то буйно вскипающий шум дождя. Над селом низко-низко плыли тучи, их растрепанные космы местами свешивались почти до крыш, почти цеплялись за трубы. Свет был серый, вялый, а в избе радовала глаз желтизна песка на полу, сухое потрескивание дров в печке, всплески отсветов огня, играющие на стене.

Когда под окном кто-то прошлепал по лужам и стал подниматься на крыльцо, Игнат вскочил, одернул рубаху. Но гость был неожиданный. Пришел Стишка Клохтун. Держась за скобу двери, сказал:

— Собрание бедноты сегодня. Приглашаем.

Стишка, наверное, обегал всю деревню, ичиги его были заляпаны грязью, рыжий, выношенный зипун мокро повис на худых плечах, тонкие губы посинели от холода. Жалко стало парнягу.

— Садись к печке, обсушись, не то простынешь.

— Некогда мне. Вот если чаек горяченький...

— Есть. Зеленый, по-бурятски заваренный.

— Тем лучше, — не вытерев ног, не сбросив зипуна, в шапке Стишка сел к столу. На желтом полу остались грязные пятна, скатерка па столе под его локтями потемнела, стала мокрой.

Не сдержался Игнат, взглядом показал на следы, на скатерть, упрекнул:

— Экий ты неаккуратный. Скинь хоть шапку.

Чуть-чуть, про себя усмехнулся Стишка, но шапку снял. Торопливо глотая горячий чай, он оглядывал избу острыми ястребиными глазами, ни на чем долго не задерживаясь, лишь на иконах остановился, его брови, высветленные солнцем до цвета спелого овса, дергаясь, взъехали на высокий лоб.

— Для чего они у вас?

— Для того же, что и у всех, — с неохотой ответил Игнат.

— А еще красные партизаны! — брови съехали на свое место и распрямились в стрелочки. — Экая невежливость и культурная недоразвитость.

— Чего бормочешь?! Игната удивила беззастенчивость Стишки.

— Сними ты эти доски, не пачкай своего звания.

— На свой куцый аршин примеряешь? Сперва переживи хоть половину того, что нашему брату досталось.

— Переживали много, учились мало что толку?

— Уж не ты ли научился?

— Учусь... Каждый день самопросвещением занимаюсь. Иначе теперь нельзя.

— Ну и занимайся на здоровье, может, будет какой толк впоследствии. А пока не шебарши про свою ученость, она у тебя пока что, как у зайца хвост вроде есть, вроде нету. Скажи-ка, если ты такой ученый, что главное в человеке? Чем он разнится от животного?

— Могу, конечно, разъяснить, но это дело долгое и опаска есть: не все поймешь.

— Я, по-твоему, полудурок? — спесивость Клохтуна и забавляла, и сердила Игната.

— Не полудурок, но отсталости в тебе много. В бога, наверно, еще веришь? Молишься?

— И верю, и молюсь.

— Ну вот... Однако смотри, Игнат Назарыч, не завели бы тебя молитвы и эти деревяшки, через плечо Стишка ткнул пальцем в сторону божницы, прямехонько в кулацкий табор. Для них партизан с затуманенной башкой находка.

— Другому такое ляпнешь поколотит.

— Отошло времечко колотить. А богов, боженят, прислужников ихних вскорости поганой метлой из села выметем. Не жди этой поры, худо может обернуться...

— Припугивай других, парень!

— Я не припугиваю. Из уважительности к вам, братьям Родионовым, говорю.

— Оно и видно... Таким манером мало кого возьмешь. Ты, ученая голова, когда-нибудь думал, почему атаман Семенов в восемнадцатом году Советскую власть сбросил? Легко сбросил, но сам не удержался. Я не ученый, а скажу. Когда казачий чехи белые красногвардейцев били, наши мужики в стороне держались не успели понять, какая она есть, Советская власть. Нам мол что ни поп батька. Ну, пришел Семенов. Засвистели плети, зачали казачки с мужичьего зада кожу спускать. Тут мужик очухался, поумнел и Семенова, и его японских пособников погнал.

— Ну и что?

— А то, что не любит мужик, когда его за горло берут или плетью по спине ласкают. Ты мне свою правду так выложи, чтобы я ее мог пощупать со всех сторон. Поверю в нее умом и сердцем, сам от всего откажусь и приму твою правду. А то сидишь, то да се плетешь, но разговор у тебя легкий выходит, как дым от папиросы: дунул и нет ничего.

Неулыбчивое Стишкино лицо, продолговатое, худощавое и остроносое, слегка порозовело. Резким движением он отодвинул стакан, сказал со скрытым значением:

— Разговор у нас пока, может, и легкий, но рука всегда тяжелая.

— У вас? Говорил бы ты, Стиха, про себя...

За Стишку, за его настырность неловко было Игнату. Говори так, к примеру, Лазурька, все было бы на месте. Когда ждешь еженощно пули в затылок, поневоле ожесточишься. А этот крови не видел, лютости людской на себе не испытал с чего такой взъерошенный? Топыритя индейским петухом, а в суть жизни проникнуть ему не под силу, слаб еще умишком. Хотя есть, видно, умишко, раз книжки почитывает. Или одного ума тут мало, еще что-нибудь требуется?

По дороге в сельсовет, думая об этом, он спросил Стишку:

— Вот ты больше всех бегаешь, новые порядки затверждаешь с чего? Мы за новую власть жизнь свою отдавали, потому она нам дорога. А что тебе дала власть? В бедности жил до этого, в бедности живешь сейчас.

Стишка натянул Поглубже мокрую шапчонку, буркнул:

— А-а, разве ты поймешь?..

— Что ты заладил: не поймешь, не поймешь.

— Конечно! Вы раньше жили крепко. Тебе не приходилось вплоть до снегопада ходить босиком, греть ноги в свежем коровьем дерме. А мне приходилось. Да не в этом беда. Мы всю жизнь коров пасли. Бывало, всем праздник, нам нет. В праздник есть обычай пастуху угощение давать. Идешь по улице, собираешь коров, а тебе из окошка кидают, кто тарку, кто калач, кто кусок мяса жареного. Ловишь на лету, будто собака, а потом гостинцы те в горле застревают. И это не беда. За человека тебя не считают... Здороваешься, клянешься, а тебе кивнут ладно, а то и так, будто мимо столба, пройдут. Но теперь посмотри! Пискун передо мной за десять сажен шапку ломает. Тришка Толстоногий и тот при встрече в улыбке зубы оскаливает. Знаю я, что у них на уме, когда со мной так здороваются. Да мне то что!.. Чуешь теперь, на какую высоту меня подняла Советская власть, с кем поравняла? Сила во мне сейчас такая, что любого из супротивников как спичку сломаю. За одно это я для Советской власти горы переверну.

В сельсовете густо пахло сырой одеждой. Мужики тесным полукругом сидели у стола, забрызганного чернилами. Лазурька говорил о машинном товариществе «Двигатель». Организовали его год назад, но дальше дело не пошло.

— Не пошло, мужики, застопорилось. А почему о том лучше других знает Еремей Саввич.

Ерема развел руками.

— Все на ваших глазах было, я-то при чем? Записались, считай, все, но стали собирать взносы взапятки. Еще вступительные так-сяк собрали. Пятьдесят копеек с хозяина... А паевые поболе, пятерка. И пятерку никто не внес...

— Совсем никто? — спросил Лазурька.

— Совсем! В том-то и дело.

— У тебя память никудышная. Пискун внес, Трифон...

— Я и говорю: они внесли, а из бедноты никто.

Мужики засмеялись. Тараска негромко, по так, что все услышали, сказал:

— Вывернулся! Как намыленный...

— Чего там зеваешь, дурак! — озлился Ерема и сел.

— А дальше что? — не отставал Лазурька.

— Да ничего! — сердито ответил Ерема. — Нет взносов нет товарищества. На что купишь машины?

— Не пузырься! — жестом руки Лазурька как бы отстранил его. — Вроде бы неладно получается, мужики, что я каждый раз Еремея щипаю. Но как иначе? О товариществе он не хлопотал, взносы собрать не удосужился. И потом, вслушайтесь: то-ва-ри-ще-ство, хотя и машинное. А какие нам товарищи Пискун и ему подобные? Для чего их приголубил?

— Думал: у них деньги...

— Где они, деньги, тобой собранные?

— Взносы? У меня, целехонькие лежат, можете не сумлеваться.

— Бедняцкие взносы сдай в Совет, кулацкие пятерки верни. Советская власть, мужики, кредит нам отпускает, то есть, по-русски говоря, денег займы дает. Какую машину на них купим?

— Трактор! Петруха Труба вытянул длинную шею. — Пусть хоть люди поглядят, что это такое.

Мужики подняли Петруху на смех.

— Кого на трактор посадим тебя, что ли?

— Нет, бабу его!

— Бросьте, мужики, зубы скалить! прекратил веселье Лазурька. — Трактор нам пока еще не под силу. А вот молотилку...

— Харитон уже купил, — подал кто-то голос.

— Пусть. Куда он с ней денется, когда у нас своя будет, хотел бы я знать? Лазурька недобро усмехнулся. — Теперь так... На этом дело сворачивать не к чему. Мы на ячейке покумекали и решили, что надо сообща засеять несколько десятин зеленкой. Осенью ее продадим, и у товарищества своя копейка заведется, добавим и еще что-нибудь купим. В будущем году тоже совместно хлеб посеем снова копейка.

С Лазурькой согласились без лишних разговоров, и он закрыл собрание. Не привычно было, что оно кончилось без шума, ругани, бестолковщины. Тихо-мирно все порешили.

Мужики не расходились. Разговаривали, разбившись на кучки. И разговор был о том же о молотилке, о товариществе.

— Ловкая штука машина. Цепом-то пока снопы обколотишь, без рук останешься.

— Не в том гвоздь, что без рук. Быстро. Раз-два и засыпай хлебушко в закром.

Кому-то втолковывал Лазурька:

— Не одной машиной нам дорого товарищество. Вместе робить научимся и через это без крику перейдем к коммуне или колхозу.

В углу Тараска Акинфеев смехом заливался:

— Пискуна, мужики, кондрашка хватит. Ей-богу! Молодец все-таки наш Лазарь!

— Оно, конечно, голова Лазарь. А главное, Советская власть, — уточнил Ерема.

— Само собой власть. Но ты тоже председательничал. Прибытку от тебя было, как от быка молока. Председатель!.. Собрал денежки и затаился, будто гусь в траве.

— За такие слова по харе съезжу! — Ерема шагнул к Тараске.

— Она у меня мягкая, не больно будет, — с хитрой улыбочкой Тараска погладил свои пухлые щеки, ушел от Еремы и, подозревая Игната, зашептал: — Идем ко мне обедать. Первач имеется знатный. Лазурьку сговорим.

Насилу отвязался от него Игнат, пошел домой. Там, может быть, уже ждет Настюха.

На улице его догнал Ерема.

— Что тебе Тараска на ухо шептал? Про меня?

— Совсем про другое...

— Сказать не хочешь... Ерема уныло горбатился под дождем, прятал в воротник клочковатую, с рыжинкой, будто ржавчиной прихваченную бороду.

— Вы, конечно, все друзья-товарищи. Меня отшибли. Все думаете: сдзертировал из отряда?

— Никто этого не думает, что ты, бог с тобой!

— Будто я не знаю... Партизан я, как и вы. Кровь свою пролил, а какой-то гад слушок пустил, будто из-за поноса отстал от партизанства. У меня сроду поноса не было.

Игнат, веривший до этого больше Ереме, чем злоязычной болтовне, вдруг засомневался в его правдивости. Но виду не подал. Как ни застилай брехней людям глаза, сам-то будешь знать истинную цену себе, сам себе не соврешь.

Ерема до того разговорился, что прошел мимо своего дома, а когда спохватился, назад не повернул.

— Зайду к тебе? Можно? — он спросил с вызовом, а в лице, в глазах было что-то приниженное, тоскливое.

«Экий чудак, сам себя мает», подумал Игнат. Бывают же люди, из кожи вылупиться готовы, чтобы в глазах других себя возвысить, всякие пустяки с ума сводят, обижаются там, где никто не обижает.

В избе Ерема что-то примолк. Скажет два-три слова и смотрит в окно на серое взлохмаченное небо, и на лице у него все густеет, густеет тоска. Стараясь расшевелить его, Игнат заводил разговоры и о том, и о другом... Ерема вроде бы и отвечает, а видно: на уме свое. Будто и хочет что-то сказать, но не может или боится. Уже надоедать стало все Игнату, уж и не знал, о чем с ним говорить, но тут Ерема спросил сам:

— Как думаешь, будет польза мужикам от того, что Лазурька делает? Не обдурит нас?

— Как же он обдурит? И зачем?

— Да, да, конечно... А ты веришь, что жизнь будет лучше ранешной?

— Должна быть лучше. Сколько крови пролито, жизнью сгублено за нее.

— А если все назад повернется?

— Нет, этому не бывать. Вон какая силища перла на нас, своя и заморская, не повернула.

Ерема помолчал, будто взвешивая слова Игната, согласился:

— Не повернуть, где уж... Вдруг спросил: Живешь не богато? Рублишек десять не одолжишь?

— Нашел у кого просить!

Ерема подался вперед, выставил ржавую бороду.

— Одолжи, Христом-богом прошу. Деньжонки паевые... тютю, нету. По гривеннику, по полтиннику чуть не все вытаскал. Теперь петля.

— Что же ты на собрании заливал? Обскажал бы все, попросил отсрочку до осени. Свои люди же, не лиходеи.

— Попробуй обскажи... Лазурька без того затыркал, везде корит председательством. А что бы я сделал? Рад бы в рай... Ему что, за ним ничего не тянется, куда хочет, туда поворачивает.

— За тобой что тянется?

— За мной? Это я к слову, это я так. Выручи, по гроб жизни помнить буду!

— Пойми, Еремей...

Не досказал Игнат. Открылась дверь, в избу вошла Настя. На завитках ее волос светились дождевые капли, влажные брови казались темнее, чем были на самом деле. Ерему встретить тут она, конечно, не ожидала, смутилась, спросила о чем-то и ушла. Игнат стиснул зубы от досады. Господи боже мой, надо же случиться такому! Ну, не черт ли принес этого Ерему! Теперь она, может, и не придет, и сызнова затянется безызвестность.

А Ерема ждал, что он ему скажет.

— Нет у меня денег! Откуда им быть, от сырости?!

— Не сердись... К кому же мне пойти, как не к тебе?

— Нашел богача! Иди к Тришке или Пискуну.

— Не хочу к ним... — тихо сказал Ерема.

— Может, мне за тебя сходить?

— И верно! — обрадовался Ерема. Попроси у Пискуна, он тебя уважает. Осенью все верну до последней копейки, а пожелаешь, сверх того дам.

Опешил Игнат. Да он что, в своем ли уме? Уж не свихнулся ли?

— Какую ерунду мелешь? С какой стати пойду?

— Нельзя мне с ним, нельзя! — чуть не застонал Ерема.

Игнат пошел в куть, взял сухое полено, принялся щепать лучины. А Ерема все не уходил, все сидел и ждал чего-то. Понемногу досада у Игната прошла, раздражение улеглось.

— Скажи толком, почему сам не попросишь?

— Что я тебе скажу? Нельзя, и все тут. Ну... не дадут. Ерема, кажется, что-то скрывал. Черт его знает, запутался,

поди, до последней возможности и уже не знает, как выпутаться. Грех не помочь в такой момент. Тем более что помощь эта ничего не стоит. И грех на него сердиться из-за Насти. Нет его вины в том, что помешал.

— Ладно уж, попрошу у Пискуна.

— Знал, что не откажешь! Ерема сразу взбодрился, повеселел. — Он тебе одолжит. А я с Лазурькой рассчитаюсь и буду чистеньким. Но ты прямо сейчас иди. Не дай бог, если деньги Лазурька завтра потребует.

Пошел Игнат, но сходил напрасно. Пискун уж достал было из-за божницы узелок с деньгами, уже начал было отсчитывать

замусоленные бумажки, но вдруг прикрыл деньги ладонями.

— Постой... ты для кого денег просишь?

— Для себя...

— Э-э, Игнаша, брось маленьких обманывать! Пискун погрозил пальцем. — Если бы перед севом просил... Сейчас тебе деньги ни к чему. Так я рассудил? Так. Опять же из окошка видел: шел ты вместе с Еремой. А он в долгах, как в шелках. Самому уж и глаза стыдно показывать, подбил тебя. Сознайся, для него просишь?

— Для него...

— Чуть было ты меня, старика, не облапошил. Пискун, довольный, просиявший, сложил деньги, туго затянул узелок. — Никогда, Игнаша, не хлопочи за других. Пусть они сами за себя хлопочут.

— Какая тебе разница, Харитон Малафеевич. Вы мне даете деньги. А зачем их беру мое дело.

— Не-е, у нас так не играют, — посмеивался Харитон. — Но уж если ты сильно за него просишь дам, пусть идет. Только ради тебя.

О собрании Пискун, видать, еще ничего не знал. А то бы не был таким веселым и обязательно привязался бы с расспросами. Игнат поспешил уйти. Ерема, едва он переступил порог, встретил его вопросом:

— Ну как, принес?

Выслушав Игната, сник, пробормотал:

— Пропал я... Видно, уж так на роду написано.

— Да почему пропал? Дает же, что еще?

— Как не дать, даст, — он глянул на Игната с подозрением. — Ты заодно с ним? Сговорился? А я, дурак, перед тобой травкой расстилался.

— О чем ты? Я не понимаю...

— Ты все понимаешь! Все! — Ерема вышел, громко хлопнув дверью.

Но Игнат и в самом деле ничего не понимал. Только на сердце у него стало нехорошо и тревожно. В чем-то промахнулся, не сделал для человека того, что мог, должно быть, сделать.

На другой день вечером зашел к Лазурьке, спросил, вернул ли Ерема деньги. Оказалось, что вернул все до копеечки. Стало быть, сходил все же к Харитону. Это Игната успокоило.

А с Настей ему поговорить так и не удалось.

Не богата красками степь Забайкалья. Зимой все вокруг бело, пусто, только в ветреный день дымятся снежные застрugi. Ранней весной, когда земля еще не успела вобрать в себя тепло, и поздним летом, когда солнце высушило ее до каменного звона, она уныло однообразна, серая от края до края. И сопки тоже серые, как вороха пепла. Но на грани весны и лета, перед наступлением иссушающей жары, вся она сизо-голубая, вся плещется, играет переливами, вся обрызгана белыми каплями ромашек. Под пахучим ветром покачиваются тронутые сединой метелки дэрисуна, па курганчиках у своих пор перекликаются тарбаганы, в глухих логах на солнышке балуются огненные лисята. А воздух такой чистый, такой прозрачный, что, не напрягая зрения, можно разглядеть камни на дальней сопке и степного орла на камнях, рвущего убитого суслика. Но не привлекает орел взгляда Корнюхи. Не слышит он и свиста тарбаганов, не чувствует терпкого аромата трав. Сидит на бугре неподвижно дремлющей птицей, лишь изредка бросит взгляд на коров, щиплющих траву в ложине. Отсюда ему хорошо видно поле, лоскутом зеленого сукна разостланное на голубом увале. Его поле. Его надежда. Его защита от нужды.

И это поле у него хотят отобрать. Поначалу-то все было ладно. На заимку никто не заглядывал и не требовал, чтобы он убрался с чужой земли. С коммуной у бурят, видать, дело не пошло. Корнюха уже думал, что зря тогда поднял тревогу, заставил Пискуна добывать бумажку, но на днях вдруг заявился тот, что весной с Лазурькой был, Ринчин Доржиевич. «Сайн байна!» по-своему поздоровался он и, не слезая с коня, покачал головой: «Э-э, паря, зачем так долго тут живешь? Говорил тебе твой Лазурька-председатель: уходи. Зачем не ушел?» Сунул ему Корнюха под нос бумагу, а бурят читать не умеет, повертел ее в руках, со вздохом вернул. «Не толмачишь? — спросил Корнюха. Аренда. Понимаешь? До конца года земля моя, за нее деньги уплачены. Понимаешь?» Бурят не понимал. «Кому плачены? Пошто плачены?» «А это ты у своего председателя спроси, у Дамдина Бороева спроси. Дамдинка у вас председатель?» Кислым стало лицо у Ринчина Доржиевича, реденькие усики под широким носом обвисли. «Фу, хара

шутхур (*Черный дьявол (бурятск.)*) Дамдинка!.. заругался он. Не брехал мне ты, что так в бумаге писано?» «Стану я брехать!»

Поехал бурят, что-то бормоча по-своему, потом вернулся, попросил бумагу. «Ишь ты, хитрый какой! сказал ему Корнюха. Вы уж там сами меж собой разбирайтесь, а я этой бумажкой от всех вас, как заплотом, отгорожусь».

Но на этом дело не кончилось. Неделью спустя нагрянули на заимку милиционер, Лазурька и с ними все тот же Ринчин Доржиевич. Милиционер забрал бумажку, написал акт, велел Корнюхе расписаться. Тот расписываться отказался, сидел в углу зимовья, сцепив на колене руки, злой до невозможности. «Ну вот, достукался? сказал Лазурька. Говорил тебе, так нет, все надо поперек делать...» «Помолчи, пожалуйста, процедил Корнюха. Кого за горло берете? Кому жизнь портите?» «Он еще сердится! удивился Лазурька. Кто тебе велел с Пискуном связываться? Аренда эта липовая. Дамдинка их под статью Харитону, первый живоглот в улусе. Согнали его с председателей. Теперь там Батоха Чимитцыренов председатель. Тот самый, который с нами был». Корнюха обрадовался было: Батоха парень что надо, по тут же снова помрачнел. Что Батоха... Уж Лазурька ли не парень, а свою линию гнет и в сторону шагу ступить не хочет. А мог бы и подсобить...

Милиционер собрал со стола бумаги, сказал Корнюхе: «Вот что, друг... Хватит тебе десяти дней, чтобы убраться отсюда? Вы, Ринчин Доржиевич, через десять дней заимку занимайте. Коли, что все барахлишко во двор». «Больно приткий! А хлеб, мной посеянный им подарок?» «Почему же... Все опишем, оценим и возместим стоимость по закону», сказал милиционер.

Едва они уехали, Корнюха поскакал к Пискуну. На этот раз старик струсил, заохал: «Ох, беда, беда... Что творится на белом свете, что деется! Дамдинку спихнули. Был один понимающий человек во всем улусе, и тому крылья обрезали». «Что ты о нем плачешь, о Дамдинке, пропади он пропадом! Тут хлеб отбирают, а он Дамдинка...» «Так без него я как без рук... Стань задираться, хуже будет. Отдам заимку, пусть подавятся!» «Нет, ты не отдашь заимку! Корнюха стукнул по столу кулаком. Зря я гнул за плугом, зря обихаживал поле? Своими руками весь пырей, всю сурепку повыдергал!» «Как хочешь, Корнюша, как хочешь, а я устраниюсь. Нельзя мне сейчас идти на них с рогатиной, затопчут. А ты держись, Корнюша, держись, с тобой они ничего не

сделают». «Умыл руки?» «Не умыл, Корнюша, нельзя мне, не приспело время... Тебе-то что, ты партизан заслуженный... Стой на своем, и отступятся». «Буду стоять, как же ты думал! Пусть кто сунется, горло перерву!»

Провожая Корнюху, Пискун шепотом спросил: «А может, тебе ружьецо дать? Всякое бывает...» «Есть у тебя?» «Завалилась где-то одна дудырга. Подожди...»

Пискун принес винтовку, завернутую в промасленную холстину, три обоймы патронов. «Только ты никому ни гугу. Попадешься я тебе не давал, ты у меня не брал».

Вчера был последний день срока, установленного милиционером а буряты пока не тревожат. Может быть, опять что приключилось с их треклятой коммунией? Ишь чего захотели коммуну. С неумытым-то рылом да в калашный ряд! Сидели бы себе по юртам, так нет, больше всех суеются.

День близился к обеду, заметно пригрело, все реже, все неохотнее перекликались тарбаганы. Коровы помахивали хвостами, одна за другой потянулись к роднику, без умолку клокотавшему за зимовьем у края леса. Корнюха взял в зимовье чайник, разложил в тени сосен огонь. Коровы напьются и долго будут лежать. У него хватит времени обед сварить, отдохнуть. По доброму-то надо бы сейчас довести до дела молоко, вся посуда им заполнена, все скисло. Как уехала Хавронья за своей Устей (сегодня четвертый день пошел), так он рук к молоку не прикладывал. Мало-мальски подоит коров, чтобы вымя не портилось, а творог, масло делать неохота. Хозяину будет убыток ну да черт с ним, не разорится. Хавронью он не отпускал, но она, учував о том, что заимку могут отобрать, ни на шаг не отставала, клянчила: «Отпусти, отпусти, не становись погубителем нашей жизни». Он ее пробовал урезонить: «Зачем повезешь свою Устю, где жить будете, если отберут заимку?» Но баба она была, видать, не глупая, все обмозговала как следует. «Продадим дом, тут поселимся, Харитону волей-неволей придется нас где-то пристраивать. А не продадим, отправит обратно, и не быть уж тогда Усте за Агапкой, не видать такого жениха как своих ушей». «Ну да, станет с вами Пискун валандаться, отберут заимку, не спросит даже, есть у вас дом или нету, в два счета выставит». «А Советская власть на что?» сказала Хавронья.

Пусть делает, как знает, ему-то что. Посулилась за два дня обернуться, но нет и нет ее. Чертова баба, будто не понимает, что одному тут со всеми делами ни за что не управиться.

На огне вскипел, забрякал крышкой чайник. Корнюха снял его, засыпал заварку, разложил на мешке хлеб, масло, редиску свежую. Вчера Настюха приходила, принесла гостинцев со своего огорода. Отцу, говорит, сказала, что пошла ночевать к подружке, а сама сюда. Не поленилась десять верст пешком отмахать. Чудная девка!

Они лежали с ней на увале, на теплой земле, дышали воздухом, настоящим на степных травах, и не было в мире никого, кроме них двоих. Под утро Настя заснула у него на руке, а он слушал ее ровное спокойное дыхание, думал, что с такой бабой, как она, жить будет легко и просто. Когда на востоке, из-за сопок, выплеснулся и растекся алый свет зари, Корнюха разбудил Настю и проводил без малого до самой деревни.

Пообедав, растянулся у огня, засыпая, думал: «Как бы хорошо жилось, будь у меня хоть четверть того, что имеет Пискун...»

Разбудила его Хавронья. Корнюха сел, протер глаза. Солнце уже перевалило за полдень, коровы лениво тянулись в степь, у зимовья на привязи стояла лошадь. Хавронья улыбалась, показывая ему свои коротенькие зубы.

— Замаялся тут без меня?

Корнюха промолчал. Он растирал занемевшие руки, на них отпечатались травинки, рубцы были, как шрамы,

— Привезла я дочку-то. Да ладно, что поехала. Она и не думала сюда перебираться. И дом продала с выгодой, сорок рублей дали...

— Где она, твоя дочка?

— А в зимовье. Убирается. Поглядел бы ты, как Агап Харитонович возрадовался. Крадучи мне кашемиру сунул. Сшей, говорит, Устинье сарафан, чтобы было в чем свадьбу справить.

— Ты про заимку у них не спрашивала?

— Как не спрашивала? Спрашивала. Да они сами ничего не знают. Оба беда как сердиты на Лазаря Изотыча. Ну, пойдем в избу, с дочкой тебя сведу.

Угрюмый со сна, лохматый, с сухими травинками в растрепанном чубе, вошел в зимовье Корнюха. Устя подметала пол. Она распрямилась, поздоровалась кивком головы и снова принялась за

работу. А Корнюха сел на лавку, пятерней пригладил волосы, расстегнул ворот рубахи. Не ждал он, что Устя такая... Рослая, статная, тонкая в поясе, она и в линиялом ситцевом сарафане казалась нарядной. Еще ни слова не сказала Устя, а Корнюха понял: гордая, знает себе цену. Она и пол подметала иначе, чем ее мать. Та быстро-быстро, суетливо машет веником, поднимая тучи пыли, а эта метет спокойно, размеренно. А какие волосы у нее черные, тяжелые и так ровно, туго собраны в косы, что взблескивают на макушке и на висках, а возле ушей, наоборот, кудряшки, и в них, в кудряшках, сверкают большие дутые серьги. Да-а, у Агапки губа не дура, недаром он по ней страдает. А куда лезет, мозгляк, такой девке мужик нужен в полном соку, не замухрышка.

— Что, Устюха, с нами будешь робить? — спросил он.

— Еще не знаю, — она подняла на него взгляд серых с прозеленью глаз, оглядела с ног до головы и со скукой отвернулась.

— А-а, не знаешь... Ну да, тебе же место хозяйки приготовлено, — кольнул ее Корнюха, задетый скупающим взглядом. Не рохля же он какой-нибудь, чтобы на него так смотреть. Или к своему суженому, Агапке-недоноску, приравнивает?

Хавронья все время была настороже, тут она сразу в разговор влезла, стала перед Корнюхой, загородила дочку своим сарафаном:

— Ты уж иди, погляди за коровами сегодня. А мы с Устюшей приберемся. Завтра я сама погоню. Пойдем, Корнюша, покажи, где что у тебя. А сама рукой знаки подает, уходи, дескать, скорее. На дворе зашептала:

— Не напоминай ты ей, ради бога, про Агапку, не тревожь ее душу. Без того она у ней растревожена. Дура же... Счастье само в руки прет, а она от него нос воротит... — Хавронья вдруг умолкла, приложила ладонь ко лбу. — Глянь, Корнюша, кажись, они, нехристи, едут.

Корнюха обернулся. К заимке на рысях приближались два всадника. Буряты. Впереди скакал Ринчин Доржиевич, за ним, приотстав немного, молодой парень в военной гимнастерке. Подъехав, спешились, привязали коней к забору. Ринчин Доржиевич поздоровался с Корнюхой, как со старым знакомым, за руку, молодой бурят, помедлив, тоже подал руку, назвал себя:

— Жамбал Очиржапов.

— Садитесь, — Корнюха показал рукой на ступеньки крылечка, сам устроился на сосновом чурбаке.

Оба бурята сели. Ринчин Доржиевич развернул кисет, набил трубку, Жамбал свернул папироску.

— Курить будешь? — спросил Ринчин Доржиевич и протянул Корнюхе кисет. Корнюха тоже свернул папироску, прикурил от трубки.

— Семейскому как, курить можно? — Ринчин Доржиевич улыбнулся. Глаза его сузились в щелочки, от них к сидящим вискам протянулись лучики морщин.

— Теперь все можно... — Корнюха только с виду был спокоен, внутренне он весь подобрался, сжался в кулак. «Чего тянет, говорил бы сразу», подумал он. Улыбка бурята, его добродушное лицо, мирный дымок папирос и трубки размягчили Корнюху. Он боялся, что если и дальше так дело пойдет, не сможет дать им отпор.

— А наш Жамбал из армии пришел. Ринчин Доржиевич показал трубкой на своего спутника. — Комсомол стал. Теперь в улусе пять комсомольцев.

Корнюха смял, бросил недокуренную папироску.

— Зачем приехали? Сказывай...

— Давно сказывал, — вздохнул Ринчин Доржиевич. — Хороший конь держит бег, хороший человек держит слово!

— Я вам слово не давал! Что вы ко мне привязались? Берите за воротник своего Дамдинку!

— Товарищ, товарищ, нельзя такой шум делать! Жамбал нахмурился. На чужой земле расположился и еще кричишь.

— Болё, болё! (*болё — хватит(бурятск.)*) — быстро сказал Ринчин Доржиевич. — Огонь не гасят маслом, обиду не успокаивают гневом.

— Вы успокаивать меня пришли? Хотите разорить, обобрать, и чтобы я был радостным? Убирайтесь отседова обои! И не показывайтесь мне на глаза!

— Но-но... — в глазах Жамбала вспыхнули желтые огоньки, он вскочил, сделал шаг к Корнюхе. — Тебя кулаки сторожевой собакой сделали!

Какая-то злая сила подбросила Корнюху, швырнула навстречу молодому буряту. Сгреб его за ворот гимнастерки, подтянул к себе, прохрипел:

— Убью!

Ринчин Доржиевич разнял их, потащил Жамбала за руку к лошадям. Жамбал упирался, кричал:

— Тюрьму пойдешь! Сидеть будешь!

Корнюха метнулся в зимовье, сорвал со стены винтовку и прямо из дверей дважды выстрелил вверх голов бурят. Испуганно забились на привязи кони, за спиной взвыла Хавронья. Ринчи Доржиевич легко взлетел в седло, подскакал к крыльцу и, бесстрашно глядя на Корнюху, покачал головой.

— Ай-ай, зачем такой плохой дело! — и ускакал.

Бросив на кровать винтовку, Корнюха сел на порог, стиснул виски. Что наделал, дурья голова, что наделал! Теперь и впрямь тюрьма. Не поглядят на заслуги партизанские, спрячут за железную решетку, а все, что он оберегал, Пискуну достанется. Не для того ли он, старая мокрица, винтовку подсунул?

А Хавронья все ахала, охала, наговаривала:

— Нас подводишь... Непричастных, безвинных к ответу поволокут.

— Не ной, старуха! Кому ты нужна? Иди смотри, чтобы коровы в хлеб не залезли. Я поеду...

Он еще не знал, куда ехать. К Пискуну? Какая от него польза! К Батошке Чимитцыренову? К Лазурьке? Оба одного поля ягода, что им дружба старая, раз в начальство выбрались. Свой ты или чужой, для них все равно, будут мылить загревок: нельзя иначе, могут скинуть с председательства, как скинули буряты своего Дамдинку, а тайшихинские мужики Ерему Кузнецова. Эх, нет поблизости Максюхи, уж он бы что-нибудь присоветовал... К нему поехать?..

Корнюха вытянул из-под лавки седло.

— Надолго ты? — спросила Устя.

— Тебе-то что, не все равно?

— Мне-то все равно, а тебе... Уедешь, они вернуться.

Да, об этом он не подумал. Возвернутся, что с ними сделают бабы. Сгонят их с места...

— Ах ты, черт! — Корнюха положил седло на месте. — Не привязан, а визжи.

— Оставь мне винтовку. Не подпущу, — сказала Устя. Корнюха подумал: смеется, но нет, она не смеялась. Ух, какие глаза у нее! Такая

будет стрелять, не побоится. Вот так девка!

— А ты умеешь ли стрелять-то?

— Спытай... — она взяла винтовку, клацнула затвором.

— Не трогай! — сердито сказал Корнюха. Нельзя ей оставлять винтовку: мало одной беды, другая будет.

— Что, боишься? Не бойся, меня батя обучал, а он первым стрелком в деревне был. Поезжай...

— Не поеду до ночи. Уж ночью-то они сюда не заявятся.

— А ты буйный, с одобрением сказала Устя. Батяка мой таким был.

— Тут станешь буйным...

Под вечер на заимку приехал Агапка. Он ничего еще не знал. И хоть бы спросил, как тут дела, что нового нет, слез с коня и к Усте. Остренькое лицо, умильное, из кармана свисает конец винтарин (*Винтарини — янтарное ожерелье*), видно, подарок приготовил. А Устя, как при первой встрече с Корнюхой, со скукой отвернулась от Агапки, лицо ее стало гордое, недоступное. Агапка цепко, по-хозяйски ухватил ее за руку.

— Пойдем, поговорить надо...

— Постой! — Корнюха еле сдерживал гнев. — Шмару свою потом в кусты потащишь.

Жар прихлынул к щекам Усти. Оттолкнув Агапку, она ушла в зимовье и заперла за собой дверь.

— Что тебе? — Агапка побледнел, кулачки свои стиснул. Корнюха со злорадством подумал: «Ишь ты, ощетинился, как кобель, у которого из зубов кость вырвали».

— Вы со своим батей что думаете, нет? Сегодня чуть было не выселили. До стрельбы дело дошло. Не сегодня-завтра вытурят отсюда. Ну, чего помалкиваешь? Это тебе не с Устей обниматься...

Так ничего и не сказав, Агапка сел на коня.

— Ты куда?

— Поеду скажу мужикам, что буряты наших убивают. Подниму своих. Намнут бурятам бока, отдадут на чужое добро зариться.

— И первым попадешь в кутузку.

— Не такой я дурак, чтобы попасть. Уськну и нет меня, мужики сделают сами.

«Ах ты, змееныш лукавый!» — изумился Корнюха, показал Агапке кулак.

— Это видел? Я те подниму мужиков!

— Не твоего ума дело! Знай сверчок свой шесток! — Агапка подобрал поводья, подбоченился, посмотрел в окно. И Корнюха, не оглядываясь, понял, что из зимовья за ними наблюдает Устя, а этот хорек еще нарочно на него покрикивает, силу свою кажет. Взбешенный, рванулся к Агапке, сдернул его с коня, приподнял и толкнул на кучу навоза. Агапка поднялся, отряхнул штаны, прерывистым голосом проговорил:

— Ну погоди... Корнейка... я тебе... этого не забуду!

— Вот и ладно, помни! А вздумаешь мужиков баламутить, я тебя в дерьмо головой!..

Агапка ускакал. Собрался ехать и Корнюха. Зашел в зимовье, Устя смеется.

— Плакать надо: он твой жених!

— Под голову класть такого жениха, чтоб лихорадка не пристала!

— Куда его собираешься класть, мне это не интересно.

Прискакав в деревню, Корнюха направился прямо в сельсовет. Лазурька был там. Вместе со Стишкой Клохтупом они сидели за столом, что-то писали. Без околичностей, как было, рассказал им все Корнюха, только про Агапку словом не обмолвился, знал, заботится мужиков подбивать на драку с бурятами, а так что о нем говорить.

Концом обкусанной ручки Лазурька поскреб макушку.

— Натворил делов! Понял теперь, к чему тебя привела твоя глупость?

— Не глупость у него, не-ет, — поправил Лазурьку Стишка Клохтун. — Под правый уклон покатился. Под кулацкую дудочку плясать стал.

— Обожди ты... отмахнулся от него Лазурька.

— Тут, Лазарь Изотыч, ждать нечего. Тут политикой и державным шовинизмом пахнет.

— Не мешай, Стиха, разговору непонятными словами, — попросил Корнюха. — Кулаков ко мне не присобачивай. Так судить всякий, кто в работниках, пособником кулаков будет.

Лазурька собрал бумаги, глянул в окно.

— Поздно... Но ничего, поедем к Бато. Без него говорить об этом воду в ступе толочь. А когда вышли на улицу, он вдруг с яростью

накинулся на Корнюху: — Ты знаешь, кто ты есть? Дерьмо коровье, больше ничего!

— Но-но, Лазарь...

— Хэ! Еще нокает! Хоть чуточку башка твоя варит? Все, кто против нас, спят и видят, когда мы с бурятами передеремся. Тогда не трудно будет на нашу шею удавку надеть. Доходит до тебя? Опять и другое. Буряты коммуны свою с большим трудом сколотили, а ты бревном поперек дороги. За одно это я бы не знаю, что с тобой сделал!

Не стал спорить Корнюха, начни ему перечить, еще хуже гайки затянет, сказал только со смирением:

— Не понимаешь, что вся надежда на это поле, отберете, как жить буду? Нищета мне надоела.

— Это-то я понимаю. Но не так надо, Корнюха, из нужды вылезать.

В улус приехали в потемках. Остановились у деревянной островерхой юрты. Дверь отворилась, уронив на землю квадрат неяркого света. Согнувшись, из юрты шагнул к ним человек, взгляделся.

— Лазурька? Здорово, нухэр! (*Нухэр- товарищ (бурятск,)*) Эй, Дарима, гости есть, чай варить давай! — крикнул он в юрту. — А это кто?

— Корнюха. Сам виновник... — сказал Лазурька.

— А-а, ты, Корнюха! — Бато подал руку. — Давно тебя не видел, шибко давно. Шагай на светло, глядеть буду, какой стал.

Такая встреча смутила Корнюху. Он почему-то думал, что Батоха станет сердиться, не захочет признать в нем старого товарища.

В тесной юрте посредине горел огонь, дым тянуло в дыру, проделанную в крыше. У огня сидела на корточках и поправляла дрова девушка, лицо которой показалось Корнюхе знакомым.

Разостлав на полу белый войлок, Бато усадил Корнюху и Лазаря у почетной стены, сел сам, достал из кармана кисет.

— Ты немножко менялся, приглядываясь к Корнюхе, — сказал Бато, затем кивнул в сторону Лазурьки. — Он таким же остался.

— Постарел я, что ли? — спросил Корнюха.

— Не, молодой, но что-то немножко другой стал. Как живешь?

— Плохо живу, Батоха, — Корнюха решил сам рассказать о случившемся. Рассказывая, понял: Батоха уже все знает.

— Худо ты делал, Корнюха, — вздохнул Бато. — Твой хозяин, наш Дамдинка немножко жульничали.

— Они жульничали, а я должен расплачиваться...

— Вперед наука будет, — проговорил Лазурька. — Для него, Батоха, и в самом деле в том клочке хлеба вся жизнь.

— Другой сев нету?

— Игнат сеял, но что там, слезы сиротские, не хлеб. На пропитание едва хватит, — сказал Корнюха. — А у меня, хочешь верь, хочешь не верь, одна-разъединственная рубаха.

Девушка молча поставила посередь войлока столик на коротких ножках, подала масло, пресные лепешки и чашки с чаем. Сейчас Корнюха вспомнил, где видел ее. Это была та самая пастушка, с какой сидел тогда Федоска, Лучкин брат. Бато что-то сказал девушке, она ушла, и вскоре в юрту вошел Ринчин Доржиевич, следом за ним Жамбал. Оба ничем не выдали своего удивления, хотя, конечно, должны были удивиться, увидев его здесь.

Бато что-то долго говорил им по-бурятски. Жамбал ему сначала возражал, но потом согласно кивнул головой.

— Ладно, сердиться не будем. Мы горячились, он горячился. Так ли, паря? — по-русски сказал Ринчин Доржиевич и притронулся рукой к Корнюхиному колену. Корнюха понял, что разговор был о нем, что дурацкую выходку его буряты простили.

— Не можете ли вы обойтись без заимки до осени, пока он хлеб свой уберет? — спросил Лазурька. — Если есть хоть маленькая возможность, дайте мужику урожай собрать.

— Можно бы обождать... Но мы хотели зимник там делать. Сарай строить, дом прибавлять. После уборки успевать не будем. Как делать? — спросил Бато у Ринчина Доржиевича и Жамбала... — Парню беда приносить тоже нельзя.

— Нельзя, — согласился Ринчин Доржиевич. — А зимник делать не успеем.

— Пойдите, мужики, — сказал Лазурька. — А если, к примеру, мы вам поможем? Соберу мужиков десять и два дня поработаем. Их, братьев, трое, я четвертый, Лучка, Тараска... да, человек десять насобираем.

— Тогда ничего, тогда живи, Корнюха, — заключил Бато и сразу повеселел.

Так разговор этот и кончился, потом пили чай и говорили уже о всякой всячине. Много интересного рассказал Жамбал о службе в армии, о том, чему там учат красноармейцев. Он был славный парень, этот Жамбал. Под конец Корнюха даже пригласил его в гости.

Когда возвращались домой, Лазурька спросил:

— Теперь-то ты понял, какого берега держаться?

— Кажись, понял.

— Дай-то бог... Простая наука, а нелегко нам дается.

Пришло лето, сухое и жаркое. Поскучнела степь, выжженная солнцем; обмелела речка, и ленивая теплая вода еле двигалась в вязкой тине; прибрежные тальники увяли, тусклая зелень дышала зноем и затхлостью. Тихо, глухо, душно.

Все меньше нравилось Максe жить в степи, сонная тишина опостылела, все сильнее тянуло его в деревню, к людям. И когда Лучка, приехав на заимку, неловко улыбаясь и смущенно теребя кудрявую бородку, сказал, что тесть велел его рассчитать, потому что на заимке, мол, летом работы мало и на двоих Федоску и Татьянку, Максим даже обрадовался.

— Вот и ладно! — весело сказал он.

Солнце уже село. С гор потекли потоки свежего воздуха, горького от запаха трав, жара схлынула. Татьяна, босая, в старом распоясанном для прохлады сарафане, разжигала во дворе огонь, собираясь варить ужин. Она обернулась, с тревожным недоумением взглянула на Максю, и он сразу вспомнил, что где-то ходит-бродит живой, невредимый Стигнейка Сохатый, способный сотворить любую пакость, вспомнил и хмуро спросил:

— Он что, твой дорогой тесть, боится поубытиться?

— Как будто не знаешь моего тестя! Надоело мне с ним лаяться, — Лучка сердито плюнул. — Но ты не думай... работу тебе в деревне подыскал.

— Подыскал? Татьяна села у огня на корточки, обтянула колени сарафаном. — Ты обо всем подумал, братка, все по-умному решил. А спросил нас с Федосом, хотим ли мы на твоего тестя спину ломать? Уйдет Максим, нас тут не удержишь.

— Даже грибы стали на дыбы! — пошутил Лучка. Но Татьяна шутку брата не приняла.

— Надо сам тут живи. И так страху натерпелись... Максим приложил палец к губам, укоризненно качнул головой, однако Татьяна, ничего не заметив, выпалила:

— Лишит Сохатый жизни тогда спохватишься!

— Сохатый? Как так Сохатый? Лучка круто повернулся к Максе, в глазах недоверие.

— Сохатый... — Макся, стыдясь за скрытность, хотя и вынужденную, яростно потер ребром ладони переносицу. — Был он у нас, Сохатый.

— Давно?

— Давненько.

— И ты помалкивал? Скрывал от меня? Лучка горько усмехнулся. — Не ждал от тебя этого, Максюха. Не ждал.

Суковатой палкой Лучка разворошил огонь, пламя опало, и густые тени залегли в его глазницах, от этого лицо стал казаться изможденным, постаревшим.

— Нечего обижаться. Сам понимаешь, зверя на тропе сторожить надо молча.

— Понимаю, как не понимать, тихо, хмуро думая о чем-то другом, сказал Лучка.

До ужина он сидел у огня молча, разгребал палкой угли, шевелил бровями и угрюмо смотрел себе под ноги. Макся тоже молчал, чувствуя себя виноватым перед ним. И когда, поужинав, они остались у огня вдвоем, сказал Лучке:

— О Сохатом смолчал зря. Каюсь. Но я просто не думал, что это тебе в обиду.

— Ты легко судишь в обиду! Если хочешь знать, клубочек тут запутан такой, что и концов не найдешь. Намедни, к примеру, зазывает меня в гости Харитон Пискун. Ласковый, обходительный. Водки на столе залейся. О жизни разговор ведем. Умен мужик, ох умен! Втолковывает мне: скоро новой власти крышка. Не прямо говорит, по все понятно.

— Уж не он ли свернет? — не удержался от усмешки Макся.

— А ты не посмеивайся. У них расчет есть. Знаешь, как в последнее время мужику стало тошно жить. Чуть подокрепло хозяйство — бух тебе твердое задание. Выполнил — разорился, не выполнил — суд. Что делать?

— Если ты власти нашей опора не разорят и судить не будут. Но...

— Кабы так! — перебил Лучка. — А то ведь все по полочкам разложено, все определено без тебя. Сегодня ты бедняк, потому что хозяйство захудалое. Завтра заимел на три овцы больше того, что было,

середняк. А если еще и коня, корову присоединил кулак. Читаю недавно в газете вопросы и ответы. Спрашивает кто-то: «Дуда отнести дочь кулака, если она вышла замуж за бедняка?» Ему дают такой ответ: «Раз мужик бедняк, и она беднячка». Еще вопрос: «Куда отнести беднячку, если она стала бабой кулака?» Ответ: «Мужик кулак и она кулачка». Понял, как все тоненько распределено? А ты мне про опору твердишь. Суди по тем вопросам обо мне. Живу в доме кулака кто я? Кулак. Получил это клеймо, и власть, за которую моей кровью плачено, старается заехать мне по сопатке, да так норовит заехать, чтобы кровью закашлялся. Как мне быть?

— К Харитону Пискуну припаряйся, — едко посоветовал Макся.

— Кто знает, может быть, и доведется, — Лучка поднял на Максю тоскующие глаза. — Между молотом и наковальней такие, как я, Максим. Подал заявление на раздел с тестем. А все равно на душе покоя нет.

От реки пахло теплой сыростью. Блин луны, обкусанный с одной стороны, тихо скользил над землей, и степь в неверном свете белела, как сплошной солончак. Макся подавил вздох, язвительно подумал о самом себе, как о постороннем: «Партейный!» Думалось, что в новой жизни всем будет просторно, каждый займет в ней место, им самим облюбванное. Почему же этого не получается? Почему Лучка, вместо того чтобы выращивать всякие диковинки, до которых большой охотник, ломает голову над тем, кто он есть кулак или не кулак, с кем ему по дороге, с Пискуном или старыми друзьями? И почему так вышло, что старые друзья его вроде бы отшивают? Плохо это. Если и дальше так будет, все рассыплется, будто ком сухой глины под колесом, и каждый станет жить сам по себе, наедине глотая горечь неулаженности, как Лука, или будет, как Корнюха, из сил выбиваясь, рваться к достатку.

Утром, заседывая коня, Лучка сказал Максе:

— С тестем я договарюсь. Живи тут.

— Жить тут, пожалуй, не буду. Крепко мне подумать надо, Лука. Татьянку оставлять опасно, а так что делать тут?

— Женился бы ты, а? Лучка вскочил в седло, подобрал поводья, чуть помедлив, тронул лошадь, поскакал по пыльной степной дороге.

Макся стоял у плетня, ломал сухие прутья, задумчиво смотрел ему вслед. Пожалуй, самое лучшее забрать Татьянку с собой, поселиться в

отцовом домишке. Худо, что свадьбу справлять сейчас не время, да и не на что. Осудят его люди: до свадьбы в дом невесту привел и не дождался, когда старшие братья женятся. Ему-то это все равно, но что скажет Татьяна? Ни разу с ней по-хорошему, по-серьезному не говорил о будущей жизни.

Подозвав ее, Макся долго молчал, не зная, как, с чего подступиться к этому разговору, ничего не мог придумать и сказал первое, что в голову взбрело:

— Давай бросим к черту эту заимку! В деревне будем жить, в нашем доме.

— Почему это?

— Почему, почему... Неужели не понятно? Женюсь я на тебе. Татьяна спрятала руки под передник, потупилась, ее щеки, уши огнем вспыхнули, сразу стало видно, что она совсем еще девчонка. Макся повеселел от ее смущения и робости.

— Ну так что, Таня?

— Как хочешь, почти шепотом сказала она. Я за тобой как нитка за иглой...

На другой день рано утром Макся поехал в Тайшиху к Лазарю Изотычу. Солнце только что взошло. На сырой траве гроздьями висела светлая роса, от земли поднимался белый пар, неслышно сползал в лощины и пенился там, выплескивая прозрачные хлопья. На сопках пунцовела доцветающая степная сарана, пламенели прозрачные желтые маки, бронзой отсвечивали колючие ветки золотарника. Все краски были чистые, сочные, утренний воздух свежее лесного родника. Максим ехал шагом, смотрел на сопки, обдумывал предстоящий разговор с председателем Совета.

Его он застал дома. Поставив ногу на ступеньку крыльца, Лазурька начищал юфтевые ичиги холщовой тряпкой.

— Стигнейка? — спросил он, едва ответив на приветствие Максима.

— Нет, давно не навещал.

— А я уже было подумал... Меня тоже давно не трогают. Запасные стекла лежат без пользы. Лазурька шутил, но как-то рассеянно, привычно, так же привычно спросил о новостях.

— У совы, сидящей в дупле, сорока о новостях не спрашивает, — вздохнул Максим. — Как живется здесь?

— Ничего живется. Большое дело замыслили. Осенью, самое позднее весной, зачнем колхоз сколачивать.

— Это хорошо. Это многим будет по душе, — сказал Максим. — А кое-кому совсем наоборот.

— Что-то приутихли они, те, кому все наоборот, — Лазурька тщательно зачищал сажей, разведенной на молоке, рыжее пятно на голенище ичига. — Вижу, зеленые от злости, до горла ею налиты, а молчат.

— Не молчат они, Лазарь Изотыч, говорят где надо. Власти нашей конец предрекают.

— Все время предрекают что с того?

— А если попробуют загнуть нам салазки?

Это они могут, духу у них хватит. Лазурька отставил ногу, хмуро осмотрел ичиг, кинул холстину. — Они, Максюха, все могут, народец еще тот!

— Чего им не пробовать, если сами помогаем.

— Как так? Лазурька вскинул быстрые глаза на Максима.

— Очень просто. Людей, которые за нас, отшибаешь. Почему от Лучки отгородился?

— Тебе легко говорить. А тут голова кругом идет, глухо сказал Лазурька. Пойдем со мной в Совет. Вчера там до вторых петухов прели.

Лазурька вернулся в сени, снял с гвоздя тощую полевую сумку, накинул ремень на плечо, — быстро зашагал по улице. Небольшой, подбористый, ловкий, он твердо ставил ноги на мягкую от пыли дорогу, не оглядываясь на Максима. А Максим, еле поспевая за Лазурькой, удивлялся, почему он, всегда такой приветливый, острый и веселый в разговоре, сегодня говорит с плохо скрытой неохотой.

В Совете председателя уже ждали. Вокруг стола сидели трое: Стишка Клохтун, отощавший до того, что на согнутой спине из-под рубахи выступали острые бугорки позвонков; два незнакомых Максиму человека один молодой, примерно Лазурькиных лет, мужчина с коротенькими усиками под тонким прямым носом, второй крупный, бритоголовый, полногубый. В стороне от них, сложив локти на подоконнике, сонными глазами смотрел па улицу Абросим Кравцов.

Лазурька назвал незнакомому начальству Максима (о том, что это начальство, Максим догадался по тому, что бритоголовый сидел на

председательском месте и при появлении Лазурьки не встал, не освободил стула).

— Вы, кажется, подали заявление в партию? — спросил бритоголовый и быстрым взглядом светлых маленьких глаз окинул Максима с ног до головы. За одну секунду он, должно быть, успел разглядеть, какие на нем ичиги и оборки на ичигах, сколько пуговиц на рубашке. Садитесь. Вы нам как раз нужны.

Толстыми, неловкими пальцами бритоголовый полистал какие-то бумаги, строгим голосом сказал:

— Сейчас, когда на повестку дня во всей полноте встал вопрос о коллективизации, борьба с кулачеством вступает в решающую фазу. Мы должны уничтожить, во-первых, экономическое, во-вторых, политическое влияние кулачества на крестьянские массы. Что это значит? Это, товарищи, значит, что всеми доступными для нас средствами мы должны ограничивать, подрывать хозяйственную мощь кулака, лишая его возможности разными подачками держать под своей властью бедняков и батраков. Кажется, все ясно. Но, видимо, не для всех. Вчера вы, Лазарь Изотыч, старались нас убедить, что, во-первых, все кулацкие хозяйства у вас учтены, во-вторых, что с кулачеством вы ведете непримиримую борьбу. Сомневаюсь, товарищи! — бритоголовый горой навис над столом, светлые глаза его потемнели.

Лазурька, покусывая губы, смотрел в пол, накручивая на палец ремешок сумки.

— При помощи секретаря сельсовета товарища Белозерова, — бритоголовый кивнул на Стишку Клохтуна, — я ознакомился с описью кое-каких крепких хозяйств и теперь с полным основанием могу утверждать, что в списке кулаков нет и половины тех людей, кому надлежало в нем быть.

— Каких людей вы нашли? — спросил Лазурька.

— А вот. Викул Абрамович Иванов. Слышали о таком? Знаете, сколько у него рабочих лошадей?

— Слышал, знаю! — дерзко сказал Лазурька. — Но я знаю и другое — лошадь лошади рознь. Викула хвостун и дурак. Набрал почти задарма дохлых одров, чтобы с самим Пискуном сравняться. А когда пашет, то сам к сохе подпрягается. К тому же он никогда не нанимал работников, все, что нажито, нажито своими руками.

— Вот как? А что вы скажете о Прохоре Семеновиче Овчинникове? Надеюсь, не станете утверждать, что и он не пользуется наемным трудом.

— Пользуется. Нанимал весной работника. И осенью будет нанимать. А что ему делать? Шесть ребят, мал мала меньше. Баба его, в аккурат перед вешной, двойней разрешилась. Тут уж плачь, да нанимай. Не там вы ищите, товарищ Петров, супротивников Советской власти, не туда целитесь. Есть у нас кулаки без подделки. С ними и надо бороться. С ними и идет у нас война и будет идти до полной победы.

— Война? Сомневаюсь! Вот у вас лежит заявление Луки Богомазова. Хочет заполучить отдельный акт. Кулацкие штучки такого пошиба нам известны. Делится одно большое хозяйство получилось два средних. А что тесть Богомазова злостный эксплуататор, вам-то уж должно быть известно, — Петров перевел взгляд на Максима. — Вы у него батрачите?

— Да. Но нанимался я у Луки, то есть у товарища Богомазова. Податься мне было некуда.

— Толстые губы Петрова сложились в насмешливую улыбку.

— Товарищ Богомазов... Хорош товарищ! Пользуясь тем, что у вас безвыходное положение, он вроде бы облагодетельствовал вас. Он так же облагодетельствовал и своих единокровных сестру и брата. Я все знаю, вы меня не проведете. И я знаю, что Богомазов был партизаном. И именно этим он и ценен для своего тестя-кулака. Прикрываясь прошлым своего зятя, он выжимает соки из бедноты. А сам Богомазов, потеряв совесть, вербует для него даровую рабочую силу. Но что делает Совет? Разоблачает он перерожденцев, подобных Луке Богомазову? Нет. Мешает его тестю пользоваться дешевым трудом бедняков? Нет. Что же это происходит, дорогие товарищи?

Гневная речь Петрова ошеломила Максима. Ему стало жарко. Облизывая сухие губы, он смотрел на Петрова, на его безмолвного товарища, на Стишку Клохтуна, согласно кивающего головой, на Абросима Кравцова, прикрывавшего глаза запухшими веками, на мрачного Лазурьку, и разговор этот ему начинал казаться диким, невероятным, возможным только в дурном сне.

— Лучка пособник кулаков? — спросил он. — Да вы что, бог с вами? Ему помочь надо, а вы говорите «пособник». Он сейчас навряд колоса, выросшего на обочине. Откуда бы ветром ни потянуло, его к

земле приклоняет. Не долго так простоит, надломится. А если такой подход будет к нему, врагом станет.

— Обождите, товарищ... — мягко остановил Максима Петров. — Политическая незрелость для вас простительна. Вы молоды. Но и вам я должен сказать, чтобы вы навсегда запомнили: кем станет для Советской власти Богомазов врагом или другом его дело. Наша власть достаточно сильна, чтобы не кланяться кому бы то ни было.

Слушая его, Лазурька мрачнел все больше и, когда Петров замолчал, сердито сказал:

— Вроде как считаете, что я сижу сложа руки? Если так, выбирайте другого председателя. На черта мне сдалась такая музыка!

— А это как скажет партия! — властно отрезал Петров. — До тех пор, пока вас не сняли, будьте добры беспрекословно выполнять ее волю. Я сейчас уезжаю. Здесь останется товарищ Рымарев. Он будет жить столько времени, сколько понадобится, чтобы навести полный порядок.

Рымарев поднял голову, посмотрел на Лазурьку, ободряюще улыбнулся. После того как Петров уехал, он с упреком сказал:

— И чего ты кипятишься, председатель! Ведь начальство, на то оно и начальство, чтобы давать взбучку нашему брату. Увидишь, как хорошо мы будем работать.

— Взбучку дал за дело, — поправил его Стишка. — Много мы миндальничаем. Железным лемехом надо выпаживать всякую сорную траву.

— Дай лемех дураку, он тебе выпашет! — угрюмо сказал Лазурька. — А ты, секретарь, когда даешь сведения начальству, разъясняй все как есть, не измысливай. Нашел тоже мне кулаков!

— Да, нашел! — взвился Стишка. — Пусть они еще не полным образом кулаки, но к этому приближаются. Дорвутся до вольных хлебов, отъедятся, потом их не сковырнешь так легко. Это же проклятая семейщина! Ее, подлую, взнуданную, на поводу надо держать и ремнем драть, тогда, может, пойдем к социализму.

Возвращались из сельсовета Максим и Лазурька молча. Максим жалел, что поторопился с заявлением в партию. Очень уж многое ему в этих делах непонятно. Раньше казалось: все яснее ясного, а после этого разговора в голове какая-то мешанина. Конечно, и заведующий

райземотделом Петров, и Стиха Клохтун сильно уж круто воротят, но, может быть, так и нужно. А вот Лучку они зря к тестю пристегивают.

Словно угадав, о чем думает Максим, Лазурька сказал:

— Видишь, как мне достается. Хорошо еще, что этот Петров не больно большая шишка. Звона его не слушаю, зачни слушать, мужикам житья не будет. А Стиха наш радехонек... Он не в шутку говорит про узду и ремень для семейщины. Дай ему волю, по своей пастушеской привычке соберет народ в кучу и погонит, как стадо. Сам будет идти сбоку, бичом похлопывать.

— Но и Стиха, и товарищ Петров, как мы с тобой, хотят лучшей жизни народу, — пробовал возразить Максим.

Лазурька не дал ему говорить.

— Что за лучшая жизнь, если народ к ней надо бичом гнать? Разберется что к чему, сам пойдет. Мужик наш не дурак, все видит и оценивает своим умом. Петров спешит. Одним махом хочет своротить то, что века стояло. Оно и понятно. Раз взялись за такое дело, нельзя давать передыху ни себе, ни другим. Но... Начнем жать на мужика без разбору, оттолкнем к Пискуну. А тому действительно новая жизнь удавка на шее. Ты мне про Лучку толковал. Не один он меж берегами, плывет серединкой. Вижу это, но сил моих на все не хватает.

— Я хочу в деревню перебраться. Буду тебе, Лазарь, помогать, чем смогу. Максим рассказал о разговоре с Лучкой и о своем решении жениться.

— Правильно, давай скорее сюда, Максюха, — сказал Лазурька, но тут же спросил: — А Сохатый? Нет, брат, этого зверя нам поймать надо. Придет он к вам, не может не прийти. Так что живи до осени там, Максюха.

Когда на мельнице было не завозно, Петруха Труба промышлял выгонкой дегтя, смолы, драл драньё. Зарабатывал на этом так себе, малость: кому надо, сам этим делом занимался. Игнат сторговал у него для крыши сарая два воза дранья за бесценок: за пуд пшеницы.

Собрав остатки зерна (набралось полтора куля), он поехал на мельницу. Пока зерно будет молотья, вывезет дранье.

Утром в лесу держалась прохлада. Солнечные лучи застревали в верхушках деревьев, и внизу, к траве, к рыжим пятнам хвои приникал сумрак. Пахло сосновой смолой, прелью, сырой землей. Мельница, обросшая мхом до крыши, стояла впритык к песчаному косогору, в пруду качались опрокинутые кусты тальника, ольхи и черемухи, у берега плескались, крякали утки. Мельница не работала, и вода из лотка тяжелым прозрачным пластом падала мимо колеса, вскипая, с шумом убегала в густую чащу. Избушка Петрухи стояла чуть в стороне, в невысоком, ровном, будто подстриженном сосняке, с трех сторон ее скобой охватывал забор, огораживающий грядки с луком, чесноком и капустой.

Навстречу Игнату с лаем выскочил лохматый пес, за ним, тоже лохматые, один другого меньше ребятишки. Были они непричесанные, в тряпье, так что Игнат не сразу разобрался, которые из них парнишки, которые девчонки. Подошел Петруха, отогнал и собаку, и ребятишек, пригласил в избу.

Епистимея, баба его, усадила Игната в передний угол, а слева, справа от него втиснулись за стол ребятишки. На столе в большом чугуне стоял пареный капустный лист, еще зеленый, слегка приправленный мукой. Перед каждым лежала ложка и кусок черного хлеба. Игнату и мужику своему Епистимея положила хлеба побольше. Ребятишки молча смотрели на отца, не притрагиваясь к ложкам, но едва Петруха подцепил капустный лист, все они наперегонки полезли в чугуны. Ели ребятишки с такой жадностью, будто это было не постное безвкусное варево, а лапша с курятиной.

Первый раз приехал к нам, а угостить тебя печем, вздыхала Епистимея, гроыхая на шестке чугунами. Летом, когда старый хлеб

вышел, а новый еще не подошел, завсегда голодуем. В это время на мельницу почти никто не приезжает.

— Сами-то хлеб не сеете?

— А на чем пахать? Меня разве да ребятишек в соху запрягать...

— Это сейчас только плохо, сказал Петруха, уплетая за обе щеки капусту. Зимой живем хорошо.

— Молчи уж! Какой там хорошо! Зимой на всех ребят одни ичиги, по очереди на двор ходят.

Петрухе не нравились жалобы жены. Он перестал работать ложкой.

— Зимой жратвы всем хватает, а что в избе сидят, так это и к лучшему: не поморозятся.

— Молчи, пока сковородником спину не погладила! — привычно, без злобы одернула его жена. — Наградил меня бог муженьком... У другого бы, глядя на такую жизнь, вся середка сгнила, а моему дураку хоть бы хны!

Перебранка родителей была для ребятишек, видно, не в диковинку, не прислушиваясь к разговору, они мигом уничтожили хлеб, капусту и убежали в лес. Перестав ругаться с женой, Петруха скребанул ложкой по дну чугуна, удивился:

— Все сожрали? — и удостовераясь, наклонил чугунок, заглянул в его черное нутро.

Тягостно было Игнату сидеть за этим убогим столом, кусок рассыпчатого хлеба застревал в горле. Господи боже мой, за какие грехи такая кара людям? Куда бы ни шло, майся, голодуй один Петруха с бабой своей, но дети малые, безгрешные за что наказываешь их, господи?

Потом у него целый день стояли перед глазами Петрухины ребятишки.

Нагрузив за избой воз дранья, он подвернул к мельнице. Петруха стоял у ларя, ссыпал в куль муку.

— Сейчас я принесу безмен, отвешаю свой пудик, — сказал он.

— Подожди, — остановил его Игнат. — Подожди, не ходи за безменом.

— Почему? До осени терпеть мне...

— Ты забирай целый куль, а мне и половины хватит. Один я живу, много ли надо...

Без того длинная шея Петрухи стала, должно, раза в два длиннее, глаза с припорошенными мукой ресницами закрывались и открывались.

Игнат легко поднял полкуля муки, бросил на воз и поехал.

— Пистимея, тудыт твою мать, печку затапливай, лепешки будем стряпать! — весело орал Петруха своей бабе, заглушая шум воды.

Понужая лошадь, Игнат бежал от этого крика, от этой мельницы, от голодной Петрухиной саранчи, перед которой, неизвестно почему, он чувствовал себя виноватым. Опять, как после похорон отца, душе его стало тесно и холодно. Тихо подъехала тоска и погнала мысли по уже знакомому руслу. Помнится, Ферапонт говорил ему, что если человек творит угодные богу дела, молится усердно, посты соблюдает, на его дух нисходит просветление, возвышается человек, и открывается ему красота истинная жизни земной. Но вот дети малолетние, не успевшие принять на душу и малого греха, видят ли они красоту жизни? Не до красоты им, если завсегда одно на уме: как бы поесть.

Дома, отпустив пастись лошадь, Игнат полез на сарай, начал сбрасывать сгнившую крышу. Солнце клонилось к закату. По склону Харун-горы к селу приближалось, поднимая тучи розовой пыли, стадо коров. По всей Тайшихе кланялись земле, скрипели журавли колодцев: бабы поливали огородину. Скрипнул журавль и в огороде Изота. Из-за зеленой стены гороха был виден пестрый платок. Настин платок. С двумя ведрами в руках, быстрой семенящей походкой Настя прошла между грядками, скрылась за глухим заплотом. Немного погодя она вернулась к колодцу... Игнат бросил на землю железную выдержку, спрыгнул с сарая и направился в Изотов огород.

Настя была босиком, подол сарафана подогнут, крепкие полные икры мокрые, к ним прилипли перья травы.

— Помоги поливать, огурцами угощу, — сказала она. Игнат начерпал воды из колодца в бочку, взял у Насти ведро...

Рядом с ней эта работа казалась игрой, забавой. Просто жаль было, что огород у них небольшой, и пора уходить к себе, в пустую избу. Настя раздвинула огуречную тину, усыпанную желтыми цветочками, сорвала пару огурцов, одни подала ему, другой надкусила сама.

— Самый вкусный огурец прямо с гряды. Полежит немного сорванный, запах теряет. Огуречное семечко прилипло к ее подбородку, она его смахнула ладонью, спросила: — Ты почему все время пасмурный?

— А с чего мне яснеть? Живу медведем. Ты и то перестала приходить.

— Хочешь нарву тебе гороху? Есть сахарный... — Настя повернулась к нему спиной, принялась щипать обеими руками стручки и кидать их в подол сарафана, будто ягоду брала. Игнат чувствовал, что не зря она его отводит в сторону, и, путаясь, стал настойчиво допытываться:

— Скажи, Настюха, почему не приходишь? А? Может, я что не так сделал?

— Что ты, Игнат, от тебя, кроме добра, я ничего не видела. А сама все рвет и рвет горох, не оборачивается.

— Значит, будешь приходить, как раньше? — Конечно, ему следовало бы сказать то, главное, но язык, проклятый, не поворачивался. — Ну хотя раза два в неделю приходи, Настюха.

— Не могу, Игнат.

— Что, некогда? Так я твою работу у вас буду кое-когда делать.

— Нет, не то... — Настя наконец повернулась к нему, но не глянула, не подняла лицо, склонив голову, перебирала стручки в подоле.

— А что же?

— Корнюха не велел...

— Корнюха? Как ты сказала Корнюха?

— Ага, Корнюха.

— С какой стати он тебе приказывает?! Что ему за дело!

— Я его невеста, Игнат.

— Выдумщица! — засмеялся он, а сам почувствовал, как кривится лицо, дергаются щеки.

— Нет, правда. Давно хотела тебе сказать, но стыдно было.

Неуверенно, неловко, прямо по грядкам побрел он, вдавливая ногами перья лука в сырую землю. Настя подалась было к нему, но остановилась, испуганная, растерянная, а из подола под ноги сыпались тугие стручки гороха.

Дома Игнат остановился посередь двора, огляделся так, будто был здесь впервые. Над желтым драньем, сваленным беспорядочной кучей, навис черными ребрами стропил полураскрытый сарай, из дворика, где раньше выкармливали кабанов, на заплоты лезла жирная зелень лебеды... И забор кряхтел от ветхости, каждый угол вопил о запустении. И это было все, что осталось у него в жизни.

Поправит он сарай, забор новый поставит, изживет из закоулков двора лебеду, но что потом будет? А ничего. Навсегда, на всю жизнь в душе останется запустелость, буйной лебедой будет в ней разрастаться, множиться горечь.

В избе Игнат долго сидел на пороге, упершись подбородком в согнутые колени, потом прилепил к божнице все, какие у него были свечи, зажег их.

Господи, ты даровал мне душу и сердце, наградил умом и здоровьем, сохранил жизнь, когда другие ее лишались, для чего, господи? Не ропщу, милостивый, смиренно припадаю к стопам твоим, прошу: просветли ум мой, помоги понять мою вину перед тобой, господи!

Чадили свечи-самоделки, под потолком висел синий войлок дыма. Желтые блики вздрагивали на лице спасителя. Потемневшая голубизна глаз его была невыразительна, взгляд устремлен вверх головы Игната.

— Устя, ты мне поможешь лес раскряжевать? — Корнюха, зажмурив один глаз, поправлял развод зубьев у пилы. Хавронья с дочкой только что подоила коров, разливала молоко по туюскам.

— Я сама тебе помогу. Пусть за коровами присматривает, — сказала она.

Корнюха усмехнулся. Хавронья, как курица, высидевшая одного цыпленка, на шаг не отпускает Устинью, глаз с нее не сводит, того и гляди спрячет под подолом. Для зятя будущего, для Агапа Харитоныча берегает. Наверное, ночей не спит, кикимора, все размышляет, как она тещей въедет в богатый дом Пискуна, какой стряпней будет обедаться.

— Твоя помощь мне не нужна. Уж лучше один как-нибудь...

— Но почему же?

— О здоровье твоём забочусь. В лесу работа не прохладная, жалко тебя мучить. А Устюха молодая, ей ничего не сделается.

Знал, что сказать, Корнюха, смерть как любит Хавронья, чтобы к ней с почтением, с уважительностью подходили: размякнет вся, расплывется. А тут и это не подействовало. Но Устя сама все решила.

— Пойду с тобой, Корнюха. Ты же, мама, знаешь: не люблю пасти коров, сидишь на сопке целый день, как дурочка...

Бросив в мешок харчей на день, Корнюха положил пилу на плечо и нарочно, чтобы Хавронья лишнего не думала, скорым шагом впереди Усти пошел в лес. Девка едва за ним попевала. В лесу убавил шаг, но Устю поджидать не стал, пусть плетется себе помаленьку, не мешает думать. Ей что, думать не о чем. А вот ему... Вскоре после примирения с бурятами у него в голове родилась мысль: надо еще до осени, до уборки урожая отделиться от братьев. Хлеб, им посеянный, вымахал по грудь, колос тугой, тяжелый и уж начал жаром наливаться. Урожай будет едва ли не самый лучший в деревне. И прямо душа болит, что придется делить его с Пискуном, с братьями. Справедливо ли это? Сколько перенес всего, сколько поту пролил и на тебе! раздавай направо, налево. А кто ему даст? Ему же надо сейчас ой-ой сколько. Ну, дом мужики помогут поставить, а на обзаведение, на животину, на

сбрую где что возьмешь? Обиды братьям в разделе нету. Все трое на одинаковом положении, и если у него прибыль получится больше, так это потому, что работал дай бог любому. И с Пискуном еще разговор особый будет, может, и не придется ему хлеб отсыпать. А раз такое дело, тем более надо с братьями делиться, пока урожай не ссыпали в один загром.

С этим он поехал к Максе. Младший послушал его, сказал:

— Что ж, братка, давай так... Я против не буду. Ты вовремя сдогадался. Когда в хозяйстве много всего сельсовету морока, а тут что делить? Тряпка тебе, тряпка мне, тряпка Игнату. И все дела. Но мы и того проще можем сделать. Какая тряпка мне достается, клади в свою кучу. Тебе сейчас надо, а я обойдусь...

Не поглянулось все-таки Максе все это, и, как обычно, заехал он со стороны, слегка щелкнул по носу. Ну да ничего, главное, на дыбы не встал. Когда он согласен, нетрудно уломать и Игната. Тот, конечно, так легко на раздел не согласится, старину помянет, родителей, еще что-нибудь...

Но Игнат удивил Корнюху: слова поперек не сказал, вообще ничего не сказал, наклонил голову согласен, мол. Был он какой-то чудной. Будто его недавно по голове поленом стукнули, сидит, глазами смотрит, а в память прийти окончательно не может. Немного совестно стало Корнюхе за то, что не спросил, не узнал, как живет брат, здоров ли, а сразу, с порога раздела затребовал. И даже не растолковал, почему раздел нужен.

— Братуха, ты не сердись на меня. Жениться хочу, свое гнездо заводить. Маленько, может, обгону тебя, не по обычаю сделаю. А ведь что сейчас старые обычаи? Одни мы будем соблюдать цены им не прибавится. Ты меня, Игнат, заместо бати нашего благослови на такое дело.

— Много говоришь, Корней, мне все понятно. Женись... А делить что нам? Селись тут пока, пусть твоим будет, что у нас есть. Максюха у места, а я куда-нибудь подамся.

Не захотел Корнюха пользоваться щедрой уступчивостью брата. Одно дело неловко все заграбастывать, другое пока по закону сельсоветом не разделено имущество, оно все будет как совместное. А мало ли что бывает? Сейчас Игнат такой, потом другим станет и свое обратно запросит. А хорошо бы дом готовый иметь, пусть даже такой

немудрящий, как у них. Лес, который они сейчас с Устюхой кряжевать будут, пошел бы на амбар, на стайку теплую, на заплоты. Но что об этом думать, раз отказался. Некоторым везет. Вон Тараска... Один сын у отца. Сестер замуж растолкает и хозяином будет. Небольшое хозяйство, но все, до последнего гвоздика, его. Даже у Хавроньи с Устей и то деньги на дом имеются.

— Эй, Устюха! — Корнюха остановился. — Шагай веселее. Она далеко отстала. Шла неторопко, рвала цветы, втыкала их в волосы. Голова ее стала похожа на букет.

— Чего так раскрасилась? Все равно Агапки твоего поблизости нету, красотой любоваться некому.

— А ты не хочешь?

— Не до того мне. Вот кабы ты мне деньги, что за дом получили, займы дала, тогда бы я с утра до ночи на тебя глядел.

— Займы ничего не выйдет. Бери так.

— Как так?

— Насовсем, без отдачи. Ну и к деньгам в придачу меня.

— У тебя же Агапка есть.

— Не пойду я за него, если ты посватаешься. Ты по мне, а того, Агапку, я каждый день бить буду, никакого житья не дам. Он от меня еще наплачется...

Говорила Устюха шутливо, посмеивалась, но Корнюха верил каждому ее слову. Да, Агапку она зажмет, он у нее пикнуть не посмеет, он у нее будет ходить по одной половине. А за него, Корнюху, она бы и вправду пошла без разговора. С того раза, как он на бурят с винтовкой кинулся, Устюха уже не смотрит на него со скукой, поняла, какой он есть. Может, сравнивает со своим нареченным и ей, наверное, еще виднее становится, что Агапка ее ушкан ободранный.

Лес Корнюха навалил еще когда, больше ста лесин уронил и от сучьев очистил, а на бревна разрезать, ошкурить все не удавалось. Теперь, пока Устюха тут, лесины надо раскряжевать, вершинник на дровишки изрезать. Купят буряты дровишки. Коммуну надо же чем-то отапливать. Выторговать бы у них телочку или жеребенка... Будь у него домишко, и часть бревен продал бы им вроде как помог, сам в накладе не остался.

С утра, пока в лесу держалась прохлада, работать было легко. Пила без усилий скользила в срезе, бросая под ноги желтую крошку опилок.

Работа не мешала им разговаривать. Но о чем бы ни зашел разговор, Корнюха все время сводил его к Устюхиному замужеству. Уж и поиздевался же он над Агапкой, уж и потешил свою душеньку. Устюха смеялась вместе с ним, словно ее это нисколько не касалось. Но к обеду надоело перебивать Агапкины косточки, и жара поднялась. Стало душно, в застойном воздухе балалаечной струной вызванивали одну и ту же песню пауты, они садились на спину, на шею, больно жалили. Устюха вся взмокла, кофтенка туго облегла ее круглые груди, прилипла к спине, цветочки в волосах завяли, и голова ее похожа была уже не на букет, а на кочку.

Устя, видно было, очень устала, но не признавалась. А Корнюхе хотелось, чтобы она запросила отдыха, и он начал понемногу прижимать пилу. Однако ничего не добился, только сам себя измотал. «Ну и характерец!» с уважением подумал о ней, сказал:

— Шабаш! Будем чай варить. Пусть жара немного схлынет...

По косогору спустились к небольшой речке, бегущей меж обомшелых елей и густых кустарников. Поставив кипятить чай, Корнюха спустился чуть ниже, отыскал в речке яму, вымытую у корневища старой березы, разделся, лег в воду. Ледяным холодом обожгла вода тело. Он закричал, повернулся с боку на бок. Через полчаса вернулся к огню продрогший, спросил у нее:

— Почему не хочешь купаться?

— Кто сказал не хочу? Тоже искупаюсь.

И верно, пошла к той же яме, скоро там забулькала вода. Корнюха не утерпел, раздвинул кусты. Устя купалась, подымая сверкающие брызги, на спине у нее пузырем подымалась белая рубашка. Она вышла на берег, склонив голову, отжала волосы, сверху вниз, от плеч к бедрам провела ладонями, сгоняя воду, рубашка прилипла к ее телу, стройному, крепкому и гибкому. Тут, на берегу, она особенно красива, прямо какая-то нездешняя, не деревенская. А Настя не стала бы купаться, по если и стала бы, визг подняла на весь лес...

После обеда работали не торопясь и, когда солнце повисло на острых вершинах сосен, отправились домой.

— Ну как, по душе тебе работа со мной? — спросил Корнюха.

— Да. А что?

— Будешь каждый день ходить?

— Буду.

— Мать заворчит.

— Пускай, что ей остается делать... На батю моего всю жизнь ворчала. У меня батя был удалой, дерзкий, не жадный. Завелись какие деньги всех угощает, всем что-нибудь дарит. Последний его подарок мне эти вот сережки.

Подоив коров, Устя долго сидела на ступеньках крыльца, тихо пела грустные песни семейщины. Голос ее сливался с посвистом ночных птиц.

Отец мой был природный пахарь,
а я работал вместе с ним.
На нас напали злые люди,
все погромили и сожгли.

Зевая, на крыльцо вышла Хавронья.

— Спать пора, сказала она.

Устя ушла. Корнюха вдруг вспомнил: сегодня Настя ждет его возле речки в кустах. Сговорились встретиться... Но теперь уже поздно ехать. И что-то не хочется. Устал, видно... Потянулся до хруста в костях, пошел в зимовье. Засыпая, он думал не о Насте, а о том, что завтра снова надо идти в лес.

Для Максима и Татьянки две недели сенокоса были как праздник. На заимку приехал Лучка со своей Еленкой. Вставали чуть свет, наскоро завтракали и шли на покос. Высокая ветлюга с рыжеватыми верхушкамигнулась под тяжестью росы, срезанная косой, ложилась в ровные высокие гряды. Первым начинал прокос Лучка. Сначала он коротко, как бы неуверенно, взмахивал косой, но постепенно свободнее становился размах, и вот уже, чуть сгибаясь, широко расставив ноги, он идет легко и играючи. За ним поспешает Еленка, потом Татьянка. Закачивает ряд Максим.

Все четыре косы разом взлетают над травой, вспыхнув на солнце, разом опускаются. И шипящий звук сливается в один: вжик, вжик.

Когда солнце выпивало росу и трава становилась черствой, косьбу бросали, начинали сушить скошенное сено. Опять шли друг за другом, переворачивая граблями пахнущие диким медом ряды.

Обедали прямо на покосе, спрятавшись в тень от зарода. Еленка первые дни вроде все больше помалкивала. Но понемножку втянулась в общие разговоры и шутки, насмешки Максима стала сносить без обиды. Правда, Макся ее не очень задевал. Лучка предупредил его чуть ли не в первый день: «Потише с ней, тяжелая она». Лучка присматривал, чтобы она сильно не нал<имала на работу. Первенец у них умер на третий день жизни, и он боялся, кабы опять не повторилось такое. А Еленка себя не берегла, работала наравне со всеми и, когда Лучка начинал ей что-нибудь говорить, отмахивалась, слушать не хотела. Но за все время, пока они жили на заимке, ни разу не ругались, не спорили. А до этого Лучка жаловался: не только с тестем и тещей, но и с Еленкой у него нелады.

В последний день работу закончили перед обедом. Лучка зарезал барана, наварили мяса целый котел. Сели за стол, Лучка мнется, лениво ворочает в чашке куски баранины.

— Ты что не ешь? — спросил Макся.

— Такое мясо, в такой день есть насухо просто грех.

— А где чего возьмешь?

— Может быть, и найдется, если я в своем мешке пороюсь. Но тебе, поди, нельзя, ты ведь теперь в партии. Тараска намедни баил: нельзя вам. Я говорит, потому только не записываюсь в партию. Не стерплю, говорит...

— Ты слушай Тараску, он тебе наскажет.

Лучка принес бутылку самогона, налил всем. Татьяна пить не хотела, но он ее заставил:

— Давай, сеструха, тяни, ты уж не маленькая. Когда еще придется так вот, за одним столом, дружно, беззаботливо посидеть.

Чокнулись кружками, выпили. Просидели за столом до позднего вечера.

— Мне отсюда уезжать неохота, — созналась Еленка. — Хорошо тут у вас. Наверно, первый раз за всю жизнь я на работе радовалась. Бывало, выйдем мы на косьбу, только и слышно, как батя ругается. То мать ему не угодила, то я что-то не так сделала... И все торопит, торопит.

— Давно тебе говорю: пока человеком жадность руководит, не видать ему радости, вечно будет недоволен, вечно будет сохнуть от зависти к другим. Лучка потянулся к бутылке, налил остатки в два стакана. — Давай, Максюха, выпьем за то, чтобы пришла к нам жизнь без зависти, жадности, чтобы работалось всем с весельем на сердце.

Утром они уехали. Максим и Татьяна еще накосили, сметали зарод воев на десять пятнадцать. Не для Трифона, для себя.

Перед началом страды приехал Корнюха, привез сельсоветский акт о разделе имущества, похвастался:

— Видишь, Максюха, я у вас ничего стоящего не взял. Изба осталась за вами и кобыленка, на совместные деньги купленная.

— Ты молодец у нас, — Макся, хмурясь, вывел свою фамилию под другими подписями, подал акт Корнюхе. — На... Желаю тебе всякого добра.

Корнюха спрятал бумагу в карман.

— Ты мне не поможешь хлеб в снопы связать?

— Танюша, собери что-нибудь поесть...

— Чаевать потом будем. Сначала надо договориться...

— Не договоримся мы. Если буду помогать, то Игнату.

— Что ему помогать! — фыркнул Корнюха. — Одному делать нечего с его урожаем. Помоги мне, Максюха.

— Тебе помогать выгоды нет. Твое хозяйство не наше. Корнюха вроде как подрастерялся.

— Ну что ж... Ну ладно... Значит, не поможешь?.. А я на тебя, Максюха, шибко надеялся... Али хочешь, чтобы платил я? Будешь подсоблять за плату?

— Корнюха, да у тебя никак слепота куриная? Ешь больше огородины, говорят, здорово помогает. Братья стояли друг перед другом. Корнюха плечистый, силой налитой, Максим тонкий, сухопарый и ростом невысокий...

— Опять непонятное говоришь. Кончай ты с этой привычкой!

— Помаленьку все поймешь. Разом ничего не делается. Простой забор и то одним махом не поставишь. Поначалу колья вбивают, потом из таловых прутьев обвязку делают, потом...

— Пошел ты к черту со своей околесицей! — вскипел Корнюха. — Говори человеческим языком: поможешь?

— Уже сказал: нет.

Корнюха уехал сердитый, на заимке он больше не показывался. А когда, уже после уборки хлеба, Максим ездил обыденкой помогать бурятам перестраивать замовье Пискуна, Корнюха с ним почти не разговаривал, видно, все обижался. Набиваться к нему с мировой Максим не стал. Пускай пыхтит... Кроме того, после разговора с Игнатом не До Корнюхиных обид стало. Старший что-то совсем сдал, замутил свой рассудок божественностью. Может, и другое что сбило его с панталыку, но про то он ничего не говорил, как ни старался Макся выведать. Игнат велел ему поскорее выбираться в деревню. «Берн на себя наш дом, хозяйку заводи». «А ты куда?» «Я с Лазурькой вел разговоры о Петрухе

Трубе... Совет дал им денег на коня, зимовье ихнее подладил. Словом, переезжает Петруха в деревню. Ребятишек ему учить надо. А я в лесу поселюсь. Буду жить помаленьку, богу молиться. Тихо там, хорошо...» «Да ты чего! Какая тебя муха укусила? Не сто лет тебе, чтобы одному-одинешенькому жить там». Игнат вздохнул: «Что сделаешь, братушка. Судьба у меня такая».

Больше ничего не добился у Игната Максим. С жалостью смотрел на его бородатое и печальное лицо. Подумал: уж не Корнюха ли со своим ненасытством и бесстыдством виной всему? Вслух сказал: «Морду набить ему надо. За богатством бежит, язык выпихнув. Еще сто

верст до богатства, еще неизвестно, будет ли оно, а он уже локти растопыривает, отталкивает других, сам все заграбастать хочет. И кого отталкивает! Братьев единокровных, самых родных людей на земле!» «Не тронь ты его, попросил Игнат. Каждый живет, как ему душа подсказывает. Помочь надо Корнюхе... Может, отдадим ему кобыленку-то, а?» «Шиш ему под нос!..»

Про себя Максим решил: не отпустит он брата в лес. Конечно, для него, Максима, для Татьянки такой оборот самый лучший. Будут жить в родительской избе полными хозяевами, без стеснения. Но Игнат... Он заживо себя похоронит.

Быстро пролетела теплая желтая осень. С низовьев Тугнуя, с Цолгинских равнин все чаще задувал холодный ветер. Он свистел в прибрежных тальниках, срывал засохшие листья, гнул к земле оголенные ветви, а по степи, гладкой, как стол, серой, как казенная кошма, катились шары колючего конхула. Крыша зимовья гудела на разные голоса, скрипела и дребезжала.

Неуютной стала жизнь на заимке. Максим готовился к отъезду в деревню, приводил все в порядок, чтобы Тришка не мог обвинить его в нерадивости.

Под вечер немного стих, успокоился ветер и пошел первый снег. Снежинки, падая, косыми штрихами исчертили все вокруг — степь, сопки, тальники у ручья. Максим побежал встречать Федоску, помог ему загнать овец во двор, закрыл в сарае лошадь, бросив ей сена. Тем временем Татьяна натаскала в зимовье дров, разожгла очаг. Огонь в очаге, когда так вот гудит крыша и за окнами густеет мокрая белая темень, наполняет светом и теплом не только зимовье, но и душу. Все плохое, тревожное отдалается, забывается, думы становятся спокойными и радостными.

После ужина придвинули стол ближе к огню, Максим развернул старые, насквозь им прочитанные газеты. По ним он в свободное время учил грамоте Татьянку и Федоса.

— За-да-вим ку-ла-ка твер... твердым за-да-нием... — с натугой складывал Федоска из букв слова. — Вражде... бы... бы...

— Подожди... — Татьяна подняла голову от стола, вслушиваясь.

Максим тоже прислушался. Должно быть, ветер крепчал, в гудение крыши вплелось позванивание оконного стекла.

— Кажись, конь заржал, — сказала Татьяна.

— А-а, тебе вечно что-нибудь кажется! — недовольный, что его перебили, сказал Федоска и, спотыкаясь на каждом слоге, путая ударения, стал читать. А Татьяна все еще вертела головой, все еще прислушивалась. Вдруг она вскрикнула, прижалась к Максиму. Обернулся Максим и вздрогнул. Сквозь стекло из мрака на них смотрели немигающие глаза выстуженные Стигнейкины глаза. Опрокинув скамейку, Максим бросился к двери. Опоздал! Дверь распахнулась, вместе с холодом, сыростью в зимовье вошел Стигнейка Сохатый, весь облепленный снегом. За спиной у него, стволом вниз, висела винтовка.

— Не успел заложиться? — Стигнейка снял папаху, ударил ею о колено, стряхивая снег. — Когда дверь заперта, я лезу в окно. От меня не заложись.

— И не думал залаживаться. Максим смотрел через плечо Стигнейки на свою курмушку, висевшую у порога. В ней был револьвер.

— Сразу видно, что встречать меня бежишь.

— Такого гостя да не встретить! А в голове: «Остался безоружный, губошлеп, попробуй теперь вытащи револьвер!»

Федоска закрыл ладонями заголовок только что читанной заметки. Ногой двинув к очагу табуретку, Стигнейка сел, поставил винтовку меж колен, протянул к огню красные руки. Немного обогрел их, шинель расстегнул. Под шинелью на боку висела желтая кобура и серебряный, работы бурятских мастеров нож. Он поправил кобуру. Кажется, для того только, чтобы они могли ее заметить.

— Почитываете? Грамотные стали?

Федоска еще плотнее прижал ладони к странице, будто боялся, что заметка вылетит из-под рук.

— Читай, чего примолк! И мне охота послушать советскую брехню.

Молчал Федоска. Скулы у него напряглись, должно, зубы стиснул. Максим взял газету.

— У него еще слабо получается, не научился. Я сам почитаю. Под столом, предупреждая, его ущипнула Татьяна, но он громко прочел: — Зададим кулака твердым заданием. Враждебные Советской власти элементы всеми силами противятся хлебозаготовкам, срывают план...

— Нашел об чем читать! — скривился Стигнейка.

— Самое интересное выбрал.

— Дай! — Стигнейка выхватил газету, смял в ком, забросил в очаг. — Тут ее место! А ты, слышно, большевичкой заделался? Партийным стал? Не я ли тебе говорил: всем партийным смерть? Запоматовал? Теперь пеняй на себя. Застрелю! — он стукнул прикладом винтовки об пол, потянулся к кобуре.

— Только попробуй! — Татьяна побледнела и, вскочив, сделала движение, будто хотела закрыть собой Максима.

— Ну-ну, тебе-то шуметь и вовсе нечего, — Стигнейка только двинул кобуру по поясу. — Сейчас убивать не стану, не за этим приехал. Но все равно он недолго будет большевичить. Скоро всех до единого прикончим. А сейчас я тут в гостях. Чай кипятит, Татьяна. Вот гостинцев городских тебе привез. Из карманов он выгреб разноцветные леденцы, из-за пазухи вытащил шелковый платок, встряхнул им. На, примерь.

Все еще бледная, страх позабывшая Татьяна брезгливо отстранилась.

— Содрал с кого?

— В магазине честь по чести куплен. Не дурак же я, чтобы невесте краденое дарить. Это Советская власть своим прихлебателям дарит то, что у честных мужиков поотбирала. Ставь чай, погреюсь и поеду. Ты, Федос, поди коню дай сена.

— Я сам схожу, Максим поднялся из-за стола.

— Нет, ты сиди. Еще простудишься. Сохатый язвил почти благодушно, только в глазах его все время держался холод.

Максим ему не отвечал. Пускай, думал, тешится, а там посмотрим. Во всяком разе, так просто эта тварь поганая не уйдет отседова. Только вот револьвер взять...

— Таня, поставь чай-то, сказал он, гость же... Да и не простой, жених твой.

Она посмотрела на него с удивлением. Но пошла разжигать самовар.

— Стигнейка, а это правда, что скоро всем большевикам крышка? — тихим, смиренным голосом спросил Максим.

— А ты как думал?

— Я, понимаешь, по-другому думал. Кабы знать, не полез в партию. В стороне бы стоял, выжидал. Тебе-то я, каюсь, не шибко

верил. Большевики сила, а у вас что? Ничего же нету, как тут поверишь?

— Сила у нас найдется, не тревожься.

— Какая же эта сила, откуда ей быть?

— Ума пытаешь? Узнаешь, когда тебя возьмут за жабры да поднимут на перекладину. С высоты разглядишь.

— Неужели со мной так сделают?

— Еще спрашивает! Кто велел к большевикам вписаться, кто просил стать пособником слуг антихристовых?

— Ты же сам говоришь, что Советская власть для своих не жалеет... Думал, перепадет кое-что. Бедность же...

— Ха, бедность его заставила! Так и поверил тебе. На бога надо уповать, а не к большевикам примазываться. Брата твоего за благочестие старики чтут, а ты спутался...

Татьянка поставила на стол помятый, выдавший виды самовар, хлеб нарезала. Сейчас Стигнейка жрать зачнет. Пора! Макся встал, поежился зябко.

— Холодно как. Принести еще дровишек да натопить получше...

Главное, не торопиться, идти тихо, спокойно. Вот она, курмушка. Руку в карман.

— А ну вернись! Пусть Федоска идет за дровами! — гаркнул Сохатый.

Максим оглянулся. Настороженно, с подозрением смотрит Стигнейка, винтовка у него в руках, не глядя на нее, привычным движением предохранитель отводит, Татьяна поставила под кран самовара кружку и замерла, не видит, что кипяток через край льется. Подчиниться Сохатому? Подойдет, проверит, что в курмушке, и тогда...

Максимова рука крепко стиснула шершавую рукоятку, рванула, но револьвер зацепился за рваный карман и не отцепливается.

— Вот ты какой! Руки вверх, тудыт твою мать! — винтовочный ствол взлетел, качнулся и замер, уперев в Максима черный глаз.

Раздирая карман, Максим рванул револьвер, инстинктивно пригибая голову. Он не видел, как Татьяна выдернула из-под крана кружку, плеснула кипяток Стигнейке за шею. Звякнула, падая, винтовка. Стигнейка привскочил, рывкнул раненым медведем, замахал руками, будто отбиваясь от роя ос. Два прыжка, и Максим подхватил винтовку, вскидывая ее к плечу, попятился, отрезал путь к дверям. Но

не успел взять Стигнейку на мушку. Тот пинком опрокинул стол, к Максимовым ногам с грохотом, извергая клубы пара, покатился самовар.

В зимовье сразу стало сумрачно, как в бане. Сохатый сбил с ног Татьянку, прыгнул к окну, выдавил плечом раму и вывалился из зимовья. Наугад, не целясь, Максим выстрелил ему вслед, подбежал к окну. Навстречу из снежной замети хлопнул револьверный выстрел, отодрав от косяка щепку. Максим, стреляя, отпрянул за простенок. В темноте застучали копыта. И все стихло. Ветер швырял в окно пригоршни снега, взлохмачивая пламя в очаге, развевал розовый шелк платка, повисшего на кромке стола.

Максим проверил запоры на дверях, завесил все окна. Никто из них не уснул в эту ночь. Сидели у потухшего очага, прислушиваясь к шорохам вьюжной ночи. А на рассвете Максим поскакал к Лазурьке.

Ругнул его Лазурька.

— Какого маху дал, черт тебя дери! — он помрачнел. — Что он в городе делал? Ни хрена теперь не узнаешь. Доведется снова охрану выставлять по ночам. Ну и сызнава ни слова о нем никому. А сам выезжай поскорее. Пришить могут.

— Работа у меня там есть еще. С полмесяца прожить придется.

— Смотри, Максюха... Хлебозаготовками мы допекли кулачье, добела раскалили, от любого прикуривать можно. Но вот беда, не одних кулаков... Не совсем ладно у нас делается. В одну кучу с кулаками валим и хозяев помельче. Лиферу Иванычу, Прохору Семенычу, Викулу Абрамычу мужикам среднего достатка твердое задание выписали. Плохо это, Максюха, плохо. Многие мужики смотрят на меня теперь с опаской, понять не могут, к чему их ведет Советская власть.

— Но как же ты?

— Что я! — махнул Лазурька рукой. — Стишка спарился с Рымаревым, жмут на меня, оба уж они шибко революционные. В РИК было сунулся, разъяснения запросил, а там меня посулились под суд отдать, если план провалим. Ты, говорят, кулацкую агентуру прикрываешь. Вот как... Достукался. Лазурька помолчал, как-то странно подергал щекой, потер ее ладонью. — План, правда, мы не дотянули еще, но при чем тут середняк? Кулацкие амбары потрошить я согласен, но тут руки опускаются. Давай, Максюха, поскорее становись со мной рядом. Стишка мне не помощник, совсем задуреет стал, жмет

и ломит напропалую. Не дай бог, если дальше так дело двинется, откачнутся от нас мужики, одних оставят.

Первый снег пролежал недолго. В тот же день поля, сопки сбросили с себя белые простыни, на дорогах зачернела жирно грязь. А вечер выдался тихий, ясный, морозный. Застыла грязь, затянулись лужицы коркой льда.

Под нагими кустами тальника, на речке сидел Игнат и грел руки, засунув их в рукава полушубка. За сторбленной спиной висела винтовка, не стал ее снимать: кого тут караулить? Перевелись воры и безобразники, не слышно, не видно. Но Лазурька что-то опять поднял мужиков, заставил сторожить все ходы-выходы из Тайшихи. Не следовало бы идти. Спорить было неохота. Лазурька привязливый, от него не отобьешься. Скорей бы на мельницу. Безлюдье там, спокой. Будет он читать святое писание, вымаливать у господа бога прощения за пролитую на войне человеческую кровь. У Насти и Корнюхи ребятишки пойдут, на лето он возьмет их к себе, научит вертеть дудочки, слушать чириканье пичужек, отыскивать под хвоей грибы...

Сегодня Максюха опять отговаривал ехать на мельницу. Не понимает, добрая душа, что он теперь как залитый дождем огонь куча углей и пепла, ни искры живой, ни тепла в нем нет. Не судил ему господь быть счастливым, и он покорен его воле. Пусть пьют сладкий сок жизни другие, а он будет молить всевышнего, чтобы не примешивалась к сладости горечь, чтобы не было таких, как он, и других, которые, хватив горечи, становятся злобными, неуживчивыми, глухими к чужим болям. За Максю, за Корнюху будет молить бога, да простит он им безверье, поступки греховные. За Лазаря Изотыча помолится: не для себя, для людей радеет Лазарь, хотя и первый потатчик безбожья, пренебрежения к обычаям отцовщины. Кто, как не он, волокет из беспросветной нуждищи Петруху Трубу со всеми его грязными, голодными, холодными ребятишками? Стоило слово сказать взялся за дело, не посмотрел, что у него, кроме заботы о Петрухиной ораве, есть чем заниматься. Но добросердечие и в нем соседствует со стужей душевной. Нет терпеливости, убеждающего слова к тем, кто раньше семейщиной правил. Ведь и они люди. Они все понять могут, зачем же их гнуть в дугу, гвоздить оглоблей по голове. Дай

опаматоваться, оглядеться, увидеть добро, которое несешь. Ан нет. Ферапонт для него сеятель темноты, больше ничего. А то, что Ферапонт иному бедолаге, закрученному жизнью, словом божьим помогает обрести душевное спокойствие, Лазурька не видит.

В сухой траве под кустами завозились мыши, с ветки упал, прошуршав, мерзлый лист. В деревне всхлипывала, будто от радости захлебываясь, гармошка, смеялись девки. И уже не гонят их родители в избу палкой, как обездомевших гусей, привыкли и к песням под окнами, и к свадьбам без уставщика привыкать начинают. Шибко ли плохо это, позднее видно будет... Но пусть уж лучше поют и смеются, никого не стыдясь, прямо на улице, чем одиноко прячут горе в своих избах. Парни эти, девахи, что сейчас веселятся на холоде, каждый своего ждет от жизни, как и он ждал когда-то довольства и радостей. Господи, прошу тебя, пусть у них все сбудется, отведи, господи, от них все беды и напасти...

Смолкла гармошка. Гасли огни в окнах. В темноте пощелкивала промерзшая земля. Игнат поднялся. Господи, что же это он сегодня?.. Не надо растравлять себя. Ни к чему. Хлеба не цветут дважды, сухая сосна не пускает ростков.

Нашупывая ногами тропку, он пошел к речке. Впереди что-то зашумело, брякнула расхлябанная подкова лошади. Игнат остановился, снял винтовку, вжался в куст. Прислушался ни звука. Хотел было уже идти, когда в просвете меж кустами мелькнула чья-то тень. А скоро стали слышны и шаги человека осторожные, тихие. Воровской шаг. Добрый человек идет треск кустов

на полверсты слышен. А шел он прямо на Игната. Господи, зачем тебя черт несет!

Он подпустил незнакомца вплотную, шагнул навстречу, упер ствол винтовки в грудь, тихо приказал:

— Не шевелись! Подыми руки!

Тот слабо вскрикнул, поднял руки, в правой при свете звезд тусклой чернотой блеснул револьвер.

— Повернись спиной! так же тихо сказал Игнат, взял у него револьвер, снял ремень с ножом, обшарил карманы.

— Ты кто такой?

— Не видишь, что ли? Аль признавать не хочешь Стигнейку?

— По окнам палить идешь?

— Н-нет. Давно бросил это дело.

— А что тебе тут нужно?

— Попрошу денег взаймы и уйду. Ты отпусти меня. Не бери грех на душу. Убьют меня ты будешь в смерти повинен, с тебя взыщет господь.

— А с кого взыщет за тех, кому пули наготовил?

— Не веришь, что бросил пугать большевиков? Божьей матерью клянусь! Давно уже. На мирное житье осел, а меня большевики на днях словили. Мучили, пытали... Сбежал я. Куда мне податься, если в кармане ни гроша, если три дня не жрамши и от большевицких издевательств вся шкура со спины слезла. Не веришь? Посмотри, посмотри. Стигнейка сбросил шинелку, расстегнул и сдвинул с плеч рубаху. — Зажги спичку. На вот...

Игнат чиркнул спичку, глянул на голую спину Стигнейки и тотчас же загасил. На шее, на спине кумачовой заплатой выделялась обваренная кожа, местами она отдулась водянистыми пузырями.

— Что это у тебя?

— Что?.. Кипяток лили... лязгая зубами, Стигнейка оделся, взмолился: — Отпусти ради Христа. Ты же веришь в господя, неужели допустишь, чтобы жизнь, данную мне богом, люди отняли? Ить не помилуют!

Игнат молчал. И молчание его, видно, приободрило Стигнейку.

— Мыслимо ли убивать человека, ежели он сам осознал свои заблуждения и днем и ночью замаливает прошлые грехи?

И верил и не верил ему Игнат. Больше верил, чем не верил. Не было за то, что Стигнейка говорит правду. Летом никто не стрелял по Лазурькиным окнам. Может, и осознал. А сдать конец ему.

— Ладно, я отпущу тебя... — угрюмо сказал он.

— Спаси тебя бог! В вечном долгу перед тобой...

— Не торопись... Сначала ты землей-кормилицей, хлебом, именем всевышнего поклянись, что сегодня же уйдешь отсюда и никогда, нигде не подымешь руку на человека.

— Клянусь землей-кормилицей, хлебом, именем божьим; что нигде, никогда не подыму руку на человека, что сегодня же смотаюсь отсюда! — повторил Стигнейка и добавил: — Пусть я сдохну как бездомная собака, если нарушу свою клятву!

— Иди же, пока не передумал. Ты пешком?

— Нет, конь в кустах спрятан. Дозволь в деревню заскочить, в один дом... Больки перевяжут, хлебушка дадут...

— Иди...

— Тут больше никто не стоит? Не поймают?

— Нет. Иди.

— Верни мне наган и ножик.

— Иди, тебе говорят! — возвысил голос Игнат. Как не поймет, дурак, что еще может передумать... Поведет его к Лазурьке...

Стигнейка скользнул за кусты, без следа, без звука нырнул в темноту, будто и не было его тут.

Спустился Игнат к речке. Вода была черной, она казалась густой, как деготь. У берега, в осоке, тихо позванивали льдинки, шуршала шуга. Он широко размахнулся, бросил в реку сначала револьвер, потом пояс с ножом и кобурой. Вода дважды булькнула, и снова поплыло над нею шуршание с тихим звоном. Он вытер руки о полушубок, закинул винтовку за спину, медленно пошел обратно. В голове назойливой мухой жужжало: «Как же так?» В глаза надолго, видно, впечаталась красная Стигнейкина спина, белые пузыри ошпаренной кожи... Выходит, живут до сей поры изгальство и лютость, выходит, вновь руки палачей надругаются над телом человека. После этого лучше ли они Стигнейки? Да, большая вина на нем, заслужил он суда людского. Накажите. Но без изгальства и надругательства. Однако и тут подумать надо. Не есть ли самая большая кара для человека раскаяние его, когда просветленная душа ужаснулась от содеянного и жаждет искупить вину в доброте и смирении? А разве же можно зло искоренить злом?

Заимку Корнюха честь по чести сдал Ринчину Доржиевичу. Как и было договорено, помогли мужики зимовье подладить, прируб к нему сделать. Свой лес Корнюха бурятам продал. Ставить себе дом передумал. Пискун отсоветовал. Живи, говорит, пока в моем зимовьишке, что на задах стоит, а потом, ежели все ловко выйдет у нас, подсоблю купить готовый дом, со всеми пристройками. На Пискуна Корнюха не сильно надеялся, но к тому времени у него свои планы наметились. Первое время он поговаривал с Устюхой о ее деньгах в шутку, а потом, поразмыслив, шуточки отбросил. Чем хуже Настя Устюха? В работе ей не выдаст, бойкостью перешибет, красотой почище будет. С другой стороны подойти что принесет Настя приданого? Пару лежалых сарафанов, подушку да потник. Многое наживать придется. А у Устюхи грошей на целый дом. И не глянется ему уже Настя, как прежде. На свидание к ней ездит совсем редко, да и то, чтобы шум не подняла раньше времени. Она, кажись, что-то учухала, частенько попрекает его, на ласки скупится. Не нужны ему, по правде, ее ласки сейчас, а все же хочется, чтобы до норы до времени все было вроде как по-старому. Рев подымет, Лазурька ввяжется, Максюха с Игнатом, и уж не отвертишься от нее, оженят.

Незадолго перед отъездом с заимки Корнюха обо всем договорился с Устюхой. В зимовье они были одни, Хавронья что-то делала во дворе. Устя смотрелась в стеклышко окна и, запрокинув голову, расчесывала волосы. Незастегнутая кофтенка расползлась, обнажив округлую грудь. Корнюха протянул руку, как мяч, стиснул грудь в пальцах. Устюха тут же хлопыстнула его ладонью по шее, да так, что в глазах заискрилось.

— Вот попробуй еще разок! — спокойно сказала она.

— А ты не заголяйся!.. Еще раз попробовать не побоюсь. — Тогда я о твою голову ухват обломаю.

— С чего строгая такая? Для этой сопли, для Агапки себя бережешь?

— Хотя бы и для него. Ты же на мне не женишься? Почему?

Да той самой сопли побоишься, батьки его.

— А ты пойдешь за меня?

— Пойду. Давно уже напрашиваюсь.

— Нет, я с тобой сурьезно.

— И я сурьезно. Ты же видишь, какая я радостная, когда жених приезжает.

Потом он ее еще спрашивал об этом же. Что-то не верилось.

Может быть, потому не верилось, что Устюха, во всем его добрый товарищ и помощник, становилась недоступной, как только он пытался прикоснуться к ней. Не было в ней той податливости, что у Насти. А с виду твоя бы была... И другое еще его заботило. Пискунов он не то чтобы побаивался, было сомнение: обхитрит ли их? Зерно с его поля Пискун к себе ссыпал. Куда, мол, тебе с ним деваться, вот продадим и получишь свою долю чистыми денежками. А когда стали со всей строгостью твердое задание взыскивать, заставил яму на гумне копать и по ночам, воровски, зерно в ней прятать. Тошно было Корнюхе от этого, материл Пискуна на чем свет стоит, а дело все-таки делал: придут, все выгребут, не станут разбираться, где чье зерно.

Но вышло, что без пользы яму рыл. По амбарам никто ходить не собирался. Не выполнил твердое задание вызывают в суд. Там принудиловку припаяют и опишут, распродают все добро. В соседнем селе таким манером трех мужиков дотла разорили. Прослышал про это Пискун, быстро рассчитался, сдал все, что с него требовали. Позднее грозил маленьким кулачком кому-то, ругался, обрызгивая слюной свою бороденку. Всяк бы на его месте не возрадовался. Больше половины урожая пришлось сдать. А тут еще с молотилкой не получилось, отбил Лазурька все доходы. Пискун из себя выходил. Куда девалась его умильность, велеречивость, стариковская степенность? Ходил вприпрыжку, будто ему в пятки пружины вставили, говорил отрывисто. По вечерам у него нередко собирались такие же, как он, и на все корки честили Советскую власть, Лазурьку, Стишку Клохтуна. Корнюху к себе не допускали, разговоры ихние слышал краем уха. Слушал, злорадничая: «Так вам и надо, будете знать, как ездить на нашей шее! Теперь свою подставляйте, теперь мы на вас покатаемся!»

Однако понимал: одной веревочкой с Пискуном связан. Разорят Пискуна пропадут и его, Корнюхины, труды, его надежды. Но пусть не разорят, пусть просто поругается с ними... Пискун может вместо обещанного кукиш показать, и ничего с ним не сделаешь. Нет ни бумаги, ни свидетелей одно только слово его склизкое, ненадежное. А

горячей ругани, видно, не минешь. Зреет ссора, как чирей. Агапка при встрече с ним от злобы ажно зубы щерит, так бы, кажись, и впился в Корнюхино горло. Унюхал синюшный недоносок, что невесту у него могут из-под носа утянуть, батьку со свадьбой торопит, каждый божий день об чем-то с Хавроньей шепчется. Харитон согласился взять Устюху в невестки, уж и зовет ее не иначе, как «доченька». Хавронье, сватье будущей, ключи от казенки и погреба отдал. Она после этого важной стала, бычьим пузырем раздулась, не ходит плавает, губы свои провяленные поджатыми держит, пасмурность на лицо напустила такую, что можно подумать: забот у нее спать некогда. Со смеху сдохнуть можно, глядя на эту ошипанную курицу, вдруг возомнившую себя откормленной уткой. Но мало того что от важности едва не лопнет, зачала помаленьку власть забирать в свои корявые непромытые руки. На Устюху покрикивала по делу и без дела, потом и до него добралась, давай и ему свое недовольство казать. В каждую дырку лезла, баба проклятая, все видела. Придирками глупыми вывела его из себя. Однажды на заднем дворе, когда начала ворчать, чем-то недовольная, он сказал:

Если ты, старая халда, будешь еще командарствовать, схвачу за сарафан и мотырну так, что через три забора, будто на ероплане, перелетишь! сказал с таким внушительным спокойствием, что она присела от страха и трусцой попятилась от него.

После этого уже не командовала, но посматривала на него не лучше, чем Агапка: будь ее воля, немедля согнала бы со двора.

И Пискун с недавних пор переменялся. Уже не толковал, как бывало, о своих хозяйственных соображениях, а только приказывал: сделай то, сделай это. Может, и он за Устюху боится, может, что другое на уме...

Решил Корнюха без мешканья получить с Пискуна заработанное, развязать себе руки и уж потом отшивать от Устюхи Агапку. Вечером пошел в дом хозяина. Сидит Харитон за убраным столом, накрытым белой скатертью, в новой рубахе, гладенький, причесанный, ведет с Хавроньей душевный разговор. На сухоньком личике благодать.

«В добрый час пришел», подумал Корнюха.

— Ну, Малафеич, посчитай, сколько я у тебя заработал.

— Что заторопился? — как с вареной картофелины кожура, слезла с его лица благодать.

— Должен же я знать, что у меня имеется. Посчитай, Малафеич.

— А что считать, у меня давно твое посчитано. Хлебушко, в яме спрятанное, твое.

— Как так?

— Что, мало?

— Нет, не мало... — В том-то и дело, что зерна там было куда больше, чем рассчитывал Корнюха получить, и в первый момент опешил, ушам своим не поверил.

— Ежели не мало, бери.

Корнюха побежал на гумно, ломом отвалил мерзлый пласт дерна, выворотил доску темно в яме, ничего не видно. Лег на живот, сунул руку пусто. Что за чертовщина? Зерна, помнится, насыпал доверху. Неужели оно так здорово осело? Втиснулся в дыру, спустился вниз. Зерна в яме осталось меньше половины. Вот она, щедрость Пискуна! Тайком опустошил и на, бери остатки. Ну и сволочня! Ну и поганка! Обожди же...

С ломом в руках вошел в дом, поставил лом у порога, приткнув к косяку.

— Ты что, старый хрыч, обжулить меня хочешь?

— Мало тебе?! — вроде бы удивился Пискун. — Самая божеская цена. Другой бы и этого не дал. За аренду плачу я, на моем коне работал, мои семена сеял. Твоего одни руки. А за них у кого хочешь спроси, много не дадут.

— Ага-а... Вон что ты запел. А это видел? — Корнюха поднял лом. — Тресну один раз, и от тебя ничего, кроме вони, не останется.

Хавронья подалась от стола и боком-боком к порогу, а там шась за двери, только сарафан, будто лисий хвост, мелькнул. Из-за перегородки, с кути, вылетел с поленом Агапка, но, увидев в руках Корнюхи лом, остановился.

— А-а, и ты тут? Иди поближе! Сокрушу к чертовой матери всю вашу родоу! Кулачье, кровопивцы! — и ахнул ломом по столу. С хрустом проломились доски, фаянсовая тарелка разлетелась на белые брызги. Побелевший Пискун сжался в комочек, стал меньше воробья. Снова, подняв лом, Корнюха повернулся к Агапке, но распахнулась дверь, в дом влетела Устюха и повисла у него на руках.

— Ты с ума сошел! Иди, иди... — Настойчиво, но в то же время как-то очень бережно она подтолкнула его к двери. А тут Агапка про

полено вспомнил, кинулся на Корнюху, ловчась стукнуть его по голове.

— Прочь отсюда! — Устюха выхватила из его рук полено, бросила к порогу.

Поддерживая, словно больного или пьяного, она увела Корнюху в зимовье, усадила на лавку.

— Ой-ой, Корнюха, и бешеный же ты! — и засмеялась, разлохматила его чуб.

Почти следом прибежал Харитон, вьюном проскочил в чуть приоткрытую дверь, зачастил с ходу:

— Ты беспонятливый... Зерно не вся плата. Денег еще дам. Так и думал.

— Думал ты!.. Знаю я тебя, обтрепанное помело. Но у меня навеки отвадишься хитрить.

— Да где же тут хитрость? Какая тут хитрость? Просто заминка у меня с деньгами.

— Не бреш! Куда они подевались? — Корнюха понял: выдавить надо все сейчас, пока он напуган, очухается ускользнет, как налим. — Гони денежки, хватит тебе кочевряжиться!

— Нет, Корнюша, ей-богу, нету. Но я тебя не обманываю. Уж если тебе так приспичило, давай забьем завтра двух бычков, и поезжай с мясом в город. Выторгуешь...

— Опять что-нибудь замыслил?

— Нет, Корнюшенька, нет, родимый. С тобой я завсегда...

— Смотри! В случае чего, я твое гнездо по бревнышку раскатаю!

Перед отъездом в город Корнюха выгреб из ямы зерно, перевез домой. Когда он сгружал с телеги мешки, во двор вошла Настя, стала у воза, придерживая у подбородка наспех накинутый платок.

— Что тебе, Настюха?

— Поговорить надо...

— Видишь, некогда мне разговоры разговаривать, — Корнюха поставил мешок на попу, пригнулся, вскинул его на плечо. «Хоть бы ушла». Вернулся за другим мешком. Настя у телеги стоит все так же.

— Раньше у тебя было время на разговоры и на другое, — сказала она. — Ты уж скажи мне прямо...

— Что ты привязалась? Шагай отсюда, потом поговорим. Корнюха взялся за другой мешок, но Настя не дала его поднять, придвинулась вплотную, сверкая глазами из-под платка, горячим шепотом заговорила:

— Ты думаешь, я не вижу, куда клонишь? Все вижу и понимаю. Не жалею свое девичество сгубленное, жизнь сломанную. Но ты... Что ты найдешь? Меня ты любил хоть маленько, а ее совсем не любишь. Нет сердца у тебя, Корнюха, вместо его утюг чугунный. А я, дуреха, поверила тебе... Из Настинных глаз выступили слезы, медленно поползли по щекам.

Корнюха закричал.

— Ну ты... Еще выть тут зачи!

Хотел ее обнять, но Настя отступила, крикнула:

— Не прикасайся! Ненавижу тебя!.. Твои бесстыжие глаза, рожу твою поганую!

— Ты что, сбесилась?

— Еще не раз вспомнишь обо мне! — она пошла, вытирая кулаком слезы. Что-то вдруг стронулось в Корнюхиной душе, жаром полыхнуло в лицо. Он бросился к воротам, но Настя уже переходила дорогу. Шла неровно, мелкими шагами, будто несла на плечах непосильную тяжесть.

— Настя!

Она не услышала. Скрежетнула, звякнула железом, закрываясь за ней, калитка... «Я потом к ней схожу». В душе помаленьку все стало на свое место. Он был даже рад теперь, что Настя все знает, не надо, по крайней мере, лицемерить перед ней и придумывать отговорки, чтобы не ходить на свидание.

А утром он выехал в город. Кони были добрые, телега на железном ходу легко катилась по схваченной морозом дороге.

Сама не в себе была Настя, нигде места найти не могла. Ходила, что-то делала, но без смысла, по привычке. Лицо ее было напряженно, взгляд, не задерживаясь ни на чем, скользил мимо.

— Что с тобой, сеструха? — спросил Лазурька. — Какая-то ты очумелая...

— Нет, ничего... Голова болит.

— Иди приляг, чего топчешься! — строго приказал брат.

А Настя пошла на гумно, зарылась с головой в сено и плакала, плакала... Сено пахло цветами, медом летом ее крохотного счастья. Выплавав слезы, снегом остудила опухшие глаза. День клонился к вечеру. Чистый, не истоптанный снег искрился разноцветьем огоньков, в стылую ясность неба ровными, высоченными столбами подымались дымы, за селом, на склоне Харун-горы обновляла лотки и санки ребятня. Все идет своим чередом, и ни одна живая душа не знает, до чего не мил ей белый свет.

— Настя! Куда ты, холера, подевалась! — старчески проскрипел во дворе отец.

— Иду... Чего тебе?

— В кадучке воды ни ковша. Ты что-то, Настюха, совсем у меня рассупонилась...

Настя прошла мимо, низко склонив голову, чтобы отец не видел заплаканного лица, взяла ведра, коромысло, побрела к колодцу. Зимой воду брали из общего колодца, вырытого на пустыре, к нему со всех сторон, как лучи, сбегались тропки. По одной из них с полными ведрами на коромысле шла Устя, лиходейка-разлучница. Ревнивым взглядом Настя сторожила каждое ее движение. Идет, бедрами покачивает, голова поднята высоко гордая такая, своенравная, ведра не шелохнутся, будто примерзли. Настя перешла на ее тропу, заступила дорогу.

— Радуетесь? Довольнехонька?

Чуть шевельнула Устя черными бровями, остановилась, прямая, неприступная.

— Об чем говоришь?

— А ты не знаешь? Оно, конечно, лучше не знать. Целуйтесь, милуйтесь... Стоит вам думать о какой-то там дуре-девке. Кто она, девка? Потаскушка! А потаскушкам ворота дегтем мажут, на них собак науськивают, ее в гости никто не принимает. Зачем о ней думать? Зачем думать о ребенке, о парнишке ее, которого прижила? Кто он такой? Выблюдок. Это всякий скажет. У тебя будут свои дети, не в крапиве найденные, тобой рожденные. Что с того, что мой ребенок будет братом твоим детям по отцу? Так ли уж это важно? У него даже и отчества не будет, люди станут величать его Настичем, не Корнеичем...

— Что ты врешь? — крикнула Устя, глаза ее стали зелеными-зелеными, коромысло закачалось, из ведер плеснулась вода. — Ты зачем наговариваешь на Корнюшку? Он тебя и знать не знает!

— Ты спроси у него, куда вечерами ездил с заимки, с кем до последних дней обнимался на гумнах. Ты спроси. Он тебе скажет. Настя, позабыв, что ведра у нее пустые, быстро пошла от колодца.

— погоди! — Устя оставила коромысло, догнала ее. — Не уходи.

— Что тебе еще?

— Ты побожись, что все это правда.

— Господи, да разве ж я стану такое брехать? Отойди, без тебя тошно. Тошно! — слезы душили Настю, и этим криком она гасила готовые вырваться рыдания, спотыкаясь, шла по улице, тоскливый скрип ведер вторил ее шагам скрип, скрип, скрип. Сейчас ей было еще хуже, чем до разговора с Устей. Наизнанку вывернулась перед ней, унизила себя. Поймет, что ли, она... Господи, кому же тогда поведать свое безмерное горе? Ведь так, в одиночку, задохнуться можно, с ума сойти.

У ворот своего дома она остановилась, оглядела пустынную улицу, два ряда домов, разделенных дорогой, пустые глазницы окон, черные стены заплотов, наглухо закрытые ворота. Кто поймет ее, выслушает, приободрит? Кому она нужна со своей бедой? Подружки лицемерно посочувствуют, а после шепотком понесут из избы в избу новость, будут судачить о ней, довольные, что они-то не такие, они честные, до замужества никого близко к себе не подпустят.

В окне напротив показалось бородатое лицо. Кто-то помахал ей рукой и скрылся. Да это же Игнат. Как она забыла о нем? Скорей к нему! Скорей!

Он сидел на стуле, выкраивал из куска кожи подошвы для ичигов. Пригляделся к ней, отодвинул кожу.

— На тебе лица нет, Настюха. Что такое?

Она думала: расскажет ему коротко, спокойно, но едва завела разговор, едва произнесла слово, губы заплясали, ноги подогнулись, она упала головой ему на колени и, уж не сдерживая себя, не пытаясь сдержать, надрывно застонала.

— Что ты? Что ты? — грубыми, твердыми, пропахшими дубленой кожей ладонями он сжал ее щеки, попробовал приподнять голову, но она еще плотнее втискивала лицо в колени. — С Лазурькой?.. Говори же!

— Н-н-нет...

— Подожди маленько, не реви... — растерянно говорил он и гладил ее по голове, по мокрым щекам. Чем-то далеким-далеким, как позабытый сон, повеяло на нее. В детстве, когда мать лупила ее за что-нибудь, она забиралась к отцу на колени, и он так же вот гладил ее по голове, вытирал ладонями слезы. Тогда он был еще молодым, и руки у него были тоже твердыми, как щепки...

Она замолчала, только всхлипывала. Иссякающие слезы словно унесли часть ее горя, ее боли.

— Что случилось, Настенька?

Подняв заплаканное лицо, она увидела веник бороды, наморщенный лоб и добрые, ждущие глаза.

— Корнюшка бросил... А у меня будет реб-беночек... И опять забила в рыданиях.

Руки его, чуть дрогнув, замерли на голове, налились тяжестью, будто очугунели. Казалось, если он не уберет их, они расплющат ей голову.

— Встань! — сказал он, приподнял ее под мышки. — Кто тебе это сказал?

— Сам он, — увидев лицо Игната, она испугалась перемене, которая произошла с ним; за какую-то минуту все черты заострились, в глазах, как ночью в омуте чернота, бездонная глубь и холод. — Прости меня, непутную. Сама виноватая, а жалуюсь.

— Вы что, разругались? — тихо спросил он.

— Ни разу не ругались. Нашел себе другую... Которая с ним на заимке жила...

— Почему же ты молчала, пока он тут был? Эх, Настюха, Настюха... вздохнул, посидел, разглядывая половицы под ногами, поднялся. Ты посиди, я скоро ворочусь.

Он оделся, пошел, посунувшись вперед, ставя ногу на всю ступню. Так же вот уходил он от нее с огорода. Как же она забыла об этом? Как смела прийти к нему?

Настя заметалась по избе, кусая ногти, твердила себе: «Надо уйти. Надо уйти». Но не уходила. Крохотная надежда замигала светлячком, поманила...

Возвратившись, Игнат целых сто лет кашлял, вытирал ноги на крыльце. Потом долго раздевался. И все молчал задумчиво.

— Откудова взяла, что он с той девкой спутался? — спросил он наконец. — Она, Настюха, замуж выходит, за Агапку Пискуна. Сама мне сказала. Отругала... Я, говорит, таких женихов, как ваш Корнюха, перевидела немало. И почище были... — Игнат говорил неторопливо, тихо и будто вслушивался в свои слова, будто искал за ними что-то скрытое, непонятное. Сел на лавку, захватил в ладонь бороду, спрятал ее в кулаке и сразу стал похож на Корнюху каким тот был первое время.

— Господи, до чего у тебя доброе сердце, Игнат!

— Иди домой, Настюха. Не порти лицо слезами. Твой Корнейка никуда не денется. Пусть только заартачится, я ему, кобелю, ребра посчитаю!

Корнюха думал: обернется самое большое за неделю, но не тут-то было. Только на базаре проторчал около десяти дней. Попал в самое что ни на есть плохое время. Из ближних и дальних деревень везли мужики целыми возами говядину, баранину, янтарно-желтые свиные туши. Лабазы прямо ломались от мяса разных сортов. Городские дамочки совсем зарылись. Подойдет, пошевелит кончиком чистенького пальца добренное, розовое с белыми прослойками жира мяса, поморщится, будто перед ней ободранная падаль, и идет дальше, проклятая. Первое время Корнюха приплясывал за прилавком, во все горло расхваливал товар, смеялся, шуточки шутил, но увидел, что им своя копейка дороже его прибауток, помрачнел. Что-то беспокоило его, хотя и беспокоиться вроде как и не о чем. Разве Настя что выкинет, у нее, у дуры, на все ума хватит.

Чуть было не отдал мясо свалом по дешевке, но в последний момент пересилил себя. Мясо, оно не чужое. Из вырученных денег он ни копейки не даст Пискуну. Ломал на него горб столько времени не за сиротские гроши. Пискун, может, и покричит, поругается, но ничего не сделает власть завсегда его, Корнюхину, сторону примет.

Кое-как распродав мясо, он походил по магазинам, купил себе пару крепких штанов, материи на рубахи. Усте в подарок сережки с цветными стекляшками.

За два дня рассчитывал добежать до дому, но и тут задержка вышла: в пути его прихватила пурга. Дорогу перемело. Колеса со скрипом резали сугробы, запаренные лошади еле тащились. В Тугнue ветер гулял лихо, с завыванием и свистом. Снежная пыль стлалась по земле косматыми жгутами. Корнюха, согреваясь, шагал за телегой, на подъемах упирался плечом, подталкивая воз. Как ни старался, только на третий день вечером дотянул до Тайшихи. На улице за домами было затишье. Взбаламученным туманом кружилась у окон снежная пыль и оседала в суметы.

Подъезжая к дому Пискуна, он услышал смятую ветром песню, лихие переборы гармошки, подумал: «Эге, кто-то дымит крепко! Не

мешало бы сейчас попасть в застолицу да чебурахнуть огненной самогонки. Хороша, стерва, с морозу!»

Все ставни дома Пискуна были раскрыты, окна светились необычно ярко. С улицы, повиснув на наличниках, в дом засматривали ребята. Сердце у Корнюхи екнуло, затрепыхалось, распирая грудь. Бросив лошадей у ворот, он понужнул ребятишек и заглянул в заиндевшее окошко. В доме дым коромыслом. Бабы, мужики, празднично одетые, сидят за столами, уставленными бутылками, закусью, а меж столами вертится в пляске, трясет рыжей бородой Еремка Кузнецов.

Корнюха рысью побежал в дом. В сенях, у дверей казенки столкнулся с Хавроньей. В одной руке она держала свечу, в другой чашку, полную соленых рыжиков.

— Что тут делается? — он схватил ее за проймы сарафана. — Что? Говори скорее!

— Свадьба, Корнюшенька. Сподобил господь, внял моим вдовьим мольбам...

— У-у, ведьма старая! — выбил из ее рук чашку, заскочил в избу и защелкнул на крючок дверь за собой.

Теплом, густым сивушным духом, запахом стряпни пахнуло в лицо; пьяная воркотня гармошки, стук каблуков, крики, звон посуды, нескладная песня все звуки смешались, сплелись в один клубок, обрушились на Корнюху.

В переднем углу под образами в бабьей кичке, румяная, несказанно красивая, стояла Устюха. Огни сверкали, дробились в бисере ее убора, в янтаре ожерелий, в стекле бус, трепетали на кольцах сережек.

— Горько! — разноголосо орали гости.

Прямо перед ним, заслоня Устю, привскакивал затылок Тараски Акинфеева. Тараска размахивал стаканом и утробным ревом перекрывал разноголосицу пьяного застолья.

— Горька-а-а! Целуй ее, Агапка, не то я свою бабу целовать зачну! Горька-а-а!

Хохот, шум.

«Чтоб ты сдох, сволочь толстобрюхая!»

Блестя прилизанной, смазанной коровьим маслом головой, Агапка приподнялся на цыпочки, обхватил Устюху за плечи и, как телок к

сиське, потянулся к ее губам. Качнулось застолье, завертелось разноцветным хороводом... Корнюха на мгновение прикрыл глаза.

В дверь изо всех сил колотила Хавронья. На стук стали оборачиваться и увидели Корнюху.

— Корнейка, друг ты мой дорогой!.. — завопил Тараска, ткнул свою бабу в бок: — Очисти место! Садись сюда!..

И подскочил, вцепился в рукав полушубка, потянул к столу.

— Отойди!.. — Корнюха двинул его плечом, стуча мерзлыми ичигами, прошел вперед, остановился против молодых.

Полушубок, шапка ли, забитая снегом, или что-то неладное в лице его, во взгляде утихомирили застолье. Все смотрели на него. И Устя смотрела немигающими глазами строго и отчужденно.

За его спиной что-то визгливо выкрикивала Хавронья, гудели, уговаривая ее, мужики.

— Налейте ему! — сказала Устя. — Выпей, Корнюшка, за мое счастье-злосчастье, за долю-неволю. И я с тобой выпью.

Она подняла тонконогую рюмку, потянулась к нему. Ему кто-то услужливо подал граненый стакан, налитый доверху. Опершись одной рукой о чью-то спину, он перегнулся через стол, дотронулся стаканом до ее рюмки. Устя зажмурилась, опрокинула рюмку и, пустую, показала Корнюхе. А он пил медленно, маленькими глотками, не чувствуя горечи самогона. Выпив, обтер губы, повертел стакан, попросил:

— Налейте еще...

Сам Пискун подбежал с бутылкой, наполнил стакан, шепотком похвастал:

— Это еще николаевская... Такой теперь нигде нету.

— Что тебе сказать, Устя? — спросил он почти спокойно и тут же сорвался на крик: — Змея зеленоглазая! Сука медалянская! — и выплеснул водку ей в лицо.

На мгновение замерло все застолье, потом дружно ахнуло. Дальний родич Пискуна Анисим Нефедыч Кравцов, мужик лысый, краснорожий, медведем всплыл над столом, спросил заикаясь:

— Эт-та что-о т-такое?

— А вот что! — Корнюха запустил в него стаканом, но промазал. Стакан расшибся о стену, осыпая стол осколками.

Не помнил Корнюха, что было дальше. Рев, бабий визг, удары, шум в голове и острая боль в боку и беспмятство...

Очнулся дома на кровати. Возле него стояли братья, Татьяна и Тараска с Лучкой Богомазовым. Вся рубашка на Тараске была изодрана в клочья, на белой мягкой груди кровоточила глубокая царапина, нос вздулся, расплылся на пол-лица. И Лучка тоже был ободран, на левом глазу у него лиловел синяк, все лицо пестрело ссадинами.

— Смотри, глазами лупает! — засмеялся Тараска, наклонился над ним. — А мы думали, что тебе каюк. Ну давай, оживай. Ты нам с Лучкой не одну бутылку должен поставить. Быть бы тебе сегодня покойником, кабы не мы с Лучкой. Верно я говорю, Лучка? От целых ста человек отбились. Нет, есть в нас еще партизанская закваска! Еще можем бодаться.

Крепко изуродовали мужики Корнюху. Разбили голову, вывихнули руку. Поправлялся он долго и трудно. Безучастный ко всему, худой, бородатый, лежал на кровати, целыми днями разглядывал щели в потолке. Все утеряно. Худосочный Агапка взял верх: то, чего он, Корнюха, не мог добиться ни удалью, ни ловкостью, Агапке само пришло в руки. Вот она, жизнь... Что значит сила и удаль, если ни двора, ни кола и сам без малого голопузый...

Приходил раза два Лазурька, допытывался, как было дело, по какой причине случилась драка. Корнюха отмалчивался или говорил ничего не значащие слова:

— Так... По дурости...

— Дурости у тебя хватает, — соглашался Лазурька. — Но об этом разговор впереди. Поправляйся.

О чем он хочет говорить, не о Насте ли? Может, и о ней. Но разговор этот без пользы будет.

Однажды, когда в избе не было ни Максима, ни Татьянки, на край кровати присел Игнат, отводя взгляд в сторону, спросил:

— Ты про женитьбу что-нибудь думаешь?

— Уже женился... горько усмехнулся Корнюха. Сыграл свою свадьбу.

— А Настя?

— Настя? Что она мне, Настя?

— Не прикидывайся недоумком! — к лицу Игната прилила кровь. Поломал ей жизнь! Куда она теперь с брюхом-то?

У Корнюхи засосало под ложечкой. Настя брюхатая? Вот это ловко!

— Я уезжаю на мельницу, там буду жить, — говорил Игнат с напряжением в голосе. — А ты уладь все по-людски. Да и зачем тебе крутиться, разве сыщешь лучше Настюхи? Пойду, попрошу, чтобы пришла.

— Подожди-ка, Игнат...

— Чего ждать? Лежи и думай, как перед ней повиниться. Он надеялся, что Настя не придет. Но она пришла, остановилась у дверей, спросила:

— Зачем звал?

Переменилась Настя. В карих с рыжими пятнышками глазах уже не было бесшабашного озорства, они смотрели невесело.

— Подай водицы.

— Настя принесла ковш воды, отвернулась к окну.

— Ребенка ждешь?

— Жду.

— Отец узнает об этом последним?

— У него нет отца.

— Болтай больше...

Настя промолчала. Ногтем на обмерзшей стеклине она рисовала домик с трубой и косыми окнами. Корнюха смотрел на нее, и что-то прежнее, забытое шевельнулось в его душе, пахнуло на него теплом былых радостей.

— Ты знаешь что... Жизнь нам надо налаживать. А, Настюха?

— Не получится, Корнюшка. Об жизни у нас разговоры были раньше. Много разговаривали...

— Укоряешь? Конь на четырех ногах, и то спотыкается.

— Спотычки всякие бывают. Ты думаешь: Настя подстилка, когда захотел, тогда и разостлал. Не вышло там, выйдет тут. Настя что дура, только пальцем помани, побежит, как собака за возом. Нет, Корнюшка, — она перечеркнула нарисованный домик и стерла его горячей ладонью.

— Будет тебе кочевряжиться! Ну, виноват, ну, прости...

— Простить... что ж, можно. Но прежнего не воротишь. Любила я тебя, Корнюшка, больше жизни своей, с ума по тебе сходила. Но вся моя любовь свернулась, как береста на огне, обуглилась, и уж ничем ее не оживишь. Не мил ты мне больше. Чужой, опостылевший. Она говорила тихо, спокойно, и это странным образом утяжеляло ее слова.

— Перестань ерунду городить! — крикнул Корнюха. — Глупые у тебя рассуждения! Куда ты теперь с пузом? Кто тебя возьмет? Кому ты нужна такая?

— Мне никого не надо. Одна буду жить.

— Ему отец нужен! Слышишь ты! — закричал Корнюха. Сейчас, когда Настя бесповоротно отвергла его, он позабыл обо всем, хотелось удержать ее во что бы то ни стало.

— Не кричи, Корнюшка, — Настя вздохнула. — Не могу я ничего с собой поделать.

— Ну и черт с тобой! Подожди, запоешь иначе.

— Не будет этого, я себя знаю. А ты меня прости, что все расстроила тебе с той... Одичала я от горя тогда. Теперь-то жалко, что поперек дороги стала.

— Что ты сделала?

— Про ребенка ей сказала. Так-то она, думаю, не пошла бы за Агапку.

— Ты дрянь! Ты подлая баба!

— Наверно... — она покорно наклонила голову. — Прощай, Корнюшка. — О том, что ты отец моему ребенку, знают только двое — Игнат и она. Наверд ли кому скажут... Ты не тревожься.

Она ушла, осторожно притворив за собой дверь.

Немного погодя домой вернулся Игнат. Долго ни о чем не спрашивал, видно, ждал, когда Корнюха заговорит сам, наконец не вытерпел.

— Ну так что, договорились?

— Отвяжись от меня! Не досаждай! Корнюха отвернулся к стене.

День ото дня ему становилось лучше, но он по-прежнему валялся на постели, медленно перемалывая крошево мыслей. Думать ему никто не мешал. Игнат уехал. Татьяна не лезла с разговорами, стеснялась его, а Максюха редко бывал дома. Младшему Корнюха немного завидовал. Жизнь у парня пошла ровным ходом, без рывков, но и без остановок. И Игната, и его, Корнюху, перепрыгнул, женился; с Татьянкой своей живет душа в душу, не ругаются, не спорят, все посмеиваются, подшучивают друг над другом и не бывает у них разговоров, что нет того, нет этого: всем довольны. Смотрит на них Корнюха и еще больше становится от своей покинутости и бесприютности.

С утра до поздней ночи Максюха и Лазурька толклись в сельсовете, ходили по дворам, сговаривая мужиков записываться в колхоз. Дело это подвигалось у них туго. Записывались пока те, у кого добра в одном мешке унести можно. Мужики покрепче выжидали. Макся и с ним завел было разговор о колхозе, но Корнюха сказал, что надо погодить, торопиться ему некуда.

Какой там колхоз, когда неизвестно, чем он будет заниматься.

Может, бросить все и уйти в город? Уйти подальше от этих мест, чтобы и звука из Тайшихи не доносилось. Однако решиться на этот шаг было не просто: разве может заменить казенная работа хлеборобство? Но что-то делать надо, всю жизнь лежать в постели не будешь.

Поднялся, и его потянуло в поля. Проулком вышел из деревни. Поля, сопки полыхали ослепительной белизной, снег ядрено всхрапывал под ногами. Медленно, с остановками, проламывая в заносах неровную тропу, он спустился к речке. Вода сонно всхлипывала подо льдом, мохнатые, отяжелевшие от инея кусты тальника никли к сугробам, с берега свисала желтой челкой сухая трава. Где-то здесь он встречался с Настей, целовал ее в горячие губы, и жизнь виделась тогда совсем другой.

Под берегом разложил огонь, грел руки, невидящими глазами смотрел перед собой. Жалел, что нельзя начисто выстричь из памяти год жизни дома и Настю, и Устю, и Пискунов, чтобы все начать заново.

Солнце сползло за крутые лбы сопки, снега напоследок вспыхнули алым цветом и погасли. Луна, до этого бледно-голубоватая, налилась желтизной, и стылый свет ее замерцал на сугробах.

Корнюха сидел, пока не прогорели все дрова. Тяготясь нерешительностью, пошел обратно по своему следу. Трудно кинуть все и уехать. Но еще труднее остаться и начинать с самого начала, начинать, когда знаешь, что уже не будешь работать с прежней яростью.

Зашел в сельсовет, подождал, когда народ разойдется, попросил Лазурьку:

— Выправь мне бумагу. Уехать хочу...

— Уехать? — Лазурька удивленно-задумчиво посмотрел на него. — А зачем? Сам не знаешь? Если бы ты рвался на завод, на стройку, в большой мир, ближе к боевому рабочему классу... Но и тут следовало подумать отпускать ли? Судьба социализма сейчас решается здесь, в деревне.

— Пусть решается, я-то при чем? — угрюмо спросил Корнюха.

— Экий же ты тугоухий! Ну ничего-то до тебя не доходит. Пойми своей дурьей башкой, тому, что дала нам Советская власть, цены нет. В народе ходит поверие о разрыв-траве. Она вроде бы может открывать любые замки, разрушать любые запоры. Но то сказка. А Советская власть дала нам силу, способную разорвать оковы, в которых семейщина века держала себя. Хрипела от тесноты, но держала.

— Да мне-то что до этого! — начал сердиться Корнюха.

— Как это что?! Мы оковы сшибаем ты в стороне. Мало того, сам в них влазишь. Натерли шею поделом! Сопли из-за бабы распустил тьфу!

— Хватить тебе, Лазарь! Дашь бумагу?

— Бумагу не дам. И разговор с тобой далеко не окончен. Лазурька поднялся, надел полушубок. — Пошли к вам. Там и потолкуем. Давно до тебя добираюсь. Все хитрости, у Пискуна перенятые, видел, но руки...

Его прервал выстрел, звонко ударивший за окном. Лазурька выругался вполголоса, шагнул к дверям, а навстречу ему, без шапки, с дико вытаращенными глазами Ерема Кузнецов. Он зажимал рукой плечо, из-под пальца выступила кровь.

— Спасите! Убивают!

Пуля зыкнула по стеклине окна, ударила об угол печки, отбив кусок кирпича и ошелушив известь, Лазурька выхватил из кармана револьвер, угасил лампу.

Корнюха подбежал к двери, защелкнул крючок. С улицы били по окнам. Пули, пропарывая стекла, чмокали в противоположную стену. Корнюха ползком перебрался в дальний безоконный угол. Там Лазурька допрашивал Ерему.

— Кто стреляет?

Ерема стонал, охал, ныл:

— Ой-ой, больно мне! Убили, паразиты! Убили, проклятые!

— Кого убили?

— Меня, Изотыч, убили! Стигнейка и Агапка. Ой-ой...

— Говори толком!

— Не по доброй воле... Принудили. Оплели кругом... Защити, Изотыч!

— К чему принудили? Кого? Что ты плетешь?

— Я был с ними заодно... Принудили. Они восстание задумали. Я ходу. Они стрелять.

Лазурька подобрался к телефону, яростно крутнул ручку.

— Алё, алё!.. Молчит! Але! Должно, срезали провода... Худо наше дело.

Выстрелы на улице смолкли. Кто-то хрипло закричал: — Эй вы, вылазьте на свет божий!

Лазурька, припадая к полу, скользнул к окну, выглянул из-за косяка, крикнул:

— Жизни вам своей не жалко, сволочи! Складывайте оружие, дурье пустоголовое!

За окном засмеялись.

— Пощупай штаны, Лазурька! — Это был голос Агапки. Корнюха подполз к Лазарю, задыхаясь от ненависти, зашептал:

— Дай револьвер! Дай! Срежу мокрогубого.

— Их не видно. В канаве прячутся.

Луна закатилась, стало темно. Слабо отсвечивал снег на дороге, равнодушно мигали редкие звезды. Лазурька держал револьвер наготове и, когда под забором на той стороне улицы зашевелилось что-то черное, выстрелил. В ответ залпом ударили три винтовки.

— Вылазьте, вам говорят! — надрывался Агапка.

В разбитые окна тянуло холодом, под ногами хрустели осколки стекол. В углу тихо скулил Ерема.

— Ползи за мной, — сказал Лазурька Корнюхе. Они перебрались в запечье. Лазарь поднялся.

— Ты вот что... Выбирайся отсюда. На заднем дворе конь сельсоветовский. Дуй в район. Хотя... Скачи лучше к Батохе. Тут ближе.

— А как я выберусь?

— Тут есть ход. Залезешь на потолок, оттуда на крышу. Остерегайся. Заметят собьют, как белку с лесины.

— Постой, а ты? Пошли вместе.

— Пошел бы... Но Ерема. Убьют они его. Да я ничего, отсижусь, не подпущу. Давай, влезай мне на плечи...

С крыши Корнюха увидел в дальнем конце Тайшихи багровые отблески пожара. Пламя, разгораясь, поднималось все выше,

обрисовывая черные контуры крыши. Тихо, по-кошачьи, он спустился на землю, дополз до двора, вывел лошадь.

Проехать нужно было шагах в ста от стреляющих. Сумеет ли он проскочить? Страх не было. Он чувствовал себя, как перед прыжком в воду и боязно, и весело. Концом ременного повода резанул лошадь по боку, вымахнул за угол, повернулся, и вот он середь улицы, весь на виду.

— Стой!

— Стою, хоть дой! — с озорством откликнулся он, хлестая лошадь.

«Дзинь! Дзинь!» пропели над головой пули. Но сбоку уже чернел спасительный переулочек. Заскочил в него, прислушался. Стреляли не только у сельсовета. То в одном, то в другом месте тугой морозный воздух рассекали отрывистые рваные звуки.

Он погнал лошадь в бурятские степи. За спиной вспухал, поднимался к звездам огненный столб.

...В предрассветной тишине цокот подков по мерзлой земле разносился далеко вокруг. Разношерстная, кое-как вооруженная толпа верховых подскакала к Тайшихе, сбилась в кучу. Тяжело дышали запаленные лошади, клубился горячий пар.

— Давай поделимся, — сказал Корнюха. — Ты, Батоха, двигай по улице на сельсовет, а я с двумя-тремя парнями прочешу проулки.

Батоха заговорил по-бурятски, тронул лошадь.

Огородами, по сугробам, бросая оружие, разбежались «повстанцы». Корнюха, бросив лошадь, перескочил через забор, увязался за одним из них, настиг у чьего-то сеновала.

— Стой, так твою душу!

Человек затравленно оглянулся. Это был Прокопка-мельник. Он сипло дышал, хватался за грудь руками, рвал пуговицы полушубка.

— Допрыгался? Шагай назад! Лазурька живой?

— Уб-б-били! Не я... Агапка. Может, Стигнейка... Я вверх стрелял, истинный крест! — побелевшие губы Прокопа кривились и мелко подрагивали.

Корнюха двинул его прикладом в бок, крикнул подбежавшим бурятам:

— Гоните в сельсовет, — пнул Прокопа ниже спины. — Аника-воин... Где Пискуны?

— Подались... Туда... — Прокоп показал рукой в сторону кладбища.

Вскочив на лошадь, Корнюха обогнул огороды, стараясь перерезать Пискунам дорогу к лесу. Стало совсем светло, и он издали увидел своих бывших хозяев черную борчатку Агапки и темно-желтую дубленку Харитона. Оба они, Агапка впереди, Харитон приотстав, карабкались на голую кручь косогора. Камешки вылетали из-под ног, струйками сбегали вниз, застревали в сугробах. Агапка опирался на винтовку, Харитон был без ружья, он цеплялся за кремнистую землю и ногами и руками.

— Назад! — крикнул Корнюха, останавливая перед косогором лошадь.

Агапка обернулся, вскинул винтовку, выстрелил и еще быстрее заработал ногами. Перевалят через косогор, а там лес... Корнюха поймал на мушку черную борчатку, затаил дыхание, нажал на спуск. Агапка подпрыгнул, упал навзничь и покатился вниз, за ним змеей поползла винтовка. Харитон остановился, постоял, сел и поехал следом за сыном, отталкиваясь руками.

Спешившись, держа винтовку наготове, Корнюха наклонился над Агапкой, перевернул его на спину. Он был мертв. С шумом подъехал Пискун, упал ухом на грудь сыну, послушал сердце и заголосил по-бабьи:

— Соколик ты мой ясный, солнышко мое незакатное, на кого ты меня спокинул?

Из черной дыры рта Харитона ползли слюни и застывали на закуржавевшей бороде.

— Пошли! — стволом винтовки Корнюха слегка толкнул его в спину.

Старик поднял на Корнюху заслезенные глаза, моргнул подслеповато, будто не узнавая, и вдруг, глухо замычав, вскочил, выдернул из-за пазухи наган. Корнюха прыгнул в сторону, и выстрел поднял фонтанчик снега в полуметре от его ног. Мгновенно, действуя почти неосознанно, он, не поднимая винтовки, повел стволом и дернул спусковой крючок. Пискун переломился, как ножик-складень, и ткнулся головой в снег.

Ведя лошадь в поводу, он подошел к дому Пискунов, постучался. Из окна выглянула Устя.

— Выйди на минутку, попросил он.

Устя в платке, наброшенном на голову, остановилась в воротах.

— Что надо?

— Запрягай коня. Твой мужик и свекор под бугром у могилки лежат, тихо сказал он и, не подняв на нее глаз, пошел по улице.

Навстречу ему полураздетая, вся в слезах бежала Татьяна.

— Максим умирает! Мамочки, что я буду делать!

Игнат грелся у печки. Вставал он рано, до свету, затопив печь, садился перед огнем на широкую лавку. Холод проникал сквозь щелястый пол, студил босые ноги. Обуваться ему было лень, ставил ноги на лавку, обнимал колени и сидел так, пока не засинеют оледенелые стекла окоп. Потом шел сдалбливать лед у лотка мельницы.

Широкие языки пламени облизывали свод печки, ручьем дегтя тек в трубу дым, на торцах поленьев выступали капли смолы, скатывались на угли и, потрескивая, ярко вспыхивали.

На опечке лежала толстая, с бронзовыми застежками книга святого писания. Игнат потянулся к ней, но брать раздумал. На темной коже переплета, запорошенной пылью, отпечатались его пальцы. Первое время он каждое утро раскрывал книгу, елозил пальцем по затейливой вязи старинного письма, старался вникнуть в суть мудреных слов. Не находил там ответа. Жизнь, она проще и непонятнее. Родился человек, живет тихо, ровно, будто едет на телеге по накатанной дороге, вдруг ни с того ни с сего хоп! телега опрокинулась, развалилась к чертям собачьим, а сам он кувырком летит под откос, и не за что ему зацепиться, и невозможно понять, отчего так получилось. Ферапонт это дело разъясняет просто: у человека имеется судьба, даденная ему господом богом. Пусть так. По чем руководится бог, когда делит судьбы? Почему одному дает добрую, другому никуда не годную? С другой стороны, если вся твоя поступь по жизни загодя начерчена зачем молитвы? Что переменится, если наделен такой судьбой? Где согрешить, где сотворить добро, когда получить счастье, когда горе все определено судьбой. Человек над собой не властен. Тогда что же?.. Зло, ненависть, как были от веку, так и останутся? И кровь людская будет литься, и горе горькое будет гулять по земле?

Прогорели в печке дрова, осели, затянулись пеплом угли. Игнат закрыл трубу, вышел из зимовья. Уже давно рассвело, на вершины сосен, припорошенных снегом, упал желтый солнечный свет, но в пади у мельницы было сумрачно. Выше пруда кипела речка, и над нею клубился седой туман, закуржавевшие заросли тальника и ерника по берегам были похожи на огромные хлопья застывшей пены.

Сняв с кола обмерзшее ведро, Игнат спустился к проруби, поднял пешню. Где-то далеко за лесом слышались звуки выстрелов. Игнат постоял, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, прислушался. Стылая тишина молчала. Наверно, не выстрелы то были, треснуло мерзлое дерево или лопнул лед, облитый наледью.

Обдолбив край проруби, Игнат зачерпнул воды, направился к избе и остановился. За забором качнулись, осыпая снег, молоденькие елочки. Кто там зверь, человек? Поставил ведро на ступеньку крыльца, подошел к забору. Лапы елочек раздвинулись, из-за них выглянул Стигнейка Сохатый.

— Ты один тут? — спросил он.

— Один.

Стигнейка, крюча палец на спуске винтовки, перелез через забор. Он тяжело, загнанно дышал, лицо было мокро от пота.

— Спаси еще раз, Игнат! За мной гонятся... Не уйти, из сил выбился. Стрелять не хочу...

Игнат неторопливо сметал еловым веником снег с унтов, молчал. На дороге, уползающей в чащу леса, приглушенный далью, слышался скрип снега под копытами лошадей.

— Скорей! — Стигнейка заскочил в зимовье, забежал из угла в угол.

Ни слова не сказав, Игнат отпер подполье, показал пальцем в черную дыру. Стигнейка нырнул в нее и затих, затаился. Игнат захлопнул крышку, накидал на нее поленьев, вышел на крыльцо.

Из лесу вывернулись двое вооруженных верховых, на рысях подошли к зимовью. Это были Лучка Богомазов и Стишка Клохтун.

— Ты никого тут не видел? — позабыв поздороваться, спросил Лучка.

— Н-нет, а что?

— Наделали делов наши гады! Лазурьку застрелили...

— Насмерть?

— Прямо в голову... Максюху, брата твоего, подбили, вот его, Стишки, дом спалили.

Игнат похолодел, отяжелело привалился плечом к косяку.

— Всех бы нас перецокали, кабы не Батоха с ребятами, — сказал Стишка. — Ну, поехали, Лука. Говорил тебе, в другую сторону подался Стигнейка. Не ушел бы совсем, волк двуногий!

— Пойдите, мужики! — Игнат поймал за повод Лучкину лошадь. — Он с ними был, Стигнейка?

— Где же ему быть? Не могла ему Танюха бельмы вышпарить! Может, и Лазарь живой бы остался, и Максюха цел был...

— Об чем говоришь?..

— Сегодня мне рассказала. Был Стигнейка осенью на заимке тестя, хотел Максюху кончить, а Татьяна кружку кипятка ему на шею вылила.

Игнат опустил голову.

— Господи боже мой, что делается?! Где твоя справедливость, господи? Где гнев твой? Где правда твоя?

— Ты на колени стань, помолись своему боженке! — зло усмехнулся Стишка. — Поехали.

Они ускакали. Игнат вернулся в зимовье, не раздеваясь, сел на лавку. Сейчас он был как пустой мешок, внутри ничего не осталось. Лазурьку убили... Лазурьку... Уж если кто жил для людей, так это он. Всеми своими помыслами был заострен супротив нужды, сгибающей человека. А его убили. Нет уже Лазаря... А что с Максюхой? И без этого, бедняга, телом слабый, войной с малолетства измученный... Надо бежать домой.

Но он не в силах был подняться. Самые страшные мысли еще не оформились в нем, не влезли в тесную оболочку слов. Наверно, и слов таких не было, чтобы вместить все то, что поднималось в нем. Четко, ясно вспомнил памятную встречу с Сохатым. Мыши шуршали в траве, играла гармошка, девки взвизгивали и смеялись, а в это время, прячась в темноте, шел в село Стигнейка, нес в руках смерть. Разжалобив его брехней бессовестной, обдурил, как маленького. И вот нет Лазурьки. Кто его убил? Сохатый? А не ты? Доставил бы его к Лазарю Изотычу, тот выкрутил бы все, что знал Сохатый о злых умыслах своих попутчиков. Отпустил, не остановил руку убийцы, добротой хотел смирить его, клятвой связать. Господи, почему помутил мой разум в ту минуту? Господи, почему не вразумил меня?

Под полом завозился, тихо постучал в крышку Стигнейка. Игнат вздрогнул, поднялся, сдвинул ногой поленья. Постоял, зажмурил глаза, покачиваясь на носках, открыл подполье. Сохатый высунул голову, подозрительно огляделся, сказал, лязгая зубами:

— 3-зам-мерз...

— Вылазь, сейчас тебе тепло будет.

Стигнейка положил винтовку на пол, оперся руками о край дыры. Игнат взял винтовку, сел на кровать и, когда Стигнейка вылез, спросил будничным, усталым голосом:

— Еще оружие есть при тебе?

— Ничего нету, — в глазах Стигнейки мелькнул испуг. — Не забирай ради бога винтовку, Назарыч! Без нее хана!

— Повернись лицом к стене, подыми руки, — тихо приказал Игнат.

— Да ты что, бог с тобой? Ты что надумал?

— Вставай, вставай!

Стигнейка повернулся к печке, вскинул руки на чужал, замер, вжав голову в плечи. Игнат обшарил его карманы, ничего не нашел, сел опять на кровать.

— Скажи мне, Стигней, кем человеку жизнь дадена?

— Богом...

— Вишь ты какой, все понимаешь. — А кто лишает человека жизни?

— Ну, тоже бог... — Стигнейка был сбит с толку этими вопросами, спокойным тоном Игната. — Без воли божьей не упадет с головы и волос.

— Так, так... Ты, значит, божью волю правишь? Нажал на эту штуку, — Игнат притронулся пальцем к спусковому крючку, — и нет человека. А разве он для того родился, чтобы до времени, в полном соку сгибнуть от твоей поганой руки? Игнат тяжело вздохнул, с тоскливым упреком спросил: — Ну зачем ты обманул меня? Зачем остался?

— Да ведь я что? — заспешил, зачастил скороговоркой Сохатый, заискивающе заглядывая в глаза Игнату. — Не убивец я... я...

— Молчи, Стигнейка! — болезненно сморщился Игнат, помолчал, медленно, трудно поднялся. — Выходи на улицу.

— А зачем? Прости еще раз, родимый!

— Выходи на улицу! — повторил Игнат.

Оглядываясь, Сохатый вышел, поежился, поднял воротник полушубка.

— Куда поведешь, к басурманам неумытым? На расправу лиходеям отдаешь? Не простит тебя бог за это, отдаст в руки сатаны.

Игнат молчал. Шаггал за ним, упираясь стволом винтовки в спину, туго обтянутую поношенным полушубком.

Шли по дороге, взрытой копытами лошадей. Стигнейка запинался о комья снега, шаггал через силу, тяжело, словно на ступни ему свинца навешали. Слева, за дорогой, в кустах тальника кипела речка. Это глубинные родники, раскалывая толщу льда, вырывались наружу, и текла по руслу густая и темная наледь, белый пар рвался вверх, оседая на ветках кустов и деревьев колючими блестками.

В полуверсте от мельницы, где дорогу пересекала чуть заметная, продавленная в снегу тропа, Игнат велел Сохатому свернуть в сторону. Стигнейка обернулся. Недоумение, надежда, страх отразились в его взгляде.

Тропа привела их к старому буераку, замеченному почти доверху снегом. Здесь тропа затерялась. Стигнейка остановился.

— Куда дальше?

— Пришли. Молись, Стигней, богу.

— Ты что, сбесился? Правов не имеешь! Веди куда положено!

— Молись богу! — устало повторил Игнат.

— Не надо, Игнат Назарыч, не принимай ты грех на душу, не обрекай себя на вечные муки.

— Господи, спаси меня и помилуй... — прошептал Игнат, поднял винтовку. Глаза застилал туман, руки дрожали, мушка зигзагами приближалась к груди Сохатого.

— Стреляй, сволочь! — закричал Стигнейка. — Мало вас на тот свет отправил! Через то и гибну!

Он рванулся в сторону, прыгнул с берега буерака. Пуля настигла его, на лету. Сохатый плечом продавил твердую корку сугроба, забил руками и ногами, погружаясь в черствый сыпучий снег. Последний раз он дернулся, когда снаружи оставались только ступни ног. Новые подошвы ичиг тускло и мертво взблескивали в негреющем свете солнца.

Игнат выронил из рук винтовку, закрыл ладонями глаза, обессиленно привалился к сосне и застонал от нестерпимой душевной боли, от непреодолимого отвращения к себе, к этому злобному, порочному миру, где, защищая жизнь, надо лишать жизни. Он стонал и раскачивался, как подрубленное дерево, и отчаяние железными тисками сдавливало горло.

В ту ночь, когда Лазурька отбивался от кулаков в сельсовете, его отец, старый Изот, жена Клавдия, сестра Настя не сомкнули глаз. Не зажигая света, они сидели в кути, вслушиваясь в приглушенные звуки выстрелов. Старик вначале порывался идти, узнать, что там происходит, но Настя и Клавдия отговорили его.

Утром, едва рассвело, Изот оделся, взял берданку и пошел к сельсовету. А вскоре мимо окон, взметая снежную пыль, быстро промчались всадники.

Настя затопила печь, принялась готовить завтрак. Клавдия ей не помогала, выходила на крыльцо, прислушивалась, возвращалась в дом и протирала к обмерзшим стеклам окна.

К дому подъехала телега, Тараска Акинфеев распахнул ворота, завел лошадь во двор.

Старик здесь, а Лазаря что-то нет, сказала Клавдия и пошла встречать. С крыльца донесся ее сдавленный крик. Распахнулась дверь, мужики внесли, осторожно положили на лавку Лазурьку. Боязливо поеживаясь, Настя подошла к брату, положила руку на белый, как мел, лоб, почувствовала холод мертвого тела, увидела мерзлый жгут крови на шее и не смогла выдавить из горла крика, задохнулась, осела на пол, в ту же минуту острая боль резанула низ живота, поднялась выше, надавила на сердце. Настя потеряла сознание.

Очнулась она в чужом доме, в тесном, жарком запечье. За ситцевой занавеской шумели ребятишки, ворчливый женский голос уговаривал:

— Ну тише вы, тише, черти окаянные!

Настя не сразу вспомнила, что произошло, а вспомнив, тихо, без слез заплакала. Хотела встать, но слабые руки подогнулись в локтях, голова упала на подушку.

Снова пришла в себя вечером. Над кроватью с лампой в руке стояла дородная баба, жалостливо моргала печальными глазами. Из-за ее плеча выглядывал Абросим Кравцов, весь какой-то помятый, растрепанный. А баба узнала Настя его жена, тетка Степанида, передала лампу мужу, поправила подушку.

— Как ты, голубушка?

Настя облизала сухие, спекшиеся губы, попросила пить. Хлебнув глоток теплого чая, она спросила:

— Что со мной содеялось?

— Напугалась ты шибко, милая. Ну и не донесла, скинула...

Огонь лампы показался Насте нестерпимо ярким, ярче июльского солнца. Она повернулась к стене, почувствовала, как вновь медленно, будто в топкое болото, погружается в забытье.

По капле возвращались к ней силы. Она часто плакала, по-детски всхлипывала, утирая кулаком слезы. Тетка Степанида ласково, по-матерински гладила ее по голове, утешала:

— Чему быть, того не миновать, голубушка. Жалко братку? Да ведь всем нам его жалко. Только слезы наши не живая вода, Настенька. Или ты жалеешь, что опросталась? Тут уж и вовсе не плакать, радоваться надо. Благодарил бога, прикрыл он грех твой. Будешь жива-здоровая ребятни наживешь...

Изредка Настю навещала невестка. Она не плакала, ничего не говорила о Лазурьке, глаза ее сухо блестели, быстрые вздрагивающие пальцы теребили воротничок городской, со шнурочками кофты, стриженные волосы торчали из-под плохо повязанного платка.

— Домой уезжать собираюсь. Не могу тут, шептала она. Звери, цепные собаки!..

Настя не просила ее остаться. Не прижилась здесь Клавдия, не проломила глухую стену недоверия семейщины к чужакам, чужой была, чужой осталась, жила для одного Лазаря, ради него с легкостью сносила насмешки падких на пересуды баб, не пыталась и не хотела понять их, ничего не делала, чтобы они поняли ее.

Не дождавшись, когда Настя поправится, Клавдия уехала. Старый Изот, слабый, высохший, тихий, просил дочь:

— Скорей вставай, девка. Беда как плохо в доме. Пусто, будто в зимнем поле. Жить мне, Настенька, совсем неохота. Подсекли лиходеи корешок, торчу отсохшей вершиной... Тебе того не понять... Пойду я на могилу, пожалуюсь сыночку на свою уродскую судьбину, горбятся, старчески шаркая ногами, он уходил.

Настя ждала: сурово и гневно требует он ответа за грех ее, боялась такого разговора с ним, но отец так и не спросил об этом. Едва начав держаться на ногах, Настя перебралась домой, а через три дня отец тихо, безропотно отдал всевышнему душу.

И осталась Настя одна.

Крестьянская доля такая: горе у тебя, неможется, а рук опускать нельзя, скотина должна быть напоена и накормлена, дворы и стайки почищены, дрова наколоты, хлеб испечен. С большим трудом вела хозяйство Настя, из сил выбивалась, ни покоя, ни отдыха не знала. Но хуже самых сумасшедших хлопот была для нее тишина ночи. По углам осела темнота, сторожит каждое ее движение, шебаршит, вздыхает, деревянно поскрипывает. Не выдерживая, она вскакивала с постели, сломя голову бежала к Степаниде Абросихе, находила приют в теплом запечье, за ситцевой занавеской. Тетка Степанида горестно качала головой:

— Пропадешь, замаешься, голубушка. О чем думает твой хахаль-то? Или огулял да и в сторону? Так ты мне намекни, кто он, я его, кобеля, усовестю.

— Никто мне не нужен!

— Дуришь, ох и дуришь ты, девка.

Ей и самой однажды показалось, что она дурит. Пришел как-то к ней вечером Корнюха. Долго вытирал у порога ноги, сел на стул к очагу, завернул папироску, не спеша прикурил. И все молчал, жмурился, отворачиваясь от синих прядей дыма, на похудевшем лице резко обозначились тяжелые скулы, зачерненные щетиной бороды. Не поднимая на нее глаз, он спросил:

— Ну как, не передумала?

Она тоже не смотрела на него. Ей сейчас представилось то, что было когда-то. Свет звезд застревал в листьях черемухи, и пахло теплом земли и освежающей горечью трав; его глаза влажно мерцали, а волосы пахли, как травы, и весь он был ее, как теплая земля, как листья черемухи, как полевой ветер; счастье было простым, будто полный вдох чистого воздуха, и таким же необходимым, доступным. Все это было. И ничего нет. А почему?

— Что молчишь-то? — в голосе Корнюхи прозвучало нетерпение. Он бросил окурок, поднялся, положил руку на ее плечо, слегка сжал твердые пальцы. Настя повернулась, близко увидела его лицо: небритое, задубленное морозом, угрюмое, и губы в трещинах, и туго набрякшую жилу меж бровей, и толстый нос с приплюснутыми ноздрями совсем не то лицо подавленно сказала:

— Отойди!

— Зря, Настя, зря, — Корнюха сунул руки в карманы полушубка, сел на прежнее место. — Помнишь наш последний разговор? Тогда я говорил по принуждению Игната. И правильно, что отшила. Но теперь сам пришел.

— Нет, Корнюшка, нет. Шел бы ты лучше совсем в другую сторону, к той... — заметив, как он при этих словах дернул плечами, заспешила: — Не по бабьей злоязычности тебе говорю это.

— О ней молчи. У меня тоже гордость есть. Так нет? Последнее твое слово?

— Последнее.

— Ладно... — он помолчал, повторил: — Ладно... Дай тебе бог хорошей жизни. И ушел.

Погасив огонь, Настя пошла к тетке Степаниде. На улице в белом свете луны блестела отглянцованная полозьями саней дорога, искрились суметы у заборов, в стылом неподвижном воздухе ни звука, не пробивается свет сквозь толстые ставни окон, люди попрятались в жарко натопленные избы криком кричи, никто не услышит. А услышат, не поймут и не придут. Когда амбар обворован и хозяин кричит «караул!» все понятно, но если молодость обворована, принято молчать и делать вид, что ничего не случилось.

Из переулка навстречу Насте выехал всадник в косматой дохе. Она постороилась, давая дорогу, но всадник натянул поводья, наклонился к ней, неузнаваемый из-за инея, густо осевшего на мехе воротника дохи, на бороде и бровях.

— Куда собралась на ночь глядя?

— Игнат! Господи, сколько лет я тебя не видела!..

— А я все на мельнице, Настюха. Совсем редко бываю тут. Он слез с лошади, пошел с Настей рядом, хлопая длинными полами дохи по ногам. — Бывает время, когда одному лучше.

— Это кому как, вздохнула Настя. — Не боишься там?

— А чего?

— Ну звери там разные, волки...

— Звери, они, Настюха, для человека безвредные. Вот если человек озверевает, тут уж берегись. Повидал я в жизни всякого, а не могу к такому привыкнуть и понять не могу, Настюха, из-за чего, почему человек становится хуже хищной рыси...

Они подошли к воротам дома Абросима Кравцова, остановились. Игнат все говорил и говорил, не замечая, что Настя, легко одетая, начинает приплясывать для сугрева. Заметив, оборвал себя на полуслове.

— Ну, беги. Не то всю ночь буду байки сказывать. Ты приходи к нам, Настюха.

— Навряд ли смогу.

— Ах, да... Совсем у вас разохлось?

— Совсем. Никаким обручем не стянешь.

Нахлобучив на глаза шапку, Корнюха медленно шел по улице, с досадой и удивлением хмыкал себе под нос. До сегодняшнего дня он все-таки всерьез не думал, что Настя просто, будто сурепку из пахоты, выдернет его из своего сердца. А он-то, дурак, прикидывал так, этак, ломал себе голову... Выходит, надо прокладывать новую тропу в жизни. Черт возьми, сколько раз можно начинать сначала! Эх, кабы не Пискуны... Всю-то жизнь испортили, проклятые!

После их смерти он первое время радовался. Отплатил за все обиды одно дело. Второе, Устя, зазноба его бывшая, неожиданно-негаданно богатейшей хозяйкой стала бери ее со всеми амбарами и завознями, со всей живностью, и не будет ни печали, ни заботы, навсегда оградишься от ухватистых лап нищеты. Не такой ли жизни добивался, не к этому ли устремлял все свои помыслы? Но легко сказать: бери... Не очень-то возьмешь. Вот если бы на месте Усти была Настюха с ее добротой, понятливостью, уважительностью... Устя баба с характером, черт не баба, если она успела почуять, что значит быть полновластной хозяйкой в таком большом доме, вожжи из рук ему не отдаст. Ходить в пристяжных у бабы это ему не подходит. Да и примет ли его Устя, еще неизвестно. Не шибко, видать, сохла по нему, если вышла-таки за Агапку. Может, и вовсе не сохла, водила его за нос, забавлялась. Слова хорошие ему говорила, а себя сберегала для другого... Иное дело Настя. Вся на виду, без хитростей и лукавства, без бабьего своенравия. Зря в тот раз, после свадьбы, где его отвозили Пискуны, говорил с ней так. Конечно, она не захотела мириться, понятие о гордости тоже имеется.

Корнюха все больше склонялся к тому, что надо забыть об Усте. В конце концов, и у Настюхи теперь свой дом, свое хозяйство. Чего не хватает наживут. Надо помириться и кончить волынку.

И вот помирился. Уговаривать ее язык не повернулся, потом видно же, ни к чему будут уговоры.

Холодно. Твердая, будто камень, скользкая, как лед, дорога под ногами, свет луны, все равно что свет свечей над покойником ни тепла, ни радости. И некуда пойти, душу отогреть. С братом Максимкой

разговор не тот получается. Грамотой набил голову, как нищий суму подаянием. Лежит дома с перебитой ногой, делать ему нечего, книжки, газеты почитывает, умные рассуждения о жизни ведет. Будто книжка научит, как тропу в мир торить и с шагу не сбиваться. У каждого своя жизнь, ее под книжечку не обстригаешь... Домой не тянет. Может быть, завернуть к Верке Евлашихе? Давно зазывала.

Но и к Верке идти не хотелось. Не он первый у нее тепла ищет... Остановился у Веркиного дома на краю улицы, посмотрел в поле, застуженное лунным светом, пустое, нерешительно стукнул в окно. Открыв дверь, Верка ойкнула, стянула у горла воротник исподней рубашки, прикрывая могучие груди.

— А я уже спать легла. Да это ничего. Проходи, проходи.

Она быстро оделась, забегала по избе, собирая на стол. Широкая в кости, шумная, сильная, она открыто и весело улыбалась ему, не замечая его насупленного взгляда. Верка овдовела лет пять назад, детей у нее не было, жила одна-одинешенька, вела небольшое хозяйство, приторговывала самогоном, принимала на посиделки парней и девок. Сплетен о Верке гуляло по деревне немало, ворота ее двора несколько раз дегтем мазали. Деготь она не соскабливала, так и оставались черные потеки, безмолвно рассказывая всем проезжающим и проходящим, что за этими воротами живет баба-грешница.

С тоской слушал Корнюха болтовню Верки, жалел, что зашел к ней: все, что он делает, не то, и здоровенная Верка с ее ждущими глазами тоже не то, и нет ничего, о чем можно было бы сказать: вот оно, то самое. Раньше было, а теперь нет...

За столом, выпив залпом стакан обжигающей самогонки, Корнюха немного размяк, на душе чуточку оттеплило.

— Почему не спросишь, зачем пришел?

— Сам скажешь, когда надо будет, — лукаво улыбнулась Верка.

— Ничего я тебе не скажу. На хрена ты принимаешь кого попало?

— Ну, милый, ты это брось. Кого попало я не принимаю. А тебе присоветую бабью брехню не слушать. Они, вертихвостки, языки обтрепали, меня обсуждая...

— Брешут бабы?

— Да тебе-то какое дело? Ты ешь побольше, говори поменьше. Верка налила еще стакан, придвинулась ближе. — Хочешь, скажу тебе правду? Не было и половины того, что болтают.

— А все ж таки не безгрешная?

— Господи, конечно, не святая! Пять лет одна живу. Муж мне нужен, их в сельсовете не распределяют, самой искать надо. Надоело мне одной. Бабы, которые обо мне треплют языками, того не понимают. Благочестивые дуры! Да им что? Смотришь, иная курица ощипанная, ей муж в тягость, не в радость, Верка посмеивалась, играла ломкими бровями, и Корнюха не понимал, шутит она или всерьез говорит, а когда выпил второй стакан, ему стало безразлично, как она говорит и что говорит.

— Вот что, Верка... Ночевать у тебя буду. Тепло тут. А куда меня положишь, это уж твое дело. Могу спать и на полу, и на твоей кровати.

Утром Корнюха проснулся поздно. Верка возилась в кути. В доме вкусно пахло жареным мясом и пригорелым хлебом, было тепло, вставать Корнюхе совсем не хотелось. Когда Верка подходила к кровати, он зажмурился, сопел носом. Она заботливо поправляла на нем овчинное, крытое сатином одеяло, отходила. Хорошая она баба, и постель у нее хорошая, а все не то, не то. И неудобно перед ней становится. Пришел, остался, кажется, какую-то надежду дал... Надо ей сказать и сматывать удочки.

Верка его растормошила, смеясь, сказала:

— Эх ты, соня! А я уже успела убраться и блинов испечь. Корнюха начал было говорить, что есть ему не хочется, болит голова и нужно идти домой, но Верка понимающе подмигнула, достала из шкафа бутылку.

— Вот поправляйся.

За столом она ему так старалась угодить, что обезоружила Корнюху, он не мог сказать, что нужно было, снова приналег на самогон.

Прожил он у нее несколько дней. И почти все время был пьян. Но однажды, когда сели ужинать, на столе не оказалось самогонки. Верка налила ему чая, сказала:

— Надо тебе, Корнюшка, домой идти.

— А что там, дома?

— Там не знаю, а тут у нас, вижу, клейки нету. Бабье сердце, Корнюшка, не обманешь.

Он промолчал: возразить было нечего.

За окном сгущались сумерки, постукивал в ставень ветер. Он допил чай, оделся, обнял Верку, поцеловал в губы.

— Знаешь, может быть, я к тебе еще приду. По-другому...

— Наверяд ли...

За воротами Корнюха остановился, снял шапку, подставил холодному ветру голову. Череп ломило от боли, в сердце была тошнотная тягость, такая тягость, что сам себя вывернул бы наизнанку. И еще больше, чем три дня назад, не хотелось возвращаться домой, отвечать на неизбежные вопросы Максима где был, что делал? Брехать нет желания, а скажи правду, брат начнет изводить шутками-прибаутками, ловко умеет делать это, стервец.

Но ему вроде как повезло. Дома целое собрание: Игнат (давно ли приехал?), Лучка Богомазов, Стишка Белозеров и Бато Чимитцыренов. На Корнюху внимания не обратили, спорят мужики, как всегда, Батоха трубку сосет, в избе дыму дыхнуть нечем, а Игнат ничего, терпит: дружок курит, его, как братьев, из дому не выставишь. Сидит Игнат у очага, бороду на палец накручивает, слушает всех со вниманием, шевелит морщины на лбу, должно, соображает, что к чему. Больше всех, конечно. Стишка говорит. Ему на месте не сидится, машет долговязый руками, вертится туда-сюда, вспотел весь, оттопыренные уши красные, худощавое лицо блестит от пота. Все на Максима напирает:

— Ты в данных вопросах не кумекаешь! И не говори! — Максим сидит на кровати, вытянув закутанную в бинты ногу, бледный рядом с обветренными мужиками, худой, большеглазый, похожий на подростка, задиристый.

— Сам ты больно много понимаешь! — огрызается он.

— Понимаю, не бойсь! — Максим усмехается.

— Понимаю, сказал пьяный мужик, укладываясь спать под забором, отчего под бок дует: баба опять дверь не закрыла. Ни черта ты не понимаешь. Расскажи, Батоха, как дело было.

— Ну, была коммуна. Хорошо живем. Умных людей слушаем, вперед глядим лучше жизнь видим. Мелкий скот продать, племенной купить молока много, дохода много, деньги есть. Так делаем. Газета пишет: хорошо. Начальство хвалит: хорошо. Меня в город на учеба отправляет. Начальство вперед глядит там коммуны нет, колхоз есть. Бросай коммуна, делай колхоз, живи своим домом, держи свою корову. Тебе племенную, мне племенную все. Колхоз есть, в колхозном дворе

скот такой, Батоха согнул крючком палец. Я беги из город. Народ собираю, ругаю, коров обратно отбираю. Кто сдает, кто нет. Начальство идет, меня ругает. Раз колхозник, корова надо. Район еду. Там опять: отдай корова. Тьфу такой колхоз! — Батоха пососал угасшую трубку, рубанул огнем по кремню, высек целый снопок искр, прикурил. — В город ехать буду, жалобить буду, не дам корова.

— Поезжай, Бато, поезжай, — сказал Максим. — Крутит что-то начальство.

— Ничего не крутит, — возразил Стишка. — Теперь вся политика на колхоз повернута. И ты делай, Бато Чимитцыренович, что тебе сказали, не прошибешься.

— Зачем он так будет делать, если это делу во вред? — закипятился Максим. — Что ты его учишь?

— Как это, во вред? — Стишкины брови полезли на лоб. — Начальство, партией поставленное, дурнее нас с тобой? Так?

— Выходит, дурнее, раз помогло растащить стадо, которому, может, цены нет.

— Верно, верно! — подтвердил Бато. — Зови нас коммуна, зови колхоз, но туда-сюда не виляй, новая жизнь делать не мешай.

— Плохие ваши рассуждения! — осуждающе покачал головой Стишка. — Дай нам волю, распусти, побежим кто куда.

— Мы что, бараны? — спросил Максим.

— Не бараны, но пастух нам нужен.

— Что-то ты не так говоришь, парень, — осторожно заметил Лучка. — Пастух не ведет, он всегда гонит.

— Ну и что? В том-то и горе, что даже к новой светлой жизни нашего брата гнать надо. Сам не шибко пойдет. Будет вплоть до коммунизма затылок царапать, приглядываться.

— Кому больше нужна светлая жизнь, начальству или мужику? — с усмешкой спросил Максим.

— Всем нужна...

— Ну, с этим я согласный. А раз так, строить надо сообща, думать о ней сообща. А ты другого хочешь перстом указывать, где что делать, и бичом пощелкивать для острастки, чтобы люди живее двигались. Давно ты твердишь об этом, Стефан свет Иванович, еще при покойнике Лазаре слышал твою побаску.

— Это не побаска. Это моя линия. И я ни перед чем не остановлюсь, чтобы изничтожить все старое, ненавистное мне сызмальства.

Корнюха разулся, залез на полати, лег на жесткий потник. Уснуть бы. Но разве уснешь, если звонкодырый Стиха Клохтун всю разошелся. Все разговоры, разговоры... А для чего? Какая разница для Максимки, для Стишки, останутся племенные телки по домам или будут в общем дворе? Да и забыли уже Батохиных телок, толкуют, где место начальства, где место мужика. Дураки! Станет у них спрашивать начальство, когда и куда поворачивать. Толковали бы лучше о том, как свою жизнь поставить, чтобы она от разных поворотов не кособочилась. Эх, Пискуны, проклятые Пискуны, перепахали все задумки, как свиньи огород. Сейчас бы и дом свой был, и корова во дворе. Корова, она, видишь, не лишняя будет и при колхозе. А тут ни коровы, ни дома, ни бабы гол, как обкатанный речной камень. Нет, хватит болтаться, заливать душу самогоном. Надо идти к Усте. Зажать ее, змею зеленоглазую, чтобы и пикнуть не смела. Не из-за нее ли всего лишился? Не из-за нее ли столько душевных мук принял? Пусть попробует уросить, чужим добром козырять, куражиться над ним, кругом обманутым. Пусть только попробует!

Медленнее, чем лед на мартовском солнце, таяло горе Насти; помаленьку притерпелась к одиночеству, ночным страхам, научилась управляться с хозяйством, смирилась со своей обидной долей пи бабы, ни девки; лишь к людскому злословию не могла привыкнуть, падкие на пересуды сплетницы обтрепали сарафаны, разнося по домам слухи, один чуднее другого, молва о ней расцветала едким цветом выдумок и догадок; беззубые ревнители старины скоблили ее гневными взглядами не смягчило семейщину и то, что у Насти столько бед сразу. Тяжело жилось ей. Порой даже задумывалась: стоит ли жить так? Но эти мысли приходили в голову все реже. Мало-помалу жизнь налаживалась. Стишка Белозеров, занявший место Лазаря, настойчиво навязывался с сельсоветской помощью, ей была приятна эта забота, но она не хотела, чтобы помогали чужие люди да еще по принуждению председателя Совета, отказывалась, а Стишка не понимал, чего она церемонится, допытывался:

— Так-таки ничего и не нужно?

— Ничего.

— Может, стесняешься? Зря. Политический момент значит: Советская власть своих в беде никогда не оставит.

— Спасибо, но мне ничего не нужно.

— А ты подумай. Ради геройски погибшего Лазаря Изотыча... Душевно жалею его я, Настя. Расплатился жизнью за свою мягкость. Притиснуть надо было сволочню, чтобы кровь из носа брызнула, а он доказательства давай. Какие доказательства, когда от Пискуна, будто от гулевого кобеля псиной, на версту чужим духом воняло! Не-ет, с такими чикаться нечего.

Его неистовая ненависть к деревенским оглоодам словно подстегивала Настю, после разговора с ним она проходила по улице, не пряча глаз. Пусть думают и говорят, что хотят.

Изредка, приезжая с мельницы, навевался Игнат. Долго он не засиживался, спросит о том о сем, уйдет. Как-то раз в колхоз посоветовал записаться.

Колхоз я очень одобряю, неторопливо говорил он. На мельнице у меня житье тихое, обо всем передумал. Станут люди артельно работать, притрутся друг к дружке, и меньше будет горлохватства, зависти. И с нажимом заканчивал: Очень верю я в это.

А Насте казалось: в своей вере он убеждает не столько ее, сколько самого себя. Она давно заметила, что, по-прежнему рассудительный, говорит он иначе, чем раньше. Бывало, рассуждал безоглядно, а сейчас вроде как прислушивается к своим словам и решить не может так или не так? Чудилось ей, что на душе у Игната не так ладно, как он старается показать; вспомнился давний разговор на огороде, и она почувствовала себя виноватой перед ним; о прошлом совсем не хотелось ни вспоминать, ни думать, однако чувство невольной вины все время жило в ней.

С Игнатом было легко, хотя он и не старался ободрять, утешать ее, просто он все понимал, и она об этом знала и ценила его ненавязчивую доброжелательность. Если он долго не приезжал, она ждала его, ей было и хорошо, что есть кого ждать, и боязно, что может прийти время, когда Игнат откажется от нее. Пуще всего она опасалась длинноязыких сплетниц: привяжут его к ней грязной паутиной брехни, такого наплетут-навыдумывают, что Игнат принужден будет сторониться. Однажды она прямо сказала ему:

— Вот ты заходишь ко мне, а того не знаешь, что подумают о тебе люди.

— Он удивленно посмотрел на нее.

— А что они... люди?

— Очернят, оболгут...

— Ну и что? Мне все равно, что обо мне думают. Главное не это, а то, что я сам о себе думаю, помолчал. И о тебе тоже... Я тебя, Настюха, ни в какой беде не оставлю.

— Не надо, Игнат, никому таких посулов делать... Она поняла, что напрасно так сказала. Я к тому, что всему перемены бывают.

— Я говорю о том, чему перемены не будет никогда.

Он улыбнулся, так что его слова можно было принять и за шутку, но она сразу поверила правда, и печальная радость сдавила ей горло.

Проводила его за ворота, смотрела, как он шагает через дорогу к своему дому, и думала, что на всем белом свете у нее нет человека, такого же понятного ей и так же понимающего, как Игнат, и что жизнь

была бы совсем иной, если бы у всех людей, так же как у него, в душе не убывала доброта.

День выдался солнечный. На сопках за селом ослепительным светом пылали снега, по крутому склону Харун-горы катались на санках ребятишки. Они падали вниз, как ястребки со сложенными крыльями, исчезали в зарослях тальника, потом медленно взбирались вверх и снова неслись по сверкающему снегу. Ей тоже вдруг захотелось промчатся по круче на легких санках, почувствовать, как от стремительно нарастающей скорости перехватывает дыхание и останавливается сердце.

По улице в шапке-кубанке, сдвинутой на одно ухо, торопливо шел Стишка Белозеров. Еще издали он помахал рукой Насте.

— Ну как, надумала?

— Это о чем ты?

— О помощи. Дровишек привезти, муки смолоть... Все сделать для полного равновесия жизни.

— Да ничего мне не надо! — настойчивость Стихи показалась ей смешной, она лукаво улыбнулась. — Чего нет, так это мужика. Проворонила.

Бойкий, настырный Стишка хмыкнул, замялся. На все другие случаи у него, кажется, были заранее припасены разные слова, а тут не сразу нашел, что сказать, и в эту короткую минуту замешательства перестал он быть для Насти «политичным человеком», а стал просто Стишкой, соседским парнем; она видела, что полушубок на нем старый, с плешивым воротником, унты потрепанные, штаны из толстой далембы зачинены на коленях; теплея сердцем, засмеялась, сказала:

— Шучу я... А ты лучше другими делами занимайся. Дел-то много, должно?

— Хватает. Вот Павла Рымарева надо бы на жительство определить...

— Это кто такой?

— Ты его знаешь. В районе работал, сюда часто приезжал. Высокий такой, с усиками.

— Знаю, бывал у нас с Лазарем.

— По доброй воле к нам на жительство переезжает. Куда попало его не толкнешь. Знаешь нашу дурь семейскую, вздумают из отдельной

посуды кормить, начнут мелкие обиды чинить. А он нам быстро нужен. Председатель колхоза из него выйдет хороший.

— Определи его к таким, которые не обидят.

— А куда? У Абросима семья большая. К Назарычам самим тесно. Лучке Богомазову я не очень верю. К себе хотел, но... жениться собираюсь.

— На ком женишься?

— Феньку Федора Петровича сосватал.

— Хорошая девка, одобрила Настя.

— Ничего, подходящая. Приходи па свадьбу.

— Спасибо, — Настя помолчала, предложила: — А пусть он селится ко мне, этот Рымарев. Места хватит.

— К тебе? — Стишка задумался. — К тебе, говоришь? Такое решение вопроса подходит. А то я хотел его к Верке Евлашихе вселить. Но боюсь, захомутает мужика. Характеру он податливого... Значит, договорились?

Дня через три Стишка привез Павла Рымарева, помог ему внести чемодан и узел с постелью.

Рымарев мало беспокоил Настю. Он вставал рано и на целый день уходил из дому. Вечером, поужинав, допоздна сидел за столом, что-то читал, писал, щелкал на счетах. Настя ворочалась на своей кровати за перегородкой, зевала от скуки. Несколько раз она пыталась втянуть постояльца в разговор, но он отвечал очень коротко, односложно.

— Павел Александрыч, а ты почему не женатый?

— Был женатый. Умерла жена.

— Вот горюшко-то! — вздохнула Настя. — А дети остались?

— Сын.

— А где он, сиротиночка?

— Живет у ее родителей.

— А почему вы из района подались? — Да так...

Видно было, что отвечает он только из вежливости. Чудной какой-то. А может, и не чудной, может, ему не до разговоров. И, чтобы не досаждать, Настя старалась молчать.

От всех других людей, которых Настя знала, Рымарев отличался не только неразговорчивостью. Собравшись как-то стирать, она хотела заодно выстирать и его рубахи, но Рымарев воспротивился этому, а

потом сам, засучив рукава, полоскался целый вечер в корыте. Насте было смешно.

— Вот бы мне такого мужика бог послал!.. Ты и при бабе сам стирался?

— Нет. Жена другое дело.

Завтракал и ужинал он дома. Настя готовила ему то же, что и себе. Ел он мало, аккуратно, подбирая со стола крошки хлеба. А встав из-за стола, доставал из пиджака записную книжку, делал в ней какие-то отметки. Для чего эти пометки, Настя скоро узнала. Рымарев как-то полистал книжечку, пощелкал на счетах и протянул ей деньги, пояснив, что это за столько-то литров молока, за столько-то яиц... Настя вся вспыхнула, спрятала руки за спину.

— Я же не купчиха, не торгую!.. — Рымарев положил деньги на край стола.

— Вы не торгуете, подтвердил он. Но не могу же я даром... — Позднее, подумав, Настя решила, что Павел Александрович, конечно, прав. Не станет уважающий себя человек жить на чужих хлебах. Но зачем каждое яичко записывать в книжечку вот что непонятно! И когда после ужина он, как всегда, взялся за книжечку, она попросила:

— Не пиши ради бога, ладно? Нехорошо как-то...

— Нехорошо, Анастасия Изотовна, должником быть. Самое последнее дело, когда человек кому-то должен. Чтобы чувствовать себя по-настоящему свободным, надо не быть в долгу.

Настя махнула на него рукой: пусть живет, как хочет. Человек он не вредный, тихий, не пьющий, правда, не шибко для нее и полезный. Как и раньше, самой приходится все делать, дров и то не расколет. Некогда ему, по уши увяз в работе. Понемногу она вытягивала из него все, что ее интересовало. Из района он уехал потому, что работать там становилось с каждым годом труднее. Свое начальство жмет, городское жмет, мотайся по селам, не зная ни сна, ни отдыха, да еще того и гляди на пулю напорешься. Просился в свою деревню. Не отпустили. Направили сюда. Народ тут тяжелый, партийных мало. Но, как он убеждается, после восстания все тихо, жить можно неплохо, не хуже, чем в своей родной деревне на Хилке.

— Чего же не жить! — сказала Настя. — Хорошо можно жить.

Только жениться тебе надо.

— Надо бы... согласился он. Но кто за меня пойдет, тем более у вас...

— Что ты! Любая твоя будет, только свистни. Теперь не старое время.

— Время новое, но привычки, обычаи... Ну вот вы, только честно, пошли бы за меня?

— Я? А то нет! Да я за кого хочешь пойду ради новой жизни, был бы не кривой да не горбатый. А ты из себя видный, начальство...

— Зря вы смеетесь. Он покачал головой и пристально, как-то по-новому, посмотрел на нее.

Потом она не однажды ловила на себе его внимательный взгляд и заметила, что он охотнее, чем прежде, разговаривает с нею. Оказалось, что он вовсе не молчаливый, разговорится не остановишь. Из района он стал ей привозить небольшие подарки: то флакон одеколona, то платочек, то нитку бус. Она понимала, что это все значит, и на сердце становилось беспокойно. Пробовала не брать его подарки, прикидывалась бестолковой, глупой деревенщиной.

— Одеколон? Мне? — делая большие глаза, спрашивала она. — А зачем? Пахнет хорошо. Так меня нюхает один Васька-кабан, когда корм выношу.

В другой раз говорила, разворачивая платок:

— Ой, мамонька, до чего красивый! А сколько же он стоит? Дороговато, дороговато. Просто так отдаешь? Нет, ты уж сделай ради бога пометку в своей книжечке, исчисли за него молоко или яички.

Рымарев, конечно, понимал, что она валяет дурака.

Однажды они чуть было не поссорились. Рымарев спросил, почему она не ходит ни на вечерки, ни на гулянья, сидит дома, как старушка. По чуть заметному напряжению в голосе Настя поняла, что спрашивает Рымарев неспроста, должно быть, кто-то успел рассказать, кто есть его хозяйка. Так оно и было. Когда она ответила, что ей не до вечеров и гуляний, Павел Александрович проговорил:

— Да, конечно... Сочувствую. Подлость и обман...

— Какой обман? — перебила его Настя. — Говорят...

— Говорят, кур доят, а их щупают! Не твое это дело! — Обескураженный ее резкостью, он пожал плечами, замолчал.

И больше ни разу не пытался говорить с ней об этом, но их отношения в чем-то неуловимо изменились. Рымарев был по прежнему

вежлив, суховато-строг, однако Настя почему-то стала его побаиваться, не могла вечером заснуть, прислушивалась к его покашливанию, к шагам, вздрагивала, когда шаги приближались к заборке, и только когда он укладывался на свою кровать, она успокаивалась.

В начале марта Стишка справлял свадьбу. Пригласил он на вечер и Рымарева с Настей. Настя не пошла. Не пошла потому лишь, что ее очень уж звал Павел Александрович. Вернулся он поздно, слегка покачиваясь на ногах, веселый и смешной. Отложив дверь, Настя сразу же убежала за перегородку, нырнула под одеяло, затаилась, будто белка в гнезде, а Рымарев долго раздевался, что-то бормотал, насвистывал и шумно вздыхал. Потом позвал ее:

— Анастасия Изотовна.

Она промолчала.

— Хочу поговорить с вами. Вы слышите?

Настя снова не отозвалась, только крепче стиснула одеяло у подбородка. Из окна падал лунный свет, освещая угол печки, крашенные доски заборки, занавеску на двери из ситца «в огурчик». Занавеска колыхнулась, съехала к одному косяку, Рымарев остановился в дверях.

— Очень нужно поговорить, Анастасия Изотовна, голос его упал до шепота.

— Какие могут быть сейчас разговоры? Спи, поговорим завтра.

— Нет, сейчас, именно сейчас! — перебирая руками по козырьку кровати, он приблизился к ней, сел на край постели.

Настя отползла к изголовью, вся сжалась в комок:

— Уйди отсюда! Уйди, идол!

— Анастасия Изотовна, что вы!.. — его руки шуршали, перебирая складки одеяла, сам он потихоньку придвигался к ней, до тех пор придвигался, пока согнутые Настины ноги не уперлись в бок. Он хотел их отодвинуть в сторону, но Настя, упершись руками в изголовье, со всей силой толкнула его. Грохнувшись головой об опечек, он уронил ухваты, сковородники, опрокинул ведро.

Настя встала в рост на постели, пригрозила:

— Только шагни ко мне черепушку расколю! Сдерживая стон, Рымарев поднялся, сказал с жалобой в голосе:

— Как вам не стыдно! Я же по-честному...

— Дуй отсюда, не то худо будет!

А утром он не встал как обычно, охал, растирал пальцами виски. На лбу у него багровела косая ссадина.

— Простите, пожалуйста! — сказал он Насте. Но честное слово, у меня не было плохих намерений. С чего вы?..

— В другой раз знать будете.

— О важном для вас и для меня хотел сказать...

— Не будет у нас важных разговоров.

— Почему, Анастасия Изотовна?

— Потому что потому...

— Ну хорошо... — Рымарев помолчал, потрогал ссадину. — Как теперь людям покажусь?

— А ты не показывайся. Лежи, пока не зарастет. А зарастет, будь добреньким, поищи себе другое место для жительства.

— Да почему, почему?

— Опять почему. Жених у меня ревнивый.

— Жених! — удивился он и, помедлив, уныло согласился: — Да, тогда, конечно... Но как я все объясню Стефану Иванычу? Как стану просить новую квартиру? Сразу поймут, что у нас что-то вышло.

— Кабы вышло, не пришлось бы просить, засмеялась Настя. — Да ты не горюй. Найду я тебе место, да такое, век будешь благодарить.

В тот же день она сходила к Верке Евлашихе, сказала, что за постояльцем ей ходить некогда, а мужик он не вредный, хочется, чтобы жил по-человечески. У кого, как не у нее, Верки, ему будет жизнь хорошая?

— Что ты его нахваливаешь, как цыган мерина. Пусть идет, сказала она.

И снова Настя осталась одна.

Временами жизнь казалось ей до того нудной и тоскливой, что жалела зря выставила Павла Александровича: хоть было с кем разговаривать. Теперь порой за целый день слова вслух не скажет. От подруг отдалилась, неинтересно стало с ними: одно на уме женихи да сарафаны новые. К Татьянке и Максиму не пойдешь, потому что там Корнюха... Слух есть, опять он делает круги возле бывшей своей ухажерки дай бог, чтобы у них сладилось, уйдет Корнюха жить на другой конец деревни, перестанет мельтешить перед глазами, и тогда она будет вечерами ходить к Татьяне и Максиму. Игнат у нее последнее время не бывает, как поселился Рымарев, так ни разу не зашел. Что ж

это он? Может быть, ему недосуг? Татьянка сказывала, мельницу ремонтирует. Конечно, ему некогда с ней ляды точить. А может, и что-то другое...

Подумав так, Настя встревожилась, ей захотелось немедленно поговорить с Игнатом. Утром, накормив скотину, заседлала коня и поехала на мельницу. За селом таяли сугробы, мокрый снег жидко хлюпал под копытами коня, а в лесу солнце еще не пробило зеленую шубу кроны, и снег, припорошенный рыжими иглами, чешуйками коры, не таял, его дыривали капли, падавшие с веток. У мельницы был навален ошкуренный лес. Игнат кантовал бревно. Топор, взлетая над его головой, ослепительно вспыхивал, падал вниз и впивался в бок бревна, отваливая широкую ленту щепы. Увидев Настю, Игнат шагнул навстречу, взялся за повод.

— Что-нибудь случилось?

— Да нет. А что?

— Вижу, верхом гонишь... — он снял шапку, вытер ею потное лицо, ладонью убрал со лба влажные пряди давно не стриженных волос. — Ну, пойдём в избу.

В зимовье было сумрачно, на потолке темнела копоть, в углах провисали нити паутины, тяжелые от пыли.

— Господи, как ты живешь тут? С тоски сдохнуть можно! — Живу помаленьку.

— Худо, ох, худо живешь. Неси дровишек, воды...

Настя все перемыла, выскоблила, разыскав в подполье известь, оставленную еще Петрушихой, побелила печку и стены. Игнат пробовал ей помогать, но толку от его помощи было мало ушел тесать бревно. Убравшись, Настя сготовила обед, позвала его. Он обвел взглядом зимовье.

— Чудеса!.. Совсем не то зимовье.

За столом, разливая чай в чашки, выдолбленные из наростов березы, Настя сказала:

— Постояльца-то своего я выпроводила.

— Это почему же? Мужик он, кажись, хороший.

— Ничего мужик, один изъян бабы у него нет.

— Стиха сказывал, оттого-то и поселил его к тебе.

— Дурак он, твой Стиха... спокойно сказала Настя. Сводил бы кого другого. А ты что не заходил мешать не хотел?

— Как тебе сказать... Все мы люди и жить каждому как-то надо.

— Ага, жить как-то надо, — повторила Настя и низко наклонилась над чашкой с чаем. — Тебе вот тут жить совсем не стоит. Перебирался бы в деревню.

— Переберусь...

— Когда?

— Когда ты меня позовешь.

Она вскинула на него глаза и сразу же опустила. Игнат говорил с усмешкой, но она видела — всерьез.

— Не быть этому, Игнат. Я бы рада позвать тебя хоть сегодня. Честно, как перед господом богом, говорю. Поумнела я, научилась... Однако житья у нас не будет. Никогда тебе не переступить через то, что было у меня.

— Не переступить... — он расстегнул воротник рубашки, повел головой, будто освобождаясь от тесноты. — Эх, Настюха... Когда понятие о жизни есть, переступишь и не через такое. Расскажу тебе как-нибудь. До сих пор сердце мается, но совесть моя чистая... А этот наш разговор давай приглушим до поры. Не обо мне речь. Ты пожить, оглядеться должна, чтобы по слабости женской не промахнуться.

— Спасибо тебе, Игнат.

Домой Настя возвращалась вечером. Солнце закатилось за гору, тень укрыла мельницу, зимовье, молодые сосенки за зимовьем, легла на гребень перевала, но не закрыла его совсем, сосны там стояли в тени лишь по пояс, зеленые шапки ветвей еще купались в теплом желтом свете. Настя оглянулась, помахала рукой Игнату и быстро погнала коня навстречу полевому ветру, сулящему близкую весну.

В доме уставщика теперь колхозная контора (Ферапонта осудили за участие в восстании, а семью его сослали), голова всему в конторе Павел Рымарев, но, надо сказать, Стишка Белозеров не шибко дает ему главенствовать, сам, суетной, неумный, норовит в любое дело влезть и, если что не так, из себя выходит, ругается по-страшному, всех крестителей-святителей собирает, от этого за ним все определеннее закрепляется новое прозвище Задурей, отодвигая старое, от родителя унаследованное, Клохтун. Ох уже эти острословы деревенские! Прилепят к твоему имени довесок до гробовой доски не отлепишь, мало того, детям вместе с фамилией передашь. А невдомек острословам, что любой на Стишкином месте быстро сбесится тугой народ в Тайшихе, ух, тугой! Балаболить про колхоз на завалинке пожалуйста, все готовы, записываться обожди, брат, колхоз дело хорошее, но, может быть, что без него и лучше. И ждут, им что, не припекает. А в колхозе двенадцать домохозяев. И Стишке в районе шею намылят.

Прибежит он к Максиму, сядет, еле отдышится, спросит:

— Ну, долго еще лежать будешь?

Максиму жаль парня. Не по плечу ему воз, который тяжел был и для Лазаря Изотыча, помогать бы надо, а какой из него помощник, если без костылей ни шагу.

Он только то и сделал, что уговорил Лучку написать заявление в колхоз. Лука с недавних пор бог и царь в доме тестя. Вскоре после раздела тесть поехал в гости к родичам в соседнюю деревню. Где-то, видать, изрядно перебрал и, возвращаясь ночью домой, свалился с саней в сугроб, замерз. Похоронили его. А тут Еленка разрешилась и обрадовала Лучку сыном. Пришлось возвращаться в дом тестя. Теща сразу же устранилась от хозяйства, возилась с внуком, стряпала; на зятя своего не шумела, как прежде, кажись, поняла, старая карга, что лучше беречь себя, чем свое добро, старик всю жизнь к себе прискробал, а с собой на косогор взял всего-то ничего четыре аршина белой бязи.

Лучка, поскольку его жизнь уладилась, в колхоз уж не очень рвался. Сказал Максиму:

— Черт его знает, колхоз этот. Там, поди, не дадут делом, которое тебе в радость, заняться. Стишка зачнет перстом показывать делай так, делай этак, делай тут, делай там... А я мыслю хозяйство тестево уполовинить, чтобы справляться с ним без натуги и оставлять время для всякой огородины. От Мишки-китайца, от агронома районного запасся всякими семенами. Теперь меня от этого дела никто не отговорит.

Максим его долго убеждал, что таким делом заниматься с пользой можно только в колхозе. Там ему мешать никто не будет, а уж помочь все помогут. Если какой овощ к земле приладит польза всем.

Лучка, подумав, сказал:

— Давай напишу заявление. Но ты уж будь добрым, втолкуй Задурею своему, что если меня зачнут гонять туда-сюда и от дела моего отлучать с колхозом вмиг распрощаюсь.

— Все будет хорошо, вот увидишь, — пообещал Максим и, как оказалось, опрометчиво.

Разговор со Стишкой вышел совсем не таким, какого он ждал. Прочитав заявление, Белозеров свернул его, возвратил Максиму:

— На, спрячь подальше.

— Как это понимать?

— Просто: кулакам в колхоз ход наглухо закрыт.

— Ты думай, когда говоришь, ладно? Нашел кулака! Почему, черт вас побери, все время его отшатываете? Чем он провинился?

— Не будет лезть в кулацкий дом...

— Не лез он в дом, не лез! Но раз так вышло, зачем его за горло брать? Зачем, если он хозяйство наравне со всеми в общий двор отдает? Если он с нами работать хочет?

— Мало ты грамотный в политике, Максим! — хмуро бросил Стишка. — Я о тебе думал лучше. А ты интересы шурина ставишь выше классовых. Просто обидно!

— Брось молоть чепуху! — рассердился Максим.

— Это не чепуха. Кулак нам не родня запомни. Он вроде бы льнет к колхозу. Не верь. Увиливает от обложения. Активничает насторожись. Хочет пролезть в руководящее звено. Хвалит нас бей тревогу. Не иначе, как занес нож, чтобы резануть по главным жилам социализма в деревне.

— И здорово же ты насобачился газеты пересказывать! — с язвительным восхищением сказал Максим.

— А что, газеты плохому учат? Если бы наш Лазарь Изотыч не добротворствовал, а выдирал кулачье, как худую траву с поля... Я его ошибку не повторю, я никому спуска не дам! — Стишкины глаза налились холодком. Для меня нет ни свата ни брата, есть люди, разделенные на две части мы и они.

— Я с тобой согласен — есть мы и они. Но чем больше нас, тем мы сильнее так или не так? Это одно дело. Второе дело пусть люди, колхозники, сами решают, кого принимать, кого нет. Ты им скажешь свое, я свое. Как решат, так тому и быть.

— Ты что, спятил?! — изумился Стишка. — При беспартийном народе потянем в разные стороны!.. Мы во всем должны заодно, мы свои друг другу...

— Свои... — вздохнул Максим. — Не хочешь перед колхозниками, давай на ячейке поговорим.

Максим схитрил: в ячейке четверо. Абросим Кравцов на Стишкину сторону не станет. Павел Рымарев начнет сеять туда-сюда, чтобы никого не обидеть, и Стиха останется один.

Расчет у Максима был правильный. Сколько ни крутился, ни стучал по столу кулаком Стишка, доводы его расшибли, заставили передать заявление Лучки на колхозное собрание, а там все проголосовали «за». Вместе со всеми с большой неохотой поднял руку и Стишка.

Незаметно подошло время пахоты.

В день выезда на поля в общем дворе, тесном от телег, с раннего утра на всю Тайшиху шум: ржут кони, спорят мужики, — распределяя сбрую, кричит Павел Рымарев, стараясь навести порядок, но его никто не слушает, все идет своим чередом бестолково, весело... Уже и солнце на целую ладонь оторвалось от края земли, а шум все не затихал, и кони были не запряжены.

Максим стоял в стороне, опираясь на костыль, молча смотрел на неразбериху первого дня, на измученного криком Павла Рымарева. В первую минуту он тоже, как и Рымарев, пробовал остановить шумную никчемную толкотню, но быстро понял, что ничего не получится, замолчал.

Откуда-то прискакал на рыжем жеребце Стишка Белозеров, с ходу врезался в скопище телег, лошадей, мужиков, свистнул, ткнул ногой в спину Петрухи Трубы, сдернул шапку с Тараски Акинфеева, что-то сказал Игнату и Абросиму, и вот наступила тишина.

— Тарас Акинфеевич, где твоя телега?

— А вон.

— Стой возле нее. Где упряжь?

— Хомут на месте. А чембур и седелку Петро уволок к своей телеге.

— Отдай! — приказал Стишка Петрухе Трубе.

Через пять минут во дворе стало просторнее, мужики, посмеиваясь, поругиваясь, впрягали лошадей в телеги, выезжали на улицу и там поджидали остальных. А Стишка снова куда-то ускакал.

Максим подошел к телеге Лучки Богомазова.

— Видал, каков Стиха? Молодец, черт его дери!

— Молодец, — согласился Лучка, подвинулся, давая место Максиму. — Садись. Может быть, ты и в поле съездишь? Поглядишь. Первая борозда как-никак...

Мимо промчался Стишка. На плече у него алел свернутый флаг. У передней подводы он развернул флаг, помог Павлу Рымареву укрепить его на стойке телеги и, когда полотнище всплеснулось на слабом ветру, махнул рукой: «Трогай!»

Со скрипом и звоном, то растягиваясь, то сжимаясь, обоз покотился мимо домов, следом, сминая хвост пыли, бежали ребятишки, сбоку гарцевал, горячил коня Стишка, смеялся и, клонясь с седла, спрашивал:

— Здорово, а?

— Здорово! — сказал Максим.

Стишка выпрямился, горделиво посмотрел на флаг.

— Я сдогадался. Раз выходим на путь социализма, значит, все должно быть в полной форме.

Выехали в поле. Запахло горькой полынью. Пыль, поднятая колесами, копытами лошадей, тут же сваливалась к обочине, оседала на сухие прошлогодние травы. Солнце пригрело, и в теплом воздухе задрожали, поплыли вершины сопок. Там, на серых склонах, чернели заплаты свежей пахоты: единоличники не мешкали. Они на обоз под

красным флагом долго не засматривались: весеннее время дорогое время.

Прикрывая глаза ладонью, Максим смотрел на квадратiki наделов. Где-то там пашет брат Корнюха. Для Усти, вдовы молодого Пискуна, пашет. Не говорит, нанялся к ней или жениться думает. Про колхоз слышать не хочет...

— Ты говорил насчет огорода? — спросил Лучка.

— Нет еще. Но поговорю, не забуду.

Лука закусил ус, помял его на зубах, вытолкнул:

— Я что-то спокойным стал. Наверно, все получится, что задумал.

— Конечно, получится, — подтвердил Максим, но не очень уверенно. Он давно намеревался рассказать шурина, какой сыр-бор разжег Стишка из-за его заявления, но сейчас решил, что говорить об этом не надо.

Отаборились недалеко от пустой, заброшенной заимки, перепрягли коней в плуги, выстроились друг за другом на краю ровного, в желтой щетине жнивья, поля. Стишка долго говорил речь: о светлом пути социализма, о заговоре мировой буржуазии, о неудержимом, как весенний поток, стремлении бедноты к лучезарному будущему.

Налетел ошалелый ветер-низовик, рванул полотнище флага, завертел в разные стороны, то скручивая, то разворачивая с громким, похожим на выстрел, звуком, и лошади испуганно запрядали ушами. Мужики отвернули головы от ветра, и Стишка закончил речь, глядя им в лохматые затылки.

— А кто первую борозду поведет? — спросил Абросим Кравцов у Павла Рымарева.

— Мое мнение: Стефан Иваныч. Он возглавляет власть, следовательно...

— Конечно, можно и мне... — сказал Стишка.

Абросим Кравцов крякнул, накинуд на глаза навес бровей, сугулясь, стал за свой плуг.

Стишка взял вожжи из рук Игната, тронул лошадей, и острый сошник мягко, бесшумно впился в суглинок, на ладонь отвала наплыл пласт простеженной корнями почвы, перевернулся, лег на жнивье, сухо потрескивая, а ветер вскудрявил, мгновенно унес легкую пыль. Подстегнутые кнутом, лошади ровно пошли по желтому полю. Стишка оглянулся, с пастушеским шиком хлопнул бичом, вспугнутые лошади

рванули, и плуг вылетел из земли. Стишка плуг вправил, но при этом дернул вожжи, и лошади потянули в сторону, и борозда пошла вилять туда-сюда, как уползающая змея, и Стишка метался возле плуга, рвал вожжи, зло кричал, но выправить борозду не мог, так и легла она уродливой извилиной через все поле.

— А-а, черт тебя в печенку! — крикнул Абросим.

— Не расстраивайтесь по пустякам, товарищ Кравцов, — миролюбиво проговорил Павел Рымарев.

— Это разве пустяк? Примета имеется: чем ровнее, прямее первая борозда, тем удачливее год у хлебороба.

— И вы верите?

— Не о вере разговор. Каждому делу начин должен быть хороший.

Мужики поддержали Абросима:

— Сроду не пахал, берется!

— Выскочка! Каждой дыре затычка!

Услышав эти разговоры, Стишка не смутился, кинул вожжи на рычаги, строго спросил:

— Не глянется борозда? Думаете, оплошал? Нарочно ее извертел, чтобы не суеверничали. Наперед запомните: о приметах стариковских ни звука. Иначе вопрос поставлю.

Максиму было неловко за него. Зачем он так, кому это нужно, для чего? Ну не сумел, что делать признайся, не лезь в пузырь, не выкобенивайся. Лазурька покойник тоже был не ангел, но таких коленцев не выкидывал.

Пахари, понукая лошадей, въезжали на загон, к первой борозде прилегла вторая, ко второй третья, все шире становилась

полоса пахоты и все незаметнее кривулины, накрученные Стишкой. В начале гона остались втроем: Максим, Стишка и Павел Рымарев. Максим не утерпел, упрекнул Стишку:

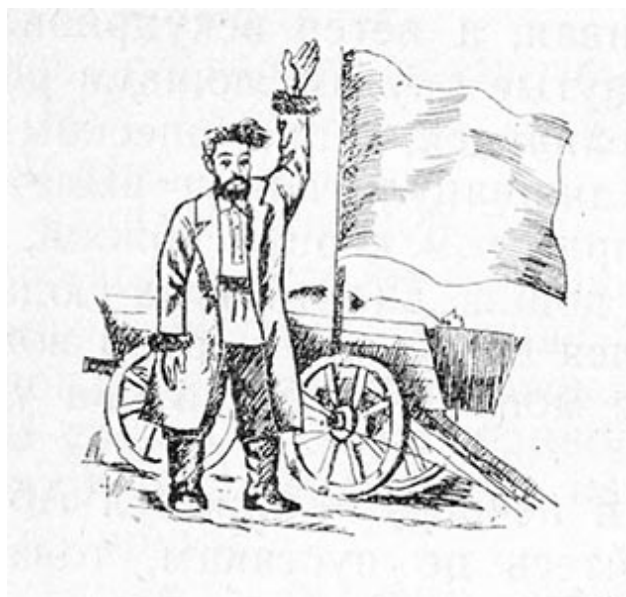
— Зря так делаешь. Противно. Не мог, не увиливай, признайся. А то суеверность... Тьфу!

— Ты меня не учи! — огрызнулся Стишка. — Ну, дал промашку... Так что же? Авторитет свой на подрыв ставить? Тут я и партии, и нашей власти лицо. Это тебе не понятно?

— При чем тут партия, власть? — разозлился Максим.

— Товарищи! Не надо спорить. Очень прошу вас не спорьте! — быстро и вроде как испуганно заговорил Павел Рымарев.

И они замолчали.
Так начиналась артельная жизнь.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Устинью, зазнобу свою бывшую, выходит, он совсем не знал.

Думал, зачнет она задаваться, куражиться, цену себе набивать зря думал, зря ожесточал себя, готовясь к разговору.

Пытливо вглядываясь в его недоброе лицо, она спросила с печальной прямоотой:

— Вроде бы снова к Насте хотел?

— Было... — неохотно признался Корнюха.

— А к Верке Евлашихе что ходил?

— По пьянке...

— Ну? — в глазах Устиньи вспыхнула и тут же осела насмешка. — Я все понимаю...

Чувствовал Корнюха: многое осталось недосказанным, но оставил этот разговор. А потом пожалел...

Вдова, по обычаю семейщины, могла выйти замуж не раньше, чем через год после смерти мужа. Устинья, не очень-то соблюдавшая старинные установления, тут не захотела идти против порядка. Корнюха пока что поселился в зимовье на задах двора наемный работник. Не по душе это было Корнюхе: опять шаткость, неопределенность, ожидание. А тут еще Хавронья донимает тайком от дочери.

— Душегуб! Сатана! Идолище поганое! — шепчет блеклыми губами и неотступно следит за ним враждебным взглядом; будь ее воля, близко к дому не подпустила бы.

Покорностью, смирением хотел Корнюха смягчить ее сердце, но старая баба, видать, вообразила, что он ее боится совсем невыносимой стала, проходу не дает, больно, как крапивой по голому заду, жалит ядовитыми словами. Не стерпел Корнюха, тихо, чтобы Устинья не слышала, сказал, глядя прямо в глаза:

— Ты, старый мешок с отрубями!.. Будешь вонять, кикимора болотная, отправлю вслед за сватом и зятем!

С тех пор Хавронья ни гу-гу, помалкивает и старается попадаться ему на глаза как можно реже.

Вечером в зимовье приходила Устя, ставила на стол ужин, смотрела, как он ест, молчала. И он тоже молчал или говорил о каких-нибудь пустяках. Все было не так, как на заимке. И Устинья стала другой, и он тоже. Что-то оба они потеряли.

Ему становилось ясно, что если все пойдет и дальше так же, ничего у них не получится. Надо было что-то делать. А что? Он ломал над этим голову, с ненавистью вспоминал свадебную застольицу, Устю, нарядную, красивую. Молодого Пискуна рядом с ней прилизанного, розовенького. Попробуй, выскреби все из памяти! Проклятые мироеды! Даже из могилы жить мешают! А она обычай блюдет. Ради кого?

В этот вечер он поздно вернулся с поля. Устинья уже ждала его в зимовье. На столе стояла чашка с квашеной капустой, сковородка с яичницей. Быстро поужинав, он встал из-за стола.

— Слышь, Устюха... — Нахмурился. — Такое дело... Или ты оставайся тут, или я смогаю свои манатки. Надоело!

— Уйдешь? — она с вызовом взглянула на него. — Уйдешь? А вот и нет!

— Дура! — Корнюха сдернул с нар мешок, запихал в него свое убогое добришко.

Устинья защелкнула крючок на двери, погасила лампу, засмеялась в темноте.

— Я уже думала, ты не мужик вовсе.

Она обнимала Корнюху, жадно целовала; обессилив, раскинула руки и лежала с открытыми глазами, смотрела в потолок, ополоснутый светом луны, тихо удивлялась:

— Господи, как это все по-другому! А до этого... Я ить жизни своей не рада была. Обрекла себя на муку...

— Нашла о чем...

— Молчи! — одернула она его, села. — Все из-за твоего двуличья! Ну и не подумала... Кто бы знал, до чего он постылым был! Худотельный, мокрогубый...

— Не говори о нем! — угрюмо попросил Корнюха.

— А кому же я еще скажу? Нет, ты слушай и знай. Бывало, как подумаю, что он будет меня всю жизнь поганить... удушить хотела. Ей-богу! Ты меня опередил. Взял на себя грех. Мой грех. За одно это мне надо твоей быть, — Устинья наклонилась над ним. Распушенные

волосы, поблескивая, стекали с плеч, затеняли лицо, и зеленые ее глаза казались темными, будто вода в глубоком колодце.

После этого вечера все стало на свои места. Корнюха перестал тревожиться. Возвращаясь с полей, он поджидал Устинью на завалинке зимовья. За пряслами гумен голубели озерца, и в них нестройным хором квакали лягушки; над головой резали воздух острыми крыльями быстрые стрижи; тонким звоном заполняли воздух комары. На душе Корнюхи покой, негромкая радость баюкает сладкие думы. Кончились мытарства, жизнь повернулась к нему мягким боком. Все есть для работы. На гумне побрякивают колокольчиками сытые кони, под сараем висит сбруя из новой крепкой кожи, возьмешь эту сбрую в руки, она вся поскрипывает; зайдешь в амбар, в завозню теснота от несметного добра, и глаз ласкает смолистая белизна крепких стен, и хмелеешь от мысли, что всему этому ты, считай, хозяин. Живи беспечно, множь добро трудом, и беды-напасти обойдут тебя стороной.

Но покой Корнюхи был недолгим.

За малое время он так освоился с хозяйством, что знал наперечет, сколько чего есть, что где лежит. И вот стал замечать: убывает добро. Были две дохи осталась одна, в кладовке висели новые юфтевые ичиги нету. Грешил на Хавронью: по дурости прячет старая от него; исчезло из завозни железо на ходок, заподозрил неладное, спросил у Устиньи:

— Ты отдала поковку?

— Я. А что?

— Кому отдала?

— Был тут Мотька, родич Пискуна.

Услышав этот разговор, Хавронья из сеней высунулась, наострила уши.

— А кожи дубленые? А дохи? — допытывался Корнюха. За Устинью ответила ее мать:

— Отдала! Всех ублажить захотела!

Сейчас только Корнюха сообразил, почему так часто, так охотно наезжали в гости к Устинье бесчисленные родственники Пискуна. Приедут, пьют чай, на жизнь жалуются; у кого малых ребят шибко много, у кого долгов, у кого кобыла худая, у кого баба больная; кто правду говорит, кто брешет без зазренья совести, а Устя, слова не молвя, сует им, что под руку подвернется. Пустоголовая! Больно сердцу делается, как подумаешь, сколько успели урвать загребущие руки...

Если и дальше будет Устинья так одаривать обнищает, запустеет хозяйство. Конечно, родню Пискуна привечать надо, чтобы вреда от нее не было, но не так же!

— Негоже это! Простота бывает, хуже воровства.

— Во-во! — подхватила Хавронья. — То же ей баила.

— Помолчи-ка ты, помолчи!.. — с досадой отозвалась Устинья.

— Твоя мать правильно толкует.

— И ты туда же? — невесело качнула головой Устинья. — О чем жалеешь, Корнюшка? Она перебирала на груди монисты из цветных стекляшек, будто горсть искр пересыпала на груди, и так быстро, резко двигались ее руки, что казалось, искры больно жгут ладони. — Ненавистно мне все ихнее! За что ни возьмусь ложка, вожжи, лопата — все Агапку и старика напоминает. Все раздам до последней тряпицы. Наживем свое, не убогие.

Корнюха ошарашенно молчал. Ну и ну! «Раздам»... Должно, не наломала себе хребтину, хлеб добывая. Ты сначала повыгибайся, как все прочие, раз-другой в дураках останься, как он оставался, тогда поймешь, что к чему, тогда своим умом дойдешь: Пискун одно, а шуба его совсем другое.

Пожалуй, он все это ей бы и высказал. Но за спиной Устиньи ее мать жестами рук, каждой морщинкой своего лица просила: тише, парень, тише! Не понимая, куда клонит старуха и с чего так ретиво в это дело лезет, он сбился с толку, промямлил:

— Чужое, оно, конечно... Свое да... завсегда у сердца. Хавронья радостно моргает так, парень, так.

— Слава богу, что понимаешь. Устинья недоверчиво взглянула на него. — Не ради блажи я, Корнюшка. Заводи свой дом. Чтобы каждый гвоздь в нем наш. Совсем другая жизнь в нем будет.

Позднее, когда он остался один, неслышно подошла Хавронья, зашептала:

— Ты Устюхе потакай покамест. Не то взбрыкнет не уломаешь.

— А тебе то что! — сорвал на ней злость Корнюха.

— Не лайся! Добра желаю. Душегубец ты, антихрист окаянный, но в хозяйстве старательный. И назад уж ничего не возвернешь. Так для чего нам с тобой собачиться?

— Слава богу, образумилась! — съязвил Корнюха.

— Боялась я, мужиков укокошил, хозяйство заграбастаешь, а мы с Устюхой по миру. Теперь удостоверилась, не мыслишь нас отпихнуть.

Родня Пискуна по-прежнему время от времени наезжала в гости и по-прежнему Устинья одаривала ее с неумемной щедростью. Хавронья каждый раз доносила:

— Были, ироды. Двух поросят увезли. Опять приезжали. Самовар отдала.

Она вздыхала, охала, оглядывалась по сторонам, шепотом спрашивала:

— Что будет-то?

А Корнюха только сопел от сдавленного раздражения. Попробовал внушить Устинье, что неладное это дело горлохватов одаривать.

— Может быть, — согласилась она. — Хочешь, в сельсовет сдадим?

Корнюха стиснул зубы, чтобы не выругаться. Праведница, тудыт твою так! Нет, с тобой тут каши не сварить. Надо ближе к старухе держаться.

— Ты, мать, — слово «мать» туго сошло с языка, — подскажи. Пока не все рассовала твоя доченька, надо с ней что-то делать.

— Ничего с ней не сделаешь. Отцовского характеру девка. А какой у ней отец был, я сказывала. Надо так... Что продать, что припрятать, что займы отдать. И дом другой то ли купить, то ли построить. Будем в согласье с тобой, она ничего не узнает.

Пораскинув умом, Корнюха решил: верно подсказывает старая. Только так и можно уберечь кое-что из дарового добра. Но чтобы никакой промашки не вышло, надо немедля в сельсовете заявить, что они с Устиньей муж и жена, что он теперь тут голова всему. А то мало ли какая незадача...

В сельсовете, прежде чем выправить бумаги, Стишка Белозеров пожелал сказать Корнюхе с глазу на глаз пару слов. Устинья вышла (заборкой из кулацкого дома председатель выгородил в сельсовете угол для себя, у дверей посадил секретаря Совета Ерему Кузнецова порядок, не хуже, чем у городского начальства), Белозеров, притворив дверь кабинета, неприязненным взглядом впился в Корнюху.

— Ты для чего Пискунов прихлопнул?

— А то не знаешь?

— Слух ходит, порешил Пискунов из корысти: бабой завладеть, хозяйство захватить правда? — Взглядом своим Стишка так и влазил в середку, так и целился выведать все, что от других скрыто.

— Баба, что ли, слухи ловишь?! — вскинулся Корнюха.

— А если от них урон нашему делу? — Стишка сел за стол, наклонился над бумагами, на макушке гребнем- топорщился русский вихор. — Я не против живи с ней. Но сразу же вступай в колхоз, сдай кулацкое барахло.

— А не вступлю?

— Тогда на тебя, как на кулака, Советская власть даванет всей революционной силой.

Ноздри широкого носа Корнюхи раздулись, побелели.

— На меня даванет? Это видишь? — показал квадратный, тяжелый, как кувалда, кулак. — Позабыл, кто власть твою завоевывал?

— Кабы забыл, разговор иной был... А теперь зови свою бабу. И помни о сказанном.

Устинья ждала на крыльце. Глянув на его пасмурное лицо, встревоженно спросила:

— Что он тебе говорил?

— В помощники звал. Едва отбрыкался.

Дома Хавронья заставила их встать перед божницей и попросить у господина прощения за вину перед ним, попросить благословения на совместное житье. Она всплакнула, припадая к полу головой в тяжелой кичке. Устинья широко, размашисто крестилась, шевелила полными губами и отрешенным взглядом смотрела на тусклую позолоту икон. Корнюха не молился. В голове занозой сидело предостережение Задурья.

Потом Хавронья выметала на стол стряпню, разлила в стаканы прозрачную, с сизым отливом самогонку. Все получилось пристойно, по семейному, одного лишь не хватало за столом радости.

Вечером впервые поспорил с Устиньей. Сидел на завалинке у зимовья. Середь двора мерцал огонь дымокура, под сараем сонно посапывали коровы, телки. Корнюха молча курил. Вдруг она спросила:

— О чем ты все время думаешь?

— Будто не о чем?

— Да ну? — за насмешливым восклицанием угадывалась возрастающая обида на него.

И уловив эту обиду, он сердито ответил:

— Кто же за меня думать будет? Тебе бы тоже не мешало мозгами пошевелить. Песенками сыта не будешь.

— Чудной ты, Корнюшка, вздохнула она, чудной. С одной стороны поглядеть орел, с другой петух, да, и то порядком ощищенный.

— Я хоть с одной стороны орел. А ты со всех сторон кукушка. Корнюха поднялся. — Надо сходить к Максюхе. Ты пойдешь со мной?

— Нет.

Устинья, видать, совсем разобиделась. А, пусть. Маленько попыхтит да перестанет. Не до ее обид. Надо проведать у брата, можно ли увернуться от колхоза. Зачем он ему теперь, колхоз?

Во дворе родительского дома тоже горел огонь. На бревнах возле огня сидели Максим и Татьяна, готовили ужин. Пахло пригорелой кашей и топленным молоком запахи дальнего детства. Татьяна, увидев деверя, поспешно одернула сарафан, скрывая круглый выпуклый живот. Максим помешивал палкой угли. Отсветы огня ложились на лицо, резко выделяя скулы, туго обтянутые загорелой кожей.

Здесь же, у огня, Татьяна наладила ужин. Поковырявшись в каше, Корнюха положил ложку:

— Что-то уж больно постные колхозные харчи, Максюха?

— Какие ни есть свои, поддел его брат. И приправа к харчам добрая надежда. Заживем еще. Слышал, скоро у нас тракторы будут. Ты-то как, заявление не написал?

— Торопиться мне некуда.

— Конечно, к чему торопиться. Но и ждать нечего. Единоличнику пришел конец.

— А почему конец? Как хочу, так живу. Ты колхозник, я единоличник мешаю тебе? Не мешаю. Зачем же всякие принуждения? Почему единоличник вроде пасынка у власти?

— Он пасынок и есть. Колхозник старается для всех, единоличник только для себя. Тут корень всего. Максим облизал ложку, выпил стакан молока, развернул кисет. — Ты, братка, не вилай туда-сюда. К хорошему это не приведет.

Корнюха и вовсе пал духом. Вот она, жизнь, язви ее в душу. Поманит пальцем, рот разинул, а тебе раз по зубам. Кабы не колхоз... Устинью с помощью тещи недолго объегорить. Не успеет оглянуться, как пискуновское наследство в надежном месте будет. А вот колхоз...

Задурей, он охулки, на руку не положит, мигом поверстает с кулаками, и от него ничего не спрячешь выпотрошит. Но еще посмотрим. Если провернуть дело быстро да с умом, и Задурей, как Устинья, с носом останется.

Однако непросто было незаметно распродать, запрятать немалый капитал Пискуна. Нужно все делать тайком не только от соседей, но и от Устиньи. Правда, ее удалось на целый месяц спровадить в Бичуру к больной одинокой родственнице отца. Корнюхе и теще была полная воля. Но и Стишка Белозеров не дремал. Узнал он что-то или так догадался, но однажды к Корнюхе явился секретарь Совета Ерема Кузнецов с папкой под мышкой, ржавая борода подстрижена, волосы гладко причесаны.

Имею поручение сделать опись имущества.

После кулацкого восстания сбылась давнишняя мечта Еремы, снова он сел в сельсовет, правда, всего лишь секретарем, но и этим был донельзя доволен.

События памятной Корнюхе ночи Ерема ловко обернул в свою пользу. Оказывается, это по заданию Лазаря Изотыча он влез в кулацкий сговор, вывел злоумышленников на чистую воду, раненый, истекая кровью, защищал сельсовет рядом с председателем и даже после гибели Лазаря отстреливался и лишь когда кончились патроны, спрятался под полом. За геройское поведение Ерему наградили карманными часами; не меньше, чем наградой, гордился он своей раной, с полгода носил руку на перевязи, хотя всем было известно, что рана давно зажила.

Попервости Корнюха хотел уличить его в брехне, потом плюнул пусть тешится, если любо.

В переднем углу за столом Ерема раскрыл папку, полную бумаг. Хавронья при виде бумаг вся сомлела от страха, а когда Ерема еще и очки на нос насадил, она бегом выскользнула за двери от греха подальше.

— А как насчет чайку и стаканчика первача? — Корнюха, казалось, готов был сломя голову бежать куда угодно, чтобы выполнить даже малейшее желание гостя.

— При исполнении служебных обязанностей не потребляем, — с вежливой неприступностью отклонил угощение Ерема. — Сколько у вас баранух?

— Восемнадцать, Еремей Саввич, — Корнюха сел возле него на краешек лавки.

— Чего? — блеснул очками Ерема. — Чего мелешь? Двадцать шесть баранов. Меня не проведешь, я все знаю. Не советую родимую нашу власть обманывать.

— Умные слова говоришь, Еремей Саввич. Нельзя обманывать... А есть, — Корнюха понизил голос, которые думают: можно. Знаю мужичишку ох, и жук!

— Доложи Стефану Иванычу. Он из того жука моментом козявку сделает, — Ерема сдержанно хохотнул, и тут же его лицо постrojало. — Я тоже власть. Могу взыскать не хуже Стефана Иваныча. Кто на примете? Чем занимается?

— Обманством занимается... Одно время с кулаками путался, нож наострил на нашу родимую власть. Потом выкрутился, дескать, особое задание ему было дано. Вот подлец! Теперь награды получает, на хорошей должности сидит... А ты, Саввич, что так потеешь? Если жарко у нас, окно распахну, — откровенно зубоскалил Корнюха.

— Мне ведь что... Я ведь ничего...

— Раз ничего пиши. Баран, значит, пятнадцать.

— Ты же говорил восемнадцать.

— Хватился! Пока мы с тобой тары-бары разводили, три штуки сдохло. Ты пиши, что тебе говорят. И Задурею своему втолкуй: одрябло хозяйство. Корнюха, мол, недавно в доме, а баба его всем известно, будто курица, от себя гребет. Пискуновская родня все растащила.

— Самораскулачивание припишут, Корней Назарыч! — очки съехали на кончик носа, глаза Еремы, в рыжих ресницах, жалко помаргивали, в них была растерянность и тоска.

— Ничего! — сжалился над ним Корнюха. — Все будет как надо. Пискун, ты знаешь, незадолго... перед тем самым... молотилку купил. Скажи Стихе добровольно сдаю. Всю сохранныю, с запасными частями. И все другое колхозу достанется. Когда запишусь. А про жучка я только тебе сказал. Будь умницей, и никто ничего не узнает.

Проводив Ерему, Корнюха позвал тещу, приказал:

— Ну, старая, запрягай Серка и жми на все лопатки к своей родне. Все, что в опись не попало, надо распродать, в долг отдать, променять.

Побаивался Корнюха: сболтнет Ерема или не поверит ему Белозеров шиш достанется. Но все вышло ладно. Молотилку со двора

увезли. Сам председатель колхоза Павел Рымарев приезжал, а с ним Тараска Акинфеев, раздобревший до того, что глаза заплыли, остались один щелочки ну прямо кулак, какими их рисуют в газетах. Оба, председатель и Тараска, в колхоз его звали. Рымарев ловко, умно говорил про общую жизнь, но уважения к его словам у Корнюхи не было. В душе он посмеивался над ним: захомутала Верка Евлашиха, открыто бабой его зовется и, слух есть, в руках крепко держит.

Но и без гладкой речи Павла Рымарева Корнюха понимал, что колхоза не минуешь. Теперь, когда чуть ли не половина капиталов Пискуна у пего в кармане, можно и в колхоз. В случае чего подпора всегда есть. Оно и не без выгоды можно будет записаться. Устинья в доме Пискуна жить не желает. Продать его власть не даст. А если сдать в колхоз и получить взамен другой, поменьше, похуже, но чтобы и для Устиньи и для него он был своим, собственным?

— В колхоз я пойду, — сказал он. — Но до того с жительством определиться надо. А может, вы мне сменяете дом?

— Вас из этого никто не гонит, — Рымарев окинул взглядом кружевную резьбу наличников. — Славное строеньеце.

— Такой дом и менять! — удивился Тараска Акинфеев. — Ошалел?

Корнюха не сдержал вздоха. Разве попустился бы он этим домом, но Устинья!.. Не уговоришь, не уломаешь бабу упрямую, вредную.

— Нет, — вздохнул еще раз Корнюха. — Такая казарма на троих, куда она?

Без особой волокиты дом ему обменяли. Дали усадьбу сосланного после восстания Наума Ласточкина. Тоже ничего усадьба, не новая, но справная вполне. И все же до смерти было жаль

сезжать с пискуновского двора. С чувством невосполнимой утраты закрыл Корнюха за собой тесовые, железом окованные ворота. Одно было утешением: немногое оставил за этими воротами. Сумел развернуться. Устюха ни о чем не догадалась, глазастый Стишка Задурей ничего не углядел во как надо дела делать. Теперь жить можно, а если с умом хорошо жить можно.

С начала страды Максим почти безвыездно жил на полевом стане, лишь однажды отлучился на два дня. Это когда сын родился.

Весть о рождении сына привезла Настя, с недавних пор стряпуха полевого стана. Каждое утро она приезжала из Тайшихи варить колхозникам обед. Когда ее телега подкатывала к току работа останавливалась. Настя раздавал мешочки с домашними харчами, рассказывала о деревенских новостях. В этот раз она еще не остановив лошадь, окликнула Максима. Прихрамывая он подошел к телеге. Настя улыбалась.

— Ну, кого ждал?

— Сына, конечно.

— А может быть, дочку?

— Не тyani!

— Сын у тебя, Максюха, сын. Татьяна, слава богу, ничего. За ней тетка Степанида приглядывает.

У телеги собрались колхозники. Лучка Богомазов подмигнул Максиму.

— И у тебя сын! Молодцы мы с тобой, а? — Лучкина кудрявая бородка была забита мякиной, иглами ости, лицо в пыли, серое, только зубы блестят свежо и весело, — Ведро водки с тебя!

А Паранька Носкова, баба язвкатая, мастерица на всякие шуточки, с серьезным видом спросила:

— Как сумел с первого раза парня? Поучи моего охламона, а то одни девки получают.

Максим молча улыбался.

Домой он поехал верхом, напрямую, по жесткому, шелестящему под копытами коня жнивью. За полями теснились сопки, округлые и присадистые, как копны сена. На их склонах белели метлы дэрисуна, в ложбинах осыпали листья кусты волчьих ягод, а над сопками полетному горело солнце, высветляя каждую травинку, сверкающим шитьем паутины простегивая бурьян на меже. В орогожевшей траве изредка голубели цветы подснежника, неожиданные, вызывающе яркие

среди гаснущих красок осени. Не часто зацветает подснежник в эту пору...

В душе Максима росла радость. Он подгонял коня, спешил на первую встречу с сыном.

Дома он пробыл всего два дня. Надо было возвращаться на полевой стан. В сутолоке будничной, плохо налаженной работы он ни на минуту не забывал о Татьянке и сыне. Жизнь у Максима стала тревожно-радостной; в эти дни он с особой остротой думал обо всем, что происходило вокруг, и многое понимал, кажется, лучше, чем другие; изо всех сил старался, чтобы всем работалось легко и весело.

А дела на току шли неважно. Не хватало то одного, то другого, молотилка Пискуна, препорученная Тараске Акинфееву, часто простаивала из-за поломок, из-за того, что не подвезли снопы, что не пригнали вовремя лошадей с выпаса. И все это мало-помалу становилось привычным, казалось, так и должно быть, раз колхоз. Павел Рымарев с ног сбивался, пытаясь уладить десятки неулаженных дел, а мужики, бабы посмеивались над ним:

— Все силенки растрясет, что Верке останется?

— Он жилистый... Потом его работа ногами да языком. Не сгорбатишься.

Иногда на полевом стане появлялся председатель сельсовета. Налетит с криком, руганью, на шумит, и, смотришь, веселее зашевелились люди. Даже Тараска Акинфеев, ленивый до невозможности, и тот при Белозерове переставал ходить вразвалочку, а все трусцой, трусцой. Не одной руганью расшевеливал людей Стефан Иванович. Была у него и острая сметка крестьянина, и ловкость, и удаль, а уж напористости, решительности больше, чем нужно. За час-другой он успевал отменить распоряжения Рымарева и отдать свои, рассказать о текущем политическом моменте и закидать па скирду воз снопов, снять пробу с обеда, приготовленного Настей, и установить веялку.

Шумная разворотливость Стефана Белозерова нравилась Максиму много больше, чем обходительность вежливого Павла Рымарева. Но, приглядываясь к ним, он понял, что оба разными способами коверкают извечный порядок хлебоуборки. Раньше крестьянин, сжав хлеб, первым делом свезет снопы на гумно, сложит в скирду, потом берется за обмолот, потом когда зерно прибрано, распоряжается урожаем. А тут...

Полдня молотилка стояла из-за поломки. Пустили. Ожил ток, наполнился шумом. Глотая снопы, молотилка напряженно и судорожно вздрагивала, над ней поднималось облако пыли, мельтешила мякина. Максим серпом рассекал обвязку снопов, кидал их на зубья барабана. Первые несколько минут он работал неловко, торопился, и машина то перегруженно охала, то вхолостую лязгала железом. Приноровившись, он начал ровно подавать в зубастую пасть молотилки тугие снопы. И только наладилось дело, машина замолчала. Над током повисла тишина. Максим разогнулся. Что такое? Все то же: не подвезли с поля снопы. Где подводы? Их отправили с зерном на хлебоприемный пункт. Возвратятся к вечеру. С утра привезут несколько суслонов и снова на хлебоприемный пункт.

Максим разыскал Рымарева. Председатель куда-то спешил. Он всегда почему-то спешил, стоило Максиму затеять с ним разговор.

— Так у нас дело не пойдет, председатель! — без околичностей сказал ему Максим.

— А что сделаешь? — развел руками Рымарев.

— Сними подводы с хлебосдачи, вывези все суслоны.

— Это можно бы... Но первое дело хлеб государству. Это самая главная задача, без выражения, как давно затверженное, проговорил Рымарев.

— Пусть так. Но разве государство останется в убытке, если тот же самый хлеб мы сдадим на несколько дней позднее? Нет. А вот если не заскирдует снопы, да не дай бог ненастье... Без хлеба останемся, Павел Александрович. Ты что, не понимаешь?

— Понимать я, возможно, и понимаю. Однако было строгое указание...

Рымареву, как видно, весь этот разговор не доставлял никакого удовольствия, он озабоченно оглядывался, то и дело вытягивал за цепочку карманные часы, подкручивал головку заводки.

— Чье указание? — Максим и не думал отступать.

— Белозерова.

— Поедем к нему.

— Он в районе, на семинаре. Вернется, тогда и поговорим.

— Когда вернется?

— Точно не знаю. Для через три, очевидно.

Максим огляделся. Пыль над молотилкой уже осела. Колхозники лежали на соломе, слушали байки Параньки Носковой, смеялись. Солнце высоко висело над сопками, на небе ни облачка. Такие дни и пропадают зря.

— А разве только Белозеров всему голова? — спросил Максим. — Мы с тобой партийные люди. Так? А еще тут Абросим Кравцов. Вот и решим.

— Я не знаю, правильно ли будет. Лучше подождать.

— Некогда нам ждать, Павел Александрович! Пойдем к Абросиму.

Абросим Кравцов без шапки, сверкая на солнце лысиной, сидел на стропилах сарая, ладил крышу. Пока Максим объяснял ему, Рымарев молча разгребал носком рыжего от пыли сапога кучу мякины.

— Так что тебе нужно, председатель? — Абросим кряхтя спустился на землю.

— Мне ничего. Максим Назарович выдумывает.

— Это-то и плохо. Тебе по должности твоей и самому кое-что выдумывать не мешает, грубовато заметил Абросим. Максим дело толкует.

— Как вы не поймете, товарищи, что не могу я, прав не имею! А если мы тебе бумагу дадим с нашим решением? А? — спросил Абросим.

— Вынужден буду подчиниться большинству...

— Пиши, Максим, наше решение: все подводы направить на скирдовку.

Написав решение, Максим протянул его Рымареву. Тот аккуратно свернул листок, положил в гимнастерку, покусывая короткие усики, пошел к молотилке.

Захомутил его Стишка, с сожалением сказал Максим, глядя ему в спину. Шагу ступить не дает.

Так-то оно так. Но того не захомотаешь, кто сам шею не подставит.

Работа на току наладилась. Молотилка больше не простаивала, но тут новая беда. Зерно было некуда девать. Его ссыпали прямо на землю. В ворохах оно начало гореть. Пришлось вечерами при свете костров очищать зерно на веялках, ворошить. Люди уставали, недосыпали, но никто не роптал, не жаловался: в страду завсегда работали за двоих. На то она и страда. На току безотлучно находился и Рымарев. Он, видимо,

боялся неизбежного разноса от Белозерова и не хотел встретиться с ним один на один.

Председатель сельсовета примчался на полевой стан поздно вечером. На взмыленном коне он вылетел из темноты в круг света от огня, спрыгнул с седла и сиплым голосом позвал:

— Рымарев! — С запястья правой руки змеей свисала витая плеть, круглая барашковая шапка воинственно сбилась на затылок.

Рымарев остановился перед ним, невольно опуская руки по швам, тихим голосом поздоровался. Не отвечая на приветствие, Белозеров бешеным шепотом спросил:

— Сколько центнеров зерна сдал?

— Когда? — тянул время Рымарев.

— В эти дни, черт возьми! — взорвался Белозеров. — Какого хрена мямлишь?

Торопливо достав из кармана бумажку, написанную Максимом, Рымарев протянул ее Стефану Ивановичу.

Максим стоял в стороне, молча ждал. Белозеров повернулся к огню, прочел бумажку, резко вскинул голову, шагнул к Максиму и, задыхаясь от ярости, прохрипел:

— Саботажник! — сунул бумажку ему под нос. — Что это такое?!

— Укороть руки. Чего махаешь? — сдержанно проговорил Максим, усмехнулся.

Его усмешка и вовсе разъярила Белозерова. Бледный, со сжатыми кулаками он двинулся на Максима, но круто повернулся, зашагал к зимовью, бросив на ходу:

— Пошли!

В зимовье полевого стана мирно коптила керосиновая лампа. Возле нее чинил уздечку конюх дед Аким. Белозеров бесцеремонно выставил его на улицу, закрыл дверь на крючок и после этого дал волю своему гневу.

— Вы... губы его прыгали, кривились. В господа бога, в душу мать!..

— Стишка, окна полопаются! — остановил его Максим.

— Он еще шуточки шутит! Белозеров достал из кармана бумагу, развернул и бросил на стол два листа. Читай!

На листах было напечатано:

Из постановления областной контрольной комиссии ВКП(б). Об оппортунистическом извращении партлинии в Мухоршибирской парторганизации.

1. Распустить бюро Мухоршибирского райкома ВКП(б) и райпарттройки.

2. Снять с работы секретаря Мухоршибирского райкома ВКП(б) Павлова, председателя РИКа Мартынова, уполномоченного ОГПУ Седенко, объявив строгий выговор каждому за правооппортунистическое руководство парторганизацией, что выразилось: в невооружении партийного актива села боевыми задачами, в оппортунистическом благодушии, в надежде на самотек и т. д.

Председателю райпарттройки тов. Покацкому и члену тройки тов. Мурзину объявить строгий выговор каждому за примиренческое отношение к правым оппортунистам.

3. Снять с работы, исключить из рядов ВКП(б) члена президиума РИКа, заведующего районным земельным отделом Рукарева за проявления правого оппортунизма на практике, что выразилось в снятии твердого задания с кулаков, за проявление нерешительности и нетвердости в проведении хлебозаготовительной кампании.

Последний пункт был старательно подчеркнут красным карандашом, а на полях красовалась жирная птичка. Максим отодвинул бумаги к Рымареву, поднял голову. Белозеров смотрел на него злыми глазами.

— Дошло до тебя? Решение вынесли... — Белозеров скривился, как от зубной боли. — Вы же стали на одну стезжку с теми, кого выперли из рядов. Подсекли всю организаторскую работу, сорвали хлебосдачу.

— Я решения не подписывал, Рымарев оторвался от выписки из постановления. Я был против такого решения. Думаю, Максим Назарович подтвердит.

— И так знаю, — отмахнулся Белозеров. — Это все твоя работа, Максим. Твоя!

— Давай-ка брось орать на полчаса, — попросил его Максим. — От твоих криков только звон в ушах, больше ничего.

— Обожди, еще не такой звон услышишь! — пригрозил Белозеров.

— Не припугивай. Я тебе вот что скажу. Какие правые, какие левые, мне не шибко понятно. А вот другое хорошо известно: хозяйство так не ведут. Все шиворот-навыворот, все цап-царап, где хоп, где хап да кто так делает! Намолотил два воза зерна и гонишь сдавать. Вот, дескать, какие мы удалые... Ты Дуньку-дурочку знаешь? Мать попросила ее корову подоить. Садится под буренку со стаканом. Чик-чирик полный. В дом бежит. Вылила в ведро, опять под буренку. Сама забегалась, буренку замучила. Зато довольна: мать всего одно ведро надаивает, а она стаканов без счету.

Белозеров, слушая Максима, то садился на скамейку, то вскакивал и кружил по зимовью, за ним, извиваясь, тащился хвост плети.

— Не от тебя бы слышать такие речи, — с беспредельной скорбью в голосе проговорил он. — Ты сейчас показываешь полную политическую малограмотность, хуже того мелкое буржуазное сознание. Как не можешь понять, что кулак супротивничает, не сдает хлеб. Уважительные отговорки у него. Еще не обмолотил. Рабочих рук не хватает. Лошадей мало. И слезу по горошине пускает. Как его прижать? Колхозом. Идут с зерном колхозные обозы? Идут. Откуда у колхозников лишние рабочие руки, лошади? Почему они со всем управляются, а ты, сукин сын, мироед деревенский, не можешь? Вот какая политика. А ты мне про Дуньку-дурочку байки сказываешь! — Белозеров фыркнул, презрительно выпятил губы.

За окном, тусклым от пыли, горели огни, и на ворохах зерна ломались длинные тени; ровно шумели веялки, в их шум вплеталась заунывная бабья песня о злой свекрови, о лиходейке-судьбе.

— Черт знает что... — Максим поставил на столе кулак на кулак, оперся о них подбородком. — Может, ты и прав. Не хочу спорить. Но ты мне без шума-гама проясни, какая теперь у нас самая главная задача: кулака давить или колхозную жизнь налаживать так, чтобы всем на зависть?

— И одно, и другое! — бросил Белозеров.

— Здесь, в постановлении, все определено четко, — Рымарев кашлянул, разгладил бумаги. — Очень ясная линия.

— Ясная ли, Павел Александрович? Районному начальству дали по шапке, видать, за дело. Тут мне все понятно. А мы-то чего егозим? Со своими домашними кулаками мы еще в восстание рассчитались. Кому теперь пыль в глаза пускаем? Мужикам, которые не в колхозе, что ли?

Да что вы, братцы! Выставляясь таким манером, мужика не обманешь. Тогда для чего гнать показательные обозы, когда хлеб прорастает в суслонах, когда работа идет через пень-колоду?

— И после этого ты числишь себя в рядах партии?! — снова взвился Белозеров. — Да с такими рассуждениями... Вот ты про колхоз завел. Что наш колхоз, если кругом полно единоличников, крепких середняков. Дай-ка им вдохнуть во всю грудь завтра кулачьем станут, а послезавтра от нашего колхоза мокрое место останется. Кулаков нету надо же завернуть такую загогулину! Вытряхни из головы подобные рассуждения, не то, попомнишь мои слова, худо будет.

— Да, время сейчас такое, что... — Рымарев покрутил головой. — А вы мне, Стефан Иванович, дайте определенное указание. Должен ли я в будущем прислушиваться к голосу актива или действовать согласно вашим указаниям?

— У тебя своя голова для чего? — сердито сказал Белозеров. — Соображай. А теперь зови народ, проведем политическую беседу.

Так и закончился этот разговор ничем, по разумению Максима. И все пошло по-старому. Обидно было. Дело вроде бы общее, а заворачивает им один Белозеров. Шибко умным стал. Ну и черт с тобой, делай, как знаешь.

Но, обижаясь на Белозерова и Рымарева, Максим не мог отделаться от вопроса, который все чаще задавал самому себе: что, если они правы, если так и нужно для того самого общего дела?

Работа на току снова шла еле-еле. Но Максим уже не пытался учить Рымарева или что-то делать самостоятельно. При первой же возможности старался съездить домой. Нянчась с сыном, помогая Татьянке по хозяйству, он нередко думал, что, вероятно, самое правильное жить просто: честно выполнять работу, не взваливая на себя больше других, и вырастить из парнишки доброго мужика, чтобы все понимал, всему был научен. Но как научишь сына понимать жизнь, если сам ее все еще понять не можешь?

Постановление областной контрольной комиссии прозвучало для Павла Рымарева грозным предостережением. По всему видать, партия не собирается гладить по головке тех, кто ошибается или недостаточно хорошо выполняет порученную работу. Надо быть осмотрительным, не делать глупостей.

В свое время он поступил правильно, оставив работу в РИКе. Не сделай этого, его имя, надо думать, тоже попало бы в постановление. Правда, ушел он из РИКа не потому, что чувствовал приближение грозы. Слишком уж изматывала работа. Ты всегда между двух огней. Начальство требует решительности и беспощадности в борьбе с кулачеством. Если не очень тверд, с тебя на каждом совещании будут драть по три шкуры, а то и с позором вышибут из партии, с другой стороны, если чересчур стараешься в утверждении нового того и гляди получишь пулю из обреза. Быть подстреленным из-за угла или исключенным из партии одинаково плохо.

Впрочем, не только это заставляло его рваться на самостоятельную работу. Все было много сложнее.

Мальчишкой отец привез его в город и отдал в услужение знакомому купцу. Первое время жилось трудно. Купец, большебородый старовер, много говорить не любил, чуть что не так молча давал подзатыльник или дергал за вихор. Ночами он плакал от страха перед купцом, от тоски по дому. И чем сильнее горевал и тосковал, тем чаще перепадали от купца подзатыльники. Это научило его скрывать свои чувства, делать лицо приветливым даже тогда, когда на душе скребли кошки, когда хотелось вцепиться обеими руками в пышную купеческую бороду.

Постепенно он научился и другому. Стал не только точно и хорошо делать все, что приказал купец, но и старался заранее угадать его желание. Хозяин перестал драться, к праздникам дарил рубль или что-нибудь из одежки, заставил учиться грамоте и, когда он подрос, сделал приказчиком, своей правой рукой.

Служил ему Павел Рымарев безропотно и честно до тех пор, пока не почувствовал, что новая власть лишила купца прежней силы. Он

оставил своего хозяина, надеясь стать самостоятельным человеком.

Но он уже тогда понимал, что человек сам по себе, один, без поддержки не много значит, не многого добьется. И он стал работать на новую власть. Его старые знакомые, не говоря уж о хозяине, чуть ли не в глаза называли иудой, новые товарищи тоже не очень-то доверяли бывшему приказчику. Но он служил новой власти безупречно, делал все, что мог, чтобы стать необходимым для людей, переделывающих жизнь. И его начали ценить как способного, грамотного работника.

Был ли он доволен своим новым положением? Пожалуй, да. Но где-то внутри, в самой глубине души тихо накапливалось недовольство. Получалось, как ни крути, он одну службу сменил на другую. Суть не в том, лучше или хуже она старой. Суть в том, что и здесь он не хозяин сам по себе и здесь его поступки предопределяет чья-то воля.

Нельзя сказать, что это его недовольство было постоянным и неизменным. Иногда ему, напротив, казалось, что выполнять чье-то решение много лучше, чем решать за других и для других. И все-таки стремление к самостоятельности было сильнее. Оно и заставило его поехать в Тайшиху.

А самостоятелен ли он сейчас? Вряд ли. Районное начальство никуда не девалось, а тут еще Белозеров. Молодой, малограмотный, горячий, своевольный, сладить с ним порой просто невозможно.

Все это Павел Рымарев понял в первые же дни. Поразмыв, решил, что будет лучше, если не станет делать попыток противоречить Белозерову, по крайней мере явно. Пока. А там будет видно.

Это было очень верное решение. Если бы не оно, Максим мог втянуть его в такое дело, из которого и не выбрался бы. Поддержи он тогда Максима и Абросима без всяких оговорок, Белозеров обвинил бы в сознательном срыве хлебосдачи, в пособничестве оппортунистам. Попробуй потом докажи, что это не так. Нет, во всех таких делах любая опрометчивость может дорого обойтись. Очень и очень осторожным надо быть, чтобы избежать ошибок, не подставить себя под удар.

Но осторожность и осмотрительность неизмеримо усложняют работу. Все время будь начеку, все время смотри, как бы не попасть впросак.

Домой Рымарев возвращался зачастую совершенно разбитым. Хорошо хоть, что теперь есть дом, есть семья, есть кому позаботиться и

о нем, и о маленьком Ваське. Верка Евлашиха стала для него и для сынишки самым близким человеком.

За годы вдовства Верке опостылела одинокая никчемная жизнь. Баба без семьи, по ее словам, как пень у большой дороги торчит никому не нужный, разве когда свинья бок почешет или кобель подвернет нужду справить, а все другие мимо, мимо. Рымарева с мальчишкой его малолетним она приняла так, будто всю жизнь ждала. Уж одно то, что есть о ком заботиться, радовало Верку. Васька, неуклюжий карапуз, льнул к ней больше, чем к родному отцу, а когда впервые назвал мамой, она даже всплакнула украдкой.

А Павлу Верка не знала, как и угодить. Вернется он с поля грязный, усталый, у нее уже баня истоплена, чистое белье приготовлено, ужин налажен. Читает он вечером газету или пишет, Верка на цыпочках ходит, не стукнет, не шебаркнет. И никогда не было, чтобы намекнула, что дровишек нет или на мельницу надо съездить, или забор подправить мало ли мужичьей работы в крестьянском дворе! Все сама, ее здоровенные ручищи одинаково ловко держали и топор, и подойник. Соседки подсмеивались над Веркой:

— Для чего мужика в доме держишь?

— Вам-то что за дело? — отшибала насмешки Верка.

Злые языки при случае намекали ему на небезупречное прошлое Верки. Но это его мало трогало. Прошлое человека принадлежит только ему самому.

Дома он чувствовал себя таким, каким по-доброму человек должен чувствовать себя всюду самостоятельным, независимым, свободным от тягостной необходимости взвешивать каждое свое слово, выверять каждый поступок. За короткое время он настолько привык к неназойливой заботливости Верки, к ее наивному обожанию, что не мог уже и представить, как раньше обходился без всего этого.

Петров, новый секретарь райкома, видимо, крепко учел урок, преподанный предшествующему начальству, по всему было видно, что он не намерен миндальничать с кем бы то ни было. В Тайшиху зачастили уполномоченные. Они пересматривали списки обложенных твердым заданием, включая в них все новых и новых единоличников, вызывали мужиков в сельсовет и грозили отдать под суд всех, кто не рассчитается с государством в ближайшее время. Белозеров для

острастки описал имущество «твердозаданцев», запретил что-либо продавать или передавать другим без разрешения сельсовета.

Забегали, засуетились «твердозаданцы». Некоторые, кряхтя, поругиваясь, стали сдавать хлеб, но многие никак не хотели признать справедливым обложение и хлопотали, где только можно. Почти каждый день не тот, так другой являлись к Рымареву. В деревне считали, что Павел Александрович свой человек и у районного, и у городского начальства, просили заступиться или, на худой конец, умно, по-ученому составить жалобу.

Рымарев отбивался как мог. Ему и не хотелось грубо, решительно отталкивать от себя мужиков мало ли что может быть! но и заступаться за них он не имел никакого желания. Попробуй, разберись, с кем из них поступили действительно несправедливо, а кто просто так, на всякий случай посылает жалобу авось да что-то выгорит.

Верка видела, как он нервничает при каждом посещении «твердозаданцев», но до поры до времени помалкивала.

Особенно настойчив был Лифер Иванович Овчинников, пожилой, крепкий мужик, с большой, сроду не чесанной бородищей.

— Не могу я ничего сделать, — мягко, терпеливо убеждал его Рымарев.

— Но как считаешь, по закону это наваливать такую беду на человека? — допытывался Лифер Иванович.

— Ничего я не считаю. Мое дело колхоз. По всем другим вопросам обращайтесь к товарищу Белозерову.

— Это к Задурею-то? Да он разговаривать разучился, он же гавкает, как собака. Что с ним наговоришь? Вот покойник Лазарь Изотыч был человек душевный. И ты... культурность у тебя, обхождение. Пойми, дорогой товарищок, нет моих сил, чтобы столько сдать. Вот ей-богу! Дети же у меня, Павел Лексаныч.

Униженно горбатилась широкая спина Лифера Ивановича, из-под густых суровых бровей просяще смотрели прямо в душу Рымарева серые глаза. И эта униженная поза, и просьба в суровых глазах до того были не свойственны мужику, что Рымареву стало не по себе.

Из кути вышла Верка. За ней, переваливаясь с боку на бок, как утенок, ковылял, держась за подол сарафана, Вася.

— Ты что тут расхныкался? — спросила Верка Лифера Ивановича. — Ты что канючишь?

— Не лезь в мужской разговор.

— Я тебе покажу мужской разговор! Ты в чьем доме находишься? Ты чего тут клянчишь? А ну, заворачивай оглобли! Ишь какой! Когда колхоз собирали, ты где был? Небось не бегал, никого не просил, чтобы тебя записали. Все выгадывал. Ну и выгадал, и получай, и не лезь с жалобами. Если весь ум в бороду ушел горбом отдувайся.

— Да ты-то чего взъелась?

— Шагай, шагай! — Верка подтолкнула его к дверям. — Изведете мне мужика, паразиты несчастные. Ни днем, ни ночью от вас покою нет.

На пороге Лифер Иванович обернулся, сказал с горечью Рымареву:

— Молчишь? Эх ты!

Она проводила Лифера Ивановича на улицу и закрыла ворота на засов. Когда вернулась, он сказал:

— Не надо бы так.

— А что с ними чикаться? Я их всех отважу таскать сюда свои жалобы. Поддайся им, так свету белого невзвидишь. Без того у тебя ни отдыха, ни продыха.

На этом дело с Лифером Ивановичем не кончилось. Через несколько дней поздно вечером к Рымареву пришли Максим и его брат Игнат. Вместе их Рымарев почти не видел и сейчас поразился, как они не схожи друг с другом. Игнат здоровяк, неторопливый, не быстрый на слово, все больше молчит, сжимая в кулаке бороду. Эта борода делает его старше на добрый десяток лет. Максим худенький, узкоплечий, как сын ему.

Верка стала на стол налаживать, ко Максим остановил ее.

— Не надо. Мы ненадолго, и по делу. А дело, Павел Александрович, такое. Неладно, кажись, выходит у нас с обложением мужиков.

— В каком же смысле неладно? — настороженно спросил Рымарев, предчувствуя, что этот хрупкий молодой человек с синими, как у девушки, глазами опять что-то надумал, снова попытается возлечь в какую-нибудь историю.

— В том смысле, что мы, прямо говоря, кое-кого разоряем.

— Кого же?

— Да хотя бы Лифера Ивановича.

— Жаловался?

— Нет.

— Так откуда же ты взял?

— Братуха вот, Игнат, рассказывает.

— Тебе жаловался? — спросил Рымарев у Игната.

— Да нет. Кто я такой, чтобы жаловаться? Стороной узнал, что подвели под твердое задание. Игнат помолчал, словно ожидая, о чем еще спросит Рымарев, продолжал: — Неспособный он вынести такое твердое задание. Я мельником работаю. Кто что ест, мне хорошо известно. Лифер перед весной молот зерно, смешанное с брицей. Стало быть, от прошлогоднего урожая ничего не осталось.

— Ну это еще как сказать, — усомнился Рымарев. Игнат подумал, качнул головой.

— Нет, не станет мужик набивать брюхо брицей, если калачи имеются. Нынче Лифер посеял много, это верно. Но с землей ему утеснение было, вся пашня на взгорье. Хлеб там родится худо. На мельницу я ездил мимо Лиферовых полей. Не урожай горе. Колос от колоса не услышишь голоса. На это начальство не посмотрело. Много десятин засеяно, ну и гони хлеб без разговоров. Разве такое допускается Советской властью?

— Но при чем тут я?

— Посоветоваться надо, Павел Александрович, — сказал Максим. — Зазря человек страдает. Не везет этому мужику. Помню, еще при Лазаре Изотыче его да еще Викула Абрамыча и Прохора Семеныча прижимали. Отстоял Лазарь Изотыч. И нам надо как-то помочь мужику.

— Почему вы идете ко мне, а не к Белозерову? Этого я понять никак не могу!

— И к Белозерову пойдем, а как же... — Максим достал кисет с табаком, скрутил папироску. — Хотел я знать, что ты о таких делах думаешь.

— Послушайте, Максим Назарыч, мне совсем не до этого! — взмолился Рымарев. — И без вашего Лифера дел по горло.

— Он ночей не спит, — подтвердила Верка. — То пишет, то читает. Она купала в деревянном корыте Васю. Мальчик весело взвизгивал, смеялся, расплескивал воду.

— Твой, что ли? — спросил Игнат Рымарева.

— Мой.

— Справный парнишка. У Лифера самый малый твоему ровня будет.

— Ты мне скажи, по закону все это? — гнул свое Максим.

— Что это? — его настойчивость стала раздражать Рымарева.

— Да это вот, с Лифером.

— Вполне возможно, что и по закону. Не знаю.

— Вот видишь, не знаешь... И я не знаю, и Стиха не знает. Да и не может быть у нашей власти такого закона, чтобы бить без разбору. Максим прикурил, глубоко затянулся. — Законы наши должны в согласии с совестью быть, так ведь, Павел Александрович?

— Ясное дело. Наши законы самые справедливые в мире. Это всем известно, и никто, кроме врагов Советской власти, не сомневается в этом, — охотно пояснил Рымарев.

Ему показалось, что разговор уходит от неприятной темы. Но Максим с неожиданной ловкостью все обернул себе на пользу.

— Правильно, — сказал он. — Теперь смотри, что получается. С Лифером поступили несправедливо, значит, не по закону. А раз не по закону, защитить его надо.

— Еще раз повторяю: не до него мне! — резковато сказал Рымарев и, чтобы как-то сгладить резкость, добавил: — Честное слово, мне некогда.

— Да-а... — Максим улыбнулся с нескрытой насмешкой. — Есть побаска: «Эй, мужик, сосед горит, беги за водой!» «А мне некогда». «Эй, мужик, пожар к тебе перекинулся!» «Ратуйте, люди добрые!»

Игнат все время смотрел на Рымарева с мягким, прощающим укором, казалось, он видит, что происходит в душе Павла, понимает его тревоги, опасения и потому не очень винит за отказ вмешаться в это дело. А зачем ему, собственно говоря, отказываться? Зачем давать повод для обвинений в равнодушии или даже трусости? Все можно сделать иначе.

Рымарев поднялся.

— Пойдемте к Стефану Ивановичу.

— Опять до вторых петухов сидеть будете? — Верка положила мальчика на кровать, горой надвинулась на Максима. — Житья не даете человеку, лиходеи! Надо тебе, так и бегай, трепись хоть до упаду.

— Но-но, осторожней! — Максим озорно засмеялся. — Зашибешь ненароком.

— Зашибить и надо тебя, обормота.

— Нельзя этого делать, Вера Лаврентьевна, у меня жена молодая и сын маленький. Со смехом Максим проскользнул к дверям, — Твой Павел Александрович на доброе дело идет. Не сердись, а радуйся.

На улице было темно, тихо; тускло светились окна домов; низко висели крупные ядерные звезды; беззвучный ветер холодом гладил лицо. Рымарев шагал, засунув руки в карманы, братья шли впереди. Максим курил, прикрывая папироску ладонью. Ветер вырывал из-под ладони искры, кидал в темноту.

— Ты опять табачишком балуешься, — тихо упрекнул Максима Игнат.

— Грешно? — по голосу Рымарев догадался, что Максим улыбается.

— Душе не на пользу и здоровью во вред.

— С огоньком жить веселее.

— И без того не заскучаешь. Братья замолчали.

Рымарев обдумывал, как дать понять Белозерову, что к их хлопотам он не имеет никакого отношения. Не хватало еще, чтобы он попал в число ходатаев за твердозаданцев. В такое-то время!

В доме Белозерова было шумно. Мать Стефана Ивановича, пожилая сухопарая женщина, стояла середь избы, грозила сыну кулаком.

— Я тебе вот покажу, стервец! Раз стерпела, другой раз не позволю!

Рымарев и братья остановились у порога, не зная, проходить вперед или заворачивать обратно.

— Тише ты, мамаша, люди же пришли. Стишка сидел в переднем углу за столом. На нем была нижняя рубашка, распахнутая на груди; в руках он держал толстую тетрадь и карандаш.

— А что мне твои люди! — не унималась мать. — Небось такие же богохульники, осквернители святости.

— Такие же, мамаша, — весело согласился Белозеров. — Проходите, мужики, садитесь. — Она еще долго будет меня мурыжить. Одного мы с ней характеру.

— Не зубоскаль, охальник ты этакий. Добьешься, отсохнут руки-то твои поганые.

— Давай, чеши шибчее! — подбодрил ее сын и стал рассказывать: — Еще в прошлом году повыкидывал я из дому иконы. А недавно смотрю, она опять всех своих идолов приволокла и выставила на божницу. Я их в печку. А она лается.

— Да как у тебя язык поворачивается образы господние идолами называть! — Мать сдернула с крючка полушубок, набросила на плечи. — Уйду и не вернусь, пропади ты тут пропадом со своей комсомолкой.

— И на меня сердишься? — из кути вышла Феня, жена Стефана.

— Такая же, как он, безбожница. Люди добрые, да как же это можно: иконы жечь?

— Это ты, Стефан Иванович, зря, — осуждающе покачал головой Игнат. — Она старый человек, пусть себе молится.

— Еще один христосик выискался! — Стишка мгновенно вспыхнул, шлепнул тетрадь по столу. — Везде искореним иконы, ни одной в целости не оставим!

— Иконы искоренить долго ли. Ты попробуй дать людям такую веру, чтобы они их сами посбрасывали, — негромко проговорил Игнат.

— А-а, ты все старые песенки поешь! — пренебрежительно махнул рукой Белозеров. — Знаю я твое настроенье, знаю. Тебе-то и вовсе не след становиться на одну доску с моей темной мамашей. Она всю жизнь на коленях проползала перед этой божницей, все хорошую жизнь вымаливала. Была у тебя хорошая жизнь? Ела досыта, пила вдоволь? А все помоги, господи, помоги, господи! Он же, всем помогаючи, давно пуп надорвал.

— Ну, Стишка, не на этом, так на том свете ответишь за богохульные слова! — мать с силой хлопнула дверью. Ушла.

Все долго молчали. Феня оделась, пошла к двери.

— Пойду погляжу, к кому она направилась...

— Ну, иди. Да поговори с ней, чтобы не дурила. Стишка подошел к кадушке, зачерпнул ковш воды, напился, вытер ладонью губы. — Вот так и воюем. Давайте, мужики, что у вас, да я тоже пойду уговаривать старую что же она будет по чужим людям ходить, как бездомная.

— Товарищи пришли, собственно, ко мне, но поскольку вопрос, поднятый ими, во-первых, очень сложный, во-вторых, касается действий Советской власти, я решил, что будет лучше...

Белозеров не дал Рымареву договорить.

— Не разжевывай, сам пойму, кого что касается.

Пусть Максим Назарыч изложит.

Выслушав Максима, Белозеров с минуту смотрел в упор на него.

— Да ты что? Ты в полном ли уме?

— Я бы об этом спросил у тех, кто твердое задание выписывал, — огрызнулся Максим. — Ты забыл, что говорил покойный Лазарь Изотыч? Нельзя середняка отшатывать от Советской власти. Об этом же и в газетах пишут, и на собраниях говорят.

— А на деле...

— Вон что вспомнил! Ты лучше припомни, как мы ходили по дворам и уговаривали в колхоз записываться твоего середняка. Сколько их записалось? Знаю я эту публику. Ты охрипни от агитации, он и ногой не дрыгнет. Все будет выглядывать из подворотни как да что? Сто лет будет выглядывать. А мы сто лет ждать не можем. Нам надо полный социализм строить. Нам надо свести с лица земли единоличника. Вот что нам надо! Как твоего середняка с места стронуть? Да этим же самым налогом. На, погляди! Белозеров вытряхнул из тетради с десятков листков бумаги, исписанных буквами-кривулинами заявления с просьбой принять в колхоз.

Максим перебирал заявления, складывал их в стопку. Белозеров торжествующе и зло смотрел на него.

— А заявление Лифера есть? — спросил Игнат.

— Ваш Лифер совсем обратное заявление сделал. Наотрез отказался выполнять твердое задание. Так-то.

— И что же теперь с ним сделаете?

— Судить будем. Белозеров произнес это без раздумий и колебаний, так что всем стало понятно: это не угроза, а решенное дело.

Игнат ссутулил плечи, потупился. Максим, наоборот, вскинул голову и с тревожным недоверием уставился на Белозерова.

Чувствуя всю напряженность момента, не одобряя грубую прямолинейность Стефана Ивановича, Рымарев попытался сгладить острый угол.

— Нам незачем спорить. На суде разберутся и, если сочтут нужным, снимут твердое задание.

Но Белозеров сразу же отмел такое предположение.

— Не снимут! Ему приварят как миленькому.

— Ну, а если ни за что приварят? — спросил Максим.

— Есть за что, не прикидывайся Ванькой. Но даже если бы и не за что. Другим наука будет.

— Лихо! Укусила собака бей щенка!

— Из щенков тоже получаются кусучие собаки, Максим. Но тут другое. Нельзя нам отступаться. Ослабим подпруги Лиферу, другие пуще, чем он, взвоят, зачнут отбиваться от налога. И эти вот заявления тут же превратятся в бросовые бумажки. Может быть, навалили на Лифера чуть побольше, чем надо бы. Так что с того? Люди за Советскую власть без звука жизнь отдавали, а ему лишний пуд пшеницы жалко.

— Пострадать за Советскую власть и пострадать от Советской власти большая разница, Стишка. Этого ты, кажись, не улавливаешь.

Белозеров озадаченно взглянул на Максима, молча собрал со стола заявления, сунул их в тетрадь.

— Тебе, Максим, и тебе, Игнат Назарыч, не ко мне надо было идти. Идите к Лиферу и вдолбите в его косматую голову: без расчета перечит власти. Пусть ему нынче тяжело будет, не беда, другие всю жизнь так-то мучились, но зато придет в колхоз и все ему возвернется в двойном, тройном числе.

С улицы пришла Феня. Не раздеваясь, присела на лавку.

— Где она? — торопливо спросил Белозеров.

— У своей сестреницы. Говорит, не вернусь домой... Стиша, а не оставить ли ей какой образок в уголке?

— Я сам поговорю с ней. Братья и Рымарев встали.

— Зайдите к Лиферу, Назарычи, — Стишка торопливо застегнул рубаху, надел суконный пиджак. — Ты, Павел Александрович, чуть погоди.

Когда за братьями закрылась дверь, Белозеров, натягивая потертую тужурку, стоя к Рымареву спиной, спросил:

— Не ты подучил Максима?

— Ничего подобного! С чего вы взяли?

— Да нет, ты таким словам не научишь, знаю. А может, верно, что Лифер пострадает от Советской власти просто так, ни за что?

Павел Александрович вспомнил разговор с Лифером, его униженно сгорбленную спину, его просящие глаза и подумал: мужик, скорее всего, говорил правду. Но не мог Рымарев сказать об этом Белозерову, особенно сейчас, когда тот, кажется, подозревает его в том,

что он вроде бы подучивает Максима; скажи, что думаешь, и будешь накрепко связан с заступничеством пасынков государства, а такое заступничество в настоящее время рассматривается как отступничество от партийной линии.

— Вполне возможно, — вслух сказал он, — что Лифер мужик не так уж плохой, но как ты правильно отметил, общие интересы выше любых личных.

— Я не забыл, что говорил. Ты мне скажи, что сам думаешь.

— Лично я думаю так же. То есть не совсем так же. Есть некоторые несовпадения, но они настолько несущественны в настоящее время, что останавливаться на них было бы просто неразумно.

— Смутно говоришь, Павел Александрович, виляешь что-то. Возвращаясь домой, Рымарев спотыкался в темноте, ругал

про себя дурацкую привычку семейских наглухо закрывать ставнями окна домов по всей улице ни лучика света. Так недолго и шею сломать. Вообще тут шею сломать довольно просто. Белозерова поколебали слова Максима. Не очень-то вяжется с его характером. Уж не стоит ли за его колебаниями что-то более существенное, например, новые установки руководства или еще что-то?

Дома, в тепле избы, опасения и подозрения исчезли сами собой, а позднее, на работе, он и вовсе позабыл о ночном разговоре. Колхозники заканчивали обмолот хлеба, и он все время жил на полевом стане. О Лифере ему напомнила Настя. Белозеров просил ее передать, чтобы он немедленно выехал домой. В три часа дня в сельсовете состоится суд над Лифером.

Не хотелось Рымареву ехать на этот суд. Под всякими предлогами откладывал поездку до вечера. Подъехал к сельсовету в потемках. На крыльце толпился народ, сельсовет был битком набит. Рымарев стал протискиваться к двери, но на него зашикали. Остановился на пороге, прижатый к косяку. Все в сельсовете стояли, Рымарев не видел ни судей, ни подсудимого, их заслоняли затылки мужиков. Приглушенный говор, шепотки, шиканье все вдруг стихло, и в зыбкой тишине медленно, с внушающей страх торжественностью зазвучал четкий голос:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики народный суд Мухоршибирского района Бурят-Монгольской АССР в составе председательствующего судьи

Филиппова Якова и двух народных заседателей, Гомзякова Спиридона и Антонова Ивана, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Овчинникова Лифера Ивановича по третьей части шестьдесят первой статьи Уголовного кодекса, ознакомившись с материалом дела и заслушав показания обвинителей и свидетелей, находит:

1. Установленным, что такая важная хозяйственно-политическая кампания, как заготовка хлеба, в селе Тайшиха сорвана. Единоличный сектор выполнил план хлебосдачи всего на сорок восемь процентов, что объясняется преднамеренным злостным сопротивлением кулачества, разлагающим влиянием отдельных граждан, взявших на себя позорную роль застрельщиков сопротивления действиям сельсовета.

2. Доказанным, что Овчинников Лифер Иванович, получив твердое задание сдать к пятнадцатому сентября шестьдесят центнеров зерна, не сдал в срок ни пуда. Получив предупреждение от сельского Совета, наотрез отказался сдавать хлеб, мотивируя это тем, что у него нет хлебных излишков. Это не может соответствовать истине уже по одному тому, что в хозяйстве Овчинникова три лошади, в текущем году он засеял десять с половиной гектаров пашни.

Руководствуясь частью третьей статьи шестьдесят первой Уголовного кодекса, суд приговорил:

Овчинникова Лифера Ивановича, сорока семи лет, индивидуально обложенного сельхозналогом, подвергнуть лишению свободы сроком на два года с конфискацией всего имущества, после отбытия мер социальной защиты подвергнуть высылке из пределов автономной республики сроком на три года.

Приговор окончательный, но может быть обжалован в течение десяти дней через нарсуд Мухоршибирского района и главсуд республики.

Выдержав небольшую паузу, тот же голос произнес:

— Прошу садиться.

Все сели, и Рымарев увидел у противоположной стены стол, за ним судью в черной полувоенной гимнастерке, заседателей белоголового парня и старика с короткой стриженной бородкой; перед столом, понурившись, заслоня большой лохматой головой лампу, стоял Лифер.

Он встрепенулся, растерянно развел руками и с тоскливым недоумением спросил:

— За что же, люди добрые! всю жизнь спокою не знал... работал... прискребал.

Рымарев быстро спустился с крыльца, пошел домой. В ушах у него еще звенели слова Лифера: «За что же, люди добрые!» Так сказать мог лишь невинный или не сознающий своей вины, что почти одинаково. Черт побери этого Белозерова, неужели он не мог посадить на скамью подсудимых кого-то другого, если уж это так необходимо? А ты сам? Ты мог воспротивиться этому? Мог, но боялся! Максим в сто раз лучше тебя!.. Но что толку от этих запоздалых угрызений совести? Обожди, почему же что толку? Приговор можно обжаловать, можно создать авторитетную комиссию, обследовать поля Лифера и с точностью установить, какой урожай он получил. В конце концов, это долг каждого порядочного человека.

Дома он долго ужинал, перебрасываясь с Веркой редкими словами, и все думал о письме в главсуд. С умом надо составить это письмо, строго и сдержанно, без этих вот чувств всяких, на фактах. А где факты, что у него есть? Только то, что говорил Лифер. М-да... Письма не получится. Когда попадает такой дурак, его даже и защитить невозможно. Впрочем, Белозерову надо все-таки сказать, а уж он пусть сам голову ломает.

Разбудив Лучку, громко бухнула промерзшая дверь. Он медленно повернул тяжелую с похмелья, очумелую голову, открыл глаза. У порога стояла Еленка, сбивала с воротника полушубка пушистый снег, и по тому, как она старательно отводила взгляд от кровати, он понял: баба сердится. Смутно помнилось, что вчера она привела его от Максима и всю дорогу наговаривала, как на грыжу, и сейчас косоротится. Не даст, вредная, опохмелиться.

В разрисованные морозом окна пробивался невеселый зимний рассвет. В люльке плакал Антошка, и над ним ворковала теща. В голове Лучки были и шум, и звон, и свинцовая тяжесть.

— Скотине корм задала?

— Нет, тебя дожидаюсь!

«Не даст опохмелиться», окончательно решил Лучка. И что она так сильно взъелась? С Максимом малость поцапался, так ее-то которое дело? Когда бабы шумят меж собой, ни один мужик встревать не станет, а они в спор мужиков безо всяких лезут.

Сначала Максим, Игнат и он сидели у Корнюхи. Кабана зарезали и, как водится, под свеженинку пропустили по рюмочке. Ну и известное же дело, где рюмка, там и две, потом бог любит троицу, изба о четырех углах, в руке пять пальцев, потом уж и без всяких присказок пили. Максим, правда, больше воздерживался, он совсем трезвым был, Игнаха тоже, помнится, не пьянел, а уж они с Корнюхой надрались как надо. Мало того, в гости к Максиму набились. Тому вроде бы и не в удовольствие это, но как откажешь? Пошли. Сестра Танюха проворно на стол собрала, распечатала бутылку. Стол, против того, какой был у Корнюхи, показался очень уж бедным, и не в укор, а просто так Лучка сказал:

— Худовато живете, христиане.

— Нам и так ладно, — сказала Татьяна.

— А что еще скажешь, когда твой мужик дурак, — засмеялся Корнюха. — Погляди на него, весь избегался, позеленел и посинел от колхозных хлопот. А польза где? На столе ее не вижу.

— Не все то польза, что на столе, — сказал Игнат.

— Ты-то тоже дурак. Только с другого боку. Отлеживаешься на мельнице чего ждешь, богов угодник?

— Будет тебе разоряться-то, умник! — сурово одернул его Игнат. Давно ли ты богатым стал? И откуда оно взялось, твое богатство? Чем хвастаешься?

— Я не хвастаюсь. Выпотрошил двор Пискуна, тем и живу пока.

— Ну и живи, а нас с Максимкой не трожь.

— Жалко мне Максима. Ни черта не понимает. Туда бежит, сюда бежит, там хлопочет, тут старается. А ему кто поможет? Кто мне помог, когда Пискун мои труды присвоил? Теперь я жизнь всю до доньшка понял. На себя надеюсь. О моем доме у меня забота, никаких других нету.

Улыбаясь, Максим разливал в стаканчики водку и не пытался даже возразить Корнюхе. Подождав, когда спор утихнет, он поднял стаканчик.

— Помянем, ребята, батю и дедушку. Оба они кончили свои дни в этой избе. И смерть у них была одинаковая, и жизнь. Та жизнь на бате кончилась, у нас совсем другая, и у Митьки моего будет совсем разная с моей. Стронулась жизнь с места, пошла ходом. Огороди свой двор, каким хочешь заплотом, не отгородишься.

— Не люблю, Максим, тебя за такие вот подковырки! — обиделся вдруг Корнюха. — Можно прямо сказать, так нет, обязательно исподтишка к тебе подъедет. Это я-то отгородился? Такой же, как ты, колхозник.

— Снаружи ты колхозник, а внутри заядлый единоличник, — засмеялся Максим. — Ну, выпьем, что ли?

Опрокинув в рот стаканчик, Корнюха поставил его на стол вверх доньшком.

— Спасибо за угощение. Он оделся, встал посередь избы и, пьяно пошатываясь, поднял указательный палец. — Спхватишься, Максимка... От твоей беготни никому проку нет. Где Лифер Иванович? Активист, едрена палка!

После ухода Корнюхи Максим помрачнел.

А Лучка, слушая этот спор, с возрастающей обидой думал о себе. Что он такого выиграл, вступив в колхоз? Где невиданные огороды и сады? Где работа по сердцу, о которой говорил Максим, завлекая в колхоз? Какая ему радость от того, что кидает снопы в молотилку, возит

дрова, чистит конные дворы? То же делал и у тестя, и раньше. Ведь чуял, что так оно и будет, не хотел вступать. Хотел сам собой, без колхоза счастье попытать. А все Максим. Сбаламутил, насулил...

— Что примолк? — с ехидцей спросил он у Максима. — Не по ноздре тебе Корнюшкины слова? Терпи, милый, терпи, как мы терпим.

— Это что же ты терпишь?

— Брехню твою! — Лучка стукнул кулаком по столу. — Зазвал в колхоз и смолк. Или тебе такое было дано задание зазывать, околпачивать нашего брата? А я красный пулеметчик.

— Не реви, — Максим насмешливо улыбнулся. — Тут один Митюшка не знает, что ты красный пулеметчик. Но лопни от рева, он все равно сейчас ничего не поймет.

— Я не Митьке, тебе говорю. Чтобы вы с Задуреем поняли! — Когда в подпитии на него наваливало такое, он ни перед чем не останавливался. Схватив со стола тарелку, грохнул об пол, за ней стакан, пнул ногой осколки.

— Вот вам!

— Ты что это, взбесился? — К нему подбежала Татьяна, схватила за руки. Уходи отсюда, противный!

Татьянка и Максим вывели его за ворота. А здесь встретила Елена...

Сейчас, вспоминая скандал, Лучка ругал себя последними словами. Нашел где куражиться, посуду бить. Правда, все, что высказал, давно в нем скопилось, но разве можно было так разговаривать с Максимом?

Лучка сел, свесив босые ноги с кровати, зажмурил глаза. Голова шла кругом, к горлу подкатывалась лихота.

— Пропадаю, Елена.

— Давно пора! — Она пошла в сени, даже не взглянув на него как богатая купчиха мимо нищего.

Охая, вздыхая, Лучка натянул штаны. Хорошо хоть, что день воскресный, не надо идти на работу, а то бы и впрямь издох.

В сенях послышался разговор, и следом за Еленой в дом вошел Бато Чимитцыренов. Он засунул рукавицы за широкий кушак, протянул руку:

— Сайн байна, Лукашка!

— Приболел я малость, Батоха. Ну да сейчас наладимся. Он был рад гостю вдвойне: есть возможность опохмелиться а поговорить от души с хорошим человеком.

Он прошел в куть, поманил жену пальцем, зашептал на ухо:

— Ты уж постарайся, Елена Трифионовна, угости человека по-людски, бутылку не пожалей.

— Не будет тебе ни угощенья, ни бутылки! — громко сказала Еленка. — Нашел гостя.

— Прибью.

— А хоть убей.

Лучка плюнул ей под ноги.

— Тьфу, кулацкое твое отродье! Подавись своей бутылкой! Он кинул на плечи полушубок, на голову шапку.

— Пойдем, Батоха.

На улице было морозно. Выпавший ночью снег мягко оседал под ногами. Солнце низко висело над сопками. Зачерпнув горсть снега, Лучка растер припухшее лицо, фыркнул.

— Черти в глазах скачут. Пойдем к Максимке. Ты видел, что за баба у меня? Вредная, не приведи бог. Пока все ей по нраву золото, а попадет шлея под хвост... Хотел я тебя угостить, Батоха, бутылку пожалела.

— Зачем меня гостить?

Игнат и Максим только что сели чаевать. Татьяна хлопотала у самовара, Максим держал на руках сына, совал ему в рот соску.

— Танюха, и вы, ребята, не коситесь на меня за вчерашнее. Оболтус я...

— Ладно, чего там... — буркнул Максим. — Какие новости, Бато? Как живется?

— Мало-дело живется.

Пока братья разговаривали с Батохой, Лучка исподтишка маячил Татьянке принеси выпить. Сестра погрозила ему кулаком, но поставила на стол бутылку.

— ...секретарь был. Шибко много крик делал.

— Это какой секретарь? спросил Максим.

— Всего района секретарь. Товарищ Петров секретарь.

— Ну, знаю. Приезжал как-то к нам еще при Лазаре Изотыче. Лысый, кажется.

— Во-во, такой голова, как у меня голова, Бато провел ладонью по наголо обритой голове. Много сердитый. Ногой топал, меня из партии исключал.

— За что?

— Кулаком борьба мало, колхоз людей мало.

— И ты теперь беспартийный?

— Не, — Бато весело улыбнулся, похлопал себя по карману рубашки. — Билет тут стоит. Я город ходил, секретарь республики говорил. Ая-я, хороший человек секретарь республики. Чаем меня поил, много говорил. Потом сюда машиной ходил, Петров собой брал, народом говорил.

— Как его зовут?

— Михей Николаич.

— Трудно попасть к нему? Не пускают, поди? — допытывался Максим.

— Пускают хорошо: проходи-садись.

Приняв от Максима стаканчик водки, Бато окунул в ней средний палец, щелчком брызнул на четыре стороны.

— Пусть этот дом добро будет! — весело подмигнул Лучке: — Пусть твоя голова не болеть будет.

Когда вылезли из-за стола, Бато машинально развернул кисет, зачерпнул трубкой табаку, но взглянув на Игната, смутился.

— Кури, чего там, — махнул рукой Игнат. — Свой табакур в доме.

Бато протянул кисет Максиму, большим пальцем придавил табак в трубке, чиркнул спичку. Синий дымок веревочкой потянулся к потолку.

— Тебе, Лукашка, большой дело есть... — Бато глубоко затянулся, зажал трубку в кулаке. — Тебе брат Федос что говорит?

— Ничего. А что?

Брат жил на колхозной заимке, дома бывал редко: не ладил с Еленой. Уж не выкинул ли чего долговязый?

Бато медлил с ответом, кажется, не мог подобрать слов, шевелил губами, его лицо было серьезным. Лучка не выдержал.

— Режь прямо. Натворил чего-то?

— Не. Прямо сказать: твой Федос меня был. Меня сестра есть, жениться просил.

— На Даримке? Ой мнеченьки! — ахнула Татьяна и расхохоталась. — Ну и Федоска, ну дает!

И Лучка засмеялся, но, взглянув на Бато, оборвал смех.

— Он дурака валяет, Батоха. Вот я ему покажу женитьбу! — Бато зажал трубку в зубах, кивнул головой, словно подтверждая слова Лучки.

— А по-моему, сказал Максим, — он дурака не валяет. — Ты, Танюха, чего это со смеху зашла? Помнишь, еще когда мы на заимке жили, они вроде бы шуры-муры разводили...

Лучка на Максима глаза вытаращил. Он что, всерьез или издевается? Виданное ли дело, чтобы семейский парень бурятку взял! Федоске проходу не дадут, засмеют, а девушку заключают, заплюют и в землю вгонят. О такой женитьбе и помыслить невозможно. Вон у Лазаря Изотыча Клавдия была. Она уж и русская, только веры не семейской, и сам Лазарь был не чета Федосу, да и то... Но как скажешь об этом Батохе? Поймет ли он, до чего не простое это дело? Лучше по-другому сказать.

— Своего штаны да рубаха. Какая ему сейчас женитьба? И молодой еще.

— Я такой же думал...

— Вот видишь! — обрадовался Лучка. — Надо дом иметь, хозяйство.

— У тебя было хозяйство, когда женился? — спросил Максим.

— Ты-то куда клонишь? — рассердился Лучка.

— Никуда. Но я не люблю кривизны. Перед Батохой нечего лукавить. Руби напрямик. А то штаны, рубаха... Подумаешь, важность.

— А ты сам что на бурятке не женился? — зло спросил Лучка. Максим засмеялся.

— Обязательно женился бы, да сестра твоя помешала, попалась на глаза. И уж без смеха сказал: — Ты по старинке об этом судишь. Федос, я думаю, знает, на что идет. Зачем ему мешать?

Может быть, и верно то, о чем говорит Максим. На старые обычаи сейчас вроде и ни к чему оглядываться, но так только кажется. Хочешь не хочешь, тебя заставят оглянуться. Приведет Федос девку в дом, в нем сразу же начнется тихая коварная война. Теща, Еленка, соседи, богомольные старики и старухи со всей деревни будут изо дня в день шпынять молодых, его самого, и все это кончится плохо.

— Игнат, скажи Максюхе и Батохе, как оно все будет, — попросил Лучка.

— Тут, Лука, что скажешь... Хорошего будет мало. А может, и ничего. Сам я думаю: все люди одинаковые. Одна земля у нас под ногами, одно солнце над головой...

— Я такой же думал! — подхватил Бато. — Давно такой думал. Хорошо сказал, Игнаха. Молодца! А ты, Лукашка, сердись не надо. Я много думал, туда-сюда думал. Федоске, Дарнмке разговор делал. Сам говорил: Тайшиха жить не дадут. Я так решить. Год-два ждать надо. Улусе юрта делать, Федоске давать. Так. Тебе, Лукашка, Федос жениться говорить будет, тоже скажи: год-два ждать. Так?

— Пусть будет так, — с облегчением согласился Лучка. — Год-два не день-два, за это время все прояснится.

Батоха собрался уезжать. Братья вышли его проводить. Лучка остался: хотелось переговорить с сестрой.

— Видишь, Танюха, что деется? Братец наш собирается» семью заводить, а кому говорит об этом? Ни мне, ни тебе... сукин сын!

Татьянка села с ним рядом, разглядывая ногти на своих руках, сказала:

— С тобой в последнее время и поговорить некогда. То пьяный, то с похмелья. С чего пьешь с радости, с горя?

— Радостей особых нет, и горя тоже. Просто как-то не так жизнь идет, Танюха. То Тришка, тесть, заедал, то колхоз. Затянул Максюха твой...

— Максюха? Мне за тебя вчера стыдно было... — Сестра строго взглянула на него, и по этому взгляду он вдруг понял, что она уже не та девчушка, какой привык ее считать.

— Мне и самому неловко, — признался он.

— А что же говоришь: «затянул». У тебя на плечах что голова или чугунок? Во всем его виноватишь, а сам будто недотепа какой...

— Бережешь его? — неловко усмехнулся он.

— А то как же? Но не поэтому... Неправильно ты делаешь вот что. Горько было ему, что сестренка уму-разуму учит его, а не он ее, и что греха таить! правильно учит. Расхомутился в последнее время. Но довольно.

— Ты, Танюха, меня сильно не пили. Прямо сейчас пойду к Стихе Задурею. Договориться мне с ним надо.

Белозерова он нашел в сельсовете. Стефан Иванович читал за столом газету. Не подняв головы, вывернул глазищи исподлобья.

— Чего тебе?

— Разговор есть.

— Говори, — Белозеров нехотя отодвинул газету, но все косился на нее, все хватал взглядом строчки.

— «Грамотей, растудыт-твою-туды!» — с издевкой подумал Лучка, навалился грудью на кромку стола, прикрыл локтям половину газеты.

— Ты знаешь, для чего я вступил в колхоз?

— Знаю. От раскулачивания спрятался.

— А ты найти не можешь?

— Надо будет найдем.

Белозеров не шутил, и Лучка, оскорбленный беззастенчивой подозрительностью, резко выпрямился, стиснул кулаки. Ах, сопляк! Долбануть тебя промеж глаз, паразит несчастный, тогда поймешь, как надо по-людски разговаривать!

Но годы тихой войны с тещей и тестем научили Лучку сдерживать свой характер, не давать волю рукам. Почти дружелюбно он сказал:

— Сволочь ты все ж таки! И добрая сволочь!

— Ты что, лаяться пришел?

— Я пришел с разговором. Но вряд ли что у нас получится. Ты людей понять не можешь, а землю и подавно. Она бессловесная, ее сердцем чуют надо и постигать умом. Но тебя и тем и другим, кажись, бог обидел. Сколько хлеба с гектара мы нынче собрали? По десять центнеров?

— А что, это плохо? Редко, когда столько вкруговую получалось даже у таких живоглотов, как твой тесть или Пискун.

— Они землю понимали не больше, чем ты, Стефан свет Иванович. Давай так. Ты берешь хорошие семена... Сможешь вырастить из каждого зерна один колос с двадцатью зернами?

— Что тут хитрого? Нашел чем удивить! Перестань точить лясы. Если тебе делать нечего, то у меня работы хватает! — Белозеров быстро сложил газету, сунул ее в карман.

— Значит, ты можешь из каждого зерна получить двадцать? А почему не делаешь этого? Почему скрываешь от Советской власти такие свои способности? Лучка язвительно улыбался. На гектар мы сеем примерно полтора центнера пшеницы. Сколько это будет зерен? Не знаешь. Где тебе знать, ты только ругаться мастер! Одна тысяча

зерен вытягивает в среднем тридцать грамм. Теперь посчитаем. Дай бумажку...

Белозеров достал из стола листок чистой бумаги, карандаш, с недоверием стал следить, как корявые Лучкины руки медленно выводят цифры.

У Лучки все давно и не один раз было подсчитано, цифры он помнил наизусть, но хотелось показать этому грамотею, что и другие могут карандаш в руках держать.

— Получается, что на гектар высеваешь пять миллионов зерен. Так? С каждого ты посулился вырастить колос в двадцать зерен. Так? Это выходит сто миллионов зерен. Согласен? Если что, говори сразу.

— Ну, согласен, — Белозеров уже заинтересованно смотрел на листок с цифрами.

— Сто миллионов зерен потянут... так, так... тридцать центнеров. А мы взяли только десять. Где же остальные, Стефан Иванович?

— Ну-ка, ну-ка... — Белозеров впился глазами в цифры, пораженный тем, что получилось из расчетов, недоверчиво покачал головой. — Не может быть такого!

— Сам пересчитай. Никакого обману тут нету. Ты умеешь считать-то до миллиона?

— Умею, — буркнул Белозеров.

— Но это еще не все. Колос в двадцать зерен что за колос! Пятьдесят, шестьдесят зерен вот каким должен быть колос. Ну пусть даже по сорок зерен. Это получается шестьдесят центнеров хлеба с гектара.

— Ты скажи-ка, а! — Белозеров не мог оторвать взгляда от цифр. — Диво какое-то. Неужели ты сам додумался?

— Моя голова занята не только тем, как от раскулачивания укрыться, — горько усмехнулся Лучка. — Тебе кажется, что за новую жизнь без малого один ты стоишь. Другим она тоже нужна. Может, только видят все не одинаково. Для одних это сытые, обутые-одетые ребятишки, богатый стол в праздники...

— А что, плохо? Тебе не нужен богатый стол?

— Все это у меня было, когда жил на тестевых хлебах. И сейчас есть. Для меня новая жизнь работа по сердцу. Больше всего хочу красоту, какая есть в других краях, сюда перенести. Чтобы и сады у нас свои были, и арбузы наливались, и пшеница никла к земле от тяжести

урожая. Вот чего я хочу, дорогой товарищ Белозеров. Затем и в колхоз пришел. Из-за того и с тестем своим всю жизнь не ладил.

— А ты можешь сам-то с каждого зерна получить колос в двадцать зерен?

Лучка видел, как заинтересовался Белозеров его подсчетами, и не спешил с ответом. Выгодно было бы сейчас сказать ему: да, могу. Уж он бы ухватился за это обеими руками. Ишь уши-то наострил!

— Нет, врать не буду. Дело это не простое, но надо пробовать. Под лежащий камень вода не течет.

— А я думал... — разочарованный, Белозеров поднялся, подошел к окну, повернулся спиной к Лучке. — Мастак ты зубы заговаривать.

— Наврал я, выходит?

— Наврал не наврал, а я в другое верю. Советская власть скоро пошлет нам трактора. Знаешь, какая это штука, трактор? Будут у нас урожаи, может, и поболее тех, которые ты высчитал.

— Пришел к тебе в первый и в последний раз. Больше набиваться не буду. Жди свой трактор. А меня из колхоза отпусти по-хорошему. Сам по себе буду пробовать.

— Из колхоза не отпустим, не дожидайся. Белозеров сел за стол, покосился на бумагу с подсчетами. — Почем я знаю, правду говоришь или объегорить хочешь. Агроном из района на днях придет, посоветуюсь. Но о садах-огородах говорить не время, так я и Максиму сказал, когда он тебя тут выставлял. Обжиться надо, машинами обзавестись.

Что-то до Белозерова дошло-таки, говорил мягче, чем вначале, видно было: убедить хочет! Но что за дело до всего этого Лучке? На хрена его мягкость, если все на месте остается? Ушел от него расстроенным. Пуще, чем утром, выпить захотелось. Направился домой с твердым намерением выколотить у Елены бутылку.

Дома у предамбарка топтался на привязи подседланный конь Федоска приехал с заимки. С порога сказал ему неласково:

— Заявился, жених?

Брат покраснел, опустил голову. А Елена тут как тут.

— Какой жених? Что за жених?

— А перед тобой кто стоит?

Лицо парня, покрытое отроческим пушком, малиновым сделалось, будто он только что в бане побывал, руки не знает куда деть, то рубаху

одергивает, то за спину прячет.

— А что, пора... — сказала Елена. — Кого сватать собираетесь? — Он уже сосватал Даримку из улуса.

Из-за заборки выглянула теща. Тоже охота знать, что за сватовство.

— Нет, серьезно, кого? — допытывалась Елена.

— Сказал тебе! — рявкнул Лучка. — Ты, жених, свою Даримку из головы выкинь. Своих девок мало? Есть вон какие крали залюбуешься.

— Мне они не нужны. На Даримке я все равно женюсь. И против твоей воли! — с вызовом сказал Федоска, оправившись от смущения.

— Никак, это правда... про Даримку? Господи, совсем с ума посходили люди! — Елена всплеснула руками. — А ты что же, Лучка?

— Дожили! — Теща дробно рассмеялась.

— Чего развеселилась, старая? А ты, Елена, тоже не разводи руками. Не ваше это дело.

— А вот и наше! — крикнула Елена. — Позор на всю родову ляжет.

— На твою родову? — Лучка терпеть не мог, когда Елена о своей родове говорила с гордостью. — Она давно опозоренная, ваша живоглотская родова! Из-за вас, проклятых, всю жизнь маюсь, никуда ходу нету. Навред им всем приведи, Федос, сюда Дариму, и пусть слово худое ей скажут всем ноги повыдергаю.

— С ней и на порог не пушу! И не думай. Вот ей-богу! — Елена размашисто перекрестилась, ее высокие груди ходуном ходили под ситцевой кофточкой. — Это мой дом!

— Ага, твой дом!.. — злорадствуя, подхватил Лучка. — Так и живи тут, косматуха, кулацкое твое отродье! Пойдем, Федос.

Во дворе Лучка взял брата за руку:

— Видал, как окрысилась?

— Ты вернись. Что из-за меня ругаться будете... — Федос подтянул подпруги седла.

— Вернись. Куда денешься, сын тут у меня. Но ее проучу... Подамся я из Тайшихи куда-нибудь. Никакой жизни нету. И надо мне было пойти в зятя! Елену послушался, на обходительность тестя поддался. Теперь мне веры нет, за кулака считают. Ты, Федос, смотри с женитьбой, хорошо смотри... Будешь потом каяться.

Всю осень до крепких морозов на мельнице полно народу: мужики запасаются мукой, пока пруд не замерз. Круглые сутки шумит вода, гоняя тяжелое замшелое колесо, с мерным, баюкающим гудением вращается круглая плита жернова, частую, чечеточную дробь сыплет деревянный конек, вытрясая из горловины ковша ровную, неиссякающую струйку зерна. Не гаснет огонь в очаге мельницы, огромном, сложенном из глыб дикого камня, над огнем всегда висит ведерный чайник, закопченный до черного блеска, и пускает из носа кудрявый парок.

Мужики, в ожидании очереди на помол, сидят за низким колченогим столом, сделанным из толстых плах, без конца пьют чай и толкуют о переменах в жизни, о налогах, о цене на хлеб.

Игнат в зимовье только спать ходит. Все время с мужиками, жадно слушает разные рассуждения, мерит их своей меркой, с беспокойством думает о том, что дальше будет. Недавно ему казалось, что теперь-то, после того, как в деревне колхоз создали, жизнь без скрипа повернет на новую дорогу: мешать вроде бы некому... Думал, что мало-помалу, как полая вода в землю, уйдет без следа людское ожесточение, установится в народе доброе согласие.

Колхоз многим дал свободно вздохнуть. Приезжал два раза на мельницу Петруха Труба, пил чай с белыми калачами, хвастал, что дома без калачей и за стол не садятся. Наверно, приврал малость. Но, что правда то правда, никогда не зарабатывал он столько хлеба, сколько в колхозе. А еще урожай не шибко хороший был и много зерна из рук упустили, когда вели уборку не по-людски. Или Настя. В старое время замоталась бы одна с хозяйством. Таких беззащитных бабенок раньше и обижали и обманывали. Теперь нет этого. Работу ей дали подручную, время есть дом обиходить, и зарабатывает неплохо чего еще?

Что слабосильным от колхоза выгода спору нет. Иное дело те, у кого хозяйство справное. Им без колхозу живется не худо. Многие недавно из нужды выбились, кровь и пот вложили в свое хозяйство, они и не против артели, но жалко, словами не выскажешь, как жалко отдавать коня, новый плуг, телегу на железном ходу... Тут бы умно,

толково показать мужикам, что им сулит колхозная жизнь, какое облегчение несет. Вместо этого зачали ошарашивать твердыми заданиями. Тут уж податься некуда, хочешь не хочешь, пиши заявление. И пишут.

Но семейский мужик не любит принуждения, он становится вредным, упрямым. Слушает Игнат разговоры на мельнице, прикидывает, что может получиться, если добрая половина колхозников приневоленные. Не будут они от души работать, погубить могут доброе дело. Не на пользу себе власть гайки заворачивает.

Особенно встревожился Игнат, когда узнал о приговоре Лиферу Ивановичу. Думал так и этак и не мог найти оправдания чрезмерной, безжалостной строгости, к тому же заведомо несправедливой. Представил себя на месте осужденного, и мурашки пробежали по спине. Страшны не два года отсидки, страшно то, что хозяйства лишили. Чем будет жить семья Лифера? Куда ему самому подаваться после тюрьмы, если всю жизнь занимался хлеборобством, иного дела не знает, не любит? Милосерднее лишить человека жизни, чем обречь на такую муку. Неужели этого не понимают власти? Пусть Белозеров по молодости и природному задурейству не соображает, но должны же в районе умные начальники быть. Может быть, просто они ничего не знают, ее доходит до них то, что здесь делается?

Поразмыслив так, Игнат решил поехать в район. Попросил мужиков присмотреть за мельницей и отправился в Мухоршибирь. Зашел в райком партии. У секретаря райкома шло заседание, Игнату пришлось долго ждать. Он сидел в коридоре на деревянном диване. Хлопали двери кабинетов, сновали озабоченные люди. Неожиданно к нему подошел Белозеров.

— Ты что тут делаешь?

— Приехал... — неопределенно протянул Игнат: ему не хотелось говорить Белозерову, что его привело сюда.

— Знаю, что не пришел. С жалобой?

— Все может быть.

— И охота тебе!.. Что опять?

— Не опять, а снова. Скажи, Стефан Иваныч, неужель тебя совесть не беспокоит... съел мужика ни за что ни про что.

Дверь кабинета секретаря райкома распахнулась, из нее цепочкой потянулись люди. Игнат поднялся. Белозеров пошел за ним. В кабинет

вошли вместе. В нем было сине от дыма, душно. Секретарь собирал бумаги, кидал их в открытый ящик стола. Он был невысок, кряжист, на короткой шее круглая, наголо обритая, голова. «Тот самый, о котором говорил Батоха», отметил в уме Игнат.

Белозеров сел у дверей за спиной Игната. Секретарь дружески кивнул ему, остановил на Игнате вопросительный взгляд маленьких светлых глаз, короткопалые руки перебирали шуршащие листы бумаги.

— У нас недавно мужика засудили... — Табачный дым першил в горле, Игнат кашлянул, расстегнул верхнюю пуговицу полушубка. — Вот он управился...

Через плечо Игнат кивнул на Белозерова.

— За что судили? Ни за что.

Секретарь не то хмыкнул, не то промычал что-то невнятное, взгляд его построжал, бледные одутловатые щеки затвердели.

— Ни за что у нас еще ни одного человека не осудили. Что это за разговорчики — ни за что? Наверное, хлеб не сдал?

— Не сдал... Но...

— Какие могут быть «но»? Не сдал — это не сдал. А вы кто такой, собственно? Родственник осужденного? Товарищ?

— Никто я ему.

— Добровольный ходатай? Товарищ Белозеров, что это за гражданин?

— Колхозник, товарищ Петров. Брат Максима Родионова, — четко, как воинский рапорт, выпалил Белозеров.

— Странно и непонятно. Вам, уважаемый, надо не защищать, а выявлять утайщиков хлеба.

Игнат понял, что этому человеку ничего не докажешь, ни в чем его не убедишь.

— И сами исправно выявляете, сказал с глухой враждебностью, повернулся к дверям.

Белозеров смотрел на него, насмешливо щуря глаза, его, кажется, так и подмывало спросить: «Ну что, выкусил?»

Этот разговор нагнал на Игната такую тоску, какой он не знал после убийства Сохатого. Сейчас даже больше... Со Стигнейкой было все понятно. Душевно мучаясь, знал: случись сызнова то, что было, поступил бы так же. В точности. Когда человек становится хуже бешеной собаки, когда за ним остается след людской крови, как не

перегородить ему дорогу? Подняв руку на Сохатого, он взял на душу великий грех, зато уберег многих от гибели и несчастий, искупил вину перед покойным Лазарем Изотычем. Да, тогда все было много понятнее. Сейчас... Жизнь Лиферу Ивановичу угробили. И сделали это не какие-то злодеи, вроде Сохатого. Свои это сделали. Вот что плохо. Если людьми завладеет бессердечье, ожесточение, станут они гнуть, ломать виноватых и правых что тогда будет? За это ли жизнь отдали Макар, Лазарь Изотыч и тысячи других мужиков, которым бы жить да жить? Нет, невозможно, чтобы зло верх взяло, никак невозможно.

На мельницу Игнат собирался с неохотой, тянул время. Потом понял, что поджидает Белозерова. Может быть, он одумался, может быть, с секретарем у него был разговор о Лифёре Ивановиче, когда он ушел из райкома, не могло не быть у них разговора.

Хотел сходить в сельсовет, но передумал, пересек улицу, толкнул ворота двора Настя. Ее дома не оказалось, на двери висел замок.

Во дворе было чисто выметено, прибрано, а все равно сразу видно, что домом правит баба. Заложка от ворот утеряна, вместо нее кривая палка, две свежих доски к забору прибиты косо, и гвозди загнуты, торчат кабаньими клыками. Самый последний мужичишка так не сделает...

Он повернулся и направился домой. В воротах столкнулся с Настей.

— Игнат! — она обрадованно улыбнулась, стукнула ногой об ногу, сбивая с черных унтов снег. — Совсем забыл обо мне?

В руках она держала круглое сито, сплетенное из конского волоса, черные варежки, вытертая курмушка были в муке. — Ты где была?

— На распродаже. Хозяйство Лифера Иваныча Белозеров с Еремой Кузнецовым расторгивают. Купила сито. Почти новое и почти даром. Погляди. Она протянула ему сито.

Игнат отвернулся. Вот как, значит... Поговорил, значит, Стефан с секретарем.

— Отнеси сито обратно, Настя.

— Почему? — Она удивленно моргнула. — Все брали. Корнюха три раза прибежал, весь вспотел от торопливости.

— Вон как! Корнюха... А ты все равно не бери.

— Да что тут особенного, Игнат? Не возьму я возьмут другие.

— Стыдно, нехорошо, Настя. Каждая тряпка, каждая вещица слезами омыты.

Настя посмотрела на сито, стряхнула с варежек муку.

— Отнесу... Ты заходи в избу, подожди меня.

— Некогда. На мельницу еду.

— Рассердился?

Не то слово рассердился. Совсем он не рассердился. Стыд, обида за людей больно стиснули душу. Налетели, как воронье на падаль, тащат, радуются дешевизне, и совесть их не ворохнется. Даже у Насти. Вот тебе и новая жизнь, вот тебе и добросердие и бескорыстие.

Когда он подходил к воротам, Настя резко, словно бы испуганно, окликнула его: — Игнат!

Он обернулся.

— Что?

— Игнат, я... — Она запнулась и сказала, кажется, не то, что хотела сказать: — Я на днях приеду на мельницу. Пшеницу размолоть надо.

На мельницу она не приехала. В деревне открылась школа для взрослых, и Настя, Татьяна, Устинья, многие другие бабы, — а также мужики пошли учиться. За колченогим столом только об учебе и разговоры. Мужики посмеиваются. Чудно это баб грамоте учить. Тараска Акинфеев пожаловался:

— Моя от рук отбилась с этой учебой. Я ей: ужин вари. Она мне: сам сваришь, не развалишься. Я ей: рубаху выстирай. Она мне: у самого руки не отсохли. Стукнул бы — нельзя. Заявление настрочит, потому как грамотная.

Приехал молоть свое зерно Белозеров, послушал рассуждения мужиков об ученых бабах, фыркнул:

— Темнота вы некультурная!

Викул Абрамыч тряхнул узенькой бородкой, сладенько заулыбался.

— Что верно, то верно темнота, Иваныч! Вразуми. К примеру, моя деваха, Польшка, тоже каждый вечер по букварю носом елозит. А где польза? Или грамотным жалованье особое будет? Надбавка ли какая за ученость? А то чистим, к примеру, стайку. Старуха ни одной буквицы не знает, Польшка по букварю без запинки чешет, а разницы никакой. Нарочно приглядывался. Старуха коровью лепешку на вилы и в короб, Польшка на вилы и в короб.

— За такие разговоры тебя самого не мешало бы на вилы и в короб, а сверху побольше навалить лепешек, чтоб не высовывался, — без улыбки сказал Белозеров. — Надоели вы мне, пустобрехи. Ты, Викул Абрамыч, берешься судить о грамоте, а сам только в коровьем дерьме и смыслишь.

— Так оно и есть, Иваныч, так и есть, — весело, с охотой согласился хитрущий Викул Абрамыч.

Белозеров закинул за спину винтовку, насыпал в карман патронов и ушел в лес на охоту. Вернулся поздно вечером, пустой, позвал Игната в зимовье.

— Назарыч, тут недалеко чья-то могила, что ли? Крест стоит.

Доглядел-таки, варнак глазастый. В непролазной чаще похоронил Игнат Стигнейку Сохатого, поставил на могиле крест: каким бы ни был он, а христианин, негоже было закопать его в землю просто так, будто дохлую собаку. Думал, никто не отыщет его могилу. Отыскал...

Зоркие глаза Белозерова в упор смотрели на Игната.

— Так чья это могила, Игнат Назарыч? Не Сохатого ли?

— А тебе что, не все равно...

— Я так и думал, — помолчав, Белозеров весь подался к Игнату. — Ты его кокнул?

Игнат не ответил, отвернулся. Белозеров, усмехаясь, свернул папироску, дыхнул на Игната горьким махорочным дымом.

— А я все гадал: где обретается этот бандюга? Увидел могилу, и сразу в голову стукнуло тут! Иначе он бы дал о себе знать... Обстановочка! А я думал, ты только молитвы возносить способен. Как решился, а?

Игнат и на этот раз ничего не ответил. В тягость был ему весь разговор. Хотелось одного, чтобы Белозеров поскорее ушел. Но тот и не собирался уходить, дымил махрой, раздумывая вслух:

— Не знаю, хвалить тебя за самоуправство или... сам я на твоём месте сделал как-нибудь иначе. Ну, ладно... Знает кто-нибудь, что ты его пристукнул?

— Нет.

— Совсем никто?

— Совсем.

— Это хорошо. Пусть все так и останется. Но крест сруби. Не крест, кол осиновый нужен на его могилу.

— Не буду рубить.

— Тогда дай топор. Я сам...

И он ушел в темный молчаливый лес. Возвратившись, бросил топор у порога, сел на прежнее место. Опять курил, усмехался. Вдруг спросил:

— А как насчет совести, не беспокоит?

— Пошел к черту! Что тебе надо? Катись, Стефан Иваныч, своей дорогой и в душу мне не влезай.

— Ты не сердись. Я же не сердился, когда ты спрашивал...

— Что тут спрашивать? Кошку утопить и то...

— Он же был из гадов гад.

— Да хоть распрогад! Постой... Ты вроде бы меня к себе приравниваешь. Вон куда заметал, Стефан Иваныч! Напрасно стараешься. Ты своих калечишь. Трудяг.

— Своих? — Белозеров с сожалением посмотрел на Игната. — Своих, говоришь... — Он поднял руку, растопырил пальцы. — Смотри... Один из них загниет что делать? Не хочешь всей руки лишиться, отрезай палец. И больно, и жалко, а как быть? Вот, Игнат Назарыч, какой текущий момент в настоящее время. Он поднялся и ушел на мельницу.

Игнат, посидев в одиночестве, тоже пошел за ним следом.

Часто перебирая ногами, всхрапывая, лошадь тянула в гору волокуши с бревнами, из ее ноздрей вырывался горячий пар, потные бока дымились, и на мокрую шерсть ложились нити инея. Максим подталкивал воз, упираясь стягом в подушку волокуши. На половине подъема лошадь остановилась, скосив на хозяина влажный фиолетовый глаз.

— Ничего, отдыхай, — успокоил ее Максим, сел на бревна, вытянув покалеченную ногу.

Под горой, отделяя лес от полей, извивалась речка неровная белая ленточка; за ней над голыми кустарниками вставали острые темно-зеленые, почти черные конусы елей, дальше сплошной шубой лохматился сосняк; багровое, негреющее солнце краем коснулось леса; дорога, вмятая в рыхлые сугробы, была пустынной. Все колхозники уже перевалили через гору и сейчас, наверное, подъезжали к дому. Максим отстал. В лесу лопнула веревка, пришлось снова накатывать на волокуши, увязывать бревна. Мужики забыли о нем или не захотели ждать. Скорей всего, яе захотели. Черти полосатые, по-единоличному работают. И Корнюха с ними укатил. Этому-то уж и вовсе не простительно.

— Ну что, трогать будем?

Лошадь вытянула шею, напряженно заскрипели мерзлые ремни сбруи, воз снялся с места.

Еще две остановки, и перевал. Облизанные ветрами сугробы с кустиками сухой чахлой травы, торчащими из прессованного снега. Максим подтянул чересседельник, закурил, уселся на воз. Под гору лошадь пошла рысью, концы бревен на раскатах взбивали снежную пыль. Впереди за белыми полями темнели избы, встречный ветер доносил запах дыма. Когда ты целый день пробыл на морозе, нет ничего милее этого еле уловимого запаха, он сулит тепло, горячую пищу, отдых. Максим позабыл о своей обиде на мужиков, посвистывал, улыбался, представляя, как он отогреет у жаркого очага руки и возьмет к себе Митьку, как будет суетиться и радостно улыбаться Татьяна, собирая ужин; все будет так, словно он самое малое полгода не жил

дома. Какая, должно быть, постылая жизнь у тех, кто ничего этого не имеет.

Тут Максим вспомнил, в который раз за день, Лифера. На колхозном собрании было решено построить амбары для семян и фуража. Но готового лесу было мало, и тогда пустили в дело все старые, отнятые у кулаков строения. У Лифера сначала раскатали амбар и завозню, потом взялись за дом. В это время пришла Лифериха с сыном. Глянула на горы бревен, нагроможденных во дворе и на улице, на высокую трубу печки, белым столбом вставшую над разнесенным жильем, и заголосила на всю деревню. Сын Лифера, Никита, парень лет девятнадцати, исподлобья смотрел на людей, что-то говорил матери. Семья Лифера ютилась у соседей, и Максим хорошо понимал, каково им было смотреть, как рушится дом, где каждая трещина в стене, каждый сучок в половице знакомы, где столько прожито и пережито.

Максим решил, что нельзя больше откладывать поездку в город. И так затянул. Думал, когда разделят хлеб, будет что увезти на базар. Сыну нужны всякие пеленки-распашонки, сам обносился и Татьянке не грех бы купить хоть какую-то обновку. Но хлеба досталось не так уж много: роздал старые долги, и осталось только на еду. Надо будет попросить займы денег у Корнюхи. Пьяный был хвастался, что есть деньги. И немедленно ехать. Пройти прямо к секретарю обкома, знакомцу Батохи, рассказать все, как было.

Свалив бревна, Максим на общем дворе распряг лошадь и пошел к Корнюхе. Брат уже сидел за столом, ужинал.

— Ты откуда? — спросил он, облизывая широкую деревянную ложку.

— Только что приехал.

— Да что ты говоришь?! А я думал, ты вперед всех уехал! Оказия!

По тому, как старательно Корнюха удивлялся, Максим понял: врет. Так ему и сказал:

— Перестань брехать. Корнюха смущенно кашлянул.

— Я ждал. Холодно, холера ее дери, ноги окоченели, тронулся.

Садись щи хлебать.

Максим отказался. Устинья встала из-за стола.

— Садись вот тут.

— А ты куда? — спросил ее Корнюха.

— Так учеба же!

— Далась тебе эта дурацкая учеба. Лучше бы носки теплые связала. Ты мерзни, мужик, а баба твоя, как вертихвостка какая, каждый вечер бежит из дому!

Максим вспомнил, что и Татьяна должна идти учиться, заторопился.

— Я к тебе по делу, брат. Дай мне денег, сколько можешь. В будущем году верну. В город хочу съездить за покупками.

— Только ли за покупками? Не крути, Максим.хлопотать едешь. Это тебя Игнат настропалил. Не слушай ты этого богомольца, Макся, не лезь, куда не зовут. Корнюха подставил под кран самовара стакан, нацедил из заварника чаю. — Наскребешь на свой хребет.

— Я тебя о деньгах спрашиваю, дашь или нет?

— Чудной ты! — благодушно оскалился Корнюха. — Деньги... Это самая большая закавыка в нашей жизни. Всегда их мало, всегда их нету, всегда они нужны.

— Ты больно разговорчивым стал, Максим поднялся. Не дашь, что ли?

— Дай ему, Корнюшка! — Устинья стояла перед зеркальцем, завязывала кичку, обернулась, подмигнула Максиму. — Проси лучше, жметя.

Корнюха услышал, прикрикнул нестрого:

— Иди, раз пошла! Деньжата есть, не отпираюсь. Но мало, Максюха, и самому во как нужны. Ребром ладони он провел по горлу, но, заметив едкую усмешку на губах Максима, сдался: — Черт с тобой, бери!

— Давно бы так. А то ломаешься, ровно богатая невеста перед бедным женихом. Ох, и жох ты стал, братуха!..

Во дворе дома Корнюхи Максим подобрал палку и, опираясь на нее, похромал по улице. Скупое светило молодой месяц, пар от дыхания клубился перед глазами, оседал на ресницах мягкими снежинками. Татьяна и с ней Настя встретились ему на дороге. Немного досадуя, что ужинать придется одному, он спросил:

— С кем оставила Митьку?

— Елена с ним нянчится. Тебя дожидается.

Разговаривая, Татьяна в одной руке держала букварь с тетрадкой, другой все время подправляла платок и как-то странно поглядывала на него. Да она же без кички! Ты смотри!..

— Ну, Танюха, кажись, самая пора тебе городские юбки-кофточки заказывать!

— А может, я портфелью с медными застежками запрошу, — со смехом сказала она. — И тебя, хромого, променяю на бравого-кудрявого.

— Я те променяю! — пригрозил он палкой, все больше жалея, что Татьянки целый вечер не будет дома. — А что надо Елене?

— Из-за Лучки все. Ты ее сильно не привечай. Ну, пойдем, Настенька.

Он проводил их взглядом, подумал, что совсем недавно ни одна семейская баба не осмелилась бы показаться на люди без кички, это сочли бы чуть не распутством, а сейчас его не очень-то храбрая Танюха идет в платке. Вот так же бы, как этот бабий наряд, закинуть в дальний угол все старые привычки...

Дома было тихо. Елена сидела на лавке, вдев ногу в ремень люльки, качала Митьку. Очеп, прогибаясь, голосисто поскрипывал.

— Тише, — Елена предостерегающе подняла палец. — Заснул.

Митька чмокал губами и сжимал у подбородка пухлые кулачки. Постояв над ним, Максим сел на лавку спиной к печке, стал ждать, что скажет Елена.

— Лучка-то у бурят живет, — Елена перестала зыбать люльку.

— Знаю.

— Бросил нас или что?

— Вот про это не скажу...

— От него всякой всячины жди... Паразитина! — Она вдруг всхлипнула, но, глянув на Митьку, зажала рот ладонью, замолчала, на ее ресницах медленно набухали слезы.

— Ничего, все перемелется...

— Скажи, Максим, что я ему плохого сделала? Чем его не угодовала?

— Разбирались бы сами... — Очень не хотелось Максиму оказаться втянутым в семейную склоку: когда муж с женой не ладили, постороннему ни за что не понять, кто прав, кто виноват, а зачни разбираться, тебе же перепадет с той и с другой стороны.

— Ить ему одно добро делала! — лицо Елены стало злым. — Ить в одной шинелишке взяла его!

— А ушел он в чем, в борчатке, крытой сукном?

Не поняла Елена его, не услышала язвительности в словах.

— Не крытая, черненная борчатка.

— Так тебе Лучку жалко или борчатку? — спросил он.

— Я не к тому вовсе, чуть смешалась она, сообразив-таки, какой глупый разговор выходит. Что мне шуба? Все из-за брата его, из-за Федоски долговязого. Тот с ума спятил, на бурятке жениться вздумал, а мой ему потекает.

— Да тебе-то какая печаль, пусть женится хоть на бабе-яге.

— Согласная с тобой, согласная. Женись, но в дом некрещеную не тяни, не заставляй меня жить под одной крышей.

— Ты думаешь, есть разница между крещеными и некрещеными.

— Да ты что, Максим!..

— Про Адама и Еву слышала небось? Ты знаешь, оба они, прародители наши, Адам и его Ева, были некрещеными.

— Зачем мне знать про это! При чем тут Адам и Ева, когда дом мой! Пусть Федос свой строит и ведет хоть черта самого.

— Твой дом, твоя шуба... — Максим покрутил головой. — Э-эх,

— Елена! Я-то считал, что Лучка подороже твоего дома со всем его барахлом!

— Ты за него не восставай!

— Не восстаю. Хочу тебе только сказать, что ты не тем козыряешь. Все еще задаешься, что батька твой богатым был. Кончилось время богатых, Елена. Это одно. Другое, твоей заслуги совсем нет в том, что батька богатым был.

— Спасибо, Максим. Помог бабьему горю. Век не забуду. Елена поджала полные красивые губы, лицо ее стало темнее тучи.

— Помни, помни... Но лучше бы тебе не это помнить, а то, что не первый раз Лучка уходит от тебя. Забыла, как уговаривала на заимке?

— Тогда другое дело было!

— Другое, — согласился, — но если подумать, то же самое.

Максиму хотелось есть, под ложечкой тупо посасывало, а конца разговора не было видно, и он все больше раздражался, наконец спросил со злостью:

— От меня-то ты чего хочешь?

— В улус надо ехать.

— Ну и поезжай!

— Не могу я одна. Как я поеду туда! — Елена опять всхлипнула и заплакала, ее лицо стало некрасивым, каким-то рыхлым, расплывшимся.

Максим развел руками. Что за народ эти бабы! Всегда у них слезы на колесах, где умом не возьмет, слезами принудит. Лучка тоже хорош. Пьянствует, поди, в улусе, а ты тут майся с его половиной. Ехать за ним, а в город? Да и что за ним ездить, не удавится, явится.

— Ты, Елена, сырость не разводи. Не могу я сейчас ехать, мне в город надо. Вот вернусь...

— Его же из колхоза выключат. Был сегодня Белозеров Стиха, сказывал, выключим, потому как не работает, а коней и все другое, что мы сдали, говорит, не вернем.

Максим мысленно обругал и Елену, и Лучку. Нашли время цапаться-царапаться. Белозеров и без того косо смотрит на Лучку, а тут... Как нарочно, себе во вред делает: то гулял, то вот сбежал. Придется за ним ехать. Елену Лучка не послушает, станет куражиться.

— Видишь, ты какая... Битый час несла всякую околесицу, а главного не сказала... Суши свои слезы. Завтра поедем. Только из улуса я напрямиком в город. Иди собирайся. Утром сбегаю к Рымареву, отпрошусь и тронемся.

Намеченная поездка чуть было не сорвалась. Рымарев не хотел отпускать Максима. Сначала говорил, что вот-вот будет общее собрание, а когда Максим сказал, что к собранию успеет вернуться, он стал жаловаться на нехватку рабочих рук, наконец сознался, что без согласования с Белозеровым решить этот вопрос не может. Но Белозеров вчера сам поехал в город кое-что закупить для колхоза, вернется примерно через неделю. Максима рассердила не столько задержка с поездкой, сколько увиливание Рымарева от прямого, честного ответа. На работу, на собрание ссылается, а сам...

— Ты все с ним согласовываешь?

— Разумеется.

— И когда на обед идти, и когда по неотложной надобности!

— Товарищ Родионов! — гладкое, чисто выбритое лицо Рымарева покрылось пятнами. — Как вам не стыдно, Максим Назарович!

В председательский кабинет зашли за распоряжениями бригадиры, и Рымарев, не желая ругаться при них с Максимом, сказал, что он может ехать. С обидой сказал.

Выехали на легкой кошевке. Железные подреза легко скользили по белой степи. В лучах утреннего солнца розовели сугробы; невдалеке огненно-рыжая лиса безбоязненно наблюдала за повозкой, подняв острую мордочку и разостлав по снегу пышный хвост. Елена, закутанная в необъятную доху, молчала, должно, сердилась за вчерашнее. Максим был даже рад, что она не досаждаёт разговорами. Когда кругом белая скатерть степи и ходкой, легкой рысью идет лошадь, совсем не хочется говорить о всяких глупостях, вроде тех, что выкладывала вчера Елена, а сегодня Рымарев. У того и у другой глаза завешаны. Елене мешает взглянуть на свет открытыми глазами отцовская выучка, Рымареву боязнь сделать что-то не так. Поймут ли они когда-нибудь, что жизнь сейчас как эта чистая, неисчерченная дорогами степь, пиши свой след, не заботясь о том, как и где ездили до тебя, только держи прямой путь и не пугайся снежных заносов...

Далеко в степь вдвинулась гряда оглаженных ветрами сопок, у их подножья вольно, без всякого порядка стояли низенькие, черные от старости, с ветхими крышами домики улуса, за ними, на взгорье, блестели окнами огромные, по сравнению с домиками, строения.

От улуса навстречу кошевке с лаем бросились собаки, вслед за ними ребятишки, одетые в долгополые шубы и островерхие бараньи шапки. Максим натянул вожжи.

— Здорово, мужики!

— Сайн байна! — вразнобой ответили ребятишки. Припоминая немного из того, что знал по-бурятски, Максим спросил:

— Председатель Бато гэртэ гу? — и, неуверенный, что его поняли, повторил по-русски: — Председатель дома?

Мальчик, подпоясанный старым, потрепанным кушаком, ответил Максиму:

— Гэртэ нету. Усы. Там, — показал рукой на новые строения. Он был горд, что разговаривает по-русски. Максим посадил его в кошевку, дал вожжи.

— Вези, друг. У вас ород (*русский*) дядя би (*есть*) гу?

— Би, би.

Из нескольких зданий на взгорье было закончено одно, над ним, прибитый к охлупню, висел неподвижно большой флаг. Из окон выглядывали люди. Без шапки, в одной рубахе, на крыльцо вышел Бато,

широко улыбнулся, сбежал по ступенькам, протянул руку, радушно пригласил:

— Шагай тепло греться.

Он помог Елене выбраться из кошевки, снять доху. В доме, пахнущем смолой и свежеструганой сосной, топилась печь, отпотевшие окна слезились, на подоконнике поблескивали лужицы воды, посредине сиротливо стоял небольшой стол, покрытый красной, закапанной чернилами далембой (*Далемба — сатин*), вдоль стен разнокалиберные стулья, табуретки, скамейки. Видно было, что помещение еще не обжито, вещи стоят как попало, не на своих местах.

— Хороший дом отгрохали, — с завистью сказал Максим.

— Маленько ничего, — скромно согласился Бато, окинул дом взглядом, повторил: — Маленько ничего. Но, словно боясь, что его слова прозвучали хвастливо, засмеялся: — Колхоз маленький, контора большой. Беда хорошо живем!

Максим снял шапку, расстегнул полушубок, сел ближе к печке. Из окна видно было другое здание еще больше, чем контора, на ребрах стропил стучали топорами плотники. Перехватив взгляд Максима, Бато пояснил:

— Народный дом будет. Еще один дом школа будет. Он достал из кармана кисет, протянул Максиму вместе с трубкой. — Ноги грей печкой, душу трубкой, сердце разговором.

— Как вы столько подняли? — дивился Максим. — А говорил: народу мало в колхозе.

— Народ другой есть, не в колхозе. Народный дом всем нужен, школа всем нужна.

— Единоличников припрягли, так?

Интересно все это, хочется узнать Максиму, как дело поставлено, а Елена поговорить не дает, толкает в бок и раз и другой. Шепчет:

— Спроси про Лучку-то. Что тут табачище нюхать...

Без понятия баба. Батоха сам знает, зачем она припожаловала, без расспросов скажет, где Лучка, чем тут занимается. А Елене не мешало бы чуть приветливее быть. Сморщилась вся, словно кислого объелась.

— Ноги грел? Будем стройка глядеть. Молодуха с нами ходи.

— Что я там не видела, на вашей стройке?

— Дом смотреть будешь, своим сказать будешь: такой делай, — посмеивался Бато, будто не замечая враждебных взглядов Елены. —

Ходи, молодуха. Свой мужика гляди. Золотой голова, золотой рука такой молодец человек.

Вышли. Бато шагал быстро. Максим, хромя, едва поспевал, за ним. Елена тащилась сзади, путаясь в длинном сарафане, и все гудела, гудела:

— В работники нанялся. Дома делать нечего, беспутному. Весь снег вокруг зданий был завален корьем, щепой; возле штабеля круглого леса догорал огонь, дым, прижатый морозом к земле, стекал с косогора и синей полосой стлался по степи; на солнце холодно взблескивали топоры плотников, где-то наверху, на потолке Народного дома равномерно ширкала пила. Лучку нашли внутри Народного дома. Он размечал проемы окон под окосячку. Увидев Еленку, сунул карандаш за ухо, положил брусок уровня на верстак.

— Прибежала-таки?

— Идите к огню. Там говорить веселее, — Бато подгреб ногой сухие щепки. — Бери, Лучка, грей молодуха.

— И так, кажись, жарко будет, — сказал Лучка, но щепки взял, поплел к огню.

Максим остался с Бато, но Лучка оглянулся, позвал его.

— Ты, шурин, коли что, нас разнимать будешь. Лучка сел на бревно, снизу вверх глянул на жену. — Ну, чего сюда нарисовалась?

— Это я ее привез. Максим пошевелил щепки, дунул на горячие угли, и пламя, вспорхнув, лизнуло кудри стружек, разгорелось. — Домой тебе надо, Лучка.

— А зачем?

— Постыдился бы говорить такие слова, изгальщик! — злым шепотом сказала Елена. — Смотри, отоцал весь, обтрепался. Они тебя, дурачка, приласкали, а ты и рад бревна ворочать.

— Короткий ум у тебя, Елена. Там, где мера верста, с верхком лезешь...

— Поспорите дома, — вмешался Максим. — Ты, Лучка, кажется, забыл, что колхозником числишься.

— Я Белозерову сказал, что уйду из его колхоза.

— Колхоз, между прочим, не Стишкин, наш.

— Это ты так думаешь. А на деле колхозом Стишка, как собственным хозяйством, правит. Посмотри, у Батохи все по-другому. Вот переселюсь сюда...

Подошел Бато, сел на корточки перед огнем, протянул к нему смуглые, обветренные руки.

— Разговор был? Чашка чай пить надо.

— Бато, я отсюда в город еду. Так ты, может, отвезешь Лучку и Елену в Тайшиху?

— Можно. Завтра район еду. С собой брать буду. Город зачем едешь?

— К секретарю обкома Ербанову. Не знаю, будет ли толк какой.

— Тебе какой толк надо? Я два раза ходил. Породистых коров коммуны расхватали ходил, партии гоняли, ходил. И он сюда ходил, совет давал. Строить так он говорил.

— Зачем в город? — спросил Лучка. — За Лифера Ивановича хлопотать. И тебя отпустили?

— Отпустили за покупками.

— Пошли чай пить.

Бато повел их вниз, к улусу. Лучка, шагая рядом с Максимом, задумчиво сказал:

— Я ведь серьезно, чтобы сюда перебраться. Как смотришь? Чую, не даст Белозеров садами заниматься.

— Если будешь таким куражливый не даст. Мой совет — поезжай домой. Вот вернусь из города, понятно будет, что к чему клонится.

Жил Бато в деревянной шестиугольной юрте. Маленькие, промерзшие окна плохо пропускали свет, в юрте стоял полумрак. Жена Бато, низенькая, скуластая женщина в халате и шапочке с кистью на острой верхушке, хлопотала у печки. Она что-то спросила у Бато, приветливо улыбнулась, взяла у Елены курмушку, повесила на деревянный колышек.

— Отсталый моя баба. Совсем толмач по-русски нету, — весело сказал Бато.

На стол, застланный новой клеенкой, женщина поставила фаянсовые чашки, налила в них тарак (*Тарак — молочный продукт*). Бато вытащил откуда-то большую бутылку с мутноватой жидкостью.

— Тарасун (*Молочное вино*) пить будем, мало-мало архидачить (*пьянствовать, гулять*) будем, — засмеялся.

Елена сидела за столом с застывшим лицом. Понюхав стакан с вином, она брезгливо дернула губами, оглянулась, явно намереваясь выплеснуть напиток. Лучка сжал ей локоть, тихо предупредил:

— Только попробуй! Разморденю!

Зажмурился глазами, содрогаясь, Елена выпила вино, вытаращила глаза, открытым ртом стала хватать воздух. Бато перегнулся через стол, участливо спросил:

— Крепко?

Жена Бато подала ей тарелку с молочными пенками.

— Это ешь. Это сладко, — сказал Бато.

Косясь на Лучку, чуть не плача, Елена взяла двумя пальцами кусочек ароматной, вкусной пенки, откусила раз, положила, потом взяла снова и стала молча, сосредоточенно есть. От вина у нее маковым цветом вспыхнули щеки, заблестели глаза. А жена Бато, поставив на стол деревянную чашку с горячей бараниной, выбрала кусок получше и положила перед ней.

— Спасибо, — сказала Елена.

— Вкусная еда у вас, — похвалил Лучка. — Моя баба даже стесняться позабыла, прикончила все пенки.

— Перестань! — попросил его Максим.

— Пусть она поймет... Бато ко мне зашел, несчастную бутылку пожалела, стакан чаю не налила. А сама ест и пьет.

— Ай-ай! — с укоризной глянул на Лучку Бато. — Тебе такой слово говорить можно ли?

— Все, молчу!

После обеда Бато повел Максима показывать хозяйство, уговорил съездить на заимку, на ту самую, где когда-то хозяйствовал Корнюха. Максим не пожалел, что задержался в улусе. Лучка был прав, когда говорил, что дела у Батохи ведутся по-другому. Здесь все делалось основательно, надолго, начиная со строительства, кончая бережным уходом за небольшим стадом породистых коров, которые должны в недалеком будущем вытеснить низкорослых, малоудойных забайкальских коровенок.

За породистым стадом ухаживала вместе с другими женщинами и сестра Бато, Дарима. Максим ее не видел с тех пор, как уехал с заимки, и узнал не сразу. Когда-то пугливая, как дикая коза, она сама подошла к Максиму, протянула руку. Он смотрел на нее и думал, что не зря младший шурин по ней с ума сходит. Красивая деваха. Тонкая, гибкая, как молодая елочка. Взгляд хороший. Открытый, веселый, с искорками смеха в зрачках черных, как спелая черемуха, глаз. Легко представить

ее в седле среди весенней степи, щурящуюся от половодья света, и дома за будничной работой, и за праздничным столом, такие люди, как она, везде на своем месте, и всем рядом с ними хорошо, радостно.

— Ты бы к нам приезжала. Татьяна рада будет. Помнишь Татьяну?

— Помню. Некогда в гости ездить. Работы много. «Эх, черт, неужели у вас с Федосом не сладится!»...Снова скрипит снег под железными подрезами. Скрылся в морозном тумане улус с его шестиугольными юртами и новой конторой, а Максим все думает о Батохе. Ловок мужик. С виду простоват, и грамотешки мало совсем, а как развернулся! Вот бы Павлу Александровичу при его грамоте Батохину смекалистость. Охаивать Рымарева, понятно, рано и навряд ли справедливо. Крестьянское хозяйство вести не чубом трясти, тем более хозяйство артели, где все внове. У Рымарева своя хорошая сторона есть аккуратность. Подсчитать, высчитать ему раз плюнуть. Другое дело привычки к самостоятельности нету. Раньше прикажет ему купец: продай продал, прикажет: купи купил. Все с чужого слова. И на председательском месте он пока работает, как приказчик...

В городе Максим не был давно, и ему в глаза сразу бросились многие перемены. Появились новые кирпичные дома в два и три этажа, чище, многолюднее стали улицы, по мостовым в обгон повозок, саней то и дело бегут машины, и прохожие не обращают внимания: привыкли. На видных местах афиши и объявления. В театре идет спектакль «Бронепоезд 14–69», в Доме крестьянина дает концерт заезжий скрипач-виртуоз Леонид Шевчук, в Союзкино можно посмотреть драму в восьми частях, главные роли исполняют Дуглас Фербенкс и Пола Негри. Называется драма «Три мушкетера».

«Кто такие мушкетеры?»

Максиму надо пересечь улицу и войти в каменное здание обкома. Но он стоит, глазеет на огромные буквы афиши, думает о своем. Плохо будет, если разговор с секретарем получится не таким, какого он ждет. Не только судьба Лифера Ивановича должна решиться, но и что-то очень важное для него самого.

Максим решительно пересек улицу.

В приемной было полно народу. Пожилая секретарша сказала, что вряд ли Михей Николаевич сможет всех принять сегодня. Но Максим все-таки решил ждать. В голубую двустворчатую дверь заходили самые

разные люди, одни возвращались через несколько минут, другие задерживались на полчаса и больше. Одни выходили веселые, другие опустив глаза.

Полдня протомился Максим в приемной. Наконец дождался. Секретарша кивнула ему головой иди, и он открыл дверь робко, будто опоздавший на урок школьник. Первое, что бросилось ему в глаза длинный, как деревенская улица, стол, за ним другой стол, поменьше, заваленный бумагами, книгами. Возле маленького стола спиной к окну сидел, прижимая телефонную трубку к уху, человек в темном пиджаке. Под носом у него темнела черточка усов, черные жесткие волосы, зачесанные от лба к макушке, были редкие, сквозь них просвечивала темная кожа. Ничего особенного в этом человеке Максим не заметил и как-то сразу успокоился. Закончив разговор, Ербанов встал, коротко, энергично встряхнул руку Максима, указал на кресло с гнутыми, вытертыми подлокотниками; открытые миндалевидные глаза смотрели на Максима весело, улыбочиво, должно быть, секретарь еще не отрешился от телефонного разговора, по всему видать, приятного для него.

— Вы хромаете? — он взглянул на ноги Максима.

— Подбили.

— Партизанил? Где?

— И партизанил тоже. Но подшибли ногу уже дома, кулаки.

— Коммунист?

— Состою...

— Состоишь?.. — насмешливо спросил он, скосил глаза на бумажку со списком посетителей. — Максим Назарович, да?

— Так. Можно и просто Максим... Молодой еще, чтобы навеличивать...

— Можно и просто Максим, — согласился Ербанов, сел, сдвинул с середины стола бумаги. — Приехал что-нибудь просить?

— Нет.

— Жаловаться?

— Да и не жаловаться вроде. А может быть, и жаловаться. Максиму понравилась стремительная прямота секретаря обкома, тут, кажется, не надо будет вилять-петлять. — Помните, вы распустили бюро нашего райкома партии?

— Помню. Правильно распустили. А ты что, против?

— Не то что против. Новое начальство больно уж туго натягивает вожжи, удила в губы врезаются.

— Видишь ли, Максим, иногда и это необходимо. Мягкость и снисходительность порой вредны не меньше, чем прямое предательство. Революция не закончилась гражданской войной, не завершится она и коллективизацией. Революция продолжается, а ее мягкотелые слюнтяи не делают... Нам нужна и твердость, и непреклонность.

— А справедливость? Она нужна?

— Точно так же, как и твердость. Почему же безвинно людей сажают в тюрьму? — Кого посадили безвинно?

— Нашего мужика, Лифера Ивановича Овчинникова.

— Вы в этом уверены?

— Зачем бы я пришел? Посадили его, как я понимаю, на страх другим.

— Это недопустимо! Расскажите подробнее...

Слушая Максима, Ербанов чуть приподнимал то правую, то левую бровь, комкал в руках клочок бумаги. Едва Максим кончил, он поднял трубку телефона.

Соедините меня с прокурором республики. Ты, Николай Петрович? Ербанов говорит. Слушай, ты когда наведешь порядок у себя? Вот вам еще одна жалоба. Осенью осужден крестьянин села Тайшиха-Овчинников. Немедленно проверьте материалы следствия. В случае, если приговор был неправильным, со всей строгостью накажите виновников. И вообще, внуши ты своим товарищам, что меч правосудия штука обоюдоострая, обращаться с ним бездумно крайне опасно.

Дав отбой, Ербанов попросил вызвать Мухоршибирь. Помолчав, поднял на Максима построжавшие глаза, спросил:

— Почему же ты сразу никому ничего не сказал? — Максим не ожидал такого вопроса.

— Почему? Трудно сказать... Непривычно по начальству ходить. Но не это главное. Я почти поверил, что так и должно быть. Одного посадили другим польза. В колхоз народу много пришло после этого.

— Плохо это, очень плохо! Неумение разъяснить людям суть нашей политики нельзя восполнить никаким нажимом. А кто должен

объяснить людям, что путь деревни, улуса к социализму единственный через объединение мелких единоличных хозяйств?

Зазвонил телефон.

— Мне товарища Петрова, — Ербанов подул в трубку. — Товарищ Петров? Ну, как у вас дела? Даже отлично. Так, так. Что ж, одобряю. Так... Ну? Да не звони ты процентами! Ты мне скажи, как добились этого. Агитацией? И убеждением? А принуждением? Как ничего подобного? А Лифер Овчинников? Слушайте, товарищ Петров, мы же с вами говорили на эту тему... Да ничего вы не учли! Клевета! Ну это вы бросьте... Ну? Да, я верю. Не кому-то, а коммунисту. И потому еще, что вас знаю.

Возбужденный этим разговором, Ербанов встал из-за стола. Его лицо с очень темной кожей было не сердитым, а задумчиво-сосредоточенным. Сделав несколько шагов по кабинету, он остановился возле Максима.

— Ты мне сказал: «состою» в партии. Это мало состоять. Мало и того, что пришел сюда со своим недоумением. Там, на месте, Максим, надо утверждать, отстаивать, защищать справедливость. Все, что мы делаем, новое, небывалое и потому чертовски сложное. Много делается не так, и не обязательно по злему умыслу. По незнанию, неумению, непониманию чаще всего. Ошибок будет гораздо меньше, если каждый большевик осознает, что он отвечает за все и за то, что делает сам, и за то, что делается рядом.

Бросив беглый взгляд на часы, он подошел к вешалке, надел короткое кожаное пальто, шапку-ушанку, застегивая пугавицы, сказал:

— Иногда я замечаю, как вполне разумные товарищи выполняют указания руководителей, зная, что эти указания неправильные, вредные для дела. Почему? Да только потому, что указания исходят от руководителя ответственного товарища. Даже термин такой начал утверждаться ответственный работник. Словно у нас могут быть безответственные работники.

Ербанов открыл дверь, пропустил Максима вперед. Вместе вышли из обкома.

Быстрым, легким шагом он пересек улицу Ленина. Возле бывшего Второвского магазина свернул за угол. Максим стоял на мощном серыми плитами тротуаре, не замечая мороза, остро покалывающего щеки.

Белесый ветер еще с вечера кружился над Тайшихой, а ночью завывала, загудела злая снежная метель.

Сумятица звуков, слитая в сплошной угрожающий гул, разбудила Рымарева. Под напором ветра, казалось, вздрагивали толстые стены избы, со скрипом расшатывалась крыша. Полотнища ворот, должно быть плохо запертых Веркой, то открывались, то закрывались с угнетающей периодичностью: короткий взвизг железных петель — открылись, глухой удар — бух! — закрылись. Взвизг — бух. Взвизг — бух.

Рымарев никак не мог уснуть. Толкнул в бок Верку.

— Слышишь, метель...

— Ну и пусть... — сонно отозвалась Верка.

— Что-то не помню такой метели...

— А ты почему не спишь?

— Попробуй усни! Почему ворота не закрыла? И ставни скрипят как немазаная телега, — с раздражением сказал Рымарев.

Верка повернулась на спину, откинула одеяло.

— Ой, и правда. Пойти закрыть, что ли?

Немного помедлив, она встала, оделась в темноте, вышла. В сени ворвался ветер, покатило по полу пустое ведро.

Верка долго возилась на дворе, пришла и сразу же нырнула под одеяло.

— Ух, что там дееется! — холодной как лед рукой она прикоснулась к нему. — Спи. Подперла я и ставни и ворота. Тихо стало.

Какой там тихо! Ветер по-прежнему гудел на разные голоса, тревожа Рымарева, нагоняя тоскливые мысли. Жуткая погода. Не позавидуешь тому, кого она застанет в дороге. Это почти верная смерть. Потом снова засияет солнце, растекутся по земле теплые лужи, а человека уже не будет. Странно, что от такой слепой случайности может зависеть жизнь человека. И как много значит предугадать подобную случайность, суметь переждать вьюгу.

Эта внезапная мысль показалась ему интересной и значительной. Наверное, в жизни тоже идет дальше тот, кто не даст метели застигнуть

себя середь дороги. Да, по всей вероятности, так оно и есть. Рассуждать об этом не так уж и трудно, а вот...

Верка, пригревшись, снова сладко засопела. Он отвернулся к стене, натянул одеяло на голову, гул метели стал почти неслышным. Последние дни были очень уж беспокойными. Из города нежданно-негаданно нагрязнула комиссия. Несколько человек. Походили, осмотрели хозяйство Лифера, порасспрашивали соседей. Все записали и уехали, никому ничего не сказав. А через недельку в контору заявился сам Лифер Иванович. Там в это время шло заседание правления артели, и все уставились на него, как на выходца с того света. На нем был старый, замызганный зипун, растоптанные, огромные валенки. Он угрюмо смотрел из-под насупленных бровей и молчал.

— Ты это как?.. — спросил Белозеров.

— Выпустили.

— Точно? Совсем пришел.

Рымареву показалось, что Белозеров обрадовался, глаза его посветлели, на губах промелькнула слабая усмешка.

— Где мой дом? — глухо спросил Лифер.

— В дело пустили, — почти весело ответил Белозеров. — Да ты не тревожься. Дом другой дадим.

— А кто мне отдаст то, что было в доме?

— Но-но, полегче! — не очень строго сказал Белозеров. — Всякий шундр-мундр соберем и возвратим. Или деньгами получишь. А лошади, плуги... Как насчет колхоза-то?

— Теперь уж все равно...

— Вот и хорошо!

— А ты не шибко радуйся! — Шаркая по полу огромными валенками, Лифер вышел.

Белозеров в смущении поцарапал затылок.

— Неладно вроде бы получилось с ним...

— Почему неладно? — возразил Максим. — Мужик в город бесплатно съездил, от работы отдохнул. А мы из усадьбы ажно целый амбар выкроили, кругом выгода.

— Придержи свои шуточки! — одернул его Белозеров, — Больно уж легко судишь...

— На тебя глядя. Дом дадим, шмутки вернем куда уж легче! А в душу плевков вlepили — как?

И что за страсть у Максима все доводить до крайности! И при том полная однобокость суждений, отсутствие какой бы то ни было объективности.

— С одной стороны, ты, Максим Назарович, конечно, прав, взялся объяснять ему настоящее положение вещей Рымарев. С другой стороны, освобождение Овчинникова лишний раз подтверждает: правда в нашем обществе имеет важную ценность, она всегда возьмет свое. На это и надо упор делать.

— Упор надо делать, но не очень. Сильно упрешься надорвешься. Пораньше надо было упираться, Павел Александрович.

Ему сразу стало понятно, на что намекает Максим, и он почувствовал смутное беспокойство. Но в тот раз не придавал особого значения намеку Максима и своему беспокойству. А сейчас, восстанавливая в памяти разговор и взвешивая все, что было сказано, он не на шутку встревожился. Максим считает, что в этой злополучной истории с Лифером он проявил себя не так, как следовало бы. Попробуй докажи ему, что он не мог, не имел права поступить иначе! Не докажешь. А что, если такое же мнение не у одного Максима?

Метель стала, кажется, утихать. Слабел гул ветра, не скрипела больше крыша. Надо бы заснуть, уйти от этих неприятных размышлений.

Максим, по-видимому, заварил крутую кашу. Вчера вечером вызывает в сельсовет Стефан Иванович и говорит:

— Знаешь, какая штука, Павел Александрович... Звонил товарищ Петров. Он говорит, что кто-то из наших партийцев был с жалобой в городе. Кто бы это мог быть?

— В последнее время из членов партии в город ездил только Максим.

— Я сразу на него подумал. Абросим Кравцов тяжеловат для этого. Ерема не посмеет. Значит, Максим. Комиссия его рук дело. Но это ничего. Плохо другое. Товарищ Петров говорит, жалобщик допустил клеветнические выпады против всей партийной организации. Сегодня или завтра Петров придет разбираться. Ты как думаешь, мог Максим набрехать?

— Не знаю.

— А мне что-то не очень верится.

Белозерова занимал этот вообще-то второстепенный вопрос, а он, Рымарев, думал, о главном: как пойдет разбирательство, чем оно обернется, к чему надо быть готовым?

Заснул он уже под утро тяжелым, как одурь, сном. Разбудила его Верка поздно.

Метель почти улеглась. Ослепительно сняли обновленные сугробы, уходили за сопки серые рваные облака, кружились, оседая, редкие снежинки. Из подамбарка вылез пес, отряхнулся, потягиваясь, выгнул спину и, печатая на снегу следы лап, побрел к крыльцу. В печке сухо потрескивали дрова, за столом сидел Васька, пухлый со сна, ел блины. Вздернутый нос, губы, щеки и руки были в сметане. Верка взглянула на него, ахнула, вытерла подолом передника.

— Ты помаленечку, сынок, не торопись. Она свернула блин трубочкой, помакнула, подала в руки: — Вот так.

Молча умывшись, Рымарев сел рядом с сыном, погладил его по голове. Мальчик, увлеченный едой, только покосился на отца.

— Тебе блины со сметаной или сала поджарить? — спросила Верка.

— Давай, что есть.

— Ты не прихворнул, Павел? Что-то ты бледный сегодня... — она положила широкую тяжелую ладонь ему на лоб. — У тебя жар, кажись.

— Никакого жару нет! — не очень-то ласково сказал он. Но ему было приятно, что Верка беспокоится о нем.

— Ты бы не ходил... А? Другие небось не шибко разбегутся, а ты изо дня в день, с утра до вечера толкешься. Не ходи. Я сбегая в контору, скажу, что хвораешь.

— Перестань!

И она сразу замолчала, нисколько не обидясь на него.

На улице сугробы были уже изломаны полозьями саней, но снег все еще был чистым, белым и рыхлым. Ноги тонули в нем мягко, почти беззвучно. Рымарев шел торопливо. Он привык появляться в конторе раньше всех, втайне радовался, когда мужики удивлялись: «Когда спишь, председатель? В полночь приходи ты здесь, чуть свет здесь». Дома он, как сегодня, задерживался редко. Все казалось, что если не придет вовремя, непременно что-нибудь случится. Это же чувство беспокойства подгоняло его и сегодня, вдобавок ко всему боялся: вдруг да секретарь райкома приехал вчера и сейчас сидит, ждет его.

Но в конторе никого из начальства не было. Как всегда, толпились мужики. У них вошло в привычку: есть дело, нет дела, приходят, садятся на скамейки, а то и просто на корточки, судят-рядят о том о сем, наговорятся вдоволь, потом уж идут работать. Правда, зимой и работы-то не так много, но все равно она есть. И когда вот так, без всякой пользы мужики тратят время, Рымарев чувствует себя не в своей тарелке. На этот раз почти все пришли по делу. Петруха Труба, вытягивая длинную шею, долго и нудно объяснял, что на заимку надо посылать еще двух человек. Двух надо. Я о двух говорю. Скотину накормили поить надо. Воду из колодца черпаешь, черпаешь, ажно глаза на лоб начинают вылезать.

— Найди Абросима Николаевича. Если даст бери двух.

— А что за шишка теперь Абросим?

— Бригадир.

— Кого бригадиром поставили... — проворчал Петруха.

— Тебя хотели, но не нашли, — сказал Тараска Акинфеев.

— А где я был?

— В соломе спал.

Петруха смерил Тараску презрительным взглядом.

— Шалопут!

— А тебе что, Тарас? — спросил Рымарев охочего до зубоскальства толстяка, назначенного недавно кладовщиком.

— Тоже люди нужны, Павел Александрович. Тараска согнал с лица улыбку. — Семена готовить пора. Сеять, веять...

— Все зерно свезли в новый амбар?

— Сегодня все свезем. Сорное зерно. А веялки на полевом стане.

— Так привези.

— Сам, что ли? — удивился Тараска. Я при должности. Другие ветер пинают, вот и пусть везут.

— Хорошо, хорошо... Организуй работу на складе. А за веялками поедет... — Рымарев обвел взглядом мужиков. — Ты, как, Григорий Дмитрич?

Григорий Носков, мужик веселой Параньки, черный, как цыган, в шапке, надвинутой на глаза, отрицательно мотнул головой.

— Ветром заплот в сеновале опрокинуло, ладить буду.

— А ты, Викул Абрамыч?

У Викула Абрамыча узкое лицо, пегая бороденка, маленькие, глубоко посаженные глаза посматривают на мир с малоприметной хитринкой; мужик он из себя невидный, но ловкий, умный; каким-то чутьем Викул угадывал повороты жизни и всегда избегал крупных неприятностей. Несколько лет назад у него было крепкое хозяйство, но перед тем как Советская власть принялась шерстить кулаков, Викул сократил посевы, распродал часть скота и таким путем стал середняком. Правда, еще при Лазаре Изотыче его несколько раз пытались прижать, но как ни мерили его хозяйство середняцкое, не прикопаешься. Была у Викула когда-то большая дружба с Пискуном, но незадолго до восстания он с ним рассорился и в заговоре кулаков не принимал никакого участия. Избежал он и твердого задания. Еще только начали составлять списки твердозаданцев, а Викул уже пришел с заявлением примите в колхоз. Ради примера для других приняли, из списка твердозаданцев вычеркнули.

— Ты меня, Павел Александрович? — Викул Абрамыч привстал со стула, охнул, схватился руками за поясницу. — Вот, проклятая, как стрелит, как стрелит... Из глаз искры сыплются. Застудил, не иначе. Но я поеду. Раз надо, я с полным удовольствием. Только вот баба баню затопила, погреться надо, пока не погиб совсем.

Рымарев понял: не поедет. — Зачем же пришел, если болеешь?

— По душевному влечению. Пока баня топится, я посижу тут, послушаю. Всякая новость тут свеженькая. Может, думаю, какое постановление вышло или еще что.

С улицы незаметно вошел Белозеров, услышал последние слова Викула Абрамыча, фыркнул.

— Какое тебе надо постановление?

— Да ведь всякие выходят, Стефан Иванович, я до всех интерес имею.

— Давайте, мужики, по домам разбегайтесь, чешите бороды, у кого они есть, одевайте новые рубахи. И в сельсовет, собрание будет.

Выпроводив мужиков, Белозеров закрыл дверь.

— Выехал секретарь райкома. Велел собрать колхозников и единоличников.

— А зачем?

— С народом беседа будет, сказал Белозеров. А перед собранием на ячейке разговор. — Ты, Павел Александрович, пошли рассыльного

за Абросимом и Максимом. Ереме я сказал. А я домой сбегаю.

— А когда Петров приедет?

— Вот-вот будет. Давно уже выехал.

Но заносы на дороге задержали Петрова. Партийцы сидели в правлении колхоза, мужики в сельсовете. И Белозеров не знал, что делать.

Петров ввалился в контору, весь залепленный снегом, сердитый, озябшими руками кое-как расстегнул пуговицы полушубка и, не раздеваясь, сел за стол. — Людей собрали?

— Да, ждут, — ответил Белозеров. — Давно уже. Если тут долго будем заседать, разбегутся.

— Заседать будем потом, сначала проведем собрание колхозников. Плохо, дорогие товарищи, ведете работу. Петров обвел взглядом членов партии.

Рымареву показалось, что жесткий взгляд светлых глаз секретаря райкома задержался на нем больше, чем на других, и от этого он почувствовал смутное беспокойство.

— Кто из вас был на днях в обкоме партии? — спросил Петров.

Рымарев с облегчением вздохнул, покосился на Максима — признается или нет? Максим поднялся.

— Я был в обкоме партии. А что?

— Да ничего. Ты, как и любой другой коммунист, имеешь право обращаться с жалобой не только в обком, но и повыше. Только всегда ли нужно это делать? Думаю, без нас там достаточно забот. Что будет, если все ринемся туда? А, товарищ Родионов?

— Я как-то не думал, что будет, если все ринемся туда, — ответил Максим с тайной усмешкой.

— Вижу, думать не твоя забота! — В голосе Петрова прорвалось раздражение.

Рымарев досадовал на Максима. Мог бы говорить с начальством и поуважительнее. Привык здесь покусывать всех без разбору...

— Идемте, товарищи! — заторопил Белозеров.

Рымарев вышел последним, запер контору на замок. Максим шагал позади всех, больше чем обычно припадая на нездоровую ногу. Павел Александрович молча обогнал его и пошел рядом с Белозеровым.

Народу в сельсовете было мало, многие, устав от ожидания, ушли обедать. Петров распорядился собрать всех, потребовал списки

колхозников и перед фамилиями тех, кто недавно вступил в колхоз, поставил крестики.

Собрание открыл Белозеров. Он был, на удивление Рымарева, немногословен, почти сразу же уступил свое место Петрову. Секретарь райкома, короткий, плотный, с досиня выбритой головой, стоял, опираясь руками о стол, подавшись всем корпусом вперед. Из кармана черной суконной гимнастерки торчали остро заточенные карандаши и белый колпачок ручки. Уверенно, энергично говорил он о великом процессе преобразования деревни на новых социалистических началах, о неизбежности ломки всего старого.

— Отсюда все единоличники и колхозники должны сделать единственно правильный вывод. А у многих до сих пор нет твердо определенного мнения. Ходят разные разговорчики о принуждении. Или действительно было принуждение? Давайте поговорим об этом начистоту.

— Дозволь, товарищ начальник, — Петруха Труба встал, сунул шапку под мышку. — Я тебе так скажу — мало у нас принуждения, а надо бы побольше. Иначе что получается? Один пуп надрывает на работе, другой бока отлеживает дома.

— А в колхоз вы вступили по доброй воле? — спросил Петров.

— Куда мне деваться, если не в колхоз?

— Ну хорошо... — Петров пробежал глазами список. — Носков Григорий есть?

— Я за него! — бойко выкрикнула с места Паранька Носкова. — Мужик забор чинит. Что надо?

— В колхоз вступили без принуждения?

— С большим принуждением.

— То есть? — светлые, почти незаметные брови Петрова быстро сдвинулись.

— Я своего мужика принуждала. И принудила!

Мужики сдержанно засмеялись. Но лицо Петрова осталось хмурым.

— Лука Богомазов! — резко выкрикнул он очередную фамилию.

— Я, — Лучка поднялся, потеревил, приглаживая, бородку.

— Ну, расскажите нам, товарищ Богомазов, каким образом вы вступили в колхоз.

— Вступить-то я вступил, но... Лучка отыскал глазами Максима. Подгонял тут один меня, давил в загривок каждый день...

— Вас запугивали?

— Меня не шибко запугаешь! — обиделся Лучка. — Не баба же!

— Садись! — приказал Петров и назвал следующую фамилию: — Викул Антонов!

Благостно улыбаясь, Викул Абрамович встал, кашлянул в кулак.

— Тута я, туточки.

— Как вступал в колхоз, расскажи...

— Для чего?

— Как для чего? Мы должны знать, кто вступил по доброй воле, а кто...

— Понимаю, понимаю! — перебил Петрова Викул Абрамович.

— Если я, к примеру, не по своей воле в колхозе, то мне, к примеру, полная слобода. Так?

— Да, конечно.

— Постановление такое вышло? Давно пора. А то придумали... Теперь слушай, дорогой товарищ начальник. В колхоз меня зайти заставили. И я, значит, желаю обратно выйти.

— Вот как?! — Петров чуть смешался, порылся в бумагах, взял в руки листок, — Это ваше заявление?

Викул Абрамович протолкался к столу, подслеповато щурясь, вгляделся в кривые буквы.

— Моя бумага.

— Кто писал?

— Сам. Грамоте разумею.

— Так что вы мне голову морочите!

Тут только хитро-мудрый Викул Абрамович сообразил, что дал маху, смешался, попятился, пробормотав:

— Сволота слух пустила, что постановление про отмену колхозов будет. А я что? Остановился, воинственно вскинул бородку. — А что я сказал? Я сказал, жизнь заставила в колхоз заступить.

На душе у Рымарева становилось все беспокойнее. Что задумал Петров? Для чего этот допрос?

После общего собрания провели собрание ячейки.

В сельсовете, когда там осталось всего шесть человек, наступила тишина, чуткая, настороженная. Петров курил папироску, стряхивая

пепел на листок бумаги. И Максим тоже курил, пряча самокрутку в рукаве. Абросим Кравцов сидел с закрытыми глазами, играл пальцами. Ерема Кузнецов все поглядывал на секретаря райкома, желая и не решаясь что-то сказать. Беспокойно вертелся на стуле Стефан Белозеров.

— Подведем, товарищи, итоги, — Петров строго посмотрел на Максима. — Результаты проверки показали все крестьяне вступили в колхоз добровольно. Так? Между тем в областном комитете товарищ Родионов уверял руководителей, что всё у нас строится на принуждении. Как это прикажете понимать? По-моему, здесь наличествует факт введения руководителей в заблуждение. Так? Объясните, товарищ Родионов.

Максим не знал, куда девать недокуренную самокрутку, по-совался с ней во все стороны, смял в кулаке, толкнул в карман. Рымарев про себя усмехнулся. Будешь знать, как лезть не в свое дело.

— Я и сейчас считаю принуждения у нас больше, чем нужно. Лифер Овчинников это что?

— Он единица, а мы речь ведем вообще. Разве это не ясно?

— Нет, не ясно. Лифер не единица, он человек. Вы хорошо говорили о социализме. А для кого мы его строим? Для всех, в том числе и для Лифера Овчинникова. Но дело даже не в этом. Страшно тут вот что. Чтобы напугать всех остальных, мы посадили его в тюрьму. Разве это справедливо? Скажем, чтобы укрепить партдисциплину, завтра возьмут и исключат из партии вас, товарищ Петров, как вы будете себя чувствовать?

Рымарева раздражал Максим. Мог бы как-то иначе сказать все это. А он ведет себя так, будто секретарь райкома ему ровня. Что это невоспитанность, бескультурье или сознательное нахальство? Ох и достукается же он!

— Та-ак, — сказал со значением Петров. — Так. Я думал, что вы, товарищ Родионов, возвели на нас клевету по недомыслию. Но теперь вижу нет. Вы преднамеренно искажали действительность. За это вас следовало бы изгнать из рядов партии. Лишь учитывая вашу молодость, можно ограничиться более легким наказанием строгим выговором. Как считаете, товарищи?

Все молчали. Слишком уж неожиданно и круто повернул секретарь райкома.

— Ну что же, раз возражений нет, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы товарищу Родионову за преднамеренное введение в заблуждение обкома партии объявить строгий выговор с предупреждением, прошу поднять руки.

Первым вздернул руку Ерема Кузнецов и с независимым видом оглянулся на Максима. Рымарев с лихорадочной поспешностью попытался тут же, за одно мгновение решить задачу с бесчисленным множеством неизвестных, но твердый взгляд Петрова торопил, и Рымарев медленно приподнял руку, приподнял, чтобы тут же горько пожалеть о своей опрометчивости. Абросим Кравцов так и не открыл глаз, его руки лежали на коленях, а самое главное, не голосовал Белозеров.

Петров явно не ожидал таких результатов.

— Товарищ Кравцов, вы что, спите? — хмуро спросил он.

— Не. Не голосую за такое дело. Неправое оно.

— А вы, товарищ Белозеров? Вы-то что?

— Я против. Не за что давать выговор Максиму. Там, в обкоме, он говорил правду. Было принуждение, и нечего нам отпираться!

— Чушь несете, Стефан Иванович! — Петров стал красным, даже по бритому черепу пошли розовые сполохи.

— Как же чушь? Лифер Иванович — это что? После суда над ним многие с перепугу в колхоз вступили. И все это знают. А Максиму вот что понять надо бы. Мы больно людям делаем не по злобе. Для их же пользы все. Пусть силой загнали в колхоз некоторых, пусть под страхом. Пройдет год-два, спасибо скажут. Вспомни, Максим, когда ты дитем был, отец тебя драл? Драл. Орал ты? Орал. И у меня то же самое было. И обида, и слезы были. А сейчас добром родителя помянешь. Не худому учил.

— Послушайте, товарищ Белозеров, вас самого надо обсуждать! У вас совершенно извращенные понятия о наших задачах.

— Обсуждайте. Я, товарищ Петров, не из пугливых. За дела и за слова свои перед кем хочешь отвечу.

— И ответите, не беспокойтесь! — Петров поднял короткий палец. — Ответите. А теперь, поскольку голоса разделились поровну, я думаю, вы разрешите мне принять участие в голосовании.

Рымарев понял, что настал момент исправить свою ошибку.

— Я не «за», я воздерживаюсь, — быстро сказал он.

— Вот как! Уж вам-то, Павел Александрович, бывшему работнику района, такая позиция вовсе непростительна. Хорошо, товарищи... Этот разговор мы продолжим на бюро райкома партии.

Даже не пообедав, Петров уехал в район. Рымарев каждый день ждал вызова на бюро, по прошел месяц, другой, а его не было, и Павел Александрович понял, что Петров по каким-то причинам решил замять это дело.

После обеда к Лучке Богомазову пришел посыльный: Белозеров вызывал в сельсовет. Лучка сказал «ладно», а сам подумал: «Идти или не идти?» С тех пор как вернулся из улуса, Белозеров то и дело вызывает. Выпил или на общем дворе что-то не так сказал шагай в сельсовет, выслушивай ругань Задурея. В последнее время плюнул на его вызовы. Много чести стоять перед ним навтыжку. Или сходить? Сказать ему, чтобы бросил эту моду вызывать. Есть охота лаяться сам приходи.

На улице пахло весной. С крыш свисали сосульки, белые, как стеариновые свечи; сугробы стали грязными и все были источены теплом; у заборов грели бока коровы; середь улицы подбирали вытаявшие зерна и деловито ворковали голуби. И так неохота стало Лучке идти в сельсовет, что он еле пересилил себя.

В кабинете Белозерова сидел человек в легком, городского покроя пальто, на коленях у него лежала кожаная полевая сумка, на ней шапка. Лучка остановился у двери. Белозеров сказал:

— Подвигайся ближе. Это агроном из района. Специально для тебя второй раз приехал. Первый раз ты не пришел, должно, нетрезвым был. Не могу понять, как можно в наше героическое время... — начал Белозеров свою обычную проповедь, но спохватился, круто сменил разговор: — Сказывай Анатолию Сергеевичу, что и мне про урожаи сказывал...

— Ученому человеку мои разговоры без интересу...

Лучка незаметно приглядывался к ученому человеку. Годов ему под сорок, взгляд серых глаз доверчивый, без хитрости, брови светлые, редкие, правая переломлена шрамом, от этого кажется, что агроном чему-то все время удивляется; волосы кудрявые, лежат на голове шапкой, солнечный свет прохватывает их насквозь, и они ярко пламенеют.

— Стефан Иванович мне о вас говорил. Вы ему, кажется, интересную загадку загадали.

— Какая там загадка! Лучка сел на стул. Про распыл добра говорил. Из года в год мужики раскидывают на пашне десятки пудов

зерна. Не каждое зернышко вернется ему тяжелым колосом. Попробовал я посчитать, что было бы, если б каждое семя взошло. Озолотиться можно.

— Я ему, честно сказать, не поверил. Его подсчеты-расчеты проверял и так и этак. Нет вранья. Кажется пропадают без пользы, если одну Тайшиху взять, тысячи пудов зерна. А если по району мерить? А если по стране? Жуть! — Белозеров глянул в лицо агроному. — Можно так сделать: сунул в землю зерно получи колос?

— В принципе, конечно, можно...

— Так научите, Анатолий Сергеевич!.. — Лука Федорович задал мне задачу, а сам в сторону. Убеждения не те у него.

— Все не так просто, Стефан Иванович. Одного желания и даже убеждения, — агроном чуть заметно улыбнулся, — еще недостаточно. Нужны знания. Но и их мало. Нужны новые сорта зерновых, новая агротехника, удобрения. Работа на десятки лет.

— На десятки? — разочаровался Стефан Иванович. — Скоро у нас тракторы будут. Земля от края до края наша. Да если мы будем волюнить десятки лет...

— Волюнить, — разумеется, нельзя, сказал агроном. — Дело это надо начинать прямо хоть завтра. На заимках у вас горы перегноя. Вывозите в поле, удобряйте землю.

— Все это не то! — решительно проговорил Белозеров. — Подумаешь, невидаль — навоз! Нам другое нужно.

— Что? — спросил агроном.

— Если бы я знал!

С разговором получилась заминка. Лучка понял: настало время сказать агроному главное, не то очухается Белозеров, слова выговорить не даст.

— Анатолий Сергеевич, я про пшеницу говорил так, примера ради. На уме у меня другое... — Лучка замолчал, почувствовав, что ему не хватает слов высказать сокровенное так, чтобы было понятно и не смешно. — Хлеб худо-бедно родится. Но бог нас совсем обделил такой фруктой, как яблоко. Вот что у меня на уме. Хочу я всяких деревьев понавыписывать да приживить...

— Ну, Лука Федорович, ты все равно как умом тронутый! — недовольно воскликнул Белозеров. — Яблоку ему захотелось! Чепуховина все это. Нам пока бы того достигнуть, чтобы у каждого

калач был на столе. А ты про яблоки! — И едко: — Оно, конечно, когда жратвы всякой до отвала, на яблочку потянет.

Обидный намек, нестерпимый при постороннем человеке, Лучка проглотил молча, отвернулся к окну. На заборе, словно старуха в черной шали, сидела ворона, и ветер перебирал перья ее короткого хвоста.

— Я не согласен с вами, Стефан Иванович, — сказал агроном. — Яблоки не прихоть. Хорошо, когда калач на столе, но еще лучше, если и к калачу что-то есть.

— Пусть не прихоть. Да разве вырастет что-нибудь такое! Мороз как трахнет, так одни сопли от яблочков останутся.

— Ну почему же... Я некоторое время жил в Красноярске. Климат там вряд ли мягче, чем здесь, но яблоки вызревают.

— Это правда? — обрадовался Лучка. — Это точно, что растут?..

— Да. Есть там один человек, занимается садоводством лет двадцать пять. Не знаю, жив ли он сейчас. Уже тогда, лет шесть тому назад, он был стареньким.

— Пойдемте ко мне, Анатолий Сергеевич, поговорим обо всем неспешно! Пойдемте! — заволновался Лучка. — Я же все знать хочу про это!

Агроном вопросительно посмотрел на Белозерова.

— Смотрите сами... — буркнул Белозеров, видно было: не хочет отпустить агронома.

И Лучка, умягчая его, сказал:

— Ты тоже иди с нами. Вечер на носу...

Конечно, Лучка приглашал Стефана Ивановича против своей воли. Не даст Белозеров поговорить с человеком, потянет разговор совсем в другую сторону. Лучше бы он отказался, черт лупоглазый! Так нет, собрался. Ну, не досада ли! Когда подошли к воротам дома, за стеклом окна промелькнуло испуганное лицо тещи, выглянула и скрылась за косяком Елена. «Дикари и дуры ошалелые!» со злостью подумал Лучка. Помня, на что способна его Елена прекрасная, как только зашел в дом и усадил гостей, поманил ее пальцем в сени.

— Если ты мне устроишь ту же штуку, что с Батохой, угроблю. Этот мужик хотя и не семейский, принимай его, будто он твой брат родной! Поняла?

— Ну?

— Да не нукай и не ходи дождевой тучей. Вся моя жизнь от этого человека в полной зависимости. Поняла?

— А кто он?

— Агроном.

— Это как понимать, большой начальник?

— Тебе это понять не по силам. Тут маловато, — Лучка постучал пальцем по лбу жены. — Смотри, Елена!

— А чем угощать, самогонкой или городским вином? Есть у меня в запасе.

— Зажилила от меня? Давай... Ну, все.

— Лука, а Лука... — Елена снизила голос до шепота. — К нам Ферапонт пришел.

— Какой Ферапонт?

— Ну, уставщик. Из тюрьмы его выпустили по немощности.

— Где он?

— Да за печкой сидит. Увидели вас и от греха подальше затолкали, бедного.

— Тьфу! Гони его к едреной матери! Сейчас же гони!

— Ты что, бог с тобой! Он же маме моей родня, он же уставщик наш. Ты что говоришь-то?

— Гони! К чертовой бабушке его. Вся твоя родня и так у меня в печенке сидит.

— Сдурел, Лука... Куда же его погонишь, когда люди в избе?

— И верно. Ну, скажи ему, пусть там не шебаршит! Ни звука чтобы!

Немалых усилий стоило Луке скрыть от гостей свою досаду и злость на глупых баб, на Ферапонта, который, будто на вред, пришел ни раньше, ни позже, как раз в такое время, когда и духу его тут быть не должно. Попробуй, поговори душевно, если знаешь, что в четырех шагах, в закутке, как таракан в щели, сидит духовный пастырь и оттопыренными ушами каждое слово ловит. А тут еще Стефан Иванович задурейство свое на вид выставляет. Взял бутылку с водкой, поколупал бумажную наклейку ногтем, дернул губы в усмешке.

— С запасцем живешь. Уберег...

Такая уж натура у этого человека. Теряет всякую разумность, когда что-нибудь напоминает ему о былой силе крепышей. Пить он отказался.

В желудке, мол, что-то не того... Но Лучка знал: Белозеров просто не хочет, и это задело больше, чем все его подковырки.

— Ты что куражишься? Брезгуешь? За каким же хреном шел сюда?

— Я не пить шел.

— Тебя никто и не напаивает. Уважая гостей, мы стол собрали. Но и ты, будь добр, уважь хозяев. Так у нас исстари ведется, Стефан Иванович.

— На Руси обычай такой: гость плохой, коль не хмельной! — засмеялся агроном, поднял стакан с водкой. — Конечно, мы выпьем. Но сразу условие — по первой и последней.

Глядя на него, выпил и Белозеров. Пить он не умел. Глаза выпучил, будто кол проглотил. Лучка даже пожалел его. Пошутил:

— Вот бы яблоко-то где пришлось впору. А, Стефан Иваныч?

— Не знаю. Пробовать не приходилось.

— Хорошая, брат, штука! Особливо моченое... А красота какая, когда сады в цвету. Деревья белые-белые, будто в мыльной пене. Не видел ты всего этого, Стефан Иваныч, оттого и меня за рукав держишь. А ты поверь мне... Жизнь положу, но своего добьюсь. Вот Анатолий Сергеевич меня своей наукой подопрет.

— Сады, к сожалению, не моя специальность. Когда-то я, правда, немножко увлекался и этим. Тоже мечтал о садах в Сибири. Но сейчас не до них. Кочую из сельсовета в сельсовет. Надо внедрять культуру в земледелье. Это очень важно сейчас. И знаете, о чем я думаю, Стефан Иваныч? Назначьте вы Луку Федоровича инспектором по качеству.

— Это кто такой, инспектор? — спросил Лучка.

— Вы будете следить за качеством работы. Где как вспахать землю, на какую глубину, как засеять ваша забота.

— А и верно! — обрадовался Белозеров. — Как раз твое дело, Лука Федорович. Уж ты нигде огреха не оставишь, никому не дашь плугом поверху буруздить.

— А как же сады?

— Сады? — агроном запустил пальцы в мягкие свои кудри. — Мы сделаем так. Я напишу в Красноярск, попрошу, чтобы выслали саженцы. Посадите их дома, будете ухаживать, наблюдать. Потом... потом увидим, что делать дальше.

— Во, это дело! — одобрил Белозеров. — А то ты клонишь вроде бы к тому, чтобы тебя посадить на эти самые яблони, как насадку на

яйца, и ждать, что высидишь. А в колхозе каждая пара рук на учете, дел по ноздри.

Проводив гостей, Лучка постоял на улице. Небо было затянуто серой наволочью, в ней, как светляки в тумане, меркли редкие звезды. Домой идти не хотелось. Там этот Ферапонт, прошлое, которое живет и дает о себе знать.

Ферапонт встретил его умильной улыбкой, будто рад-радешенек был этой встрече. Тюрма пошла ему не на пользу. Щеки, когда-то румяные, пышные, как праздничные мякушки, опали, посерели, борода лохматилась, словно шерсть на линяющем медведе.

— Ну что, еще будешь свергать Советскую власть? — не без злорадства засмеялся Лучка.

— Прости тебя бог за то, что возрадовался стариковской беде. И голос у Ферапонта не гудел, как в прежние времена, звучал мягко, печально. Окончательно замутили вам разум оглоеды, нечестивцы, богом проклятые. Слышал, позволяешь брату единоутробному поганую девку в бабы взять? Печать Каина ляжет на него и на весь род...

— Давай, старик, про другое... Надолго к нам в деревню?

— Поживу...

— Ну, поживи. Только не в моем доме. Грешен я, табачишко курю. Оскверню тебя ненароком. А лишний грех брать на душу, когда и без того его полно, зачем?

— С каких пор дом твоим стал? — заскрипела теща. — Шибко не хозяйничай.

— С этих самых пор и до тех, покуда жив буду.

Утром Ферапонт ушел и поселился, по слухам, у Лифера Овчинникова. А старуха-теща с неделю не разговаривала с Лучкой, сердилась. Елена на этот раз помалкивала.

В начале мая агроном привез саженцы, выбрал на огороде место, помог Лучке высадить. Утром, прежде чем идти на работу, Лучка забегал на огород. Саженцы беспомощно топорщили над холодной землей тонкие голые веточки. Он осторожно ощупывал их, будто хотел ощутить под буровато-зеленой корой ток живительных соков земли.

А весна была не ласковая. По небу без конца волочились угрюмые тучи, роняя холодные капли дождя, из степи часто налетал задиристый ветер, и тогда саженцы мелко дрожали, напоминая Лучке иззябших ребятишек. «Пропадут!» вздыхал Лучка.

Бессильный что-либо сделать, мрачный уходил он с огорода. С новой работой, с инспекторством, тоже было мороки порядочно. Многие мужики, особенно из недавно принятых в колхоз, рачительные на своем поле, на артельной пашне работали спустя рукава, хуже, чем на чужого дядю. Чуть недогляди, обязательно найдется хитрец, который пустит плуг на половину требуемой глубины и похаживает за ним, посвистывая. Легонько, без надсады норму выполнит, фамилия на доске Почета красоваться будет, а вырастет ли что на его пашне, о том заботы нету. Лучка никак не понимал такого изгальства над землей, честил ловкачей на все корки. Немало крови ему попортил Лиферов сын, Никита. Длиннорукий, с круглой головой, вдавленной в плечи, Никита был молчаливым и злобно-упрямым парнем. Заметив первый раз его ловкачество, Лучка сам установил лемеха плуга на нужную глубину. Но приехал на другой день, по-старому пашет.

— Ты что делаешь, паразит? Ты крестьянин или кто?

— Как велел, так и пашу. Я глубину не переставлял, нахально врал Никита. Теперь я подневольный, кто что скажет, то и делаю.

— Ты просто свинья! Это же земля, кормилица людей, а ты, остолопина, над ней надругаешься! Смотри у меня! Лучка взял из рук Никиты бич, на черешке-лопаточке сделал зарубку. Вот на эту глубину и паши.

Несколько дней Никита пахал ладно, и Лучка стал реже заглядывать к нему. Однажды целый день не был, завернул лишь под вечер. У Никиты вспахано раза в полтора больше, чем обычно. Притомленные лошади стоят в конце гоней, Никита лежит возле плуга на спине, отдыхает. Увидев Лучку, он сел, облапил колени длинными ручищами, смотрит недобро.

Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: Никита опять взялся за свое.

— Я что тебе говорил, сукин ты сын?! — порохом вспыхнул Лучка.

— Ты мерку дал. Вот она...

Лучка взял бич. На мерке была зарубка, та самая, но конец черенка отрезан, так что мера глубины вспашки убавилась вдвое.

— Ах ты, сопляк! Ты кого обманываешь?! — Лучка взмахнул бичом, и узкий жгут ремня резанул поперек согнутой спины Никиты. Вот тебе мерка!

Будто вскинутый пружиной, вскочил Никита и с кулаками полез к Лучке. Совсем рассвирепел Лучка.

— Только подойди, горло вырву!

Тяжело дыша, Никита остановился.

— Продажная шкура!.. Июда!

— Я тебе вот дам шкуру! Сделай так еще разок, я те покажу, почему стоит гребешок! — Лучка бросил бич. — Перепаша все заново.

К концу мая потеплело, небо очистилось от нагоняющих тоску туч, из согретой солнцем земли полезла трава. Лучка заметил на трех саженцах набухшие почки, а через несколько дней на веточках засветлели листочки; еще полностью не развернутые, влажные, они чуть заметно трепетали, совсем как огоньки свечей; Лучка елозил на коленях перед деревцами, дул на живое пламя и блаженно улыбался. Давно уже у него не было на сердце так радостно.

Из двенадцати саженцев взяли только три, остальные засохли. Но Лучка до половины лета не выбрасывал их, все надеялся, что они оживут.

На бугре возле мельничной плотины лежал расколотый жернов. Он лежал тут с незапамятных времен. Шершавая плита камня потемнела, зарубки набоек сгладились, трещина была забита землей, и в ней росла мягкая густая трава; рядом стояла старая ель, когда к мельнице пробивался низовой ветер, она слегка поскрипывала, будто жалуясь на свою старость. Вечерами на жернове Игнат любил отдыхать, неторопливо раздумывая о жизни. С наступлением полевых работ люди на мельницу приезжали совсем редко. Ему давно хотелось перебраться в деревню, но бригадир Абросим Кравцов попросил приготовить к сенокосу побольше вил и граблей. Игнат с охотой взялся за работу. Утром уходил в лес добывать березу, годную на поделки, после обеда распаривал и зажимал в колодки рога вил, выстругивал зубья грабель. Вечером, усталый, садился на камень, слушал шорохи леса, смотрел на ровную гладь труда и думал, думал...

Одиночество, такое желанное раньше, все больше тяготило его, и все сильнее, неизбежнее становилась тоска по иной жизни. Иногда казалось, что зря он томит себя думами, ведь это так просто пойти к Настюхе и разом все решить. Но ходу этим мыслям не давал. Боялся, что так и сделает. Примет его Настюха, не оттолкнет, только примет, скорее всего, не по душевному влечению, а по слабости женской (даже ему, мужику, одному тяжко, каково ей, бабе?), примет, но жизнь не склеится, и принуждены будут они мытарить друг дружку или расстаться навсегда. Тогда даже и надежды не останется, все уйдет в прошлое, все будет позади...

Жизнь катилась, не задевая его, счастливая и горестная вместе, одаривала людей радостями, приносила печали, тревожила и умиротворяла. Гасли прежние споры мужиков, разгорались другие, исчезали старые заботы, появлялись новые. Колхоз, о котором так много толковали, живет уже не первый год, хотя до сей поры кое-кто предрекает ему развал и гибель. Но все это как бы и не касается его.

Бежит время. Давно ли, кажется, родился у Максима Митюшка, а уже и на ноги встал, бегает, разговаривать начал. И у Корнюхи парень родился.

Был у него недавно Корнюха. Приехал не с помолом, просто так, в гости. Из тулуна вывалил на стол ковригу ржаного хлеба, кусок сала, поставил бутылку водки.

— День рождения у сына... — Большим охотничьим ножом развалил сало на толстые ломти, налил водку в кружки. — Подвигайся. Дробалызнем за хорошую долю парня! Я дома уже приложился. Да одному что-то не идет. Про тебя вспомнил...

— Максю бы позвал.

— А ну его. Как сойдемся, так спор. Надоело!

— Что вы делите, понять не могу, — вздохнул Игнат. — Братья же...

— Бестолочь он... Ну, поехали, — Корнюха выпил, насадил на конец ножа ломтик сала, разжевывая, невнятно сказал: — Из партии чуть было не выперли, а ему все неймется.

— Чуть было не считается...

— Дорыпается, и выпрут. Говорю ему: сиди тихо-смирно. Да куда там, активный! Наскребет на свой хребет, вот увидишь. На меня небось ни одна собака не гавкает. Не высовываюсь... Для себя своего умишка хватает, а учить других нет надобности.

Долго языком чесал Корнюха. И все о себе да о том, как он жизнь здорово понял. Говорил и с аппетитом уплетал сало. Выговорился, Игната похвалил:

— Ты, братуха, молодец! В стороне от всякой бяки, сам но себе, сам для себя... Только одичал ты тут. На колдуна начинаешь смахивать. Женись, Игнаха... Без домашности тусклая твоя жизнь будет.

Не в радость была Игнату хвастливая речь Корнюхи. Не нравилось и то, что сидит он за столом этаким хозяином, неприятно было, как ладонью вытирает блестящие от сала губы...

Проводив брата, целый вечер думал о нем. Жернов за день нагрелся на солнце и долго был теплым. Шумела вода, сбегая из пруда мимо колеса по отводному желобу; из глубины падей вместе с сумерками поднималась сырая прохлада, на белых копнах облаков розовели отблески зари; над головой с шелестом разрезали воздух дикие утки и тяжело плюхнулись на воду; испуганно рявкнул гуран, эхо многократно повторило его рев; от речки потягивало сладким угаром цветущей черемухи. И совсем не хотелось Игнату думать о брате худо, с осуждением. Нашел парень свое душевное успокоение вот и ладно.

Пусть живет, как ему глянется. Может, в этом и суть вся, что не надо слишком много думать о том, что было, и о том, что может быть. Зачем тому же Корнюхе волочить за собой память о прошедшем, помнить, что есть на свете человек, которого переехал телегой своей жизни? Сумел отцепить тяжкий хвост что ж, хорошо, радуйся этому. Вот у него так не получается. Нет-нет и вспомнит погибшего брата Макара, и Стигнейку Сохатого память не обходит. Для чего было все это? Для того, чтобы Корнюха не скупыми ломтями ел сало?.. Для того, чтобы он, Игнат, сидел на треснувшем жернове, никому не нужный размыслитель о жизни, и проводил время в тоске о несбывшемся? Наверно, и для этого тоже, по больше для того, чтобы всяк человек на земле счастливым себя чувствовал. Только такую плату можно принять за кровь Макарши и тысяч других хороших ребят. Но счастья для всех не хватает. В одиночестве проводит свою молодость Настюха, жестко правит деревенским миром беспокойный Стишка Белозеров, мучает себя за других Максимка. И каждому из них для счастья нужно совсем не то, что другому. Нет одной меры на всех. А может, и есть такая мера, да не нашли ее еще люди, может, потому-то и мучаются, что найти не могут? Как понять все это?

В конце лета на мельницу неожиданно появился Ферапонт. Пришел с котомкой за плечами и костылем в руках смиренный и тихий, как божий странник.

— Хожу, сынок, по добрым людям, питаюсь чем бог пошлет.

— Где дети-то твои?

— А там... — он неопределенно махнул рукой. — Тебя вот вспомнил. К вере нашей, памятую, привержен был. Веруешь ли?

Давно Игнат забросил святое писание, не отыскав в нем ответа на бесчисленные вопросы, и не молился уже, как раньше; просто нес в душе надежду, что со смертью человека не все кончается, остается его дух никак невозможно, чтобы ничего не оставалось, не может этого быть.

— Что молчишь, сынок? Спрашиваю: веруешь ли в господа бога, создателя всего сущего?

— Ну, верую, — с неохотой сказал Игнат.

— Слава те господи! Ферапонт истово перекрестился. А многие мужики совсем обасурманились... Когда встречу истинно верующего, в душу светлая радость вливается...

— Как выпустили... оттуда-то?

— На что я им, когда на краю могилы стою. Срезали колос, вышелушили зерна...

Старик сидел на берегу пруда, опустив босые ноги в прозрачную воду, шевелил пальцами, взмучивая ил, поднимая со дна гнилые стебли осоки.

— У кого живешь?

— Где придется. Больше у Лифера Иваныча. Он тоже настрадался от детей антихристовых, понимает. Переменился народ, Игнатий. Посмотрю, и душа плачет. Не остается благочестия, греховными помыслами люди переполнены. Господи, мог ли я думать когда-то, что меня, пастыря веры нашей, будут гнать от порога дома, как пса смердящего!

— Кто же это так?..

— Э-э, сынок, есть нечестивцы. Великое испытание наслал на нас господь. Но кончится оно, и примут погрязшие в грехах страшную кару, воздаст им праведный за все безумства! В голосе Ферапонта слышались прежние рокочущие нотки. Помни об этом, сынок, не давай соблазнить себя погубителям душ, противься силе нечестивых.

Игнат косо глянул на старика. Не такой уж он смиренный, каким прикидывается. И сразу вспомнился Сохатый, и мертвый Лазарь Изотыч. Глухо спросил:

— Чему же мне противиться? Живу по своему разуму.

— По своему ли? Всех православных, будто скотину, в стадо сгуртовали. Мало того, скоро на ноги железные путы наденут, взнуздают стальными удилами.

— Зря ты, старик, такие сказки рассказываешь. Отпустили тебя, ну и живи потихоньку, молись богу за себя и за других, не баламуть добрых людей.

— Вон как? — старик молодо и остро посмотрел в лицо Игнату. — А говоришь, верую. Как же можно верить и терпеть надругательство над верой? Иконами печи топят, на нехристях женятся, имущества лишают... Где же у тебя глаза, Игнатий?

— Иконы из домов силой выкидывают плохо, что и говорить...

— Кругом насилие, разбой! — не дав договорить Игнату, спешил все выложить Ферапонт. — Кругом беззаконие! Эх, Игнатий, Игнатий,

очнись, погляди!.. За что Лифер Иванович разграблен? За что меня всего лишили?

— Ты с Лифером себя не равняй! Он одно дело, ты совсем другое. Кто, как не ты, науськивал Сохатого? Вот уж кто был насильник и грабитель! Волком рыскал по земле... А кровь Лазаря Изотыча на чьих руках? Об этом ты помалкиваешь? А то, что вечно голодные ребятишки таких мужиков, как Петруха Труба, впервые досыта хлеба наелись, тебя не касается? А то, что одинокой бабе, такой, как Настюха Золотарева, колхоз стал опорой и защитой, не видишь? Игнат говорил медленно, не повышая голоса, сдерживая вспыхнувшее вдруг раздражение. — Ты брось, старик! Хватит смут. И крови хватит.

— А кто хочет смут и крови? — Ферапонт вытащил из воды ноги, обтер их травой, стал обувать ичиги. — Ты что-то, Игнатий, недопонял.

— Все понял, слава богу, битый.

— Я же просто хотел умственно порассуждать. Тишина тут, благодать, душе успокоение... Ферапонт снова говорил тихо и гасил веками огоньки в глазах. — Пришел к тебе пожить, отдохнуть от суеты мирской, лесным духом здоровье наладить. Но вижу, не примешь.

— Живи, если хочешь. Не тесно.

— Спаси Христос! Поживу...

Пробыл Ферапонт на мельнице несколько дней. Подолгу молился, бил поклоны, касаясь лбом щербатых половиц зимовья, снова и снова втягивал Игната в разговор о греховности нынешней жизни, но тот больше отмалчивался. Игнат считал, что в первый день сказал ему все, что надо было. Он обрадовался, когда старик надел котомку и взял в руки палку, но из вежливости сказал:

— Живи, куда торопишься?

— Пойду, — вздохнул Ферапонт. — А ты, Игнатий, слова мои из головы не выкидывай.

Опираясь на палку, он тяжелым шагом пошел по дороге. Его ичиги взбивали серую пыль, и она оседала на свежую зелень обочины, на головки лесных цветов...

Осенью Игната вызвал Рымарев. С мельницы в Тайшиху он пришел поздно вечером, почти во всех домах уже погасли огни, но окна конторы колхоза еще светились. Игнат решил сразу же и зайти.

В конторе был один Рымарев, и тот уже собрался уходить, запирали свой кабинет.

— Ты что так поздно? — удивился он. — Садись... Тебе не надоело на мельнице?

— Ничего... Привык.

— Дело, Игнат Назарыч, такое... Человек нужен. Заведовать животноводством. Абросим Николаевич вас рекомендовал. И Стефан Иваныч одобряет...

— Какой из меня заведующий...

— Вы не отказывайтесь. Трудное у нас положение. Сена заготовили мало: хлебоуборка подперла.

— Страду закончили?

— В основном да. Почти весь хлеб в амбаре, скоро распределять будем. Хлеба тоже немного. Тяжелый год будет. Концы коротких усиков Рымарева скорбно опустились, — Пожалуйста, не отказывайтесь.

— Подумать надо, с братом, с Максьюхой, посоветоваться.

— Мы хотели его, Максима Назаровича, назначить. Но на заимках надо жить все время, а у него семья. Рымарев говорил это так, словно оправдывался перед Игнатом.

— Завтра утром приду и скажу.

— Ну, хорошо, — Рымарев погасил лампу, закрыл на замок двери конторы. — Думаю, мы с вами договоримся.

Рымарев пошел домой по улице, а Игнат свернул на прямую тропку, протоптанную вдоль забора, огораживающего колхозные склады. Ночь была темная, на небе ни звездочки. Он ничего не видел перед собой и придерживался рукой за жерди забора. Вдруг-впереди вспыхнул и погас огонек. Игнат подумал, что кто-то идет навстречу и на ходу закуривает. Но огонь вспыхнул снова, пламя вдруг взметнулось, осветив угол амбара, бревна, сваленные возле него. От огня к забору метнулся человек. Поджигатель!

Игнат бросился к нему, и в тот момент, когда человек перевалил забор, оказался рядом, мельком увидел бородатое лицо, диковатые от испуга глаза, что-то крикнул и прыгнул на него. Покатались по земле, с треском разрывая одежду. Игнат больно ударился головой о что-то твердое камень или мерзлый ком земли в ушах зазвенело, и он ослабил руки. Поджигатель, отпустив его, вскочил, хотел бежать, но Игнат вцепился ему в полу, рванул изо всех сил, повалил, сел верхом. За спиной кто-то засопел. Игнат хотел обернуться, но страшный удар по

голове опрокинул его на землю. Еще один удар по плечу, он почувствовал хруст кости и потерял сознание.

...Над головой, как детская вертушка на ветру, крутился белый потолок то медленно, то с быстротой, от которой начинало тошнить и становилось страшно. Он кричал изо всех сил, но никто не отзывался, а крик катился, затихая, как эхо в лесу. Становилось легче, когда потолок исчезал, а перед глазами начинал плавать густой плотный туман, он клубился, никуда не уходя, сквозь-него иногда проглядывали лица незнакомых людей женщина в белой косынке, мужчина с большим носом. Однажды из тумана выплыло худое лицо с огромными глазами и редкой бородой лицо с иконы: «Ну что, теперь уверовал?» Игнат все понял. Вот, оказывается, как оно бывает... Совсем просто. И ничего хорошего. Ему стало до слез жаль, что не увидит больше Настю, Максима, маленького племянника Митьку, тихий пруд у старой мельницы ничего, что дорого сердцу, и было все равно, что подумает человек с вопрошающим взглядом больших глаз, сказал ему отрешенно: «Уйди». Исчезло лицо, растаял туман, над головой снова вращался потолок и вместе с ним чьи-то скорбные лица. Да это же Максим! И Корнюха. А вот и Настя. И большеносый в белом халате тут же...

Впервые пришел в себя Игнат ночью. Увидел гнутую спинку железной кровати, стену, беленную известью, черный проем окна, потолок с желтым пятном света от лампы и самую лампу на стуле возле кровати. Сразу же вспомнил, что с ним случилось, повернул голову, и тотчас раскаленная игла прострелила мозг, закачался и пошел давать круги потолок все быстрее, быстрее, потом вдруг все оборвалось.

Утром очнулся снова. На стуле, где ночью стояла лампа, сидел большеносый человек в белом халате и белой шапочке, держал Игната за руку.

Пульс семьдесят шесть, кому-то сказал он и осторожно положил руку на кровать, встретился взглядом с глазами Игната, улыбнулся: — Как себя чувствуете?

Игнат хотел ответить, но из горла вырвался какой-то хлюпающий звук, и доктор протестующе замотал головой.

— Молчите. Положение у вас прекрасное. Но молчите!

— Давно... здесь?

И снова боль прострелила голову, снялся с места потолок... Игнат успел только услышать: «Двенадцать дней», а на удивление уже не осталось времени.

К нему долго никого не пускали. Просыпаясь, он осторожно открывал глаза, со страхом смотрел на потолок. Вращался он все реже и реже. Не напрягая голоса, уже мог произнести несколько слов, слегка поворачивать голову. Стал чувствовать боль в правом плече, закованном в гипс. Доктор, появляясь в палате, радостно улыбался, хвалил отменный организм Игната, но на просьбу пропустить кого-нибудь из своих отвечал отказом:

— Увидитесь еще!

За окном несколько раз падал снег. Сторожиха вечерами приносила в палату огромную охапку сухих поленьев, стараясь не шуметь, затапливала печь. В трубе «голландки» на разные голоса гудело пламя, поленья потрескивали, красный свет, пробиваясь сквозь дырочки в чугунной дверце, плескался на белой стене у подоконника. Игнат вспоминал другой огонь, ярко вспыхнувший в темноте ночи, человека на заборе, лохматого, с длинными руками. Сгорел или нет амбар? Там же почти весь колхозный хлеб... Спрашивал об этом у доктора, но тот махал руками.

— Не думайте ни о чем таком! Запрещаю! Вам надо думать о приятном. Вспоминайте что-нибудь хорошее, веселое.

Да, лучше, конечно, вспоминать что-то хорошее. Что было хорошего в его жизни? Почти ничего. Даже в детстве. Едва научился

держаться верхом на коне, отец заставил бороться, возить копны на сенокосе, а наступит зима и вовсе одна маета. Утром чуть

свет беги задавать корм скотине, позавтракал чисти стайки, пообедал пили дрова, поужинал становись на колени и бей начала, молись милостивому заступнику сирых и убогих. Чуть что не так, отец без разговоров ремнем по спине. Нет, мало хорошего было в детстве. А позднее? И вовсе вспомнить нечего. Теперь при колхозной жизни хоть детишкам будет какое-то послабление... Только бы ладно все шло. Остался ли хлеб целым? Какое горе ляжет на всю деревню, если амбары сгорели. Во время утреннего обхода доктор спросил:

— Боли вас не беспокоят?

— Нет.

— Я к вам пропущу двух товарищей. Но не надолго. Постарайтесь на их вопросы отвечать кратко.

В палату вошел Стефан Белозеров и с ним рыжий, как огонь, молодой парень.

— Ты прости, Назарыч, что тревожим... — Белозеров сел на стул, виновато, с состраданием вглядываясь в лицо Игната. — Товарищ следователь. Ты узнал, кто тебя... ну это вот самое?

— Амбар сгорел?

— Нет, отстояли. Одна стена чуть обгорела... Успели... Игнат закрыл глаза, улыбнулся, почувствовав огромное душевное облегчение.

— Вы узнали того, кто поджег амбары и покушался на вашу жизнь? — Рыжий следователь, положив бумагу на подоконник, приготовился писать.

— Темно было...

— Но огонь уже горел?

— Горел.

— А вас нашли в шести метрах от огня. Следовательно, при свете пожара вы вполне могли разглядеть врага! — словно упрекая Игната, сказал следователь.

— Мог бы, а не разглядел.

— Но вы видели поджигателя?

— Видел.

— Один был?

— Одного видел.

— В чем он был одет? Молод, стар? Высокий, низкий? Есть ли особые приметы?

— Говорю: темно было.

— А огонь?

— Что огонь? Огня было как раз столько, чтобы отличить человека от столба.

— На вас была изорвана одежда. Судя по этому, вы боролись с преступником? Да?

— Было.

— Не запомнили ли вы каких-то слов или хотя бы голос?

— Он не подавал голоса.

— Не нанесли ли вы ему какое-нибудь увечье оцарапали, ушибли?

— Да нет, не сумел.

— Жаль! — рыжий спрятал бумагу и карандаш. — А мы на вас так надеялись!

Белозеров пожал левую, здоровую, руку Игната.

— Поправляйся. Доктор говорит, скоро на ноги встанешь. Что тебе нужно для подкрепления здоровья? Ты говори, колхоз ничего не пожалеет. Надо будет, в город пошлем человека, закупим...

— Мне хватает казенного харча. Спасибо. Скажи доктору, чтобы моих допускали. Максюхе передай: пусть парнишку своего захватит, когда поедет.

— Холодно, Назарыч. Замерзнет мальчишка.

Игнат взглянул на окно, на поленницу дров, придавленную снегом.

— И то... Тогда не говори... Животноводом кого назначили?

— Максима.

— Его все ж таки... Лучше бы Корнюшку, он здоровый.

— Отказался.

— Ну да, он не пойдет... Стефан Иваныч, там Настя... Ну, Лазаря сестра... — Игнат хотел попросить, чтобы ее, если она соберется его навестить, не задерживали бы и коня съездить в район дали, но постеснялся и сказал другое: — Одна она... Таким помогать надо. На то колхоз...

Очень хотелось с Белозеровым потолковать о разных деревенских делах и новостях, но за спиной Стефана Иваныча нетерпеливо перебирал ногами, обутыми в сапоги на подковах; следовательно, утративший всякий интерес к Игнату, и он сказал:

— Идите же... Ты в районе, Стефан Иваныч, бываешь часто. Забегай...

Игнат никак не мог решить, ладно ли сделал, не рассказав всего следователю. А вдруг да выйдет то же самое, что было с Сохатым? За все, что успеет натворить озлобленный человек, придется отвечать перед своей совестью, перед теми, кому принесет он несчастье, и никакое раскаяние не искупит тогда вины...

Думая так, Игнат готов был позвать доктора или сестру, попросить, чтобы они прислали следователя, но каждый раз его останавливало одно что, если ошибся? Ведь в таком случае все, что он скажет, будет злостным наветом, чужая вина ляжет на человека, который, может статься, даже и не помышлял ни о чем подобном.

С нетерпением ждал Максима. Правда, Игнат был не совсем уверен, надо ли вовлекать в это дело брата. Без того он весь издерган. А главное, легко ли Максиму решить, где находится истина, попробуй реши, если своими глазами ничего не видел, будет парень зря мучить свою совесть.

Максим приехал вместе с Корнюхой. Привезли ему по узлу всяких сладостей, кучу поклонов и приветов. Они не охали и не ахали над ним, и это было Игнату приятно, и было радостно видеть их, словно встретился после долгой-долгой разлуки. Максим, посмеиваясь, рассказывал о проказах хулиганистого Митьки. Игнат тоже тихо смеялся, но за всем этим, за радостью и смехом, стояло беспокойное сказать или не сказать?

Зашла молодая строгая сестра.

— Время, товарищи, вышло.

— Сейчас... сказал Корнюха. Иди... Кто тебя зашиб, братка? Ты скажи... Любому голову скручу. Еще не было того, чтобы нашу родову забижали.

Корнюха стоял в ногах у Игната, навалившись грудью на спинку кровати. Поперек переносья жесткой зарубиной легла морщина. Ох и тошно будет тому, кто пересечет Корнюхе дорогу, он и верно любому голову оторвет... Максим сворачивал папироску и исподлобья, выжидательно смотрел па Игната. Сказать или не сказать? Нет, ничего пока не надо говорить, тем более при Корнюхе.

На другой день приехала Настя. Тихо приоткрыв дверь, вошла в палату, глянула на него и в испуге округлила глаза.

— Какой же ты худой и страшный, Игнат! — она наклонилась над ним, холодной рукой убрала со лба волосы, поправила одеяло. — А Максимка врал: ничего.

— Ничего и есть. Теперь-то я очухался.

— Мы были, когда ты в беспамятстве лежал... Она взяла его за руку, ласково погладила. Господи, ногти-то отрастил! Пойду, ножницы попрошу.

— Не надо, Настюха. Сиди. Нет, надо. Я же за тобой глядеть приехала. Буду жить, пока не подымешься.

— Выдумывай! Так тебе и разрешили...

— Уже разрешили. Стишка обо всем договорился. Вызвал меня и сказал: тебе от колхоза задание.

— Не надо мне ничего такого! Не хочу я, Настюха.

Он и в самом деле не хотел, чтобы Настя возилась с ним, слабым, беспомощным, нет, никак не должна она видеть его таким. А Белозеров-то... Вот и возьми его за рубль двадцать...

Настя принесла ножницы, остригла ногти, выпросила еще одну подушку и приподняла изголовье.

— Так удобнее тебе будет, — уверенно сказала она. — Не больно? — И верно, лежать на высоком изголовье было удобнее, легче.

— Спасибо, Настенька. А все-таки ты отправляйся домой. Кто за твоим домом смотреть будет?

— А Татьяна? Ты ни о чем не думай. И не говори лучше ничего.

Так и осталась жить в палате. Спала на сдвинутых стульях, днем сидела у кровати, вязала варежки либо читала букварь. Жаловалась:

— Второй год долдоню, а все без толку.

— Как же без толку? Получается.

— Где уж там... Ты послушай, как Татьяна читает.

— Ее раньше Максим научил...

— А Устинья Корнюшиха? Я самая отсталая. Что, не веришь?

— Правда.

— Ты как... с Устиньей-то? — решился спросить он.

— Так же, как и со всеми, просто сказала она, в ее карих, с крапинками глазах лишь на короткое мгновение угасли живые искорки. На всем том я давно поставила крест. И все теперь так далеко от меня, что вроде и не со мной было. Теперь я совсем другая.

— Постарела? — пошутил он.

— Поумнела. Ну и постарела, наверно. А ты все такой же.

— Такой же, — согласился он. Хотя, наверно, и плохо это.

— Не знаю... По-моему, совсем не плохо.

Она прожила у него почти три недели, уехала, когда он начал самостоятельно передвигаться и его перевели в общую палату. Через полмесяца Настя появилась снова.

— Ну все. Хватит бока отлеживать, собирайся. Доктор хотел тебя еще с недельку продержать, да я уговорила. Дома тебе будет лучше.

На улице, хлебнув студеного воздуха, Игнат еле перевел дыхание. Настя подвела его к кошевке, застланной сеном, укутала в теплую собачью доху.

Лошадь с места пошла крупной рысью. Мимо пронеслись дома, глухие заплоты, дорога круто повернула и с высокого яра упала на гладкий лед речки. Звонко ударили по льду подковы, высекая белые искры, тугой ветер надавил на грудь. Никогда не думал Игнат, до чего это здорово дышать упругим морозным воздухом и слушать стремительную песню полозьев...

В Тайшихе, не сдерживая лошадь, Настя промчалась по улице и подвернула к своему дому. Он хотел встать, но Настя велела сидеть, выскочила из кошевки, проворно открыла ворота. Во дворе сказала:

— Вот мы и дома. Иди в избу, а я коня распрягу.

— Потом, поди, зайду...

— Не в те ворота въехала?

Из шали виднелись одни лишь Настины глаза, ждущие и встревоженные. Игнат молча поднялся на крыльцо. Она опередила его, открыла дверь. В избе было холодно, на стеклах окон сиял лед. Не раздеваясь, Настя накидала в железную печурку дров.

— Растапливай...

Он разжег дрова, нащепал лучин и, ломая, кидал их по одной в огонь. И все это делал медленно, словно в неуверенности так ли это делается. А лучины ярко вспыхивали, пощелкивая, сворачивались в черные завитушки, осыпались на раскаленные до прозрачности угли; пламя с шумом втягивалось в железное колено трубы; в избе стало тепло. Настя суетилась, улаживая многочисленные домашние дела, и не было времени сказать ему хоть что-нибудь...

— Настюха, ты сядь, попросил он и подвинулся, давая место на скамейке.

— Я сейчас... Стотовлю что-нибудь, и позовем Максима с Татьянкой.

— Не надо. Никого сегодня не надо.

Она села, пошевелила дрова, взяла из его рук пучок лучин, забросила в печку и закрыла дверцы. За отпотевшими окнами синели сумерки; из рукомойника в таз капала вода; в курятнике воркотал чем-то недовольный петух. Настя отрешенно смотрела перед собой.

— Игнат, а Игнат...

— Что?

— Сижу вот и дивлюсь над собой. Раньше...

— Не надо про старое... Будто и не было...

— Ты можешь так... будто и не было?

— Давно сказал...

— Тогда все. Тогда у меня душа на месте. А то завезла тебя, а сумление меня точит и точит. Уж вроде и знаю тебя, а... Ну будет! Ты хороший, Игнат, ты все понимаешь. Настя прислонилась к нему, провела ладонью по перебитой руке. — Тяжело тебе, Игнат?

Он отрицательно качнул головой. Ему было хорошо, но как-то не верилось, что все может быть вот так просто.

И долго еще он не мог привыкнуть к новой своей жизни, она казалось странной, словно праздник, которому нет конца, и он думал с томительным беспокойством: вот-вот что-то случится и безжалостно все сломает. Оставаясь дома один, он то и дело поглядывал в окна не промелькнет ли за ними зеленая шаль Насти, и совестно было перед самим собой за нетерпеливое ожидание...

Из дома Игнат никуда не выходил, мастерил что-нибудь или возился с Максимовым Митькой. Татьяна часто оставляла сына на целый день, и мальчонка так привык к Игнату, что с большой неохотой шел домой. Митька только что начал осваиваться в этом мире, и ему надо было все знать. Теребя бороду Игната, он спрашивал:

— Это что?

— Борода?

— А у бати зачем нету?

— Молодой он еще, твой батя, — улыбался Игнат.

— А ты старенький?

— Я, Митюха, старик.

— Батин конь тебя старше, вот! — гордо говорил Митька.

— Почему же?

— У него сразу две бороды, одна сзади, другая на шее.

— Ну, Митюха, сказанул! У коня хвост и грива. Борода только у людей.

Митька задумался.

— А наш козел? Он человек? — Игнат смеялся.

— Прижал ты, брат, меня!

Иногда к Игнату заходили мужики, спрашивали, как было той ночью, и он сразу становился неразговорчивым, отделялся от любопытных двумя-тремя словами, потом надолго задумывался.

Митька, не получая на свои вопросы ответа, сердито дергал его за штаны, спрашивал:

— Дядя, а дядя... Зачем молчишь?

Однажды пришел Лифер Иванович. Остался стоять у порога. Под косматыми бровями сторожко мерцали угрюмые глаза.

— Выздоровел, Игнатий?

— Видишь... — скованно проговорил Игнат и замолчал. Лифер перекинул шапку из руки в руку, кашлянул.

— Игнат... — голос проскрипел ржавым железом, — Прости ты меня, родимый! Помилосердствуй...

— Ты все ж таки?... — Игнат отвернулся. — Помилосердствуй... От твоего милосердия до сих пор оклемасться не могу.

— Никитка, варнак, жажнул изо всех сил. Молодой, спужался... — Лифер Иванович шагнул вперед, его ноги подогнулись, он опустился на колени и пополз к Игнату, подметая бородой пол. Прости нас, душегубцев окаянных!

Митька обеими ручонками теребил штаны Игната.

— Что он делает? Ну, дядя! Он что делает?

— Подымись! — грубо приказал Игнат, двинул ногой стул. — Садись... Вот, говоришь: парень молодой... А ты-то старый вахлак, зачем на такое дело пошел?

— От обиды сердце сомлело, Игнатий. Мой амбар-то, каждое бревнышко своими руками вытесал.

— Тебе же дали усадьбу...

— Дали... Чужая... И дом не такой, и двор, все чужое. Ляхота давит. Обида душу поедом ест.

— Сколько у тебя безмыслия и злобы! Ну, обидели... Так ненароком же! Худо ли, хорошо ли, но возместили все. А если бы сумел докончить свое поганое дело, кто бы смог возместить людям потерю? Это же подумать только хлеб жечь! За крошку, оброненную на пол, ребятишек по лбу ложкой лупят, а ты чего надумал? И говоришь: прости... О себе молчу. Попался под замах...

— Винюсь... Каюсь... Грешен, Игнатий. Лифер Иванович так мял шапку, будто она была виновницей всего. — Ни за что бы не пошел на такое... Но антихристы...

Игнат услышал последние слова и сразу вспомнил Ферапонта.

— Уставщик знает, что ты виниться пошел?

— Не, что ты! Да он-то при чем? Без него я...

— Может, и так... Но выпроводи его. Нечего ему тут делать! А как с тобой быть, не знаю. Не знаю, Лифер Иванович... Один мне тоже вот так же клялся... Опять ведь обиду пестовать начнешь! Будешь из подворотни выглядывать, часа ждать, когда шкворнем по ногам заехать можно.

— Да что ты, Игнатий Назарович! Пальцем никого не трону. Вот те крест! Скажешь — пропал я. Не будет мне, клейменому, снисхождения... А парень? Ему жить надо, не тюрьму парить...

Он правильно говорил. Чикаться с ним в этот раз не станут, сразу же упекут. И сына. Парню жить надо, правда. Но и всем жить надо. Только-только начала налаживаться жизнь у людей, и когда ее огнем да шкворнем сызнава корежат...

С тоскливой ненавистью смотрел Игнат на лохматую голову Лифера Ивановича. Поди узнай, какие мысли под нечесаными патлами. Не простишь пойдет в тюрьму, зачахнет там, пропадет, и семья света невзвидит, жизни ей никакой не будет. Жалко. А прости, может быть, всей деревне беду выносит в своем ожесточенном сердце. Как тут не вспомнишь Сохатого? Но то Сохатый!..

— И зачем ты признался мне! — невольно вырвалось у него.

— Тяжело было, Игнатий... — вздохнул Лифер Иваныч. — И все равно знал ты.

— Не знал, только думал на тебя... А сын-то что?

— Сын? — Лифер Иваныч встрепенулся и сразу опустил голову. Он не смирился... Но я его буду на поводке держать.

Признание Лифера Иваныча, что сын не смирился, как-то сразу расположило к нему Игната. Если бы врал, лукавил, разве сознался бы в этом, он бы сына так обрисовал, что хоть сегодня принимай в комсомол. Игнат решил.

— Бог с тобой, буду молчать. Живи.

— Спаси Христос!

— Обожди, не шибко радуйся. Не передо мной только твоя вина, и не мне бы тебя судить и миловать. Но раз так вышло... За всякие твои штучки теперь я наравне с тобой ответчик. Смотри, Лифер Иваныч!

— Будто не понимаю!

— А Ферапонта выпроводи. Отошло его время. Сейчас он как усохшее дерево, только свет застит.

Когда Лифер Иванович ушел, Митька опять начал допытываться, что делал чужой старик и почему вставал на колени, наклонял голову.

— Тебе, Митюха, этого знать не надо. Вырастешь и ни ты людям, ни люди тебе кланяться до земли не станут. Совсем другая жизнь будет, парень, у вас.

Мальчик таращил синие, как у отца, глаза, стараясь уразуметь, что говорит дядя.

— Эй, Назарыч, подымайся!

Максим открыл глаза. Перед ним стоял Петруха Труба в старой курмушке, перепоясанной обрывком веревки. В руках он держал лампу без стекла, пламя от дыхания трепыхалось, гоняя по его лицу сумрачные тени.

— Пошли, Назарыч. Корова сдыхает.

Тряхнув головой, Максим согнал сонную одурь, оделся. На дворе было темно, только в стороне восхода чуть заметно отбеливало. С хрустом раздавливая тонкий ледок лужиц, Максим прошел к ограде, распахнул шаткие ворота. За воротами чернел прямоугольник сарая, в нем, едва различимые, лежали коровы.

— Где?

— Сейчас... Петруха зашебаршил спичками. — Вот.

Свет спички сначала упал на неровную бревенчатую стену, потом опустился ниже, вырвал из темноты впалый бок коровы с выпирающими мослами, всплеснулся в круглом озерце остекленевшего глаза.

— Все. Сдохла. Петруха бросил спичку.

— Сдохла, — подтвердил Максим и тяжело вздохнул. — Пойдем.

В зимовье, не раздеваясь, лег на деревянную кровать-топчан, завернул руки под голову.

— Что же будем делать, Петр Силыч?

Петруха в ответ затейливо выругался. Он еще с осени предупреждал председателя колхоза, что кормов не хватит. Максим тоже, едва приняв ферму, начал бить тревогу. Рымарев всякий раз обещал принять срочные меры... Ничего не сделал. Сейчас сена ни клочка, на исходе солома. Если и дальше придется кормить скотину обещаниями председателя, до зелени не дотянет и половина стада.

— Поеду я, Силыч, в контору. Без корма не вернусь. Максим рывком поднялся, шагнул к соседнему топчану, стащил полушубок с Федоса. — Вставай... Ступай, раздолби колодец.

За стеной, в пристройке, слышались невнятные голоса, глухо стукнули ведра. Там жили доярки, они тоже поднимались. Федос,

надернув штаны, сел на лавку обуваться. Он зевал, потягиваясь, тер кулаком глаза. Видать, не выспался. До полуночи торчал у доярок. Что-то больно часто стал он у них засиживаться.

Растопив печь, Петруха поставил на плиту чайник. За окном совсем рассвело. Небо было мутное, падали редкие мягкие снежинки, ветер покачивал голые ветви тальника, шевелил клочья соломы.

В зимовье зашла Поля, дочь Викула Абрамыча. Она подсела к Федосу, с игривой усмешечкой спросила:

— Поможешь соломы в ясли набросать?

— Я иду лед долбить.

— Пойдем вместе. Я помогу тебе, ты мне. Федос покосился на Максима, ничего не сказал.

— Шла бы ты, Поля, делать свое дело, — хмуро посоветовал Максим.

Поля засмеялась, повернула к Максиму лицо, круглое, с кудряшками на лбу и висках.

— Вдвоем веселее, Назарыч. И осталась сидеть, дожидаясь, когда Федос оденется.

Они вместе пошли к колодцу. Поля, невысокая, ладная, рядом с длинноногим Федосом казалось низкорослой, она что-то говорила и смотрела на него снизу вверх, потом плечом толкнула его и побежала. Федос прибавил шаг. Максим смотрел им вслед с чувством досады и сожаления.

Они вернулись, когда Максим запрягал лошадь. Он окликнул Федоса.

— Домой заказывать будешь что-нибудь?

— Да нет... Нечего вроде. Затягивая супонь, Максим спросил:

— Дариму в эти дни видел?

Помедлив, Федос ответил:

— Нет. Давно не видел. Месяца два.

— Почему?

— Она теперь пастухом не работает. На пастбище не бывает.

— Ты бы съездил на займку. Я тебя отпущу.

— Съездить надо бы... Как-нибудь съезжу...

— Дело, конечно, твое. Максим сел в ходок, тронул лошадь. — Но смотри...

Снежок все падал и падал. Понукая коня, Максим смотрел на серое небо. Не приведи бог, если начнется пурга..

В правлении, как всегда утром, было полно народу. Рымарев в новой суконной гимнастерке, волосы гладко зачесаны назад, разговаривал с мужиками. Здороваясь с Максимом, он улыбнулся, будто радуясь встрече с ним, но улыбка получилась измятая, точной силой выдавленная.

— Коровыдохнут! — насупясь, сказал Максим.

— Сейчас поговорим. Отпущу товарищей, и поговорим. Кому что нужно? Подходите...

Рымарев подписывал бумаги, отвечал на вопросы, спрашивал, а сам все время чуть заметно поглядывал на Максима, словно хотел удостовериться, понимает ли тот, до чего занят бывает председатель.

Наконец они остались одни, и Рымарев мягко упрекнул Максима:

— Зачем при всех кричишь: скотдохнет...

— А что?

— Известно, толки нежелательные будут.

— Шепотом говорить надо?

— Ну зачем вы так, Максим Назарович?

— Как?

— Все время стараетесь стать в оппозицию по отношению ко мне.

А я вам ничего плохого не сделал. Неужели еще помните о голосовании? Так ведь...

— Хватит старые лохмотья трясти. Без того пыли дыхнуть нечем. Я приехал за кормом.

— Да, я понимаю... Но нет у меня сена сейчас.

— А раньше было? Вы с самой осени знали, что кормов не хватит. О чем думали? На что надеялись? Если скот передохнет, с вас, Павел Александрович, здорово спросят. Учтите это. Тут вы никакими постановлениями не закроетесь.

Закрылки ноздрей Рымарева стали белыми.

— Все на меня свалить хотите? По-вашему, я веду колхоз к разорению?

— Была у Гаврилы понурая кобыла, за повод возьми да куда хоть веди. А тут колхоз. Его куда-то не туда не заведешь, не дадут люди. Хватит, Павел Александрович, отбояриваться. Долблю, как ворона

мерзлую кочку, куда же? Делайте, что хотите, а без сена я на заимку не вернусь.

В кабинет вошел Абросим Кравцов. Грузно опустился на стул. Рымарев обрадовался ему, повеселел.

— Даю тебе, бригадир, поручение. Найди для Максима воза два-три сена. Очень тяжелое положение.

— Где найдешь? Никто не потерял, — вяло отозвался Абросим Николаевич.

— У бурят сена много, кажется, — подсказал Максим. — Попросить надо.

— Сено у них есть. Не такой Батоха мужик, чтобы... — Абросим Николаевич, глянув на Рымарева, не договорил, закричал, удобнее устраиваясь на стуле.

— Не дадут они, — сказал Рымарев. — Хотя...

Он покрутил ручку телефона, осторожно снял трубку.

— Станция? Дайте, пожалуйста, райком партии, товарища Петрова. Я обожду... — Повернул голову к Максиму. — Сейчас попробуем... Товарищ Петров? Извините, пожалуйста, Рымарев вас беспокоит. Читал вашу статью о применении революционных методов в возделывании зерновых. Очень интересно. Мы обязательно проведем сверхранний сев. Проработать? Непременно! Товарищ Петров, к вам просьба. У нас бедственное положение с кормами. Так я что предлагаю... По нашим сведениям, у соседей кормов много. Да? Хорошо бы получить от вас распоряжение. Дадите? Спасибо!

Повесив трубку, он довольно потер костистые руки. Ему было непонятно, почему не радуется вместе с ним Максим.

— Ну, порядок?

— Да нет, Павел Александрович... Курочка в гнезде пока что. Канительное дело завязывается. Зачем оно, распоряжение?

— А как же? — удивился Рымарев.

— Я, мужики, так думаю... — Абросим Николаевич погладил лысую голову. —хлопоты хлопотами, а воза два-три сена надо сегодня или завтра кинуть на заимку.

— У тебя на бригаде есть запас, дай, — сказал Рымарев.

— Никак нельзя. У меня кони. Ослабнут что на них вспашешь? Надо по дворам пройти. Наверное, дадут мужики...

— Ну что же, действуйте, — разрешил Рымарев. — А я в район поеду за распоряжением.

На улице все кружился и кружился снежок, выбеливая землю, небо взлохмаченным войлоком висело над крышами домов. По дороге, горбатясь, повизгивая от холода, трусила чья-то замороженная свинья. Абросим Николаевич пугнул ее, хлопнул рукавицами, проворчал:

— Тоже вроде колхозная... — Максим покусывал губы.

— Черт знает что! — сказал он. — Ну какой это председатель!

— Эка что... — Абросим Николаевич неодобрительно хмыкнул. — Ты знаешь про революционное возделывание пшеницы? Нет. А он знает.

Нельзя было понять, шутит бригадир или говорит всерьез.

— Хребтины в нем нету вот что плохо.

— А зачем тебе, Максим, его хребтина? На него не надейся, сам по-умному делай, и ладно будет. С хребтиной-то наворочает такого, что за три года не разберешься... Ну что, к Викулу зайдём?

Хозяин, услышав стук ворот, вышел. В руках он держал рубанок, на штанах, на ватной тужурке висели мелкие завитки сосновых стружек, у сарая белели две новые лавки, лежала стопка свежестроганных досок.

— Ты что, Абрамыч, на работу не ходишь? — спросил Абросим Николаевич.

— Дык спина же, соколик. Замаяла, язва!

— Опять не гнется? — посочувствовал Абросим Николаевич.

— Ни в какую! Как осиновый кол, ее гнешь, она хрустит.

— А столярничать не шибко мешает?

— Мешает, да я помаленьку, без натуги.

— Тогда ты, Викул Абрамыч, сколоти три-четыре стола для стана.

— Н-нет, соколик! Куда мне, болящему. Уж вы сами...

— Ничего, Абрамыч... Потихонечку, без натуги. На ночь спину водкой натирай. Шибко пользительно. А сена у тебя много?

— Есть, а что? Купляешь? — хитрый Викул весь подобрался. Сколько за воз дашь?

— Одно спасибо. Зато от всего колхоза.

— Хе-хе, шутник ты стал, Абросим.

— Нам не до шуток, Викул Абрамыч, — вступил в разговор Максим. — Коровы дохнут. Дай, сколько можешь.

— А веревка с собой?

— Зачем?

— Так цыгане, бывалоча, с веревкой ходили... Вот вам и лучшая жизнь. Смехота!

— А ты посмейся, повеселись, — посуровел Максим.

— Я же к слову. Очень уж ты серьезный, Назарыч. С полным моим удовольствием последнее отдам. Подгоняй телегу!

— Сколько?

— Копну.

— Отвалил! Я уж думал, целый воз дашь.

— Копны бы не дал, — сознался Викул Абрамыч. — Дык отбирать зачнете.

Следующим был дом Лифера Овчинникова. Сам Лифер Иванович и сын Никита только что приехали из леса, скатывали с саней бревна.

— Проходите в избу, — буркнул Лифер Иванович, подбивая стяг под вершину бревна.

— Нам некогда... — Максим коротко пояснил, что им нужно.

— Хочешь дай, хочешь нет? — Лифер Иванович запустил пятерню в бороду.

— У нас у самих мало, — сказал Никита. — Пусть другие дают.

— А ты чего рот раззявил! — вдруг рассердился Лифер Иваныч. Ты чего наперед батьки лезешь? Сена, Максим Назарыч, и правда в обрез. Но раз ты просишь дам.

— Я тут при чем? — дернул плечами Максим. — Скот подохнет всем убыток. Это понимать надо.

Так они ходили из дома в дом и почти в каждом обещали много ли, мало ли дать колхозу сена кто от чистого сердца, кто из опасения навлечь на себя неудовольствие начальства. Когда прошли больше полдеревни, Абросим Николаевич оставил Максима одного, а сам вернулся в правление, чтобы снарядить подводы и немедленно отправить корм на заимку. Максим обошел оставшиеся дворы, отложив напоследок дом Корнюхи. Брат был на работе, ладил в кузнице плуги. Устинья сказала, что он должен вот-вот прийти на обед, однако Максим ждать не стал.

— Ты, может, сама решишь. Корм собираю для колхоза...

— Не знаю я. Пойдем, ты сам взгляни, сколько можно взять, чтобы нашу скотину не оголодить.

Передний двор был просторен, чисто подметен, возле амбара, натягивая цепь, сдавленно рычал громадный, с хорошего телка, кобель.

— Цыть! — Устинья подняла палку. — Проходи, Максюха.

На заднем дворе возвышались крепкие, рубленные в паз заплоты, белел свежий сруб бани.

— Когда вы успели? — удивился Максим.

— Долго ли умеючи! — усмехнулась Устинья. — Корнюшка с мамой самогону ведро насидели, созвали мужиков... В два счета все и сварганили. Мастер на такие дела Корнюшка. А вот и сено...

В сеновале топорщился до половины скормленный зарод, к нему притулился островерхий приметок воза на полтора. Максим вспомнил, что прошлым летом Корнюха плакался: трава в телятнике не выросла, просил Игната повалить траву на лесных полянах. А Игнат, что, откажется? Ну Корнюха, нахватал!

— Зарода вашей скотине за глаза хватит. А приметок отдайте.

— Ну раз так — бери.

Вернулись в передний двор и тут Максим встретился с Корнюхой. Он был весь в саже, к щеке прилипла рыжая пластинка окалины.

— Сено собираешь? — двинул Корнюха бровями. — Так и думал: пожалуешь.

— Я ему приметок отдала, — сказала Устинья.

— Ты его приметала? А тебе, Максюха, не стыдно в побирушки подрядился? Ни хрена не дам!

— Загудел, как ветер в пустой трубе, заткни дыру рукавицей, — пошутил Максим.

— Иди ты со своими прибаутками! Что требовалось, я колхозу отдал, когда записался. И больше ко мне не вяжитесь! А ты не распоряжайся! — накинулся Корнюха на жену. — Выскочила нате вам! Мне небось и ржавого гвоздя даром никто не дал.

— Не реви! — вспыхнула Устинья, ее глаза полыхнули зеленым огнем. — Все у тебя на учете да на расчете. Надоело!

Она круто, на одной ноге, повернулась, сарафан колоколом вздулся, пошла, гордо вскинув голову. Корнюха плюнул.

— С цепи сорвалась баба. И все ты...

— Ну да, я, — вздохнул Максим. — Бывай здоров!

— И ты сбрындил?

— Не сбрындил, жалею. У тебя ложка-то узка, таскает по два куска, разведи пошире, станешь черпать по четыре.

— До чего ты въедливый, Максюха! По-простому, по-мужичьи рассуди, какой мне резон даром отдавать сено? Продам лучше, да своей же дурехе Устинье обнову куплю. А ты отдай. Отдать все можно...

— Не мне тебя учить, Корнюха. Ты старше меня... Но вот что скажу: отбился ты от людей, за новым заплотом спрятался. Не к добру это. Как ты людям, так они тебе.

— А мне от людей ничего не надо.

— Пока. Но может статься, и понадобится. И горько тебе будет, Корнюха!

— Это еще посмотрим, кому горше будет...

— Посмотри... А мне и так видно.

— Ну хватит проповедь читать. Пойдем обедать.

— Не пойду.

— Ха! Рассердился! А с чего? Если бы тебе отказал...

— Колхозу. Значит, всей деревне. И мне в том числе. А еще брат ты мне. Перед народом за тебя стыдно. Один такой прижимистый на всю Тайшиху нашелся. Устинью твою понимаю. Ей мало радости попреки выслушивать.

— Тьфу! Забирай. Пусть твой Рымарев этим сеном подавится.

— Сено нужно не Рымареву.

— Хватит об этом. А то передумаю. Пошли обедать!

Максим не стал упираться. За обедом о сене ничего не говорили. Но все, кроме Хавроньи да маленького Назарки большеголового, толстощекого мальчугана, чувствовали неловкость. Хлебная щи, Максим посматривал на брата. Корнюха сильно изменился в последнее время. Исчез из глаз беспокойный блеск, что-то сытое, самодовольное появилось в его лице. Достиг своего, успокоился, огрузнел. Может быть, это и к лучшему. Но тот, прежний, Корнюха был как-то ближе, роднее.

Пообедав, Корнюха взял на руки сына, пощекотал его носом, усадил на колени, спросил у Максима:

— Ты небось думаешь: жила. Пусть будет так. Но не к богатству рвусь. Охота мне, чтобы вот он, парень мой, когда встанет на ноги, не испытал той нужды, что на нашу долю досталась. Разве в этом есть что-то плохое?

Максим ответил не сразу. Подумал о своем сынишке. Разве он не думает о его будущем?

— Видишь ли, Корнюха, все это правильно. Но очень уж куце ты думаешь. Надо нам так жизнь строить, чтобы и у твоего сына, и у всех других ребятишек было все одежонка, харчи добрые, книжки и другое прочее. Иначе все повторится сначала. Тебя обжимали Пискуны, ты начнешь обжимать другого бедолагу.

— Это ты брось! Мне ни от кого ничего не надо, понял?

— Пока нет. А понадобится, из горла вырвешь. Никого не пожалеешь.

— Пустословие все это! — махнул рукой Корнюха. Максим спорить не стал, ушел домой.

Утром, чуть свет, к нему зашел Рымарев.

— Поедешь со мной в бурятский колхоз. Распоряжение получил. Он похлопал по черной папке.

Председательский ходок на тугих рессорах стоял у ворот. Максим кинул в короб сумку с харчами.

— Трогай, Павел Александрович...

Вчерашний снежок растаял, дорога заледенела и глухо, словно настил из толстых плах, гудела под колесами. Ехали молча. Максим давно заметил, что у них с Павлом Александровичем разговора наедине никогда не получается. Странно это! Не так уж много в селе членов партии, все вроде бы должны быть ближе друг другу, чем кровные братья, а вот между ним и Рымаревым нет никакой близости, словно бы совсем малознакомые люди.

Максиму захотелось сейчас, немедленно сказать что-нибудь хорошее, душевное Павлу Александровичу. Он тронул его за руку.

— Ты на меня не обижайся, Павел Александрович. Многого я не понимаю... Очень уж хочется, чтобы все у нас хорошо было.

Рымарев, не оборачиваясь, пожал плечами, и у Максима пропала охота разговаривать, сразу стало как-то тоскливо и неуютно.

Недалеко от улуса коровы пощипывали черствую прошлогоднюю траву, дремали, подставив бока солнцу. На сопке с длинной палкой, как древний воин, стоял пастух. Навстречу, по дороге от улуса, трусил всадник на низенькой монгольской лошадке. Максим издали узнал в нем Бато.

— Сайн банна, хани нухэр (*Друг*)! Куда разбежался?

— Заимка ходить надо.

— А мы к тебе...

— По делу, — с нажимом добавил Рымарев и потянулся к черной папке с бумагами.

— Тогда заворот делать надо. Бато толкнул пяткой в бок лошаденку и затрусил обратно в улус.

— Останови его! — Рымарев шуршал бумагами. — Что нам делать в улусе?

Максим хлопнул вожжами, не ответив.

В юрте Бато долго пили душистый бурятский чай, приправленный солью. Рымарев все порывался развернуть свою папку, но Максим мешал ему и досадовал на себя, что не сказал о старинном обычае степняков: не говори о деле, пока не напился чаю. Да ведь и сам он не с неба свалился, должен бы знать, что некрасиво это, едва переступив порог, протягивать руку дай.

Наконец Рымареву удалось достать распоряжение секретаря райкома. Он положил бумагу перед Бато, постучал по ней указательным пальцем.

— Читай.

— Словом говори. Язык есть, зачем бумага?

— Это указание товарища Петрова. Вы должны дать нашему колхозу сена.

— Его сена тут нет. Зачем он указать? — Бато осторожно отодвинул бумагу, покачал головой. — Какой ловкий люди есть. Я коси, он мне указать.

— Это же секретарь райкома!

— А мне какой, дело! — Бато прикурил трубку, пыхнул сизым дымом.

— Вот как! — вздернул брови Рымарев. — Я бы на вашем месте не стал так говорить.

— Твой место не мой место. Я коси, ты сиди. Пусть тебе нухэр Петров другой бумага даст: дома сидеть мало, работу ходить много.

— Максим Назарыч, скажите вы ему! — всегдашняя выдержка стала изменять Рымареву, лицо налилось темной краской. Это неуважение...

— Максим ничего сказать не будет: понималка есть.

Бато угадал. Максима коробила настырность Рымарева. Задалось ему это самое распоряжение. Нашел ключик к чужим кладовым! Но ведь сено-то нужно. Ничего не даст Бато, если так с ним говорить.

— Я думаю, разговор надо вести с другого конца... — осторожно начал Максим.

— С какого другого? — Рымарев свернул распоряжение, спрятал в папку. — Я доложу товарищу Петрову, как пренебрежительно относятся к его ясным, конкретным указаниям. Это и будет разговор с другого конца.

— Меня страшить не надо! — улыбаясь, сказал Бато.

— Идемте, Максим Назарович... — Рымарев, зажав папку под мышку, не взглянув на Бато, вышел.

Никак не ждал от него Максим такой прыти. Ты посмотри! И про вежливость свою позабыл. Силу, должно, за собой чует, на Петрова надеется.

Максим попал в неловкое положение. Уходить вместе с Рымаревым, значит, молча одобрить все, что он тут наговорил, оставаться тоже вроде бы ни то ни се.

— Зачем нос бумага толкать? — недоуменно спросил Бато. — Зачем, Максим, такой человек ходишь?

— Что сделаешь, Батоха... Пропащее дело у нас.

— Шибко худо?

— Такой урон понесем, от которого за пять лет не оправившись. Может, ты подскажешь, где нам сенцом разжиться?

— Много надо?

— Возов шесть хотя бы.

— Вот какой разговор твой председатель надо. Он бумага нос толкать. Нехорошо! Сена много нет. Думать надо, смотреть надо. Но маленько дать будем. Гони три телега заимку. Я туда ходить буду. Поглядеть буду, еще три телега давать буду.

— Спасибо, Батоха.

— Сосед выручалка всегда делать надо. Так?

— Конечно, так. Еще раз тебе большущее спасибо!

— Максим Назарович!.. Долго я вас буду ждать? — донесся с улицы голос Рымарева.

— Иди. Нойон совсем сердить будешь.

— А ну его к черту! — засмеялся Максим.

Вместе вышли на крыльцо. Максим крепко пожал его руку, дружески толкнул в грудь.

Едва ходок тронулся с места, Рымарев раздраженно заметил:

— Неприлично так делать, Максим Назарович. Некультурно!

— Некультурно? — весело спросил Максим. Оно и верно. Вот когда приходят к тебе за твоим же добром и на хрящик гортани давят, культурно. Красиво получается!

— Не язвите, пожалуйста, — сухо сказал Рымарев. — Вы, очевидно, недалеко ушли от этого уважаемого товарища.

— Совсем не ушел. Мы с ним завсегда рядом были. Нам ни к чему бить друг друга по глазам бумагой с печатью. Без нее обходились и раньше, а сейчас подавно.

— Не вынуждайте меня, пожалуйста, доложить в райком и о ваших путаных суждениях. Бумага с печатью, как вы выразились, не что иное, как партийный документ.

— Эх, Павел Александрович!.. Все-то вы знаете и понимаете и слово в строку ловко укладываете. Но... привыкнет собака бегать за возом, бежит и за пустой телегой.

— Что вы подразумеваете под пустой телегой? — ощетинился Рымарев.

— А распоряжение?.. Совсем оно ни к чему было. И вот сейчас сыплются из вас злые слова, как зерно из дырявого мешка к чему? Батоха сена дал...

— Дал? — удивился Рымарев, подумав, заметил: — Испугался, значит...

— Чего ему бояться? Чай, власть-то у нас Советская...

— Оставим этот разговор. А вам дружески советую не сравнивать больше партийные документы с пустой телегой.

В тоне, каким были сказаны эти слова, ничего дружеского Максим не уловил. Он лег затылком на спинку ходка. Над головой висели грузные, свинцового цвета тучи, в редких проемах свежо и чисто голубело небо, от этого тучи казались еще более мрачными. Неужели будет ненастье?

Перед весновспашкой в деревню пришли два трактора. Стреляя синим дымом, пугая собак рыком моторов, они прокатились по улице и остановились возле правления. Отовсюду сбежался парод. Мужики, бабы, ребятишки глазели на невидаль, дивились непостижимой человеческой хитрости, заставившей жить мертвое железо. От разогретых моторов струился горячий воздух, в нос шибал запах керосина.

— Тяжелый дух у него, — сказал Викул Абрамыч. — Поди, и хлеб так же вонять будет?

— Будет, — подтвердил Лучка Богомазов. — Но это ничего. Привыкнешь, и станет тебе керосин лучше всякой самогонки. Кружками пить зачнешь. А зачнешь пить керосин, сам сделаешься сильным, как трактор.

— Тут сурьезный разговор, а он со смешками!

На крыльцо вышли трактористы, молодые парни в кожаных тужурках, Стефан Иваныч, Павел Александрович и секретарь райкома Петров. Белозеров сиял, как новый гривенник, распяливал тонкие губы в широченной улыбке.

— Эй, мужики, ну-ка двигайтесь сюда, глядите, каких коней нам дали! А еще радость мэтэес у нас будет. Машинно-тракторная станция. Теперь товарищ секретарь слово скажет.

Петров смотрел на горячие запыленные машины, на удивленных людей, в глаза ему било солнце, он добродушно жмурился, прикрывал ладонью от ярких лучей свое полное лицо.

— Ну что, товарищи, довольны подарком родной Советской власти? Но это лишь начало. То ли еще увидите! Вашему колхозу особая честь: выделено сразу два трактора. Это потому, что руководители хозяйства, Петров кивнул в сторону Белозерова и Рымарева, смело внедряют в жизнь новые начинания. Поддерживайте все передовое, и Советская власть, наша партия в долгу не останутся.

Сквозь толпу к Лучке протолкался Максим, ткнул в бок.

— Чуешь? Ни черта не чуешь. Вникни: трактора в Тайшихе. Каких-то пять лет назад об этом и помыслить было невозможно.

— Еще поглядеть надо, какая от них польза будет.

— Погляде-еть, — Максим поморщился. — Другие давно разглядели. Сказывают, Петров до Москвы дошел, чтоб выделили.

— А что, Петров особенный, у бога теленка съел? — Лучка усмехнулся.

— Не он особенный. Учли, что тут живут такие забурелые староверы, как ты.

— Ш-ш-ш! Примолкните! — сердито сказал Викул Абрамыч. — Послушать не даете.

Но Петров уже кончил говорить, спустился с крыльца, увидев Максима, протянул руку.

— Ну как? Не обижаешься? — сдержанно улыбнулся. — И правильно. Как здоровье твоего брата? Молодец он, герой. Хочу с ним побеседовать. Заодно и с тобой. Ты вот с кого пример бери, — Петров положил руку на узкое плечо Белозерова. — Великолепная классовая интуиция.

Максим оглядел Белозерова с ног до головы, будто впервые увидел, вздохнул.

— Я и так стараюсь. Но с него пример брать, как с блохи мерку снимать затруднительно. Петров засмеялся, повернулся к трактористам, коротко взмахнул рукой. Они направились к машинам, завели моторы. Люди опасливо отхлынули к стене дома, освободили дорогу. Тракторы плавно снялись с места и покатались, оставляя на земле косо рубленные следы широких задних колес, за ними до конца улицы стайкой бежали ребятишки.

Рымарев подошел к Лучке, отвел его в сторону.

— Поезжайте на полевой стан первой бригады. Замените Абросима Николаевича. Он болеет... Один трактор будет работать у вас. И конные плуги все пустите. Сразу же начинайте сев.

— Какой сев? Земля едва оттаяла. Ни в жизнь так рано не сеяли.

— Есть указание проводить сверхранний сев.

— Худое это указание, Павел Александрович! Земля не любит, когда с ней шутят.

— Не будем обсуждать... Идите, собирайтесь.

Дома Лучка зашел в огород, сел на прогретую солнцем навозную кучу. «Не будем обсуждать!..» Вот ведь как... Три яблони поднялись выше роста человека, если все будет хорошо, нынче они зацветут.

Жаль, что уехал из района агроном. Что-то не ужился он тут. В прошлом году прислал два куста крыжовника. Оба они принялись. Знать, легкая рука у человека. Посылал ему письмо, ответа что-то нет. Хороший был мужик... По его совету и пчел завел. Пока три семьи, но держать можно и больше. Очень выгодная штука пчелы. Колхозу можно бы семей сто двести держать. По-научному польза от них растению всякому опыление делает пчела. И мед. Для здоровья полезительный, ребятишкам самая лучшая еда. Говорил Рымареву, но он все на потом откладывает, как и Белозеров. И огород потом, и сад потом, и пчелы потом... Как жаль, что нет того агронома, он бы им все доказал. Своему мужику какая вера! Видишь, как Рымарев «не будем обсуждать». А можно ли не обсуждать, если ничего такого раньше не было? Как не обсуждать, если, того и гляди, без хлеба останешься с этим сверххранним севом? Надо хоть с Абросимом поговорить.

Пошел к бригадиру. Тот лежал в постели, пил чай с малиновым вареньем, слабо охал.

— Что-то всю грудь заложило. Хрипит, хлюпает в середке, и сердце щемит. Был конь, да, видать, изъездился.

— Я к тебе насчет сева. Это что за выдумка такая сверххранний? Тебе ли говорить, как может получиться. Бросишь зерно в землю, оно набухнет, наклонется, а тут завернет мороз... Так может жамкнуть, что ничего от семян не останется.

— Это так... — морщась, Абросим Николаевич сдавил руками ребра, охнул. — Доведется вставать. Что-то надо делать. Не то семена погубим, без хлеба останемся. А что сделать ума не приложу. Ох-хо, болит все...

— Лежи, куда тебе с таким здоровьем!

— Будь я на ногах, околпачил бы начальство. Сводку писать, а семена придержать до поры.

— Так это и я могу сделать.

— Оно так, но опасно. Да и не сумеешь. Лучше уж сей, как приказано. Поди пронесет...

— Плохо меня знаешь, Абросим Николаевич...

Лучка поехал на полевой стан с решимостью воспрепятствовать сверххраннему севу. Дни стояли холодные. По утрам частенько вода в бочках покрывалась льдом, пахари в такие дни чуть ли не до обеда сидели на полевом стане, ждали, когда отойдет промерзшая сверху

земля. Только трактору было все нипочем. Приземистый, черный, как жук, он неутомимо ползал по полям, оставляя за собой широкую полосу свежей пахоты. Тракторист в квадратных очках, закрывающих глаза от пыли, казался человеком совсем из другого мира, с ним говорили все уважительно и серьезно, за обедом стряпуха клала в его миску самые лучшие куски мяса.

Неожиданно большой интерес к машине проявил Никита Овчинников. Если тракторист смазывал, чистил трактор, Никита бросал все и крутился возле него, подавал ключи, масленки, ощупывал детали руками, засучив рукава, соскребал с мотора пыль и грязь. И все просился в прицепщики.

— Назначь тебя, а ты начнешь куролесить... — намекал на прошлое Лучка.

— Что я, дурной!

Прицепщиком работал Григорий Носков. Тому эта работа была не по вкусу.

— Голова болит от гуда, — жаловался он.

Правда, мужики то ли смехом, то ли всерьез поговаривали, что голова у Грихи стала болеть после того, как Никита посулился ему поставить четверть водки, если он уступит ему свое место.

Лучка не стал противиться желанию парня. Однако все приглядывал за ним: не натворил бы чего, охальник, потом греха не оберешься. Но Никита работал на совесть. Тракторист даже обещал попросить начальство, чтобы его направили на курсы.

Прошло две недели. За это время Лучка засеял всего-навсего гектар-полтора. Для того, чтобы, если нагрянет начальство, было чем оправдаться. А сводки в контору слал каждый день засеяно столько-то гектаров. Раза два приезжали Белозеров и Рымарев, но они ничего не заметили. Им, конечно, и в голову не приходило, что Лучка вздумает их дурачить.

Он считал, что все удалось, как вдруг примчался на взмыленном жеребце Белозеров, вылупив глазищи, заорал:

— Саботажник! Где засеянная пашня?!

Лучка понял, что Белозерову кто-то стукнул. Оправдываться было бесполезно, выкручиваться тоже. Стоял перед ним, кусая соломинку, смотрел на черный бархат пашни, разостланной по косогору, с обидой

думал о неизвестном доносчике: «Эх, дурачина ты, дурачина, выслужился...»

Белозеров в бешенстве рвал поводья, и жеребец, бросая изо рта хлопья пены, крутился перед Лучкой.

— На весь район опозорил! Сорвал кампанию!

— Не кричи... Слазь с коня, расскажу, почему так сделал.

— Не желаю слушать! Как ты был кулацким выкормышем, так и остался. А я тебе поверил. На умные твои разговоры про землю клюнул. Собирай свои шмутки и уматывай с полевого стана. Сейчас же! Под суд отдадим!

Лучка зашел в зимовье, забросил в мешок чашку с ложкой, затянул потуже подвязки на ичигах и вышел на дорогу. Шагал неторопливо, оглядывался. Все казалось, что Белозеров уймет свое задурейство, догонит и потребует, чтобы он рассказал, для чего пошел на обман. Не дурак же он, Стишка, должен понять.

Но отдалялось зимовье, вспаханный косогор, не слышно стало скороговорки трактора. Нет, никто не станет его догонять...

Полуденное солнце слепило светом, озорной вихрь закрутил в воронку легкую дорожную пыль, прошелестел в стебельках прошлогодней полыни и растворился в прозрачной теплыни вешнего дня, жаворонки высоко над головой сыпали просо переливчатых звуков... Все вокруг было таким радостным, что Лучке на минуту показалась смешной и нелепой угроза Белозерова отдать его под суд, но постепенно он осознал всю нешуточность происходящего. Вот если бы померкло за черными тучами солнце и ласковая весна на день-два обернулась злобным предзимьем, тогда бы все поняли, чего он опасался. А если будет так же тепло, никто не поверит его оправданиям.

Без всякого дела Лучка просидел дома больше недели. В субботу пришел посыльный из сельсовета, передал повестку явиться вечером на общее колхозное собрание.

Народу собралось немного. Какое в субботу собрание? Мужики в бане парятся. До того нажгут себя березовыми вениками, что едва до постели доберутся. Легче медведя выжить из берлоги, чем поднять мужика из постели, когда он напарился в бане.

Белозеров попросил Лучку сесть в переднем ряду. За столом, кроме него и Рымарева, сидел Петров. Он наклонился к уху Белозерова, что-

то шепнул, и тот утвердительно кивнул головой. Секретарь райкома перевел взгляд на Лучку, нахмурился.

— Начинайте, Стефан Иванович...

— Товарищи колхозники! — Белозеров произнес эти слова высоким голосом, но тут же перешел на обычный разговорный тон. — Вы, мужики, не коситесь сильно, что отдыхать не даем. Дело у нас такое, что откладывать никак невозможно. А что это за дело, товарищ Петров скажет.

Петров вышел из-за стола. На нем был черный, полувоенного покроя костюм, застегнутый на все пуговицы.

— Товарищи, то, что произошло здесь, мы не имеем права оставить без немедленного ответа. Мы строим новый мир. Мы опрокидываем все старые понятия и представления, невозможное делаем возможным, немислимое осуществимым. Сверххранний сев одно из таких мероприятий. На ваш колхоз были возложены особые надежды в деле внедрения этого революционного метода в хлеборобстве. Но нашлись люди, вернее, нашелся человек, взявший на себя смелость единолично отменить начинание. Его поступок я, товарищи, расцениваю как вражескую вылазку...

Лучка поймал взгляд секретаря райкома неужели веришь в то, что говоришь? Взгляд Петрова как лед в ноябре. Верит... Оглянулся. Среди мужиков нет Максима, нет Абросима Николаевича, Игната. Нет никого, кто бы мог громко, во весь голос сказать, что секретарь заблуждается.

— Вопрос стоит так: или мы позволим вражеским силам исподтишка наносить нам удары, или решительно, с революционной беспощадностью будем пресекать любые их вылазки. Кое-кто, возможно, надеется, что мы окажемся добренькими... Нет, товарищи, не будет у нас снисхождения к врагам нового общества! Предлагаю: первое исключить Богомазова из колхоза, второе передать его дело в прокуратуру.

Петров сел.

— Другие предложения будут? — спросил Белозеров. — Давайте голосовать.

Лучка опустил глаза.

— Единогласно! — Как обухом по голове, ударил Белозеров. — Гражданин Богомазов, прошу очистить помещение.

В горле, во рту у Лучки вдруг все пересохло, нестерпимо захотелось пить. Он шагнул к столу, налил из графина воды в граненый стакан, жадно, двумя глотками выпил.

— Спасибо, Стиха. И тебе, секретарь, спасибо. Лучка вытер губы рукавом, повернулся. — Вам, люди, тоже спасибо. Отблагодарили... Эх, вы!

Когда Лучка выходил, мужики избегали его взгляда. В мертвой тишине с пронзительным вызовом скрипели половицы под ногами.

На улице синели сумерки. Запах сырости и прели принес теплый ветер из леса. За огородами, там, где лежит бесплодная плешина пустыря, тренькала балалайка и хриловатым баском, явно дурачась, какой-то парень пел:

— Паря, чо, да паря, чо? Паря, сердисься на чо? Ты на тех, кто задается, паря, плюнь через плечо!

«Ты на тех, кто задается, паря, плюнь через плечо...» повторил Лучка, вздохнул. Плюнь-то плюнь, только не шибко плюнешь против ветра.

Он долго кружил по глухим проулкам. Домой пришел поздно. Еленка встретила его слезами. Она уже знала, что исключили из колхоза и собираются судить.

— Не вой, без тебя тошно!

Утром к нему пришли Белозеров, Ерема Кузнецов и еще два нездешних, не тайшихинских мужика.

— Значит, так... — сказал Белозеров. — Меж твоим двором и двором Прохора Семеныча пустое место имеется.

Не зная, к чему клонит Белозеров, Лучка промолчал. Пустошь за двором была обширная, никто на ней не селился, потому что земля никуда не годная, сплошной дресвяник. Даже в мочливые годы трава не покрывала всю землю, кустилась там-сям, а в засуху пустошь была и вовсе голой, как речная отмель.

— Тут будет МТС строиться.

— Стройте. Я-то при чем?

— А при том, что потесним тебя малость. Землю отрежем, чтобы просторнее было МТС. Пошли.

Через задний двор вышли на гумно. Незнакомые мужики вдоль прясла от пустоши потянули ленточку рулетки, вбили в землю колышек. Лучка, прижмурив один глаз, мысленно провел прямую

линию от колышка через все гумно на улицу и ахнул. Весь огород с яблоньками и крыжовником уходил за черту... А мужики тянули рулетки — уже возле глухого огородного заплота, Ерема Кузнецов целился вбить колышек возле угла амбара.

— Стефан Иваныч, да это что же такое? Не отрезайте мне огород.

— Еще что! Без всяких разговоров перенеси на другое место заплоты.

— У меня же яблони растут. Ты погляди, какие они стали. Ты зайди.

— Никуда я не пойду, ничего глядеть не буду. Один раз поверил тебе — хватит! Складно пел тогда. Я ведь все помню. Хочешь знать, у тебя всю землю отрезать надо. Земля колхозная, а ты колхозу враг.

— Ты сам колхозу враг, пустоголовый!

— За такие слова он тебя может очень просто привлечь, сказал Ерема Кузнецов.

— А ты что хвост поднимаешь? Не мог ты поносом изойти в войну, пустобрех рыжий!

— Ты не кричи! — строго сказал Белозеров. — А убирай городьбу.

Они ушли, оставив его среди улицы. Ярость сдавливала ему горло, до судорожной боли напрягала мускулы. Подчиняясь неодолимой тяге хоть что-то изломать, сокрушить, изуродовать, он, выдержнув из чурки топор, бросился на огород.

— Сам посеку! Своей рукой!..

Со всего плеча ударил обухом по задвижке ворот, разнес ее в щепы. За воротами остановился. Ветви яблонек были облеплены белыми, с чуть заметной желтизной цветами. Над ними кружились пчелы, взблескивая на солнце прозрачными крылышками.

Высокий глухой заплот загораживал сад от ветра, здесь было тепло, как летом. Под крышей амбара хлопали крыльями голуби, стремительно проносились желтогрудые ласточки, на столб села сорока, увидела его, испуганно стрекотнула и полетела, словно пританцовывая, в прозрачном, слегка подрагивающем воздухе. Лучка покосился на топор. Диким показалось ему то, что хотел сделать минуту назад. Вспомнил, как осенью обвязывал тряпьем чуть ли не каждую веточку, укутывал деревца соломенными матами, засыпал снегом, оберегая от губительных морозов... И вот сейчас, когда впервые на этой, богом забытой, земле распустились цветы, убить

такую красоту. Белозерова не уговоришь, даже думать нечего. Придется переносить яблоньки на другое место. Выживут ли?

Осторожно подкопал он деревья, подсек уходящие в землю гибкие стебли корней. Опускались руки. Казалось, холодное лезвие топора сечет не корни, а его собственные жилы.

Кусты крыжовника на новом месте прижились хорошо, а яблони сразу же захирели. Сначала поблекли, сморщились и опали цветы, потом засохли листья и ветви. От одного деревца поднялась корневая поросль. Лучка было обрадованся, но, присмотревшись, понял, что это побег сибирской дикуши, на которую видимо, были привиты яблони.

Утрата была невосполнимая. Боль души Лучка заглушал давно известным средством — пил. Он пил в одиночестве, мрачно, как обреченный, на малейшее замечание Елены отвечал грубой бранью. Зашел Максим, его тоже выругал.

— Иди к своему Задурею! Скажи, пусть скорее судит, не то задавлю его!

В его затуманенном мозгу тюрьма представлялась избавлением от всех обид и болей.

— Ты погляди на себя в зеркало... — с сожалеющей улыбкой посоветовал Максим.

Елена услужливо подала ему осколок зеркальца, он хотел его кинуть на пол, но задержал в руке, и рука его дрогнула: увидел опухшую рожу с растрепанной бородой и красными воспаленными глазами. Едва поверил, что эта мерзкая образина его, упрямо сказал:

— Ну и что? Ну и пусть! К такой-то матери вас всех!

— Хватит дымить, Лука, — сказал Максим. — Займись лучше чем-нибудь. В МТС на стройку люди требуются...

— Пусть там твой Белозеров работает! Я не керосинщик. Я хлебороб!

Утром Елена не дала ему похмелиться. Он чуть ее не поколотил. Потом вспомнил, что на днях припрятал шкалик, засунув его в старый ичиг, достал, ушел на гумно, вытянул водку из горлышка и лег на траву. В голове прояснилось.

Рядом на пустоши вразнобой стучали топоры, дзынь-дзынь сек воздух звон железа, клокотал трактор, выстреливая в небо синие клочья дыма, по штабелям досок и круглого леса бегали ребятишки и козы. Там же носился его Антошка. Он залез на самый высокий штабель,

пошел по крайнему бревну, растопырив ручонки, ветерок пузырил на спине рубаху из зеленого сатина. Лучке показалось, что бревно под ногами сына качается и вот-вот скатится со штабеля.

— Антон!

Сын оглянулся, заметил его и скользнул за штабель. Спрятался, пострел! Боится, что ли? Оно и не мудрено испугаться...

Лучка провел ладонью по лицу, перелез через прясло и подошел к штабелю. Ребятишки сидели за бревнами, строили из щепок домики. Антошка, услышав хруст под его ногами, вскочил, выронив из подола стружки, нагнул голову настороженный, будто зверек, готовый в любую минуту показать пятки. У Лучки больно защемило сердце.

— Ты что делаешь, Антоша? — старался спросить ласково, но голос звучал, как у охрипшего от лая кобеля самому стало противно.

— Играю...

— Поди-ка, сынок, сюда...

Он вытер ему нос, пригладил спутанные волосы.

— Ты играй, а я посижу тут, и домой вместе пойдем. Ладно?

Он сел на штабель. Отсюда была видна вся строительная площадка. Возле ограды Прохора Семеныча плотники закладывали первый венец длинного здания, ближе из развороченной земли поднималась каменная кладка фундамента, а на отшибе, у гумен, торчал целый лес столбов. Народу на стройке было много, но суеты не замечалось, каждый, видать, знал свое место и дело. «Ишь ведь как!» с уважением подумал Лучка.

Мимо, тарахтя пустыми железными бочками, катилась телега, сбоку вислобрюхой лошади шагал Никита Овчинников.

— Здорово, Никита! Ты что тут?

— За горючим приехал.

— Присаживайся, покури.

— Сидеть мне, Лука Федорович, некогда. Трактор дожидается.

— Отсеялись?

— Давно.

— А сейчас что делаете?

— Пары подымаем. А ты что, вроде как хворый?

— Хворый и есть. Ну, езжай...

Дома Лучка истопил баню, напарился до ломоты в костях, наточил топор и утром пошел в МТС. Работу ему дали хорошую — делать

рамы, двери, косяки. Столярки еще не было. Он сам поставил верстак под навесом из сосновых досок, принялся за дело.

Сил никаких не было, ослабел хуже, чем от лютой хворости. В полдень под навесом становилось душно, жара выжимала из досок тягучие капли смолы, по его лицу струился пот, падал на крутые завитушки стружек. Садился отдыхать на ветерок, и взгляд прилипал к полям с разливами синевато-зеленых всходов пшеницы; отворачивался и видел свой забор, а за ним угадывал мертвые верхушки яблонек. Пустота сосала сердце. Велел Еленке яблони срубить и выкинуть, на поля старался не глядеть.

А стройка разрасталась. Поднимались на каменном фундаменте ремонтные мастерские, оделось в решетку стропил длинное здание гараж, заблестела вставленными стеклами контора...

В широкие ворота, теснясь, с мычанием втягивалось стадо. Забеспокоились телята, зазвенели подойниками доярки и нараспев начали подзывать к столбам дойных коров.

— Маня, Маня!

— Лыска, Лыска, Лы-ыска!

— Красуля! Красуля! Красуля!

Максим стоял у ограды, провожая глазами стадо. Коровы начали линять, на худых боках грязными клочьями висела шерсть. Когда во двор втянулось все стадо, Максим запер ворота. Подъехал Федос, спрыгнул с седла. За ремешком его фуражки синели цветы ургуя, ватная телогрейка была наброшена на плечи и застегнута на одну пуговицу у горла.

— Ну как? — спросил Максим.

Он каждый день встречал его этим вопросом. Ослабевшие от бескормицы коровы нередко ложились на пастбище и не могли подняться. В последние дни такого уже не случалось, но Максиму все еще не верилось, что стадо пошло на поправку. Федос сказал, что все в порядке, и принялся расседлывать лошадь.

Пыль, поднятая стадом, неподвижно висела над землей. Начались сумерки. На покосах еще взблескивали озерки, но на востоке густосиреневое небо уже прокололи острые огоньки первых звезд. Над кустами, посвистывая, пролетели кулики, на берегу речки надрывалась от призывного крика дикая утка, ей вторила, будто передразнивая, одинокая лягушка.

— Ну, кажись, живем! — сказал Максим. — Доползли до тепла... Федос, а я сегодня с Рымаревым говорил. Пошлет тебя на курсы трактористов. Тебя, Никиту Овчинникова и еще троих.

— Спасибо, — как-то тускло, без радости проговорил Федос.

А все время просился, надоедал. Знал бы он, каких трудов стоило Максиму уломать председателя. Федос, дескать, брат уличенного во вредительстве Луки Богомазова, его нельзя допускать к технике.

Дойка закончилась в потемках. Умолкли голоса доярок, мычание коров и телят, наступила спокойная, теплая тишина. После

ужина доярки собрались на завалинке зимовья, завели песню. Максим и Федос тоже вышли к ним. Славно пели девчата. Негромкие голоса, сплетая мелодию, удивительно хорошо ладили с тишиной весеннего вечера, не разрушали ее, а делали более глубокой. Грустно и радостно было на душе Максима, и жаль стало этих молоденьких девчонок, сохнувших здесь без парней, и себя тоже немного жаль неизвестно почему.

Когда стали расходиться, Максим обнаружил, что Федоса на завалинке нет. И Поли тоже. Он зашел в зимовье, не зажигая света, разделся и лег на скрипучий топчан. Петруха Труба спал, слегка похрапывая, за стеной, в «девчатнике», слышались голоса доярок, но и там вскоре все затихло. Максим курил и поджидал Федоса.

Вернулся шурин поздно. Прошел на цыпочках к своему топчану, сел.

— Долго гуляешь, жених, — сказал Максим. Федос промолчал. Поспешно лег.

— Ты Дариму так и не видел? — спросил Максим.

— Видел... — буркнул Федос.

— Когда?

— Ну, сегодня.

— И что ты ей сказал?

— А что ей надо сказать? — По голосу Федоса можно было догадаться, что ему совсем не хочется разговаривать.

— Ты не дуйся, Федос. Поступай, как знаешь, но поступай честно. Ты на Дариме собирался жениться, а крутишь с Полей. Нехорошо это.

— С Полей я не кручу. Скоро у нас свадьба будет.

— Вот как! — Максим сел. — Не ожидал.

— А что мне делать? — Федос тоже сел, заговорил горячо, сбивчиво. Едва я про женитьбу на Дариме заикнулся, все рты разинули... Задразнили... Смеются. В улусе жить не хочу. Я свою деревню люблю. Дариме не сказал. Но я скажу.

— Пстой, Федос, ты что-то все не то говоришь. Ты... любишь Полю?

— Не знаю. Как-то чудно получается. Пока Дариму не видел, мне казалось, что никого, кроме Поли, не надо. А сегодня встретились... До сих пор перед глазами. Я правду говорю, Максим.

— Да-а, закавыка... Не торопись со свадьбой, Федос. Не торопись.

— А-а, один конец... Надоело мне все. Жизнь такая надоела. Бездомный... Елена того только и ждет, чтобы я убрался.

— Переходи к нам. Уж Татьяна-то тебя не обидит.

— Не хочу. Не маленький, чтоб обузой быть.

— Послушай, Федос... Пока ничего не решай. Поезжай на курсы трактористов. В МТС будете учиться. Живи пока у нас. Потом все уладится, вот увидишь.

Федос пообещал ему не спешить. Через три дня он уехал в деревню. А через неделю сбежала домой и Поля, не захотела больше работать дояркой. Петруха Труба сказал Максиму:

— Заарканит девка твоего шурина, помяни мое слово. Максим и сам понял — заарканит.

Приехав в Тайшиху на партийное собрание, Максим зашел к Лучке, попробовал заставить его как-то подействовать на младшего брата, удержать дурака от скорого и, чувствовал Максим, неверного решения. Но Лучке было не до этого. Он узнал, что его дело передали в суд, был трезв, угрюм и неразговорчив. Максиму сказал:

— Не устраивай чужих дел. У тебя это не выходит.

На собрание Максим пришел последним, его уже поджидали. Пока он раздевался, Белозеров скороговоркой перечислил вопросы повестки дня, привычно спросил:

— Дополнения, изменения будут? Нет. Тогда...

— Будет дополнение, — Максим стоял у вешалки, причесывал волосы. — О Богомазове надо нам поговорить, о Лучке.

— Снова ты о нем! Было решение общего собрания — точка! — Белозеров рубанул по столу ладонью.

— Ну было... — нехотя согласился Максим, поглядывая на Абросима Николаевича. Скажет ли бригадир, что Лучка затягивал сев по его совету?

После болезни Абросим Николаевич заметно постарел, его лицо отливало желтизной, щеки стали рыхлыми, пористыми; он сидел, устало навалившись на спинку стула, тяжелые руки безвольно лежали на коленях, глаза были прикрыты припухшими веками. Не столько для Белозерова, сколько для Абросима Николаевича Максим сказал:

— Когда такое дело решается, не мешает, Стефан Иванович, и другие голоса послушать, не только ваши.

— Кому мы рот затыкали? — начал сердиться Белозеров.

Медленно, словно бы это ему стоило больших трудов, Абросим Николаевич поднял веки.

— Тут вот что, Стефан Иванович... Тут я больше Луки Федоровича виноват. Подучил его... Думал: недостаточное дело урожай обречь на гибель.

Белозеров озадаченно хмыкнул, помолчал и напустился на Абросима Николаевича:

— Ты понимаешь, о чем говоришь?! На одну скамью с Лукой сесть хочешь? Где был до этого? Почему молчал?

— На собрание не мог прийти. Но еще до собрания, когда ко мне зашел Павел Александрович, я ему все сказал.

Рымарев что-то чертил на листке бумаги и, казалось, совсем не слушал, о чем говорят, но едва Абросим Николаевич упомянул его имя, осторожно, без стука положил карандаш, выпрямился.

— Говорил он тебе? — резко спросил Белозеров.

— Да, говорил. Но я счел возможным умолчать об этом по двум причинам. Во-первых, было бы бесчеловечно тревожить Абросима Николаевича во время тяжелой болезни, во-вторых, главная ответственность все равно ложится на Богомазова, взявшего на себя смелость обманывать руководство.

Холодное спокойствие Рымарева раздражало Максима, так и хотелось ляпнуть что-нибудь грубое, мужичье, но он понимал: грубостью его не проймешь, заговорил почти спокойно:

— Ты, Павел Александрович, позабыл третью причину. С членом партии, бригадиром Кравцовым, разделаться потруднее, чем с Лучкой. А разделаться с кем-то тебе ох как нужно было: гляди, районное начальство, какую тяжесть на плечах несут, сколько врагов и недругов у моего колхоза. Когда что-то и прошляпишь, очень просто можно вывернуться, — отсталая семейщина помешала.

— А разве мало темного, отсталого в семейщине? — прищурился Рымарев. — Разве мало помех нашим начинаниям? И разве мы, большевики, творцы всего самого ценного на земле, имеем право быть снисходительными к воинствующему невежеству?

— Это ты правильно, — кивнул Белозеров, замороженный складной речью.

— То-то и оно, что говорит он всегда правильно. Максим хмурился, напряженно обдумывая свои слова. — Но как это мало для

партийца, говорить правильно! Лучка, спору нет, своевольничал. Есть ущерб от его своевольства колхозу? Нету. Но его под суд! А возьмем тебя, Павел Александрович. Ты в прошлом году, чтобы выхвалиться перед Петровым, первым в районе страду начал. В газету попал, грамоту получил. Хорошо, дай бог больше. Но заместо того, чтобы убирать зеленый хлеб, надо было корма заготовливать. За твою грамоту, Павел Александрович, мы дорого заплатили. Сколько скота передохло от бескормицы? С тебя за это не спросили. А я считаю, спросить надо. Нечего прикрываться партийной линией и указаниями товарища Петрова. Партийная линия у тебя интересной получается: куда захотел, туда гнется. Не верю я, чтобы она такой была, наша партийная линия.

Белозеров вначале порывался остановить Максима, потом начал слушать с заметным интересом и, когда Максим замолчал, повернулся к Рымареву, ожидая, что он скажет. Павел Александрович старался оставаться невозмутимым, но все мышцы его худощавого лица напряглись, ногти на пальцах, сжавших кромку стола, побелели.

— Уж одно то, что товарищ Родионов сравнивает меня с Богомазовым, окулачившимся элементом, оскорбление для большевика. Но я не обижаюсь. Рымарев передохнул, его губы, силились сложиться в снисходительную улыбку, но из этого ничего не получилось, губы просто кривились. — Настораживает меня другое. Товарищ Родионов всеми доступными ему способами старается очернить меня, подорвать мой авторитет. Видите, он и хлебоуборку и корма вспомнил. Не надо быть сильно прозорливым, чтобы увидеть, что кроется за этим. Во всем, в том числе и срыве сверххранного сева, виноват я, а не кто-то другой, в частности не его родственник Лука Богомазов.

Максима почему-то даже не удивило слово «родственник», произнесенное Рымаревым с заметным нажимом, он только подумал с сожалением: «Эх ты, человече!»

— Значит, я черню тебя? — спросил Максим. — Ладно, не буду... Зашибленное вспухнет, засеянное взойдет, и всем, у кого глаза имеются, все видно станет без меня. Будем говорить о Лучке. Кто ему да и другим мужикам хотя бы попробовал растолковать, для чего надо сеять в мерзлую пашню? Не было этого. Почему?

Белозеров накрутил на палец прядь жиденького чуба, из-под руки посмотрел на Рымарева:

— И в самом деле — почему? — Тут Максим попал в точку. — Не доработали мы с тобой, надо прямо сказать.

— Я с вами, Стефан Иванович, не совсем согласен, осторожно возразил Рымарев. Была замечательная по своей ясности статья секретаря райкома, было прямое указание руководства проводить именно сверххранний сев. Что еще надо?

— Надо, чтобы пользу свою видели люди, — проговорил Абросим Николаевич. — Я, убейте меня на месте, до сей поры не знаю какая нам польза от такого сева?

— Вот-вот! — обрадовался Максим поддержке. — Но дело даже не в этом. Нерассудочность таким путем внедряется. Понял делай, не понял делай. Настоящий хлебороб так не может. Лучка не смог без разумения с землей обращаться. В том его вина? Побоялся народ без хлеба оставить за это ему наказание? Да что вы, братцы! Павел Александрович подковырнул меня: Лучка родственник. Я на это так смотрю. У всех у нас одно хозяйство, одни радости и печали, значит, все мы как родственники и обижать друг друга нам не пристало. Тебе это родство не понятно, Павел Александрович.

Кончики усов Рымарева чуть заметно подрагивали, но он молчал, выжидательно поглядывая то на Белозерова, то на Ерему Кузнецова.

— Молчите, товарищи? — скорбным голосом сказал он наконец. — Тогда разрешите мне. Нам нечего, я полагаю, скрывать друг от друга, давайте говорить начистоту. Все вы знаете, что семейщина с ненавистью относилась к чужакам. Эта ненависть, к сожалению, не исчезла бесследно. Я на себе постоянно испытываю, насколько сильна она и поныне. Мирился с этим, считая, что вы меня поддерживаете. Сегодня один из вас дает мне ясно понять, что я здесь чужой, а вы все молча принимаете это. В таких условиях полезнее будет для общего дела, если вы выберете на пост председателя своего человека. А меня прошу, освободить... Всех ошарашил Рымарев.

— Так, так... — Белозеров в смущении постучал казанками пальцев по столу, словно призывая соблюдать тишину и порядок.

— Неправда, как цепная собака, на кого спустил, в того и вцепилась, Павел Александрович...

Максиму не дал говорить Белозеров. Он властно хлопнул ладонью по столу, зло крикнул:

— Кончайте! Ты, Максим, бросай нападать... Павел Александрович звезд с неба не хватает, но посмотри, какой порядок в его конторе всякая копейка на учете, любая бумажка на своем месте. Колхоз окреп за эти годы. И тут его заслуга есть. Конечно, ошибки тоже имеются. А у тебя, у меня нет? Ты, Павел Александрович, сейчас загнул. Что чужой разговоров даже нет, и болтать об этом тебе не к лицу. С этим все! Теперь о Лучке. Признаться, поторопились... Потому дело из суда обратно заберем. Но в колхоз его пускать не надо. Исключили правильно.

Стефан Иванович всегда удивлял Максима такими вот неожиданными поворотами. Не он ли еще недавно с пеной у рта доказывал, что Лучку надо судить по всей строгости закона, как злостного саботажника. А сейчас «поторопились». Это хорошо, что, поняв свою ошибку, не упрямится. Все-таки неплохой мужик Стефан Белозеров. Вот только почему же нельзя Лучку восстановить в колхозе. Спросил его об этом.

— Пусть, — сказал Стефан Иванович, глядя на него, — другие навсегда зарекутся всяк в свою дуду дудеть. Полно своевольщиков развелось.

— Очень уж он прыткий. На людей кидаться... — вставил молчавший весь вечер Ерема Кузнецов. — Землю отрезали, меня обругал. Должности моей, заслуженности не постеснялся.

— Обожди ты! — пренебрежительно двинул рукой Белозеров. — О тебе, Абросим Николаевич, не знаю, что и говорить. Самое малое выговор надо бы вклеить за твои советы. Но я думаю, на первый раз можно и простить. Только ты встань и во весь голос скажи, что вперед таких штучек-дрючек выкидывать не будешь. Давай!

Абросим Николаевич пошевелился, скрипнув стулом, но не встал.

— Ни во весь голос, ни шепотом не скажу так. Сегодня скажи, а завтра вы затребуете делать то, чего ни понять умом, ни почуять сердцем не в силах. Лучше давайте выговор и убирайте с бригадирства.

— И ты выпрягся? Какого черта ерепенитесь?! Один снимайте, другой снимайте. Что эта за игра такая? Работайте без всяких разговоров, не то снимем, только не так, как вы хотите. Вот вам весь мой сказ...

С этого собрания Максим ушел с чувством острой горечи. Не удалось до конца отстоять Лучку. Уж одно это худо, а тут Рымарев. Эка

что выдумал! Возвести такую напраслину, и для чего? Чтобы выкрутиться, обелить себя... Партийный человек... Ну, выкрутился, хотя и не совсем, дальше что? В другой раз прижмут, опять придется выдумывать побрехушку. Так можно вконец избрехаться.

После собрания Максим старался встречаться как можно реже с Рымаревым. Не хотелось с ним разговаривать. А тот держался так, будто ничего не случилось. Спокойно и вежливо, ровным голосом давал распоряжения, спрашивал о делах, иногда даже шутил. Максиму стало казаться, что он притворяется. Всегда. Ничего не скажет от души, не сделает от сердца, его всегдашняя вежливость притворство, спокойствие притворство, шуточки притворство, за всем этим он настоящий маленький и пугливый.

По крестьянской привычке вставал Лучка на заре, хотя спешить было некуда рабочий день в МТС начинался в восемь часов, по деревенским понятиям непростительно поздно. Подумать только, солнце уже вон где, роса высохла, люди на сенокосе успели спину наломать, а тут только собираются за дело браться. Опять же и по вечерам... У колхозников впереди целый уповод, а тут уже пошабашили. Времени свободного у Лучки девать некуда. И все оно уходит впустую. Белозерова на дню семь раз клял. Сгубил лиходея яблони. Сейчас бы ими заниматься в самый раз было. Правда, пчелы есть, из лесу привез несколько кустов смородины, крыжовник растет, огород хороший, такого огорода во всей Тайшихе нет, помидоры прямо на кустах вызревают, огурцы, что ни лунка, то новый сорт: есть короткие, толстые и гладкие, от макушки до половины белые, есть сплошь густо-зеленые в пупырышках, есть длинные, без малого в полметра, свернутые в колбаску. Тыквы наливаются такие, что Антошка с земли поднять не в силах. Но все это не то.

Надумал Лучка во время отпуска катануть в Красноярск, разыскать тамошних садоводов, перенять их хитрости, привезти саженцев всяких разных, тогда можно жить не тужить, провались Белозеров со своим колхозом и сверххранним севом.

Понемногу стал откладывать деньги на поездку. Пить бросил, реже тосковал по полям. Когда Максим сказал, что если хорошо похлопотать, то могут снова принять в колхоз, Лучка колебался недолго. Выгнали все, нечего теперь заманивать. Сказал Максиму:

— Я рад-радехонек, что от вас отвязался. Тут порядку больше и поучиться есть чему. Работа у мастеровых МТС особая, на крестьянскую не похожая, любопытная очень. Во всем тут была четкость, точность, слаженность.

В МТС построили пожарку с каланчой, и теперь каждый час над Тайшихой тяжело бумкал старинный, снятый с какой-то церкви колокол. Утром сразу же после восьми ударов мастерские наполнялись звоном, визгом и скрежетом железа, торопливым клекотом движка, дробными перестуками кузнечных молотов, шумом приводных ремней. Первое

время Лучку раздражали все эти звуки и неистребимый запах керосина, он проходил по мастерским, опасливо озираясь, так и казалось, что попадешь рукой или ногой в коловерт замасленного железа, но постепенно привык ко всему и все чаще останавливался то у станка, то у верстака, с неубывающим удивлением смотрел на работу мастеров. Больше всего ему нравилось токарное дело. Острый нос резца легко, легче, чем нож репу, режет сталь болванки, серебряной лентой течет стружка, завиваясь в крутые кольца; ложатся в ящик блестящие детали, похожие одна на другую, как две капли воды; токарь, молодой курносый парень, работает шутя, переставляет резцы, включает рычаги и тут же что-нибудь рассказывает, смеется... Не менее интересна была для Лучки и газосварка. Тонкий язычок пламени, вырываясь из горелки, кажется безделицей, но под ним железо в одно мгновение наливается малиновым цветом, вскипает, роняя на землю расплавленные капли. Смотрит Лучка на все это и до зуда в руках самому хочется так же резать и плавить металл. Столярное дело, с детства знакомое, выглядит будничным и скучным.

Часто он подумывал попроситься в ученики к токарю или сварщику, но боялся, что на смех поднимут, скажут: куда тебе, борода, с неумытым-то рылом. А еще то останавливало, что копейку выгонять приходилось. Каждый лишний рубль берег для поездки. И вдруг пришлось поездку отложить.

Федоска женился-таки на Поле Викула Абрамыча. В дом к нему идти собрался. Каково оно, житье в тестевом доме, Лучка на своей шкуре испытал, не хотелось ему, чтобы брату та же доля досталась. Все деньжонки, какие были, присоединив к ним то, что занять удалось, отдал Федосу покупать домишко, хотя бы худенький, живи сам по себе со своей Полей. Елена, обрадованная тем, что Федос послушался добрых людей и не женился на Дариме и тем еще, что из дому уходит, не только не ворчала, когда он деньги брату отдавал, но и сама резво бегала по соседям, выпрашивала займы у кого пятерку, у кого червонец. Сам Лучка не полез к брату с советами, как ни просил его об этом Максим. Пусть живет своим умом. Посоветуй, он по-твоему сделает, а жизнь не сладится, до гроба в обиде будет.

Федос учился на тракториста, видел его Лучка каждый день. Своей жизнью, женой брат вроде бы был доволен, во всяком случае не

жаловался. Но вскоре он понял, что у того не все так ладно, как кажется.

Утром Федос забежал в столярку, сказал, что сегодня курсанты будут самостоятельно ездить на тракторе.

— Хочешь посмотреть?

— Пойдем.

Трактор стоял за гаражом на широкой площадке, измятой колесами. Первым за руль сел Жамбал Очиржапов, земляк Батохи. Включив скорость, он наклонился всем телом вперед, словно под ним был необъезженный скакун. Механик махнул рукой, трактор рыкнул на всю мощь, рванулся с места.

— Легче! Легче! — крикнул механик.

Но Жамбал его не слышал. Он проехал круг, оглянулся, на солнце блеснули обнаженные в улыбке зубы. После второго круга механик велел ему дать задний ход. Трактор попятился, стреляя кольцами дыма. Лучка отошел в сторону и увидел Дариму. С коротким бичом в руке, в легком летнем терлике она стояла у забора.

— Здорово, Дарима! Ты чего здесь? — Харчи ребятам привезла.

Услышав ее голос, Федос резко повернулся, как-то нелепо взмахнул руками и деревянным шагом подошел к ней. Кашлянул.

— Как живешь?

— Живу...

Замолчали. Федос исподлобья смотрел на девушку. Дарима закручивала и раскручивала ремешок бича. За дощатым забором завывала циркулярная пила, гудел трактор. Лучке было неловко, что он оказался рядом с ними, но что-то мешало уйти.

— Богомазов, твоя очередь! — крикнул механик.

Федос пошел оглядываясь, потом остановился, торопливо сказал:

— Подожди... я сейчас.

У трактора ему что-то говорил механик, но он вряд ли слушал.

Поднимаясь на трактор, зацепил длинными своими ногами сумку с инструментом, на землю со звоном посыпались ключи, воротки и отвертки. «Балбес!» ругнул его Лучка про себя и косо глянул на девушку. Дарима стояла, чуть подавшись вперед.

Наконец Федос сел на железную тарелку сиденья, его руки заметались по высветленному ладонями колесу руля, трактор дернулся,

кашлянул и заглох. Жамбал стал крутить заводную рукоятку, механик что-то сердито сказал Федосу и наклонился к мотору.

— Экий оболтус! Полюбуйся на него, — сказал Лучка.

— Зачем тебе ругаться? — с укором спросила его Дарима и быстро пошла за ворота МТС.

Трактор зарокотал снова, и Федос поехал. На этот раз у него все получилось гладко. Сделав круг, он передал руль другому, курсанту и сразу же пошел к Лучке, нахмурился, обвел взглядом двор, намерился идти за ворота, по Лучка остановил его.

— Сейчас двенадцать ударит. Пойдем обедать ко мне. Елена славную ботвинью сотворила. Охладимся.

— Я домой пойду...

— Поля па работе?

— Работает.

— Ну, вот. Наверно, и поесть нечего... Пошли, не разговаривай. По случаю того, что в трактористы выходишь, не худо бы и бутылку распить. Но это после работы.

Федос пошел с неохотой. Как ни старался Лучка растормошить его разговором, ничего не получилось.

Не знаешь ты цены жизни, Федос, вздохнул Лучка. Такая лафа привалила трактористом стал. Работа по сердцу самое главное. Всему другому цена небольшая. Хорошая работа, к примеру, важнее тебе, чем добрая баба. Они, бабы, Федос, все одинаковые. До свадьбы такие все хорошие, завлекательные, прямо ангелы с иконы. А женись и не заметишь, как из твоего ангела черт получился. Согласен ты со мной?

— Согласен, — сквозь зубы проговорил Федос, наверно, для того только, чтобы он не вязался к нему.

Лучка и не стал больше рассуждать о бабах, но дал себе слово не спускать глаз с брата. Теперь Федосу пятиться некуда.

Благодатным выдалось лето 1936 года. Часто шли дожди, и на влажной земле narосли густые травы, даже степь все лето оставалась зеленой, ее не выжгло, как обычно, горячее июльское солнце, урожай хлебов созрел такой, какого и старики не помнили: озимая рожь на многолетней залежи, разодранной тракторами, вымахала в рост человека, а местами в ней мог свободно скрыться всадник; хороша была и пшеница, она почти везде полегла от тяжести зерна.

С началом страды опустела Тайшиха. Весь народ, кроме стариков и детишек, в поле. Урожай радовал людей, и работали дружно, споро. На полевом стане доска висела, в два цвета крашенная, одна половина красная, на нее заносили фамилии передовиков, на другую, черную половину, попадали те, кто не доработал до нормы. Мужики вслух посмеивались над располовиненной доской, но про себя почти все одобряли такой порядок. По заслугам честь, по чести место.

Игнат и Настя косили пшеницу. В звене с ними работал Тараска Акинфеев со своей Нюркой. Баба у Тараски смирная, работящая, но сам он из леней лень. Так и смотрит, как бы под суслон завалиться, полежать в холодке. Все на черной половине доски красовался, потом его Белозеров к Игнату приставил...

Настя ведет прокос первой, за ней Игнат, за Игнатом Нюрка, Тараска тащится последним. Сопит на все поле. Тяжело ему, жирному, такую работу делать. Лучше всех, как бы играючи, косит Настя. Взмахивая косой, она не поворачивается всем корпусом, а лишь слегка водит плечами. Если всем корпусом поворачиваться, кажется, что косить легче, удобнее, но быстро устаешь, и бока болят вечером. Настин сарафан подоткнут, ноги в легких тапочках твердо, прочно упираются в землю, за ними двумя ровными ниточками тянется след примятая щетина жнивья. Хорошо, легко Игнату идти за Настюхой. Раз за разом взлетают косы с грабельками, прикрепленными к косовищу, разом опускаются вжик! И снова вжик, вжик! С шуршанием ложится в валок срезанная пшеница, колос к колосу, срез к срезу.

Закончив прокос, Настя улыбается Игнату устало.

— Отдохнем?

Тараска, слышав о передышке, жмет к концу прокоса изо всех сил, сшибив последние колосья, валится брюхом на землю, дрыгает ногами, истошно орет.

— Нюрка, пить! Умираю!

Нюрка достает из-под суслона ведерный туес с ботвиньей, Тараска, облапив его руками, пьет, потом снова валится на землю и охает, стонет, гладит бока. Рубаха на нем мокрая, пот сбегает с затылка на розовую, пухлую, как у ребенка, шею. Настя пошлепывает его по округлой спине, приговаривает:

— Бедненький, исхудал-то ты, измаялся...

— Три раза Нюрка штаны ушивала, как страдовать начали. Спроси у нее. Тараска переворачивается на спину, закрывает ладонью глаза от солнца.

— Чего же не сидел в своей кладовой?

— Попробуй, усиди...

— Тянет на поля? — смеется Настя.

— Стишка турнул из кладовой. А на поля меня никогда не тянет. Мне бы в городе, в каменном доме, чтобы солнце не припекало, сидеть и пиво холодное посасывать. Хочу я в начальники вылезти. Нюрку себе в заместители возьму.

Игнат потирает переломленную руку, улыбается в бороду, слушая треп Тараски. Усталость приятной истомой разливается по телу, полевая прохлада овеивает горячее лицо. На косогоре трещит конная жатка, взмахивая решетчатými крыльями, рассыпавшись цепью, по всему полю вяжут снопы бабы, за ними снуют неутомимые, как мураши, ребяташки, ставя снопы в суслоны. Вся Тайшиха тут. И в старину вся деревня выходила на страду. Но тогда было другое. Каждый хозяин копался на своей полоске, с завистью глядя на тех, у кого много рабочих рук и кони добрые, страшился, что не успеет убрать урожай до снега, лютовал на работе, крыл матом жену и детей.

— Ну что, начали? — спросила Нюрка.

— Во, ударница выискалась... — заворчал Тараска. — Все равно премию не дадут.

— Но все-таки встал, охая, взялся за косу.

Вечером Настя и Нюрка уезжали домой, доить коров, а Игнат и Тараска косили до потемок. На полевом стане Тараска первым делом шел к доске, тыкал в свою фамилию пальцем, спрашивал мужиков:

— Это как, а?

Звено Игната было неизменно в числе первых. И здесь, у доски, Тараска прямо раздувался от гордости, задирали всех, кто был ниже его на красной половине.

— Эй, Гришуха, тебе одна строчка до черной доски осталась.

— Сам с нее недавно укочевал.

— В том-то и дело, что укочевал. А знаешь, Гришуха, почему так у тебя получается?

— Почему?

— Параньку на полевом стане при себе держишь. Сила твоя не туда уходит.

Мужики не сердились на Тараску, добродушно посмеивались над его шуточками и необидным бахвальством.

Никогда, кажется, Игнату не работалось так, как в ту теплую осень, никогда не чувствовал он себя таким спокойным, уравновешенным, избавленным от липкой паутины прошлых раздумий. Засыпая на телеге под звездным небом, он с радостью думал о завтрашнем дне, как снова будет идти следом за женой, сваливая сухо шуршащую-пшеницу, как Настюха улыбнется, повернувшись в конце прокоса, и что-нибудь спросит, будто догадываясь, как много значит для него видеть ее улыбочное лицо, слышать ее голос.

После того, как хлеб сжали, связали снопы и заскирдовали, правление колхоза решило отпраздновать День урожая. С вечера у конторы сколотили помост, поставили на него столбы, обтянутые красной материей, вывесили флаги. Утром улицу запрудил народ, ждали необычного, чего раньше никогда не бывало. Ребятишки, как воробьи, сидели на заборах, бабы угощали друг друга калеными орехами, мужики неторопливо поглядывали на пустой пока помост, кое-кто любопытствовал, будет ли ради праздника колхозная выпивка. Белозеров и Рымарев сновали в толпе, что-то шептали на ухо то одному, то другому. Увидев Настю и Игната, Белозеров потянул их в сторону.

— Настюха, ты беги к Степаниде Абросихе, помоги ей стряпать. Беги, беги... А ты, Игнат Назарыч, слово людям скажи...

— Нет, Стефан Иваныч, не мастер я на слова. Пусть кто побойчее на язык скажет.

— Все, договорились! — Белозеров увидел кого-то в толпе и, бросив Игната, убежал.

Время близилось к обеду, когда на помост поднялись Белозеров, Рымарев, секретарь райкома Петров, Максим, Абросим Николаевич, Паранька Носкова... Толпа сдвинулась плотнее, затихла. Белозеров, жмурясь от солнца, сказал:

— Дорогие колхозники и колхозницы! Митинг, посвященный нашему празднику, считаю открытым.

Стефан Иванович успел переодеться. На нем был городского покроя пиджак, голубой, с черными полосками галстук туго стянул воротник белой рубашки, в этой одежде Белозеров был на себя не похожим.

Слово взял Рымарев. Он говорил о достижениях в полеводстве и животноводстве, называл десятки разных цифр. Потом говорил Петров. Речь была короткой, но энергичной, хлопали ему от всей души.

— Колхозный строй, товарищи, победил повсеместно и навсегда. Сегодня мы радуемся нашим общим успехам и у нас нет сомнения, что в будущем эти успехи станут еще значительнее. Однако борьба за революционное преобразование не прекратилась, она стала сложнее. Наши враги не сложили оружие, они стали коварнее. Но за нами будущее. Я поздравляю вас, товарищи, с праздником, желаю вашему колхозу расти и крепнуть на радость Родине, на страх врагам.

Снова поднялся Белозеров, просунул палец под воротник рубашки, подергал, ослабляя галстук, покрутил головой. Викул Абрамыч, задрав бороденку, что-то ему сказал что, Белозеров не понял, перегнулся через стол.

— Удавка-то жмет, говорю, шею, скинь ее, — громко повторил Викул Абрамыч.

В толпе прошелестел смешок. Белозеров погрозил старику пальцем и тоже засмеялся.

— Товарищи! Все мы нынче поработали хорошо, а некоторые просто на славу, поработали. Правление колхоза решило премировать передовиков. Белозеров взял список. — Петра Силыча Антонова премируем патефоном с пластинками. Где ты, Силыч, шагай сюда.

Петруха Труба, растолкав толпу локтями, поднялся на помост, принял из рук Рымарева синий ящичек, подержал его и поставил на стол.

— Стефан Иваныч слово сказать велел, а что сказать, задери меня медведь, не знаю. Петруха широко развел руками.

— Пусть твоя баба за тебя скажет! — посоветовал Тараска. Грохнул хохот. Петруха рассердился.

— Чего ржете? Это же сурьезное дело. Раньше я спину ломал меньше, что ли? А кто мне что дарил за мою работу? Без конца попрекали, лаяли, всегда был таким-сяким, немазанным. Теперь мне почет...

Белозеров первым хлопнул в ладоши, и все сразу захлопали, заглушая слова Петрухи. Он спустился с помоста, надменно поджав губы, бережно прижимая к груди патефон.

— Тракториста Никиту Овчинникова гармошкой... — объявил Белозеров.

Никита вжал голову в плечи, хотел выскользнуть из толпы, но его силой втолкнули на помост, и он стоял там, испуганный, озирался по сторонам.

— Вот дикарь!

— Опуцел от радости!..

Взяв гармошку, Никита спрыгнул с помоста, исчез в толпе. Игнат очень хорошо понимал парня и радовался, что правильно решил в тот раз. Не быть бы Никите трактористом, не получать бы премию...

— Анастасию Родионову шелковым отрезом на платье. Игнат не сразу сообразил, что Анастасия его Настюха. Она

взяла из рук Рымарева отрез, одними губами произнесла спасибо и быстро сбежала вниз, пробилась к нему, встала рядом. На пылающем лице блуждала растерянная и счастливая улыбка. Стесняясь своей радости, Настя прикрывала лицо свертком.

— Тараса Акинфеева чемоданом.

Тараска медленно, степенно, с достоинством поднялся на помост. Гнулись и угрожающе потрескивали под его тяжелым шагом тонкие доски. Деловито и спокойно осмотрел он чемодан, постучал пальцем по крышке.

— Хороший... Но зря мне его дали. Честно говорю. Не шибко я удалый, братцы-товарищи. Косил хлеб, конечно, справно, но под большим давлением Игната Назарыча.

— Ему и отдай чемодан, — посоветовал Викул Абрамыч.

— А зачем ему? Леня свою в этот чемодан захопну, на замок защелкну и подарю тебе, Викул Абрамыч. К твоей больной спине моя лень хорошо подойдет.

Тараска бы и еще говорил, но Белозеров согнал его с помоста.

— Хватит болтать... Игнат Назарыч, иди сюда. Тебе часы с боем.

Взяв часы, Игнат повернулся к толпе. В глазах зарябило от многоцветья нарядов, тесно стало в груди от множества взглядов, устремленных па пего веселых, ждущих, добрых, насмешливых взглядов. И ему захотелось сказать им что-то важное, что-то такое, чтобы они поняли, как хорошо все это и праздник, и что люди все вместе, и нет вражды меж ними. И о Лазурьке хотелось сказать, и о брате Макарше, о великой плате за эту новую жизнь, и чтобы берегли, ценили люди радость больше, чем все другие блага, потому что человек без радости, как лампа без керосину: чаду много, а свету нет.

— Мужики, и вы, бабочки, это первый такой праздник...

Он на минуту замолчал, подбирая слова, и этой минутой воспользовался Тараска.

— Скажи, Назарыч, чтобы чаще проводили! Хотя бы два раза в неделю.

Игнат понял, что сейчас не к месту будут его слова. А может, и, вовсе их говорить не надо... Люди и так все понимают, а кто не понял поймет. И он закончил совсем не так, как думал:

— Это первый наш праздник, но верю, не последний. Внизу его встретил Корнюха, потащил к забору.

— А ну, покажи, что за часы.

Игнат снял бумажную обертку. Продолговатый футляр светлого дерева был украшен резьбой, на крышке два застекленных окна, под круглым цифрой и острые пики стрел, под квадратным медная бляха маятника.

— Ничего часы... — Корнюха провел ногтем по стеклу, прислушался, что говорит Белозеров. — Максе отрез сукна на костюм дали. Тоже неплохо. И все же за такие приманки я бы не стал пуп надрывать.

— Ты и так не надрываешься.

— Головой работаю. Где трудодней больше записывают, туда иду. Хлеб делить будут побольше вас с Максей получу. Значит, и часы смогу купить, и сукна на костюм, да и на другое останется.

— Ну-ну, покупай... Много можно купить кое-чего, но не все...

После того, как вручили премии, Рымарев сказал:

— А теперь, дорогие товарищи, приглашаю всех за колхозный стол.

Столы были накрыты на дворе возле зерносклада двумя рядами вытянулись чуть не на версту. Сели, и всем места хватило. Столы ломились от закусок. На огромных подносах вареная баранина, тарелки с рыбой, солеными пыжиками, огурцами, пышной стряпней, чашки с творогом и сметаной. Рымарев и Белозеров не поскупились, всего было вдоволь, только выпивки норма. Мужики, на спиртное зарные, остались недовольны: что за праздник, если вина не вволю? Но таких было немного, и ворчать им не дали, осмеяли...

За столом сидели сперва чинно, на начальство поглядывали, но после второй рюмки все стало просто и обычно: кто-то что-то рассказывает, кто-то смеется, кто-то громко требует, чтобы послушали его шумит застолица, скинувшая робость и неловкость. Белозеров идет с наполненной рюмкой меж столами, наклоняется то к одному, то к другому, что-то говорит, улыбается, и во взгляде его нет всегдашней шустрой остроты, черты лица словно бы размякли... Подошел и к Игнату.

— Хочу с тобой и твоей Настюхой чокнуться. С премией поздравляю... Ага, и Максим тут. С тобой ото всех особо. Прямой ты человек, Максим. Люблю.

Корнюха через стол руку тянет.

— Чокнемся! Или только с передовиками? — Устинья дергает мужа за рубаху.

— Сядь!

— Давай чокнемся... — Белозеров оперся на плечо Игната, потянулся к Корнюхе. — В другой раз и ты передовиком будешь.

— Уже был, больше не желаю.

— Да ну! Что-то я не замечал! — засмеялся Белозеров.

— Был! Когда японца и Семенова колошматили. Но ни отреза, ни гармошек нам не давали.

Лихо, одним махом, Корнюха выпил, закусывать не стал, отодвинул тарелки, положил локти на стол, проводил председателя неласковым взглядом. Потом негромко запел:

*Там, в селе, где в убогой избушке
жили мирно два брата с отцом...*

Песню, должно, давно ждали, сразу подхватило несколько голосов.

*Уважала их вся деревушка,
и богатства у них полный дом.*

Все новые и новые голоса мужчин и женщин вливались в песню, она перекинулась за другой стол, и неразличим уже стал голос Корнюхи, начавший ее.

*Революция огненным валом
пронеслась над великой страной,
за свободу и волю народа
кровь мужичья лилася рекой.*

Песни семейские уважают, складывать их мастера и петь умеют. Эту уже давно сложили. Сразу после войны ее слышал Игнат.

*Привезли пулеметы и пушки,
всюду слезы, расстрелы и крик,*

*запылала в огне деревушка,
и заплакал несчастный старик.*

Величаво и печально льется песня над хором голосов, слитых в одно целое, взмывает, как пронзительный плач, сильный и чистый голос Устины; невыразимая тоска сдавливает сердце, и хочется, чтобы

бесконечной была эта светлая щемящая тоска. В ушах Устиньи покачиваются подковки сережек, глаза влажно блестят и, кажется, ничего не видят перед собой. И нет никого красивее ее в эту минуту.

Песня кончилась, и с минуты все сидели молча. Было слышно, как чирикают на крыше амбара воробьи и потрескивают дрова под котлом с чаем. Но вот в другом конце стола всхлипнула гармошка, заиграла, и за столом снова застучали вилки, зазвенели стаканы. Какая-то бабенка весело, со смехом, пропела:

Ловко, плутовка, парнишку сгубила,

ловко, плутовка, головку скрутила!

А Устинья завела уже новую, ни разу не слышанную Игнатом песню. Да и другим, кажется, она была незнакома. Устинья пела одна, пела, улыбаясь, лукаво посматривая на Корнюху.

*Ой, за речкой, за рекою, за крутою за горою
неохота, Дуня, мне гулять с тобою.
Высока ты ростом и лицом красива,
только на работу очень нерадива.
Я в своей бригаде первый на работе,
и зато живу я в славе и почете.
Говорят в колхозе молодой и старый
мы с тобой не будем подходящей парой.
Да и сам скажу я, не кривя душою, неохота,
Дуня, мне гулять с тобою.*

— Разошлась! — проворчал Корнюха. — Помолчи, не выпячивайся.

— А тебе что? На то и праздник. Я еще и плясать буду.

— Я те вот попляшу!

— Ну?

— Замолчи!

Устинья встала, поправила кашемировую шаль на плечах и пошла туда, где играла гармошка.

— Что ты ей рот закрываешь? — сказал Игнат.

— Больно удалая стала... Песенница выискалась!

Настя дернула Игната за рукав, шепнула: «Не связывайся» и потащила следом за Устиньей.

На гармошке играл Никита Овчинников. Рядом с ним сидел Тараска с двумя ложками и сыпал частую дробь. Ловко это у него получалось, заслушаешься. Устинья плавно шла по кругу, захватив концы шали, покачивала руками, словно крыльями.

*Гармонист, гармонист,
не гляди глазами вниз,
гляди прямо на меня,
завлечь буду тебя.*

Никита, растягивая гармонь, потряхивал чубом, налезавшим на глаза, ухмылялся; капельки пота блестели на его широком носу; сильные, в ссадинах пальцы бегали по цветным пуговицам ладов. Возле него стоял Белозеров, хлопал в ладоши в такт музыке, постукивал подошвами ботинок по утоптанной земле. Устинья остановилась перед ним.

*Председатель дорогой,
Сделай одолжение,
выходи плясать со мной,
хоть я не член правления.*

Засмеялся Белозеров, покачал головой — ну и ну! Нарвался, кажись. А Устинья прошла круг и снова к нему, улыбается.

*Наш Стефан сидит в конторе,
нос к чернильнице склоня,
сорок галок на заборе
сосчитал он за три дня.*

Хохот заглушил переборы гармошки. Белозеров скинул пиджак, сдернул с шеи галстук, бросил все это на руки своей Фене и, безрассудно, как в омут головой, бросился в круг, вьюном завертелся возле Устиньи, выделывая ногами разные коленца, легко перешел на присядку... А Устинья все плыла по кругу, взмахивая полушалком.

— Молодцы! — сказала Настя и сжала руку Игната.

Сбоку на Игната налетел, чуть с ног не сшиб Лифер Овчинников. Расчесанная борода всю грудь закрывает, волосы на голове густо смазаны коровьим маслом, блестят.

— Тебя ищу. Пойдем ко мне гулять. Других не зову. Тебя и Максюху с бабами вашими.

— Спасибо, но сегодня уже хватит.

— Да что ты, Игнаха!.. Слышь, Никишка-то дает жизни! Дает, язви его в печенку. Пойдем, не обижай... По гроб жизни вам с Максимом obligatory.

— В другой раз, Лифер Иваныч, — твердо сказал Игнат. — С народом побить охота.

Плясали, пели до сумерек. Потом па стену амбара натянули белое полотнище, в него ударил квадрат света, поползли светлые буквы, и вдруг словно волшебное окно в другой мир отворилось. По ровной степи, припадая к гриве коня, мчался всадник в папахе, перекошенной лентой, за ним погоня, люди с обнаженными саблями. Перекошенные в крике лица, беспощадные глаза, на плечах ненавистный блеск погон. Кони, вздыбившись, рвались с экрана, и разом вскрикивали бабы, осеняли себя крестным знаменем старухи. Настя молчала, но каждый раз вздрагивала и прижималась к Игнату.

Когда красный конник перемахнул через забор и из-за этого забора навстречу погоне брызнул огнем пулемет, и с разбегу, ломая шеи, стали падать лошади белых, колхозники с мстительным злорадством закричали:

— Так их!

— Кроши, сволочей!

— Ишь, храбрые на одного-то!

Расходились с праздника, и у всех один разговор кино. Татьяна допытывалась у Максима.

— На войне так и было?

— По-всякому было. И так, и иначе. Викул Абрамыч дивился:

— Чудно, паря. Когда себе была война, а вот она, вся тут. Но ежели меня, к примеру, в кино это запустить, и умру я, к примеру, а тут живой, и внуки на меня смотреть могут, и слово им свое сказать могу... Чудно, елки зеленые!

Конюх дед Аким разъяснял своей старухе:

— Получается, старая, просто. Дух у человека есть? Есть. Ну вот, стало быть, дух у тебя берут и на стенку. Плоть твоя тут, а сам ты там, в кине.

— Был же разговор — антихристы. А ты поглядим, поглядим. Нагляделись, теперь греха не замолишь.

Кинокартину показывали в Тайшихе уже не первый раз, но ходили смотреть немногие. Греха боялись, как Акимова старуха, а иные бы пошли, да все недосуг, да и неловко вроде глазеть вместе с комсомольцами и ребятишками... Впервые столько народу посмотрело кинокартину. Впервые собрались вместе, всей деревней, впервые без пьяной драки и ругани прошел праздник.

— Хороший день был, — сказал Игнат.

— Хороший... — негромко отозвалась Настя.

Братья ходили вокруг старого отцовского зимовья, судили-рядили, как с ним быть. Совсем обветшало оно.

— Если оклад новый подвести, будет стоять? — спросил Максим.

Игнат постучал обухом топора по углу, и на землю посыпалась труха.

— Отстоял свое. Новый дом рубить доведется, Максим.

— Легко сказать — новый! — Корнюха сел на предамбарок, вытянул ноги в юфтевых ичигах, стянутых в щиколотках узорчатыми подвязками. — Канители сколько...

— Канители будет... — Игнат, задрав бороду, смотрел на замшелую крышу, на охлупень, засиженный голубями. — Но не вековать же Максиму в развалюхе. Дружно возьмемся, быстро срубим.

Корнюха скосоротился.

— Дружно... У каждого без того забот под завязку. Пусть колхоз строит.

— С чего колхоз? — не понял брата Максим.

— За активность твою должна благодарность быть.

— Здорово шутишь, а не смешно, — сухо проговорил Максим, задетый нотками ехидства, прозвучавшими в голосе Корнюхи.

— Смешного нету... Сколько годов бегаешь, язык высунув, а понадобилась помощь братья родные, где вы? Бросайте все свои дела, я доактивничал, жить негде!

— Ну и не помогай! — обиделся Максим. — Уговаривать не буду.

Максиму и самому не очень хотелось затевать стройку, все оттягивал, но, прав Игнат, больше уже тянуть невозможно, хочешь не хочешь, берись за топор. А Корнюха... Не будет он его просить, как бы туго ни пришлось. Видишь какой, в вину поставил то, что для людей, для всех, в том числе и для него, старался.

Первым делом надо было лес заготовить. За всю осень у Максима не выдалось ни дня свободного времени. И только зимой, в самые морозы, Рымарев отпустил его и Игната в тайгу. Старший брат хотел еще раз поговорить с Корнюхой, но Максим воспротивился этому. Игнат не стал спорить, но все время жалел, что так неловко

получилось. Вечерами в прокопченном охотничьем зимовье, правя у очага пилу, он размышлял вслух:

— Мало добра в упрямстве. Не чужие ведь... Нам тут тягота, и его, думаю, совесть мает.

— Совесть у Корнюхи не уросливая...

— Сердишься, Максим... — вздыхал Игнат. — А это плохо.

— Как же не сердиться? Спрятался за высоким забором... Что за жизнь будет, если все, как он, делать станут?

— Не с того бока подходишь. Жизнь у человека должна быть такой, какую он сам себе выбрал. Натура у людей разная. Тебе одно, Корнюхе другое, Рымареву, к примеру третье. И живите, бог с вами, пусть у каждого свое будет. Так нет. Корнюха тебя осуждает, что живешь иначе, чем он, ты его, Рымарев, наверно, вас обоих.

— Может быть, это и так. Но должно же у всех быть что-то и общее.

— Общее? — Игнат задумчиво наморщил лоб. — Наверное, должно быть.

— Колхоз, к примеру, и есть наше общее, одинаково дорогое всем. Только не все до конца понимают это. Тот же Корнюха... Он вроде бы в работниках у богатого хозяина, сделать старается поменьше, хапануть побольше.

— Ну, не совсем так, Максим. Слишком уж ты того... Нетерпеливый, торопыга, хочешь, чтобы все разом всё поняли. Посмотреть, так со Стишкой вы мало разнитесь...

— А что, Стишка человек правильный. Крутовато берет, это плохо. А так молодец. Своей выгоды не ищет, себя не жалеет. Все, что делает для людей. Это в человеке главное.

— Доброты в нем мало.

— У тебя доброты много, а что толку? Посматриваешь со стороны — это хорошо, это плохо. Ну и что? Кому от этого какая прибыль?

— И до меня добрался... Говорю торопыга.

— Дело не в этом, Игнат. Когда я был у секретаря обкома, он мне сказал, что настоящий человек тот, кто отвечает перед своей совестью не только за то, что делает сам, но и за то, что делается рядом. Очень верные эти слова. Ты отвечаешь перед своей совестью только за себя. Разве это правильно? Разве так что-нибудь изменишь в жизни?

Игнат не торопился с возражениями, думал, вздыхал.

Споры с ним многое проясняли и для самого Максима. Все отчетливее он осознавал огромность перемен в жизни, все отчетливее видел свое место в трудной и сложной борьбе за утверждение этих перемен.

Споры не отдаляли его от Игната, напротив, брат становился ближе, роднее.

Давно уже не чувствовал он к нему такого глубокого душевного расположения.

Охотничье зимовье под утро сильно выстывало. Игнат вставал первым, разжигал очаг, принимался готовить завтрак. От холода Максиму не хотелось даже шевелиться. А Игнат думал, что он спит, и двигался осторожно, стараясь не стукнуть, не брякнуть. Смолье в очаге быстро разгоралось, наполняя зимовье сухим, приятным теплом, и Максим незаметно для себя засыпал снова, вольно раскинув руки. Будил его Игнат, когда на столе дымился завтрак. Максиму радостно было сознавать себя младшим, заботливо оберегаемым от утренних хлопот, и нисколько не стыдно пользоваться добротой Игната. Он был даже доволен, что нет Корнюхи. С ним все пошло бы иначе...

На работу выходили с рассветом. Морозная мгла окутывала лес, воздух был сух и неподвижен, любой звук: пощелкивание стылых деревьев, треск сучьев под ногами, удар топора получался звонким, как от разбитого стекла. Из мглы в радужном кругу, рыхлое, вставало солнце, медленно поднималось над лесом, и постепенно звуки становились мягче, рассеивалась мгла, начинала искриться плавающая в воздухе невесомая снежная пыль. Выбрав дерево, Игнат коротко взмахивал топором, отваливал мерзлую ломкую щепу. Максим в это время утапывал снег. Когда был готов подруб, братья брались за пилу. Широкое, до блеска высветленное полотно врезалось в древесину, выплескивая из узкой щели зареза желтые крошки опилок. Дерево начинало похрустывать, подрагивать, осыпая с веток сухую хвою и комья снега, медленно наклонялось и вдруг резко, со свистом рассекая воздух, падало. Каждое бревно очищали от сучьев, облычивали и клали комлем на пень. За весну лес высохнет, станет легким, удобным в работе, и дом из него выйдет крепкий, теплый.

Вывезли лес после посевной. В это время от сева хлебов до начала сенокоса у мужиков работы немного, и помощников у Максима оказалось достаточно. Помогал Тараска, Лифер Иванович, Лучка, даже

сам Белозеров по воскресеньям работал. И Корнюха пришел, начал тесать бревна как ни в чем не бывало. В иной день до дюжины мужиков плотничало.

Дом поставили на диво быстро. На том самом месте поставили, где была отцовская пятистенка, сожженная в гражданскую. Еще не готово было крыльцо, не сделаны наличники окон, а Максим с Татьянкой перебрались из зимовья и устроили новоселье. Гостей набралось еще больше, чем помощников, гуляли до полуночи.

Когда гости разошлись, Максим и Татьяна долго не могли заснуть. В распахнутые настежь окна заглядывали крупные и такие близкие звезды, что протяни руку дотронешься; пахло спелыми луговыми травами и свежим деревом; под потолком беспокойно звенел одинокий комар; шлепал губами во сне Митька. Мягкие, пахнущие дымом волосы Татьяны щекотали лицо Максима, он убрал их, прижался щекой к ее щеке, сказал:

— Спи, Таня. Ты намаялась сегодня больше всех.

— Намаялась, — она просунула руку под его голову. — А ты какой-то смешной сегодня.

— Я не смешной, а счастливый. Хорошие люди у нас, Таня. А самое главное, ты у меня хорошая. И Митька.

— А ты?

По ее голосу он понял — улыбается.

— Я тоже хороший, — засмеялся, сел.

На подушке, в свете звезд, белело ее лицо, поблескивали глаза. Он положил ладони на ее грудь и ощутил ровные толчки сердца.

— Таня, а что если бы ты не мне, а кому-то другому досталась? — вдруг спросил он.

— Ты что это выдумываешь сегодня? Этого никак не могло быть.

— Почему?

— Не могло, и все. Ложись, Максим. Я хочу, чтобы ты был рядом. Ты у меня вправду хороший. Я люблю тебя. Сейчас я тебя люблю даже больше, чем раньше.

Они заснули перед рассветом.

Разбудил их Белозеров. Он позвал Максима на улицу, сел на кучу досок, достал расшитый кисет, закурил. Максим стоял босыми ногами на прохладной земле, позевывая, жмурился от яркого солнечного света.

— Тебе надо быть на ферме, — сказал Белозеров.

— Как сенокос начнется, поеду.

— Сегодня поезжай. Вечером хотел поговорить, да не удалось...

Синий дым кудрявился над головой Белозерова, уплывал в светлое небо.

— Что случилось?

— Да так... — уклонился Белозеров от ответа, пожевал конец папиросы. — Надо на месте быть. Гады зашевелились, исподтишка жалят.

— Какие гады? — сонная истома слетела с Максима. — Кого ужалили, где?

— Газеты читаешь?

— В это время, признаться...

— Читай... И народу разьясней.

Собираясь на ферму, Максим захватил с собой пачку газет, дорогой перелистал их и обнаружил встревожившие Белозерова сообщения. «Вредители завезли в республику зараженный чесоткой скот...», «Вредители заражали зерно клещом...», «Вредители отравили племенного быка...» Максим хмурился. Чувство брезгливой ненависти медленно вызревало в нем, заполняя душу. Не могли сволочи одолеть народ в открытом бою, захотели другим способом своего добиться.

Вечером после дойки он прочитал некоторые статьи дояркам, потом, при свете лампы, снова листал газетную подшивку, мрачно думал, что все эти вредители ополоумели от злобы, разве они смогут чего-то добиться при помощи клеща и чесотки там, где ничего не могли сделать пушками и пулеметами. Дурье! Никакая сила не сможет теперь повернуть жизнь вспять. Неужели непонятно?

Эти мысли немного успокоили его. Но вскоре пошли слухи, что и в Мухоршибирском районе обнаружены скрытые враги. Кое-кого вывели на чистую воду. В том числе подумать только работника райисполкома. Максим его хорошо знал. Молодой общительный бурят из Иркутской области. Несколько раз приезжал на ферму, водил дружбу с Батохой...

На ферму приехал Рымарев. Не слезая с ходка, спросил торопливо о надоях, о том, сколько выкосили травы животноводы своими силами, взялся за вожжи.

— Погоди, — Максим подсел к нему на ходок. — Не слышал, что с Аюровым из райисполкома? Ты его хорошо знал...

— Я его знал не больше, чем ты, — Рымарев посмотрел на него. — Кажется, дождь будет. Поеду.

— А что он сделал... Аюров?

Рымарев подобрал вожжи, не глядя на Максима, сказал с раздражением:

— Ты дояркам спать не давай. Сена не заготовишь, с тебя спросим. С тебя на этот раз! Советую заботиться не об Аюрове, а о кормах.

Последние слова прозвучали со скрытым значением. Максим соскочил с ходка, ошарашенно глянул на Рымарева. Павел Александрович хлопнул вожжами, и лошадь с места взяла крупной рысью.

Председательский ходок катился по пыльной дороге, следом за ним шла грозовая туча, распластывая крылья над умолкшей степью, над голыми сопками. Надвигалась темная тревожная ночь.

После ужина Максим вышел на улицу покурить. Не пролив на землю ни капли влаги, туча ушла дальше, в небе темнели разрозненные облака, часто вспыхивали зарницы. Красные всполохи, как отсветы пожара, пробегали по облакам. Где-то далеко и глухо стучали по сухой земле копыта лошади.

Максим курил и прислушивался. Кого нелегкая гонит в такую темень? Из улуса вроде... Стук копыт становился явственнее, он быстро приближался. Кто-то скакал, не жалея коня. Максим увидел искру, высеченную подковой из камня, и через минуту всадник резко остановил лошадь в квадрате света, падающего из окна зимовья. Это был тракторист Жамбал.

— К тебе, Максим. Он соскочил с лошади. — Нашего Бато арестовали.

— Что ты говоришь?

— Сегодня арестовали. Он велел тебе сказать. — Догоревшая папироска больно прижгла пальцы Максима.

Он бросил окурок, раздавил подошвой ичига. Свернул другую, однако не прикурил, сломал в пальцах, бросил.

— Не врешь? — Тут же понял вопрос глупый. Взял в зимовье уздечку и седло. — Жамбал, ты переночуй тут. А я поеду.

Он еще не знал, куда поедет, с кем будет говорить. Ему пока ясно было одно сидеть сложа руки невозможно. Поспешно заседлал коня и

помчался в Тайшиху. Разбудил Белозерова. Стефан Иванович вытаращил заспанные глаза.

— Что случилось? — И, не дожидаясь ответа, стал одеваться.

— Батоху посадили.

— Ну?! Вот черт!.. А я уже думал, пожар или еще что. Белозеров сел на стул, облегченно вздохнул. — Переполошил.

— Ты чуешь, какая несуразица, Батоху к врагам причислили. Надо что-то делать, Стефан Иванович. Не такой он, Батоха, чтобы якшаться с разной нечистью.

Белозеров потер узкую грудь, поморщился.

— Ты, Максим, за других сильно не ручайся. Не чета твоему Батохе люди в паучьей сети запутываются... Подожди, не пыхти! Скажу тебе по секрету, Аюров, которому мы не раз руки жали, никакой не Аюров вовсе. Скрывался гад. Бандит он из шайки Димова. Кровь на его руках.

— При чем здесь Батоха? Ты соображаешь, что говоришь-то?

— Да я же ничего... — мотнул головой Белозеров. — Я хочу тебе сказать: не горячись. Разберутся, отпустят.

— А если не отпустят?

Белозеров снял только что надетую рубаху, положил ее на колени, стал разглаживать складки.

— Не отпустят, говоришь... Ну, тогда, — Белозеров прямо глянул на Максима, — тогда, считай, не шибко уж ангел был твой Бато. Но это я так. Гадать нам с тобой нечего. Надо подождать немного. Может, его арестовали для вида, может, через него настоящих гадов на чистую воду выводят. С другой стороны, что ты скажешь там? Воевал вместе? Без тебя знают. Хороший председатель? О том у колхозников спросят. Мой тебе совет, подожди.

Максим согласился подождать. Прошла неделя, вторая, о Батохе ни слуху ни духу. И он собрался ехать в район. Вечером отпросился у Рымарева, пришел домой. Татьяна позвала на ужин Игната и Настю. Стол поставили у недостроенного крыльца. Солнце только что село. Край неба еще плавился, бросая на землю медно-розовый свет. На пожарной каланче отбивали время, и звон колокола торжественно плыл над Тайшихой.

— Выпить нам, что ли? — Максим вопросительно поглядел на Татьяну.

— Если хочешь, я сбегаяю в лавку...

— Давай, а то как-то холодновато на душе.

Татьяна ушла, но через несколько минут возвратилась с вытаращенными от испуга глазами.

— За Лучкой приехали! Три милиционера, а с ними Стишка и Рымарев.

Максим выскочил из-за стола. Игнат остановил его.

— Сиди. Пусть Танюха ходит.

Татьяна ушла. Они сидели за столом, не притрагиваясь к еде, молчали. Только Митька, пользуясь тем, что на него не обращают внимания, придвинул к себе тарелку с конфетами и уплетал их за обе щеки. Угасло небо в стороне заката, высыпали спелые звезды. Устраиваясь на насесте, хлопали крыльями и кудахтали куры. Вернулась Татьяна тихо, присела к столу, шепотом стала рассказывать, что в доме брата все перерыли, а сам Лучка незадолго до приезда милиции ушел в столярку. Елена послала к нему Антошку, сказала, чтобы домой не показывался. Милиционеры ждали-пождали и уехали, наказав Елене, чтобы Лучка, как только появится, шел в сельсовет.

— А я сказала Елене, чтобы к нам шел, — закончив рассказ, Татьяна всхлипнула. — Mamочка родная, что же это будет?

Перешли в дом, зажгли свет. Максим ходил из угла в угол, приволакивая покалеченную ногу, шаркал ичигом по некрашеным половицам. Игнат мял в кулаке бороду, широко открытыми глазами смотрел в темное окно. Укладывая Митьку спать, Татьяна тихо всхлипывала. Настя стояла у дверей, спрятав руки под передник, точно они у нее озябли.

Лучка пришел в полночь.

— Где ты был? — спросил Максим.

— Как заяц, затаился на задах в полыни, — в горькой усмешке Лучка скривил губы. — Дожил, мать твою так!

— Не ругайся, — Максим сморщился. — Скажи честно и прямо — ничего такого за тобой не водится?

Лучка покосился на него, снова усмехнулся.

— Кое-что есть. Хотел с тещей да Еленой власть опрокинуть.

Тещу думали поставить самым главным комиссаром, а Елену ей в помощники.

— Глупо шутишь! — рассердился Максим. — Что делать теперь! А?

— Надо всем нам в сельсовет шагать, — сказал Игнат.

— Ни хрена не выйдет! — крикнул Лучка. — Туда только попади, не шибко потом выберешься. Так просто в руки не дамся. Смотаюсь отсюда.

Максиму тоже не хотелось идти в сельсовет. Что милиции докажешь? Не с милицией надо разговор вести.

— Мы так сделаем... — сказал он Лучке. — Переночуй на сеновале, а рано утром выбирайся из деревни, топай до тракта. Я в это время в район поеду. Из района в город. В Тугное возле моста встретимся.

Лучка согласился и послал Татьяну за Еленкой.

Из Тайшихи Максим выехал рано и перед началом рабочего дня был уже в райкоме. Дождался Петрова. Тот, едва услышав, о Бато, буркнул:

— Опять суетесь не в свое дело.

— Дело Батохи мне не чужое. Общее у нас дело, товарищ Петров. За это общее дело мы с Батохой на смерть шли, — Максим облизал сухие губы, сел к столу, всем своим видом показывая, что так просто отсюда не уйдет.

Петров со вздохом отодвинул бумаги, посмотрел на Максима заинтересованно, насмешливо-снисходительно улыбнулся.

— А я все как-то забываю, что ты партизан.

— Я сказал не для того, чтобы напомнить об этом.

— Да, конечно, — согласился Петров, — И я имею в виду совсем другое. В свое время и я, товарищ Родионов, тоже партизанил. Позднее служил в Красной Армии. Две разные вещи. Армия это железная дисциплина, строгий порядок. Там у каждого свое строго определенное место, свои обязанности. Жаль, что ты не был красноармейцем. Петров говорил мягко, улыбался, но маленькие, словно бы запухшие глаза его построжали. Пора бы уже кончать с партизанщиной, Максим Назарович. Мы ведем фронтальное наступление, и всякая лихая партизанщина не только не полезна вредна. Или ты думаешь иначе?

— Не знаю. Я думаю о другом, — машинально ответил Максим,

В нем нарастала тревога за Бато. В рассудительном спокойствии Петрова, в его снисходительной усмешке было что-то такое, что

отделяло секретаря райкома от него, Максима, а на происшедшее бросало тень обыденности, незначительности. И все нутро Максима восставало против этого. Слова Петрова, скорее всего, правильные, но они сейчас не к месту.

— Товарищ Петров, Батоху надо освободить! Наш он до последней кровинки.

— Ничего ты не понял, — с сожалением сказал Петров. — Его делом занимаются честные, преданные Советской власти люди. Что получится, если, не доверяя им, мы полезем со своими советами и соображениями?

— А что, если одна ошибка потянет за собой другую? Как тогда, товарищ Петров? — почти с отчаянием сказал Максим. — Так просто человека не берут под стражу. В чем-то, видимо, его обвиняют. А если он не сумеет или не сможет доказать свою невиновность? Товарищ Петров, я не могу себя считать членом партии и просто честным человеком, если буду спокойно смотреть, как мой товарищ, друг, которому верю не меньше, чем себе, сидит за решеткой!

Лицо Петрова стало угрюмым и озабоченным. Медленно, словно в нерешительности он снял телефонную трубку.

— Алло! Товарищ Чернобылов? Ко мне пришел член партии Максим Назарович Родионов. Из Тайшихи. Он хорошо знает Чимитцыренова. Может быть, вы с ним поговорите? — В голосе Петрова прозвучали несвойственные ему просительные нотки.

Повесив трубку, он, не взглянув на Максима, придвинул к себе бумаги, сказал с глухой досадой:

— Идите к Чернобылову. Это следователь.

Максиму нужно было еще поговорить и о Лучке. Но Петров низко наклонился над столом. Холодно, как эмалированный, блестел его лысый череп. Максим почувствовал, что ничего больше тут не добьется. Все, что мог, Петров сделал.

Следователь Чернобылов находился в узком кабинете с единственным, забраным железной решеткой окном, выходящим на заросший лебедой двор. Он шагнул навстречу Максиму, протянул узкую твердую руку, пригласил сесть. Это был совсем еще молодой человек с бледным, утомленным лицом. Приветливо улыбаясь, он усадил Максима, спросил:

— Вы, кажется, хотите помочь следствию?

— Ну, конечно! С товарищем Чимитцыреновым...

— Извините. С гражданином Чимитцыреновым, — мягко поправил Чернобылов.

Максим понял, какой помощи ждет от него следователь, резко сказал:

— Для меня он товарищ! В чем его вина? Утомленное лицо следователя поскучнело.

— Здесь вопросы задаем мы. Так уж принято. Извините.

— Какая разница! — все больше раздражался Максим. Нечего наводить тень на плетень. Такие люди, как Бато, Советскую власть завоевали, ими она жива и сильна.

— Вы это пришли сказать?

— Это. А еще...

— Извините, но у меня нет времени. Я вас охотно выслушаю в другой раз...

На улицу Максим вылетел как ошпаренный, оглянулся, плюнул. Вот сукин сын! Времени у него нет.

В городе Максим ссадил Лучку за Удой, определив на жительство к знакомому мужику. Везти его на постоянный двор побоялся.

В тот же день пошел в обком. В коридорах обкома было тихо и пусто, его шаги гулко отдавались под потолком. За пишущей машинкой в приемной Ербанова сидела та же женщина, а самого секретаря обкома не оказалось уехал в Москву. Такой неудачи Максим не ожидал, растерялся, стоял в дверях приемной и решительно не знал, что теперь делать.

— Может быть, он скоро вернется? Я бы подождал. Позарез нужен... Ей-богу, важное дело.

Секретарша с сочувствием посмотрела на него, пожалала плечами. Потом сказала:

— Вряд ли стоит ждать.

— Это почему же?

— Вы... вот посмотрите и решайте сами.

Она подала ему газету с подчеркнутым карандашом заголовком «Самокритика... на тормозах». Пробежав глазами статью, Максим сел и стал читать фразу за фразой, то и дело возвращаясь к прочитанному:

«...Бюро обкома, став на путь гнилой дипломатии, не сказало о том, что врагам народа покровительствовал первый секретарь Ербанов,

зная, что Ербанов, возглавляя длительное время парторганизацию, допускал грубейшие ошибки в вопросах разоблачения и разгрома буржуазных националистов и в целом ряде случаев покровительствовал им и выдвигал на руководящие посты.

...В связи с тем, что Ербанов в своей практической работе продолжал и продолжает вести линию потворства и покровительства врагам народа, надо поставить перед пленумом обкома и ЦК ВКП(б) вопрос о снятии его с поста первого секретаря обкома».

У Максима вспотели ладони, и к влажным пальцам липла газета. Все это было до того невероятным, что никак не укладывалось в голове. Ербанов — врагам потатчик...

В городе он прожил больше недели. И каждый день приходил в приемную, брал со стола секретарши свежие газеты. Все они были заполнены статьями о вредителях и врагах. «Враги народа в горсовете», «Враги народа в школах Селенгинского аймака», «Вражеское гнездо в депо еще не разгромлено». И так на любой странице любого номера. Максиму становилось страшно.

Однажды он не застал секретаршу в приемной. Не пришла она и через день, и через два. Теперь Максим покупал газеты в киоске. В них все чаще имя Ербанова связывалось с уже знакомыми Максиму именами врагов, которых он вроде бы прикрывал, наконец стали без обиняков писать о фактах «мерзкой вражеской деятельности бывшего первого секретаря обкома Ербанова», и он понял, что ждал напрасно, что теперь уже не спасти ни Лучку, ни Батоху.

Скомкал газетный лист, бросил на тротуар.

Лучке он не смел взглянуть в глаза. Было такое чувство, что он его предал. Лучка без слов понял, что дела плохи, не стал ни о чем спрашивать, сказал:

— Стало быть, надо сматываться... Так и знал.

— Куда смотаешься без документов?

— Ничего, куда-нибудь... Пошляюсь по земле, а ушумкается это дело, вернусь.

Максим проводил его за город. В лесочке остановили коня, молча посидели на обочине, запорошенной рыжими иглами хвои, разглядывая вороненых мурашей, деловито снующих в редкой, засыхающей траве. Максим поднялся первым, протянул Лучке руку, потом порывисто обнял его, сказал сдавленным голосом: — Держись, Лучка...

Почти всю дорогу он лежал в ходке с закрытыми глазами, не погонял лошадь, и она плелась, как ей вздумается. В душе было пусто, будто в нежилом доме, совсем не хотелось думать о том, что произошло. Страшно было думать...

Дома он пробыл всего несколько часов. Вечером у ворот остановилась пароконная подвода, с нее соскочили люди, чуть не рысью вбежали в дом. С ними был и Стефан Белозеров. Максим сразу понял, что это за люди и зачем они пришли.

— Переодеться можно? — спросил он у высокого человека в военной форме с кобурой на широком поясе, и сказал Татьяне: — Собери одежонку получше.

Переоделся и сел на лавку, взял на руки сына. Военный кивнул Максиму — пора. Максим высоко подкинул мальчика, поставил на пол, остановился перед женой. Она повисла на его шее, забилась от рыданий и не могла ничего сказать.

— Перестань... — Он разжал ее руки, ладонью вытер слезы с ее щек.

Подвода от дома тронулась тихо, но резкий удар бичом и лошади рванулись, пошли хлесткой рысью. Пыль взметнулась из-под колес, закрыла от Максима Татьянку с Митькой, новый дом без наличников и ставней на окнах.

До весны от Максима не было ни худых, ни добрых вестей. Где он, что с ним, жив, погиб, никто этого не знал. Татьяна ездила в район, в город, и все без толку. Игнат тоже ездил, но и он ничего не узнал. Оставалось одно — ждать.

От постоянного ожидания, от страха за мужа Татьяна вся высохла, почернела, одевалась кое-как и всегда куда-то спешила, торопилась, бралась сразу за несколько дел, но ни одного не доводила до конца; Митьку своего то зацеловывала, то вдруг за какой-нибудь пустяк нещадно драла ремнем, и парнишка при первой же возможности сбегал к соседям.

Как мог, Игнат ее уговаривал, успокаивал. Сам он был убежден, что с Максимом ничего плохого не случится: брат чист перед Советской властью. Оболгали его, не без того. Но какой бы хитрой и лукавой ни была ложь, правду ей не перешибить, она свое возьмет.

И вот наконец пришло письмо. Но совсем не такое, какого ждал Игнат. Максим, ничего не поясняя, сообщал, что был суд и дали ему десять лет...

В этот день у Татьянки собрались все родственники: Игнат с Настей, Корнюха с Устиньей, Елена, Федос с Полей. Квадратный листок бумаги переходил из рук в руки. Татьяна тихо плакала, бабы, тоже всплакнув, охали, ахали, сгрудившись возле нее. Корнюха, прочитав письмо, хватил кулаком по столу, длинно выругался:

— Вот, дурачина, мать-перемать! Говорил ему, придурочному: сиди, не выпендривайся! Так куда! Шибко уж умный! Вот и достукался.

— Замолчи! — попросил Игнат.

— Чего замолчи? Сам наскреб на свой хребет. Кто бы его стал садить, живи, как все!

— Замолчи! — с яростью повторил Игнат.

Нестерпимо было Игнату слышать сейчас от Корнюхи уже не однажды слышанное: в его словах была правда. Живи Максим, как Тараска или тот же Корнюха, кто бы его тронул? Что же это получается? Почему так? Зачем? Кто помог лжи, навету возобладать над справедливостью?

Спокойствие души, обретенное Игнатом в последние годы, рушилось, как подмытый половодьем берег. Мир, который он, кажется, понял, вновь стал непонятным, страшным. Сначала Батоха, теперь Максим...

— Мужики, надо что-то делать, — сказала Устинья. —хлопотать надо!

— Ха-ха! — зло хохотнул Корнюха. — Как ты будешь хлопотать, дура необразованная! Нахлопочешь...

Устинья резко, словно ее снизу в подбородок ударили, вздернула голову, округлила в удивлении большие глаза, молча посмотрела на Корнюху. А он взорвался, заорал:

— Что бельмы выкатила! Ему не поможем и сами туда попадем! С огнем шутить захотела.

— Не кричи! Пуп надорвешь от рева. Игнат Назарыч, а ты как?..

— Что делать, не знаю. Как хлопотать, если там и разговаривать не хотят. Была же Татьяна, я был...

— Надо бумагу писать, — предложила Устинья. — Вся деревня подпишет. Нам не поверят, деревне должны поверить.

— А кто с этой бумагой по домам пойдет? — спросил Корнюха.

— Я пойду. Ты сиди дома, тебе опасно, — не скрывая презрения, сказала Устинья.

Корнюха открытым ртом глотнул воздух, показал жене кулак.

— Видишь? Дома тебе растолкую, что это такое.

Его угрозу Устинья оставила без ответа. Села напротив Игната, спросила:

— Так что?

— Можно попробовать...

Игнат не верил, что бумага поможет. Сейчас он вообще ни во что не верил. Но начал составлять письмо, которое должны были подписать все тайшихинские мужики, и будто заново увидел всю жизнь младшего брата вся она прошла на виду у людей, вся как на ладони, никогда он не был ни подлецом, ни трусом, ни отступником, не лукавил перед своими товарищами, не таил в сердце зла будто заново увидел Игнат жизнь Максима, и ему захотелось, чтобы так же увидели ее и те, кто решил его судьбу, и он писал, заполняя страницу за страницей бесконечной цепочкой слов, не разбитых на предложения запятыми и точками, которые он не знал, где ставить, и в его душе пробуждалась, крепла

вера в необоримость справедливости, казалось, что если там прочитают это письмо, все станет на свои места, навет рассыплется, как червивый гриб под сапогом; исписав целую ученическую тетрадь, он испугался, что получилось слишком много, что там, чего доброго, не дочитают до конца, сделал письмо короче, потом переписал еще раз, старательно выводя каждую букву. На это ушло три длинных вечера. И каждый вечер к нему приходила Устинья, торопила его, рассказывала, что многие мужики подписать письмо соглашаются, но есть и такие, что смотрят на это дело с опаской, так же, как Корнюха. Из-за письма у нее пошел разлад с Корнюхой. Не только, по правде, из-за письма. Давно уж их что-то мир не берет, частенько поругивались в последнее время, а тут он драться полез. Но она его быстро успокоила. Достала из-под кровати топор и сказала, что если хоть раз ударит, она ему голову, как петуху, отсечет. Побоялся.

Обо всем этом Устинья говорила весело, с усмешкой, поблескивая зелеными глазами. Она обещала, что заставит письмо подписать всех. Пусть кто-нибудь попробует увильнуть. Но Игнат не хотел ни на кого нажимать и упрасивать никого не желал, ему казалось это противным заставлять или просить: дорога справедливость подпиши, нет бог тебе судья. А чтобы люди шли на это без опаски, он решил первоначально получить подписи Белозерова и Рымарева. Пошли с Устиньей в контору колхоза.

Торопливо пробежав взглядом по строчкам письма, Рымарев встал из-за стола, взъерошил волосы, снова сел и перечитал письмо заново. Лицо у него сделалось скорбным, от кончиков усов к острому подбородку упали две тонкие морщинки.

— Поймите меня, товарищи, правильно... Не могу подписать.

— Отчего? Если нагородил чего, так без стеснения поправьте. Мы грамотеи известные..

— Да не поэтому... Тут имеется острый политический момент. Получается, что мы, посылая это письмо, ставим под сомнение беспристрастность органов Советской власти.

— По-твоему, эти самые органы правы? — не слишком любезно спросила Устинья.

— Я никогда не сомневался в правоте Советской власти.

— А Максим? В чем он виноватый?

— Не о том речь, Устинья Васильевна. Видно было, что ему совсем не хочется спорить, изо всех сил он старался не обострять разговора, всем своим видом давал понять, что он бы, конечно же, подписал, если бы имел на это право.

Однако Устинья всех этих тонкостей понимать не хотела.

— Если Максим ни в чем не виноватый, чего не подписываешь?

— Я же объяснил! — Рымарев повернулся к Игнату, словно приглашая его образумить эту настырную женщину.

— Какие твои объяснения! — в глазах Устиньи зажглись огоньки. — Виляешь и крутишь, как согрешившая баба перед своим мужиком.

В кабинет, приоткрыв дверь, заглянул Белозеров.

— Что за крупный разговор? Ты что это, девка, разоряешься?

— Терпеть не могу таких склизких!

— Но-но! — с угрозой сказал Белозеров. — Такие выражения дома оставляй. В чем дело?

— Письмо насчет Максима не подписывает.

— И не подпишу. Это же организованным протестом пахнет. Что вы, товарищи!

Прочитав письмо, Белозеров поднял взгляд на Рымарева.

— Не понимаю, чего ты испугался.

— Я не испугался. Я целиком и полностью доверяю органам власти, я обязан доверять и поддерживать, как член партии.

— В органах работают люди. А они могут и ошибаться. Белозеров взял письмо, стал читать.

— Стефан Иванович...

— Подожди. В письме про Максима сказано правильно?

— Допустим.

— Да не допустим, а правильно. Когда Максима увезли, я всю его жизнь день за днем перебрал... Дай сюда ручку. Белозеров решительно, размашисто вывел под письмом свою подпись, отдал его Игнату. — Давай, действуй.

Подписей собрали больше сотни... Когда было все готово, Игнат поехал в город. Ходил по начальству, показывал письмо, рассказывал о Максиме, его выслушивали, посылали от одного к другому, даже не пытаясь обнадежить или сказать несколько утешительных слов. Наконец ему дали понять, что его бумага вряд ли что изменит. И он

возвратился домой. Сказать Татьяне всю правду не решился, пусть надеется, так ей будет легче привыкнуть к ожиданию длиной в десять лет. Единственный, кому он обо всем рассказал, был Стефан Белозеров. Тот, подумав, тряхнул головой.

— Ну что ж... Должно, что-то было-таки... С Чимитцыреновым, может, не зря дружбу водил...

— Опомнись! И Батоха, и Максим...

— А как же тогда? — резко спросил Белозеров. — Почему?

— Это я у тебя должен спрашивать, почему?

Ни на минуту Игнат не усомнился в невинности брата. Вот если бы Корнюха попал, тут еще можно было думать надвое, но Максим... Чем больше Игнат раздумывал над случившимся, тем страшнее становилось от бессилия что-либо уразуметь, и все казалось: не может пройти это просто так, должно произойти что-то. Но время текло, и ничего не происходило, жизнь шла своим порядком, все реже люди вспоминали Максима, а если и вспоминали, то без той обжигающей горечи, которая не только не убавлялась, а наоборот, увеличивалась в душе Игната. Однажды утром, проснувшись, он лежал и думал о Максиме где он сейчас, что делает, что чувствует. Настя убиралась и вполголоса напевала. И так резануло это пение его по сердцу, что он грубо впервые за все время совместной жизни бросил ей:

— Чему радуешься?

— Здравствуйте! — засмеялась она. — Ты чего это?

Он отмолчался. А немного погодя Настя, забывшись, что ли, снова запела. Игнат оделся и без завтрака ушел на конный двор. Возле конюшни на солнышке курили мужики, среди них сидел и Корнюха. Он что-то рассказывал и весело смеялся. Игнат поймал во дворе лошадь, стал запрягать в телегу. Корнюха все еще рассказывал и смеялся, и смех его был для Игната, как соль для свежей раны. Он стиснул зубы, прислонился лицом к теплой шее лошади, постоял так и вдруг понял, что не может жить бок о бок с людьми, чья память такая короткая, чья совесть так безропотно смиряется с несправедливостью стоило ли ради их благополучия, ради того, чтобы они были сыты и одеты, умирать Макару, Лазарю Изотычу?

Отпустив лошадь, он пошел в контору, попросил Рымарева отправить его снова на мельницу. Председатель обрадовался.

— После вас никто там не держится. Сбегают. Все запущено на мельнице...

Даже не дослушав его, Игнат пошел домой. А там сидит Еленка, чаевничает с Настей. Пришла хвастать, Лучка денег прислал. Деньги и письма он дальнему родственнику шлет, а тот передает ей.

— Вот бы и Максиму так же... — судачит Еленка.

Довольнехонька, что деньги получила. А то невдомек ей, каково Лучке от своих бегать. Каково ему жить среди чужих людей с такой обидой на сердце.

Он стал собираться. Настя по его сборам догадалась, куда едет, всполошилась. Пока Елена чаевничала, она сидела как на иголках, еле дождалась, когда уйдет.

— Ты это что надумал, Игнат? Для чего тебе глушь и безлюдье? Или я тебя чем прогневила? — с недоумением и скрытым страхом спрашивала она.

— Опротивело все.

— Что опротивело, Игнат?

— Все опротивело... — Он взглянул на нее, растерянную, не понимающую или понявшую иначе, добавил: — Я не о тебе. Не могу тут больше. С ума сойти можно.

Больше она ни о чем не спрашивала, помогла собраться, проводила за деревню. Шагала, придерживаясь за стойку телеги. Конец легкого платка, завернутый ветром, ластился к ее щеке, покрытой светлым пушком.

— Домой тебя, наверно, не залучу теперь, — пошутила она, стараясь казаться веселой, но в словах прозвучала горечь.

На мельнице отовсюду проглядывали следы бесхозяйственности. Надо было приниматься за дело, но у Игната не было никакого желания работать. К чему подправлять, подлаживать, пусть разваливается, поставят другую. Разобраться, нет никакого смысла в хлопотах человека, если его прилежность не меняет самого основания. Максим изо всех сил старался сделать жизнь людей лучше, а того не понял, что сами люди остаются такими же, как и много годов назад, по-прежнему гнездится в них двоедушие и самое страшное скрытая злоба, никакая революция их не переделает, не образумит. Увяз мир в пороках, как в болоте. И видно, прав Корнюха, глухим заплотом отгораживаясь от

него. Не только кровью своей, клоком волос не стоит жертвовать ради блага этого мира. Пусть он захлебнется в собственной злобе.

Игнат мрачнел все больше. Если не было помольщиков, он целые ночи лежал на спине без сна, а когда засыпал, наваливались тягостные сновидения.

Приехала его навестить Настя и ахнула:

— Что с тобой, Игнат?

— Да ничего...

— Нет, ты только посмотри на себя. Ты хвораешь. Поедем домой.

— Нет, я не поеду, он покачал головой. Хворости во мне нет.

— Максима жалеешь? — осторожно спросила она.

— Жалею, Настюха... И брата Макара и твоего брата Лазаря... —

Его вдруг охватило желание высказать свои думы, и он заговорил быстро, сбивчиво, потому что в голове было тесно от мыслей и каждая из них казалась очень важной.

— Я баба, Игнат, и не по моему уму это, — выслушав его, сказала Настя. — Только мне кажется, зря ты так... Хорошего в жизни стало много, сам ты не раз говорил. А разве было бы это, властвуй над нами Пискуны? Не напрасно, значит, погибли наши братья. Максима жалко. Ну случилось где-то что-то не так. Выправится.

— С Максимом что-то не так... Пускай. А Батоха? А Лучка? А самое главное то, что зло человеческое неистребимо, как плесень в сыром погребе.

Настя замолчала, он видел: с ним она не согласна. Уехав утром в деревню, к вечеру она вернулась снова на мельницу и привезла с собой Митьку.

— Пусть у тебя поживет до холодов. Татьяна с ним замаялась. Конечно, Татьяна Татьяной, но главное, как понял Игнат, Настюха боится оставить его на мельнице одного.

Племянник не давал ему спокойно сидеть ни минуты: то тянул на пруд купаться, то просил сделать ловушку для бурундуков, то звал в лес и без конца задавал всякие вопросы.

Лето было в разгаре. В траве доцветали солнечные жарки, на полянах, по берегам оврагов розовели метелки кипрея. Воздух был теплый, неподвижный, густо настоян на лесных травах.

Игнат водил Митьку по таежным тропам на старые гари рвать ароматную землянику, на калтус за еще зеленоватой голубицей, собирал

с ним на солнечных косогорах влажные маслята, учил по стрекоту, по шуму крыльев распознавать взлетающих птиц. Вечером за ужином Митька от усталости клевал носом.

Однажды он сказал:

— Дядя Игнат, я тут всегда жить буду.

— Живи, Митюха.

— Большим стану и тоже буду мельником.

— Вот и хорошо, будем на пару трудиться. Игнат гладил его по голове, светлой, как у матери, думал: «Дай бог, сынок, чтобы твоя жизнь была не такой, как у твоего батьки».

Первое время после ареста Максима Корнюха втайне опасался, что из-за брата житья не будет. Посадить, конечно, не посадят, не за что, да и не к чему: глаза никому не мозолит, начальству не перечит, с соседями не ругается тише воды, ниже травы он с какой стати его за решетку прятать? но попортить жизнь могут, если зачнут подкапываться. Очень нежелательно было все это. Только в полную силу вошел, только прилачился к новой, колхозной жизни... Она много лучше, чем старинная. Зря Максим всякие недостатки-недохватки выискивал и корил ими начальство. Советская власть умно распорядилась. Захудал колхоз нагрянут из района уполномоченные, подкрутят гайки где следует, и снова пошло дело. Совсем захиреть или тем более развалиться артели не дадут, об этом печалиться нечего. Человеку свобода дадена, какой он раньше и во сне не видел. Бывало, как придет страдная пора, здоров ты, болен, силен или немощен в струнку вытягивайся, трудись от зари до зари, никто за тебя твою работу не сделает. Теперь совсем другое. Без тебя завсегда обойдутся. Теперь главное трудовень выгнать. А когда ты его выгонишь: весной, летом, осенью для тебя разницы нету. Есть трудовень будет и хлеб, хотя бы ты его и не сеял, и не убирал.

На колхозной работе Корнюха гужей не рвет. Выгонит установленную норму трудовней и для себя старается. Дома пустил под огород чуть не полгектара земли. Мешками лук, чеснок снимает. На базаре лук и чеснок всегда в цене. А то еще сена накосит по лесным полянам. Весной к нему не тот, так другой с поклоном выручай. И опять рубль в руки катится. Или березовых банных веников воз навяжет, сдаст завхозу МТС пусть трактористы парятся в свое удовольствие. Или топорища вытешет (зимними вечерами что делать?), свезет в райсоюз заготовителю. И все выгода, прибыль. И никакого жульничества, обмана.

Была опаска у Корнюхи, что из-за Максима станут его притеснять, не дадут заниматься побочными промыслами. Начал он чаще в контору ходить. Надо Рымареву куда послать человека вот он, готовый все сделать. На душе, конечно, лихота от всего этого, но надо же как-то

оградить себя... Рымарев его рвение заметил, стал другим в пример ставить. Корнюха успокоился. Снова жизнь его потекла ровно, спокойно.

Жизнь была бы еще лучше, если бы не Устинья. Нехозяйственная баба оказалась. Когда она раздаривала направо и налево пискуновское добро, он принужден был молчать. Но и теперь она не переменилась. Кто бы что ни попросил пожалуйста. Поначалу, как и положено в доброй семье, все деньги ей отдавал. Но она хранить их никак не умела. Либо займы раздаст, либо купит что-нибудь такое, без чего сто лет жить молено. Как-то раз привезла из района граммофон ящик с огромной, похожей на груздь, трубой. Поставит пластинку, сидит, слушает песни. Денег увалила черт знает сколько. А для чего? Нужно тебе веселье пой сама. Даже лучше получается. И платы никакой не надо. И соседи не прибегут слушать. А то отбою нет. Налезут в избу и крутят и крутят машинку. Не дом, а изба-читальня.

Граммофону он втихомолку свернул пружину. За деньги стал спрашивать: куда, на что потратила? Это ей очень не поглянулось. Однажды рассердилась, швырнула ему кошель.

— Держи при себе!

Безрассудства у нее полно, а домовитости никакой. Ни одного праздника не проходит у них без ругани. Охота ей до смерти на люди идти, петь, плясать, а ему любо иное распить дома бутылку, всхрапнуть часок-другой, чтобы польза была для здоровья ну и тянут в разные стороны. Хорошо еще, что теща всегда его руку держит. Она, не в пример своей дочери, хозяйство блюсти умеет, ничего из ее рук не вывалится. Нажилась в нужде, накрепко запомнила, что хорош праздник не песнями и плясками, а доброй едой на столе.

Но все это не так бы расстраивало Корнюху, понимай Устинья главное для чего он, покоя не зная, везде прибыток ищет, для чего копейку бережет. Не ради того, чтобы тешить душу богатством, а ради сына Назара. Главным делом своей жизни считает

Корнюха дать сыну все, чтобы человеком стал. Будет учить его и десять, и пятнадцать лет, если понадобится, даст самое высокое, какое только есть образование. И правильно жизнь понимать научит. Не придется ему маяться, как сам он маялся. Все будет у Назарки самое лучшее, на зависть детям разных умников.

Пробовал все это втолковать Устинье. Но у нее другие понятия. Дескать, будет ум у парня, сам в люди выйдет, сам выучится. Нас, дескать, никто не учил, да живем же, и не хуже других вроде.

Летом в Загане померла вдовая родственница тещи. Хавронья и Устинья поехали на похороны. Вернулись не одни, привезли белобрысого парнишку, замухренного, в пестрой от заплат рубахе и больших скосопяченных ичигах.

— Где такого подобрали?

— Ее, тетки-покойницы... — коротко пояснила Устинья. — Один остался, бедненький.

— Ну?

— Я подумала: пусть растет вместе с нашим Назаром. Однолетки они...

— Так и знал! Вечно ты что-нибудь отколешь.

Теща, испуганно-подобострастно оглядываясь на Корнюху, выставила Назара и сироту за двери.

— Говорила тебе, Устинька...

— Где же ему жить?

— В детдом отдай! Нашлась широкодушная.

— Нет, он будет жить тут! — заупрямилась Устинья. — Не объест.

— Ты просто дура безголовая! — взбеленился Корнюха. — Не нужен мне ваш замухрышка. Убирайся с ним куда хочешь!

— Нет уж, ты сам убирайся! — с виду жена была совсем спокойная, только глазищи ее темнотой налились, как незрячая стала.

— Вот оно что... — зловещим шепотом проговорил Корнюха. — Смотри же...

Пришла, кажется, пора проучить ее, отбить охоту разные крендели выкидывать. И будь спокойная, разлюбезная, научись порядок уважать. До чего дошла, рохля постылая... Сирот на свете полно, а сын единственный. Неужели она не соображает, что приемыша замурдованного надобно содержать, как и сына родного кормить, поить, обучать, в люди выдвигать значит, то, что одному Назарке предназначалось, на двоих дели? Не разделишь сплетницы и пустобрехи, да и сиротинка этот впоследствии на весь свет ославят, сыну глаза колоть будут: сироту объел. На черта это, когда у Советской власти детские дома есть. Там его и обуют, и оденут, и выучат... Не

понимает этого глупая баба. Да нет, она все понимает и знает. Доброй охота быть. За счет сына! Не выйдет!

Утром он должен был ехать на полевой стан. Собрался, как всегда, харчей, правда, взял больше, чем требовалось, но ни Хавронья, ни Устинья этого не заметили. Прихватил и кое-что из одежки сына. Самого Назарку взял в телегу будто бы прокатить до конца улицы. План у него был такой. Сына отвезти на мельницу, пусть там живет вместе с Митькой под присмотром Игната. Устинья не догадается. Живо прибежит на полевой стан. А уж он постарается дать ей понять, что не шуточки шутит.

Игнату пришлось рассказать все, а он в ответ хоть бы слово. Смутный человек старший брат.

— Ну как ты, приглядишь?.. — спросил его напрямик.

— Пусть живет.

— Если Устинья нагрянет не отдашь?

Брат сделал вид, что не расслышал, пошел на берег речки, к ребятам. Митька в штанишках, закатанных до колен, стоял в светлой воде, запускал свою мельницу-вертушку, которая крутилась, как настоящее мельничное колесо, плоские лопасти зеркальцами взблескивали на солнце. Назарка завистливо таращил зеленоватые, как у матери, глаза. Потом достал из кармана складной ножичек с костяной ручкой-рыбкой.

— А у меня вот что есть.

Митька сразу позабыл про свою мельницу.

— Дай мне.

Назарка отвел руку с ножичком за спину.

— Самому надо.

Корнюха одобрительно хмыкнул, похвалил сына.

— Молодец! Чужого не бери, но и своего не отдавай. Игнат покосился на него, закричал, будто от ломоты в спине:

— Пошли, ребятки... корзины плести учить буду.

Уехал Корнюха на полевой стан с беспокойным сердцем. Ненадежный человек Игнаха. Очень даже просто может донести Устинье. От него, блажного, доброго не дождешься...

Ждал Корнюха Устинью с повинной день, два, неделю не едет. И работа на ум не идет, и харчишки кончаются. Стал полегонечку то у одного, то у другого из соседей своих, домой наезжавших, выведывать

про Устинью. Оказалось, что ждет ее напрасно. Дозналась баба, где он Назара спрятал, свезла на мельницу приемыша, а сама преспокойно на работу ходит. Теперь с ней не сладишь. Так и приживется приемыш. Игнату за это надо спасибо сказать помог праведник. Дал бог братьев! Из-за одного угодничай перед начальством, из-за другого терпи своеволие собственной бабы. Тьфу!

Без малого год прошел, как увезли Максима, а Татьяна все еще не могла привыкнуть к тому, что его нет и долго не будет, так долго, что и помыслить об этом страшно. И она старалась не думать о будущем, жила одним днем, но это было трудно не думать.

Перед сенокосом в колхозе открыли детские ясли. Абросим Николаевич определил ее в няньки. Работа подручная, всегда возле дома, Митьку при себе держать можно. Но работала нянькой она недолго. Увидел ее в яслях Рымарев, удивленно спросил, кто ее сюда назначил. А вечером пришел Абросим Николаевич, долго кряхтел, мялся, наконец сказал, что на сенокосе людей нехватка, придется ей там поработать. Сообразив, что Татьяна его не очень-то понимает и вряд ли ему верит, Абросим Николаевич признался: Рымарев дал ему нагоняй и приказал не допускать ее к воспитанию детей советских колхозников.

Она не подала виду, что обижена. Кому какое дело до ее обид? Теперь, когда нет Максима, когда заступиться за нее некому, всякий обидеть может и не так еще.

Рано утром десятки подвод вытягивались из Тайшихи, громяхая, переезжали через мост, сворачивали на затравяневшую дорогу, бесшумно катились среди зелени тальников, и луговая свежесть бодрила косарей. Молодые бабы, девки на ходу соскакивали с телер, рвали мокрые от росы цветы, вплетали их в косы.

Татьяна сидела на задней телеге, придерживая на коленях узелок с едой, и вспоминала, как ездила на сенокос раньше, с Максимом. Так же рвала цветы и вплетала их в свои мягкие волосы, ей хотелось быть нарядной, красивой.

Косили вдвоем с Максимом. Он сам налаживал для нее косу, сам отбивал и правил. Пригнанная по росту, по руке, острая, она шла в траве легко, без усилий. А сейчас... Добрые косы разобрали, ей досталось какое-то страшилище косовище толстое, грубо оструганное, тяжелое.

В первый же день Татьяна набила на ладонях мозоли. Носок юсы запахивался в землю, вскидывая ключья оплетенной корнями почвы, трава срезалась неровно, гребнями. Татьяна думала, что понемногу

приноровится (теперь одно остается приноравливаться), но и на другой день получалось то же самое. Водянистые пузыри на ладонях полопались, пальцы опухли. До обеда Татьяна кое-как крепилась, потом выбилась из сил окончательно, бросила косу, упала на траву и, прижав ладони к прохладной земле, заплакала.

В нагретом воздухе жужжали пауты, под берегом, в реке, сгрудились лошади, они лениво махали хвостами и фыркали, за кустами со всех сторон вжикали косы, на буграх сыпала сорочий стрекот конная косилка все было так же, как раньше, не было только рядом Максима, и все эти привычные звуки размеренной работы, и медовый запах сухого сена, казалось, для того только и есть, чтобы напомнить ей, какой счастливой была она совсем недавно. Она плакала и думала, что Максима ей ни за что не дождаться, и от этих дум еще горше становились ее слезы.

Она бы, наверное, не встала до самого вечера. Но ее поднял Лифер Овчинников. В длинной, неподпоясанной рубаше, с распаренным жарой лицом, он вышел из кустов, спросил, нет ли чего попить. Татьяна села, отворачивая заплаканное лицо, отрицательно качнула головой. Старик оглядел ее неряшливую, клочковатую кошенину, сказал строго:

— Портишь траву, девка. За такую работу, бывалоча, по рукам били.

Татьяна закусил губу. И этот туда же... Лифер Иваныч поднял косу, взмахнул раз-другой, стал примеряться к ней так и этак.

— Руки бы обломать тому, кто ее насаживал, ворчал он. — Калека, язви его душу! Одна косишь?

— Одна.

— Что же ты от народа отбиваешься?

— Мне одной способнее...

— Не скажи... Я получше тебя знаю, как способнее. Припаряйся к кому-нибудь. Хочешь, я с тобой буду косить?

— Не хочу.

— Ну, как знаешь.

На другой день он привез из дому старенькую, с узким источенным лезвием косу, на тонком, до блеска отполированном руками косовище.

— Попробуй-ка...

Немудрящая на вид коса резала траву без усилий, она была не хуже той, которую налаживал для нее Максим.

— Пошло, кажись, дело? — блеснули из бороды зубы Лифера Иваныча. — А то воешь...

Коса была хорошая, но руки, истерзанные в первый день, болели так, что Татьяна не могла вытянуть и половину нормы. На таборе ей не хотелось показываться. Во время обеда Рымарев оглашал сводку за предыдущий день, хвалил передовиков и стыдил отстающих. Татьяне доставалось больше всех.

— Молодая, здоровая, вполне трудоспособная женщина, а отстает от стариков.

Она отмалчивалась, и это, видимо, раздражало Рымарева. С каждым днем он все больше говорил о ней, и в его ровном голосе она все чаще улавливала скрытую угрозу.

После очередной проборки Устинья подошла к ней, решительно сказала:

— Переходи к нам с Корнюшкой, будем вместе норму твою вытягивать.

— Сама вытяну.

— А чего же не вытягиваешь? Каждый день тебя позорят, а ты хоть бы что!

Татьяна молча показала ей свои руки.

— Ну и дура же ты, Танька! И за что тебя, такую дуру, Максим любил?

Она привезла ей мягкие лосиные рукавички. Косить в них было не совсем удобно, зато меньше болели руки.

А в обед, как обычно, Рымарев, отмахиваясь свернутой газетой от паутов, снова принялся читать ей нотацию. На таборе было тихо. Колхозники сидели в пестрой тени от кустов, молча ели, сочувственно поглядывая на Татьяну. Под чугунной чашей с чаем дымилась головешка. Татьяна смотрела на нее, и в голове вертелась слышанная, кажется, от Максима, пословица: «Одна головня и в печи гаснет, две и в поле горят».

— Не умеешь учись, перенимай передовой опыт, — говорил Рымарев. — Но этого нет. Боюсь, Родионова не выполняет норму сознательно, по известным всем причинам, боюсь...

— А ты не бойся, председатель! — неожиданно его перебила Устинья. — Ты встань с ней рядом и покажи в наличии этот самый опыт.

— К сожалению, у меня своей работы хватает... — Устинья подседа к нему, ласково улыбнулась:

— А у Верки твоей что за работа? Может, она твой заместитель? Ты говоришь ей про передовой опыт на домашнем собрании?

Колхозники сдержанно засмеялись. Корнюха погрозил Устинье кулаком.

— А что? Краля она, твоя Верка? — не унималась Устинья. — Совсем не работает.

— Так-с, понятно... — многозначительно проговорил Рымарев и отодвинулся от нее.

— И хорошо, что понятно... Нашел кого мурыжить! — Корнюха не усидел на месте, вскочил, красный от злости, цыкнул на Устинью.

— Не слушай ты ее, Александрыч! С придурью у меня баба.

— Зато ты у меня умный. Дай в щечку поцелую, золотце. Колхозники снова засмеялись, откровенно одобряя Устинью.

Улыбнулась и Татьяна. Корнюха сам себя на посмешище выставил. Уж сидел бы, не выдабривался перед Рымаревым.

Вскоре после обеда Устинья с косой на плече пришла на прокос Татьяны.

— Примешь в напарницы?

— Что случилось?

— Разругалась со своим. Пусть один косит. Глаза ее возмущенно поблескивали. Все хочет, чтобы я на цыпочках ходила...

— Отчаянная ты, Устинья...

— Да уж не такая, как ты. Расквасилась... Ты мне не обрадуешься. Как подживут руки, я из тебя семь потов выжму, то ли в шутку, то ли всерьез пригрозила она.

Красиво косила Устинья. Голову держала прямо, неподвижно, только сережки чуть покачивались в маленьких, с оттянутыми мочками ушах, захват у нее был широкий, вольный, прокос получался ровным, гладким. Татьяна шла следом, приноравливаясь к ее взмахам. Вскоре она поняла, что косить вот так, когда идешь за кем-то, много легче, чем одной.

Вечером, возвратившись в сумерках домой, она увидела подоткнутое под пробой двери письмо. На ходу разорвала конверт, зажгла лампу и присела к столу. Немного словно, с усмешкой писал Максим о своем житье-бытье («в начальство выбился, бригадирю»), добрая половина письма состояла из вопросов, он хотел знать все, что делается в колхозе, как живут братья, соседи, каким стал Митька («во сне его, пострела, вижу совсем редко и все так прибежит, слово скажет убежит»), просил ее сильно не горевать («считай, что я в отлучке, хотя и продолжительной, на все другое не обращай внимания»), письмо заканчивал неизменной просьбой: пиши подробнее, пиши чаще.

Убравшись и поужинав, Татьяна прилегла на кровать, снова развернула письмо, перечитала, вдумываясь в каждое слово, видела за строками лицо Максима с усмешкой в синих глазах, и горести ее убывали, она думала, что напишет ему большое, хорошее письмо, какого еще ни разу не писала. И больше никогда не будет жаловаться. И Устинья никогда не скажет, что она расквасилась. Надо жить и ждать. Все равно придет время, когда вернется Максим, и они снова будут ездить на сенокос...

Она и не заметила, как заснула. И проспала до утра. Поднялась батюшки! — керосин в лампе выгорел, и фитиль чадил черным дымом.

Занимался рассвет. Небо над Харун-горой было уже совсем светлое, с розовым разливом, выше прозрачно-голубое, а еще выше, над головой, густо-синее, с редкими крапинками гаснущих звезд.

Раньше Стефан Белозеров почти ничего, кроме газет, не читал. Не было никакой охоты тратить на это время, когда его и так не хватает. Читать начал из-за Рымарева. С Павлом Александровичем что-то плохо стал ладить. Нет-нет и возникало несогласие. Начнут спорить, Белозеров кричит, руками размахивает, а Рымарев ему негромким голосом и ответ: «При чем я? Политика сейчас такая. Недавно вышла брошюра, в ней сказано...» Против того, что в брошюре сказано, конечно, не попрешь, и сколько ни махай руками, правым остается Рымарев. Белозеров понял, что если дальше так дело пойдет, Павел Александрович будет вертеть им, как вздумается. Стал читать все, что под руку подвернется, и неожиданно для себя увлекся. Его поражало то, что многие мысли, смутно брезжившие в его голове, четко, понятно изложены другими, и то, что многого, совершенно необходимого человеку, он совсем не знал. Примеряя вычитанное к жизни, он начал все сильнее ощущать, что жизнь не такая простая штука, как ему представлялось раньше.

Вечером он принес из школьной библиотеки целую вязанку книг и просидел за ними до полуночи, а утром Феня никак не могла его растормошить, ушла на работу, мать будить не стала пожалела сына старая. Поднялся солнце уже высоко, давно надо было быть на полевом стане. Вчера звонили из райкома, сказали, что новый секретарь (Петрова выбрали председателем райисполкома) поедет смотреть хлеба прямо в поле. Теперь он, конечно, уже там. Худо вышло. Человек приезжает впервые, а он стыд сказать! — проспал.

На ходу выпив стакан молока, он вскочил на велосипед, тренькая звонком, промчался по улице, выехал на неторную полевую дорогу. Давил на педали изо всех сил, пузырилась за спиной рубаха, солнцем взблескивали спицы колес. Велосипед он купил недавно первым в Тайшихе и не расставался с ним, по деревне шагу пешком не делал, гонял взад-вперед на зависть ребятам.

К полевому вагончику тракторной бригады он прикатил весь взмыленный. Здесь было тихо. У огня чистила картошку Настя, в вагончике спали после ночной смены трактористы и прицеппики.

— Секретарь райкома был? — спросил он у Насти.

— Был. По полям ходил, с ребятами разговаривал. Потный, с растрепанными ветром волосами, он, наверно, выглядел довольно забавным. Настя смотрела на него насмешливо.

— Молодой он, секретарь-то, пожилой?

— Строгий. Крыл тебя почему зря. При всех называл разгильдяем. Про велосипед упомянул...

— Что про велосипед?

— Говорит, надо тебе не на велосипеде, а верхом на корове ездить.

— Не к месту твои шуточки, — рассердился Белозеров. Его велосипед с первого дня стал предметом для насмешек.

То рассказывали, будто Стефан Иванович учился ездить на нем по ночам, сам, дескать, садился за руль, а с боков становились Феня и старушка-мать и рысили по двору, то сочиняли частушки: «Что за чудо лисапед, сам ты едешь, ноги нет...»

— Вру я все, — сказала Настя. — Подождал он тебя, подождал, взял Федоса и уехал к бурятам. Тебе велел туда же подъехать. Человек он простой, нашим ребятам шибко поглянулся. Да ты его знаешь. Бывал он тут раньше. Кудрявый такой...

Полевой вагончик трактористов бурятского колхоза стоял на сопке, обдуваемой всеми ветрами, до него было километра полтора. Белозеров оставил велосипед и пошел напрямую, по вдвоенному пару. Дорогой гадал, кто же он, новый секретарь?

Возле вагончика стоял трактор. Девушка в комбинезоне протираала мотор. Около нее, навалившись плечом на радиатор, стоял Федос, что-то громко, возбужденно доказывал. Увидев Белозерова, он замолчал, повернулся к нему спиной, загораживая девушку.

— Тебя ждут, иди, — сказал он.

В вагончике у столика сидели друг против друга Жамбал Очиржапов и Анатолий Сергеевич Тарасов, бывший райисполкомовский агроном.

— Вы, значит? — удивился Белозеров. — Вот уж не ожидал.

— Почему?

— Да так как-то...

Белозеров знал, что в свое время агроном не ужился с Петровым, вынужден был уехать. А теперь, смотри-ка, секретарь.

Неожиданный перевод Петрова на другую должность вызвал у Белозерова недоумение. Никак не мог понять почему? Особых промахов, ошибок за ним не числилось. Правда, председатели колхозов в последнее время глухо роптали: Петров во все дела вмешивается, самостоятельности лишает. Но ведь на то и руководитель, чтобы вмешиваться. Опустит только вожжи, потянут всяк в свою сторону. Конечно, требовательность не всем нравится. Часто она была не по вкусу и самому Белозерову. Если Петров что сказал все, точка, даже не пытайся спорить или втихомолку переиначить указание спуска не даст. Особенно досадно было, когда чувствовал, что к делу другой подход нужен, совсем отличный от того, какой навязывал Петров. Ну да ведь и он человек, как все. У каждого в характере свой изъян имеется. Люди не обкатанные шарики от тракторных подшипников и никогда такими не станут. Каким бы ни был Петров, старался не для себя самого. Белозеров ценил в нем то, что он никогда не давал пустых обещаний, уж если пообещал сделает. Работать с ним было легко и в то же время трудно. А с кем работать только легко? Вон Павел Александрович вроде бы и мягкий, а если получит какое задание от того же Петрова, попробуй ему сказать, что он делает не то и не так бесполезно. Рымарев становится тверже каленого железа. Белозеров видел, откуда берется эта твердость, и нередко злился на Петрова за поддержку, которую тот оказывал Павлу Александровичу. Но если бы ему довелось решать судьбу секретаря райкома, он бы, пожалуй, оставил его на месте. «А может, я вовсе не замечал того, что видно было другим?»

От этой мимолетной мысли Белозерову вдруг стало почему-то тревожно, и он с удивлением поймал себя на том, что, думая о Петрове, все время как бы со стороны присматривается к себе самому...

Из задумчивости его вывел голос нового секретаря райкома партии.

— Мы тут с Жамбалом Очиржаповичем вот о чем толковали. Тракторные бригады ваших колхозов работают рядом. Неплохо бы организовать соревнование. Как ты считаешь?

— Можно, конечно...

Белозеров усмехнулся. Ему пришло в голову, что Петров это же самое сказал бы совсем иначе. Никаких «как считаешь». «Организуйте соревнование. В десятидневку один раз подводите итоги и докладывайте мне» приказал бы он.

Усмешка не укрылась от Анатолия Сергеевича.

— Вижу, ты не очень рад нашему предложению. Что тебя смущает?

— Ничего не смущает. Просто не думал об этом.

— Подумать, конечно, нужно. И подумать как следует. Надо сделать так, чтобы от соревнования польза была. Я сейчас поеду в улус. А вечером буду у вас...

Слушая Тарасова, Белозеров незаметно всматривался в его лицо, старался угадать, как он поведет дело, чем будет отличаться от Петрова.

К вагончику кто-то подъехал, слез с лошади, спросил:

— Секретарь райкома здесь?

По голосу Белозеров узнал Рымарева. Павел Александрович поднялся в вагончик, пожал Тарасову руку, поздравил с избранием.

— Спасибо, — коротко поблагодарил Тарасов. — Смотрел ваши хлеба. Пшеница вызрела хорошая. Когда думаете начинать уборку?

— Хоть завтра, — с готовностью ответил Рымарев. — Будет завтра команда, завтра и начнем.

— Какая команда, откуда? — сломанная бровь Тарасова удивленно распрямилась.

— Из райкома, конечно.

Глаза Тарасова сузились, сердито блеснули.

— Никакой команды не будет! — голос прозвучал резко. — С какой стати, скажите пожалуйста, я, например, буду командовать там, где это делать обязаны вы?

— Конечно, конечно, но по традиции... — Рымарев смущенно ущипнул ус. — По традиции первое слово за первым человеком района.

— Традиции бывают всякие, в том числе и плохие, — все так же резко проговорил Тарасов. — А что касается первого человека в районе, то у меня на этот счет несколько иное мнение.

«Что, съел?» со смехом подумал Белозеров. Явление было редкостным. Рымарев, всегда попадавший в самую точку, здорово промазал. Нет, это тебе, братец ты мой, не Петров, у которого на все случаи жизни были свои указания. Тут собственными мозгами шевелить придется.

И, будто угадав, о чем думает Белозеров, Анатолий Сергеевич, все еще хмурясь, но без резкости, как о чем-то само собой разумеющемся, добавил:

— Есть команда на все времена: всем нам работать так, чтобы польза государству была и чтобы народ жил безбедно... Когда сеять и что, когда начинать уборку, где убирать в первую очередь дело ваше. Уж если такие вопросы будет за вас решать райком, то... Впрочем, разговор этот не накоротке. Заеду к вам из улуса, тогда обо всем без спеха и поговорим.

Усаживаясь в райкомовский ходок, Тарасов вдруг тихо, с горечью спросил Белозерова:

— Что же вы Луку Федоровича не уберегли?

Ответа ждать не стал, поехал. Рымарев, смущенный, растерянный, сел в седло, поскакал рядом с ходком. Белозеров понял: будет промашку свою заглаживать. Ничего, он приладится и к Тарасову. Подумал об этом с легкой злостью. Не Рымарев был сейчас его главной заботой. Все острее он чувствовал, что замена Петрова Тарасовым не просто смена одного человека другим... «Почему Луку Федоровича не уберегли?» Вот это задачка!

— Федос, пойдем!

За все время Федос так и не отошел от девушки. И он явно намеревался остаться здесь еще, но Жамбал заставил ее готовить обед, и Федос нагнал Белозерова.

— Уж не та ли это деваха, на которой ты хотел жениться?

— Она, — буркнул Федос.

— Трактористка?

— Нет, прицепщица у Жамбала.

— Жамбал ее муж?

— Брат двоюродный.

— Что же ты на ней не женился?

— Семейщина разве даст...

— На семейщину, Федос, не сваливай. Я бы на твоём месте ни на что не посмотрел. Уж я бы своего не упустил.

У подножия сопки густо рос чертополох. Круглые колючие шары на тонких стеблях-спицах поднимались высоко над вянущей травой. Федос на ходу сламывал стебли и расшибал шары о голенище ичига.

— Про брата твоего секретарь спрашивал?

— Ага.

— А что он говорил?

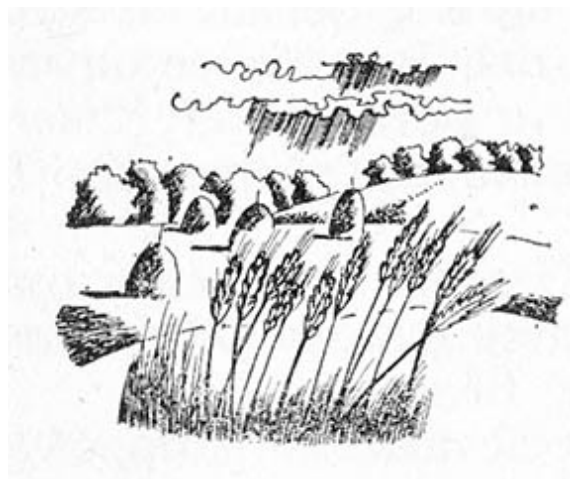
— Да ничего.

Федос, видно, думал сейчас о другом. Белозеров перестал его расспрашивать, тоже сорвал шарик чертополоха, перекинул из руки в руку, как детский мячик.

— Семейщина, Федос, многим жизнь испортила. Уж я ли ее, проклятую, не знаю. Но теперь от нее мало что осталось. Растребушили мы ее. Помолчав, повторил с радостным изумлением: — Растребушили, Федос, мать ее так!

Засмеялся. Тревожно-радостно стало от того, что жизнь неудержимо идет вперед, и надо напрягать все силы души и ума, чтобы не оказаться в хвосте.

Он остановился, вглядываясь в поле пшеницы, ровное, широкое, уходящее к дальним сопкам, поле, на котором свободно можно было бы расположить полдюжины Тайших со всеми дворами, гумнами, огородами. И внезапно всем своим существом ощутил огромность того, что сделано за эти годы, и остро почувствовал, что жизнь вступает в какую-то новую полосу.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



Клубились мутные, с чернотой в глубине, тучи, острые спицы молний втыкались в зазубрины хребта, и горным обвалом грохотал, накатываясь, гром, вертячий ветер взлохмачивал зелень хлебов, облака красноватой пыли переваливались через голые макушки сопок, вздымались вверх, к свисающим космам туч; скрипел под ветром дощатый вагончик, возле него теснились в затишье лошади, в отдалении стояли три поджарых трактора, и пыль с сухим шелестом оглаживала жестяные дуги их крыльев; на радиаторе одного из тракторов язычком пламени трепетал алый вымпел.

Стефан Белозеров подъехал к вагончику, вылез из шарабана, согнув под ветром голову, подошел к машинам и долго стоял в раздумье, ковыряя каблуком сапога черный от мазута круг земли, потом снял вымпел, бережно свернул его и положил в карман брезентового дождевика. Нет в бригаде лучшего тракториста, и вообще нет ни одного механизатора, вчера уехал в военкомат последний... Второй месяц идет война. Война...

Белозеров поднялся в вагончик. У железной печурки чаевали бабы. Он сел на нары, потер запорошенные пылью глаза, закурил.

— Ну что там? — спросила Настя.

Там — на войне. Везде, куда бы он ни приехал, его спрашивали в первую очередь о войне, все ждут хороших вестей. А их нет.

— Наши отходят... По всему видно, бабоньки, война закончится не завтра, не послезавтра, не через месяц даже.

— Обрадовал! — с горечью сказала Настя.

— Стефан Иваныч, что ближе к нам Британские моря или Германия? — спросила Прасковья Носкова.

— Для чего тебе?

— Вспомнила песню, в которой поется: до самых британских морей Красная Армия всех сильнее. Стало быть, Германия за британскими морями?

— Ты, Прасковья, про такое зубоскальство накрепко забудь! — Белозеров хотел сказать ей это веско, внушительно, но получилось так, будто он ее упраскивает; сам не раз уже перебирал в памяти разные

бодрые речи, статьи в газетах и песенки разные тоже вспоминал; обидно стало, что его собственные потаенные думы и сомнения оказались сходными с Прасковьиным злословием; рассердился на себя и на долготыкую бабу: — Не о хитрых подковырках думать надо! Как с работой без мужиков справиться вот о чем думать надо.

— Почему без мужиков? — усмехнулась Прасковья. — А вы с Рымаревым не мужики? Для того и поставлены, для того и оставлены.

Хорошо, что в вагончике было сумрачно, и бабы не заметили, как кровь прихлынула к лицу Белозерова. Прасковья уколола в самое больное место. Действительно, всех одногодков взяли в армию, а его оставили. До особого распоряжения. Трижды бегал в район. Отказ. А она его, может, трусом считает, может, думает, что выхлопотал себе освобождение.

Сдерживая желание обругать бабу, с внезапной хрипотцой в голосе он проговорил:

— Мы с Рымаревым, правильно, для того и оставлены. Но надолго ли? Может, завтра и нас призовут. Об этом ли надо сейчас говорить?

— Я же так, к слову, — стала оправдываться Прасковья.

— И я к слову.

За окном резанул по тучам длинный жгут молнии, всплеск зеленоватого света метнулся по стене. Прасковья перекрестилась.

— Господи...

Удар грома громыхнул прямо над головой. Крупная капля дождя расшиблась о пыльную стеклину окна, оставив пятно, за ней вторая, третья. Пошел дождь, и ветер стал заметно стихать.

— Всем, кто сейчас тут, придется работать за двоих, за себя и за тех, кто там, на войне, — возобновил Белозеров прерванный разговор. — Пока что у нас ничего не получается. Тракторы стоят. Без них мы как без рук.

— Не меня ли хочешь в трактористы? — спросила Паранька.

— Тебя нет. У тебя семья. А других бабенок, девок учить будем. Кто пожелает... Он посмотрел на Настю. У кого ребят нету.

— А что, я пойду, — серьезно сказала Настя. — Запиши.

— Хорошо. Курсы на днях в МТС откроются. Вы пары двое? Скажу Рымареву, чтобы прислал тебе замену.

Выпив кружку остывшего чаю, Белозеров натянул на голову капюшон дождевика, поехал домой. Ветер совсем стих. Дождь, правда,

лил с неубывающей силой, но туча проходила, сквозь дождевую завесу проглядывала полоска чистого неба. С косогоров мутными ручейками стекала вода, собиралась в логотипе в поток и мчалась, вскипая пеной, расстилая по земле траву. Колеса старого шарабана хлюпали в лужах, швыряли ошметки грязи.

Омытая зелень хлебов стала ярче, сочнее. Очень полезен этот дождь. Урожай будет, по всему видать, славный. Эх, если бы не война... Люди только жить начали, только поняли силу артельного хозяйства... Странное дело война. В далекие времена, когда все люди были необразованные, не понимали того, что сейчас понимают, шли друг на друга по своей темноте и бестолковости. А сейчас? Те же самые немцы... Неужели до них не доходит, что ружьем никаких благ не добудешь? Работали бы на своих полях и заводах, так нет, полезли смерти своей искать.

Выехав на трактовую дорогу, он увидел впереди человека с котомкой за плечами. Он устало брел по размытой дороге, мокрый с головы до пят. Поравнявшись, Белозеров придержал лошадь.

— Садись, подвезу.

Тот скинул котомку, бросил ее под ноги Стефану Ивановичу, распрямился.

— Лучка!

— Он самый! С его короткой бороды капала вода, серая кепочка сплющилась в блин, намокший козырек уныло нависал над глазами.

— Откуда ты?

— В бегах был... Он сел в шарабан, шумно, с облегчением вздохнул. Из города до Бара на машине доехал. Оттуда пешком топаю.

— Где был-то?

— Во многих местах побывал: в Красноярске, Омске, Новосибирске... Долго нигде не задерживался.

— Боялся?

— Не без того... Но больше-то по другой причине. К садоводству приглядывался. Многому научился там. Правда, что нет худа без добра.

— А теперь?

— А теперь война. Порешил объявиться. Своих повидаю, а там в армию или... в тюрьму. Максим все сидит?

— Да...

— Такого парня съели... Сволочь ты все ж таки, Стиха. Не могу я простить тебе моих яблонек, погубленных твоей неумной злостью.

— Я у тебя прощения, кажется, и не прошу...

Когда подъезжали к деревне, дождь перестал, в разрыве туч показалось солнце. На тальниковых кустах, на придорожной полыни висели дождевые капли, вспыхивали, как искры, падали на мокрую траву.

— Ты вот что... Не брякай, где попало, что в бегах был.

— А где же я был? — с угрюмой издевкой спросил Лучка.

— Слух ходил, что ты уехал не то на заработки, не то этому самому садоводству учиться. С бумагами, какие есть, в сельсовет приходи.

Ссадив Лучку у его дома, Белозеров поехал в правление колхоза. В кабинете Рымарева сидел Игнат. У его ног, обутых в старые, с выбеленными носками, заляпанные грязью ичиги, расплылось по крашеному полу мокрое пятно. Игнат, поставив локти на колени, уперев кулаки в бороду, смотрел на пятно. Рымарев в черных брюках галифе, в начищенных до блеска сапогах (видать, пришел в контору до дождя), подтянутый, прохаживался по зеленой дорожке, разостланной у стола, выговаривал Игнату.

— Это никуда не годится. В конце концов мы можем просто обязать. Вы что, не понимаете, какое сейчас время?

— А зачем мне это понимать?

— Ну, знаете, так рассуждать может только не советский человек! Стефан Иванович, внушите ему.

— А в чем дело?

— Столярничать некому. Хотел его назначить. А он с мельницы уезжать не желает. Туда можно любого старичка посадить. Для людей же это нужно!

— Для людей, но не для меня, — буркнул Игнат.

— Послушайте его, Стефан Иванович! А еще в ударниках был...

Игнат поднялся.

— Поговорили, будет... — У дверей обернулся. — Брат Максим тоже ударником был.

Он ушел. Рымарев, засунув большие пальцы за широкий ремень, сдвинул складки гимнастерки на спину.

— Тяжелый человек!

Не согласуясь с этими словами, со всем только что законченным разговором, глаза Рымарева весело поблескивали, губы вздрагивали, готовые, кажется, в любую минуту сложиться в радостную улыбку. Давно уже не видел Белозеров председателя таким. С тех пор, как началась война, Павел Александрович только и делал, что испуганно, шепотом рассуждал о вестях с фронта. Если мы в первые дни войны во всей своей силе не устояли, то что будет потом? Сдаем город за городом, враг становится сильнее, мы слабеем, это же любому ясно.

Белозерову были неприятны эти вопросы, шепоток Рымарева, однажды он ему прямоком рубанул:

— Не зуди на ухо! И не подсчитывай сданные города. наших сил хватит и города обратно отнять, и Гитлера в гроб вогнать... если наушничать не будем.

— Да я же никому...

— Не хватало, чтобы по деревне пошел звонить про убывающие силы.

Когда приходили повестки из военкомата, Рымарев кидался к ним, с лихорадочной поспешностью перебирал, называя фамилии колхозников, говорил Белозерову:

— Нам с тобой нет...

Дела в последнее время подзапустил, про аккуратность свою позабыл, нередко приходил в контору небритым, с осоловелыми, как от длительной бессонницы, глазами. Сейчас перед Стефаном Ивановичем был прежний Рымарев, чистенький, щеголеватый, а главное веселый. Может, на фронте какие перемены? Спросил его об этом.

— Какие там перемены! — безнадежно махнул рукой Рымарев. Да это уже не наша печаль. То есть наша, конечно. Но на нас ложится другая ответственность производство хлеба. Пытаюсь провести реорганизацию. Но ты видел, какая сознательность у некоторых?

— Людей на курсы трактористов подобрали?

— Не всех еще.

— Запиши Настасию Изотовну... Да, Лука Богомазов вернулся.

— Разве его не посадили?

— Нет.

— Так теперь посадят.

— Наверяд ли...

— Но почему? Мне представляется, еще никому не удавалось избежать наказания...

— А за что? Какая вина у него?

— Вы сами прекрасно знаете, Стефан Иванович.

— Я нет. А ты знаешь? Я это как председатель сельсовета спрашиваю. Если тебе известны преступные факты, я обязан арестовать Богомазова.

— Какие у меня могут быть факты? И вообще это не мое дело.

— Раз не твое, помалкивай.

— Так ведь я только с вами поделился.

— Я что, копилка для сплетен?

— Какой-то вы странный сегодня, Стефан Иванович. Я плохо вас понимаю. И мне неприятно...

— А мне? — с вызовом спросил Белозеров, помедлив, круто переменял разговор. — Кого определили в трактористы? Дай список.

Список, как и любая бумага, сделанная Рымаревым, был образцом аккуратности: листок разграфлен на столбики в одном имя, отчество, фамилия, в другом год рождения, в третьем образование. Просмотрев список, Белозеров ткнул пальцем в фамилию сына Викула Абрамыча.

— Этого вычеркни.

— Почему? Он добровольно пожелал.

— Мало что! Выучим, а его в армию заберут.

Что в этом плохого? Квалифицированные люди и в армии нужны.

— Без тебя знаю... А кто здесь работать будет? Девочек учить надо. На них вся надежда.

— Если вы так считаете, я не возражаю.

— Теперь вот что... На днях собери всех колхозников. Большой разговор с народом нужен. Белозеров сел на подоконник.

По улице, закатав штанишки до колен, бегали ребяташки, расплескивая лужи босыми ногами; вода, подсвеченная солнцем, взлетала золотыми слитками, и мокрые ноги ребят тоже были золотыми. Его детишек здесь не было. Старшие, близнецы Ревомир (революционный мир) и Ким (коммунистический интернационал молодежи), приболели, коклюш у них, младшая дочурка, Светлана, еще мала, чтобы на улице бегать. Феня опять тяжелая. Совсем это не ко времени. Война... Тяжело на душе, тоскливо. Все смяла, сдвинула с места...

— Что-то я еще хотел сказать... — Белозеров отвернулся от окна.

— А у меня новость, — примирительно улыбнулся Рымарев. — На тебя и на меня бронь дали.

— Что еще за бронь такая?

— Освобождение от службы в армии. Вменяется в обязанность сражаться на трудовом фронте.

«Уж не этому ли радуешься? — с подозрением глянул на него Белозеров. — Ну точно, этому!»

— Хм, бронь...

— Да, Стефан Иванович. Нужные мы здесь люди, оказывается.

Настороженным, чутким слухом Белозеров уловил в тоне Павла Александровича нотку хвастливого самодовольства и с неприязнью сказал:

— Я бы этому не стал радоваться. Он соскочил с подоконника.

— А кто радуется? — обиженно шевельнул усами Рымарев. — Кроме того, учти, я бронь не просил.

Весь этот разговор казался Белозерову мелким, ничтожным, закипая злостью, сказал:

— И попросить не постыдился бы! Не вижу, что ли... К едрене матери твою бронь! Понял? Страна истекает кровью, а тут бронь!

— Стефан Иванович, вы оскорбляете меня и горячитесь совершенно без основания. Там, он поднял вверх палец, гораздо лучше знают, кому что надлежит делать в опасный для Родины час. Было бы безрассудством, непростительным и вредным, ставить под сомнение подобные установки. Воля партии превыше всего.

— Ловко ты умеешь, когда тебе выгодно, партией подпираться! Правильными словами кривоту души прикрываешь.

— Товарищ Белозеров, попрошу вас!..

— Помалкивай! О партийном долге и я кое-что кумекаю. Долг члена партии работать в самых жарких местах. А где такое место сейчас? Не в Тайшихе, Павел Александрович. Скажу и другое. От веку, когда на нашу землю шел враг, все настоящие мужики брали в руки оружие, а дома оставались бабы, старики и калеки. Так что, я баба, старик или калека?

— Почему вы все это мне говорите?

— Да потому, что ты возрадовался. Потому что мерки у тебя разные — одна для себя, другая для всех прочих людей.

— Ничего подобного!

— А кто сейчас только уговаривал Игната взять на себя более трудную работу?

— Разве я был неправ, когда...

— То-то и дело, что все правильно говорил. Всем надо на себя взваливать в два раза больше прежнего. Только не тебе.

— Это неправда! Вы несправедливы, Стефан Иванович! — отбивался Рымарев.

— Нет, правда. И тебе, и мне замену найти не так уж трудно, как думаешь. На твое и на мое место можно и баб посадить. И ты это знаешь.

— Стефан Иванович, прошу вас выслушать меня. Еще раз повторяю, я льгот себе не просил. Это во-первых. Во-вторых, я не считаю освобождение от службы в армии льготой. В-третьих, что бы вы ни говорили, слово партии для меня закон. В-четвертых, я не меньше, чем вы, стремлюсь попасть на фронт, но в отличие от вас не козырю этим стремлением.

Белозеров понял, что спорить с Рымаревым бесполезно. Вот как ловко вывернулся. Ловкач, ох и ловкач!

Давно уже у Стефана Ивановича зрело недоверие к председателю колхоза. Но переберешь в памяти слова, сказанные им, и кажется, все правильно, зацепиться не за что. Лишь когда Павел Александрович отказался подписать письмо насчет Максима, его, Белозерова, не могли убедить в правильности такого отказа никакие слова, в душе навсегда осталась брезгливая презрительность к осторожности Рымарева, вроде бы продиктованной высшими интересами, а на самом деле соображениями куда более простыми. С тех самых пор Стефан Иванович, слушая гладко обструганную, всегда такую убедительную речь Рымарева, невольно настраивался на то, чтобы поймать его на слове, уличить в брехне, однако это никогда не удавалось. Не удалось и сейчас. Выкрутился.

Из конторы Игнат вернулся домой и стал собираться на мельницу. Складывая в мешок хлеб, остановился: сколько брать на день-два, на неделю? Снимет ведь Рымарев с работы... Или не снимет?

Отложил сборы, вышел во двор. Воздух после грозы был влажен: под окном разлилась огромная лужа, тополь стряхивал в нее капли воды и засохшие листья; солнце уже опустилось на крышу амбара, весь двор был затенен, от этого особенно яркими казались блики теплого света в окнах напротив Максимова, так до конца и не отделанного дома. Максим... Рымарев на совесть нажим делает. А его совесть где? Ходят слухи, что это он, уважительнейший Павел Александрович, совместно с Еремой Кузнецовым донос на Максима настроил. Деревенские слухи, конечно, бывают всякие. И все-таки...

Игнат взял лопату, пустил воду из лужи на огород, сел на ступеньку крыльца. Вода бежала по узкой канаве, несла щепки, листья, мелкий мусор. Не спусти лужу, дня через три-четыре она покроется плесенью, мусор начнет гнить. У иных людей душа, как эта лужа, непроточная. У Еремы такая. Прижился в сельсовете, причислил себя к большому начальству, привык, чтоб его слушали и слушались, шишка на ровном месте.

От Корнюхи Игнат узнал, как было дело в ночь гибели Лазаря Изотыча, но не осудил Ерему за то, что он выставил себя защитником Советской власти и жизни председателя Совета; вспомнилось ему, как однажды, чуть не со слезами упрашивал Ерема раздобыть для него деньжонок, нужных для возмещения растраченных взносов не смог раздобыть, а Пискун этим воспользовался, завлек мужика в свою паучью сеть. Не осуждал его Игнат, жалел, чувствовал себя перед ним виноватым: нашел бы тогда злосчастный червонец, и не пришлось бы Ереме впутываться в кулацкий заговор, потом оборонять себя брехней. Но сам Ерема, кажется, и думать позабыл о той давней истории, заплесневелая совесть его не мучает.

В прошлом году приехал на мельницу свое зерно размолоть. Борода сбрита, под носом усы, как у Рымарева, важный, будто дура в новой кофте. Подал вожжи Игнату.

— Распряги коня.

Бесцеремонность покорила Игната, но ничего, распряг, трудно, что ли?

— Теперь таскай мешки наверх, а я мельницу освидетельствую.

Не попросил, не приказал, а так, небрежно обронил, будто не сомневался, что ворочать его мешки для Игната в радость. В помощи Игнат никому не отказывал. Как не помочь? В каждом мешке больше четырех пудов зерна, попробуй один взвали на плечи, подними по шаткой лестнице к ковшу на полати. И тяжело, и несподручно... Но тут он наотрез отказался.

— Сам не выболел, свидетельщик.

Стоял тут же, смотрел, как Ерема, краской наливаясь от натуги, разгружал телегу. На лбу вспухали синие жилы, пот катился по лицу. Закончив работу, с полчаса не мог отдышаться, хватал воздух открытым ртом и воротил глаза от Игната.

Пустив мельницу, Игнат остановился у ларя, ловил на ладонь струйку муки, растирал пальцами, проверяя тонкость помола. Ерема подступил к нему с листом бумаги.

— Акт на тебя составлю. За мельницей не смотришь.

Это была неправда. Мельницу он давно привел в порядок. Рассердился:

— Я тебе вот составлю! Ишь ты, прыщик!

— Ага, так?! И эти слова в акт впишу. Вредительством занимаешься, дорогой брата идешь.

Игнат перекрыл воду. Мельница остановилась.

— Уезжай, Ерема. Не доводи до греха.

— Молоть отказываешься?

— Отказываюсь.

— И это запишу.

Потом Игната вызвал в сельсовет Стефан Иванович, свел с Еремой, заставил рассказать, как и что получилось, выслушав, тут же отругал Ерему и пригрозил, что если попробует козырять своей должностью, худо будет.

Вода из лужи вытекла. Игнат заровнял канаву. По улице, чмякая копытами по грязи, прошли с пастбища коровы. Скоро Настя приедет с работы. Может быть, сегодня остаться дома? Походив по двору, он

снова сел на крыльцо и стал ждать жену. Она приехала в сумерках. Устало присела рядом.

— Ужин не сварил?

— Нет.

— И посиживаешь! Экий ты у меня... Ты почему дома?

— Рымарев вызывал. В столярку хотел направить. Отказался.

— Правильно... Что ты настолярничаешь. Она положила ладонь на его плечо, покалеченное Никитой Овчинниковым.

— Не потому.

— А что же?

— Не хочу. Могу, но не хочу. Ну его к черту, Рымарева. Настя помолчала, поднялась, взяла в сенях ведро.

— Пойду корову доить. А у тебя, Игнат, характер портится. Вредным становишься, — смягчая слова, она улыбнулась, ушла на задний двор.

Он сжал в кулак бороду. Наверно, так оно и есть, вредным он стал, несговорчивым. А почему должен быть сговорчивым с тем же Еремой? Может быть, главная беда людей в том и есть, что они терпеливо сносят мелкое своеволие нахальных горлохватов. Когда-то он думал, что стоит всех накормить досыта и жизнь сама собой переменится. Но, выходит, не так все просто. Люди стали жить много лучше, чем раньше, легче достается кусок хлеба... Накормить людей оказалось куда проще, чем переделать человеческую породу.

Ерема в старину до соплей набедовался, ему ли не знать, как жали-унижали и мытарили добрых людей, но нет, чуть приподнялся над другими и уже норовит на чужой шее кататься. Рымарев куда хуже Еремы. Рымарев хитрый, он тебе грубого слова не скажет, он вроде и за людей горой стоит, а разобраться, только себя оберегает. Будешь тонуть, руку не подаст, если увидит, что намокнуть придется.

Подойв корову, Настя собрала ужин в сенях.

— Садись...

— Ты говоришь: вредным стал. Зачем мне быть добрым перед Рымаревым? Все ему на вред буду делать.

— Мудришь, Игнат. Ты не ему вред делаешь.

— Кому?

— Да как тебе сказать. Ну, многим. Колхозу...

— Колхоз без меня обойдется... как и без Максима.

— Чудишь, Игнат. Забрался на свою мельницу, оттуда всех судишь-рядишь: этот плохой, тот хороший. Ну и что? В своем лесу ты можешь до надсады хулить плохого, он не одумается, хвалить хорошего, он лучше не станет.

В голосе Насти прозвучало что-то такое, чего он еще не слышал ни разу невысказанная жалоба, что ли. Лампа висела на стене прямо над ее головой. Тень смягчила, разгладила черты похудевшего, обветренного лица Насти, она показалась ему совсем молоденькой, такой, какой была десять лет назад, когда, беспечно посмеиваясь, приходила убирать холостяцкое зимовье, и он подумал: ладно ли сделал, забившись на мельницу от людей ушел, это так, но и от Насти, выходит, тоже. А зачем? Чего добился этим? Еще когда-то Максим упрекал его за то, что пользы от его жизни людям немного. Так оно, кажется, и есть. Он всю жизнь желал добра людям. А выходит, желать добра и делать добро разные вещи.

Он снова посмотрел на жену. И сейчас только заметил, как она устала. Теперь, когда идет война, у людей не остается времени для отдыха. О войне думать не хочется, он слишком хорошо знает, что это такое. Великая беда для всего народа. А он вздумал с Рымаревым спорить. Рымарев тут, права Настя, ни при чем. И обида за Максима совсем не к месту. Видать, поглупел он там, на своей мельнице. Сейчас, кажется, пришло время какой-то новой мерой поверять все свои дела и помыслы.

Утром уехал на мельницу. Не распрягая коня, сложил в телегу все свое немудреное имущество, долго стоял под старой усыхающей елью, у расколотого круга жернова. Много дум здесь было передумано.

На берегу пруда к воде спускалась детская изгородь прясла из тальниковых прутьев, сарай высотой в два вершка, стожок сена рядом с сараем... Митюхино хозяйство. Славный сын растет у Максима. Корнюхин Назар тоже ничего парнишка, но портит его батька, не на тот путь наставляет.

Корнюха на него долго сердился за то, что не подсобил ему Устнью усмирить. А прошлым летом привез и сына, и приемыша Петьку на мельницу, пусть поживут недельку-другую. Стряпни домашней оставил, дал сыну нож-складешок и уехал. Стряпню тарки с брусникой Игнат сложил в корзину, поставил под стол. Ребятишки нет-нет и ныряли за тарками. Набегаются по лесу, оголодают, как волчата,

ждать обед или ужин не вмоготу. Все было хорошо, пока стряпни в корзине было много, но как только осталось несколько тарок, Назарка вдруг отказал Митьке и Петьке в довольствии.

— Мне самому мало. Он закрыл корзину руками, засопел. — Не дам больше.

— Ты нам по половинке, а себе целую, — уговаривал его Петька.

— Не дам.

— У-у, жадина! — Митька стукнул его по затылку. Назарка заорал на весь лес, но корзину не выпустил.

— Что же ты, брат Митрий, дерешься, младших забижаешь? — Игнат присел возле Назара. — А ты не скупись, поделись.

— Не буду. Мне мой батя оставил, не им. И так все съели.

— Да-а... — Игнат встал. — Раз такое дело, не давай. А вы, ребята, собирайтесь, рыбачить пойдём.

— Я тоже, — сказал Назар.

— Тебе нельзя. Уйдем, а кто-нибудь стряпню съест. Оставайся караулить.

Назар помолчал, ковыряя пальцем в носу.

— А я корзину с собой возьму. И весь просиял, что так здорово придумал.

— Тогда пошли.

Узкая тропа, ныряя под сомкнутые ветви тальника, вилась по берегу речки. Корзина цеплялась за прутья, била Назарку по босым ногам. Парнишка несколько раз падал, вываливая драгоценные тарки на траву, собирал и вновь продирался сквозь кусты. Сердобольный Петька хотел ему помочь, но Игнат не дал.

— Это его. Вот и пусть сам несет.

Вскоре Назарка на выдержал, завалился между кочками и заплакал. Игнат вернулся, поднял его.

— Экий ты... на рев способный. Тяжело? Давай я понесу. Но тогда все тарки моими будут.

Ох и жаль же было парнишке расставаться со своим богатством, и силенок уже не осталось, и все руки корзина повыкрутила... Отдал. Игнат тут же разделил стряпню на троих, пустую корзину повесил на куст ольхи.

— Вот так надо делать, Назар. Идти легко, и никто не выхватит. Парнишка повеселел и на радостях снял с цепочки, пришитой к

штанам, свой заветный ножичек, дал Митьке порезать прутья. А тот уронил его в речку. Снова Назарка плакал горько и безутешно, но главное было впереди. Приехал Корнюха навестить сына, спросил про ножичек и, узнав, что он утерян, снял с пояса ремень. Назарка втянул голову в плечи, выкатил испуганные глазенки. Корнюха дважды полоснул его по спине.

— Что ты делаешь?! — Игнат выхватил из рук брата ремень. — Самого как дербалызну по сопатке! За что лупишь?

— Будет знать, как беречь... — Корнюха тяжело, со свистом дышал.

— Совсем озверел! Не он потерял.

— Ему давал, с него и спрос. А ты не лезь! Сегодня ножичек проворонит, завтра рубаху отдаст, послезавтра дом промотает.

Ребятишки убежали в ельник. Митюха и Петька выглядывали из-за ветвей, Назарка не показывался.

— Возьми свою училку, — Игнат отдал ремень, — Видел я, чему сын твой научен.

— Он что, брехливый, вороватый?

— Да нет... Пока нет.

Совсем недавно Игнат склонялся в мыслях к тому, что жизнь Корнюхи, пожалуй, самая правильная. Но правильного в ней, видать, самая малость. Живет нехудо, это верно. Но кому от его жизни радость? Уж если сына своего из-за копеечного ножичка готов драть как Сидорову козу, то что могут ждать от него другие?

Сейчас Игнат заново переживал все, что здесь произошло, и горевал не меньше, чем тогда. Реки крови пролиты, чтобы люди жили лучше, чтобы во всем была правда и человеческая ласковость. Другой порядок жизни установлен, хорошие законы людям дадены, но несправедливость и ожесточенность еще не вывелись. Сыновья у отцов пониманию жизни учатся, а отцы всякие бывают. Корнюха не самый плохой. Но и не в нем только дело. Разобраться, он, Игнат, и сам недалеко ушел от Корнюхи. Что он сделал в последние годы для того, чтобы люди больше ценили ту же справедливость? Почти ничего. Снова приходится вспоминать Максима. Прав был братишка, упрекая его.

Игнат подпер колом двери зимовья, еще раз оглядел горы с молчаливыми соснами, незамутненное зеркало пруда, доживающую

свой век ель, замшелую мельницу... Здесь кончилась еще одна часть его жизни, не самая худая, но и не лучшая. А что там, дальше?

— Надо проводины сделать, — сказала Устинья. Корнюха не сразу понял, о чем она говорит.

— Что? А, проводины... Не надо.

— Ну как же... Позовем своих: Игната с Настей, Татьяну, ну еще, может, Лучку с Еленой.

— Лучка тоже повестку получил.

— Вот видишь... Тем более надо...

— Ничего не надо!

Он вышел во двор. Под сараем белела круглым боком новая, еще без дна и крышки бочка. Корнюха взял рубанок, принялся зачищать нутро бочки, но вдруг остановился, сообразив, что не успеет ее доделать, и сел на землю, рассматривая плотно подогнанные друг к другу клепки из прямослойной, с четкими прожилками сосны, пожалел, что работа остается неоконченной, бочка рассохнется, рассыплется, и эти клепки, так хорошо пристроганные, Устинья пустит на растопку. А может быть, не возьмут? Вдруг да комиссия найдет изъян в его здоровье... Завтра вечером он уже возвратится домой и будет в свободное от работы время делать бочки, загонять их по хорошей цене в сельпо. Но он знал, что никакого изъяна в его здоровье нет, и не дал ходу этим мыслям. Зачем морочить себе голову бесполезными думами? Надо принимать все таким, каким оно есть.

Повестку он ждал давно, твердо знал, что служить придется, но все-таки чувствовал себя не в своей тарелке. Все привычное: думы, заботы, все, чем он жил отошло сейчас от него, а замены им не было, и в душе была пустота, как в высохшем колодце.

С улицы прибежали Назарка и Петька. Он обрадовался, поманил пальцем сына, усадил рядом.

— Уезжаю, сынок. Забрали в армию.

— Когда поедешь? — деловито осведомился сын.

Корнюха не ответил. Его взгляд задержался на Петьке. Парнишка стоял в отдалении и смотрел заискивающе-настороженно; был он похож на голодную приبلудную собаку, которая не знает, кинут ей кость или прогонят палкой. Корнюха усмехнулся, позвал его:

— Садись, что стоишь.

Он обнял обоих ребят и с удивлением почувствовал: Петька припал к нему всем телом, затих, ну чисто намерзшийся щенок у теплого бока матери. Чудно! Корнюха посмотрел на его круглое, словно булка с маком, обсыпанное веснушками лицо с неприметными белыми бровями, перевел взгляд на сына, чернявого, прямоносого, с большими, как у матери, глазами — красивый будет парнишка! сказал:

— Без меня тут, ребятки, тихо живите. Струментом моим не балуйте.

— Не будем, — пообещал Назарка.

— Ну, идите.

Отпустив ребят, он бесцельно походил по чисто подметенному двору, вернулся в дом. Устинья заводила тесто, теща стояла возле нее и то ли всхлипывала, то ли хлюпала носом.

— Как же мы будем жить-то без кормильца нашего? — Она потянула подол передника к глазам.

А он смотрел на Устинью, ему хотелось, чтобы эти слова сказала жена, а не теща, но она ничего такого не скажет, бабью слезу, не уронит, разве уж после, когда поймет, какая легкая жизнь ей была при нем.

— Устюха, ладно уж, собери вечер-то... — сказал он.

Она кивнула головой, вытерла оголенные по локоть, испачканные в муке руки.

— Кого еще позвать, кроме своих? Рымарева надо?

Ему показалось, что Устинья усмехнулась. Не поняла его душевной настроенности, нашла время Рымаревым корить. И за что корить?

— Неразумный ты человек, — сдержанно сказал он. — Но обожди, клюнет тебя жареный петух. Поймешь, что совсем не дурак у тебя Корнюха.

— Я спроста ведь...

Может быть, и спроста. Бабий ум крученный, как волос у барана, трудно разобраться во всех его завитках. Ну да что тут... Не маленькая обида на нее осталась и целый день тонким комариным звоном тревожила его.

На проводины первыми пришли Игнат и Настя, следом Татьяна, но она тут же ушла: Митька ее где-то забегался, найти надо было. Настя

стала помогать Устинье собирать на стол, Игнат сел на лавку, задумчиво посмотрел на Корнюху.

— Едешь, значит...

— Еду.

— Не знаю, братуха, надо ли тебе это говорить... — нерешительно начал Игнат. — Неловко вроде... Ну да уж скажу. Не приискивай ты себе там выгод всяких. На войне, братуха, шибко таких не любят.

— Какие там могут быть выгоды? — удивился Корнюха, — Зачем ты обо мне так погано думаешь?

— Ты не обижайся. Я погано о тебе не думаю. Хочу я, Корнюха, чтобы там у тебя было побольше хороших товарищей. С товарищами не пропадешь.

Разговору помешал Лучка Богомазов. Он пришел уже подвыпившим, веселым, из оттопыренного кармана брюк торчала засургученная головка бутылки. Елена (празднично одетая, вся грудь в монистах) то и дело одергивала его, что-то шептала на ухо, но Лучка не слушал ее, смеялся, лез целоваться со всеми.

Стали садиться за стол, но Лучка, увидев, что нет Татьяны, заупрямился.

— Без сеструхи не сяду, — поднял палец. — Вы ее тут не обижайте.

— Только о том и думаем, как ущемить-обидеть, — засмеялась Настя. — А вот и она.

Лучка посадил сестру рядом с собой.

— Ничего, Танюшка. Будет и на нашей улице праздник. Игнат поднял стакан с водкой, посмотрел сквозь него на лампу, вздохнул.

— Две войны на жизнь, очень это много. Хотел бы я, мужики, чтобы эта война была последней и для нас и для наших детей, чтобы ею на веки веков кончилось всякое смертоубийство. Дай вам бог, мужики, вернуться к родным пашням.

— Возвернемся, Игнатий — крикнул Лучка. — Чего я боялся, так это тюрьмы. А война мне со всех сторон знакомая.

— Сиди ты, Аника-воин! — дернула его за рукав Елена. — Плакать надо, а он привскакивает от радости!

— Во, опять... Да не войне я радуюсь, распрекрасная ты моя Елена. Участь Максима меня миновала одно дело. Другое дело, после войны заживу наконец по своей воле-охоте, буду тебя, ягодку

ненаглядную, из своего сада яблоками потчевать. А не вернусь... На миг Лучкины глаза протрезвели, он выпил водку, мотнул головой. Нет, надо мне вернуться во что бы то ни стало!

Корнюха тискал в ладонях граненый стакан, хмурил брови. С войны не все возвращаются. А ему тоже, как и Лучке, надо непременно вернуться. Столько трудов положено, чтобы жить справно, безбедно, и вдруг... Сына надо на ноги поставить, на широкую дорогу вывести.

— Устюха, — он повернулся к жене. — Ты мне, главное, сына в порядке содержи.

— Об этом не печалься. Все будет хорошо.

Устинья была совсем трезвая, твердо сжав губы, обводила гостей задумчивым взглядом. И он подумал, что, может быть, зря не давал ей раньше веселиться, петь-плясать на гулянках. Теперь не до веселья будет.

— Ты не тоскуй, выпей, — ласково сказал он.

И она глянула на него так, будто ослышалась, подняла стакан.

— Давай вместе с тобой...

— Такая просьба. — Лучка, сложив локти на стол, смотрел на Игната. Пчел к себе перевези, приглядывай за ними. Елена ни черта в этом деле не смыслит, позаморила их без меня.

— А Игнат много смыслит? — спросила Настя.

— Он поймет быстро. Большая польза от пчелы, Игнат, когда ее по-умственному содержать. Мед, какой соберешь, по справедливости всей нашей родне дели.

— Что он будет возиться с твоими пчелами. Продать их, и вся недолга! — сказала Елена.

— Я те вот продам! Они мне нужны будут. Сад без пчелы никакой не сад. Так меня умные люди учили... А может, тебя, Игнат, тоже возьмут?

— Наверяд ли. Куда я годен... заезженный мерин.

— Ну-ну, не прибедняйся. Лучка на минуту умолк, потом резко повернулся к Корнюхе, — Разреши мне Стиху Белозерова пригласить. Очень мне охота с ним выпить.

— Приглашай, но...

— Никаких приглашений! — резко сказала Елена. — Пора уж и по домам. Завтра рано вставать.

— Не зуди! А что ты, Корнюха, нокнул?

— Да так...

— Если так, ладно. Пойду за ним.

— Лучше уж я схожу, — вызвалась Татьяна.

— Сбегай, сестрица! Я ему всем сейчас обязанный. И крови он мне испортил немало, задурей лупоглазый, но и доброе дело сделал напоследок. Человек он, Стиха, как я считаю. И ты, Корнюха, не нокай зря.

Татьяна вернулась одна. Сказала, что Белозерова дома нет, уехал в район.

— Раз такое дело, по домам, — решил Лучка.

Корнюха был рад, что гости уходят. Ему вдруг захотелось наедине посидеть с Устиньей, поговорить по-доброму, по-хорошему, как в давние времена. Но когда все ушли и они стали разговаривать, то разговор как-то по-обидному скатывался к домашним мелочам, к каждодневным хозяйственным делам. Корнюха с досады хватил стакан водки, угрюмо сказал:

— Надо спать.

Утром, чуть свет, Устинья разбудила его.

— Пора... Сейчас Лучка подъедет. Я тебя провожу в район.

Худой выдалась осень 1941 года. Будто назло людям в страдную пору зарядили дожди, потом выпал мокрый, тяжелый снег и привалил несжатые хлеба. Через два дня снег растаял, и погода надолго установилась ясная, солнечная, с бодрящим морозцем по утрам, но хлеба стлались по земле, и невозможно было их взять ни конной жаткой, ни комбайном, приходилось, как в старые времена, резать вручную. А людей нет. Мужиков почти не осталось в Тайшихе. Вся работа легла на плечи баб, стариков, подростков. Впервые за все эти годы Рымарев отправил на поля и свою Верку. Сын Васька вместе со всеми школьниками тоже работал на полевом стане. И он жил один в запустевшем доме, сам топил печь, готовил себе еду, по утрам, вскакивая с постели, шел доить корову. Запирался в сарае, чтобы люди не видели, в полутьме, брезгливо морщась, с ожесточением дергал мягкие теплые соски. Тошно было от этой работы и от того, что в доме на столе лежала горой невымытая посуда, что грязным был пол и серыми от пыли занавески на окнах...

Не жизнь — проклятье. И никто не оценит всего, что приходится ему выносить. Наоборот, несознательные колхозники, да что несознательные — сам Стефан Белозеров считает, что ему легкая жизнь досталась. Всем бы такую легкую! До войны, конечно, работать было легко. Это он сейчас хорошо понял. Толковые люди всегда под рукой. Они сами знали, где, что, когда и как делать. А теперь... Из старых бригадиров ни одного не осталось. Недавно пришлось освободить последнего Абросима Кравцова. Заболел не ко времени Абросим Николаевич. На его место назначили Устинью Родионову лучшей замены Кравцову не нашлось. А районное начальство таких вещей в расчет не принимает. Требования к нему все возрастают, все чаще приходится выслушивать малоприятные нотации. Нет Петрова, благоволившего к нему, новый секретарь при каждой встрече шею намыливает. Приедет сюда, все взглядом своим ощупает, все неполадки увидит, и ломаная бровь его ползет к середине лба, лицо становится удивленно-обиженным. Он и знать не хочет, что без людей, без техники председатель бессилен. Теперь Рымарев ему и не пытается возражать.

Когда молчишь, Тарасов быстрее успокаивается, начинает разговаривать нормально. И Белозеров изменился в последние годы. К нему, Рымареву, отношение другое стало. Не поговорит по-человечески, ни совета не спросит, зато, что ни скажи, что ни сделай, все ему не нравится, все не по нем.

Трудно стало работать. Трудно стало жить. Но, как бы то ни было, надо держаться. Надо ждать, надеяться, что придут когда-нибудь другие времена. Довольно, правда, сомнительно, что прежняя жизнь вернется и будет такой, какой была. Эта война не похожа ни на одну другую, никому не известно, чем она кончится. Немцев остановить не могут, все время откатываются. Может случиться и самое худшее. Страшно...

Утром Рымарев вместе с Белозеровым собирался съездить на полевой стан. Но Стефан Иванович пришел к нему домой еще до завтрака и сказал, что едет в район.

— Вызывают?

— Нет. Но есть вроде бы возможность бронь снять. Ты-то как? Говорить за тебя или остаться хочешь?

— Я-то?

— Да, ты-то... — смотрит вприщурку, взгляд острее бритвы. Белозеров в последнее время прямо надоел разговорами о

брони. Видимо, хочет уличить в том, что он, Рымарев, боится идти воевать. Сейчас, возможно, даже и врет о какой-то там возможности, просто надо ему лишний раз унижить своего товарища, а себя выставить таким героем-патриотом. Но не выйдет, не пройдет этот номер.

— Я думаю: мне тоже надо поехать в район, поскольку такое дело, — сказал он.

Белозеров не смутился. Не из тех он людей, которые смущаются. Грубо говоря, это в высшей степени самоуверенный человек. И в высшей степени недоверчивый.

— Я обязательно должен поехать! — добавил Рымарев с твердостью.

— Нет, одному из нас надо быть на полях... — сказал Белозеров.

И Рымарев с радостью отметил, что Стефан Иванович чувствует себя не совсем ловко, дошло, кажется, до него, в какое глупое положение он сам себя ставит.

Настроение у Рымарева поднялось. С этим настроением он выехал на поля. Трава у дороги, полеглые хлеба, стебли засохшей лебеды

поседали от инея, и за речкой, среди редящих тальников багровыми кострами пламенели кусты черемухи, дальше, в зелени лесов, желтыми пятнами выделялись осинники и березники. Рымарев не погонял лошадь. Покойно сидел в мягком рессорном ходке, грыз сладкий стебель зеленки и уже без раздражения думал о Белозерове. Обижаться на него, в сущности, не стоит: такой уж это человек. Пожалуй, и всегда он был таким, но раньше его удавалось без особого труда держать в руках. Долгое время он был ему хорошей опорой. Самому себе можно признаться, что без Белозерова он не смог бы пробыть на своей должности и двух лет, ничего бы не сделал с упрямой, несговорчивой семейщиной. Только потому, что Белозеров никогда не разграничивал обязанностей председателя колхоза и председателя Совета и всегда был готов делать любое дело, отвечать за все и за всех в Тайшихе, ему, Рымареву, удавалось выходить победителем из самых сложных передраг.

Поднявшись на пригорок, Павел Александрович увидел поле с копнами пшеницы (снопы вязать было некогда, хлеб копнили, как сено), за полем чернели амбары, зимовье стана первой бригады, пылила молотилка, среди поля у одной из копен собрались все бабы косари и копнильщики. Рымарев правил мимо, на стан бригады, но бабы замахали руками, приглашая его подъехать. Он свернул с дороги, колеса ходка запрыгали по бороздам, под шинами зашелестела стерня.

Отделившись от баб, навстречу ему пошла тетка Степанида. Она взяла лошадь под уздцы.

— Придется тебя спешить, Павел Александрович. Подвода нужна.

— Что случилось?

Бабы стояли полукругом, спиной к нему. Он соскочил с ходка, шагнул к ним, но тетка Степанида загородила дорогу.

— Туда нельзя.

— Что здесь происходит?! — встревоженно повторил он свой вопрос.

— Да ничего такого... Феня Белозерова рожать вздумала...

Он попятился к ходку, услышал пронзительный, с подвыванием стон. Тетка Степанида велела держать ему лошадь, сама пошла к бабам, и он услышал ее воркующий говорок:

— Рот открой, голубушка, и шибче, шибче кричи...

— Что вы стоите, женщины! — растерянно и сердито крикнул он. — Везите скорее!

Бабы возле роженицы расступились на одно мгновение, и Рымарев увидел на копне хлеба закрытую тужурками Феню, ее запрокинутое лицо с выпученными, бессмысленными болью глазами, отвернулся. К нему подошла Устинья, сказала:

— Иди на стан.

— А как же?.. — задал он глупый вопрос.

— Управимся. Семейским бабам рожать под сулоном не в новинку. Иди, иди.

Оглядываясь, он пошел через поле на стан, и вслед ему неся отчаянный вопль. Он жалел, что Стефан Иванович не слышит этого вопля. Не сумасбродство ли посылать на работу жену на сносях? Кому и что он хотел доказать этим? Каким грубым, душевно бесчувственным надо быть, чтобы допустить такое!

На полевом стане он пробыл до вечера. Здесь узнал, что Феня благополучно разрешилась девочкой, в целостности-сохранности доставлена домой. Его удивляло, что бабы не придавали этому особого значения.

— Просчиталась бабонька, с кем того не бывает? — подвела черту под разговором тетка Степанида.

Стефана Иваныча никто не осуждал, и никто не удивлялся, что так вышло. Но Рымарев почти целый день только об этом и думал. Волновал его теперь не сам по себе этот случай, а то, что он менял его личные планы. Надумал он было Верку свою назначить уборщицей в контору. Работы там в день час, от силы два, времени хватит и корову доить и дом содержать в порядке. Но теперь разве назначишь? Бабы шум подымут, про Феню Белозерову сразу вспомнят. Вот ведь что получается!

За обедом Верка жалостливо поглядывала на него.

— Похудел ты, Паша. Голодаешь, поди, без меня?

— Что он, маленький? — рассмеялся сын.

— И-и, Васенька, еще хуже маленького. Ты, Паша...

— Не зови меня на людях Пашей, — раздраженно буркнул он.

— Да как же звать-то? — удивилась Верка. Не в меру бойкий сын ответил за него:

— Зови товарищ председатель. Это ему, видать, понравилось, спросил: — Я тоже должен звать товарищ председатель?

— Сиди! — строго сказал он, оглянувшись: не слышит ли кто их разговор.

Сын замолчал. Но через минуту заговорил опять.

— А я на веялке бригадиром... И моя бригада первая по классу.

— Молодец, — рассеянно похвалил он.

Доброе утреннее настроение совсем пропало. Окончательно его испортила Устинья. С нею поехали по полям. Он рассказал ей, такие участки надо скосить в первую очередь, какие оставить напоследок. Она молча слушала, соглашаясь, кивала головой, но он не был уверен, все ли она поняла, как надо.

— Вы бы записывали, что ли. Напутаете.

— А чего путать-то? — с пренебрежением отозвалась она. — С этого конца убирай или с того, разницы нет. Так и этак немало хлеба под снег уйдет.

— Кто это вам сказал?

— Вижу и без подсказок.

— Прошу не паниковать! С таким настроением, как у вас, конечно, ничего хорошего не сделать.

— При чем тут мое настроение?

— А при том, что бригадиром тебя поставили не для того, чтобы панику сеяла, а для того, чтобы правильно, умело, авторитетно и ответственно руководила народом.

— Сыплешь слова, как веялка мякину! — дерзко сказала она. — Вместо этого лучше посчитай, сколько мы до снегу убрать сможем, да скажи мне, что сделать... а то... Для чего меня поставили, я и сама хорошо знаю.

— Сомневаюсь.

Прямо с поля он поехал домой. Надо будет, пожалуй, собрать правление и назначить кого-то другого бригадиром. Ничего не выйдет из Устиньи. Уж если с первых дней она осмеливается дерзить, то нетрудно представить, какой будет через полгода-год.

Смеркалось, когда подъехал к деревне. Зашел домой, запер на ночь скотину, кур, выпил кружку молока и пошел в правление. В его кабинете, не зажигая света, сидел Белозеров. В темной синеве окна вырисовывалась его щуплая, узкоплечая фигура.

— Ты что это в темноте?

— Да так... Сижу, думаю. Дочурка новорожденная скончалась.

— Вот как! А жена?

— Она-то ничего. Плачет, конечно. От слез ушел сюда. Рымарев снял со стены лампу, зажег ее, протер бумажкой стекло.

— По-моему, это варварство. Ничем не оправданное.

— Что?

Под взглядом немигающих глаз Белозерова он смешался.

— Оставь... — тихо сказал Стефан Иванович.

Павел Александрович взял со стола лампу, хотел повесить ее на стену, но Белозеров отвел его руку и стал сосредоточенно соскабливать ногтем с медного бока лампы черное пятнышко.

— Кого за себя оставишь? — вдруг спросил он.

— В каком смысле за себя? — В груди сильно толкнулось сердце и застучало часто-часто.

— Нас берут в армию... — невыразительным голосом проговорил Белозеров, продолжая соскабливать пятнышко.

Только на одну секунду у Рымарева мелькнуло сомнение, он почти сразу понял, что Белозеров говорит правду. Потер рукой грудь, там, где колотилось сердце.

— Добился?

До слез стало обидно Павлу Александровичу: бронь была для него не только освобождением от службы, но прежде всего признанием заслуг, неоспоримым свидетельством того, что он здесь самый нужный человек и что его мирный труд в некотором роде даже важнее воинской доблести. Но все это оказалось ничем. Его даже и не спросили. Там, где решалась его судьба, оказалось достаточно слов этого неуравновешенного, неумного, недалекого человека! А он-то старался, себя не жалел. Заслужил благодарность!

— Ты понимаешь, на что мы обрекаем колхоз? — с болью и яростью спросил он.

— Понимаю, — вяло отозвался Белозеров. — Тяжело будет. Сидел сейчас, думал... он откатнулся от лампы, уперся руками в кромку стола, взгляд его стал острым, решительным. Так кого оставим за себя?

Рымарев подобрался. Может быть, не все так безнадежно? Может быть, есть какой-то ход, способный разрушить комбинацию Белозерова,

плод его сумасбродства? Спокойнее. От ума, выдержки сейчас зависит многое. Надо быстро и хорошо обдумать.

— Мне кажется, в председатели можно выдвинуть Игната Назарыча, сказал Белозеров. Правда, тих очень, рассудителен, не дурак.

— Ни в коем случае! — возразил Рымарев.

Кажется, сам Белозеров подсказывал ему заветный ход. Надо его убедить, что оставить здесь во главе колхоза некого.

— Почему ты против Игната Назарыча?

— По трем причинам. Первое, ты забыл, где его брат находится. Второе. Не силен в грамоте вообще и в политической особенно. Третье. Деловые его качества не внушают никакого доверия. Райком партии никогда его не утвердит.

— Да, это правильно, не утвердит, — согласился Белозеров. — Кого же?

— Есть единственно правильный выход, — взвешивая каждое слово, начал решительную атаку Рымарев. — Оставить одного из нас. Это будет по-настоящему партийный подход к делу. Двоим нам здесь, в тылу, за тысячи километров от фронта, разумеется, сидеть нет необходимости. И ты правильно сделал, что добился ликвидации брони. Но неправильно, не по-партийному оставлять колхоз без головы. Тут уж не пользу принесем, а вред государству. Короче говоря, я предлагаю тебе остаться. Я берусь восстановить бронь для тебя, а сам со спокойным сердцем поеду на фронт.

Как и рассчитывал Рымарев, Белозеров не принял его великодушного предложения.

— Это брось! — Ладонью Стефан Иванович как бы отодвинул все, что сказал Рымарев. — Я не останусь.

Павел Александрович ждал от Белозерова ответного великодушия. Но напрасно. Белозеров долго молчал, потом стукнул кулаком по столу.

— Нашел!

— Кого?

— А Еремей Саввич... Партийный, грамотный. И работать будет, если не лучше, то уж не хуже тебя, Павел Александрович. Мужик, прямо скажем, не из первого десятка, но если его райком будет держать взнужданным, до нашего возвращения проработает как миленький. Я сейчас же и позвоню Тарасову.

Он долго дозванивался до райкома, лихорадочно накручивая ручку телефона. И дозвонился-таки, переговорил с секретарем. Повесив трубку, улыбнулся дружески.

— Ну вот, теперь все согласовано. Ты не против?

— О чем спрашиваешь! — воскликнул Рымарев. — Все на себя взял!

— Не все, но столько, сколько мои плечи удерживают. Рымарев промолчал. Говорить что-либо теперь бесполезно. И все теперь бесполезно. Никто уж ничего не в силах изменить. Так ничего и не сказав, не попрощавшись, он ушел домой.

Черная тарелка репродуктора шипела и потрескивала. Густой голос диктора звучал прерывисто и невнятно. Игнат прижался ухом к тарелке, стараясь не пропустить ни одного слова.

За окном занималось осеннее утро, дул ветер, падали редкие снежинки. Настя возилась у печки с чугунами и кастрюлями.

Прослушав сводку новостей, Игнат выключил радио.

— Опять худо? — спросила Настя.

Игнат вздохнул, молча махнул рукой, сел к столу. Здесь лежала школьная карта. Ее Игнат выпросил у учительницы и каждое утро, прослушав радио, красным карандашом наносил линию фронта. Линии почти вплотную подступили к Москве, весь запад страны был исполосован ими. Временами Игнату казалось, что это не просто линии, а кровоточащие рубцы, и не ветры гудят за окном, а содрогаются и стонет земля; стон этот входит в душу ноющей болью. Что будет? Неужели чужие полчища так и будут двигаться, сея страдания, калеча, убивая людей?

— Бабы болтают: снова знамение было, — сказала Настя. — Огненные буквы горели на небе, предвещая погибель.

Игнат сердито засопел.

— Дуры они, твои бабы!

Слухи о знамениях возникали нередко. В них было что-то от старого, казалось бы, навсегда изжитого семейщиной. И это раздражало Игната.

Торопливо позавтракав, пошли на работу Настя в МТС, Игнат в столярку колхозной бригады. По дороге он встретил Татьяну. Та пожаловалась: сын стал плохо учиться. У Ферапонта днями околачивается, про всякие божественные дела и молитвы с ним разговаривает.

Игнат нахмурился. Ферапонт, кажись, снова взялся за свое. Чему он может научить? В свое время Игнат искал у него ответа на многие вопросы. Сладкоречивый уставщик лишь с толку сбивал. У него, как он теперь понимает, всегда была одна забота сохранить власть над душами людей. В последние годы примолк вроде бы. Сейчас сызнова вокруг

себя людей собирает, задуривает головы всякими побасками о гневном господнем.

На бригадном дворе Игнат опять услышал о том самом знаменнии, о котором говорила Настя. Бабы шептались, испуганно округляя глаза. Игнат качал головой. Он уже не сердился на баб, жалел их острой и горькой жалостью. Почти у каждой кто-то из родных воюет, тревога гложет сердце, а тут эти самые знаменния. Поверь им и садись, жди всеобщей погибели.

Вечером Игнат пошел к Ферапонту. В доме старика, на божнице горели свечи, перед ними на коленях молились старушки. Сам Ферапонт, седой, гладко причесанный, в старинной, до колен рубахе, держал в одной руке лестовку, в другой пухлую книгу, читал, торжественно растягивая слова.

Игнат снял шапку, присел на лавку, стал ждать. Ферапонт косо поглядывал на него, хмуро двигал седеющими косматыми бровями.

Завершив молитву, выпроводил старушек, задул свечи, зажег керосиновую лампу и только после этого спросил:

— Что скажешь, Игнатий?

— Наш Митька у тебя бывает?

— Бывает. Смьшлен и разумен отрок.

— Он-то, может, и разумен, Игнат вздохнул. А вот тебя, кажись, бог лишил разума. От учебы пария отвлекаешь зачем тебе это?

— Приневоливать человека к познанию богопротивной грамоты великий грех, Игнатий Назарыч. Глаза Ферапонта сурово блеснули.

— Давай не будем разбирать, что грех, а что не грех.

— Вижу, ты окончательно обасурманился. Одумайся, Игнатий, пока не поздно. Сейчас не время думать о житейской суете. Великое наказание ниспослал господь на погрязший в грехах род человеческий. Конец света приближается, и горе будет тому, кто не помыслит о спасении души!

— Война божье наказание? — спросил Игнат. Он чувствовал, что в сердце закипает злость, но сдерживал себя, старался говорить спокойно.

— Бог наказал вероотступников и антихристов в образе человеческом.

— А ты знаешь, что такое война? В ее губительном огне гибнут и престарелые, и невинные младенцы, рушится все, что создавали, чем

дорожили люди. Если бы и вправду войны начинались по велению бога, то это веление безумца. Но все не так. Не твой бог, а злая воля людей несет нам смерть и страдания.

Ферапонт поднялся.

— Не хочу слушать нечестивые твои речи! Уходи!

Игнат усмехнулся, стиснул в кулаке бороду.

— Я уйду. Но выслушать тебе мои слова все-таки придется. Твое время кончилось давным-давно, старик. И брось мутить воду! Не выдумывай разные знамения. Народу и без твоих вредных слов тяжело. Не одумаешься, пеняй на себя.

— Ты меня не пугай! Сам бойся. Не чуешь, как горит земля? В этом пламени все вы станете пеплом.

Голос Ферапонта срывался на крик. А Игнат, как ни странно, успокаивался.

— Не сгорим, — сказал он. — Всю кровь из себя выцедим, но пожар угасим. Одного понять не можешь, что если уж мы своих господ, больших и маленьких, с шеи спихнули, то чужеземцам и подавно не властвовать над нами. Игнат поднялся, натянул шапку, достал из кармана рукавицы. — Запомни, что я тебе сказал. И Митьку здесь не привечай.

Старик что-то говорил ему вслед, но Игнат его уже не слушал, вышел, аккуратно притворив за собой дверь, жадно вдохнул холодный воздух. Ветер перестал, в разрывах туч поблескивали звезды. Улицы села были пустынные, в окнах домов мерцали тусклые огоньки... В каждом доме надежда, страх, ожидание. А где-то там, на другом конце страны, жмутся грудью к мерзлой земле мужики и парни из этих домов и, может быть, кто-то из них в эту самую минуту расстаётся с жизнью, умирает, чтобы пламя войны не слизало с лица земли и Тайшиху и тысячи других селений...

Митька прибежал из школы, с порога кинул сумку с книгами па лавку, на ходу сбросил шубейку, сшитую из отцовского полушубка, открыл заслонку печки. В загнетке стоял чугунок со щами, вкусно пахнущими упревшей капустой и мясом. Он вытянул чугунок из печки, но на стол не понес. Матери нет, можно пообедать и на шестке. Хорошо тут обедать. Из печки тянет теплом, и щи взад-вперед носить не надо. Плохо, когда у тебя нет сестры. Вся девчоночья работа за тобой. Сегодня, например, мать наказала пол вымыть. Кроме того, само собой, стайку вычистить, дров нарубить, вечером задать корм корове, накормить свинью.

Пообедав, Митька сел на шесток спиной к печке, болтал ногами, размышлял, за какую работу приняться в первую голову. Пожалуй, дровишек приготовить... Худенькие дровишки, палки тальниковые. В лес матери съездить не удастся, да и тяжело ей в лесу, маленькая она, мать-то, силы никакой. Вот у Васьки Рымаренка мать так мать, силы у нее, как у доброго коня. Везла раз тетка Вера на санях воз сена. На раскате сани юзнули, воз опрокинулся. Тетка Вера уперлась спиной в воз, поднатужилась и поставила сани на место. Мать бы не смогла, куда ей! Но зато мать красивая, совсем не старая и хорошая: бывает, и накричит и шлепнет даже, а потом сама же чуть не плачет, совестно ей вроде как становится... Так что все-таки делать дрова рубить или полы мыть? И то и другое делать не хочется. И зачем только отец такой большой домище строил? Видимо, бестолковый был человек. Маленький дом пол маленький, раз-раз и вымыл. А отопление... Дрова рубишь-рубишь, таскаешь-таскаешь, ажно спина отнимается, а все равно в нем холодина не приведи бог! Одно хорошо все тараканы поиздохли. Как пришла зима, так все до единого лапки кверху... Но с чего же начать дрова рубить, пол мыть или стайку чистить?

С улицы в промерзшее окно кто-то постучал. Митька мигом взобрался на подоконник, приложился одним глазом к полоске чистого от изморози стекла. У завалинки стояли ребяташки, целая толпа. Были тут Митькины братаны Антошка и Назарка и Васька Рымаренок... Со всей улицы собралась.

— Я сейчас, ребята...

Одеваясь, он успокаивал себя: ничего, я немного поиграю, вернусь и все сделаю. Вихрем вылетел за ворота, толкнул в сугроб Назарку, прыгнул на спину Рымаренку.

— Ур-ра!

Васька без труда сбросил его в снег.

— Что скачешь, как козел?

Он был тут самый старший и с мелюзгой на равных играть не любил.

— Бери лыжи, — сказал он.

Вышли за село. Чистый снег нестерпимо блестел на солнце. Ядреный мороз подгонял ребят, и они наперегонки скользили по сугробам. Впереди долговязый Васька Рымаренок. Вот он остановился, воткнул палки в снег.

— Ребята, я игру придумал. В войну будем играть. Сугробы за кустами сверху затвердели, становись ногами не провалишься, а под твердой коркой снег был сыпуч, как кормовая соль. Митька сообразил, что если выгрести сухой снег, в сугробе можно прятаться. Вот здорово-то будет! Он решил про свое открытие никому пока не говорить.

— Играть будем в наших и немцев. Я буду красным командиром, а ты, Богомаз, немецким офицером... — начал распределять роли Васька.

Но Антошка с ним не согласился, запротестовал:

— С чего ты красный, а я немец? Сам и становись офицером.

— А кто игру придумал?

— Ну ты... Но играть-то все будем...

— Все равно я должен быть командиром! — загорячился Васька. — Моего батю тут оставляли, а он не остался. Значит, доброволец. У кого батя доброволец? А?

Рымаренок заносчиво оглядел своих товарищей.

— Ну, давай... — согласился Антошка.

— Значит, так... Ты, — Васька положил руку на плечо Назарке, — пойдешь в немцы.

— Не пойду я в немцы! — заупрямился Назарка. — Мой батя тоже военный.

— У всех военные.

— А вот и нет, а вот и нет! У нашего Петьки совсем нет батьки. Пусть он становится немцем. И Митька пусть становится, его батька в

тюрьме.

— Правильно! — одобрил Васька. — Петька, Митька, отходите в сторону.

— Вот тебе! — Митька поднес к носу Рымаренка кулак.

— Не сучи руками! Тебе в красные дороги нет.

От такого унижения Митькино сердце сжалось в комочек, он что-то хотел сказать, но не смог выговорить, пошел прочь, зажав лыжи под мышкой.

— погоди! — Его догнал Антошка. — Не будем играть в эту игру. Ну их к черту, немцев!

Митька побежал, увязая в сугробах, черпая голенищами ичигов снег. На мосту остановился. Внизу голубел обдутый ветром лед, под берегом парила наледь, и пар этот застилал огрузневшие от инея ветки тальника, прясла поскотины, распахнутые нолевые горота на въезде в Тайшиху. Митька понял, что плачет. Слезы падали на воротник шубейки, застывали светлыми корольками. А за спиной звенели ребячьи голоса. Не оглядываясь, не надевая лыж, он побрел домой. И обида все росла в нем, заполняла грудь...

Дома нарубил дров, принес беремце в избу и больше ничего не стал делать. Пусть мать сама стайку чистит, полы моет. Очень уж хорошая... Про батьку и то и се говорит, всегда его нахваливает. А он, хваленый, в тюрьме сидит. Он против наших шел, и его заперли. Был бы за наших, на войну бы взяли, и слюнявый братан Назарка не стал бы в глаза тыкать. Сходить бы к деду Ферапонту нельзя. Дяде Игнату слово дал, что не будет больше ходить к старику. И чего они на деда взъелись, дядя и мать? Он такой добрый и славный. Всегда чем-нибудь угостит, что-нибудь интересное расскажет о старой жизни. Не хочешь в школу идти сиди у него целый день. Плюнь ты, скажет, на греховную учебу, на сатану учительницу. Учительница, конечно, никакая не сатана, она хорошая, если все домашние задания делаешь и слушаешь ее на уроках. Только, ничего интересного в этих домашних заданиях и уроках нет скука смертная. Ферапонт говорит: брось ты себя мучить этой школой, я тебя, говорит, истинной грамоте научу. Вот и в самом деле брошу. Назло всем брошу.

С работы мать обычно возвращалась в потемках, промерзшая до костей. К ее приходу он растапливал железную печурку, разогревал щи, кипятил чай. А тут и этого не сделал. Залез на полати, натянул на себя

овчинное одеяло, так и лежал. Мать пришла не одна, с теткой Устиньей. Сразу встревожилась.

— Господи, что же это такое? Где носится сорванец? Уж не случилось ли чего? Пойду я, Устинька, поищу его. А ты посиди, отогрейся.

— Не отогреешься у тебя.

— Так вот видишь... Нет, что-то с ним неладно. Смотри, и пол не помыл. Он у меня не такой... Он все делает. Побегу, Устинька. А ты у своих ребят порасспроси. Если что, скорей сюда.

Они ушли. Мать, пока разговаривала, растопила печурку. Дрова разгорелись, железная труба, разогреваясь, пощелкивала, потрескивала, на ней проступали малиновые пятна; горячий воздух поднимался к потолку, на полатах стало жарко, и Митька сбросил одеяло. Прошло не меньше часа. Мать не возвращалась. Митька ее нисколько не жалел. Пусть поищет. Он ей еще не то сделает. Он вот возьмет и убежит из дому совсем, навсегда.

Наконец мерзло скрипнули ворота. Митька хотел слезть, но не успел и снова юркнул под одеяло. Мать, должно быть, услышала возню на полатах, зажгла лампу, встала на стул.

— Митя! Да что с тобой, сыночек?! Напугал ты меня до смерти! Захворал?

— Н-нет. Подумал, что не лучше ли соврать, ведь реву сейчас будет сто пудов, но врать не хотелось, повторил сумрачно: — Не захворал.

— Ну-ка, слезай.

— Не хочу.

— Почему?

— А так, не хочу, и все.

— Я не буду ругаться. Слазь. От батьки письмо получила...

— Читай его, если получила!

— Митька! Ты что говоришь?! Ну-ка, слазь, слазь! — Она поймала его за руку, потянула к себе.

Митька не стал упираться, слез с полатей, исподлобья посмотрел на мать. Она села на лавку, развязала подвязки на ичигах, с упреком сказала:

— Эка что сморозил сейчас ты, Митюшка. Весточка от родного отца не нужна стала. Кто научил такую чушь говорить?

— Никто.

— А что же ты, Митюшка?

Он видел, что мать терялась все больше.

— Что, что... Заладила! Не нужен мне такой батька!

— Митька! сдавленно вскрикнула она, вскочила, больно дернула его за волосы и шлепнула ладонью по спине. На тебе! Зубы повыбиваю за такие слова! На!

Он не делал никаких попыток вырваться, терпеливо сносил присадистые шлепки по спине, молчал. Мать оттолкнула его.

— Злодей ты этакий!

— Пусть злодей. А такого батьку не надо мне. Только и знаешь драться! Не могла другого выбрать.

— Ах ты, волчонок! На же! На!

Она трепала его за волосы и била ладонью по спине, по голой шее, по плечам. Он закусил губу, чтобы не заорать от боли, зажмурил глаза. Оттрепав его, она заплакала, запричитала:

— Поглядел бы ты, Максим, на сыночка своего...

Вся спина у Митьки горела, кожа на голове ныла. Ему тоже хотелось плакать от боли, от обиды, и жалко почему-то стало мать.

— Меня бьешь, а сама реवेशь... — сказал он.

— Как тут не заплачешь, когда и без того горя девать некуда. Распушенные подвязки змейками растянулись по полу, черные голенища ичигов, оттаяв, покрылись сизоватым налетом инея, у одного ичига из-под запятника, в разлезшийся шов, выглядывала сенная стелька, на ней белели кусочки намерзшего льда.

— Разулась бы, — неожиданно сказал Митька.

Мать села на лавку, всхлипнула еще раз, стащила ичиги, поставила босые ноги на пятно света, падавшее на пол из открытой дверцы печурки, пошевелила пальцами.

— За что ты так на батьку?.. Он любил, жалел тебя как. Ветру дунуть на тебя не давал... — она снова чуть не расплакалась, долго молчала, глядя пустыми глазами на свои маленькие ноги, потом спросила: — Чем он тебе не угодил? Чем прогневил?

— Ничем. Митьке вовсе не хотелось говорить об отце, но он боялся, что мать снова закричит на него или заплачет, и выдавил: — У всех батьки в армии...

— Дурошлеп ты дурошлепина! — Мать вздохнула. — Пусть другие-то столько повоюют, сколько он воевал. В партизанстве он с браткой моим Лучкой самым геройским пулеметчиком был. На тачанке ездили.

— Ты с ними воевала?

— Нет. В ту войну я еще маленькая была.

— Не видела, а говоришь...

— И говорю. Потому что знаю, какой твой батька. Его тут бандит один, Стигнейка Сохатый, припугнуть хотел. Но сам испугался. Без оглядки удрал. А еще с кулаками воевал батька. Те ему ногу поранили, и он на всю жизнь хромым остался. Знаешь у сельсовета переулок? Вот там его и поранили. Я когда-нибудь покажу место, где он лежал.

— Кулаки были, как немцы сейчас, против наших?

— Ну да. Нет, они тоже наши деревенские, только против шли. Власть им была не по ноздре.

— А батька за кулаков шел?

— Выдумаешь! Никогда он за них не был.

Дядя Игнат тоже говорил, что батька зла никому не делал, что на него набрехали. Как это можно по брехне в тюрьму посадить? Обманывают его. Зубы заговаривают. Мать все выдумывает про Сохатого и про другое. Думают, что если он маленький, так ничего не понимает... Он все понимает. Вот возьмет и убежит на войну. Пусть тогда кто-нибудь посмеет сказать, что ему к красным дороги нет.

Устинья спешила на бригадный двор делать разнарядку. Солнце еще не взошло. В остекленевшем от мороза воздухе неподвижно висели редкие снежные блестки; в стылое небо из труб тянулись веревки дыма; на речке кто-то пешней скалывал лед, и звук от удара получался отрывистый, ломкий; прокаленный снег скрипел под ногами, как ржавое железо под напильником. По улице впереди Устиньи брел Лифер Овчинников. Она догнала его, поздоровалась, пошла рядом. Борода Лифера была седой от инея, старые валенки в снегу; он шагал, весь подавшись вперед, будто нес на горбу большую тяжесть, руки в огромных рукавицах висели ниже колен и как-то странно, будто перебитые, болтались.

— Откуда в такую рань?

— Стариков оповещал. По закону отпевать бы надо.

— Кого... отпевать? — Морозец продрал Устинью по спине.

— А Никитушку... Вечером бумагу получили... — Он говорил с тихой скорбью в голосе. — Да ты зайди...

В доме на кровати, с мокрым полотенцем на голове, лежала тетка Лукерья. Глаза ее были запухшие, красные.

— Лежишь, старая?

— Голова болит, Лиферушка, моченьки нету.

— Ну лежи, лежи... А ты, Устюшка, садись. Лифер Иваныч остановился посередь избы все такой же сутулый, с безвольно опущенными руками; постоял так, встрепенулся, снял со стены большую застекленную рамку с фотографиями, рукавом стер пыль со стекла. Вот он, наш Никитушка.

В черкеске с газырями, с саблей на боку, в лихо сбитой набок шапке-кубанке Никита гарцевал на чудо-жеребце. И черкеска, и сабля, и кубанка, и чудо-жеребец все было нарисовано. Года три назад Устинья ездила с Корнюхой в город и видела возле базара такого всадника на фанерном листе, только вместо лица дырка. Кому надо сняться, высовывался в эту дырку шелк готово, вези карточку домой. Она тогда смея ради очень хотела сняться так же вот, как снялся Никита, но Корнюха не разрешил: не любил он таких шуток.

— Какую вербочку срубили, а... Я, старый пень, топчу землю, для чего так, господи?

Две слезы медленно сползли по щекам Лифера Ивановича, повисли на усах, он слизнул их кончиком языка, глянул на Устинью, зашептал:

— А может, весть не доподлинная? А?

И с такой надеждой, с таким ожиданием смотрел он на Устинью, точно от нее зависела судьба сына. Не выдержав его взгляда, она подошла к стене, повесила рамку с фотографиями на прежнее место. Ясно, будто это было вчера, ей представился праздник урожая, веселые переборы гармошки, пальцы Никиты на новеньких блестящих пуговицах ладов широкие короткие пальцы с вьевшимся в кожу мазутом, и тоскливая жалость к этому парню мягко, неслышно вошла в душу.

— Ты бы, Лифер, Устюху чайком попоил... — охая, сказала тетка Лукерья.

— Не хочу я. Лифер Иванович, тебе лошадь понадобится наверно, или еще что, так скажи.

На бригадном дворе никого не было. Конюх, дед Аким, только что пригнал лошадей с водопоя, закрывал ворота. Он не посторонился, не пропустил Устинью, захлопнул ворота перед её носом и пошел, что-то бурча и отплеываясь: старик никак не хотел признавать ее за начальство и всячески старался показать ей это. Раньше она лишь посмеивалась над его выходками, но сейчас чуть не заплакала. Старый ты, сивый дурак, нашел время выкобениваться...

В хомутовской все стены были увешаны сбруей: остро пахло дубленой кожей и конским потом. За стеной в столярке постукивал топором Игнат. Устинья села на скамейку у окна. Из ума не шел Никита. Всколыхнулась и тревога за Корнюху. Перед войной жизнь у них мало ладилась, и все равно, как подумаешь, что с ним это может случиться, не по себе делается.

Из писем она знала, что пока он не на фронте. Пока... Но как знать, что будет завтра?

В дверь боком протиснулся дед Аким, повесил на кол уздечку, ворчливо спросил:

— Когда дворы-то почистишь, бригадерша?

— Почистим... — рассеянно отозвалась она.

— Одни твои посулы. Никакого порядку у нас нет. Как ты пришла, так все пошло криво-косо.

— Будет тебе зудеть...

— Пропадем с таким начальством. Баба на должности — срамота! — Старик сдирал с бороды и усов льдинки, с остервенением бросал их на пол. — Где твои работнички? Скоро никто не придет, когда такое дело...

Устинья равнодушно выслушивала его попреки. Старик не понимает, что виной всех неурядиц не она, а война. По доброй воле приходят работать не больше пяти-шести баб, остальные хлеб добывают. Чуть не половина урожая осталась под снегом. Намолоченное зерно ушло на поставки государству, засыпано на семена; трудодни были, можно сказать, не оплачены. И люди теперь вместо того, чтобы работать буксырили (*Буксырить — невесть откуда взялось это слово и утвердилось на все годы войны; оно означало брать с поля то, что осталось после уборки: собирать колосья, высевать зерно из земли и снега на токах*).

Утром одни по одному тянулись на поля по тропкам, пробитым в сугробах, разгребали снег, срезали колосья, тут же, кто как мог, обмолачивали. Еремей Саввич вечерами перехватывал буксырщников. Спрячется где-нибудь в логотипе на верховой лошади, выждет, когда поравняется с ним цепочка баб и ребятишек, с гиканьем, свистом ну чистый соловей-разбойник! — налетит на них, сорвет с одной, много с двух, баб котомки, остальные зерно в снег и кто куда, как сухой горох по столу. Уедет председатель, бабы возвращаются, сгребают зерно, пригоршню-другую отделяют пострадавшим от налета... А на другой день то же самое.

Еремей Саввич записывал фамилии буксырщиков, грозил самыми жесткими карами, заставлял ездить на перехваты и бригадиров, и актив, но все это не помогало. Людям надо было чем-то питаться... Сама Устинья пока не горевала. Запасливый Корнюха оставил хлеба на год хватит. А другие? Ей стыдно было отбирать набуксыренное зерно, с другой стороны, если смириться с этим, колхозу не поздоровится. Как ни делай плохо.

Первой на бригадный двор пришла Татьяна. Запыхалась.

Должно, бежала. Она редко ходит спокойным шагом, все торопится, всегда ей времени не хватает, да и то сказать одна. Вот ей бы

надо буксырить, но боится, из-за Максима чувствует себя в колхозе падчерицей, знает, что кого-кого, а ее Еремей Саввич не пожалеет, нужно будет и под суд отдаст.

— Отруби на свиноферму повезу, — сказала Татьяна и стала разбирать сбрую.

Она была в толстой шали, казалась уродливо-головастой и еще меньше ростом, чем была на самом деле.

Пришла Феня Белозерова, за ней Прасковья Носкова. Эти тоже изо дня в день работают.

Заговорили о Никите. Глуховатый дед Аким склонил голову, выставил ухо с пучком седых волос в раковине. Он почему-то не поверил бабам.

— Брешете, вертихвостки! — Подтянул опояску и дробной старческой рысью засеменял по улице к Лиферу Ивановичу.

Распределив работу, Устинья долго сидела одна в хомутовской. Надо было идти в контору, но она медлила, тянула время. Разговор с Еремеем Саввичем будет тяжелый.

За стеной стучал и стучал Игнат. Звук доносился глухо, как из-под земли. Пригрело солнце и в окно хомутовской заглянуло; под полом зашебаршили мыши. Она вышла на улицу, толкнула дверь в столярку. В ней было тесно от досок, чурок, березовых болванок; жарко топилась печь, из трещины в трубе выбивался черный, как деготь, смолевый дымок. Игнат в распахнутой тужурке сидел на верстаке, выдалбливал дыры в нахлестке для саней. Она открыла дверцу печки, лицо охватило жаром, бросила на грудку алых углей куделю стружек, присела на чурбак.

— Слышал про Никиту?

— Слышал.

— Такой молодой... Кто бы мог подумать!

— Война... — Игнат с ожесточением ударил киянкой по долоту, — слепая, как огонь в лесу, валит под корень и кедр, и молодую сосну.

Замолчали. Игнат перевернул нахлестку, вытряхнул из дыры мелкую крошку древесины, карандашом наметил место второго отверстия.

— Я кину бригадирство, Игнат. Не выходит у меня. Не могу больше. Если уж по правде говорить, то я, будь на месте наших баб, тоже буксырить бегала бы. Голодуха на пороге.

— Потому-то и нельзя тебе бросать работу... Ты, я знаю, все по справедливости будешь делать. А справедливость сейчас не меньше хлеба нужна.

— Да не могу я делать по справедливости! Кто добровольно впрягся, на тех еду. Вот и все.

— Я тут кумекал... По-доброму-то, Устюха, надо бы хлеб, какой снегом задавлен, разделить людям добывайте, кормитесь. И уж говорил про это Еремею Саввичу. Но он и слышать не хочет. Незаконное, мол, дело. Весной, мол, соберем хлеб в закрома. А я думаю, к весне мало что останется.

— Что останется, птицы поклюют.

— Ну, конечно... Замыслил я другое. Свой порядок надо установить. Чтобы и работа на месте не стояла, и все с хлебом были.

— Ну как, как это сделаешь? — с нетерпением спросила она.

— А так. Проработал в неделе пять дней в бригаде, остальные два дня — буксырь. Не отработал пеняй на себя.

— Но Еремей Саввич...

— Тут уж обойти его надо. В случае чего, вся вина на тебя ляжет, Устюха. Но ты сдюжишь. Вот почему и говорю тебе: оставайся.

Не сказав ему ничего определенного, она ушла, но когда уходила, знала, что останется. Вечером побывала во всех домах, переговорила с бабами. Она не стала убеждать людей, что надо работать и на колхоз, предупредила:

— Кто без дозволения пойдет буксырить, с чем пошел, с тем и вернется. Слово даю.

Наверное, ее предупреждение всерьез не приняли. Уж если угроз Еремею Саввича не побоялись, что ее предупреждение! Никто из заядлых буксырщиков на работу не вышел. Хуже того, не пришла и Прасковья Носкова.

Устинья поехала на поля. Буксырщики бабы, ни одного мужика уже намолотили зерна, увязали мешки. Снег кругом был измят, истоптан, там и сям торчала неровно обрезанная, включенная стерня: колосья срезали кто чем мог обломком косы, серпом, ножом; горел огонь, вокруг него валялись обугленная картофельная кожура и клочья газет.

— Бог в помощь, бабоньки! — громко сказала Устинья.

Прасковья Носкова пересыпала чисто отвеянное зерно с ряднины в мешок, она слегка смутилась, но вздернула голову, с вызовом ответила:

— Ты что, тоже буксырить?

— Ну да. Только я для колхоза.

— Одна?

— Почему одна? Вы мне поможете сани загрузить, — посмеивалась Устинья.

Не только Прасковья, другие бабы тоже чувствовали себя при Устинье не совсем хорошо, не знали, что она будет делать, и спешили сняться с места. Первой навьючила на себя мешок Верка Рымариха. Устинья дружелюбно улыбнулась, подошла к ней.

— Что будешь плечи натруждать, клади на сани.

— Не изболела горбушка, слава богу.

— Давай клади, не стесняйся! — Устинья мягко, но настойчиво потянула котомку за лямки, по-прежнему улыбаясь, и Верка подчинилась ее настойчивости.

Устинья проволокла мешок по снегу, положила на сани. Мухортый конь прядал ушами, мусолил железки удил.

— А теперь и ты, Катерина, давай сюда. И ты, Анна... — Весело и быстро Устинья собрала, сложила мешки на сани, села на них, черешком бича сбила с черных унтов снег.

— А теперь, бабоньки, шагайте налегке. Мешки я сама опростаю и завтра отдам. Зерно пойдет колхозу. Вот так-то.

— И мое зерно? — подбоченилась Прасковья.

— Тебе я отдам. Ты свое заработала.

— Это дело! — одобрила Прасковья. — А я уж думала, ты меня со всеми поверстала.

Верка Рымариха тут только поняла, что Устинья ее обманула, ее, жену самого главного человека в Тайшихе.

— Ты что вытворяешь?! Слазь с моего мешка, бесстыжая! — сердито крикнула она.

Другие бабы придвинулись ближе к саням, заговорили:

— Детей оголодить хочешь! Воюйте, мужики, а тут...

— Для чего выхваляешься?

Бабы пока что говорили без особой злобы, но дай им волю, распаятся и ничем уж их не остановишь. Во гневе бабы куда хуже,

безрассуднее мужиков. Устинья резко встала, шагнула от саней, холодно, остро, как стекло на изломе, блеснули ее зеленые глаза.

— Берите! Хватай, Верка, свою котомку, волокнн домой! Ну? Кормите своих ребят. Ешьте сами. Тащите, пока есть...

— А что, и потащим... — сказала Верка, но котомку брать с воза не спешила.

— Тащи, тащи! Но что потащишь потом? На что вы надеетесь, бабы? Куда идете? Разорите колхоз, потом что? А мужики вам спасибо скажут? Война же, бабоньки родимые! Кто будет кормить армию, если не мы? Сами мы тут худо-бедно проживем. А что там будет, если наши мужики голодными останутся? Вот ты, Верка... Разве ты не хочешь, чтобы твой Рымарев домой вернулся?

— Не говори ерунды-то!

— Это не ерунда. Это чистая правда. Война идет такая, что если покачнемся мы, не устоять и нашим мужикам. Тогда всем гибель. Тогда никто никого не дождетсн. Я вам всем вчера что говорила? Если хотите, чтобы и наши дети накормлены были, и наша общая работа не стояла, не перечьте мне, бабы. Буксырить без всякого порядка, вот те крест! — никому не дам.

Она подошла к лошади, поправила хомут, взялась за вожжи.

Снег на сопках и полях был чист, сиял ослепительной белизной, солнце, замкнутое в радужный круг, низко висело над тихой пустынной землей. Она тронула лошадь. Полозья саней глубоко запахались в снег: воз получился тяжелый. А чтобы выехать на дорогу, надо было подняться на крутой взлобок. Мухортый напряженно вытягивал шею, выворачивал копытами сухие комья земли из-под снега, тяжело дышал. Наконец он остановился. Устинья дала ему передохнуть, понукунула, но конь не взял воз с места. Подошли бабы. Кто-то сказал:

— Бог правду видит.

Устинья взялась за оглоблю, отгребла из-под ног снег, утвердилась на земле.

— Ну, милый, взяли!

К ней подскочила Прасковья. Вдвоем они помогли коню стронуть сани с места и провезти метра три-четыре. Прасковья оглянулась.

— Вера, ты что стоишь? Тяжелей твоего мешка тут нет, припрягайся.

— Отобрали, теперь помогай... — проворчала Рымариха, но за оглоблю взялась.

Прасковья уперлась руками в задок саней, скомандовала:

— Ну, птица-тройка, две бабы, один мерин, пошел!

Воз медленно пополз в гору, еще несколько баб налегли на задок саней. Без остановок вытолкали воз на дорогу. Верка, красная от натуги, часто хватала ртом студеной воздух.

— Ну и сильна ты, как черт! — сказала Устинья.

— Да уж посильней твоего мерина! — засмеялась Прасковья. Дальше дорога шла под уклон. Устинья села на мешки, и конь пошел ходкой рысью. Бабы сразу же отстали. Они шли кучно, наверное, судачили о ней. Будет у них разговоров! Пусть поговорят. Самое главное она сделала. Сейчас они ее, может быть, и ругают. Но это ничего. Это пустяки. Будет ругать ее и Еремей Саввич, если дознается, а он все равно дознается. И это тоже ничего.

Когда она привезла в деревню зерно и сказала Еремею Саввичу об этом, он не поленился выйти из конторы, сам взвесил мешки на складе, похвалил Устинью:

— Геройская ты баба, оказывается. Буду тебя, Устинья Васильевна, всем в пример ставить.

— Ставь, Еремей Саввич, ставь. Я не против, совсем даже наоборот.

Самовольное буксырство с того дня пошло на убыль, но прекратилось оно не скоро. Устинья ездила каждый день на поле и у тех, кто намлачивал хлеб без разрешения, отбирала все до зернышка. Немало было при этом ругани и слез, но Устинья оставалась непреклонной. К тому же ей начали помогать «законные» буксырщики.

«Почему мы должны работать в колхозе, а вы нет?» говорили они. На склад Устинья сдавала зерна все меньше и меньше, а потом и совсем перестала. Еремей Саввич был недоволен.

— Перехвалил я тебя, Устинья Васильевна. Доведется мне самому за это дело приняться.

Теперь он мог все напортить. Станет отбирать у тех, кто заработал право буксырить, и порядок, установленный ею, поломается. Снова она пошла по домам и предупредила баб, что за них, по всем видам, возьмется сам Еремей Саввич. И еще она посоветовала им при возвращении с поля не ходить беспорядочно, держаться вместе, брать с

собой трех-четырех ребят, чтобы те шли впереди, высматривали, где их поджидает председатель.

Еремей Саввич оказался бессильным перед организованными Устиньей буксырщиками. И она радовалась, что все так хорошо сладилось, что и люди будут с хлебом и работа не остановится.

Стук в окно разбудил Верку Рымариху. Она зажгла лампу, посмотрела па ходики был второй час ночи. Кого это черт несет так поздно? Стук снова повторился, осторожный, вкрадчивый; скрипнул, приоткрываясь, ставень, и за стеклом забелело чье-то лицо. Верка подошла к окну и тихо вскрикнула: на улице стоял Павел Александрович. Как была босая, в исподнем бросилась в холодные сени, отодвинула засов, повисла на шее мужа, но тут же отпустила, вспомнив, сколько в ней тяжести.

— Пашенька! — она смеялась и приплясывала, обжигая босые ноги о заледенелый пол сеней. — Родненький мой!

— Тише! — шепотом попросил он. — Васька спит?

— Спит. Я его сейчас разбужу.

— Не надо.

Он снял с себя поседевшую от мороза шинель, разулся, на цыпочках прошел в запечье, где спал Васька, постоял, глядясь в лицо сына, так же бесшумно отошел, приложил палец к губам.

— Тише.

Его голова была наголо острижена, от этого казалась маленькой, и лицо изменилось, оно было таким, каким бывает после тяжелой затяжной болезни. Верка жалостливо смотрела на него. Проклятая война, до чего людей изматывает. Там, наверно, и покормить путем не покормят, и обогреть не обогреют. А Пашеньке казенная кормежка и совсем не подходит, не привычен он к ней. Ишь до чего выбегал. И усы ему сбрили. Бедный...

— Я сейчас, Пашенька, самовар поставлю. Промерз ты, должно, до самой середины. Морозище-то...

— Выпить у тебя не найдется?

— Есть, есть, родненький, приберегла. Она была рада, что может угодить ему. — Ты подожди, на стол соберу.

— Дай сейчас. В его голосе прозвучало нетерпение.

Полстакана водки он выпил медленно, сквозь зубы, прислонился затылком к стене, закрыл глаза. Пустой стакан забыл поставить, держал в руке.

— Ты насовсем или как? — почему-то робея, спросила Верка.

— Еще не знаю, — не открывая глаз, сказал он.

И опять подошел к сыну, опустил голову, украдкой вытер глаза. Верка всхлипнула от безотчетной тревоги, охватившей ее.

— Разбужу Васю? Радехонек будет.

— Он не должен знать, что я здесь. И другие тоже... Кроме тебя, никто не должен знать.

Она помолчала, не решаясь спросить, почему, для чего так надо, потом все-таки спросила:

— Тайное задание дадено или как?

— Задание... Да, да, задание тайное.

Он снова выпил и стал торопливо, жадно есть. Ел, не глядя на нее, и даже как будто избегал встречаться с ней взглядом. Верка подумала, что он стесняется: таким оголодавшим никогда не был. О чем думает тамошнее начальство? Можно ли держать в черном теле такого человека! Он и умный, и ученый, и перед властью заслуги у него есть...

— Паша, а без тебя в колхозе плохо стало. Еремей Саввич с тобой разве сравнится. Она думала, мужу будет приятно знать, что замены настоящей ему тут не нашлось, но Павел Александрович будто и не слышал, о чем она говорит, макал куски хлеба в густую сметану и ел. — Абросим Кравцов совсем слег, будет ли жив, неизвестно. Никитку-тракториста убили на фронте. Федоса Богомазова, Лучкиного брата, ну того, что было женился на бурятке, ранили.

— А-а... — Он свернул папироску, прикурил от лампы.

— Паша, а когда ты объявишься?

— Сказал: не знаю! Что еще надо? — с раздражением ответил он.

И она замолчала, не зная, чем ему не угодила, не понимая, чего ему надо, о чем он так беспокоится, отчего сам не в себе. Если бы можно было, она бы сейчас, как маленького, взяла его на руки и убаюкала, а потом сидела бы и сторожила сон... Но этого не сделаешь. Паша хотя и слабый и весь измаянный, все-таки мужик, не дите, а мужики не любят, чтобы бабы их вот так жалели.

Она стала разбирать постель. Рымарев позабыл о папироске, она дымилась в руке, и пепел сваливался на пол.

— Что делать? Что делать? — со стоном проговорил он.

— Ты о чем?

— Помолчи! Пожалуйста, помолчи! — Он бросил папироску к порогу, стиснул виски, замер так.

Верка сидела на кровати, не смея ничего ему сказать, не решаясь позвать его в постель. С сухим металлическим щелчком передвинулась гиря ходиков, серый кот спрыгнул с печки, потерялся о ее босые ноги, помурлыкал и пошел в постель к Ваське. Она испугалась, что кот разбудит парня, поймала его и снова посадила на печку.

— Ты мне постель наладь в подполье.

— Да ты что?!

— Меня не должен никто видеть. Поняла? Кто бы ни спросил меня здесь нет. Поняла? Не в этом подполье... в том...

Низ дома Рымаревых был до пола разделен на неравные половины, в большей хранили зимой картошку, кочаны капусты, меньшая пустовала, ее не открывали, наверное, не меньше десяти лет. Верка еле выдрала крышку. Из квадратной дыры на нее пахнуло затхлостью застойного воздуха. Подполье было длинное, узкое, как гроб, между бревнами торчали клочья моха, под ногами сухо шуршал истлевший строительный мусор.

Наладив постель, она укутала Павка Александровича тяжелой шубой, присела возле него, надеясь, что он позовет к себе, но мужик ничего не говорил, лежал с закрытыми глазами, и лицо его оставалось отчужденным.

— Так я пойду?

— Иди. Нет, постой. Он приподнялся на локте, шуба сползла с его плеча, приоткрыв выпирающую ключицу. — Ты кровать отодвинь, чтобы крышка под ней была. Под кровать набросай чего-нибудь на всякий случай... Или лучше насыпь луку. Он поежился, натянул на себя шубу. Постой... Не надо ничего. Завтра я, может быть, уйду. Только смотри не проговорись. Слышишь? Иди.

Захлопнув крышку, она погасила лампу. В избе стало темно, лишь из приоткрытого Павлом Александровичем окна падала полоса студеного лунного света. Верка лежала на кровати, думала о муже, и ей казалось, что все это малопонятный сон, не сулящий ей ничего хорошего.

Потом она спохватилась, что не убрала со стола, и встала с постели. Если не убрать посуду, утром Вася поймет: кто-то был. Конечно, он ни за что не догадается, что за столом ночью сидел его

отец, подумает что-нибудь другое. И что это за дурное задание дали Паше таись, как последний вор, не погреться у ее бока, ни приголубить сына единственного. Наверно, приехал проверку колхозу делать, тут без него, поди, вредительство какое завелось или еще что. Не говорит он с ней о делах никогда. Какой интерес говорить с темной бабой? Ей бы надо в ликбез походить вместе с другими бабенками, авось чему-то и научилась бы, глядишь, совет какой дать могла бы. А сейчас что она может присоветовать?

Так думала Верка, а меж этих мыслей все время смутно зыбилась уж совсем невероятная догадка; против ее воли догадка становилась яснее и определеннее; Верка заплакала от предчувствия близкой беды, от того, что она не в силах помочь своему Паше.

Павел Александрович тоже не спал. Водка, сытный ужин и теплая постель, покорная заботливость жены не принесли успокоения, которого он сейчас так хотел; пожалуй, напротив, тут, дома, где все напоминало о прежней жизни, он остро, глубоко, до конца осознал ту безысходность, что была впереди.

Их с Белозеровым увезли в Читу. Там с утра до поздней ночи обучали нехитрой, но тяжелой солдатской науке: ползать по-пластунски, закапываться в землю, стрелять, ходить в строю. Плохо давалась ему эта наука, но главное, его угнетало и мучило сознание своей незначительности. Нравится тебе приказ командира или совсем не нравится, бери под козырек и отвечай: «Есть!» Отвечай бодро и четко, ты всего-навсего рядовой боец, песчинка в серой массе. Ты, может быть, в десять раз образованнее, умнее своего командира, у тебя в сто раз больше заслуг, чем у него, но ты все равно вытягивайся в струнку и бодро гаркай: «Есть!»

Командир отделения старшин сержант Нестеров, молодой парень из забайкальских казаков, чернявый, с узкими азиатскими глазами, почему-то с первых дней невлюбил его; старшему сержанту все казалось, что он нарочно сбивается с ноги в строю, не по-уставному отдает рапорт тоже нарочно, чтобы показать, какой он самостоятельный, и нарочно же, когда ползет по-пластунски, выставляет на всеобщее обозрение свой усиженный председательский зад. В словах старший сержант не стеснялся, и его реплики всегда вызывали дружный смех отделения, вместе со всеми и даже больше всех смеялся Стефан Белозеров недалекий человек, ставший ему

ненавистным уже за одно то, что из-за него пришлось влезть в проклятую шинель. Подло и глупо поступил Белозеров. Одним махом разрушил все созданное им за долгие годы труда признанный авторитет, безупречную репутацию. Какой-то сержантик считает нормальным выставлять его на посмешище. Разве так уж важно для человека уметь бегать, прыгать и ползать, для такого человека, как он? Разве нет у него способностей делать что-то другое?

Пришло время ехать на фронт. В холодном тесном вагоне под стук колес он думал о будущем, и в нем росло чувство обреченности. Он был уверен: погибнет в первом же бою, смерть его будет такой же нелепой, как служба, и от того, что он погибнет, ничего в этой войне не изменится, поражение не обернется победой. В гигантском столпотворении жизнь и смерть одного человека ничего не значат. Это ведь только говорится красиво и возвышенно о величии подвига павших, а на самом деле смерть есть смерть, всегда уродливая, безобразная.

В Улан-Удэ поезд должен был простоять часа два. Его и Белозерова отпустили в город. От Белозерова он сразу же отстал. Ходил по знакомым улицам, пока не продрог, потом зашел в закусочную на площади Революции. Здесь до войны всегда было свежее пиво и вяленая сорожка, сейчас только жиденький, припахивающий прелью чай да овсяная остистая каша. Он сел возле печки, развернул свежую газету. Она была полна бодрых сообщений с фронта, с предприятий города, из сел и улусов республики. А немцы подошли к Москве, и на столе у него каша пополам с шелухой овса, и он знал настоящую цену бодрости, потому что и сам в свое время умел говорить точно так же. То, что написано в газете, не ложь, но только часть правды, не очень существенная. Самое существенное — немцы под Москвой. За несколько месяцев враг занял почти половину России, еще несколько месяцев, что тогда останется?

Он пил теплый, невкусный чай и левую руку с часами на запястье держал под столом, а когда глянул на часы, стало ясно, что эшелон уже ушел, но, допив чай, он все-таки направился на станцию, убедился, что эшелон действительно ушел, и вернулся снова в город.

Собственно, никакого преступления он не совершил, отстал от поезда, только и всего. Такое могло случиться не с ним одним, бывало и раньше, что бойцы отставали, потом догоняли своих товарищей. Не

важно и то, отстал на час или на сутки. Могло же случиться, что он не смог сесть на проходящие поезда. А за сутки можно побывать дома, почувствовать себя снова человеком таким, каким он был все эти годы.

И вот он дома. И все здесь на прежнем месте, и Верка такая же, какая была, готовая пойти за ним в огонь и воду, но прежнего спокойствия нет. Вряд ли надо было ехать сюда. Если его поймают, сочтут дезертиром и поставят к стенке. Надо вернуться самому в свою часть. Утром выйдет на дорогу, сядет на попутную машину и к обеду будет уже в городе...

В просторном бригадном дворе вдоль забора стояли плуги. Возле каждого кучей лежала сбруя. Бабы, назначенные в пахари, толпой ходили за Устиньей от плуга к плугу, шумели как на базаре. Каждой хотелось взять и плуг и сбрую получше. Одной не нравился хомут, другой вожжи, третья хотела получить другой плуг. Особенно недовольна была Верка Рымариха. Она расшвыряла сбрую, пнула попону, хомут. На ее глазах блеснули слезы. Устинья с удивлением глянула на нее. Что-то неладное творится с бабой в последнее время, она вроде как сама не своя. Поговаривают, Павел Александрович потерялся. Неужели правда?

Шум становился сильнее. Устинья остановилась.

— Ополоумели вы, что ли, бабы! Всем сподряд угодить никак невозможно.

Из столярки вышел Игнат, послушал крики, сокрушенно покачал головой. Устинья взглянула на него, как бы спрашивая совета. Игнат, она знала, лучше, чем кто-либо, сумеет помочь ей.

— Зря спорите, бабы, — сказал он. — Ни другой сбруи, ни других плугов нету. Так что и говорить не о чем. А чтобы никому обиды не было, киньте жребий.

Бабы замолчали, переглянулись. Устинья спросила:

— Согласные?

Никто не возражал, и Устинья, разорвав тетрадный лист, на каждом клочке поставила порядковый номер плуга, скатала бумажки, высыпала в шапку Игната.

— Ну, тяните. И чтобы потом без обиды. Уговорились?

Во двор вкатился председательский шарабан. Еремей Саввич кинул вожжи Нюрке Акинфеевой, подошел к Устинье, заглянул в шапку.

— Это что такое?

— Плуги распределяем. Сбрую.

Еремей Саввич неодобрительно хмыкнул, бросил:

— Прекрати!

— Это почему же?

— Не задавай пустых вопросов. Нигде так не делается. Таким манером лучшие плуги и лошади попадут в руки лодырей, разгильдяев и злостных буксырщников.

— У нас лодырей и разгильдяев нет! — вспыхнула Устинья. — А буксырщики все. Встрянула шапку. — Подходите, бабоньки.

— А я говорю: прекрати! — возвысил голос Еремей Саввич. — Безобразия развела. До меня донеслось, что ваша бригада буксырила организованным порядком. Так это или нет?

— Так, Еремей Саввич.

— Ага, ясно. Товарищи бабы, обращаюсь к вам. Давала бригадир Родионова разрешение буксырить?

Лицо председателя наливалось свекольным соком, давно не бритая борода щетинилась. «Ежик, ну чистый ежик!» подумала Устинья, и ей стало смешно.

— Ты ко мне обращайся, Еремей Саввич. Не отпираюсь давала. Ну и что?

— Вот как — ну и что! Подрыв политики колхозного строительства в тяжелое военное время вот что. Снимаю тебя с бригадирства с этой самой минуты!

Игнат подошел к председателю, негромко попросил:

— Обожди-ка, Еремей Саввич, зачем горячка такая. Рассуди лучше по-мужичьи. Хлеб, который на полях оставался, где он? Скотиной потравлен, птицей поклеван. Скажи спасибо бабам и Устинье Васильевне, что хоть малую часть сумели собрать. И другое... Один, без правления ты не можешь снять Устинью Васильевну с бригадиров.

— Твоего дела тут нет! Тебе, Игнат Назарыч, лучше помолчать. Твой братец сильно разговорчивый был, где он? Еремей Саввич отвернулся от Игната. Товарищи бабы, плуги и все прочее распределяю сам. А бригадира вам дадим другого. Он быстро пошел вдоль ряда плугов.

— А ты у нас спроси, нужен нам другой бригадир? — крикнула ему вслед Прасковья Носкова.

— Никого другого нам не надо! — подхватила Феня Белозерова.

— Что-о? — Еремей Саввич повернулся. — Кто такие речи ведет? Кто, спрашиваю.

— Не ори, никто тебя не боится! Прасковья пренебрежительно махнула рукой. Ну, что, бабы, делим плуги по уговору?

Она подошла к Устинье, вынула из шапки бумажку, развернула.

— Шестой. Тьфу, холера! Твой, Верка, достался.

Бабы наперебой вытягивали номерки. Одни радовались, другие беззлобно поругивались. На председателя никто не обращал внимания, только Устинья время от времени стреляла в него насмешливым взглядом — что, выкусил? Он сел в шарабан, крикнул:

— За такие дела многим влетит. После обеда собираю общее собрание. Очень может быть, кое-кого из колхоза выключим.

Вешнее солнце поднялось над крутолобыми сопками, за селом на черном поле пара вскидывались и опадали воронки пыли, закрученные вихрем, от МТС ясно, отчетливо доносился рыкающий гуд тракторов там тоже готовились к пахоте. Бабы примолкли, провожая взглядом председательский шарабан. Игнат взял из рук Устиньи шапку, надвинул на голову.

— Смотрите, бабы, плуги и сбрую. Надо будет, подлажу.

— Потом. Прасковья Носкова села на раму плуга. — А если он взаправду, Устюха, скovyрнет тебя с бригадирства?

— Ну и пусть. Очень мне нужно его бригадирство.

— А кого поставят? — спросила Верка.

— Тебя, надо думать. Прасковья скосила на Верку глаза. — Сколько годов с Рымаревым жила? Набралась ума. Тебя даже и в председатели выдвинуть можно. Пишет он тебе что-нибудь?

— Н-нет. — Верка отвернулась.

— Куда он делся? Поди, скрылся от тебя?

— Что ему скрывать... Верка не знала, куда деть свои большие обветренные руки, совала их в карманы телогрейки, позабыв, что они спороты и пущены на заплаты.

— Хватит, бабы, разговоры разговаривать, — сказала Устинья. У нее было много разных дел, но работать вдруг расхотелось. Бесцельно бродила по двору, распугивая голубей, выискивающих в трухе и соломе зерна, и думала не об угрозе Еремея Саввича, совсем о другом. Вчера пришло от Корнюхи письмо. Он писал, что живет неплохо; попал на курсы шоферов, а это куда лучше, чем мозолить спину винтовкой, кормежка неплохая, но если чего-нибудь прийдет не откажется. Дальше шли всякие хозяйственные соображения и попреки за нерачительность. Зимой она забила корову одну из трех. Не по силам ей держать столько, да и Назарку с Петькой одеть надо было, большие

стали, выросли из своей одежонки. Корнюхе про корову долго не писала, знала, что недоволен будет. В письме он грозил: растрясешь добро, накопленное за годы, простодырая, пеняй на себя. Учил: теперь, когда трудное военное время, Петьку надо в детдом отдать, ему будет даже лучше; коров не изничтожай ни в коем разе, молоко, масло и все такое прочее скоро на вес золота пойдет, пускай в продажу, и всегда с рублем будешь; куриц побольше заводи: от продажи яиц немалую выгоду получишь; деньги на что попало не транжирь, кто знает, как жизнь повернется, но для Назарки ничего не жалея, одевай, корми хорошо, книжки, какие понадобятся, без звука покупай.

Горько и больно стало ей от этого письма. Не спросил, легко ли ей, одной, тащить все хозяйство, мать старая стала, болеет часто, за ней догляд нужен, ребята в школе учатся помощи никакой ниоткуда нет, а тут еще колхозная работа такая, что дух перевести некогда. Эх, Корнюшка, Корнюшка, не осталось, видать, в твоём сердце ни капли теплоты и жалости, а главное разумения человеческого.

От Корнюхи мысли перекинулись к Еремею Саввичу. Тоже разумения мало. Перенял от Стефана Ивановича привычку все нахрапом брать, но у того хоть соображение острое было, а у этого и умишко рыхлый, и грамотешка так себе. Вишь как снимаю с бригадирства. Худо ей сделает, орясина неотесанная, от лишних забот избавив. Только вот кого поставит? Выберет кого послабее, подомнет, и плохо тогда будет всем в бригаде.

После обеда Устинья пошла в контору. У крыльца на бревнах сидели старики, бабы, грелись на солнышке, вполголоса говорили о войне, пересказывали письма с фронта. Устинья села рядом с Веркой Рымарихой. Верка была задумчивая, смотрела перед собой пустыми глазами.

— Ты чего такая? — тихо спросила Устинья. — Или весть плохую получила?

— Никакой вести нету, — нелюбезно ответила Верка и отошла к забору.

На крыльце появился Еремей Саввич. — Заходите в контору.

Старики, бабы стали подниматься по скрипучим ступенькам, но кто-то сказал, совсем незачем тесниться в доме, когда во дворе такая теплынь, и все остановились, начали просить председателя провести

собрание на вольном воздухе. Еремей Саввич что-то пробурчал в неаккуратные вислые усы, велел принести из конторы стол.

Люди расселись на бревнах, на ступеньках крыльца, а некоторые просто на земле, поджав под себя ноги. Устинья подобрала старое проржавевшее ведро, перевернула его вверх дном, поставила прямо у стола, села. Она почему-то думала, что Еремей Саввич сразу же станет говорить о ней, но он повел речь о другом.

Каждый год перед вешней мы проводим общее колхозное собрание, решаем, как и что надо сделать. На таких собраниях бывало народу тьма. А сейчас, гляжу я, мало вас и, считай, одни бабы или, лучше сказать женщины, да еще деды. Как мне с таким народом выполнять задание партии и правительства? Ночей не сплю, побриться некогда. Он провел ладонью по щеке, и, как Устинье показалось, жесткая щетина бороды затрещала, будто жнивье под серпом. — Довожу до вас даденный мне план.

— Тебе или колхозу? — спросила Прасковья.

Еремей Саввич долго смотрел на нее, по ничего не сказал, зачитал по бумажке, сколько гектаров пшеницы, ржи, овса, ячменя надо засеять, положил бумажку на стол, придавил ее растопыренной пятерней.

— И в прошлом и позапрошлом году сеяли не меньше, но тогда народ был, кони были. Чуете, какая натуга впереди? Уборка дело сезонное, она не любит ждать, убрал вовремя выиграл, затянул с уборкой проиграл! Я, товарищи, со всей серьезностью должен поставить вопрос о дисциплине. У нас фронт и тыл едины, это товарища Сталина слова, и там и тут дисциплина должна быть одинаковой. На войне как? Сказано: иди в наступление идешь, хотя тебе хочется податься в лес по ягоды или к теще чаевать, ослушался без разговоров к стенке. У нас тоже такой порядок будет. А пока наши отдельные товарищи творят безобразия, прямо-таки вредительские. Подрывают колхозное крестьянство, разоружают нас в минуту смертельной борьбы с озверелым фашистом! — Еремей Саввич разошелся вовсю, даже по столу кулаком пристукнул, но вдруг его голос с надрывного крика упал почти до шепота. — И кто это делает? Это делает человек, обученный грамоте в нашем советском ликбезе, вытасченный из вечной тьмы к свету, это делает бригадир Устинья Родионова.

С обидой в голосе рассказал колхозникам, как она, саботажница, ловко его одурачила, как провела организованное хищение колхозного зерна с полей.

Бабы из второй бригады зашумели, стали требовать от Устиньи объяснения. Она поднялась, облизала сухие губы, спросила:

— Чего шумите? Вы не буксырили? Подымите руки, кто не буксырил. Нету таких. Ну вот. Только у вас, бабоньки, кто сколько мог, тот столько и тащил. Совежливые раз-другой сходили, а бессовестные дневали и ночевали на колхозных полях. А я что преступного сделала? Бессовестных укоротила, совестливых подтолкнула, и все худо-бедно хлебом запаслись, и работа колхозная не стояла.

Умолкла вторая бригада, бабы стали шептаться меж собой, шепот становился все громче. Поднялась Епистимея, жена Петра Силыча.

— Еремей Саввич, тебе Васильевну не позорить бы надо, а похвалить. Умнее она тебя, мужика, оказалась. У нас такого бригадира не было, и что получилось? Кто пуп надрывал на колхозной работе, без хлеба остался. Ну ладно, бригадир наш не докумекал, бог ему судья, а ты-то на что поставлен?

— Так-с, так-с, — Еремей Саввич кивал головой, словно бы одобряя ее слова, но не успела она кончить, вскочил. — В подпевалы записалась? Да тут, я вижу, не простое дело, тут целый заговор выпячивается. И даже знаю, кто вас направляет. Меня не проведете. Не ты, Игнатий Назарыч, подбивал меня разделить меж колхозниками хлеб? Все помню. Не вышло, через Устинью стал действовать. Уж не сполняешь ли директиву своего брата Максима, а?

— Говори, да не заговаривайся, — крикнула Устинья.

— Постой, я сам ему скажу. Игнат подошел к столу. — Экий ты малоумный, Еремей Саввич. Надо же, Максима прилепил. Его не затрагивай! Теперь про буксырство. Будь я на твоём месте, как бы сделал? Разделил бы полеглый хлеб на деляны, убирайте, бабы, кто как может, половину зерна себе берите, половину колхозу. Или еще как-то сделал бы, но хлеб на потраву не оставил. Сейчас в добрых колхозах фронтовые гектары берутся засеять, сверх всякого плана. А мы можем? Да нет, Еремей Саввич. Семян в обрез, лишнего гектара не засеешь. Наши мужики, которые на войне, спасибо скажут? А кричишь тут, пузыришься, про тыл и фронт толкуешь!

Еремей Саввич рвался перебить Игната, глаза его зло поблескивали, рот то открывался, то закрывался, и концы усов елозили по небритому подбородку. Ему так и не удалось заставить замолчать Игната: закричали бабы, припомнили, как он гонял их по сугробам, рвал с плеч котомки, грозил отстегать бичом. Со всех сторон посыпались яростные проклятия.

— Паразит!

— Изгальщик!

— Кабан кормленный!

— Мордовать людей тебя поставили?

Председатель забежал возле стола. От щек отлила краска, лицо стало серым, словно пылью запорошенным, он что-то тоже кричал, но бабы не унимались. Игнат поднял руку.

— Бабы! Тихо, бабы! Что вы все разом...

Еремей Саввич воспользовался наступившим затишьем, выкрикнул:

— Закрываю собрание! За срыв привлеку к ответственности! Я вас еще допеку!

Устинья вскочила, зацепив ногой ведро, оно покатилося под стол, забренчало.

— Бабы! — ее голос прозвучал резко, как удар хлыста. — Почему мы позволяем ему разоряться? Или он не нами на эту должность выбран? Не по ноздре разговор, закрываю собрание. Это что такое?

Снять его надо с председателей! — крикнула Прасковья.

— Верн-а-а!

— Гони — его в шею, бабоньки.

— Давай Игната в председатели.

— Тихо! — с каким-то веселым отчаянием прозвучал голос Устиньи. — Я тоже думаю, не подходит нам Еремей Саввич. Давайте проголосуем, чтобы его убрать.

Она первой подняла руку. Игнат попытался ее остановить, схватил за рукав, но она дернулась, отступила от него, требовательным взглядом обвела собрание. Одна за одной бабы вскинули руки, немного подзадержались старики, но и они проголосовали.

Устинья повернулась к председателю. Он растерянно моргал, вытирал лицо подолом рубахи.

— Всем миром тебя сняли, Еремей Саввич. Клади на стол ключи и печать.

Он полез в карман, но вдруг отдернул руку, сжал ее в кулак, показал Устинье.

— Вот тебе печать и ключи! Я на это место партией поставленный! Только она меня спясть может!

— И партия тебя по голове не погладит, не дожدهшься! Устинья снова повернулась лицом к собранию. Кого на его место?

— Игната!

— Вы с ума сошли, бабы! Ну какой из меня председатель, сами подумайте. Негодное дело затеяли.

Поднялся Лифер Овчинников, стянул с лохматой головы шапку.

— Верно бабы замыслили. Игнатий Назарыч не речист, не боек, но крестьянство понимает, зря людей обижать не станет. Выбирайте его, не прошибетесь. А ты, Назарыч, не вертухайся. Сам понимаешь, какое сейчас время.

— Голосуем, бабы? — спросила Устинья, глянула на Игната озорными глазами.

Снова проголосовали все.

Устинье было весело и чуточку страшновато. Она почувствовала в себе неведомую силу и кровное свое родство с этими бабами в будничных линялых сарафанах.

Еремей Саввич трусцой побежал в контору, начал куда-то звонить. Из открытого окна долго неслись его надрывные крики: «Саботаж...», «Явное вредительство...», «Вылазка во главе с бригадиром Родионовой...»

Устинья ощутила в груди холодок. «Ой, мамонька, что же это будет-то?»

Всклокоченная голова Еремея Саввича высунулась из окна.

— Родионова, иди, тебя начальство требует.

Она поднялась в контору, прижала к уху трубку телефона, осевшим голосом проговорила:

— Я слушаю.

— Родионова, что у вас происходит? — она узнала голос Петрова, недоверчивый и строгий.

— Сняли Еремея Саввича с работы.

— Ну и ну! Вы чем там думаете?

— Головой, конечно, — обиделась Устинья.

— Сомневаюсь! — отрезал Петров. — Да вы понимаете, что все это значит?

— Вы много понимаете! Посадить бы вам такого черта, как Ерема, на шею! Названивать и задавать умные вопросы всякий может. Вы вот поработайте с ним.

— Ну-ну, — сухо проговорил Петров. — Передай трубку Еремею Саввичу.

Еремей Саввич слушал его, согласно кивая головой. Повесив трубку, зыркнул уничтожающим взглядом по лицу Устиньи.

— Я еще на тебе отыграюсь, баламутка!

Назавтра в Тайшиху приехал секретарь райкома Тарасов. Два дня ездил по фермам и бригадным станам, заходил в дома колхозников, разговаривал с людьми, и выражение хмурой озабоченности не сходило с его лица. Говорил он и с Устиньей. Задавал вопросы и молча слушал, никак не выражая своего отношения к тому, что она рассказывала. Еремей Саввич все время вертелся возле него, вмешивался в разговоры.

На третий день снова созвали собрание. На него пришли все, кто только мог, и с напряженным вниманием ждали, чем дело кончится. Устинья сидела, опустив голову, с виду безучастная ко всему, но ее голова гудела от трудных мыслей. «Оставят Ерему — уйду с бригадирства», твердила она себе, хотя понимала: это для нее значит совсем мало, сейчас должно решиться что-то коренное, куда более важное и для нее самой и для этих людей.

Еремей Саввич опять говорил о саботаже, вредительстве, подрыве авторитета. Обращался он при этом не к собранию, а к Тарасову.

— Они меня хотели горлом взять. Но меня легко не возьмешь. Меня партия завсегда поддержит, нерушимой стеной оградит.

— Подождите, — остановил его Тарасов. — А почему партия должна вас поддерживать?

— А кого же ей поддерживать?

— Вот именно — кого? Давайте разберемся. Вы лишились народного доверия. Ситуация ясная. На одной стороне вы, на другой все колхозники. Так чьи интересы будет защищать и отстаивать партия, ваши личные или народные?

Устинья подняла голову, облегченно вздохнула. Вот ведь как все просто. А она, дуреха, изводила себя думами. Все должно быть только

так. Невозможное это дело, чтобы было иначе! «Умница!» с благодарностью подумала о Тарасове.

— Я считаю, товарищи, решение вашего собрания надо оставить в силе. Это мое мнение...

Гул одобрения оборвал слова секретаря. Этот гул словно бы смыл с его лица хмурю озабоченность, на минуту оно стало ясным, открытым, и Устинья увидела, что Тарасов еще очень молод, глаза у него добрые, с веселыми огоньками в глубине зрачков. И еще она поняла, скорее почувствовала, что и для него все это было делом не простым и не легким.

После собрания члены правления, бригадиры, Тарасов прошли в председательский кабинет: надо было обсудить текущие дела. А на уме Еремея Саввича свое.

— Рады, что сняли?

От обиды в голосе дрожь, и весь он сам на себя непохожий, жалкий, куда девалась хозяйская медлительность, крутился по кабинету, злой и неприкаянный, как голодный кобель в чужом дворе, глаз ни на кого не поднимал, шарил взглядом понизу, будто искал что-то. Устинья, брезгливо вздернув губы, отвернулась, посмотрела на Игната и Тарасова. Деверь сидел у края стола, опустив голову, теребил бороду, глубокие морщинки бороздили его лоб, секретарь райкома за этим же столом торопливо листал какие-то бумаги, светлые завитки волос напоззали ему на брови; ни он, ни Игнат не слышали вопроса Еремея Саввича, и тот заговорил снова, громче:

— Радуетесь? А не подумали, что может выйти политическая ошибочка?

— Что вы сказали? Тарасов поднял голову, ладонью смахнул кудри со лба.

— У меня же заслуги есть, и награжден был. До печенок власти своей предан.

— И преданность, и заслуги, и награды при вас остаются.

— А должность отобрали...

— Чего же вы хотели? — правая сломанная бровь Тарасова недоуменно приподнялась. — Ради прежних ваших заслуг сделать из вас идола и поклоняться?

Жесткая складочка обозначилась у рта Тарасова. Он замолчал, снова наклонился над бумагами.

— О должности вздыхаете, а зерна нету. Скажите, чем засевать оборонные гектары? Игнатий Назарыч, что вы думаете на этот счет?

— Я сейчас ничего не соображаю. Игнат виновато улыбнулся. — Еще опомниться не могу. Подведу всех... Не по характеру моему председательство.

— Ничего... Тарасов положил руку на его плечо. Общими усилиями и с делом справимся и характер ваш переработаем. Товарищи бригадиры, а у вас есть какие-нибудь предложения?

Бригадир второй бригады Иван Романович Носков, рыхлолицый мужик с бельмом на глазу, писклявым бабьим голосом сказал:

— Семян нету, какие могут быть предложения?

За окном начинало смеркаться. Устинья сняла со стены лампу, зажгла и поставила на стол. Протирая газетой стекло, проговорила:

— Я со своим народом толковала. Порешили бабы из набуксыренного зерна выделить кто сколько в силах. Думаю, гектаров на десять соберем.

— Дадут они тебе, дожидайся! — проворчал Еремей Саввич. — Хапать ихнее дело, отдавать дудки.

Устинья озлилась. Берется еще судить о людях, нисколечко их не зная.

— Заткнись, раз ничего не понимаешь!

— Зачем вы так, Устинья Васильевна, упрекнул ее Тарасов, отодвинул лампу, чтобы лучше видеть ее лицо, и в его взгляде, совсем не строгом, мелькнуло что-то похожее на удивление.

Устинью почему-то смутил этот взгляд, она села подальше от света.

Машина мчалась по мягкой полевой дороге. Белый свет фар скользил по колеям, по обочине с кустиками сухой прошлогодней полыни. Федос Богомазов, открыв стекла кабины, смотрел в сторону, туда, где в темноте угадывались очертания сопок и увалов.

Прохладный ветер родных полей ласково ополаскивал лицо; ровно, трудолюбиво пел мотор автомашины; Федосу казалось, что в лад с мотором поет его душа: домой, домой! Радость переполняет его, даже боль в перешибленных осколком ногам угасла, стала неощутимой.

У МТС машина остановилась. Федос вылез из кабины, закинул за плечи тощий вещевой мешок и, налегая всем телом на костыли, побрел по улице. В деревне тишина, редкие огоньки горят тускло и робко. Как все это знакомо и дорого ему. Весна... Работы под самую завязку. Возвращаешься с поля, пошатываясь от усталости, наскоро перекусишь и спать. Тут все, как прежде. Жена, наверное, спит, не ждет его. Странно, что думает о ней совсем спокойно, будто не из пекла возвращается, а с полевого стана. И на фронте и в госпитале думал о жене совсем редко. Куда чаще вспоминал то время, когда жил с сестрой Таней и Максимом на заимке тестя Луки.

Возле дома сестры Федос остановился. За окнами желтел слабый свет, значит, Татьяна еще не легла. Завернул к ней.

Сестра на радостях всплакнула и, будто глазам не веря, что это он, провела ладонями по его стриженной голове, по лицу, по плечам, обтянутым солдатской гимнастеркой.

— Братушка... Родненький...

А его губы раздвигала глупо-счастливая улыбка.

На столе горела оплывшая восковая свеча, возле нее лежала старая застиранная кофточка, клубок ниток, наперсток. Татьяна, видимо, занималась починкой. Смахнув шитво со стола, зажгла еще одну свечу, спросила:

— Насовсем?

— Нет, на полгода. Может, и раньше... Когда ноги подживут.

— Господи, совсем забыла про Митюшку! — спохватилась она и ушла за деревянную, оклеенную картинками из журналов заборку,

оттуда послышался ее тихий голос: — Сынок, а сынок, встань-ка.

Парнишка вышел на свет, протирая одной рукой заспанные глаза, другой придерживая сползающие подштанники, увидев Федоса, вылупил глазенки, стремительно кинулся к нему.

— Дядя Федос!

Митька заметно вытянулся, ростом чуть ли не выше матери, повзрослел, еще больше стал похож на Максима.

— Ты, молодец, так на меня не прыгай, — улыбнулся Федос, отстраняя от себя мальчика. — Не то доломаешь ноги. Дай сюда мешок. Он достал блестящую губную гармошку, протянул племяннику.

— На, держи. Трофейная.

— Немецкая? Честное слово, немецкая?

— Честное слово, Митька.

— Как это трофейная? — спросила Татьяна.

— На войне добытая, отвоеванная, — пояснил Митька, округлив щеки, дунул, выжав из гармошки противный ноющий звук.

— Перестань! — Татьяна стукнула кулаком по спине сына. — Гармошку завоевали. Они у нас города, а мы гармошку.

От ее слов Федосу стало неловко, он достал махорку, закурил, пристальнее взгляделся в лицо сестры. Она была все такой же красивой, молоденькой, но в чертах лица, во взгляде появилась не замечаемая раньше жестковатая неподатливость.

— Города, Танюха, отобьем, — сказал он и почувствовал, что голос против его воли звучит виновато.

— Когда? — спросила Татьяна, явно не ожидая ответа, — Замаялись мы, Федос. Недоедаем, недосыпаем, а войне и конца не предвидится... Митя, беги-ка к дяде Игнату, а я самовар поставлю.

Следом за Игнатом и Настей пришла Устинья, потом Елена, Прасковья Носкова, Лифер Овчинников, Абросим Кравцов, Верка Рымариха. Народу набилось полная изба. Весть о возвращении Федоса бежала из дома в дом.

Он вглядывался в усталые лица людей, слушал разговор и ощущал что-то похожее на стыд за свою недавнюю безудержную радость. Он многое видел, многое пережил, в память, наверное, навеки врубилась обезображенная железом земля и опаленные огнем, изувеченные снарядами дома, деревья, вой бомб, вдавливающий тебя в землю, и предсмертные стоны товарищей, запах гари и тошнотворная вонь

пороховых газов, ледящий страх и невыносимая боль. Все это пережито, осталось позади. И он, все это переживший, думал, что имеет право и на беззаботный отдых, и на уважение земляков, не знающих, что такое война.

Он думал, что деревня все та же и все так же справно, спокойно живут тайшихинцы, как-никак, тысячи километров отделяют их от фронта, на их дома не пикируют штурмовики, поля и огороды не вытаптывают гусеницы танков, но, оказывается, и здесь очень хорошо знают, что такое война, ту ее сторону, о которой он и не догадывался там, на передовой. Нет мыла, соли, спичек, керосина. Хлеба и того нет вдоволь, вместо чая заваривают листья брусники. Лифер Иванович с робкой надеждой спрашивает, не довелось ли встретить его сына Никиту, и неизбывная тоска в его взгляде заставляет опустить голову.

Впервые по-настоящему, до глубины души понял Федос, какая это страшная война, сколько невыносимых тягот, сколько горя, страдания взвалила она на плечи каждого человека. Пожалуй, сразу и не скажешь, где труднее там, в огне боев, или здесь, в томительной тревоге за жизнь родных и близких, в непосильной каждодневной работе.

Невеселая была встреча. Федос обрадовался, когда на пороге появилась Поля, одетая кое-как, растрепанная, с сияющим от радости лицом. Не стесняясь баб, стариков, она поцеловала его в губы, в щеки, в лоб, бормотала что-то ласковое. Федос увернулся, взял костыли:

— Ну, мужики, бабы, еще наговоримся. Пойду до дому, до хаты...

На улице Поля упрекнула его.

— Что же ты, бессовестный, до дому не дошел? Или тебе сестра дороже, чем жена?

— Брось ты это! — с неожиданным раздражением сказал он, но, спохватившись, подумал, что Поля, возможно, права, и мягче добавил: — Танюха мне заместо матери, потому как старше. И по пути еще.

Дома их ждали тесть и теща. Видать, Поля их известила. Викул Абрамыч пощупал на груди Федоса медаль «За отвагу», горделиво выставил вперед бороденку.

— Ерой, едрит твою налево! Похвально, похвально. Бывало-ча, кресты вешали, а теперь, вишь, кругляшки стали.

Теща успела собрать на стол. Викул Абрамыч, хитро подмигнув, достал из-под лавки бутылку водки, стукнул сухим кулаком по дну, выбивая пробку.

— Старый запасец. Теперь эту благодать днем с огнем не сыщешь, Польшка, тащи стаканы.

Федос глянул на стол. Еда добрая, хлеб нарезан белый, в тарелке пирожки. Сравнил с тем, что было на столе у Татьяны, сказал жене:

— А ты у меня живешь ладно, не голодуешь.

— Батя с мамой помогают.

— Запасец, затек, запасец. Теперь не шибко разживешься. Послушай, Федос Федорович, а за твое еройство будет послабление?..

— Какой я герой, прости господи! Федос засмеялся: забавляла уважительность тестя, сроду не величал, тут, пожалуйста, Федорович.

— Даром же не дают такие штуки? — Викул Абрамыч уперся перстом в медаль.

— Ну, не даром, конечно...

— Стало быть, родным должно послабление какое-то выйти, налоги скостят или землицы под усадьбу прирежут.

Старик за разговором не забывал наполнять стаканчики. Не успеет Федос опрокинуть, снова полный. В голове шумит, все тело становится вялым, говорить хочется о чем-то другом, а тесть зудит и зудит о «послаблении».

— Если что будет, ты, Федорович, нас не позабудь, впиши на свое имя. Мы тебе, ты нам, и будем жить. Время окаянное. Кто его знает, поди-ка, Гитлеряка-то окажется посильнее.

— Ты это, старик, брось! Начисто из головы выкинь! Гитлеряке все равно шею сломают.

— Я же ничего и не говорю. Сломать и надо, супостату. А только...

— Молчи в тряпочку, старик! Я тебе это со всей серьезностью говорю. Поглядел бы ты, что он на нашей земле выделявает.

— Ты меня, сынок, не понял, кажись.

— Все я понял!

— Не трогай его, батя, видишь, выпивши, — сказала Поля, ласкаясь, прислонилась к плечу Федоса.

— Не пьяный я! — Глухое недоброе чувство поднималось в душе Федоса, и он боялся, что сорвется, насмерть обидит и стариков, и Полю. — Устал я, спать хочу.

— Польшка, стели постель! — скомандовал Викул Абрамыч. — Старуха, оболкайся! Отдыхай, сынок.

Утром Поля ушла на работу, Федос остался дома. Вышел на улицу, сел на лавочку. В деревне, как и вечером, стояла тишина, улица была пуста. В пыли на дороге купались куры, под забором свежо, чисто зеленела молодая трава.

Из переулка вывернулась подвода. На пустых гроыхающих бочках сидел светлоголовый мальчишка, крутил над головой бич. Мосластая лошаденка, понутив голову, шла неторопливой рысью. Поравнявшись с Федосом, мальчишка крикнул «Тпррру!» и соскочил с телеги.

— Антошка! — обрадовался Федос встрече с сыном Луки. — Экий ты чумазый, едва признал.

Лицо племянника было в маслянистой грязи. Солидно покашливая, он сказал:

— В тракторной бригаде работаю.

— Что делаешь?

— А вот, кивнул на телегу, горячее вожу. — Рановато впрягли тебя в работу.

— Ничего не рановато. Все наши ребята, как закончилась учеба, работают. Васька Рымаренок прицепщиком, Назарка, Петька и Митька наш бороноволоками.

— Митюху я вчера видел.

— А я на полевом стане ночевал. Сегодня мамка сказала, что ты приехал. Заехал вот...

— Батьке письма пишешь?

— Редко. Совсем мало у меня времени, — по-взрослому ответил Антон.

— Ты сейчас в МТС? Возьми меня.

В МТС Федос пошел в мастерские. Костылял из цеха в цех, почти не встречая знакомых, большинство токарей, слесарей были новые, работали в основном подростки. Они беззастенчиво пялили на него глаза, которые побойчее, заводили разговор. В моторном цехе он неожиданно увидел Дариму. Одетая в великоватый для нее комбинезон, она заворачивала гайки огромным разводным ключом. Уперлась ногами в половицы, налегла всем телом на ключ, на смуглом лице напряжение, маленькие губы плотно сжаты.

— Амар мэндэ! — негромко поздоровался он.

Обернулась резко, испуганно, ключ, звякнув, упал на пол. Федос сел на верстак, поставил костыли рядом, протянул руку.

— Давай поздороваемся как следует. Спрятал ее руку в своих ладонях. — Даримка...

На минуту показалось, что он снова тот же, прежний молоденький пастушонок, и Даримка та же, совсем юная, пугливая девчонка, нет Поля с угодливым тестем, войны, запустелого села; но Даримка убрала уже руку, спрятала ее в огромном кармане комбинезона, оттянутым железной мелочью, и все стало на свои места. Федос разглядывал ее лицо, и теплая боль омывала его сердце.

— Замужем? — спросил, напрягаясь.

Она отрицательно качнула головой, отвела взгляд.

— Эх, Даримка, Даримка...

Замолчали. Она подобрала ключ, положила на верстак.

— Штурвальным теперь работаю. Сейчас комбайн ремонтируем.

— Разбираешься в машине?

— Совсем мало. Плохо разбираюсь.

Разговор стал легким, без напряжения, в узких миндалинах глаз Даримы засветилась радостная усмешка.

С этого дня каждое утро, как на работу, приходил в МТС, садился где-нибудь в сторонке, курил, смотрел, как трудится Дарима, иногда помогал ей. О прошлом ни разу не вспомнили, оно ушло безвозвратно, зато, чувствовал Федос, родилось что-то новое, очень похожее на то, что уже было, но совсем другое.

На краю пашни лежали мешки с зерном, стояла пустая телега, невдалеке, на косогоре, паслась спутанная лошадь. По пашне, увязая в рыхлой земле, медленно шагали сеяльщики Лифер Иванович и Верка Рымариха. У него и у нее на груди торба с семенами. Шаг вперед, рука опускается в торбу, захватывает горсть золотистого овса, взмах семена веером разлетаются и падают на пашню. Снова шаг вперед, взмах руки. И так целый день. К вечеру рука отнимается, плечи, нарезанные лямками торбы, страх как ноют, но Верка терпеливо сносит и боль, и усталость, ни на шаг не отстает от крепкого, как лиственничный кряж, Лифера Ивановича. Сама добровольно взялась за эту тяжелую мужичью работу, ни одна баба не выдюжила бы тут и двух дней, а она всю весну работает сеяльщиком, правда, в последнее время тоже стала сдавать. Нет-нет и как бешеное заколотится сердце, потемнеет в глазах. Кормежка больно уж плохая. Хлеба осталось мало, до нового никак не хватит, картошка вышла, корова доится одна. Если бы не Павел Александрович, им с Васькой жилось бы легче, а то, что ни лучший кусок ему в подполье, потом Ваське, растет парень, аппетит у него дай бог любому, а ей уже остатки достаются. Ох, горе, горе...

Высеяв семена, Верка и Лифер Иванович вышли на край поля, по твердой земле направились к мешкам. Ноги, привыкшие к мягкой пахоте, ступали неуверенно, под подошвами ичигов сухо шелестела прошлогодняя трава, с треском ломались стебли полыни. Верка посмотрела на солнце до вечера еще ой как далеко, а в ногах дрожь. Она села на телегу.

— Передохнем, Иваныч...

Лифер Иванович сел на землю, привалился спиной к мешкам, закрыл глаза. Он редко когда с ней разговаривал, бывало, что за целый день слова не скажет. До сих пор не может сына позабыть. И раньше он был не больно разговорчив, а теперь вовсе изугрюмился. Да и то дите родное. Уж Васька ей не кровный сын, а случись что спаси и помилуй, господи! свету белого невзвидела бы.

Снизу, из пади, верхом на коне подъехал Игнат. Он слез с седла, присел на телегу рядом с Веркой.

— Ну как тут у вас?

— Помаленьку...

— Сегодня досеете?

— Скорый какой! Не машины же!

— Ну-ну, я ничего же не говорю. Я к тому, что как досеете, ближе к полевому стану перебирайтесь, на седьмое поле.

— Заборонить бы надо, — Лифер Иванович кивнул на пашню.

— Пришлю завтра с утра ребяташек, заборонят. Разговаривая, Игнат поглядывал на Верку, хмуро ломал брови.

— Ты не хвораешь?

— С чего взял?

— Что-то похудела больно уж.

— Тебя бы на хлеб, на воду, да такую работенку... — Игнат не обиделся. Кивнул.

— Верно. Живо ноги вытянешь. Я еще удивляюсь, что долго дюжишь.

— Сменил бы. Есть же люди.

— Некем, Вера Лаврентьевна. Потерпи уж, немного осталось.

— Отсеемся, дам вам по целой неделе отпуска. А с кормежкой... Выделим вам масла, больше-то дать нечего. А картошки можешь у меня взять мешка два. У нас с Настюхой есть еще картошка.

Верка промолчала. Игната, а до него Еремея Саввича, она не признавала за настоящего председателя, в голове не укладывалось, что на месте ее Павла может держаться свой деревенский мужик темнота и неуч. Еремка живо слетел, а Игнат, похоже, надолго утвердился, худого о нем даже самые злые бабы не говорят, за что-то уважают его. Даже Павла так не уважали. Правда, Павел, он совсем другой, многие мелочи не умел разглядеть. Будь сейчас здесь, никакого бы масла не посулил и картошки из своего подполья не предложил, он, наверно, о войне бы рассказывал, как там люди кровь свою проливают, идут на смерть, себя не жалея.

Видимо, о том же думал и Лифер Иванович. Когда Игнат уехал, он сел на мешок, поскреб в затылке.

— Приметливый глаз у Назарыча. Твоего мужика я хаять не собираюсь, однако у него шибко уж мало тепла в душе хранилось.

— На всех у кого тепла хватит? Человек не солнце, всех обогреть ему никак невозможно.

— Знамо дело... Греть не многим дано. Уж одно ладно, если хоть не солнце, то и не погреб со льдом. Твой был битком набит ледышками, — Лифер Иванович глянул на нее из-под нависших бровей, снизил голос. — Болтает народ, в бегах он, твой Павел Александрович. Будто бы во дворе твоём много раз видели.

У Верки похолодело сердце. Неужели доглядели? Павел и правда по ночам нередко гуляет во дворе, воздухом чистым дышит.

— Я, Лаврентьевна, у тебя ни о чем не спрашиваю, ни на что не подбиваю. Не христианское дело своего мужика выдавать. Но если он и вправду в бегах, гони от себя, на версту не подпускай. Только последний поганец может в лихое время отсиживаться под бабьей юбкой.

Верка схватила торбу, стала насыпать семена. Будь на месте Лифера Иваныча кто-то другой, тот же Игнат, она бы нашла, что ответить. Но что скажешь этому старику? Его Никита тоже хотел жить, наверное, не меньше Павла Александровича. Федос вон волочит перебитые ноги, зарастут раны, сызнова туда же поедет, и одному богу известно, какие еще муки придется принять парню, может статься, и совсем не вернется. А не жалуется, не хнычет, судьбу не клянет. И всем сейчас достается. Ей, к примеру, с какой бы стати брать на себя такую работу, но неловко же, стыдно трудиться вполсилы, когда другие ни от какого дела не уклоняются.

Вечером, по дороге домой, Верка завернула на полевой стан бригады. Васька шприцевал трактор. Она отозвала его в сторону, передала узелок с едой, хотела, как обычно, поцеловать, но парнишка уклонился. Он стоял перед ней, худенький, тонкий, вылитый батя, тербил узелок, хмурился, рубашка на плече была разорвана, виднелась выпирающая ключица, испачканная мазутом. Верку захлестывала материнская жалость к мальчишке, она шмыгнула носом.

— Председатель масла мне хочет дать. Так я тебе блинов напеку. И сметаны подсоберу. Отощал ты весь у меня.

Голова Васьки на длинной худой шее дернулась, губы скривились, словно он собирался заплакать.

— Антошке сегодня по морде дал!

— Ты что же это, Вася...

— А что он треплет — батя дезертир. Не дезертир он, да? Не дезертир? — со страстной надеждой спрашивал он. — Батя без вести

пропавший, да?

— Пропавший, сынок, пропавший...

Верка еле сдерживалась, чтобы не разреветься. Добралась до дому и дала волю слезам. Плакала горько, безутешно, с подвывом, с надрывом, не видела никакого исхода в постигшей ее беде.

Когда в деревне стали гаснуть огни, закрыла ставни окон, подняла крышку подполья. Рымарев на карачках выбрался из-под кровати, разогнулся. Даже в слабом, увернутом свете лампы было видно, что лицо у него бледное, давно не бывавшее на солнце, на впалых щеках клочковатая борода, длинные волосы свисают с головы спутанными прядями.

— Господи, какой ты страховидный! — невольно сказала она. Павел Александрович ходил по избе, вскидывал и опускал руки, разгонял застоенную кровь, простуженно кашлял.

Она, как обычно, собрала на стол, усадила его есть. Сейчас он поест и пойдет во двор, там тоже будет ходить из угла в угол, махать руками.

— Паша...

— Что?.. — спросил он, не отрываясь от тарелки.

— Может, тебе объявиться?

— Чего еще! — бросил ложку, уставился на нее испуганными и злыми глазами. — Я тебе говорил, задание у меня. Задание!

— Зачем, Паша, мне голову морочишь? Не бывает такого задания под полом от своего народа таиться. Который уж месяц света божьего не видел, живешь, как филин ночная птица. А что дальше будет? Объявись, Паша...

— Ага-а, — злорадно протянул он. — В тягость тебе стал. Раньше небось помалкивала. Как же, председательша...

На его впалых щеках запылал неестественно яркий румянец.

— Тебя жалеючи говорю, Паша.

— Под расстрел подводишь жалеючи? Куда я пойду, дура ты этакая, ну куда? Без разговоров к стенке поставят.

— А может, смилуются? Заслуженность у тебя есть...

— Молчи! Молчи! Молчи! — как заклятье повторил он. — Много посчитались с моими заслугами, когда брали в армию? Ну? Забрили, словно новобранца. А я не хочу умирать. Моя жизнь принадлежит мне,

и только мне, ни государству, ни райкому, ни колхозу мне! Способна ты понять это?

Он жег ее взглядом бешеных глаз, размахивал костлявым кулаком это был совсем другой Павел, какого она еще не знала, и жалость к нему, не прежняя, женская, а другая, похожая на материнскую, всколыхнула ее, выжала слезы. Но плакать при нем она не смела, боялась напугать еще больше, не смела и сказать, что люди видели его в ограде, не сегодня-завтра слух донесется до милиции, изловят его, увезут.

— И зачем ты, Паша, сбежал? Может, и пронесло бы. Или только ранило. Господи, какой бы ты ко мне ни вернулся, была бы радехонька. На руках бы носила, с ложечки кормила.

— Не хотел, но так получилось. Вот честное слово, не хотел! Думал, повидая вас и уйду, но не смог.

Он как будто немного успокоился, заговорил тише:

— Разобраться, я вовсе не преступник. Не украл, не убил, не ограбил, я всегда жил честно. Но я не хочу умирать. Это, Вера, не преступление.

— А что дальше, Паша? Не все же под полом будешь прятаться. Война закончится...

— Ты ничего не понимаешь. Когда-нибудь война закончится, а как, этого пока никто не знает. Но как бы она ни закончилась, так или иначе, удалцам, вроде Задурея, головы поотрывает. А это уже хорошо.

— Недобрый ты стал, Паша, — горестно вздохнула Верка. Вспомнила разговор с Лифером Ивановичем, подумала, что муж ее, первый разумник, совсем неправ, заблудился где-то, запутался в чем-то, что бы он ни говорил, как бы ни оправдывался, навряд ли кто его поймет и оправдает. Уж она ли его не любит, не жалеет, а и то порой досадно бывает работаешь как лошадь, а он от безделья сохнет, бока пролеживает. Будь она потолковее, по-языкастее, довела бы ему до ума, какое сейчас тяжелое время для народа, как его все будут ненавидеть, когда в точности будет известно о побеге. Но не хватит у нее толку обсказать тонко и необидно, она может только бухнуть все как есть, до смерти его перепугает, лишит последнего спокойствия и рассуждения, и ничего хорошего из этого не получится. Как же быть-то, господи?

— Я пойду на улицу, — Рымарев встал из-за стола. — Думаешь, мне приятно вести такую жизнь? В подполье ни встать, ни разогнуться,

вечная тьма, мыши шумят.

Рано утром к Федосу заехал Игнат Назарыч и предложил вместе с ним проехать по полевым станам. Дорогой все расспрашивал о войне, задумчиво смотрел перед собой. Лошадь трусила, поднимая копытами пыль, поскрипывал председательский шарабанчик. Федос говорил медленно, словно бы вглядываясь в то, что отложилось в памяти. Он чувствовал, что Игнат хорошо понимает его, и поэтому хотелось рассказать самое главное, не суетное. Вот с тестем у него разговора никак не получается. Викул Абрамыч с его мелкими заботами, с хитроумием остался таким же, каким был, для него война не бедствие, а всего лишь неудобство, к которому надо половчее приладиться, чтобы оно не очень мешало. С первого дня возненавидел его тихой неубывающей ненавистью.

Откровенно рассказал Игнату о тесте, вздохнул:

— Раньше почему-то не замечал за ним этого.

— Раньше все мы многого не замечали, Федос. Ты не тому удивляйся, что тесть твой не переделался, а тому, что семейщина иной стала. Только вдумайся, века возводила она круг себя стену. Что было за стеной война, голод, мор какое ей до всего этого дело? Революция сломала стену, и каждый из нас почувствовал свою неотделимость от всего мира. Я вот этого и сам раньше не понимал как следует. Война помогла понять. Ну, кое-кому это не в радость. Они, как твой тесть, круг самих себя стену возводят. Только напрасно...

Позднее, на полевом стане, рассказывая о войне, он вспомнил слова Игната о неотделимости их деревни от истекающей кровью страны и подумал, как это верно. Бабы с огрубелыми от работы, в ссадинах и царапинах руками так напряженно-внимательно слушали его, а потом с таким радушием старались угостить из своих скудных запасов, что от гордости за них, от жалости тугой ком подкатил к горлу.

Теперь каждое утро к нему на дрожках заезжал Митька, его возница, и они вдвоем отправлялись за село на фермы и полевые станы. Лошадь Федос запряг бы и сам (он все смелее наступал на перебитые ноги), но Митька не отставал от него. Везде и всем он с гордостью, смешившей Федоса, напоминал: «Это мой дядя». Вечером Федос

останавливал дрожки у МТС, отправлял Митьку распрягать лошадь, сам шел в мастерские, к Даримке. Зачем? Об этом старался не думать.

Вчера Даримка сказала, что послезавтра уедет, и Федос старался вернуться в Тайшиху пораньше, но все равно попал в МТС только к концу рабочего дня. У сарая, где стояли комбайны, Даримка вытирала ветошью руки. Он постоял, ожидая ее, и они вместе пошли за ворота. Где-то горели леса, и воздух был синим, горьким. Закатное солнце, красное, без лучей, было похоже на раскаленный круг железа. Федос шел, поскрипывая костылями, смотрел сбоку на девушку, думал, что вот завтра она уедет и больше ничего уже не будет.

— Ты не можешь остаться дня на два? Ну на день?

— Нет, Федос... Звук «Ф» она произносила не совсем правильно, у нее получалось «Педос». — Ремонт кончен, зачем оставаться? Работать надо.

— Ну да, конечно... — согласился он. — Но ты отпросись. На день. Уйдем утром в степь и до самого вечера будем вместе. Как раньше.

Она серьезно посмотрела на него, покачала головой.

— Тебе зачем со мной ходить? Нельзя. Жена есть.

— Жена есть...

— В том-то и все дело. Жена... Поля. Не ко времени она подвернулась. Глуп был. Испугался, что не устоит перед семейщиной. Не послушал Максима, не внял его просьбе подождать, не торопиться. Максим все понимал много лучше, чем он сам.

— Подлец я, Даримка! Всю жизнь перекобочил.

— Тебе не надо так говорить. Себе плохо делаешь, — с грустью сказала она.

— Да, это верно, не надо бы. И видеться с тобой не надо бы. Да не могу, Даримка, пересилить себя. Раззява я и губошлеп несчастный.

— Нет, нет! — быстро, горячо проговорила она и замолчала. Страдальческая складка легла у ее неярких губ.

— Сам один виноватый, перед тобой, перед собой. И перед Полей тоже. Живу с ней, а душа тут, возле тебя.

Федос знал, что бесполезно и не нужно говорить все это, но не мог удержать себя; ясно, до конца понял он, что никогда не любил свою жену и никогда не полюбит. Дарима навсегда останется в его сердце. Ее не вырвешь, не заслонишь, от нее не уйдешь.

Они вышли за ворота, остановились. Дарима, печально улыбаясь, провела ладонью по его руке, сжимавшей поперечину костыля.

— Ты, Федос, думай немного, ругай себя мало. Хорошо поправляйся.

— Не уходи! Посидим немного.

У конторы был небольшой палисадник, огороженный штaketником, под тополями стояла скамейка, перед ней наполовину врытая в землю железная бочка для окурков. Федос и Дарима сели на край скамейки, подальше от окон конторы. Он обнял ее за плечи, притянул к себе, близко-близко увидел бездонную черноту ее глаз, полуоткрытые губы, влажную белизну зубов.

— Даримка!

Целовал до головокружения, потом резко отшатнулся, стукнул себя кулаком по лбу.

— Совсем голову потерял, дурак!

Но сейчас у него не было злости на себя, на свою неудачно склеенную жизнь, была лишь все затопившая нежность к этой смуглолицей девушке в мешковатом мужском комбинезоне. Он закурил, с наслаждением вдохнул шершавый дым махорки. Темнело. Над головой то сильно, то почти неслышно шумели жесткие листья тополей, на пожарной каланче гулко ударил колокол.

— Не надо так, а? — не то спросила, не то попросила Дарима, прижалась к его плечу. Я худой человек. Помолчала. Нет, я шибко худой человек. Мир большой-большой. Народ много-много. Кто жена, кто муж, кто брат, кто сестра, кто мать, кто отец. Я одна. Бато в тюрьме сидит. Мир большой, а я одна. Очень тебя мне надо. Думать надо. Мой будешь, придешь. Ты не придешь, а думать надо. Тогда хорошо.

Ты славная, Даримка. Ты добрая и умная. Мы с тобой сегодня расстанемся. И я буду думать, как ты.

Кто-то быстро шел от общежития механизаторов. Федос поспешно погасил папироску.

— Федос! Это ты, Федос?

Так и есть Поля. Молчать было глупо.

— Ну я...

С треском распахнулись воротца палисадника. Поля в платке, сбитом на затылок, вскудлаченная, подлетела к скамейке.

— Вот вы где милуетесь? А я-то, дура, не верила! Брысь отседова, бесстыдница!

Дарима встала, тихим, виноватым голосом проговорила:

— Зачем так много кричать?

— Еще разговариваешь! Да я тебе сейчас косы расчесу, вертихвостка, поганка черномазая! — Поля теснила Даримку, махала перед ее лицом кулаком.

— Ну-ка, ты! — прикрикнул на нее Федос. — Скажи о ней еще одно худое слово и я обломаю костыли о твою глупую голову.

Он поднялся, отодвинул плечом жену от Даримы.

— Иди, Даримка.

Проводив ее взглядом, он повернулся к жене. Поля всхлипывала, негромко причитала:

— Навязался ты на мою головушку...

— Пошли...

Ему было жаль Полю, неловко перед ней и стыдно. Хотелось по-доброму, без крика и ругани поговорить, рассказать, как тяжело и больно ему.

— Ну что ты налетела, будто коршун на куропаток... — начал он.

— Замолчи, кусок паразита! На кого ты меня промениваешь, с кем равняешь? Тьфу!

— Поля! — предостерег он.

— Что Поля? Спутался и — Поля? Жрать подавай — Поля, рубаху постирай — Поля, а миловаться с ней будешь?

— Подожди, ну подожди ты, просил он ее.

Но где там! Поля распалилась ничем не уймешь.

— Глаза кипятком вышпарю тебе и ей, со свету сведу!

— Ну что ты мелешь, пустоголовая! Добром хотел с тобой... Эх ты!

Какое-то непонятное чувство овладело Федосом. Ему и хотелось душевного разговора с Полей и тут же он мстительно радовался, что она орет как последняя сквалыга, такую вздорницу не то что любить уважать перестанешь. Один-два разговора, подобных этому, и его жалость к ней дымом улетучится.

— Послушай-ка, Поля, ты только послушай, ругаться потом будешь. Рычишь-кричишь, а почему? Кто тебе такие права дал кричать на меня? Помолчи! Знаю, скажешь: муж ты мне. Так ведь, Поля, муж не

лошадь, заурочит кнутом не выправишь. Если бы я по злобе или еще как... Нас с Даримкой люди развели. Ты это знаешь. И когда у нас с тобой узелок завязывался, я ее совсем было позабыл, Даримку. Значится, было же в тебе что-то такое, из-за чего даже ее позабыть мог. Было. А где это сейчас? И, наверно, не я один виноватый во всем, что теперь есть. Главная твоя забота стряпней да разносолами набить мне брюхо, чтоб доволен был. За это тебе благодарен. Но, кроме брюха, у меня есть и душа, и сердце.

— Чернокорая много про душу знает?

— Да уж побольше тебя. Уж она бы так лаяться не стала. Женился на тебе ни словом не укорила. А могла бы не только укорить, ненавидеть.

— По-твоему, я молчать должна? Ты вон что выделываешь, а я молчи?

— Что я выделываю?

— Прислушайся, вся деревня говорит...

— Эх, Поля, да что может знать твоя деревня? Ты бы прежде, чем рот разевать, у меня спросила, как и что.

— Так бы ты и сказал! Знаю теперь тебя! Сердце у него, душа у него — ха! Про сердце и душу говори, пока неженатый.

Совсем ничего не поняла Поля, и Федос замолчал. Шли по темной улице рядом, по не вместе, в ночной тишине жалостливо поскрипывали костыли Федоса, рвался от попридержанного гнева голос Поля.

С того дня меж ними началась глухая, скрытая от постороннего глаза вражда. Поля то дулась, не разговаривала с ним, то

плакала, грозила, что наложит на себя руки, если он ее бросит, то вдруг льнула к нему, ласкалась, вызывая у Федоса чувство, близкое к брезгливости.

От всего этого уехал на полевой стан. Бабы, девки, окончившие курсы, плохо знали тракторы, какой-нибудь пустяк ставил их в тупик. Федос начал понемногу помогать то одной, то другой и стал чем-то вроде заместителя председателя по технике. Теперь он дневал и ночевал на полевых станах.

Быстро и как-то незаметно освободился он от костылей. К началу уборки чувствовал себя вполне здоровым. Трактористки просили Игната Назарыча выхлопотать для него бронь, и тот уже почти договорился с секретарем райкома Тарасовым, но Федос не захотел

оставаться дома. Его сверстники, товарищи воюют, должен воевать и он.

Военкоматовскую повестку ему привезла Поля. Глаза у нее были заплаканы, но держалась спокойно, была предупредительно-ласкова, без назойливости.

— Ты поезжай домой, сказал он ей, собери, что надо в дорогу. Я приеду позднее.

Он смотрел на зеленые сопки. По ним, ломаясь, бежали тени облаков. За этими сопками где-то стояла тракторная бригада бурят. Перехватив его тоскующий взгляд, Поля прикусила губу, села на телегу.

— Ладно, поеду.

Ему стало понятно, что Поля догадалась, о чем он сейчас думает, и острая жалость к ней кольнула сердце. Что ни говори, а не сладко ей сейчас. И поняла она, кажется, многое за эти месяцы. В последнее время ни в чем уже не упрекала его, не корила. От этого он еще острее чувствовал свою вину перед ней. Не будь его, вышла бы замуж за другого парня и жила, как все люди. А что теперь?

Заседлав коня, он поехал в бурятскую тракторную бригаду. И всю дорогу думал о Поле; о Даримке никаких мыслей не было, она другое, она стала как бы частью его самого; думать о ней значило думать о самом себе.

Возле полевого стана бурятских трактористов курился, угасая, огонь. Повариха, пожилая женщина в старом терлике, запрягала лошадь. Он спросил у нее, где Дарима. Женщина молча показала на распахнутую дверь вагончика. Там спали трактористы и прицепщики ночной смены. Дарима лежала на нижней полке возле дверей; правая рука, оголенная до локтя, свешивалась к полу; губы были приоткрыты, на них упала прядь ее волос и от дыхания чуть заметно шевелилась. Он взял ее за руку, и Дарима открыла глаза. Секунду-другую в них была дрема, потом в самой глубине зрачков вспыхнули крошечные огоньки, и она улыбнулась.

— Уезжаю, Даримка...

— Куда?

— Туда... — Он махнул рукой в сторону, где садилось солнце. Дарима поднялась, умылась из бочки. Лицо её порозовело, стало свежим, гладко причесанные волосы были черны, блестящи, как крыло ворона.

Они пошли от вагончика. За Федосом брела подседланная лошадь, натягивая повод, щипала уже огрубевшую траву. Справа лежало поле — ячменя, у закрайка высоко над ячменем поднималась неистребимая полынь, ее горьковатый дух перешибал запахи поля и трав.

— Вот и все, Даримка, уезжаю...

Сказав это, он впервые подумал о том, что может ожидать его там; возможно, в последний раз видит родимые поля и сопки, вдыхает знакомый с детства запах полыни, возможно, в последний раз говорит с Даримкой...

В логотипе Федос снял с лошади седло, разостлал на земле потник, лег на спину. Качались метелки дэрисуна, стрекотали в траве кузнечики, шумно фыркала лошадь, издали доносился приглушенный рокот моторов. Он снова подумал о войне, но как о чем-то таком, чего не может быть; то, что он там видел, пережил, вдруг показалось невероятным, как кошмарный сон.

Дарима сидела рядом, обняв руками смуглые колени.

— Иди сюда...

Он обнял ее, поцеловал в губы: Дарима порывисто прижалась к нему, зажмурила глаза.

— Я вернусь, Дарима, прошептал он. Я вернусь к тебе.

Затрещал телефон. Игнат снял трубку. Звонил Тарасов, интересовался, как идет хлебоуборка. Придвинув сводки, Игнат начал называть цифры. Выслушав, секретарь долго молчал. Игнату представилось, что он сидит за столом, хмурясь, всматривается в цифры.

— Худо, — наконец сказал Тарасов. — Что думаешь предпринять?

— Есть кое-что на уме. Сегодня собираем правление, поговорим.

— Хорошо. Постараюсь к вам приехать. Но если запоздаю, начинайте без меня.

Повесив трубку, Игнат еще раз посмотрел сводки. Что и говорить худо. В первые дни работы он удрученно опускал руки, им овладевало чувство, похожее на отчаяние. Сейчас этого чувства не было, хотелось действовать продуманно и основательно. Не будь Тарасова, не вышел бы из него председатель ни плохой, ни добрый. В новую для него работу Игнат входил робко, с ощущением человека, вынужденного распоряжаться в чужом доме. Еремей Саввич злорадствовал и ждал, не скрывая этого, когда его снова посадят за председательский стол. Он теперь заправлял бухгалтерией и руководил парторганизацией колхоза, потому считал себя вправе вмешиваться в распоряжения Игната, но чаще вносил путаницу и неразбериху. И Устинья, видя нерешительность Игната, не однажды прямо и резко высказывала свое недовольство. Это его только сердило. Сомустила баб, запихала в председательский кабинет, его не спросив, и вишь ты, недовольничает.

Однажды с Тарасовым целый день мотались по полям, попали под дождь, пока добрались до Тайшихи, промокли насквозь. Насти дома не было, и Игнат сам растопил печь, поставил кипятить чай.

Тарасов сидел на скамье у огня. От его рубашки шел пар, с мокрых кудрей, прибитых дождем, скатывалась, капала вода. Игнат присел рядом, стиснул в кулаке бороду, постучал клюкой по горящим поленьям, глухо сказал:

— Дело такое, Анатолий Сергеевич... Не гожусь в председатели. Совесть мучает.

Тарасов вначале вроде бы удивился, с пристальным вниманием посмотрел ему в лицо, потом отвернулся к огню и слушал, щуря серые глаза, словно видел в языках пламени что-то, ему одному понятное и, казалось, только это его и занимало.

Игнат замолчал, все высказав. На улице метнулся ветер, хлестнул дождем по стеклам окон, будто просо сыпанул.

— Совесть, говорите, мучает? Это хорошо... — раздумчиво проговорил Тарасов. — Но что такое совесть? А?

— Это же каждому понятно.

— Нет. Не все так понятно, как может показаться. В свое время я, как ваш брат, был арестован, сидел почти год. Потом выпустили, в партии восстановили, работу прежнюю дали. А жизнь пришлось начинать почти заново. Друзей потерял... Арестовали многие отrekliсь. И жена...

Из носка чайника ударила струя пара. Игнат отодвинул его клюкой от огня, хотел встать, принести стаканы, но передумал.

— Заколебалась моя вера в людей, в святые для меня истины. Брошу, думаю, все, буду жить только для себя. Бросил бы, и моя совесть осталась чистой. Разве не так?

Игнат, подумав, кивнул головой.

— Так.

После ареста Максима сходные мысли одолевали и его. Подался на мельницу со своей обидой. Разве не верно сделал?

— Ну вот, все было бы по совести. Но я вовремя подумал и о другом. Что с того, если я стану к жизни спиной? Жизнь, быть может, потеряет не много, но я потеряю все. Не кажется ли, Игнат Назарыч, что вы сейчас хотите повернуться к жизни затылком. Вы честны перед самим собой. И это хорошо...

— Дело не в этом, — Игнат нахмурился. — Дело в моем неумении.

— Нет, дело в этом. Опыт, умение придут. Надо только понять, что человек живет среди людей. И для людей. Для людей, Игнат Назарыч. Этим все измеряется. И только этим. Не лгать, не красть, не жульничать и считать, что живешь честно, конечно, можно. Но только в том случае, если совесть короткая.

Игнат не мог не признать правоту Тарасова, хотя она, эта правота, и больно задевала его. Если принять такую меру и приложить ее к своей жизни, то сколько же пустого, никчемного окажется в ней!

Сколько он блуждал вокруг, казалось бы, простых истин... А может быть, это и не такая уж неоспоримая истина? Но если даже истина, что она даст ему?

— Все равно, — сказал со вздохом, — не могу я... не смогу надавливать человеку на хрящик. Неспособный на это.

Анатолий Сергеевич засмеялся, весело блеснул зубами.

— Можно подумать, что основное дело руководителя надавливать на хрящик. Нет, Игнат Назарыч! Ваш Еремей Саввич на это мастер был, но что получилось? Он думал: должность ему даст право вертеть подчиненными, как того пожелает. К сожалению, это беда не одного Еремея Саввича. Такого права между тем ни у кого нет и быть не может. Накричать, пригрозить куда проще, чем убедить человека. Но это, конечно, не значит, что мы должны быть чем-то вроде проповедников. Где нужно, мы имеем право, более того, обязаны употребить силу принуждения. Все зависит, Игнат Назарыч, от того, с кем имеешь дело. Вся суть в этом. Тут ошибаться нельзя.

Игнат кивнул — верно. Но как это все не просто. Вот был секретарем райкома Петров. Такой откровенности и душевной расположенности ждать от него было немыслимо.

— Как там поживает товарищ Петров?

— Ничего. Работает... — Тарасов неопределенно пожал плечами. — А что?

— Да так... Подумал вдруг... Интересно получается. Власть одна, неменяемая, а вот... — Помолчал, не решаясь продолжить. — Ладно уж. Раз зашел разговор на полную откровенность, скажите мне, Анатолий Сергеевич, что вы о нем думаете. Сейчас Петров стал вроде как помягче. А до этого... Вредный был очень.

— Вредный? — Тарасов медленно покачал головой. — Нет, тут не все так однозначно. Говорить мне о нем довольно трудно. Знаю я Петрова давно. По его вызову приехал когда-то сюда... Многому у него научился. Он очень цепкий. Уж если взялся за какое-либо дело, будь уверен, доведет до конца, не бросит на полдороге. Настойчивый... Работать может сутками без отдыха. Вот... — По задумчивому лицу Тарасова пробежала хмурая тень.

— Как-то незаметно мы начали с ним расходиться. Сначала я думал тому виной его нелегкий характер. Но постепенно стал понимать: мы по-разному смотрим на многие вещи. Короче говоря, мне

пришлось уехать. А потом посадили... Ну, вышел, и вскоре, в самое тяжелое для меня время, вызвали в обком. Оказалось, когда встал вопрос о замене Петрова, он сам предложил меня на свое место.

— Сам? — недоверчиво спросил Игнат.

— Ну да, сам. Это озадачило и меня. Уж он-то лучше, чем кто-либо, знал, что у нас с ним разный подход к жизни. До сих пор не знаю, что побудило его сделать это. Иногда кажется, что он понял бесперспективность пути, каким шел. А то начинаю думать, что смотрит на меня с тайной усмешкой: «Ну-ка, умник, покажи, что у тебя выйдет». При этом и мысли не допускает что у меня может получиться лучше, чем у него. Но кто знает... Человек, Игнат Назарыч, не коробка спичек открыл, увидел, что обгорело, что отсырело. Иной раз и о себе самом судить верно затруднительно. А в таких случаях только время покажет, что сгорело, что отсырело, что осталось.

— Из-за чего началось несогласие?

— Если все упростить, то из-за того же, что у вас с Еремеем Саввичем. На руководителе в наше время лежит огромная ответственность. Не умеешь опереться на товарищей, она может и согнуть, и сломать. Петров во всем полагался прежде всего на самого себя. Любые вопросы старался решать самолично. На первый взгляд это неплохо. Однако жизнь сложна, нового, неизведанного в ней чертова уйма, когда берешь все на себя, неизбежно начинаешь принимать поверхностные решения. Так получалось нередко и у Петрова. Вспомни хотя бы пресловутый сверххранний сев. А когда дела не ладились, он считал, что ошибочны не сами решения, всему виной неумение, нерадивость людей. Отсюда недоверие к ним.

Рубаха на груди Тарасова подсохла, он повернулся спиной к огню, стал молча смотреть на мокрые стекла окон.

— Мне непонятно, — сказал Игнат Назарыч, — если он такой, почему возле себя держите?

— Снять надо? — Тарасов слегка повернул к Игнату голову, насмешливо блеснул глазом. — Самое простое решение редко бывает и самым мудрым. Мы переделываем не только мир, в котором живем, но и самих себя. Внутренняя перестройка человеческой души самое трудное в нашей задаче. Когда человек заблуждается или ошибается, у него всегда должна быть возможность понять свои ошибки и

заблуждения. Почему же мы должны лишать такой возможности Петрова? А ко всему прочему, он опытный работник.

— Вы надеетесь, что он переделается?

— Должен. Все будет зависеть от него. Переделываться в какой-то мере нужно все время и каждому из нас. Иначе и сам будешь мучиться, и людей возле себя мучить. А в одно прекрасное время жизнь, не спрашивая, Петров ты, Сидоров или Тарасов, безжалостно отодвинет в сторону.

Замолчали, думая каждый о своем.

Потом долго еще говорили о самых разных вещах. Игната удивляло и радовало, что их суждения о жизни во многом сходны. То есть они вроде как и разные, будто две тропки, бегущие рядом, то приближаются, то отдаляются друг от друга, но суть в том, что обе ведут к одной дороге. И оттого, что это так, не иначе, теплело на душе Игната, и все, что угнетало и заботило его, уже не казалось таким неодолимо-трудным.

За чаем, грея руки о стакан, Тарасов спросил:

— Как работает Устинья Васильевна?

Ничего особенного не было в этом вопросе, спросил и все, но Игнату показалось, что на одну секунду лицо секретаря райкома стало напряженным, словно бы этот вопрос не был для него обычным. Игнату стало неловко от мысли, мелькнувшей в эту минуту, он постарался отогнать ее, но ничего не получилось. Выбрав время, спросил:

— А с женой как? Живете?

— Нет. Один. Не мог ее простить... — Он нахмурился, изломанная бровь чуть закруглилась, другая, ровная, дугой выгнулась.

Игнат пожалел о своем любопытстве. У каждого человека есть что-то такое, к чему другим лучше не прикасаться.

Сейчас, склонив голову над сводками хлебоуборки, Игнат мысленно перебрал весь тот памятный для него разговор. В общем-то ничего такого, сверхмудрого, не было сказано, тем не менее именно после него он почувствовал внутреннюю необходимость делать в лучшем виде все, что поручали ему люди. И чем сложнее становилось положение в колхозе, тем сильнее было его нетерпеливое желание найти наиболее приемлемый выход.

Хозяйство рушилось на глазах. В армию отдали всех хороших лошадей, остались выбракованные одры, истощенные, умученные

работой, они еле таскали себя; от тракторов тоже польза небольшая, запасных частей нет, трактористки малоопытны; сев провели с опозданием, землю всковыряли кое-как, потому урожай убогий, да и хлеб что вырос, того и гляди осыплется.

Беспокоило и другое. Питались люди очень плохо. У многих приварки никакой нет: дневная «пайка» ломоть хлеба и бутылка молока из дому вот и вся еда.

И мало людей. Нигде не хватает рабочих рук.

Игнат встал из-за стола, подошел к окну, уперся лбом в прохладную стеклину. Вечерело. Улица была пустынной. Возле заборов по тропке прошли две старушки с узелками в руках. В одной из них он узнал мать Устиньи. Не иначе как на моленье направились, к пастырю духовному Ферапонту. Живуч, цепок, увертлив старик. Ну подожди же...

Постучал в переборку. Из бухгалтерии пришел Еремей Саввич.

— Посыльная здесь? Пошли-ка ее к Ферапонту, пусть сейчас придет сюда.

— Зачем он? Скоро начинать правление...

Игнат сел к столу, потянул к себе бумаги. Еремею Саввичу только бы поговорить. Стоит стукнуть в переборку тут как тут. И будет судить-рядить о том о сем, переливать из пустого в порожнее. Вот и сейчас стоит, чего-то ждет. Потом начнет спрашивать, о чем будет разговор с Ферапонтом.

— Иди же, — сказал ему, не поднимая головы. Ферапонт пришел почти сразу же. Сивый, гривастый, с палкой в руке, остановился у порога, чуть наклонил голову, из-под бровей вглядываясь в лицо председателя. Кивком головы Игнат показал на стул. Старик сел, поставив палку меж колен.

— Как жизнь, Ферапонт Маркелыч?

— Слава богу, живу. Зачем позвал, сказывай. Если сызнава про знамения пытаться будешь...

— Не буду, Ферапонт Маркелыч. Куда спешишь-то, на молитву?

— А хотя бы и на молитву.

— Для тебя есть другое, более полезное дело. На мельницу посадить некого. Вот я и подумал...

— Еще что! — Ферапонт поерзал на стуле, сложил руки на палке. — Я стар и немощен для работы.

— Не тяжелая работа. Сейчас все работают, Ферапонт Маркелыч. Слышал небось: кто не работает, тот не ест.

— Я у тебя кормежки не прошу! — Крепкие, узловатые пальцы Ферапонта плотнее сжались на палке.

Игнат вспомнил старушек с узелками. В узелках хлеб, яйца, сметана, мятые трешницы. Спросил грубо:

— А что ты ешь? Кусок хлеба малых ребят, баб и подростков, которые на работе горбятся?

— Ни у кого ничего не прошу.

— Но и не отказываешься. Все это просто противно человеческой натуре. Будь я на твоём месте, кусок бы в горло не полез!

— Господь каждому определил свое место и назначение...

— Много раз слышал. Но ты вот что возьми в толк. На это место, — Игнат похлопал ладонью по столу, — меня определили люди. А я тебя назначаю на работу. И попробуй воспротивиться. Бог далеко, а я тут вот, рядом, и стребую с тебя по всей строгости.

Багровый от возмущения, Ферапонт поднялся, стукнул палкой по полу:

— Слуга антихриста! Воздаст тебе господь!

— Воздаст или нет, бабка надвое сказала. А ты этот разговор крепко помни. Я тебя уже предупреждал однажды. Больше предупреждений не будет. Твоя зловредность берегись, против тебя обернется.

От этой перепалки на душе Игната остался нехороший осадок. Была маленькая надежда, что старик поймет, какое тяжелое сейчас для народа время человек же он! — нет, ничего не понял. Закоснел в своей злобе, глух и слеп к людским болям и страданиям. Убеждать, уговаривать такого все равно что кулаком камень раздалбливать.

Понемногу собрались члены правления артели. Игнат поглядывал в окно, поджидая Тарасова. Его все не было. Пришлось начинать заседание.

Хмуро, но без нажима перечислил все порухи в хозяйстве. Собранные вместе, они выстроились в безрадостную картину. Устинья завертелась на стуле, потом, раздув ноздри тонкого носа, накинулась на Еремея Саввича.

— Это все твои хвосты и загогулины! Наворотил от большого ума. Гляделки бы тебе выдавить за твое руководство!

Игнат остановил ее.

— Он виноват не многим больше, чем все мы. Главная беда в том, что вовремя не повернули хозяйство с довоенной дороги. Не приспособили его к нашим малым силам. Это надо сделать сейчас. Давайте по порядку. Скажем, как нам быть с тяглом?

— Об этом я раньше тебя беспокоился! — рассерженный выпадом Устиньи, сказал Еремей Саввич. — Через областной комитет партии большевиков ход делал, просил возвернуть часть лошадей, забранных в армию. Получил отказ в самой острой форме.

— Нечего было и просить. Раз взяли лошадей, значит, они нужны армии. Какие тут могут быть разговоры? — удивился Игнат. — Я вот что подумал. В стаде у нас бычки есть. Их запрягать придется.

— Ничего не выйдет, Назарыч, — сказала Прасковья. — Это же такой скотиняка! Недаром упрямого с быком равняют. Я лучше сама впрягусь в постромки, чем на рогачах пахать.

— Ну, развела! — остановил ее Абросим Николаевич. — В ту войну я на Дону был, на Украине. Своими глазами видел, что на быках и пашут, и лес, и корм возят. Правильная твоя задумка, Игнат Назарыч.

— Давайте, чего уж! — неожиданно легко, с какой-то обреченностью согласилась Прасковья. — Вот жизнь, едри ее в маковку! Слыханное ли дело на семейщине — рогатые рысаки в упряжке!

В голосе ее была и боль и грусть. Семейские, что правда, то правда, никогда на быках не ездили, при самой великой нужде не снисходили до этого, но и то сказать, ведали ли они такую нужду, какая сейчас пришла?

— Ничего другого у нас нет и не ожидается, — мягко, словно уговаривая и одновременно извиняясь, проговорил Игнат. — Будем запрягать быков, потребуется, и сами в постромки встанем, а то, что на нас возложено, вывезем. Иначе никак нельзя... Теперь про харчи. Придется нам на полевых станах хотя бы раз в день общий стол устраивать.

— Обождите, — Еремей Саввич поднял руку. — Обождите. Вопрос этот, товарищи, с политической подкладкой. Общий котел когда-то в коммунах вводили. Это есть уравниловка, осужденная и клейменная. Кто дозволит назад возвращаться? За такое дело, товарищи, с меня как с политического руководителя голову снимут!

— Снимут, не многого лишишься, Еремей Саввич! — съехидничала Устинья.

— О своей голове у него забота! — подхватила Прасковья. — Погляди, как бабенки кормятся. Да они у нас к осени все полягут, один останешься со своей политикой.

Ереме, не однажды битому бабами, помолчать бы, но он принялся обвинять Прасковью и Устинью в полном непонимании партийной линии, разозлил их, и завязалась такая перепалка, что хоть убегай из конторы. Устинья вся вспыхнула, вскочила, того и гляди кулаки в ход пустит.

В разгар спора в контору вошел Тарасов. И Игнат удивился мгновенной перемене, которая произошла с Устиньей. Она сразу села, замолчала, только зеленые глаза ее сухо поблескивали.

После заседания Игнат, Устинья и Анатолий Сергеевич пошли вместе. На улице было темно, с полей тянул сырой и теплый, как парное молоко, ветерок. Устинья беспричинно развеселилась, посмеивалась, напевала озорные частушки, мешала разговору.

У своего дома остановилась, протянула Тарасову руку.

— До свиданья. А то заходите, у нас переночуете. Места хватит.

Торопливо, опережая Анатолия Сергеевича, Игнат сказал:

— У нас еще поговорить есть о чем. Не отпущу.

— А мне тоже, может быть, есть о чем поговорить с Анатолием Сергеевичем, — посмеивалась она и держала руку секретаря райкома в своей руке.

«Ох, девка, не наживи беды!» встревоженно подумал Игнат.

В зимовье полевого стана первой бригады за длинным, от стены до стены, столом обедали бабы. В стороне на нарах сидели Игнат и Устинья и о чем-то вполголоса разговаривали. До Верки Рымарихи доносились отдельные слова, но смысла разговора она уловить не могла и настораживалась, напрягала слух. Может быть, о Павле разговор. Уже всем известно, что он в бегах. Из милиции были, обыск делали, хорошо, что никто не догадался о перегороженном подполье. Васька ходил за милиционерами следом, бледный, с диковатыми от ненависти глазами. «Вы кого ищете?» спросил он. Те молчали. «Отца ищете, да?» не отставал Васька и вдруг закричал: «Мама, гони их отсюда! Как вам не стыдно?! Батя добровольно ушел в армию, добровольно! Болтовне верите! Уходите!» А потом, когда они остались одни, он расплакался, пригрозил убежать из деревни. И она тоже плакала от жалости к нему, от сознания вины перед ним, от горя, мучительного и постоянного, как неизлечимая болезнь.

Сейчас, прислушиваясь к тому, о чем говорили Игнат и Устинья, она тревожилась за Павла. Дома никого нет, Васька бросил школу и пасет колхозных коров. Ночью Павел теперь на улицу не ходит, днем выбирается из подполья и отлеживается на полатах. Сделают обыск еще раз без нее и все. Может, уже и заарестовали, может, об этом и разговор. Игнат, он сразу-то ведь не скажет, жалеть ее будет. Вот он смотрит на нее. Взгляд добрый, без жалости всякой. Слава богу, кажись, ничего не произошло.

— Бабы, два дела к вам, — сказал он. — Первое такое... Зима придвигается. Можем ли мы мужикам, которые в окопах, послать теплых вещей? У кого есть варежки, у кого рукавицы или валенки все сгодится. Говорите, кто что может дать. Устинья Васильевна отдает дубленый полушубок.

— А старый можно? — спросила Поля.

— Я думаю, нет. Неудобно как-то... Попадет, скажем, твоему же Федосу. И вместо радости, одни заботы, там порется, тут рвется, знай чини. Воевать некогда будет.

— Пиши, Назарыч, от меня четыре пары варежек из поярковой шерсти, — сказала Елена Богомазова. — Для Лучки вязала. Бог даст, ему и достанутся.

Почти у каждой из этих баб кто-то был на военной службе, и они охотно, без уговоров отдавали все, что могли отдать: не кому-нибудь, а своим, родным людям. Верка, поколебавшись, попросила записать новую черненую борчатку. Ее справила Рымареву перед самой войной, ни разу надеть не успел. Как бы она радовалась сейчас, если б могла думать, что эта теплая, красивая шуба попадет к ее Павлу, напомнит ему о доме, о ней, о Ваське, но Павел отсиживается в подполье, а в его шубе будет воевать другой мужик, может быть, не столь умный, грамотный, зато честный. Честный... Стало быть, ее Павел бесчестный...

— А второе дело, бабы, такое. Во что бы то ни стало надо нам сегодня закончить здесь молотьбу, — сказал Игнат. — Утром молотилку перебросим на другой стан.

— Молотьбы еще много, до полуночи хватит, — уточнила Устинья. — Но если не закончим, завтра день пропаций. Пока домолотим да переберемся на новое место, установим молотилку — вечер.

Бабы молчали.

Игнат обвел их взглядом, вздохнул.

— Тяжело вам, понимаю. Потому заставить вас ни я, никто другой не может. Одно скажу, очень это нужно. Управимся с молотьбой до морозов всем легче будет.

— Что тяжело, не самое главное, — сказала Татьяна. — Дом у каждой. Ну, у меня Митька все сделает, а у других?

— Скотину напоить, накормить я ребят попрошу. Митьку твоего, Антона, Назарку с Петькой... И старушек к этому делу подключу. Игнат про себя улыбнулся. — Теперь наши старушки посвободнее стали.

Бабы согласились. Верка тоже кивнула головой, но, представив, как вольная настырная ребятня или дотошные старухи станут распоряжаться в ее доме, испуганно отказалась.

— Нет, я не останусь. Ни за что!

— Из сил выбилась? — с вьедливым участием спросила Прасковья.

— Выбилась! — зло ответила Верка.

— Ну-ну... — мягко остановил ее Игнат. — По доброй воле это делаем. Не можешь поедем. Вечером увезу тебя в Тайшиху.

Верка выскочила из-за стола, вышла на улицу. На дальних горах белел снег, холодный ветер тоскливо посвистывал в голых стеблях полыни, гнул к земле белые метлы дэрисуна и катил меж сопok бесприютные шары ханхула, сваливал их в овраг за амбарами; они топорщились там, колючие, никому не нужные.

У молотилки она постояла, остужая на ветру пылающее лицо, взялась за вилы огромные березовые трехрожки.

Вскоре подошли бабы. Настя завела трактор, включила привод. Широкий ремень дернулся, побежал, с каждой секундой убыстряя свой бег, вздрогнула, зашумела молотилка, отряхивая с себя густую пыль.

Работала Верка без радости, часто останавливалась, смотрела на поля, на узкую полоску дороги. Она первой увидела всадника. Он мчался на низенькой монгольской лошадке, болтая неловко ногами. И по тому, как он гнал, Верка сразу почуяла какую-то беду, бросила вилы.

— Бабы, кто это?

— Батя мой, что ли? — Поля приложила к бровям ладонь козырьком. — Ну, точно, он. Куда это разбежался? Шею свернет, старый.

Викул Абрамыч осадил лошадь у молотилки, свернулся с нее, сдернул с головы шапку. Ветер растрепал его бороденку, взъерошил жиденькие волосы.

— Поля, доченька, мужика твоего...

— Федоса? Убили? — Вилы выпали из ее рук, она медленно села на землю. — Ой-ой... Уби-и-или!

Ее пронзительный вскрик полоснул по сердцу.

Сбились в кучу, заплакали бабы. Тарахтела, гремела пустая молотилка. Ветер закручивал пыль и полову, шевелил солому. Игнат и Викул Абрамыч стояли, опустив обнаженные головы. Лошадка Викула Абрамыча, путаясь в поводе, подошла к вороху хлеба, хватала зерно вислыми губами, косила на людей недоверчивым взглядом.

Игнат велел Насте остановить молотилку, запряг лошадь, отправил Полю и Татьяну домой. Поздно вечером он и сам уехал. Перед этим подошел к Верке, спросил:

— Ну что, поедем?

Голос у него был глухой, тусклый. Она была рада, что даже в такую минуту Игнат вспомнил о ней, но ехать с тока сейчас, когда двоих уже нет, было невозможно, остальным бабам пришлось бы домолачивать хлеб чуть ли не до утра. Осталась и работала с каким-то ожесточением, вилы в ее руках угрожающе потрескивали.

Время было за полночь, когда отмолотились. В зимовье бабы повалились на нары, но долго не спали, вспоминали Федоса, других погибших мужиков и парней; это был очень грустный разговор и, видимо, очень необходимый: люди становились ближе друг другу, горе, тревоги словно бы породнили всех этих женщин, сделали сестрами. У Верки тоже было чувство родства с ними, но его, это доброе, омывающее душу чувство, разъедал страх: узнают бабы, что она укрывала Павла, отвернутся, и не будет ей места меж ними.

Рано утром на полевой стан опять приехал Игнат. Верке он сказал, что ее от работы на току освобождает.

— Будешь возить на размол хлеб. Ночевать всегда дома можно...

Заботливость Игната ее сейчас тоже не порадовала. Быть возле дома, как собака возле амбара, принуждена была не из-за хозяйства, из-за Павла, за хозяйством могут кое-когда присмотреть и соседи, а с ними она, опять-таки из-за Павла, дружбы никакой не водит, кто бы за чем ни пришел, старается поскорее выпроводить.

В деревню она приехала перед обедом. Окна в выстуженном доме были запылены, грязны. Темнота, неуют, тоска. Лук под кроватью не тронут, стало быть, Павел наверх не выходил. Защелкнув дверь, она подняла крышку в подполье. Он вылез закоченевший, зеленый, будто после лихой хвори, злобный, как хорек.

— Целые сутки не ел! Уморить меня хочешь? — свистящим шепотом принялся он ругать ее. — Где была? Почему не ночевала?

— Лезь на полати, я сейчас печку затоплю и поесть сготовлю. Она не стала ни оправдываться, ни рассказывать о гибели Федоса. Пообедав, запрягла лошадь и поехала на мельницу.

На мельнице Ферапонт был один. Сидел в зимовье над толстой книгой, вслух нараспев читал молитвы.

— Посиди, голубица, — ласково пригласил он ее. — Отыскал я в Святом писанин указание божье на времена наши. Речет святая книга: огонь и мор прокатится по земле от моря до моря, и наступит темное царство антихриста, изверятся, осатанеют от кривды и разврата люди.

Тако ж и есть. Но пошлет господь на людей еще одну войну, какой белый свет не видывал, и сгорит в огне царство антихриста со всеми слугами его...

Верку пугал надтреснутый, но все еще мощный бас Ферапонта, пронзительный взгляд маленьких глаз, спрятанных в глубокие провалы орбит.

— Я пойду мешки скидывать. Домой надо мне возвращаться.

— Ну, скидывай. На ночь мельницу запущу, утром можешь муку забрать. — Постоянно будешь ездить?

— Постоянно.

— И слава богу. Будет время побеседовать. Слышь, голубица, мужик-то твой в бегах, сказывают, правда ли? Не запирайся передо мной, хранителем веры. Не враг я ни тебе, ни твоему коммунисту. Сейчас молчи. А будет в том нужда, смело приходи ко мне, доверься. Самим богом завещано мне быть пособником и щитом гонимых. Я могу укрыть твоего мужика...

Глаза его так и буравили, так и буравили Верку.

А дома ее поджидал Васька. Увидев его, Верка вспомнила, что Павел остался на полатях, и обомлела ну, как сыну вздумалось что-то там искать! Но Васька, видимо, только что приехал, намерзся на ветру, стоял у печки, обнимая руками чувал, долговязый, тонкий.

— Дай мне что-нибудь перекусить, собери харчишек и я поеду, — сказал он.

— На ночь-то глядя?

— Утром рано коров выгоняем, опоздаю.

— Одежонка у тебя худая, мерзнешь, поди?

— Сейчас нет. Но скоро придется в полушубок влезать. Ты мне не дашь на зиму батину борчатку?

— Новую? Ее подписала. Сдать надо. У нас еще есть полушубок хороший, убавлю его, и зиму проходишь. А лучше бы тебе, Васенька, в школу вернуться. Жалеть потом будешь, что безграмотным остался.

— Сидеть за партой сейчас, когда с тебя ростом, просто стыдно. После войны выучусь.

— После войны еще рослее будешь и совсем за парту не сядешь. А хочешь легчиком быть. С малой грамотой, думаю, не возьмут.

Васька нахмурился, отвернулся.

— Я бы учился, да тебя жалко. Замоталась, затрепалась, а ничего не хватает. Сейчас я сытый, с тебя ничего не требую.

— Дурак ты, Вася, совсем еще дурак. Для тебя работать мне не тягость, а радость. Снимайся с работы и учись.

— Подумаю, мама.

Он уехал в потемках. Верка проводила его за ворота, закрыла ставни окон, зажгла в доме лампу. Павел свесил с полатей лохматую, нестриженую голову.

— Зря его уговариваешь в школу вернуться. Когда он дома, мне из подполья шагу сделать нельзя.

— А ты ему покажись да расскажи, почему прячешься! — на Верку накатила внезапная злость. — Сын он тебе или кто? Ради чего без грамоты оставить хочешь? А за какие такие заслуги я должна от него, от себя кусок хлеба отрывать и тебя потчевать? Надоело мне все это до тошноты. Убирайся к чертовой матери!

— Опомнись, Вера! Тише, очень прошу тебя тише! — Павел озирался на окна, испуганно таращил глаза на нее. — Ты же у меня единственный и самый родной человек на свете. Без тебя я пропал.

— Замолчи, не хочу больше слушать! Опротивел ты мне, таракан. Слезай, жри и уматывай, не то донесу или свяжу тебя и отдам в руки милиции. Сил у меня больше нет терпеть!

— Куда я пойду? — Успокойся, Вера, и все обсудим.

— Обсуждать нам нечего, наобсуждались. Иди и объявись, не навлекай на сына своего позора. Садись за стол.

Рымарев поел торопливо, молча, остался за столом, ловя ее взгляд.

— Не поглядывай, одевайся! — грубо приказала она.

И он начал медленно, нехотя одеваться, сопел, вздыхал. В отходчивом Веркином сердце вновь зашевелилась жалость к нему, но она стиснула зубы, ушла в запечье, чтобы не видеть его, не слышать вздохов.

Павел оделся, постоял у дверей, попросил:

— Ты, Вера, не забывай меня. Трудно мне сейчас.

— Сейчас всем трудно. Иди.

Он вышел. Под окнами послышались его осторожные шаги. Подождав немного, Верка вышла заложить двери. На улице была темень, падали редкие снежинки.

Снежной заметью накатила на Тайшиху зима, нагромоздила у заборов сугробы, придавила снегом крыши домов, заковала в лед ручьи и речки. По ночам в полях выли волки, наводя ужас на деревенских собак. Непуганые волчьи стаи нагнали, нередко среди дня нападали на колхозные стада и табуны, рыскали по тайшихинским гумнам. Вечером тайшихинцы запирали скотину на крепкие засовы, закладывали двери домов, без крайней нужды не высовывали носа на улицу. Но сильнее страха перед волками был мороз. В тот год мало кто смог заготовить дров с лета, и это стало бедствием всей Тайшихи. С осени еще так-сяк перебивались, сжигая старые запасы, а потом стали разбирать сараи, глухие заплоты, когда сожгли и это, принялись за колхозную поскотину. Едва стемнеет, со всех сторон слышно шир-шир... Волокнут по снегу жерди и ни волков, ни начальства не боятся.

Устинья не знала, что и делать. Расхитители свои же бабы или ребятишки ихние, что с ними сделаешь?

Бригадир второй бригады бельматый Иван Романович и Еремей Саввич застукали с жердями Прасковью Носкову, составили акт и передали его в народный суд. Игнату больших трудов стоило прикрыть это дело, но Еремей Саввич не смирился, на партийном собрании обвинил председателя в потакании преступникам, пригрозил добиться примерного наказания для Прасковьи.

— Иначе мы не остановим воровства, — предупредил он. — Все по жердочке растащут. Весной на неогороженные поля хлынет скот, сожрет, вытопчет посевы.

— Вытопчет, — грустно согласился Игнат. И Устинья тоже понимала, что на этот раз Еремей Саввич не ради пустозвонства говорит, от души тревожится. Но о чем думает Игнат, что у него на уме?

— Сегодня ты отвел кару от Прасковьи, завтра сам на скамью подсудимых сядешь. Как большевик и секретарь организации предупреждаю тебя, Игнат Назарыч.

— Оно, конечно... — несмело поддакнул Иван Романович. — Партийная совесть... ответственность...

— Меня вы тоже в партию принимали, — напомнил Игнат.

— Ты пока еще не полный коммунист, ты пока еще безголосый кандидат, — возразил Еремей Саввич. — И если так дальше дело пойдет, посмотрим, принимать ли тебя.

Игнат взглянул на него с сожалением.

— Иван Романович напомнил о совести ко времени. Я, допустим, свою совесть на две половины партийную и беспартийную не делю. Она у меня одна. И она мне не позволяет бабу фронтовика из-за жердей в тюрьму спроваживать. Легко ли будет воевать Григорию, мужику Прасковьи, когда узнает, что мы ее за решетку упрятали? Нет, Еремей Саввич, до тех пор, пока от меня хоть что-то зависит, такого не допущу.

— Хорошо сказал, Игнат, — одобрила Устинья. — Я так же думала. Но не обессудь, Еремей Саввича я отчасти тоже правым считаю. Ближние посева без поскотины ни за что не уберечь.

— Вот про это и надо думать. Судом да расправой мало достигнем, — Игнат привычно подергал бороду. — Как уберечь поскотину?

— Жерди надо свезти на бригадные дворы, там сторож есть, не разворуют, — сказала Устинья.

— Это можно. Но чем топить будут? Ребятно поморозят или все домашние постройки сожгут.

— Пусть жгут, Игнат Назарыч, — сказал Еремей Саввич. — После войны понастроим.

— После войны и других дел хватит, — хмуро отозвался Игнат. — Давайте так сделаем... Соберем мужиков, какие есть, баб, которые покрепче, выедем в лес на заготовку сушняка. Заготовим, к дороге вывезем. Тогда и на быках любая баба за дровами съездит.

— А где они у нас, мужики? — спросил Иван Романович.

— Ты, я, Еремей Саввич, уже трое. Лифер Иванович, Викул Абрамыч... наберется хорошая бригада.

— Я в лес поехать не могу. Нельзя мне без призора бухгалтерию оставить, — насупился Еремей Саввич.

— От бухгалтерии я тебя освобождаю. Негоже в такое время мужику костяшки счетов гонять. Посадим туда сестру Тараса Акинфеева, Маньку, девчушка семь классов окончила, грамоты у нее побольше, чем у нас с тобой.

Игнат сказал просто, как бы между прочим, могло показаться, что это пришло ему в голову только сейчас, но Устинья хорошо знала

своего деверя, потому поняла, что он объявил о решении, давно и со всех сторон им обдуманном, и уже ничто не заставит его попятиться назад.

Еремей Саввич в первую минуту только глазами моргал, казалось, не мог уразуметь сказанное, потом его лицо налилось кровью, стало под цвет огненно-рыжих волос и бороды. Сейчас зачнет рвать и метать. Но его опередил Игнат. Он говорил спокойно, словно бы советуясь с Еремеем Саввичем.

— Дело, вишь ли, заковыристое. Партийцы во всем должны примером быть. А какой пример покажешь, перебирая бумажки в бухгалтерии? Станешь в один ряд с бабами, и слово твое сразу веским станет. Мне почему-то казалось, что ты и сам подумывал от бумажек отказаться.

Устинья чуть не засмеялась, до того ловко скрутил Игнат руки Еремею Саввичу. Ну-ка, ну-ка, что ты теперь скажешь, как ты против этого попрешь?

— Подумывал, — пробормотал Еремей Саввич. — Давно подумывал. Но что Манька сделает с учетом? Все позапутает.

— Ты ее подучишь, поможешь.

Сколько раз уже, — вслушиваясь в ровный, глуховатый голос Игната, вдумываясь в его слова, Устинья ловила себя на том, что сравнивает деверя с Корнюхой, и всегда это сравнение бывает не в пользу мужа. Корнюха не глупее старшего брата, в чем-то даже сильнее его и уж, конечно, красивее, ловчее, а вот душевного расположения у людей к нему никогда не было. Раньше она считала, что причина тому излишняя бережливость Корнюхи, его заносчивая самостоятельность, а вот сейчас вдруг поняла, что дело не в этом только. Игнат, неуклюжий с виду, замкнутый, неречистый, близко к сердцу принимает радости и горести любого человека, и даже когда принужден бывает сказать кому-то несладкую правду, делает это так мягко, бережно, что у человека не возникает желания обижаться, противоречить. И на этот раз по праву председателя он мог бы просто-напросто приказать Еремею Саввичу заняться наконец мужичьим делом, и тот бы никуда не делся, побрыкался да и взялся бы и работал как миленький, но уж и злился бы. А Игнат толкует ему, как это хорошо будет, что секретарь пойдет на самую черную и тяжелую работу, как станут уважать его колхозники за это. Тщеславному Еремею Саввичу такие слова, что мед на язык, он

уже без склок и шума готов слезть с бухгалтерского стула. Самое же главное, Игнат не хитрит с ним, Устинья доподлинно знает, он в самом деле хочет, чтобы Еремея Саввича уважали не за должность, не за ловкость вязать слово к слову, а за дела, и он, Игнат, может добиться, что уважать будут. Если же взять Корнюху ее... Но о Корнюхе плохо думать не хотелось. Думая о нем плохо, она оправдывает себя, а какое ей может быть оправдание? Он где-то мерзнет в тонкой шинелишке, тоскует ночами по сыну, по дому, по ней, а в ее сердце, бабьем, глупом поселилась другая тоска. И все произошло внезапно, неожиданно, встретилась с ним взглядом, что-то дрогнуло внутри, сдвинулось и уже не становится на свое место.

Резко задребезжал телефонный звонок. Устинья вздрогнула, чутьем угадывая, что звонит он, Анатолий Сергеевич. Сколько раз, улучив минуту, когда в конторе никого не было, она подходила к телефону, бралась за трубку, но так ни разу и не решилась позвонить ему, поговорить с ним о чем угодно, только бы поговорить, только бы услышать его голос. Никогда робкой не была, а тут вот не смогла.

Игнат снял трубку, почесывая карандашом висок, стал рассказывать, что идет собрание, решается вопрос о заготовке дров.

— В первую очередь семьям фронтовиков? Это уж, конечно.... Семена? Веем, очищаем. В лес приедете? Давайте. Достаньте пороху, и загон на коз устроим.

Повесив трубку, Игнат остался стоять у стены, все так же почесывая висок, о чем-то думая.

— Жить в лесу придется с недельку, не меньше. За председателя, я думаю, оставим... — Игнат повернул голову, остановил взгляд на Устинье.

Она вскочила.

— Ни за что! Поеду с вами в лес.

— Экая торопыга... Подожди... Не может же колхоз без головы остаться.

— Нет, нет и нет! Абросим Николаевич пусть останется. Хотя и слабое у него здоровье, да за неделю ничего не случится.

Игнат в бороду усмехнулся, спросил у Кравцова:

— Ну как, Абросим Николаевич?

— Могу и я, раз такое дело. Лесоповальщик из меня все равно не выйдет.

Устинье показало, что Игнат догадывается, из-за чего она так рвется в лес, опустила голову, пряча вспыхнувшие щеки, ругая себя последними словами. Ну не дура ли? Для чего ей все это, к чему? Ничего же не изменишь, девичества не возвернешь, жизнь заново не начнешь, стоит ли бегать за ним, как семнадцатилетней, травить себе душу... И уже не рада была, что отказалась остаться в деревне.

Но собиралась в лес как на праздник. Из сундука достала новенькие черные унты с подвязками, тканными из разноцветных ниток, шелковую, расшитую на груди кофточку, белый пуховый платок. Мать, увидев ее в этом наряде, ахнула:

— С ума спятила! Да и кто же такую одежду в лес одевает?!

— Не ворчи. Не одежду бы ты жалела, а меня, — сказала Устинья, но пуховый платок и унты сняла, оставила только кофточку с васильками на груди, еще девичью кофточку.

Остановиться решили на мельнице, в зимовье. Игнат и Устинья подъехали первыми, слезли с саней. Снег у зимовья был истоптан, измят, местами четко отпечатывались следы больших неподшитых валенок.

— Здесь кто живет, что ли? — спросила Устинья. Игнат, рассматривая следы, покачал головой.

Как речка стала, Ферапонт домой перебрался. Да и не носил он сроду валенок. Может, кто из охотников был.

В зимовье было холодно, но много теплее, чем на улице. Потрогав печь, Игнат определил, что истоплена она совсем недавно.

— Охотники, кому же еще быть, — сказал он, словно сам себя успокаивая.

В тот же день принялись за работу. На крутых склонах гор отыскивали сушины сосны, высохшие на корню, рубили и вывозили к мельнице. Лес наполнился голосами людей, ржанием лошадей, звоном топоров и пил, скрипом полозьев.

Устинья валила лес на пару с Веркой Рымарихой. Верка почти не разговаривала, все делала молча, вечером, едва поужинав, ложилась спать, хотя все колхозники подолгу сидели у очага, с ярко пылающими смолянками, вели нескончаемые беседы про жизнь. Устинья в этих беседах тоже не принимала никакого участия, грелась у огня, прислушивалась к каждому звуку за стенами зимовья. Ей казалось, что Тарасов приедет обязательно вечером, зайдет в зимовье весь в

пушистом инее, сядет у огня, и, увидев ее, чуть заметно, ей одной, улыбнется. Она его не видела с самой осени. Он почему-то вдруг перестал бывать в Тайшихе, из района приезжал лысый Петров, всякие другие начальники, а его не было. Последний раз она видела его тоже не в Тайшихе, а в райкоме. После того как ее и Игната приняли в кандидаты, Ерема повез их на утверждение. На бюро ей какие-то люди задавали всякие вопросы, но она никого не видела, кроме Анатолия Сергеевича. Он чуть наклонял голову и одобрительно улыбался, когда ее ответы были верными. Она навсегда запомнила его узкое большеглазое лицо с неодинаковыми бровями...

Приехал Тарасов днем, когда его Устинья совсем не ждала. Они с Веркой только что подрезали огромную сушину, падая, она зависла на березе, и, как ни бились, столкнуть не могли. В это самое время откуда-то сверху, с кручи, к ним скатились Игнат и Анатолий Сергеевич. Он был в коротком белом полушубке, подпоясанном широким ремнем с медной звездой на застежке, в барашковом треухе. За плечами висело двуствольное ружье. Отряхивая снег с серых высоких валенок, спросил:

— Наша помощь нужна?

— Даже очень. Видите, как засадили.

Устинья удивилась, что нисколько не растерялась при его появлении, только вдруг захотелось двигаться, говорить, она просто не могла ни минуты спокойно постоять на месте.

Игнат вырубил ваги, и они вчетвером попытались снять зависшее дерево, но не смогли.

— Бросим его к черту, — сказал Игнат.

— А если срубить березу? — спросил Тарасов.

— Нельзя. Опасно очень. Выскочить не успеешь, попадешь, как белка в кулему.

— А я все-таки попробую.

Тарасов, не слушая уговоров Игната, протоптал к березе дорожку, скинул полушубок, шапку, взял из рук Веры топор.

— Скажи ему, чтобы бросил безрассудство, — прошептал Игнат Устинье на ухо.

— Пусть...

Ей очень хотелось, чтобы он снял это дерево. Корнюха бы тоже мог снять, но он бы не стал этого делать.

Посмотрев вверх, на согнутую в тугой лук березу, на исклеванную дятлами сушину, Тарасов с размаху ударил топором. На голову ему посыпались клочья сухого мха, лепестки отставшей коры, но он уже не смотрел вверх, бил и бил топором по мерзлому стволу березы, отваливая на снег крупные щепки. Вдруг, резко хрустнув, береза и сушина разом рухнули на землю. У Тарасова было одно мгновение, чтобы выскочить из-под острых, как пики, сучьев сушины, и он не упустил этого мгновения. Отскочив в сторону, спокойно вытер ладонью разгоряченное лицо, стряхнул с кудрей корье и веточки. Устинья подала ему полушубок и шапку, поймала его взгляд. В серых глазах была задорная радость, веселый вызов опасности, и ей почему-то показалось, что все это он сделал для нее и ради нее, и если бы бог судил ей быть рядом с ним, он бы всегда так же задорно шел навстречу любой опасности, не было бы тогда человека сильнее, чем он, а она никогда бы не разлюбила его.

— Надолго к нам? — спросила Устинья.

— Завтра уеду.

Возвращаясь вечером в зимовье, напевала протяжные песни семейских, песни с постоянной тоской о несбыточном и несбывшемся. Тихо, невнятно, как вздох, повторяли ее песню горы. Высоко над ними золотой серьгой блестел месяц.

Колхозники были уже в зимовье, сидели мрачные. На столе, на нарах, на лавках лежали развязанные мешки с харчами. Тарасов, хмурясь, стоял у очага.

— Что случилось? — спросила Устинья.

— Обокрал кто-то нас, — глухо проговорил Игнат. — У кого сало, у кого мясо, масло унесли. Из наших никто не мог. Со стороны пакостник был.

— Много утащили-то? — спросила Верка.

Она так и осталась стоять у порога, будто примерзла к косяку,

— Не в том дело много ли, мало ли, — вздохнул Игнат. — Обидно уж очень.

После ужина Игнат и Анатолий Сергеевич стали заряжать патроны, и Устинья под села к ним, вызвалась помогать. Латунные гильзы маслянисто поблескивали, на чисто выскобленных досках стола чернели крупинки просыпанного пороха, россыпью лежала крупная и круглая, как горох, картечь. Устинья вкладывала в гильзы войлочные

пыжи и передавала Анатолию Сергеевичу. Руки у него были узкие, с длинными гибкими пальцами. Хорошие руки. Корнюхины руки она не любила, слишком уж они твердые, грубые, и пальцы завсегда чуть скрючены, будто приготовились стиснуть все, что в них попадет.

Подумав так, она обругала себя душой. Сравнивает его в последнее время то с одним, то с другим, а честно ли так делать? Если и ее сравнить с одной, другой, третьей, тоже можно отыскать много всяких изъянов, людей без щербинки, как новенькие монеты, наверное, никогда и не бывает.

Мужики на нарах говорили про войну.

— Расколошматим немца, поставим на колени, что с ним делать будем? — спрашивал Лифер Иванович. — Какое ему наказание придумаем?

— Уж будь спокоен, зададут жару! — пообещал Еремей Саввич так, будто это от него зависело.

Тарасов прислушался, что-то хотел сказать, но Устинья нечаянно прижалась своим коленом к его колену, чуть вздрогнула, словно обожглась, искоса, немного прижмурив глаза, посмотрела на него. Он поднял от стола голову и смутился. Устинья точно знала, отчего он смутился. Бывало, стоит ей посмотреть так на парня или молодого мужика, как тех сразу кидало в краску. Корнюху злили ее такие вот шуточки, говорил сердито: «Глаза у тебя как...» Но сейчас она сделала это без намерения и смутилась не меньше Анатолия Сергеевича, встала из-за стола, легла на постель рядом с Веркой Рымарихой.

Утром мужики стали собираться на охоту. Кроме ружья Анатолия Сергеевича, было еще два дробовика у Игната и Еремея Саввича. Устинья вызвала Игната на улицу, попросила:

— Дай, Назарыч, свое ружье. Христом-богом прошу!

Игнат помялся, переступая с ноги на ногу.

— Бери, что уж с тобой сделаешь... А я загонщиков поведу. Вышли из зимовья, когда гасли последние звезды. Стылый снег звонко скрипел под ногами, морозная мгла окутывала деревья.

Стрелков Анатолия Сергеевича, Еремея Саввича и Устинью Игнат расставил в начале неширокого распадка, сам с Веркой и Еленой пошел в обход к вершине. С вершины распадка они начнут спускаться вниз, переговариваясь, постукивая палками по деревьям, если косули здесь есть они бросятся вниз, прямо на стрелков.

Устинья сидела за толстым обгорелым пнем. Перед ней торчал из снега низкорослый ерник, дальше поднимался молодой сосняк, такой густой, что сквозь него, наверно, человеку и не протиснуться. Справа, внизу, кипела речка, слабый ветер сваливал клубы пара на противоположный косогор, они ползли вверх, вязли в густом переплетении веток березняка.

Встало негреющее солнце. Мороз больно ущипнул Устинью за нос, она сбросила рукавицы, спрятала лицо в ладонях. Где-то рядом, за ерником, сидит Тарасов, ей его не видно. Вряд ли он был бы доволен, увидев, как она прячет лицо стрелок называется! Козы такого стрелка и затоптать могут. Отняла руки, на левую надела рукавицу, правую, голую, спрятала за пазуху, положила ружье так, чтобы в любой момент можно было вскинуть и выстрелить.

Косули, гуран и три козлухи вышли левее, на Еремея Саввича. Устинья увидела их, лишь когда оглянулась на гулкий, как удар грома, выстрел. Они собрались в кучу, остановились, потом повернули к речке, побежали на Устинью. Серые, словно припорошенные снегом, взлетали над ерником, стремительные и легкие, как птицы. Раз за разом ударил двумя выстрелами Анатолий Сергеевич. Попал он или нет, Устинья не видела. Она взяла на мушку гурана, сделала вынос и нажала курок. Ружье сильно толкнуло в плечо, повалило ее на спину, падая, заметила, как гуран с маху перевернулся через голову кубарем, ломая ерник, покатился под косогор.

— Есть! — услышала она крик Анатолия Сергеевича. — Молодец!

Вскочила, залепленная снегом, позабыв про ружье, побежала к нему. Тарасов сидел на пне, закуривая, с восхищением смотрел на нее, улыбался.

— А ты? — спросила она.

— Сбил. Первым промазал, вторым сбил. Вон она лежит, за кустом.

Еремей Саввич пробирался по ернику, кричал:

— Попал! Я попал! Кровь по снегу ошметками.

Вышли загонщики и вместе с Еремеем Саввичем стали искать подстреленную им косулю.

— Пойдем смотреть твою добычу, — Тарасов поднялся, закинул двустволку за плечо. — Вот уж не думал, что ты так стреляешь.

— Хо! На сто метров белке в глаз попадаю! — прихвастнула Устинья.

Она пошла за ружьем, а Тарасов, спрямляя расстояние, скатился по крутому косоугору к тому месту, где упал гуран, крикнул:

— А гурана-то нет!

— Как это нет? — Устинья быстро сбежала вниз, увидела взбороженный снег, изломанные ветки ерника и след косульих ног на снегу.

— На сто метров в глаз! — засмеялся Тарасов, толкнул ее в плечо.

— Не может быть, чтобы я промахнулась.

— Давай посмотрим. Тарасов пошел по следу гурана, раздвигая ветки.

На берегу речки, у самой наледи увидели измятый снег и пятно густо-алой крови. Вернулись назад и выше того места, где покотился под косоугор гуран, тоже нашли пятна крови.

Убитых коз выволокли на дорогу. Солнце уже поднялось высоко. На него наплывали густые серые облака, мороз ослаб. Все были возбуждены удачной охотой, шутили, смеялись, даже у Верки Рымарихи лицо посветлело.

— За твоим гураном пойдем к вечеру, — сказал Устинье Тарасов. — Далеко он не уйдет. Ранен, по-моему, тяжело.

Игнат посмотрел на небо.

— Однако, снег пойдет. Запорошит след.

— Вы идите, а я вернусь, поищу, — сказал Тарасов.

— И я с тобой.

— Тебе, Устюха, незачем, — нахмурился Игнат.

— Как это незачем? Кто подстрелил гурана?

— Я к тому, что не женское это дело по горам лазить. Лучше уж я пойду за тебя.

— Ни за что! — заупрямилась Устинья.

Игнат не мог ее переспорить, глянул на Тарасова, как бы прося поддержки, но Анатолий Сергеевич промолчал, и ему ничего не оставалось, как согласиться. Препирательство это рассердило Устинью. Она потянула Игната за рукав в сторону, тихо сказала:

— Ты чего, как свекор, мной рулишь?

— Не свекор, но и не совсем уж сторонний. Не хочу, чтобы худо тебе было.

— Не будет! — повернулась. — Пошли, Анатолий Сергеевич.

На повороте тропы обернулась. Игнат стоял все на том же месте, смотрел им вслед, и она пожалела, что так резко говорила с ним.

Погода портилась. Солнца уже не видно было за толстыми слоистыми облаками, в лесу потемнело, казалось, надвигаются сумерки. След гурана, петляя, вел их вверх по речке, потом повернул в падь, перевалил через гору, вывел в чистое редколесье. Иногда животное ложилось, оставляя на лежбище сгустки крови. Кровь еще дымилась на морозе, это означало, что гуран где-то недалеко. Но они шли и шли, а настичь его все не могли. Идти по глубокому снегу было тяжело. Тарасов распахнул полушубок, засунул рукавицы в карманы, Устинья сдвинула теплый платок на затылок.

Пошел снег. Пушистые хлопья ложились на ветви деревьев, на сугробы, присыпали след гурана. Тарасов остановился, снял шапку, подставляя кудрявую голову под снег.

— Может быть, вернемся? Ночь застанет не выберемся, на снегу спать придется.

— Ну и что? Боишься простудиться?

— Боюсь, но не простуды. Он надвинул шапку и направился по следу.

Спустились к какому-то ключику. По бугристому от накали льду змеилась тропка. Ветер донес слабый, еле ощутимый запах дыма. Тарасов разглядывал следы человека на тропе. Устинья смотрела на крутые косогоры, сжимающие ключик, заросшие редким перестойным лесом. Вдруг совсем близко затрещали ветки, из-за кустов выскочил гуран, побежал в гору, тяжело вскидывая зад с белым пятном. Тарасов дважды, раз за разом, выстрелил. Гуран упал.

— Ура-а! — закричала Устинья, озорно толкнула Анатолия Сергеевича.

Он улыбнулся, вскарабкался на косогор, стащил гурана вниз, принялся снимать шкуру. Ветер шумел в верхушках деревьев, по-прежнему падал снег. Устинье стало холодно, и она пошла вниз по тропе. Смотрела на лес, на падающие снежинки, и ей было тоскливо-весело.

Тропинка привела к обрывистому берегу, нырнула в свисающий с обрыва валежник. За ним была узкая дверь, небольшое, в две стеклины, оконце над нею. Она толкнула дверь, в нос ударило прогорклым теплом

и дымом. Сразу за дверью, справа, был сложен очаг из камня-плитняка, в нем горели дрова, над огнем висел солдатский котелок с каким-то варевом и пузатый чайник; вплотную к очагу был пристроен узкий топчан, застланный сухой осокой и старой, с прожженной полкой телогрейкой; у другой стены стоял маленький стол с кучей пресных лепешек.

Она погрела у очага руки, вернулась к Тарасову.

— Здесь живет какой-то охотник...

— Охотник? Где? Ну-ка... — Он взял ружье и быстро пошел по тропе.

В землянке все осмотрел с придирчивым вниманием. Из-под топчана выволок два неполных мешка с мукой, мешочек соли и несколько коробок спичек; возле землянки под валежником обнаружил мешок с похищенными у колхозников продуктами.

— Видишь, какой это охотник?

Устинья кивнула.

— Может быть, Рымарев?

Тарасов молча пожал плечами, вложил в стволы ружья патроны.

— Пошли. Мы должны найти его.

Отыскиали след. По нему можно было определить, что человек торопливо убежал от землянки.

Снег повалил густо, огромными хлопьями, за белой завесой исчезли горы, разглядеть можно было только ближние деревья. След они потеряли, мало того, сами едва нашли дорогу к землянке.

Короткий зимний день заканчивался, белая тьма становилась плотнее, непроницаемее. Ни Устинья, ни Тарасов толком не знали, где они находятся, оставалось одно ночевать в землянке. Анатолию Сергеевичу это явно не нравилось, зато Устинья была довольна. Кажется, сам господь бог делает так, как ей нужно.

Пока Тарасов разделывал гурана, она занималась уборкой. Подмела пол, протерла оконце, вымыла столик. Долго чистила и полоскала котелок, после этого поставила варить гуранье мясо.

Тарасов, управившись, разделся, начал жарить на углях печенку. Устинья захлопнула дверь, задвинула тяжелый засов, сделанный старым хозяином, и словно отгородилась от темной ночи, от воспоминаний о Корнюхе, от всей своей прошлой жизни. Сейчас для нее не было ничего на свете, кроме стен этой землянки, с отблесками

пламени очага, кроме Тарасова, склонившего кудрявую голову над рожном с нанизанной печенкой ничего на свете не было для нее по ту сторону дверей, а все, что есть по эту ее, и только ее.

За столом она лишь вспомнила, что за целый день у нее и у него во рту не было и маковой росинки, но есть не торопилась, подкладывала куски печенки и мяса Анатолию Сергеевичу. А он был хмуро-задумчив, ел не поднимая головы, ни разу не взглянул на нее.

После ужина она прибрала на столе, постелила постель. Прожженную телогрейку под голову, свою под бок, его полушубок укрываться, приказала ему отвернуться, скинула с себя юбку и кофту, осталась в одной станушке, нырнула под полушубок. Он сидел на чурбаке перед очагом, курил, был все такой же хмуро-задумчивый.

— Иди сюда, — позвала она.

— Нет, — не оборачиваясь, сказал он.

Сказал, как ударил, как пощечину дал. Она села, потянулась рукой к юбке. Сейчас оденется и уйдет. Уйдет одна по темному лесу. Заблудится, сгинет туда и дорога. «Нет...» Значит, глаза его ввали, за огонь она приняла холодный светлячок... Сгину туда и дорога...

— Ты что это? — спросил он.

— Уйду.

— Не дури. Он сел на топчан рядом с нею, стиснул плечо, — Сиди. Хочешь, скажу тебе правду? Хочешь?

— Говори.

— Я люблю тебя. По-настоящему.

— И я...

— Подожди. У тебя муж. Забыла, где он?

— Помню.

— Плохо помнишь. Это было бы неслыханное предательство... Его, всех, кто там. После этого мне ни дня нельзя оставаться здесь. После этого я должен быть там.

— Ты чересчур честный.

— А ты хотела бы видеть меня другим?

— Нет. Ты поезжай туда. Я буду тебя ждать. Я это говорю трезво-трезво. Я, наверно, люблю впервые. Не думай обо мне плохо. Очень прошу...

Она хорошо понимала его, и недавняя обида показалась мелкой, ничтожной, пустой, сейчас она любила его еще больше и каждое свое

слово готова была подтвердить всей своей жизнью. Сейчас она навсегда отрезала от себя все, что было в прошлом худое и доброе...

— Ну, ложись. Хочешь здесь, хочешь на полу. Только дай я тебя поцелую.

Губы их встретились...

Оба поняли, что нельзя было делать этого.

Павел Рымарев лежал в снегу, чутко прислушиваясь к шуму леса. Он лежал так уже давно, промерз насквозь, но не решался подняться. В полусотне шагов от него была землянка, не та, из которой он убежал, другая, запасная. В ней есть железная печурка и дрова.

Он встал. Руки, сжимавшие винтовку, заоченели. Сейчас бы он не смог сделать ни одного выстрела. Бесшумно потоптался на снегу, согреваясь, потер руки и, когда к нему вернулась способность двигаться, взял наизготовку трехлинейку, сделал несколько шагов, прислушался. По-прежнему было тихо, так тихо, что он слышал частые толчки своего сердца и дыхание. Сделал еще несколько шагов и опять прислушался. От страха или оттого, что промерз до нутра, постукивали зубы, и он до боли сжал челюсти. Если здесь устроена засада, ему конец. Но и оставаться на морозе без огня тоже конец. Выбора нет.

Короткими переходами он приблизился вплотную к дверям землянки, замаскированным ветками, постоял и, отодвинув маскировку, открыл дверь. Тихо. В щели над дверями нашарил спички, растопил печурку.

Печка накалилась, и в землянке стало тепло. Как хорошо, что есть запасная. Спасибо Ферапонту. Умный старик. И добряк. Без него недолго бы протянул, после того, как взбеленившаяся Верка выставила из дому. Он эти землянки показал (в них когда-то скрывался Сохатый), он и мукой и винтовкой снабдил. Старик советовал до тепла сидеть в землянке, никуда не высовываться. Он пренебрег его советом и чуть не попался.

Жизнь тут была сносная, много лучше, чем в подполье. Тут, на вольном воздухе, он окреп, поправился. Одно было плохо: поговорить не с кем. Чуть не каждый день ходил на мельницу в надежде, что появится Ферапонт. Увидев там колхозников, сначала убежал, потом вернулся и, прячась за деревьями, смотрел, как они работают, слушал их голоса. Верку свою видел. Такая тоска на него навалилась, таким нелепым показалось одиночество, что чуть было не вышел к ним.

Он заметил, что днем в зимовье никого не остается, и безбоязненно зашел в него. Зашел просто так, из непреодолимого

любопытства. Вкусно пахло щами. Он достал из печки чугунок, стоя, обжигаясь, похлебал из него. Не смог удержаться. Сколько времени не пробовал ничего мясного, питался пресными лепешками да болтушкой, заваренной на воде, пища не из последних, однако без жиров человеку жить трудно. В кладовой он сложил в мешок куски сала и мяса и ушел, дав себе слово больше сюда не возвращаться.

Сейчас-то он знал, что напрасно так сделал. Из-за этого, возможно, все и началось. Или не из-за этого? Надо припомнить, как было. Он варил обед. Вышел из землянки за дровами, и в это самое время совсем недалеко прогрехотало два выстрела... Сначала он оцепенел от страха, не мог сдвинуться с места, потом сломя голову побежал. Почему стреляли? Если бы искали его зачем стрелять? Скорее всего это были охотники... Но землянку они все равно найдут. Только бы не утащили съестное...

Утром выяснило, снег падать перестал, подул сильный порывистый ветер. Лес шумел, скрипел на разные голоса. Деревья, раскачиваясь, стряхивали с ветвей мягкие клочья снега.

Со всеми предосторожностями подобрался Рымарев к своей землянке, спрятался за кустами, стал выглядывать. На снегу увидел свежую цепочку следов, она тянулась в ту сторону, откуда вчера появились эти люди. Ветер заметал, сравнивал следы. Если он не утихнет от его следов тоже ничего не останется.

— Слава тебе господи! — вслух сказал он.

С тех пор как его взял под свое попечительство Ферапонт, он часто замечал, что повторяет его слова. И сейчас заметил, по повторил снова:

— Слава тебе господи!

Может, и в самом деле есть бог. Может быть, он и охраняет его жизнь, отводит опасности.

Ничего из его запасов не пропало. Гурана и то унесли не полностью, всю заднюю часть оставили. Надеются вернуться. Ну-ну, возвращайтесь, найдете здесь кое-что.

Рымарев принялся за работу. Муку, мясо, соль, котелок, чайник, даже старую телогрейку он перетащил за гору, спрятал под корягой. Отсюда уже без большой опасности можно перенести часть в запасную землянку, а остальное запрягать в разных местах.

Перед тем как навсегда уйти из землянки, он положил на топчан дрова, запалил сухую осоку. Буйно взметнулось пламя, полезло на

стены, запрыгало на смолистых дровах. Он распахнул дверь настежь, и в землянку ворвался ветер, пламя загудело, словно в хорошей печке.

Митька шел по лесной дороге. На березах и осинах набухали почки, цвел багульник. Бледно-розовые лепестки цветов трепетали на голых ветках, будто крылья бабочек. Мальчик вынул из кармана губную гармонику подарок дяди Федоса, но играть не стал. Внезапно его кольнула мысль: ничего этого, ни цветов багульника, ни белых берез, ни синих гор уже никогда не увидит дядя Федос. И недетская печаль сдавила Митькино сердце.

За деревьями показались строения мельницы. На солнце ослепительно блестело зеркало пруда. Ферапонт сидел у зимовья, строгал ножом березовое топорище. Он долго вглядывался, словно не узнавал, в лицо Митьки.

— По делу ко мне или так?

— Просто так. Давно здесь не был.

— Ну-ну... Сейчас чаек сварю и тебя попотчую.

Ферапонт собрал стружки, кряхтя поднялся, пошел растапливать печку. Митька походил по тем местам, где играл когда-то, взобрался на пустой песчаный яр. Отсюда хорошо было скатываться, сядешь на песок и поехал... Хорошо жилось ему тут с дядей Игнатом.

Из зимовья вышел Ферапонт, помахал рукой иди чай пить. На столе лежали пшеничные калачи, дымились деревянные чашки с чаем. Старик, прежде чем сесть за стол, задрал бороду, молясь на икону, поставленную в углу, покосился на Митьку, и он тоже помолился.

— Молодец! — похвалил старик. — Дома-то молишься?

— Молюсь, — соврал Митька.

— Стало быть, помнишь мои наставления. Молодец, молодец! — погладил по голове. — Ешь, голубок. Утешил ты мою душу. Люди сейчас совсем испоганились. Молитвы не творят, постов не соблюдают, бога не боятся, старость не чтут, власти антихристовой покорны. А как жили в стародавние времена! За веру нашу праведную семейщина стеной стояла. Жили, вознося господу молитвы, в сытости, благодати, тишости. Все порушила власть засильщиков и покорных рабов ее. Людей развратила. Возьми дядю твоего Игнатия. С превеликим

усердием сатане служит... — Взгляд Ферапонта стал строгим, в голосе прорвалась злость.

Митька наклонился над столом, стал усердно дуть на чашку с чаем. Ему было неприятно видеть старика озлобленным, не хотелось, чтобы он так говорил про дядю Игната.

— А мы письмо от бати получили, — сказал мальчик, чтобы сменить разговор.

— Мученик он, твой родитель. Заточили вороги во темницу каменную, а за что? Придет когда-нибудь время, возгорится в душе истинно верующих пламя возмущения, и слуги сатаны будут стенать и плакать, но никто уже не спасет их от кары.

Ферапонт опять понес свое. А Митьке стало обидно, что он даже не спросил, о чем пишет отец. Опять к дяде Игнату подбирается. Никому ничего худого не сделал дядя Игнат.

Попив чаю, снова вышли на крылечко. Старик посмотрел на солнце, повисшее над горами.

— Не пора ли тебе домой возвращаться?

— А я тут ночевать буду. Удочки на речке поставлю, может, какую рыбешку добуду.

— Ночевать? — удивился Ферапонт. — Не дело это, голубок. Мать тебя будет ждать. На меня навлечешь ее гнев.

— Я спросил у матери разрешения.

Ферапонт нахмурился, пожевал губы, неласково глянул на него. Ему, кажется, не хотелось, чтобы он остался здесь. Ну раз такое дело не надо. Кланяться ему он не будет. Порыбачить можно и возле дома. Но старик вдруг подобрел, положил руку на его плечо:

— Если мать не против, оставайся.

Ужинали в сумерках. Старик был чем-то озабочен, почти не разговаривал. И сразу же после ужина велел Митьке ложиться в постель. Лег и сам, но не спал, приподнимая голову, смотрел в окно, косился на Митьку спит ли. Что-то тревожное было во всем этом. Мальчик стал похрапывать, а сам сквозь ресницы наблюдал за стариком. Похрапывал, похрапывал и заснул на самом деле.

Разбудил его скрип двери. Посередь зимовья со свечой в руке стоял Ферапонт, у косяка худой, оборванный мужчина. Лицо его, заросшее клочковатой бородой, показалось Митьке знакомым.

— Изголодался я, — сказал мужчина. — На корнях жил последнее время. Покорми.

Голос тоже был знаком Митьке. И вдруг он узнал — Рымарев! Правду, значит, говорили, что он в бегах. Митьке стало страшно, невольно сжался, потянул на себя одеяло. Рымарев резко обернулся:

— Это кто тут?

— Тише. Отрок у меня почивает.

— Чей?

— Максима Назарыча.

— Ты же знал, что приду, почему оставил его здесь?

— То мое дело, — сухо заметил Ферапонт. — Отрок славный. Увидит тебя, не беда.

— Донесет — пропал я.

— Не дело мужа бояться агнца, — назидательно сказал Ферапонт. — Думаю, открыться ему надо. Помощник будет.

— Ни в коем случае, — зашипел Рымарев. — Погубить меня хочешь!

— Отрок мною подготовлен. Много трудов на него потратил. Митька чуть не задохнулся от возмущения. Вот, значит, для чего готовил его Ферапонт! Рымареву в помощники. А этот Рымарев, все говорят, отца в тюрьму спровадил. Этот Рымарев, когда другие, такие, как дядя Федос, на войне погибают, по лесам шатается...

Ферапонт прилепил свечку на край стола, принес из кладовой ковригу хлеба, пласт квашеной капусты.

— Ешь.

— Муки-то дашь?

— Оскудел я ныне. Да и негоже такому молодцу сидеть на шее немощного старца...

— Что же мне делать? — Рымарев отломил краюху, стал есть. — Вся надежда на тебя была.

— А вот что... Иди на полевой стан. Там семенного зерна много. Нагребай мешок, лови коня — и вершно сюда.

— Попадусь.

— С умом делай, не попадешься. Коня здесь отпустишь, он к утру в деревне будет. Подумают, отбился от табуна. Пшеницу я смелю. Оба будем с хлебом.

Рымарев жадно откусывал от краюхи, рвал руками капустный пласт, бормотал что-то невнятное. Митька так и не понял, согласился ли он воровать колхозное зерно. А старик-то каков? Грех, то, грех это, а сам воровству учит не грех, что ли, воровать-то?

— Наелся? — спросил Ферапонт. — Лезь на чердак, отдыхай. А завтра, как стемнеет, пойдешь на стан.

— Мальчишке не говори, — попросил Рымарев.

— Экий ты боязливый! Батка его в тюрьме, вере он привержен. А в случае чего и припугнуть могу.

Ферапонт и Рымарев вышли. На чердаке послышались шаги, с потолка посыпалась земля. Митька приподнялся. Надо бежать как можно скорее. Но в это время на крыльце послышался кашель Ферапонта, и Митька снова лег, зажмурил глаза. Старик подошел к нему, свечкой осветил лицо, постоял и лег спать.

Митька не мог заснуть до утра. Едва начало светать, поднялся, оделся. Старик тоже проснулся.

— Ты чего в такую рань?

— Удочки посмотреть нужно.

— Ну иди. Потом чай пить будем.

— Я домой пойду. Мамка велела. А вечером опять приду.

— Ну ладно, — согласился Ферапонт. — Только вечером приходи. Ждать буду.

От мельницы Митька пошел шагом, но едва углубился в лес, помчался во весь дух. Скорей, скорей, только бы застать дядю Игната.

Боясь упустить Рымарева, Игнат не стал ждать из района милицию. Взял с собой Еремея Саввича, Лифера Иваныча и сразу же на мельницу. Врасплох Рымарева застать не удалось. Он бросился бежать через плотину, поскользнулся и полетел вниз, туда, где шумела, разбиваясь о камни, желтая, как чай, полая весенняя вода. Угодил виском на острый камень. Когда его мокрого, в крови, вытащили на берег, судорожно дернулся и затих. Лифер Иваныч приложился волосатым ухом к его груди, послушал, распрямился:

— Все. Сдох.

Милиционеры арестовали Ферапонта, труп Рымарева забрали с собой.

Прямо с мельницы Игнат поехал на поля. Целый день думал о Рымареве. Так мерзко кончить свою жизнь, что может быть хуже? Для кого, для чего жил?

Эти мысли не оставляли его и вечером, когда сидел в конторе. Из репродуктора лилась незнакомая мелодия, и звуки ее в голове Игната складывались в картину освещенного солнцем луга с молодой сочной травой и яркой пестротой цветов. Среди луга девушка в длинном белом платье кружится в медленном плавном танце... Русые мягкие волосы волнами бегут по ее спине... И хочется Игнату, чтобы девушка танцевала бесконечно, чтобы и тень озабоченности не легла на ее счастливое лицо. А рядом с этим видением текли трудные мысли о жизни и смерти.

Он вытянул ноги в тяжелых кирзовых сапогах. Устал. К тому же плечо и рука ноют целый день, к ненастью, должно. Надо было бы зайти к Верке Рымарихе, рассказать о случившемся. Но идти сил нет. Что утешительного скажет бабе? А сыну Ваське? Какое горе будет для парня, когда узнает, каким был его отец? Неужели Рымарев ни разу не подумал хотя бы об этом? Себялюбие и страх уготовили ему такую участь. Страх еще нигде, никогда не возвысил человека, не сделал его сильнее, добрее, мудрее; любой страх перед богом, нуждой, болью, смертью есть противное естеству человека состояние; дозволишь страху овладеть собой, и, считай, погиб. Когда-то он думал, что

человеческая жизнь одно короткое мгновение, что человек ничтожная песчинка в безбрежном море песка, вынь, убери песчинку, не убудет море, не обмелеет. Страшно было от этих мыслей. Человеческая жизнь представлялась такой малостью, никчемной и ненужной, что и жить не хотелось. Но потом понял: человек тем и велик, что в отпущенную ему малость, если захочет, может вместить очень много. Если захочет в этом все дело. Что есть жизнь? Для чего человек появляется на земле? Для того он появляется, для того живет, чтобы память о себе оставить. А память о человеке хранят люди. Значит, чем больше он сделает для людей, тем дольше о нем помнить будут. Тот, кто для себя только живет, будет забыт сразу и навсегда. Род человеческий на том и держится, что люди, умирая, кто очень много, кто поменьше оставляют живущим. Не будь этого, каждому бы пришлось начинать все заново, и ничего хорошего бы в жизни не было.

В контору тихо, будто крадучись, вошла Устинья, села как-то неуверенно, осторожно, будто боялась, что стул под нею развалится. Лицо у нее было бледное, в глазах, не увязываясь с осторожными движениями, решительность.

После заготовки леса Игнат ее немножко побаивался. Все время она была сама не своя, то развеселится удержу нет, то ходит тише воды, ниже травы. С тревогой ждал Игнат, что она выкинет какую-нибудь штуку на удивление всей Тайшихе, но время шло, и Устюха как будто успокоилась. А сейчас опять...

— Ты где сегодня потерялась? — мягко спросил он.

— А что?

— Да так-то ничего. Но не видел тебя сегодня.

— Сказать тебе, куда ездила? — она с вызовом подняла голову. — Я провожала на службу Анатолия Сергеевича.

— Вот и хорошо. Я тоже собирался, но не смог.

— А знаешь, почему я ездила его провожать? — еще более вызывающе спросила она.

Игнат сделал вид, что не замечает ее вызова, прибавил громкость репродуктора.

— Время подошло для последних известий. Послушаем. Она вскочила, выдернула шнур.

— Знаешь или нет?

— Может, и знаю...

Конечно, он знал. И догадывался, что сейчас творится в ее душе, но очень не хотел, чтобы она сгоряча сказала ему сейчас то, о чем потом, быть может, ей не раз жалеть придется.

— Нет, я тебе все-таки скажу. Корнюху не жду. Как придет, мы разведемся. Завтра напишу ему письмо.

— Этого делать нельзя.

— Что? Разводиться?

— Письмо... такое посылать. Ну и насчет развода... Сын же у тебя.

— Что сын? Через несколько лет он станет самостоятельным человеком, и ему будет все равно, с кем я живу. А мне не все равно.

— Мне Корнюху жалко. Брат... Такое несчастье...

— Ну уж не во мне было его счастье, это я знаю.

— Может быть, — Игнат вздохнул. — С самого начала у вас все было сикось-накось. Зачем ты пошла за него, непонятно мне это.

— Моя ошибка. Но неужели я должна платить за нее всей своей жизнью? А, Игнат? И ошибка не совсем, не вся должна быть мне в вину поставлена. Что я, знала? Что я видела? Как-то так уж сложилось, что выбирать пришлось между Корнюхой и Агапкой...

— К чему об этом сейчас говорить?

— Верно, ни к чему, — согласилась Устинья.

— А чего хочешь от меня, понять не могу.

— Я к тебе пришла, Игнат, как к брату. Я никому ничего не говорила, даже матери. Потому не говорю, что наперед знаю, как меня распинать будут. Но ты-то ведь другой. Ты сам на себе испытал, какая цена человеческой жизни без радости.

Она притронулась к тому, о чем Игнат почти уже забыл. Представил вдруг свою жизнь без Насти, и на него пахнуло таким холодом, что даже плечами передернул.

— Понимаю, Устюха. И, не кривя душой, скажу одобряю. Ты будешь счастливой, если... если все будет хорошо.

— Спасибо, Игнат. Ты даже не знаешь, какой подмогой будут мне твои слова. Она поднялась, но не спешила уходить. Немного помедлив, сказала: — Я привезла нерадостную весть. Позавчера в районной больнице скончалась Батохина сестра Дарима. Рожала и... Такая наша бабья доля. А девчушка ее жива.

Перед глазами Игната почему-то снова возникла девушка, танцующая на лугу, только теперь она была похожа на Дариму. Он потрянул головой, отгоняя видение, поднялся.

Дома ждала его Настя. Она лежала на кровати с забинтованной, толстой, как чурбан, ногой.

— Ты что? — испугался он.

— Мотор снимали. Сорвался... Ничего, кости целы.

Он сел к ней на кровать, взял за руку, думая о Дариме, об Устюхе, смотрел в ее лицо, слегка осунувшееся, смуглое от загара, с белыми лучиками тонких морщин вокруг глаз, и в сердце забилося,росло чувство нежности и благодарности к ней, бесконечно родной. И больнее становилось от думы о Корнюхе, о Дариме и Федосе, о счастье, которое так трудно достается людям, а иным и совсем не достается.

— Даримка-то скончалась, Настюха.

— Я так и знала... — Настя сжала его руку, зажмурила глаза.

— Что знала?

— После того как пришло извещение о гибели Федоса, она переменялась сильно. Жила, как сонная. На ремонте, помню, ее часто поругивал механик. Сядет, бывало, где-нибудь в угол, про все дела позабудет, не скажи день просидит.

— Дочушка у нее осталась.

Настя смотрела невидящими глазами в потолок.

— Игнат, а Игнат... А если мы эту девочку... Я уже и ждать перестала. Никого у нас, должно, не будет. Уходят годы-то, Игнат.

Давняя, застарелая боль прорезалась в голосе Насти. Она всегда считала, что одна виновата в бесплодии, наказана господом за грех молодости, и Игнат никак не мог ее разубедить. Жалел, видя всегдашнюю тоску по детворе, не перечил ей, когда ходила к старухам, пила наговорные травы.

— Я, Настюшка, не против. Совсем даже наоборот. Но как мы ее растить будем? Ты неделями дома не бываешь...

— Только летом, Игнат. Потом, не вечно же будет война. Сам сказывал, конец уже видится. Придут мужики, сменят нас. А до того времени как-нибудь...

Помолчали. Первой заговорила Настя.

— У Федоса мать звали Аксиной. Пусть девочка будет Ксений. Ладно? — сказала она.

— Хорошее имя, — одобрил Игнат и поднялся.

— Ты куда?

— К Верке Рымарихе сходить надо.

Медленно, устало шел Игнат по улице. Где-то за селом рокотал трактор. Ночное небо над селом было высоким-высоким и все сияло от света звезд. Надо было подумать, что он скажет Верке, но мысли все время возвращались к прежнему. И почему-то мысли о дочке Даримы смешивались с мыслями об Устинье, о последнем с ней разговоре; было что-то такое, что сводило вместе эти мысли, что-то важное стояло за ними. Вдруг отчего-то припомнилась первая встреча с Батохой в Тайшихе, когда он, напоив его чаем, долго раздумывал, считать или нет посуду опоганенной. Не так уж и давно это было. А с Устиньей как? По всем старым понятиям, божеским и человеческим, должен бы он грудью встать на защиту Корнюхи и его семьи, по праву старшего брата мог даже силой заставить Устюху хранить верность мужу своему, вместо всего этого одобрил ее поступок. Неслыханное дело! Но у него нет сожаления о сказанном. Совсем иной мерой проверяются сейчас поступки людей, не древними, окостенелыми установлениями, а чуткой к человеческой боли и радости совестью, и он, сызнова обдумывая все, что сказал Устинье, рад, что не покривил душой. С дочерью Даримы еще сложнее. По старым понятиям, она не только басурманка, но еще и рождена вне брака, таких раньше травили с малых лет до старости. Сейчас этого не будет. Другими люди стали, человечности, понимания в них больше. И вот ведь странная штука... Время очень тяжелое, недостатки во всем, казалось бы, должен ожесточиться народ, но этого нет, казалось бы, должен быть корыстнее, расчетливее, этого тоже нет. Война, с бесчисленными тяготами, словно бы слила людей в одно целое, выжгла из помыслов и устремлений все мелкое, ничтожное.

У дома Верки Рымарихи Игнат остановился. За окнами было темно, но он все-таки постучал...

Поздней осенью 1944 года в центре Мухоршибири, там, где главная улица перекрещена улицей, сжавшей тракт, ведущий в город, остановился бензовоз. Правая дверца кабины открылась, на дорогу вышел лейтенант в длинной шинели, в офицерской шапке. Шофер подал ему чемодан и уехал. Лейтенант привалился к телеграфному столбу, обвел выпуклыми острыми глазами улицу, улыбнулся, поднял чемодан и пошел к большому зданию, огороженному зеленым штaketником. Над дверью здания висел квадрат жести в раме, на нем было написано «Мухоршибирский аймачный комитет ВКПБ».

В приемной лейтенант спросил, здесь ли секретарь райкома, снял шинель. На груди у него позванивали четыре медали, лучился вишневой эмалью орден Красного Знамени. Светлые негустые волосы были зачесаны на правый висок, они прикрывали синевато-красный рубец шрама. Привычным движением одернув гимнастерку, лейтенант открыл дверь в кабинет первого секретаря, сделал два шага от порога к столу, за которым сидел Петров, весело сказал:

— Лейтенант Белозеров прибыл в ваше распоряжение. Огрузневший, с темными мешками под глазами, постаревший,

Петров поднялся, шагнул навстречу, обнял Белозерова.

— С прибытием, Стефан Иванович! Садись. В отпуск или совсем?

— Совсем. Негоден.

— Ранен был?

— Два раза. Вот, — Стефан Иванович показал на висок, — и три ребра оставил. Ну, как тут жизнь? Что хорошего в Тайшихе? Я ведь прямо из города. На попутной машине добрался.

— Сейчас распоряжусь, чтобы тебя доставили домой на райкомовской подводе. А дела наши известно какие... Куем, так сказать, победу на трудовом фронте.

— Тарасов где?

— Воюет. Взгляд маленьких глаз Петрова на мгновение стал настороженным.

Это озадачило Белозерова, он поспешил перевести разговор на другое.

— Как справляется с делами Игнат Назарыч?

— Ничего, справляется, — машинально, не вдумываясь, ответил Петров, но тут же поправился. — Мог бы, понятно, работать и лучше. Малоподходящий для этого дела человек. Без приглашения порог райкома не переступит, совета никогда не спросит. Секретарю парторганизации ходу не дает.

— Ерема Кузнецов — секретарь?

— Он.

— Ну, Ереме ходу давать сильно-то и не надо. Дашь, потом не обрадуешься. Будь кто другой...

— Это совсем ничего не значит! — перебил Петров. — Будь кто другой или Кузнецов, он секретарь парторганизации. Помыкать им то же, что не уважать партию. Словно ожидая возражения, Петров помедлил, устало махнул рукой. — Впрочем, что можно ждать от Игната Родионова, если вспомнить, где находится его брат Максим.

Стефан Иванович опустил глаза. Ему стало неприятно, что Петров так некстати вспомнил о Максиме. То дело все-таки особое. И давнее. Трясти его сейчас ни к чему, что-то в этом есть неуловимо нехорошее.

Петров дружелюбно улыбнулся, положил руку на его плечо. От этого простого человеческого жеста Белозерову стало почему-то неловко, он засопел, полез в карман за махоркой, шевельнулся, чтобы освободить плечо.

— Тяжело живем, Стефан Иванович, — глухо проговорил Петров. — Но теперь будет легче. Война идет к концу. Я очень рад, что ты вернулся. Нам предстоит проделать громадную работу. В мирное время колхозы должны войти не ослабленными, а окрепшими. Сумеем добиться этого весь свет увидит неоспоримое преимущество нашего строя.

Говорить такие слова Петров был всегда мастер. Он и сейчас увлекся, голос его окреп, стал густым и сочным. А Стефан Иванович, слушая его, подумал, что Петров для простой, негромкой беседы совсем не приспособлен, когда он делает попытку говорить запросто, у него ничего не получается. Его ум приспособлен для речей. Странно, что раньше не замечал этого.

— Первоочередная наша задача, Стефан Иванович, укрепление колхозов кадрами. На таких, как Игнат Родионов, далеко не уедешь. В

Тайшихе процветает либерализм, попустительство. Не колхоз — патриархальная община.

Белозеров согласно кивнул головой. Он достаточно хорошо знал Игната. Развести эту самую патриархальщину очень даже может. Нетрудно представить, во что вылилась его мягкотелость, когда стал председателем колхоза. Ходит, наверно, от одного к другому, проповедями о добре и терпеливости потчует, а дела с места не двигаются.

— В результате попустительства и ослабления воспитательной работы, — продолжал Петров, — в Тайшихе беззастенчиво орудовали воры. Однажды чуть было не растащили на дрова поскотину. И никого, ни одного человека не наказали.

«И это может быть», отметил про себя Белозеров. Деревенский народ тот еще. Почует слабину все утащит. Собственники же яростные. Из века в век мужики друг от друга высокими заплатами отгораживались и волокли к себе в ограду все: трудом добытое, найденное, подаренное, у соседа оттяпанное. Ждать, что за несколько лет они другими стали, не приходится.

И, закипая от раздражения, с грубой прямоотой спросил:

— А вы куда смотрели? Кто Игната председателем поставил?

— Тарасов тут дел натворил, — хмуро отозвался Петров. — Но теперь мы все поправим. И немедленно. Я ждал тебя.

Петров проводил его до порога кабинета, на прощание крепко пожал руку, еще раз сказал, что рад его приезду. Белозерову было лестно его внимание. Раньше Петров не был таким обходительным. Но в основном он, кажется, все тот же, твердый, хорошо знающий, что ему нужно. Даже приятно, что он не переменился. Он был живым напоминанием о горячей и счастливой довоенной поре.

В ожидании подводы Белозеров прошел по отделам. Многие работники были знакомы ему с довоенных лет, что тоже было приятно. Это как бы свидетельствовало о незыблемости созданного. Звенели телефоны, приходили и уходили люди, вспыхивали и угасали споры. Все как до войны. Только по усталым лицам работников райкома можно было догадаться, что теперь тут иной ритм, что люди трудятся днем и ночью, не зная ни праздников, ни выходных. Вглядываясь в знакомые лица, он уважительно подумал, что здесь, далеко от фронта, каждый из этих людей сделал для победы не меньше любого солдата. Пожалуй, в

чем-то им было даже труднее. Каждый из них, как и он, мог бы идти на войну, но вынужден был оставаться тут, мотаться по селам, слушая рыдания матерей и вдов, заботиться о посадках картофеля, об уборке хлеба, об учебе осиротевших ребят, о дровах для одиноких и вовремя сказанным словом вселять надежду в отчаявшихся.

Ему захотелось как можно скорее влезть в работу, почувствовать в сердце подгоняющее беспокойство за все, что делается вокруг, и мучительно-сладкую тяжесть забот.

В Тайшиху въехал в сумерках, но все-таки рассмотрел, что сараи и стайки у многих домов, крытые раньше драницами, теперь одеты в солому, глухие заплоты из тесаных плах заменены пряслами из тонких, неошкуренных жердей, а кое-где и плетнями. Улица от этого кажется неряшливой, убогой, совсем незнакомой.

Поужинав, поговорив с домашними, Стефан Иванович пошел в контору. Шел и снова всматривался в дома и дворы и всюду натыкался на следы бедности, слабосилия хозяев этих, совсем недавно крепких, дворов. Он понимал, что война не могла не сказаться и на далекой от фронта Тайшихе, из скупых писем Фени знал, какие трудности и невзгоды переживают земляки, но такого вот увидеть не ожидал. И если в райкоме, соглашаясь с Петровым, он думал об Игнате в общем-то с доброй снисходительностью, то сейчас в нем росло и росло чувство раздражения.

С этим чувством он пришел в контору. В ней все было так же председательский кабинет, а за дощатой заборкой бухгалтерия, так же у стен стояли стулья, тот же был и стол, но и тут проглядывала нищета. Зеленая суконная скатерть на столе, купленная еще Рымаревым, продралась на углах, давно некрашеный пол белел плешинами оголенного дерева.

Встреча, горячая, искренняя, немного убавила его раздражение, но не угасила совсем. И когда первые малозначащие вопросы-расспросы кончились, он сказал:

— Что же вы так... довели хозяйство?

— Чего-чего? — спросила Устинья.

Игнат глянул на него удивленно, однако ничего не ответил.

— Кругом разор и разруха. За такое дело фронтовики, когда вернутся, голову снимут.

— Кому же они снимут голову? — Устинья сузила глаза, лицо ее, минуту назад приветливое, стало враждебным: — И за что они голову снимут?

— Вам непонятно? Все достояние, все, что было нажито, прахом уходит. Кругом полный разор, а вам непонятно! Он уже не сдерживал чувство раздражения и обиды. — За такие дела вас по головке гладить?

— Ты что говоришь-то? — изумилась Прасковья. — Ты какую ерунду городишь, Аника-воин?

Устинья уставилась на него, будто не узнавала.

— Это надо же! Ты совесть там оставил или как? Разор углядел! — От возмущения в ее голосе появилась хрипотца. — А того не увидел, что мы на войну отдали? Что бы там жрал, если бы не мы? Сами едим хлеб пополам с брицей и лебедой, а пшеницу туда, сами мерзнем в рванье шубы туда, за это нам такая благодарность?

— Потихе, потихе, — унимая в себе злость, сказал он: его смутила ярость, с какой говорили бабы. — Очень уж нервные стали. Слова им не скажи. Мы долгие годы покоя не знали, налаживая хозяйство. А что осталось? — Перед его глазами встала сумеречная улица Тайшихи с редкими заборами из неошкуренных жердей, с кривыми плетнями словно ураган потрепал село и опять вскипела в сердце обида. — Языком молотите исправно, а сберечь добро ума не хватило.

— Тьфу! — сказала Устинья. — Тебе там мозги вышибли, что ли?

— Постой, — примиряюще сказал Игнат. — Шум этот совсем ни к чему. Вы, бабы, могли бы и посдержаннее быть. Стефана Ивановича понять можно. Тут на месте живешь, привыкаешь ко всему, а глянешь иной раз на все, что осталось от прежнего, и сердце кровью обливается. А он свежим глазом посмотрел. От горя и боли завывать можно. Но и ты, Стефан Иванович, нас понять должен. Для войны мы отдали все, что возможно, и даже сверх того, что возможно. О какой же тут справедности можно говорить? Но не прахом ушло наше достояние. Мы отдали его, чтобы народ выстоял и победил.

Игнат говорил медленно, с неохотой, как о чем-то таком, что и без того должно быть понятно. В его словах, почувствовал Белозеров, была та правда, от которой на душе становится еще тяжелее: куда проще было бы считать виноватым в разоре отдельных людей; неосознанно он к этому и стремился.

— Как дальше жить думаете? — спросил угрюмо.

— Как? — Игнат вздохнул. — Сразу не скажешь. Ты осмотришь сперва, потом вместе подумаем.

Осматривался Стефан Иванович долго. Он ходил по бригадам, ездил на фермы, разговаривал с бабами, стариками. То первое впечатление от Тайшихи не исчезло, напротив, везде и всюду он видел прорехи в хозяйстве, нужду в домах колхозников. Семейские бабы, обычно равнодушные к нарядам, зачастую ходили в юбках, сшитых из мешковины и покрашенных корой ольхи, на многих ребятишках можно было видеть одежонку, где заплата на заплате, за ними ни за что не разглядишь материала, из которого первоначально была пошита одежда. Сбруя для лошадей, всегда составлявшая предмет особой заботы семейских, любивших украшать шлеи, хомуты, уздечки кисточками, медными бляхами и уборами, теперь была до того убогой, что ее в старые времена выкинул бы самый захудалый мужичишка. Но, отмечая все это, Стефан Иванович видел и другое. Бабы не стыдились юбок из мешковины и рваной одежды на детях; сбруя, хотя и без украшений, с гужами из пеньковых веревок (ременные извели на подошвы ичигов), хотя и донельзя убогая, была исправной, запрягай, поезжай.

Однако самую потрясающую картину безропотного отношения к невзгодам обнаружил Стефан Иванович не в бригадах и на фермах, а в собственном доме.

Было это на другой день после его возвращения в Тайшиху. Мать поставила в обед на стол чугунок с картошкой и тарелку со сметаной. Пришла с работы Феня, принесла в платочке кусок мягкого, еще теплого хлеба, разрежала его и тоже поставила на стол. Стефан Иванович давно не ел крестьянского хлеба, и он показался ему необыкновенно вкусным. Макая ломти в сметану, он съел почти все, что принесла Феня, как вдруг перехватил взгляд дочки. Семилетняя Светланка как-то странно смотрела на него, на тарелку, где оставалось всего два ломтика; Ревомир и Ким, обычно говорливые, молча чистили картошку. Стефан Иванович почувствовал какую-то непонятную неловкость, торопливо выпил стакан чаю, вылез из-за стола. К тарелке с хлебом враз, будто по команде, протянулись три руки Светланки, Ревомира и Кима. Феня по этим рукам шлеп, шлеп, шлеп, разрежала ломти на равные доли.

— Ты чего скупись?

— Так ведь нету больше. Вся дневная пайка тут.

У Стефана Ивановича было такое чувство, словно он обворовал своих ребяташек. Схватил шинель, шапку и выскочил на улицу.

Было нестерпимо стыдно, что оказался таким невнимательным. Но, стыдясь своей опрометчивости, был горд сдержанностью детей, мужеством Фени и старухи-матери. Они не жаловались ему на трудную жизнь, на нехватки-недостатки, все принимали как надо, все понимали.

И другие бабы, с которыми он потом разговаривал, тоже не жаловались. А если и говорили о трудной своей жизни, то совсем не для того, чтобы вызвать в нем сочувствие, а чтобы понять: в колхозе все сейчас не так, как до войны было.

Стефан Иванович в глубине души считал свой отказ от брони поступком если не геройским, то уж во всяком разе и не таким, на какой способен каждый. И это и то, что на войне был далеко не последним, вроде как приподнимало его над всеми, кто оставался в тылу. Но уже в день своего возвращения, глядя на усталые лица работников райкома, он понял, какую великую тяжесть взяли на себя те, кто здесь остался. Теперь же с еще большей ясностью он осознал, что без таких людей, как бабы его родной Тайшихи, разгром врага там, на фронте, был бы просто невозможен.

Свою стычку в конторе с Устиньей и Прасковьей вспоминал тоже со стыдом. Глупо вел себя. Пора бы уже и поумнее, и поосмотрительнее быть. Жизнь стала не такой, какой была до войны, люди тоже стали другими... Значит, и мера всему должна быть иной. Но какой она должна быть?

По Тайшихе шел слух, что он, Стефан Иванович, скоро будет председателем колхоза. Его каждодневные посещения бригадных дворов, ферм, разговоры с колхозниками понимали как подготовку к приему хозяйства. Многие прямо спрашивали:

— Игната Назарыча сменяешь?

Спрашивать-то спрашивали, но ни один не сказал естественных в таких случаях слов, вроде того, что дело, мол, доброе, давно пора; напротив, едва разговор касался его председательства, колхозники становились сдержанными, заметно отчуждались, один Еремей Саввич с охотой говорил о предстоящих переменах в руководстве.

— Еле дождался тебя, — признался он. — Игнат Назарыч в политических вопросах ни черта не понимает. Совсем оттеснил меня от руководства. Я парторг, второе лицо после председателя, а чем занимаюсь? То за соломой еду, то за дровами в лес, то хомуты, то телеги ремонтирую. Какая же тут авторитетность будет? Для парторга, мыслю, должность должна быть свободная от работы... От меня тебе будет полная поддержка.

— А тебе от меня должность? — насмешливо спросил Стефан Иванович.

— Все надежды и упования с тобой связаны.

Что-то унижительное было для Белозерова во всем этом: в надеждах Еремея Саввича, в сдержанности колхозников, закрадывалось опасение, что во время голосования его могут прокатить на вороных. Правда, когда за тобой Петров, это не так уж страшно, тот от своего не отступит, весь райком на ноги подымет, но пробьет его в председатели. Иначе ему и нельзя. Провалилась кандидатура, рекомендованная райкомом, провалилась линия райкома. Пробьет, сомневаться не приходится. Но нужно ли ему это? Действительно ли он лучше Игната? Действительно ли уж так все хорошо понимает? Не разглядел же истинное нутро Рымарева, хотя работал с ним не один год. А ведь можно было разглядеть. Были в нем зародыши того, что потом привело к подлой, гадкой измене своему долгу? Были. Недаром же его многие недолюбливали. А Игната, кажется, любят. За что? Он этого не может понять, как не может понять и того, почему колхозники с прохладцей относятся к нему. Уж он ли не старался поднять колхоз? Ни себя, ни людей не щадил, чтобы вывести его на широкую дорогу. И вот как будто уже не нужен.

Вскоре его и Игната вызвал Петров. Игнат, по-видимому, догадывался, что означает этот вызов, дорогой старательно избегал разговоров о делах колхоза, и Белозеров не знал, как он будет держаться перед секретарем райкома.

Петров начал без предисловий.

— Как мы и договорились с вами, Стефан Иванович, вам надо принять от товарища Родионова дела и...

— Мы не договаривались, а только разговаривали, — уточнил Белозеров.

— Это одно и то же.

— Нет, не одно и то же, — обиженно сказал Белозеров.

Его покорила самоуверенная властность Петрова. Тогда, при первой встрече с ним, он не давал своего согласия стать председателем. Собственно, прямого разговора об этом и не было. Ну к чему такая бесцеремонность?

— Это совсем не одно и то же, товарищ Петров, — упрямо повторил он.

Короткая шея секретаря побагровела.

— Товарищ Белозеров! — он заметно повысил голос. — Партия не спрашивает желаний коммунистов, партия поручает дело и говорит делай.

— Это я знаю.

Тут он был согласен с Петровым. Тут он говорит правильно. Оспорить его слова невозможно.

В кабинет вошел второй секретарь райкома Федор Григорьевич Евграфов. Он сел в стороне, у окна. Сквозь редкие русые волосы, гладко зачесанные назад, просвечивала розовая кожа, уголки губ упрямого рта были чуть опущены, от этого казалось, что Федор Григорьевич все время чем-то недоволен, морщится, но карие, глубоко запавшие глаза смотрели с живым любопытством.

К нему повернулся Петров, приглашая к разговору, сказал:

— Ты только послушай... Белозеров считает, что вопрос о нем не решен.

Евграфов коротко глянул на Стефана Ивановича, пожал плечами. Он явно не принял приглашения Петрова. Лицо того посуровело.

— Ну? — нетерпеливо спросил Петров Белозерова.

Стефан Иванович почувствовал, как в нем растет озлобление. Все отчетливее он понимал неуместность такого разговора. Не так его надо было начинать, не с него, а с Игната, но Игната ни о чем не спрашивают, словно его здесь нет. Он сидит в конце стола, опустив голову, борода уткнулась в красное сукно скатерти, брови сдвинулись к переносью, лоб пересекли глубокие морщины. О чем, интересно, думает?

— Не то, товарищ Петров...

— Что не то?

— Все это не то. Разьясните мне, почему необходимо сменить Игната Назаровича. Я этого не понимаю.

— Я же вам говорил, что еще нужно? — Петров сердито гнул лысую голову, смотрел исподлобья.

— К тому, что вы говорили в тот раз, требуется прибавка. И не малая. То были общие рассуждения. Не подпертые фактами, они стоят совсем немного. Назовите мне промахи Игната Назаровича...

— Найдется все это, Стефан Иванович, — проговорил вдруг Игнат. — В моей работе, сам чую, огрехи есть. Но заботит и, прямо скажу, удручает меня сейчас другое. Сидим мы, взрослые, неглупые люди, в большом и уважаемом учреждении, судим-рядим кого снять, кого поставить. А колхозников спросили? Я это говорю не потому, что хочу усидеть на председательском месте или закрыть дорогу Стефану Ивановичу. Говорю к тому, что неправильно пренебрегать волей колхозников. Вы им не доверяете, не верите...

Евграфов скрипнул стулом, подался вперед, будто хотел заслонить Игната. Петров заметил это, усмехнулся.

— Ну, слышишь? А ты говорил... Товарищ Белозеров, скажите пожалуйста, может ли человек с такими взглядами руководить колхозом?

— Запоздалый вопрос. Он руководил и руководит. И вот что. Я не даю своего согласия... Так что все эти разговоры впустую. Пойду на прежнюю свою должность. Имею на это право?

— Ну-ну, — с угрозой в голосе подытожил Петров. — Право ты имеешь. Но, кроме прав, есть еще и обязанности члена партии. Советую не забывать!

Из райкома Белозеров вышел, ощущая душевную легкость. Он чувствовал, что поступил правильно. Усаживаясь в кошевку, зажмурился от яркого зимнего солнца, весело сказал ничего не значащее:

— Так-то, Игнат Назарыч. И когда кошевка тронулась, спросил: — А как второй, Федор Григорьевич?

— Это не Петров. Он совсем другой человек.

— Не любишь ты Петрова?

— А за что его любить? Ломится вперед, как бык сквозь кусты, только треск идет.

— Это лучше, чем на месте стоять. Потом, и его ты понять должен. Я сколько времени уже дома, а во всех делах еще до конца не

разобрался. А на нем все колхозы района. Это десятки сотни самых разных людей...

— Вот-вот, по этой самой причине ему и не нужно быть таким, какой он есть.

— Какой же он есть? — спросил Белозеров.

— Будто ты не знаешь, — уклонился от разговора Игнат, насупился, замолчал.

Стефан Иванович снова стал председателем сельсовета. И в первые же дни понял, что должность эта потеряла свое былое значение. Выписывай справки, нашлапывай печати вот и все дела. Но на отчетно-выборном партийном собрании его, по предложению Игната, избрали парторгом. И он вновь почувствовал себя тем, кем был до войны, ответственным за всех и за все. И вновь носился по Тайшихе, вылупив глазищи, одних подгоняя, других осаживая. Но в повседневной суете не забывал приглядываться к Игнату как говорит с народом, как ведет дела. Это был не тот, прежний Игнат с заковыристыми, часто непонятными Стефану Ивановичу рассуждениями, с вечной печалью в глазах. Новый Игнат, оставаясь все таким же мягким, где нужно, становился неподатливым, тихо-упрямым, а главное, в нем появилась какая-то внутренняя уверенность и собранность, все, что он делал, казалось, давно им обдуманно.

И не только к Игнату присматривался Стефан Иванович. В нем крепла потребность глубже, лучше понять людей, с которыми жил бок о бок многие годы и которых, как оказалось, знал лишь приблизительно. Пример тому — Рымарев. Его подлое отступничество он воспринял как личную обиду. И Верке не мог простить, что укрывала негодяя, своим долгом считал высказать ей все, что думает.

Игнат отговаривал:

— Не трогай ты бабу. Не тревожь ее болячку. Не послушался, вечером пошел к ней. Верка только что вернулась с работы, грела красные, иссеченные трещинами руки, прижимая их к теплему боку печки. На ней были огромные, растоптанные ичиги, подвязанные у щиколоток ремешками, телогрейка с продранными локтями и солдатские ватные штаны, вспузыренные на коленях. Он еще ничего не сказал, а Верка уже насторожилась, лицо ее стало злым и решительным.

— Как жизнь, Вера Лаврентьевна?

— Не видишь разве? — охрипшим голосом спросила она, простуженно кашлянула. — Чего надо сказывай.

Если бы не разговор с Игнатом, он сейчас бы и сказал, чего ему надо.

— Без «надо» и зайти нельзя?

— Знаю я тебя.

— Наверяд ли... В городе подростков в фабрично-заводские училища набирают. Не хочешь ли послать туда Ваську своего? — он обрадовался, что придумал хорошее заделье. — Через шесть месяцев парень рабочим станет.

— Это с ним надо говорить. — Верка чуть-чуть отмякла. — Он у меня парень самостоятельный. Вдруг спросила с испугом: — Выучится, в городе жить будет?

— Конечно.

— Ой, не надо! Одна останусь. Зачем мне тогда все это?

— Дело твое. Не хочешь, говорить ему не стану. Потому и пришел к тебе.

Стефан Иванович вместе с ней стал рассуждать, что для Васьки лучше здесь остаться или поступить в училище. Теперь заговорить о Рымареве было просто невозможно. Так и ушел, ничего не сказав о нем, но не жалел об этом. Кажется, здесь, у Рымарихи, нащупал то, из-за чего колхозники не захотели сменить Игната на него. Открытие это было не из приятных, обидное открытие, в то же время он был рад, что теперь, по крайней мере, многое становится ясным.

Закатилось солнце. Последние лучи угасли на вершинах заснеженных сопок. Синие тени в низинах быстро густели, но сопки еще долго оставались бело-розоватыми, словно светились сами собой. Мороз становился ощутимее, и Стефан Иванович плотнее закутался в потертую собачью доху, вытянул ноги в передок саней, прикрыл их сеном.

Ездил он в совхоз «Эрдэм». Там до войны жил его фронтовой друг сержант Цырен Пурбуев. В последний раз вместе были ранены, но Цырен вскоре поправился и возвратился в часть. Тогда уже было ясно, что Стефан Иванович отвоевался. Цырен просил, как только он будет дома, съездить к его жене и ребятишкам.

А съездить все не удавалось. Еле выкроил время. И лучше бы, пожалуй, не ездил. Три дня назад жена Цырена получила похоронную.

Из совхоза заехал в район. Петров, встретив его в коридоре райкома, попросил зайти в кабинет. Расспрашивал о делах, делая пометки в толстом блокноте, был недружелюбно-придирчив, во всем видел недоработки, не прямо, но довольно-таки понятно обвинял в них его, Белозерова. Во всем этом ничего необычного не было, но Стефан Иванович все еще думал о своем погибшем друге, вначале даже хотел рассказать о нем Петрову, однако его ворчливые замечания отбили всякую охоту к душевному разговору.

Наконец Петров закрыл блокнот, грузно ступая по крашеным половицам, подошел к сейфу, открыл дверцу. Стоя спиной к Белозерову, порылся в папках, сказал:

— К нам одна занятная бумага поступила.

Он протянул Белозерову несколько листков из тетради в косую линейку, исписанных неуклюжими каракулями. Сам снова сел к столу, подпер кулаком рыхлый подбородок, стал с интересом наблюдать за Стефаном Ивановичем.

Каракули трудно складывались в слова, и начало письма в райком он прочитал с пятого на десятое, но вскоре вынужден был вернуться назад и вникнуть в смысл каждого слова. Кто-то ставил в известность лично товарища Петрова, что председатель колхоза Родионов Игнат

тайно и явно проводит линию на подрыв партийного влияния в Тайшихе. Он организовал гонения на заслуженного человека, верного партийца Еремея Саввича Кузнецова. При попустительстве бывшего секретаря райкома Тарасова самовластно отстранил товарища Кузнецова от должности председателя. Потом лишил и должности бухгалтера колхоза. Затем подговорил партийцев, и на последнем отчетно-выборном собрании товарищ Кузнецов не был избран секретарем парторганизации, избрали товарища Белозерова, у которого и без того должность хорошая председатель Совета. Председатель колхоза делает опору на своих, им подобранных людей. Это прежде всего бригадир Устинья Родионова, жена его брата Корнея, бывшая жена кулака Пискуна. Считаюсь членом партии, она бесстыдно завлекла товарища Тарасова, как-то они с ним вдвоем ночевали в лесной землянке. Другие факты про ее работу и ее поведение тоже имеются. Такие люди вредные для Советской власти. Была надежда, что товарищ Белозеров выведет их на чистую воду, но и он примирился с безобразиями, не хочет их замечать. Товарищ Белозеров под влиянием Родионова перестал быть вожаком партийной массы, скатился на примиренческие позиции. Под письмом подпись: «Зоркие глаза».

Белозеров положил письмо на стол, криво усмехнулся:

— Зоркие глаза! Какие уж там зоркие, бельмами затянуты!

Сказал и встревоженно подумал, что когда-то такого вот письма было бы достаточно, чтобы свернуть шею Игнату, тем более, что Петров его недолюбливает.

— Ты, как всегда, скор на выводы, — сказал секретарь. — Анонимка, конечно, не заслуживает доверия. Порвать ее, выкинуть, и делу конец. Но... — поднял толстый палец с несоразмерно маленьким ногтем. — Дыма без огня, как известно, не бывает.

Белозеров снова усмехнулся. Времена меняются. Раньше Петров не назвал бы анонимку не заслуживающей доверия. Раньше он бы развернул вокруг нее такую бурную работу, что всем, кто в ней упомянут, пришлось бы надолго позабыть о самых неотложных делах.

— Если честно говорить, — продолжал Петров, — в письме я вижу немало такого, что должно привлечь наше внимание. Прежде всего о тебе. Ты, я уже говорил об этом, обманул мои ожидания. Я мог ошибиться в выводах. Но разве не о том же говорится в письме? Подумай. Во всем остальном поручаю тебе досконально разобраться.

— Пожалуйста, разберусь, — сухо сказал Белозеров.

— Ты что, обиделся? — Петров нахмурился.

— На пустяки не обижаюсь. Муторно на душе от этого письма. Нехорошее оно.

— Почему, собственно, нехорошее? Человек озабочен нашим общим делом. Что ты нашел в этом нехорошего?

Тогда Белозеров не нашел, что ответить секретарю райкома, но и сейчас, думая о письме, не мог бы сказать, почему все его нутро воспротивилось тому, что было в нем сказано, почему возникло чувство отвращения к человеку, который его написал.

Дорога тянулась в гору, и лошадь перешла на шаг. Стефан Иванович свернул папироску, прикурил от зажигалки, сделанной из винтовочного патрона память о фронте, о живых и павших боевых друзьях.

Звучно цокали копыта по накатанной дороге, пронзительно-тоскливо скрипели полозья саней, зимние сумерки растекались над засугробленной землей. Мороз пробирался под облезшую доху и шинель, Белозеров так намерзся, что еле распряг лошадь. Но с бригадного двора пошел не домой, а к Игнату.

В доме председателя было жарко натоплено. Он сбросил доху и шинель, прижался спиной к горячей печке, потер озябшие руки. Игнат сидел за столом, рассматривал уже знакомую Белозерову школьную карту с красными карандашными пометками.

— Война-то к концу идет, Стефан Иванович! — Игнат ткнул пальцем в карту. — Катится фашист, катится, супостат проклятый!

«Тоже мне, полководец»! — с легким раздражением подумал Белозеров, но вслух сказал:

— Кончается, верно. Только не завтра. А каждый день в тысячи жизней обходится.

Игнат вскинул на него изучающий взгляд, встал, налил стакан горячего чая.

— Окоченел, кажись. Садись, отогревайся. Сейчас Настюха придет, ужинать будем.

— Пока ее нет, почитай-ка... — Белозеров подал ему письмо, взял стакан с чаем, снова прислонился к печке.

Игнат читал долго, шевелил губами, мял в кулаке бороду, покачивал головой. Прочитав, зачем-то посмотрел бумагу на свет.

— Ну, что ты скажешь? — нетерпеливо спросил Белозеров.

— Что? — Игнат потер виски, наморщил лоб. — Все верно. Гонения на Еремея Саввича были. С председателей погнали, из бухгалтерии попросили, в секретари не выбрали. Все правда. Но вот беда, правда эта так скособочена, что становится самой настоящей неправдой. Вопрос не в том, лишили его должности или нет, а в том, почему лишили. Про это же тут ни слова не сказано.

Слушая Игната, Белозеров, кажется, начал понимать, чем ему так сильно не понравилось письмо. Именно тем, что где-то что-то недосказывая, о чем-то говоря чуть-чуть, оно все ставит вверх тормашками, как самая подлая ложь. Такую ложь опровергнуть бывает трудно, а порой и невозможно.

— Подлец! — сказал он так, словно выносил окончательный приговор. — На Тарасова не постеснялся тень кинуть. Откуда взял, что Устинья с ним крутила?

Игнат помрачнел.

— Откуда взял, не знаю.

— Придется с Устиньей поговорить.

— А зачем, Стефан Иванович? Положим, в письме насчет Устиньи и Тарасова все верно. Что мы, люди сторонние, можем понять в этом? Они сами с головой... Неосторожным словом можно так ранить человека, что рана не зарубцуется и до конца жизни. А кому это нужно?

— Может быть, ты и прав, — сказал Белозеров, с сожалением думая, что и здесь анонимщик, видать, свои измышления строил не на пустом месте. — Кто мог написать, как ты считаешь?

Игнат ответил не сразу. Видимо, колебался, сказать или не сказать. Это разозлило Белозерова, со стуком поставил стакан на стол, стал ходить по избе взад-вперед.

— И что ты за мужик, Игнат! Временами никак не пойму тебя. Ну что ты тянешь? Ведь вижу знаешь.

— Я-то, может, и знаю. Но надо ли знать тебе, не уверен.

— Это почему же, черт возьми!

— Ты будешь во всем разбираться. Вот и разбирайся беспристрастно. Все взвесь как следует.

— Не говори чепухи! Взвешивать для меня тут нечего. Без того все ясно-понятно. Если бы это было до войны, я не знаю, как бы подумал. Война меня, Игнат, многому научила.

— Ну, хорошо, — сказал Игнат. — По моим соображениям, такое письмо мог написать единственный человек — Еремей Саввич.

— Но почерк не его!

— Наверное, левой рукой накарябал. Вчитайся, все его любимые словечки тут — «заслуженный», «должность».

Белозеров перечитал письмо еще раз, хлопнул себя по лбу.

— Едрена бабушка, а ведь точно — он! Верный партиец товарищ Кузнецов... — стал перечитывать вслух письмо и смеялся почти после каждой фразы; теперь, когда знал, что это написано Еремеем Саввичем, слова звучали совсем иначе глупо, нелепо.

Игнат даже не улыбнулся.

— Зря ты развеселился, — сказал он. — Будь Ерема недоумком, можно было бы и посмеяться. А тут плакать надо. Всю жизнь хитрил-крутил. Бочком в партию протиснулся... Все выгоду искал. Даже сейчас у него одна дума о себе.

— Ладно, — Белозеров сунул письмо в карман, оделся. — Я поговорю с этим писакой. Потом посмотрим...

Он зашел к Еремею Саввичу, велел ему идти в контору. Тот прибежал следом. На включенной рыжей бороденке налет инея, глаза настороженно-ждушие. Белозерову представилось, как он дома, закрыв двери на крючок, потел над письмом, выводя буквы непослушной левой рукой, и злорадно улыбался и грозил кулаком своим недругам представил это и горько усмехнулся. Вот еще один из тех, кого он не сумел разглядеть в свое время. Ведь из него, наверное, можно было бы сделать человека.

— Мне, Еремей Саввич, в райкоме твое письмо передали. Для меня в нем кое-что непонятное есть.

— Какое мое письмо, Иваныч? Не посылал я в райком письмо. — Белозеров оставил его слова без внимания, разложил листочки на столе, склонился над ними.

— Кое-что я сам знаю. А кое-что без меня было. Давай все установим в точности. По какой причине тебя сняли с председателей?

— Неудобен был. Буксырщикам ходу не давал, крепил дисциплину.

— Хорошо. Но почему с тех пор, как Игнат председатель, никто не буксырит?

— На полях ничего не остается.

— Вот видишь! А ты хлеб оставил, и за это тебя по головке гладить? Хорошо, что меня не было, я бы с тебя за это дело еще строже взыскал! При чем же тут Игнат, с чего ты понес на него?

— Обидно же, Иваныч. Всех должностей меня лишил, простым колхозником сделал. И от тебя подмоги нет. Пришлось сигнал в верха подать. А что, не имею таких прав?

— Имеешь, имеешь, — успокоил его Белозеров. Он не смотрел на Еремея Саввича, глухая ярость закипала в сердце, хотелось скомкать, разорвать эти листки и бросить ему в лицо, потом пинком вышибить его за двери. Вспомнились разговоры о том, что Кузнецов и Рымарев на Максима донос настрочили. Решил спросить его об этом.

Еремей Саввич закрутил головой.

— Нет, не я писал. Рымарев. Я только переписал готовое.

—левой рукой, как и сейчас?

—левой.

— Специалист! Разве ты не знаешь, что о правом деле левой рукой не пишут? Сукин ты сын, Еремей Саввич! Тебе, как всем другим, Советская власть дала все, что нужно для умной, честной жизни. А ты? Что ты сделал для Советской власти? Война жизнь всех людей перевернула, а у тебя одно страдание о тепленькой должности. Верный партиец! Никакой ты не партиец! Гнать тебя надо в три шеи из партии. И выгоним. Уж об этом я позабочусь, будь уверен.

— Да ты что, Иваныч? Тебе-то я что сделал? Только вскользь упомянул. Ну прости, недоучел.

— Все. Разговор наш окончен. Катись!

— Смотри, товарищ Белозеров. На тебя тоже управа найдется. Еремей Саввич поднялся, зло глянул через плечо. Спелись тут все! Я до Москвы дойду.

— Брехня, как хромая кобыла, далеко не увезет.

Еще один солдат возвратился с войны, Лучка Богомазов. Вместо правой ноги у него скрипучий протез. Без бороды, наголо остриженный, смешной какой-то, он бурно радовался возвращению, людей не стесняясь, тискал Елену, хлопал ее по спине, что-то шептал на ухо и смеялся.

Игнат, Устинья, Стефан Иванович сидели у него за столом, пили чай, заваренный из листьев брусники. Они были в районе на совещании, встретили там Лучку и привезли домой. Он их не отпустил, затащил в избу, усадил чаевать, а сам все вертелся возле жены. Елена, красная от смущения, с блестящими от радости глазами, вдруг помолодевшая на десяток лет, слабо отбивалась.

— Перестань! Экий ты... Ума тебе там нисколько не прибавили. Садись, ешь...

— Выпить небось не припасла.

— О выпивке мы и думать позабыли, — сказала Устинья. — Наших никого не встречал?

— Твоего Корнюху нет.

— А Тарасова, агронома бывшего, помнишь? Не встречал случаем?

— И его нет. Гришку Носкова видел раз. Давно уже. Агроном на войне?

— На войне, — вздохнула Устинья. — Он не так давно ушел. Игнат под столом надавил Устинье на ногу, глазами попросил:

— молчи. Очень уж часто она заговаривает о Тарасове, люди кое о чем догадываться стали, а от этого пользы ей не будет. Устинья поняла, замолчала и сразу вроде как потускнела.

— Мы твоих пчел тут... не уберегли, — сказал Игнат Лучке. — Не до них было.

— Знаю, Елена писала. Пчелы еще так-сяк, а вот крыжовник она загубила, за это ей нахлобучка будет, — скорее в шутку, чем всерьез, пригрозил Лучка. — Все сызнова начинать придется.

Стефан Иванович засмеялся.

— Неужели не забыл о своих садах?

— Не забыл. Смешного тут ничего нет, Стефан Иванович. Даже наоборот. Подкузьмил ты тогда меня, ох и подкузьмил! До сих пор злость берет.

У Лучки потемнело лицо. Стефан Иванович осекся, смутился. Наверное, не рад, что напомнил старое. Оно ему, как уже не раз замечал Игнат, часто портит настроение. Сам вспомнит или люди напомнят смутится так же, как сейчас, потом оправдываться станет или вдруг вспылит, закричит, что теперь куда как просто умным быть, теперь все на виду и все любому дураку понятно. На виду-то, может, и не на виду, но, прав Стефан Иванович, проще жизнь стала, сейчас даже если и не шибко здорово соображаешь, можно предугадать, куда она повернет, какие горки и горы перед человеком воздвигнет, что от него потребует. Война вот-вот закончится, и как только она закончится, в жизни села наступят большие перемены. Ничем не связанный человек повернется лицом к земле, перестанет ковырять ее, как сейчас ковыряет, по-умному, по-хозяйски распорядится ее силой. Не тесно на ней будет и Лучке с его давнишней думкой о садах.

— Я думаю, Лука Федорович, тебе теперь самое время в колхоз к нам, — сказал Игнат.

— Дельно говоришь, Назарыч. Кто из вас теперь главнее ты или Стефан Иванович?

— Мы оба одинаковые, — ответил Игнат. — Так же, Стефан Иванович?

Хочется Игнату, чтобы Белозеров перестал хмуриться да по-доброму поговорил с Лучкой.

— Так, — отозвался Белозеров.

— Тем лучше! А ты, Устинья, тоже теперь начальство? Пониже или равная с ними?

— Пониже, Лука Федорович. Пристяжная.

— А все ж таки начальство, со всеми и уговор держать буду. Елена, дай сюда вещевого мешок.

Из мешка Лучка достал узелок, развязал его и, сдвинув чашки и стаканы, стал выкладывать на стол бумажные пакетики, похожие на те, в которых аптека отпускает порошки. На каждом пакетике надпись.

Повезло мне на войне. Пригнали раз пополнение. Наши сибиряки из Иркутской области. Разговорился с одним мужичишкой. Невидный такой из себя, сухонький, маленький, в годах. Оказалось, что он садами

уже лет десять занимается. Дома у него весь приусадебный участок засажен. Ранетки мелкие такие яблочки килограммов пятьдесят с дерева просто дают. Малины сортов десять есть, клубника, земляника садовая плодоносит. Крыжовник всякий. О смородине уже и говорить не приходится. И крупные яблоки рождаются. Как рассказал он мне это, так и прилепился я к нему. Чуть выдалось затишье о садах разговоры. Как обихаживать землю, как подкармливать деревья, как укрывать на зиму. Когда от тюрьмы бегал, научился многому, а у этого мужика и вовсе полную науку прошел. Ранили его вперед меня, крепко покалечили, но оклемался. Домой уехал, письма писал. Сейчас заезжал к нему, три дня гостил. Семена мне дал, а как земля растает, саженцев всяких пообещал послать. Я, конечно, могу и в своем огороде начало саду положить. Теперь, думаю, Стефан Иванович не станет землю у меня отхватывать, но было бы куда лучше сразу на колхозной земле высадить все, что он пришлет. Поймите, черти вы полосатые, мне простор нужен. И не для себя стараюсь.

Елена, внимательно слушая мужа, качала головой.

— Опять ты за свое. Не успел носа показать, а уже сады на уме. До садов ли сейчас! Люди без хлеба измаялись...

— Что люди измаялись верно, — подтвердил Белозеров. — Сил у нас совсем мало. Не ко времени вроде бы...

— И тогда было не ко времени! — Лучка нахмурился.

— Да, и тогда! — резко сказал Белозеров. — Но тогда еще и другое мешало. Не было тебе веры, Лука Федорович. А сейчас я тебе на все сто процентов верю. Если за столько лет ты не позабыл о садах, значит, гору своротишь, а своего достигнешь. Вот за то, что жизнь из тебя, Лука Федорович, ничего не вытрясла, я тебя уважаю и буду, несмотря ни на что, поддерживать.

После ужина Лука вышел проводить гостей. Садилось солнце. С пастбища возвращалось стадо, наполняя улицу мычанием, запахом навоза и парного молока. Еще везде лежали сугробы, покрытые тонкой корочкой льда, и морозец был ощутимый, но в воздухе чувствовалось приближение весны. Заканчивалась последняя военная зима. Лука ковылял рядом с Игнатом по улице, когда дошел до его дома, словно бы стесняясь, сказал:

— На племянницу захотелось поглядеть.

Настя только что принесла девочку от тетки Степаниды, усаживала ее на кровать.

— Вот и дядя твой, — сказала она, увидев Лучку. — Познакомься с ним.

Девочка, пухлая, чернявая, с быстрыми карими глазами, спряталась за нее, выглянула, улыбнулась.

— Пойди к дяде, Ксюша... — Настя подала ее Лучке. — Она у нас боевая, никого не боится.

Что-то лепеча, Ксения протянула пухлые ручонки к звездочке на шапке Лучки.

— Эх, Федос, Федос!.. — вырвалось у того.

Он поцеловал девочку, передал на руки Игнату, встал к окну, низко опустив плечи.

— Тяжело, Назарыч, ох и тяжело... Не приведи бог, чтобы кому-то досталось то же, что нам.

В его голосе была тоска и усталость. Да, многое легло на его долю. Три войны прошел, видел всякое, терял друзей, потерял брата, сам искалечен, просто удивительно, как он все вынес, не сломился, не изменился, остался самим собой. То, что досталось на долю Лучки и многих-многих подобных ему, хватило бы на три жизни с остатком. Хорошо сказал Белозеров про веру в таких людей. Но верить в них мало. Им надо дать все, к чему они шли долгие годы через страдания и муки, через горечь и обиды. За тем рубежом, который отметит конец войне, должны начаться новые времена.

Отшумела весна 1945 года.

Небывалая это была весна, неустойчивая, беспокойная; погода менялась резко, и не было, наверное, двух дней одинаковых; теплынь, безветрие, солнце светит, а назавтра, смотришь, все небо заволкло тучами, трусит зануда-дождь или снег пойдет, мокрый,

противный, никчемный, потом вдруг подует ветер, да такой, что с треском и грохотом валятся непрочные, подгнившие частоколы тайшихинских огородов, пронесется ветер, и опять тишина, на голубом небе стада пуховых облаков... Казалось порой, что весна и осень пришли одновременно, и ни та, ни другая не могут взять верх. Но постепенно погода устанавливалась, все сильнее пригревало солнце, зажигая на склонах сопки голубые огоньки ургуя.

Еще более неустойчивым, чем погода, было в ту весну настроение тайшихинцев. Придет солдат из армии, сбегутся к нему в дом родные и соседи, смех, поцелуи, слезы радости, тут же кто-нибудь не удержится, вспомнит о сыновьях, вдовы о мужьях, невесты о женихах... Тоска коснется сердца каждого, прильнет своя и чужая боль...

Отшумела весна, радостная и горькая.

В начале лета ранним утром подъезжал к Тайшихе Корнюха. Искрилась роса на придорожной траве, запах полей вместе с прохладным ветром вливался в кабину грузовика, солнечный свет бил в глаза. Корнюха жмурился, беспричинно улыбался.

Война его пощадила, ни царапины не оставила. Везучим оказался, должно быть, в рубашке родился. В самое тяжелое время в тылу был, мосты строил и дороги. Потом попал в автошколу, на шофера выучился, а когда на фронт идти, ему опять повезло, стал возить на легковой машине генерала. Это вовсе не то же, что возить на передовую снаряды. Попадал, конечно, и с генералом в переплеты, но много реже, чем бедолаги фронтовые шоферы. Так на легковушке и до Берлина доехал. Орденов, медалей не заработал, но голова на плечах осталась. И специальность шофера, войной ему подаренная, стоит подороже любой медали. Он знал, куда проситься, иные рвались в танкисты, в артиллеристы, а он сразу взял прицел на шоферское дело и не прогадал.

Теперь можно будет жить получше, чем до войны. Конечно, Устинья, должно, все добришко размотала, сколько раз писал ей, чтобы рассказала подробнее о хозяйстве, о достатке молчит. В последнее время и вовсе отвечала на письма десятком слов, получишь, читать не о чем, живы, здоровы только и всего. Конечно, все размотала. Будь иначе, что-то бы написала. Но ничего. Он не такой, как другие, он, если захочет, из камня воду выжмет... Вот и с войны возвращается не с пустыми руками. Генерал был крутого нрава, барахольщиков терпеть не мог. Но однажды Корнюха набрел на какой-то разбитый складик с разной мелочишкой нитки, пуговицы, металлические кнопки, наперстки, иголки, кремни для зажигалок. Глянул на это добро и подумал, что за хорошую иголку баба не пожалеет пяток яиц, за дюжину кремней можно любые сапоги выменять. Взял две коробки с иголками и две коробки с кремнями. Грузу в одной руки унести можно, а богатство умом не охватишь.

Пока ехал домой, половину кремней и иголок продал и выменял. Денег, гостинцев полно, даже водки литр есть, из нарядов тоже немало.

Шофер довез Корнюху до ворот дома. Из дома выскочили подростки. Чернявый, тонконосый, глазастый красавец Назарка. Белобрысый, круглолицый, приземистый Петька, приемыш. Сына он обнял, поцеловал, Петьке подал руку и слегка потрепал по плечу. Залез в кузов, подал чемоданы.

— Ну, молодцы, несите в дом.

Петька подставил плечо под большой чемодан. Назарка взял маленький, тот, в котором были деньги и остатки кремней, иголок. «Знает, за что браться, стервец!»

— Мать дома?

— В бригаде. Скоро придет чай пить.

У крыльца Корнюху встретила Хавронья, заморгала, прослезилась.

— Ну, начинается! — сказал он. — Бабье! Только бы плакать... — Подумал об Устинье: заплачет или нет? Нет, не заплачет. Вот не скажешь, что у нее глаза на мокром месте.

Корнюха раскрыл большой чемодан, стал раздавать подарки. Теще теплый платок, вязаную кофту, Назарке туфли и костюм. Петьке почти новые солдатские сапоги. Вслед за подарками извлек сало, банки с тушенкой, круги сыра, куски сахара. Теща ахала, все ошупывала руками, смотрела на зятя влюбленно и благоговейно.

— Налаживай, мать, стол. Назар, беги за матерью, а ты, Петро, позови Игната, распорядился Корнюха.

Устинья и Игнат пришли вместе. Брат подошел к нему, обнял, поцеловал, а жена стояла чуть в стороне и как-то странно смотрела на него.

— Ты это что, будто не родная? — Он притянул ее голову, приложился губами к ее губам, неподатливым, затвердевшим. — Отвыкла, что ли?

Засмеялся, кинул ей на плечо платье. Она посмотрела на сплетение узоров и цветов, погладила скользкую материю и, ни слова не сказав, положила на стол. То ли досаду, то ли беспокойство почувствовал Корнюха. Приметил, что и брат какой-то очень уж сдержанный, вроде и радуется, улыбается, а глаза печальные. Ну, Игнат еще туда-сюда, он вечно о чем-нибудь печалится, без этого жить не может. А что с Устюхой? С чего она такая невеселая? Может, в самом деле отвыкла? А может, боится, что за бесхозяйственность ругать будет? Скорей всего, так оно и есть.

— Выпить надо как следует! — Он поставил на стол бутылку. — Разливай, Устюха, угощай. Не пасмурься. За хозяйство ругани не будет. Правда, я еще не видел, что ты тут натворила. Но все равно... Наживем.

Оттого, что Устинья его, кажись, побаивается, Корнюхе стало весело. Дошло до бабы, припекло ее, видать, поняла, что значила его рачительность. Он всегда думал, что со временем сообразит, какой ей мужик достался. Сейчас ему хотелось быть добрым, великодушным и щедрым. Заметив, что теща скуповато распорядилась его гостинцами, сыра и сала отрезала по кусочку на каждого, сам взял нож, разрезал большой кусок сала, положил на тарелку.

— Вот так надо, — подмигнул сыну. — Верно, Назарка? Выпили. Игнат и Устюха заметно захмелели, с непривычки,

должно, но разговорчивее не стали. Говорил почти один. Над старшим братом посмеивался.

— Тихоня ты, а в начальство выбился. Вот уж не думал! Теперь с тобой надо ухо остро держать. Председатель, партийный человек.

— Устинья тоже в партию принята.

— Но?! Едрит-твою так! — громко засмеялся. — Теперь я среди вас самый отсталый. А вы, Назар и Петруха, поди, комсомольцами стали?

— Нет еще. Собираемся. — ответил Назар.

— Теща, а ты? Никуда еще не заступила?

— Зря скалишь зубы... — строго проговорил Игнат.

— Возможно, — Корнюха посерьезнел. — Да ведь как не засмеешься, на дураков глядя. Один у нас был уже чрезмерно старательный, партийно-сознательный, где он? Устя баба, у нее волос длинный, а ум короткий, но ты-то, борода, зачем сам в хомут влезаешь? Или позабыл про Максима?

— Все как раз наоборот, Корнюха. Не позабыл. И потом, война нас многому научила. А ты, видать, каким был, таким и остался.

— Да уж, конечно! Меня огнем жги, в воде мочи, а все таким же буду.

Ребята наелись, вылезли из-за стола. Устинья послала их в огород, начерпать в бочки воды для полива. Теща пошла в куть. Корнюха тоже поднялся, хотел выйти во двор, взглянуть на хозяйство, но жена остановила его.

— Разговор есть, — Корней Назарыч.

— Чего навеличивать вздумала?.. — взглянул на нее и осекся.

Лицо у жены было от всего отрешенное, веки опущены, от ресниц, густых, длинных, под глазами тени, сидит словно неживая и красивая, как никогда.

— Что с тобой?! — от предчувствия непоправимой беды бросило в жар.

— Я полюбила другого, Корней Назарыч.

— Хм, полюбила... Еще чего? — Вдруг до него дошел страшный, невероятный смысл ее слов. — Скурвилась?! Ах ты, сука медеянская! Задавлю!

Выбросив вперед цепкие руки, он пошел на нее, готовый стиснуть шею, перехваченную ниткой светленьких бус; перед ним встал Игнат, заслонил Устинью; из кути прибежала теща, испуганно спросила:

— Что такое? Что такое?

— Сядь! — приказал Игнат, требовательно, властно, без капли обычной для него мягкости, толкнул в грудь.

Корнюха не ждал толчка, хлюпнулся на лавку и заплакал от ярости, опалившей все нутро, от стыда, от обиды. Игнат положил ему на голову тяжелую, как свинец, руку, провел по коротким волосам.

— Успокойся, братка... Будь мужиком.

Дернул головой Корнюха, сбрасывая руку, закричал:

— Тебе хорошо говорить-уговаривать! Я там каждый день со смертью обнимался, а она, паскудница, с кобелями путалась! Где у тебя человеческая совесть, б... ты такая! Кто он, твой кобель? Отверну ему голову! Убью паразита!

— Опоздал... Скоро два месяца, как убили. Там, откуда привез чемоданы с добром, — Устинья сказала это без злости, тусклым, безжизненным голосом.

Но ему почудилось, что она в вину ставит то, что живым остался, и то еще, что вернулся не с пустыми руками. Вскочил, мгновенно, с правой, с левой руки вlepил ей две пощечины. Взвизгнула, завопила во все горло теща, Игнат насел ему на плечи, с огорода прибежали Назарка и Петька, испуганно таращили на него глаза: лицо у Устиньи огнем пылало, губы кривились от боли, но ни слезинки не уронила.

— Зря бесишься! — сказала она. — И раньше не боялась, а теперь... убил бы, рада была. — Так ведь не убьешь. Не убьешь, Корнюшка!

— Заткни хлебальник. Не то харю твою поганую в кровь изобью. Забирай свои драные сарафаны и катись! Сейчас же катись!

Теща бухнулась перед ним на колени, обхватив сухонькими, морщинистыми руками его сапоги.

— Прости ты ее непутевую! Усмири свое сердце, соколик мой долгожданный!

— Мама, встань! — глаза Устиньи сверкнули гневом.

— Подымись, мать, — проговорил Корнюха. — На тебя зла не имею. Хочешь, оставайся при нас с Назаром. Сынок, поди сюда. Ты чуешь, что у нас получается? Всех обманула твоя мать! За это ее прогоняю. Будем жить с тобой. Уж ты-то меня не обманешь, не подведешь.

Сын растерянно смотрел на него, на мать, изо всех сил старался сдержать слезы. Он обнял его, прижал к себе.

— Один ты у меня... Никого нет на свете, кроме тебя, сынок. Не обижай хоть ты своего отца... А ты, Устинья, уходи, скорее уходи!

— Сынок, ты здесь остаешься? — спросила она.

— Не знаю, мама...

— Хорошо, поговорим потом. Петруша, собери, что есть нашего. Я ухожу, Корней Назарыч. Не надейся, что приду виниться. Прощай.

В чем была, в том и вышла.

И больше в дом его ногой не ступила. Поселилась у Татьяны. Прожила там до осени. Сердобольный Игнат отремонтировал старый, колхозу принадлежащий дом, и она перешла в него.

Для деревни их развод был неожиданным и совсем непонятным. Спрашивали у него попервости без конца, как да почему, он отделялся от любопытных чаще всего молчанием, а если уж чересчур назойливо приставали, посылал всех к такой-то матери. У него язык не поворачивался сказать, что Устинья ему изменила; такого унижения еще в жизни не было; добро бы был незавидным мужичишкой или женился на ней, приневолив, а то ведь ничего такого. Случалось, конечно, поругивались, но без этого навряд ли кому удавалось жизнь прожить, есть мужики, которые баб своих лупят, как уросливых лошадей, однако ни одна не сделала того, что его Устинья за что же?

На войне уберегся от пули, радовался, что остался жив и невредим, а того не знал, что собственная жена полоснет по сердцу, да так, что жизнь не мила станет, и будет жаль, что там ему не оторвало голову.

Клял ее на чем свет стоит и тосковал, и порывался пойти к ней, поговорить по-доброму, по-человечески, чтобы понять, из-за чего все получилось, и, может быть, начать жизнь заново. Но тут же вскипал от злой обиды, ярость хмелем была в голову, припоминал, что еще до войны она норовила жить по своему разумению, не хотела делить его забот, тянула в сторону, и вот венец всему он сберег себя там, в кровавой кутерьме, она себя не сохранила дома. И хоть бы раскаялась, осудила себя нет, глаз своих перед ним не опустит, все такая же гордая и неприступная, какой была и раньше, будто и вины за ней никакой. Какие уж тут разговоры по-доброму!

И оттого, что поправить теперь уже ничего невозможно, что жизнь, которая могла быть такой налаженной, на глазах развалилась, возненавидел он Устинью смертной ненавистью. Всю свою остатнюю жизнь отдал бы только за то, чтобы поставить ее на колени, увидеть раскаяние на ее лице.

Но и это было недоступно ему. Ни в чем она не зависела от него, жила сама по себе, даже раздела имущества через сельсовет не затребовала, гордячка. Была меж ними лишь одна связочка — сын.

Парень остался с ним, но дома бывал редко, все больше обитался у нее, и от этого тоже было горько, казалось, и сын предает его.

Была обида и на Игната. Начнет при нем ругать Устинью, брат опустит голову, молчит, и в этом молчании чувствуется неодобрение, глухое и упорное. Лишь однажды он нарушил молчание.

— Зря так-то рвешь и мечешь. Глянул с жалостью и состраданием. — Ничего этим не сделаешь. Не лучше ли тебе на всю свою жизнь посмотреть спокойнее, без злости. Сейчас ты как путник на росстани, все будет зависеть от того, какую дорогу выберешь.

Корнюха понимал, к чему клонит Игнат. У него всегда один уклон — в любой беде вини себя. Нет уж, братец, не получится. И дорогу ему выбирать нечего. Надо стиснуть зубы, унять боль, и жить. И не просто жить, а так, чтобы Устинья поняла, чего она лишилась. Придет когда-нибудь и его час.

Работать устроился шофером в МТС. Дали ему грузовик, порядком потрепанный, отремонтировал и стал ездить в город за разными грузами. Сына часто брал с собой. Тому все интересно машина, дорога, городская сутолока. В городе, если было свободное время, водил его по базару, по шумной «барахолке», где можно было купить все, от ржавых гвоздей до пианино, от дырявых валенок до роскошной шубы. Заставлял парня примерять хромовые сапоги, куртки на «молнии», костюмчики и пальто.

— Вот заработаем с тобой денег бери, что пожелаешь.

У парня сияют глаза. Рад и Корнюха. Не видать Устинье сына как своих ушей. Заберет его, чужим для нее сделает. Только подход должен быть ловкий. Ума на это, слава богу, хватит, тут он промашки не даст. Много раз в жизни маху давал, теперь этого не будет, все до тонкости наперед продумает.

Назарку мог бы сразу подарками завалить. Деньги в запасе были. Какие с собой привез, остались почти нетронутыми, распродал остатки иголок и кремней, кроме того, работа оказалась выгодной: пассажиров бери, сколько сможешь, а плата за проезд вся до копейки твоя. Но баловать сына не резон. Пусть сначала поймет, что рубли на дороге не валяются, каждый надо горбом заработать.

Из слов Назарки знал: Устинья живет туго, еле концы с концами сводит. Но ему говорил:

— Пусть тебе даст хотя бы на мороженое, на орехи. Я, сам знаешь, не с заработков вернулся.

— Нету у нее. Она бы дала.

— Может, и нету. А может, и есть, да не дает. Но не горюй, у нас с тобой деньги будут.

Первую получку почти всю потратил на сына. Торговался за каждый рубль. Делал это с умыслом. Сын не должен быть простодушным, как его мамаша.

— Смотри, Назар, и мотай на ус. Суть тут не в рубле даже. Если плачу за вещь сто рублей, когда она стоит, к примеру, девяносто, я, стало быть, дурак и недотепа. А дуракам и недотепам всегда живется худо. Когда уходил на войну, в доме всего было вдоволь. Мать твоя добро в момент растрясла и потчевала тебя сухой колхозной пайкой. Разве я бы позволил, чтобы мой сын жил впроголодь? Ни за что! Все жилы бы вытянул из себя... А мать что, она парте-ейная, ей дороже всего собрания-заседания.

Первое время, когда он так говорил о матери, Назарка опускал голову, отводил взгляд. Потом ничего, привык. Без нажима, осторожно пестовал его Корнюха, жил надеждой, что придет время, и парень будет на все смотреть точно так же, как он сам.

К тому, что наметил, шел с прежним упрямством, ничего не замечая вокруг, ничем не интересуясь. Игнат, Стефан Белозеров поначалу звали его в колхоз, хозяйство, дескать, поднимать надо. Он сумрачно усмехался. Шиш вам с маком! Сами все тут поразвалили, сами и поднимайте. С него достаточно и войны. Не будь ее, жизнь шла бы прежним порядком. Кто, когда, чем возместит ему все то, что утеряно? Любое хозяйство можно восстановить из праха, любая рана зарубцуется и перестанет болеть, но то, что случилось у него, не восстановить, не наладить ни ему самому, ни людям. Тем более людям. Никакого добра от них не видел, всегда только мешали, всегда приходилось подстраиваться к ним, взнуздывать свою волю. Теперь он чихать хотел на всех. Теперь для него самое главное сын. Остальное чепуха.

Но порой на него накатывало тревожно-тоскливое чувство. Началось с того, что однажды вместе с Назаркой посмотрел фильм о строении Вселенной. Поздно вечером вышел перед сном-из дому. Ночь была ясная, морозная, небо, усыпанное звездами, как летний луг росой,

придвинулось к земле, нависло низко над головой. Он обвел взглядом искристый пояс Млечного Пути и вдруг как-то разом ощутил невообразимую бесконечность и вечность этого мира и всю крохотность земли, покрытой мерцающими снегами; ощутил так остро, полно и беспощадно, что сердце на мгновение заледенело от пронзительного, сквозящего страха перед тем, что ему открылось; и такими ничтожно-малыми показались все его прежние и нынешние устремления, что их захотелось вытряхнуть из себя, как мусор из мешка, заменить чем-то иным, твердым и веским. Но чем? Этого он не знал и постарался задавить в себе и ощущение страха перед величием мира, и свои размышления. Но они нередко возникали вновь, внося разлад в его душу. Спасение было в одном в работе, в заботе о сыне. Он отдавался этому без остатка, вновь обретая уверенность в себе.

Все, в том числе и Игнат, ждали, что как только кончится война, вернуться солдаты, впрягутся в скрипучий воз хозяйства, и дело пойдет, как раньше шло. Но очень многим не суждено было возвратиться, другие пришли калеками, не способными выполнять тяжелую крестьянскую работу, а некоторые, пожив месяц-другой в Тайшихе, поглядев, как бедуют люди, уезжали в город, в рабочие поселки или, как брат Корнюха, устраивались в МТС. Продовольственные карточки обеспечивали рабочего и его семью хотя и не очень большим, но постоянным куском хлеба, на деньги, хотя и стоящие не много, можно было худо-бедно одеться. А колхоз почти ничего не давал. В конце года при полном расчете нередко оказывалось, что колхозник даже оставался должником, труд его был до того дешев, что не удавалось отработать несчастную пайку и жидкую баланду, которой кормили на полевых станах.

Бабы, до этого безропотно выносившие все тяготы, одна за другой начали бунтовать. Утром в конторе всегда стоял шум и гам. Бабы и ругались, и жаловались, и плакали. Игнат больше молчал, ожесточенно подергивая бороду, зато Стефан Иванович безоглядно кидался в перепалки, озлоблялся, выкрикивал обидные, чаще всего несправедливые слова.

Ожесточенность Белозерова была понятна Игнату, но принять ее не мог, и те добрые отношения, которые было установились меж ними, начали быстро рушиться. Он радовался отлучкам Белозерова: без него легче было утихомирить и уговорить баб. Но тот отлучался редко, потому Игнат вынужден был попросить его не давать волю языку.

Это было в тот день, когда Верка Рымариха принесла заявление с просьбой отпустить ее из колхоза. Она пришла вместе с Прасковьей Носковой.

Гибель мужа Верка пережила с виду спокойно. Никто не видел, чтобы она плакала, никто не слышал ее жалоб. Впрочем, мало кому было известно о смерти Рымарева. Его увезли и похоронили неведомо где. Слухи о нем, самые разноречивые, постепенно угасли, так что к Верке никто из тайшихинцев особенно и не приглядывался, горе ее

осталось незамеченным. Но сдала Верка сильно. На полном широком лице залегли крупные морщины, глаза потускнели, она уже не была сильной и крепкой, как прежде.

— Куда же ты собралась уходить, Вера Лаврентьевна? — спросил Игнат, подвигая к Белозерову ее заявление.

— Да хоть уборщицей в магазин... Обносились мы с Васькой. Надеть совсем нечего. Мне-то ладно, не невеста, сын большой стал. Штаны, рубашки нужны.

— А кто у нас работать будет? — Белозеров придавил заявление кулаком. — Ради лишних штанов бросать колхоз стыдно!

— Какие там лишние, было бы чем зад прикрыть... — не глянув на него, ответила Верка. — Я, Игнат Назарыч, все время честно работала. Теперь мочи нету. Отпустите.

— Все до поры до времени честные. А прижало — в кусты. Скорей всего Стефан Иванович не думал намекать на что-то.

Но Верка его слова восприняла как напоминание о Рымареве, побледнела, дернула головой, тихо проговорила:

— Такая мне благодарность, что себя не жалела...

— Стыда у тебя нету! — сказала Белозерову Прасковья Носкова. — Она такие кули ворочала, какие тебе, лопни-тресни, от земли не поднять. А пайку получала одинаковую со всеми. По ее телу, по ее работе и две пайки мало. Верка лишнего не просила...

— А ты чего встряла? Ты какого черта лезешь не в свое дело? — зашумел Белозеров. — Где твой Гришка? Смотал удочки. На заработки подался.

— Подался, а то как? Детей и кормить, и одевать надо. А на какие шиши? Ты мне дашь? От вас дождешься! Раньше хоть от коровы да огородов кормились. Теперь что? Налогами даванули так, что сопли из носу брызнули!

— Мало даванули. Больше надо, чтобы с корнем выдрать проклятую частную собственность.

— Тебя бы, дурака, надо с корнем выдрать из конторы!

И началась самая настоящая ругань, а где ругань, там обида, где обида, там и безрассудность. Ушли из конторы Верка и Прасковья озлобленные, сказали, что обе с этого дня в колхозе работать не будут.

— Только попробуйте! — крикнул им вслед Белозеров. Вот тогда-то Игнат вынужден был сказать:

— Ты, пожалуйста, попридерживай язык.

— Как? — изумился Стефан Иванович. — Ты что же, их защищаешь?

— Не совсем. Я их понимаю... — Белозеров выкатил глаза:

— Понимаешь? Ты несознательность понимаешь? Так?

— Сознательность не гармошка: ее как хочешь не растянешь, что хочешь на ней не сыграешь. Вот ты тут бросил слово насчет частной собственности, то есть насчет коров и огородов. Не знаю, какими соображениями, руководились те, кто удвоил налоги, но по мне это, как ни поворачивай, вредное дело.

— Удивляюсь, Игнат Назарыч! Удивляюсь, и примениться никак не могу. То ты все понимаешь, то самых простых вещей уловить не можешь. Я все время к тебе приглядывался и многое из того, что ты делаешь, одобрял. Но сейчас... Ты со своим подходом только множишь разброд и шатание. Заведешь колхоз в трясины. Тебе не нравится, что налоги удвоили. А я бы их утроил! Я бы начисто вывел все огороды, всех коров. Без своего молока и картошки любой как миленький будет работать в колхозе. С голоду подохнуть не захочет!

— А сознательность? При чем тут она, Стефан Иванович? Это по-другому называется — принудителкой. Я не сторонник личных огородов. Но сейчас без них не обойдешься. Когда человек станет получать в колхозе все, что для жизни требуется, сам не захочет копаться на своих грядках. С этого конца и надо подходить.

— Гнилая у тебя теория, Игнат Назарыч! — с сожалением сказал Белозеров. — Однобоко на жизнь смотришь. Ты хорошо понимаешь Верку и Прасковью, но дальних наших целей понять не желаешь. Да, сейчас всем голодно, холодно, трудно, каждому передохнуть хочется. Но наш долг собрать в кулак все силы и, невзирая на трудности, двинуть дело далеко вперед. Распылять силы на огородик, когда их нигде не хватает, это же черт знает что! Есть и более страшная опасность. Подсобные хозяйства нас могут, утянуть назад, к тридцатым годам. Все придется начинать заново.

Игнат не торопился отвечать. Кто-то из них заблуждается, но вот что для него яснее ясного: к прошлому возврата нет, люди здорово изменились, сейчас их даже силой не возвратишь к старому, не заставишь отказаться от того, что добыто потом, кровью, душевными муками.

— Нет, Стефан Иваныч, заново начинать не придется. Война показала: мы выжили только потому, что плечом подпирали друг друга. Когда есть понятие об этом, никакие огородики ничего изменить не смогут. Отсюда нужно и смотреть на все другое.

— Твои рассуждения голые. Уходят же люди из колхоза! Пропади пропадом земля, зарастай поля полынью, они буду подметать магазины, сторожить конторы, это как?

— А работать задарма, впустую, это как?

Долго вели они разговор, трудный для обоих. И чем больше говорили, тем дальше расходились, тем явственнее чувствовалось возникшее между ними несогласие. Игнату было жаль, что у Белозерова пробудилось то, за что его недолюбливал и раньше, желание одним рывком добраться до цели неблизкой, труднодостижимой. Желание хорошее, что и говорить, но понятно же, ни рывком, ни заячьим скоком до нее не доберешься, выдохнешься на полдороге, и тот, кто шел ровным, выверенным шагом, уйдет далеко вперед.

Значит, первое и главное дело выверить свой шаг, тщательно учитывая силы и возможности. Эту его мысль Белозеров принял с холодком, он подходил к делу с другой стороны. Тех, кто сбегал из колхоза, Стефан Иванович, пользуясь властью председателя Совета, принуждал возвращаться; любой, даже самый незначительный случай неповиновения заставлял обсуждать на бригадных собраниях; снова, как и в довоенные годы, его можно было видеть всюду, поджарого, строгого, не улыбочивого, готового ежеминутно вспыхнуть от гнева; он грозил, стыдил, требовал, ругался и, надо отдать ему должное, почти всегда добивался своего.

Игнат тоже вынужден был без конца заниматься «беженцами». Говорил с ними честно, открыто, ничего не приукрашивая, спрашивал совета, как по-новому вести хозяйство, чтобы колхозник не оставался в накладе, вовлекал в споры о земле, семенах, сроках сева... И этим нередко затрагивал в душе человека извечную, неистребимую любовь к умной крестьянской расчетливости. Но стоило разговор повернуть к тому, что надо возвращаться в колхоз, и человек сникал, начинал туго и трудно раздумывать вслух о детях, которых надо кормить, одевать, учить, а колхоз... Иной все-таки не выдерживал.

— Ладно. Растревожил всю душу. Потерплю еще. Погляжу.

Другой же так и оставался со своими трудными думами.

Зато те, что возвращались, крепко влезали в работу. Вернулся и Григорий Носков, муж Прасковьи, и Верку удалось уговорить остаться.

Но Игнат все острее понимал, что таким путем мало чего достигнешь. Удержать людей даже не полдела, а маленькая частица дела. Люди восприняли конец войны вполне закономерно как конец своих мучений, каждодневному нечеловеческому

напряжению. А тут... Словно лезли на крутую гору с тяжелым грузом, из сил выбивались, падали от усталости, но карабкались, зная, что там, за перевалом ровная дорога, а добрались до вершины, за ней новый подъем, не легче, чем тот, что одолели, и неизвестно, будет ли за этой кручью та самая ровная и прямая дорога.

Это означало, что нужно не только выверить шаг, но и сделать так, чтобы каждый мог видеть сам, что его ждет впереди. Силой, уговорами, туманными соображениями, обещаниями людей не заставишь одолеть новую гору.

Игнат с головой влез в хозяйственные расчеты. Ему помогала Маня Акинфеева. Приземистая, пухленькая, с детскими ямочками на щеках, она была очень похожа на своего брата балагура и увальня Тараса. Пропал без вести Тарас...

Сидели в конторе с Маней ежедневно до поздней ночи, гоняли костяшки счетов, копались в конторских книгах и ведомостях. Игнату хотелось, чтобы колхозник точно знал, сколько он заработал вчера, сегодня, на что может рассчитывать завтра, а этого можно добиться, только когда трудодень будет не просто палочкой в ведомости, а твердооплачиваемой единицей. Раньше не больно заботились, сколько трудодней начислено в год тысяча, три, десять все равно. И получалось, трудодни сами собой, продукция само собой. Вот если установить по бригадам твердое количество трудодней на все виды работы.

— Но возможно ли это? — Спросил у Мани:

— Как ты считаешь можно?

— Думаю, можно, сказала она. Трудодни, как семена, например, бригадиру отпускаются по строгой норме.

Девушка быстро вникала в ход его рассуждений, радуя умением схватывать главное. И он думал, что новому поколению будет работать легче и проще, то, что им самим давалось и дается с большим трудом, нынешние парни и девушки примут как нечто само собой

разумеющееся, примут и пойдут дальше, к таким вершинам, на которые сейчас и взглянуть страшно.

После долгих расчетов вывели количество трудодней, необходимых для производства всех работ в течение года.

— Теперь, Маня, доходы, какие запланировали на будущий год, раздели на трудодни.

Пощелкав костяшками счетов, Маня написала на листке бумаги: «Трудодень 200 граммов хлеба и 1 р. 20 к. денег».

— Ловко! — Игнат подергал бороду. — Это, если я заработал два трудодня, то получу четыреста граммов хлеба и два сорок деньгами. Но два трудодня не каждый зарабатывает. Как жить, Маня? Два рубля пачка махорки, сорок копеек четыре коробки спичек, а хлеба не только мужику, но и ребенку не хватит. Так как же жить-то, Маня? Бросай к черту все эти расчеты!

Домой шел подавленный, голова болела от тяжелых, тупо давящих на виски мыслей. Помощи ждать неоткуда. Страна дымится от военных развалин, не государство крестьянину, а крестьянин государству должен помогать сейчас. Потом, конечно, будут новые тракторы и автомашины, но сейчас приходится рассчитывать только на свои силы. А сил нет, чтобы разом поднять хозяйство и дать людям хотя бы самое необходимое. Где же выход?

Думал об этом снова и снова. Опять заставил Маню щелкать костяшками счетов. На этот раз хотел узнать, что дает дохода больше пшеница, гречка, овес, просо, ячмень? Овца, свинья, корова?

Таких подсчетов раньше тоже не делали. Не до того было. Сколько и чего посеяли не важно, лишь бы земля не осталась холостой. Какая живность в колхозном дворе опять не важно, одна забота сохранить то, что есть.

Первые же, довольно грубые, приблизительные подсчеты обнадежили Игната. И когда все пересчитали еще и еще раз, да дважды, трижды выверили, он увидел то, что раньше ускользало от взгляда. Например, просо. Если эту культуру сеять по залежи или, лучше того, по целине, урожай выходит добрый, по доходности он тогда на первом месте среди зерновых стоит, а если сеять по зяби или весновспашке, она не оправдывает даже затрат. Пшеница другое дело. Она завсегда вывозит. Но ей пар нужен. Значит, весь пар, какой имеется, засеять пшеницей... Так, дальше... Огородину почти перестали садить. И

напрасно. Ранние огурцы, выращенные в парниках, идут на рынке по очень высокой цене. Площадь парников можно удвоить, даже утроить, навоз есть, рамы сделать недолго. И дать это дело в руки Луки Федоровича довеском к его саду. С животноводством тоже несуграица. Свињи не только не приносят дохода, но и убыточны. Хлеба жрут столько, что никакое сало его не окупает. Пустить их всех под нож... Вот гусяи неожиданность. Затраты на кило мяса совсем маленькие. Игнат даже не сразу поверил. А все оказывается просто. Гусят брали весной. Лето они кормились в озерах, только приглядывай за ними, к осени каждый четыре килограмма. Взять бы их не полсотни, а тысячу. Даст ли инкубаторная станция? Должна дать, если заранее сделать заявку. Второй вопрос. Весной, пока гусята маленькие, нужно теплое помещение. Строить сейчас сил нет, да и нужно ли? На лето освобождаются зимние кошары, если овец раньше перевести на летники, помещение можно занять полностью. Возле них тоже есть мелководное озеро, сырой луг — пастбище для гусей лучше не надо.

Заново пересчитали доходы. Вес трудодня сразу поднялся. Теперь можно было твердо обещать колхозникам на трудодень полкило хлеба и до пяти рублей денег. Не много. Но зато при любых условиях, если даже урожайность будет немногим ниже средней, они получают свои 500 граммов и пять рублей. А если урожай выдастся хорошим, то вес трудодня может удвоиться.

Но и это не все. Дальше. За высокие урожаи, надои молока, привесы нагульного стада можно установить дополнительную оплату. Скажем, надоила доярка десять центнеров молока сверх запланированного забирай центнер себе, получил овцевод сверх плана десять ягнят, одного бери себе. И колхоз будет не в обиде и умный труд человека вознагражден.

Рассказал Белозерову о своих поисках и наметках. Стефан Иванович одобрительно кивнул головой, коротко одобрил:

— Хорошо. Встал со стула, прошел по кабинету, у дверей остановился, спрятал руки за спину, от чего вылинявшая гимнастерка туго обтянула узкую грудь, постоял так, снова повторил: — Хорошо. Но не все. Огурцами на базаре торговать, ну и выдумал! А премии, это что? Поощрение рвачества, ставки на инстинкт собственника.

Игнат промолчал. Пусть себе толкует про всякие там инстинкты, главное, чтобы не мешал.

На основе своих наметок вместе с бригадирами, членами правления, агрономом МТС стали составлять план.

По вечерам в контору набивалось много народу. Прослышав, что правление маракует, как улучшить жизнь колхозника, накормить хлебом его детей, приходили мужики, старики, ввязывались в разговоры, судили-рядили и так и этак, где толково, где и бестолково, каждый старался ввернуть что-нибудь свое. Суетливый Викул Абрамыч однажды внес предложение сколотить из стариков бригаду бондарей, делать бочки и торговать ими.

— Деньги зашибем мешок!

Узенькая бороденка Викула Абрамыча торчала воинственно, незоркие стариковские глаза спрашивали: ну, как, здорово придумал, а?

Стефан Белозеров многозначительно глянул на Игната, сказал сквозь зубы:

— Еще бы известь выжигать да деготь гнать на продажу.

— И это можно! — радостно подхватил Викул Абрамыч.

— Не сепети! — одернул его Лифер Иваныч. — Мы, поди, хлеборобы. Нам ли в побочном промысле долю искать?

— Точно! — Лучка Богомазов усмешливо взглянул на Викула Абрамыча. — Не задирай голову на деревья, из которых клепку делают, под ноги гляди, на землю.

Теперь Игнат посмотрел на Стефана Ивановича, улыбнулся в бороду. Только перед этим они с ним снова довольно крупно поговорили. Белозеров настаивал, чтобы из плана было исключено выращивание огурцов, предназначенных для продажи на рынке, и всякая дополнительная оплата. Игнат с ним решительно не согласился, и Белозеров сказал с досадой, что он все больше скатывается на позиции, противоположные тем, на которых должен твердо стоять коммунист. Совет людей не идеей, не верой в жизненные силы социализма, а приманивает заработком. Если так дальше пойдет, колхозники вместо хлеборобства займутся всем чем угодно: будут орехи добывать, грибами торговать, известь выжигать, поскольку выгода от такой добычи вот она.

А сегодня сами колхозники показали ему, что не очень-то кинутся промышлять то да се, каждый из них пуповиной связан с землей, оторвать ее можно только с болью и кровью. Совсем нелегко было покинуть родные поля тем, кто подался на заработки: где бы они ни

работали, сколько бы ни получали, как бы справно ни жили, эти поля, политые потом дедов и прадедов, истоптанные босыми ногами детства, станут звать их к себе, будут сниться в тревожных снах.

Игната радовало еще и то, что само составление плана словно бы опахнуло всех бодрящим ветром; люди воочию увидели, что могут сделать при дружной, слаженной работе, и теперь им любая кручь не страшна.

План составили, рассмотрели еще раз на правлении и отправили в район. Игната и Белозерова вызвали в райком.

Петров, грузный, тяжелый, угрюмый, перебирал мягкими пальцами листы плана, исчерканные цветными карандашами, медленно говорил:

— Вы предлагаете гарантированную оплату трудодня. Постановка вопроса новая, необычная...

— И довольно смелая, — добавил Евграфов.

Второй секретарь по своему обыкновению сидел чуть в стороне, у окна, положив ногу на ногу.

— Смелость не самое важное, — ответил Петров. — Мы еще не советовались с областным руководством, но предполагаем, что ваш почин будет поддержан. Не исключено, что его распространят на все колхозы республики.

Игната такое начало радовало, но вместе с тем и возрастало чувство настороженности, не верилось, что задуманное будет принято вот так просто. И не только принято, но и другим в пример поставлено. Стало быть, здесь хорошо поняли, что время требует иного подхода к хозяйству.

— Ваш колхоз, как инициатор, окажется в центре внимания руководства, общественности, — не торопясь, говорил Петров. — К вам станут приезжать делегации за опытом, о вас будут писать газеты. Следовательно, все должно быть на высоте. Так? Он поочередно посмотрел на всех.

В ответ Белозеров кивнул головой, Евграфов плотнее сжал губы. Взгляд карих глаз Федора Григорьевича стал какой-то тусклый, невеселый. Игнат почувствовал его скрытое несогласие с тем, что говорил Петров, и настороженность переросла в тревогу.

— А на высоте ли у вас дела? Далеко нет. Многие вопросы, к сожалению, решаются безответственно. Я смотрел ваш план и

недоумевал. Впечатление такое, что вы составили его в нетрезвом состоянии.

«Вот оно, началось», — подумал Игнат.

— Куда глядит партийный руководитель? Чем руководствуется председатель, на чем основывает план?

— Мы на соображениях пользы план основали, — сказал Игнат. — Каждую цифру чуть ли не на ладонях взвесили.

— Этого не видно! — Петров хлопнул по бумагам. — Где рыжик, новая для вас масляничная культура?

— Рыжик у них растет плохо, — сказал Евграфов, придвигаясь к столу.

— Этот рыжик чистый разоритель! — обрадовался поддержке Игнат. — В прошлом году с десяти гектар его десять центнеров сняли. Едва семена вернули.

— Вы пренебрегли передовой научной агротехникой, а виноват рыжик? Кто позволил вычеркнуть?

— У нас слишком мало сил, чтобы тратить их впустую, если даже это вами дозволяется. Неужели вам, товарищ Петров, не понятно, что десять гектаров, засеянные пшеницей, на худой конец сто центнеров хлеба. Мы их потеряли. По вашей милости.

Петров посмотрел на Игната озадаченно.

— Вот как поворачиваете. Кто вам запретил сеять пшеницу? Сейте сколько хотите, но и рыжик тоже. На это есть директивные указания!

— И на сахарную свеклу есть директива? — спросил Игнат.

— И на свеклу.

— И на просо?

— Да, и на просо, и на все остальное.

— Тогда народ придется кормить не хлебом, директивами, — вздохнул Игнат.

— Давайте говорить спокойнее и взвешивать факты, — сказал Евграфов. — А факты, товарищи, таковы, что они заставляют со всем вниманием прислушаться к мнению руководителей колхозов. Доказано, что ни рыжик, ни свекла не оправдывают себя

в местных условиях. Сеять то, что не растет — обманывать и себя, и страну.

— И что же вы предлагаете? — раздраженно спросил Петров. — Игнорировать указания вышестоящих органов?

— Не игнорировать, а добиться отмены, изменения. На то мы здесь и поставлены.

Петров, видимо, не желал спорить при посторонних с Евграфовым. Выразительно взглянул на него, зашелестел бумагами. Через минуту приподнял голову.

— Где у вас доходная отрасль животноводства — свиноводство?

— Зато гуси... — начал было Игнат.

— И зато огурцы! — насмешливо подхватил Петров. — Спекулировать на базаре собрались? Вы кто, советские колхозники или базарные торговцы? Товарищ Белозеров, вторично спрашиваю: вы-то куда смотрите? Можно подумать, что мы имеем дело не с коммунистами, проводниками политики партии на селе, а с безответственными анархистами.

Белозеров нервно дергал сукно скатерти, хмурился.

— У нас был разговор с Игнатом Назарычем...

— Разгово-ор! Слишком уж много мы разговариваем да уговариваем. Слишком много умничаем. Собрал листки плана, сунул их Белозерову. — Срочно переделайте. Мы вам не запрещаем разводить гусей и даже торговать огурцами. Но не за счет урезывания других отраслей хозяйства, не за счет сокращения других культур. Переделаете вернемся к вопросу о гарантированной оплате трудодня. Понятно?

— У них возможности крайне ограничены, — осторожно начал Евграфов, — все на пределе...

— Федор Григорьевич, вы полагаете, что я не знаю о их возможностях?

— Тем более...

— Потом изложите свое мнение. Все!

Игнат с неприязнью посмотрел на Петрова: одним махом тот перечеркнул все, что так трудно вынашивали, чем жили последнее время, с чем связывали надежды на возрождение хозяйства артели, на более сносную жизнь. Поднялся, угрюмо сказал:

— Интересно получается. Сначала вы спутаете человеку ноги, потом требуете, чтобы он плясал вприсядку. Не будет у нас трудодня с твердой оплатой, хлеба в закромах не будет, покуда колхозник шагу ступить не может без вашего решения-утверждения.

Петров побагровел.

— Вы даете отчет, что говорите?

— Он неправильно выразился, — бросился спасать положение Белозеров. — Он не то хотел сказать.

— Брось, Стефан Иванович, я сказал то самое... К этому еще хочу добавить вот что. Вы, товарищ Петров, давненько с дороги сбились, стороной топаете. Один хороший человек когда-то говорил мне, что время вас образумит. Он ошибся. Не за своим столом сидите.

— К счастью, не от вас зависит, кому сидеть за этим столом, — со злостью сказал Петров.

Из кабинета вышли с Евграфовым, Федор Григорьевич пригласил их к себе.

— Ну, Игнат Назарыч, и натворил же ты! — маленьким крепким кулаком он с досадой стукнул по столу. — И черт тебя дернул за язык. Это Петров тебе не простит.

— Мне и не нужно его прощение...

— План ты загубил, вот что, голова садовая. Можно было чуть подправить и пробить. А теперь дудки!

— Не мог я больше молчать, Федор Григорьевич. Здесь, в этом доме, человек крылья обретать должен. А вместо того...

— Не надо так обобщенно, — поморщился Евграфов. — Этот дом не собственность Петрова. И не для него мы все работаем, Игнат Назарыч. А вам, Стефан Иванович, мне кажется, надо бы более четко определить свою позицию.

В дверь заглянула секретарь-машинистка.

— Федор Григорьевич, вас товарищ Петров приглашает.

— Ну, начинается! — засмеялся Евграфов.

Через несколько дней Игната и Стефана Ивановича вызвали на бюро райкома партии. Когда собрались ехать, Белозеров сказал:

— Ты там больно-то не выпрягайся. Будут сильно допекать признай свои ошибки.

— Какие ошибки?

— У тебя их вроде как и не было!

— Не о них речь, Стефан Иванович. Сам понимаешь. Зачем же буду кривить душой? Не для того вступил в партию, чтобы лукавить.

На бюро в защиту Игната решительно встал Евграфов. Ему почти удалось убедить бюро, что оно, вольно или невольно, берет на себя неблагоприятную роль зажимщика инициативы, что такой подход к делу противоречит коренным принципам партии. Все испортил сам Игнат.

Своим неподатливым упрямством он распалил многих. Было принято предложение Петрова объявить ему строгий выговор «за попытку вывести деятельность правления колхоза из-под контроля партийных органов».

На этом Петров не успокоился. Сам приехал в Тайшиху, провел беседу с каждым членом партии в отдельности, и от обязанностей председателя колхоза освободили Игната без лишнего шума: председателем стал Стефан Иванович Белозеров.

А лето опять выдалось засушливым. Солнце выжгло травы на склонах, посерела степь, обмелела речка. Проезжая по полям, Игнат с грустью смотрел на посевы. Только на парах пшеница не очень поддавалась засухе, все остальное сворачивалось от жары, желтело, злополучный рыжик выгорел почти дотла, ему бы сейчас не помогли и проливные дожди. Еще ладно, что у Белозерова хватило ума разместить его не на лучших землях.

Стефан Иванович измотался на работе, почернел от забот, задубленная кожа на впалых щеках шелушилась, глаза смотрели устало. Все чаще приезжал он на полевой стан, где Игнат ремонтировал амбары, и возвращался к тому, давнему уже разговору, с которого началось их расхождение. Говорил мало, спросит что-нибудь, замолчит, сидит курит, задумчиво смотрит перед собой, потом резко встанет, взлетит в седло и умчится в поле. Однажды, стегая себя прутиком по голенищу ичига, сказал:

— Запутался я тогда, Игнат. Ты, конечно, тоже не во всем прав, но прав больше, чем я. Трудно мне. Боюсь сызнова напутать.

— Не напутаешь, если понял.

— Из армии пришел, тоже казалось, понял... Игнат, если меня будет заносить, остерегай. Ты знаешь мой характер. Теперь, правда, сам себя научился усекать... Раньше к тебе разве пришел бы с таким разговором ни в жизнь! Хотя тогда это и больше требовалось... Не знаю... Но чувствую, что-то иное нужно от меня людям.

В другой раз приехал на рессорке, коротко сказал:

— Поехали.

— Куда?

— В район. На пленум.

— Чего я там позабыл?

— Ты же из состава райкома не выведен пока.

— Ладно, поедем, — вздохнул Игнат. — И что за нужда пришла в такое время заседать?

— Ход подготовки к хлебоуборке будет обсуждаться. Но не это главное. После того бюро, где тебе шею намылили, трещина между Петровым и Евграфовым, до этого мало заметная, начала все больше расходиться. Всем видно стало одному из них уйти надо.

— Петров не уйдет.

— Я тоже так думаю. Посмотрим, как оно все получится. Пленум проходил в зале Дома культуры. Игнат притулился

у открытого окна, изнемогая от духоты. Полуденное солнце палило землю. Невидимая пыль висела в горячем воздухе; на земле в тени от домов сидели, растопорщив крылья, изнуренные зноем куры; полегла у заборов трава; вязкая, тягучая стояла тишина. А из-за сопки медленно выкатывались белые, с густой синевой в глубине облака. Чувствовалось приближение грозы.

С первым вопросом покончили быстро. Люди, одуревшие от жары, плохо слушали, неохотно и мало говорили.

— На очереди организационный вопрос, — Петров вытер мокрым носовым платком лысину, распаренное лицо. — В связи с переходом товарища Евграфова на другую работу, директором МТС, есть предложение освободить его от обязанностей секретаря райкома.

По залу будто пробежал свежий ветерок, все зашевелились. Кто-то спросил:

— Сам уходит или как?

— Сам, товарищи, — успокоительно произнес Петров.

«Вот как ловко, как пристойно!» — с горьким удивлением подумал Игнат, отыскивая глазами Федора Григорьевича. Он и тут ухитрился сесть чуть в стороне от стола президиума.

— Есть другие предложения? — спросил Петров. Евграфов поднялся.

— Можно мне? — И, не дожидаясь разрешения, легким твердым шагом подошел к трибуне. — Товарищи, я ухожу сам. Это верно. Но я хотел бы здесь сказать о причинах, которые заставили меня принять такое решение. С товарищем Петровым было трудно работать всегда, а в последнее время стало и вовсе невозможно. Мне чужды его методы работы, бюрократические в своей основе, его склонность к произвольным решениям, порой не только не отражающим жизни, но и

противоречащим ее развитию. Я уже не говорю о том, что внимательность к людям у него заменяет нетерпимость, товарищескую требовательность, грубость. Все мои попытки открыть ему глаза на самого себя оказались тщетными. И я ухожу. Но я не имел права уйти отсюда молча. Я знаю, рано или поздно, вопрос о товарище Петрове встанет перед вами со всей остротой...

Тишина была такая, что стало слышно, как под потолком лениво жужжат мухи.

Петров тяжело поднялся.

— Еще есть желающие говорить?

В обычности его интонации таилась угроза. Белозеров дернулся, выкрикнул:

— А почему бы вам не высказаться самому?

— Отвечать на беспардонную клевету считаю ниже своего достоинства, — сказал Петров.

— Тогда разрешите мне! — Белозеров быстро пошел к трибуне, по скрипучим ступенькам взбежал на сцену, круто повернулся лицом к залу.

— Было время, когда я считал: большой и маленький руководитель во всем должен быть похож на товарища Петрова. Как товарищ Петров, он должен идти впереди людей, подталкивать тех, кто отстает, одергивать тех, кто уклоняется в сторону или норовит подставить ножку другим. Я старался делать, как он. Но сейчас вижу, большой или маленький руководитель должен идти не впереди, не сбочь народа, а вместе с ним, жить его заботами, делить его печали, болеть его болями... Это много труднее, чем трясти перед носом перстом указующим, — Белозеров повернулся к столу президиума. — Вы, товарищ Петров, хорошо помните, как мурыжили Игната Родионова за его план. Может быть, не все в том плане было ладно, может быть, его следовало еще раз совместно продумать. А вы? С маху подрубили его основы, швырнули нам в лицо и, чтобы план как-то не возродился или не воплотился помимо вас, расправились с Родионовым. Жалею, что не сразу понял это и стал вашим невольным пособником. Теперь смотрю на пустые земли, политые потом, вытянувшие столько сил, и не могу понять, что руководило вами, когда вы внедряли заведомо негодные у нас культуры. Во всяком случае, вы не думали о пользе народной. Бездушная бумага, чья-то ошибочная установка вот что руководило

вами. А когда Евграфов предлагал добиться отмены этой установки, вы не захотели. Рискованно это. И трудно. Куда легче нажать на колхозы. И нажали. И угробили труд сотен людей. А что же дальше? Евграфов должен уйти, вы же останетесь. Снова будете жать, ломать, коверкать. Нет, не согласен я с этим, товарищ Петров! Белозеров быстро спустился со сцены.

Петров выслушал Белозерова спокойно, будто речь шла не о кем, только лицо стало серым и дряблым.

— Разговор считаю не по существу. Вопрос стоит не обо мне. Кто за то, чтобы освободить Евграфова от обязанностей секретаря райкома, прошу поднять руки.

Десять, пятнадцать рук поднялись, однако тут же многие опустили.

— Против? — сиплым безжизненным голосом сказал Петров. Руки дружно взлетели над головами.

— Что теперь будет? — тихо спросил Игнат Белозерова.

— Петрову теперь крышка!

Они вышли на улицу, сели в рессорку, покатали домой. Всю дорогу молчали. Тучи, таящие в черной глубине молнии, ползли над сопками. Вот-вот гроыхнет гром, придет в движение застойный воздух, исчезнет духота, и на иссушенную землю лягут первые капли долгожданной влаги...

Эпилог

Бежит речка, всплескиваясь на перекатах, омывая затравневшие берега.

Поплавок удочки засел в тине, но Корнюха не выводит его на глубину, воткнул удилице в землю, смотрит на розовые блики утренней зари, прильнувшие к воде, на клочья пены, проплывающие мимо, задумчиво шевелит бровями. Бежит время, как речка. Но течение речки можно остановить запрудой и даже вспять повернуть можно, жизнь другое дело. Ушли годы. Время высветлило виски, пропахало на лице глубокие борозды, остудило сердце, оно даже и болеть-то не может, только разбухает от тоски, заполняя всю грудь.

Солнце еще не взошло, и в Тайшихе тишина. Сегодня объявлен общий выходной. Сено скошено, сметано, а хлеб еще не подоспел, можно и передохнуть. Корнюха теперь тоже колхозник. МТС уже нет, технику передали в колхозы, ничего другого ему не оставалось. Шоферство он теперь бросил, тяжело стало водить машину, слесарит в мастерских. Работа, как и любая другая, не очень скучная, но и не больно веселая. В мастерских его считают лучшим слесарем, заведующий Василий Павлович Рымарев самую трудоемкую и самую срочную работу всегда ему дает. Знает, что он ночей спать не будет, а сделает. Однако молодому Рымареву невдомек, что не от избытка старательности днюет и ночует он в мастерских. Свой дом, запущенный, необихоженный, пустой, не зовет, не манит. Сын, как закончил десятилетку, так и оторвался...

Из-за сопок, пронзив облако веером острых лучей, показалось солнце. Розовые блики на воде сменились золотыми, заблестела, заискрилась росистая трава. В Тайшихе на разные голоса запели ворота и двери, щелкнул бич пастуха, затрещал мотоцикл. Корнюха лег, подставив лицо лучам солнца. Земля была влажной, холодила тело сквозь рубаху. Журчала под берегом вода, всплескиваясь, играла в омуте рыбешка, в кустах тальника цвикала пичуга. Хорошо... и оттого, что вокруг хорошо, еще больше тоскливо. В деревне сейчас пьют чай, в раскрытые окна бьет солнце, заставляя жмурить глаза. В домах пахнет блинами, топленным молоком и жаром истопленных печей; колхозники,

непривычные к праздничным дням, немного вроде как потерянные и глупо-счастливые; чай будут пить долго, с пересудами, с разговорами, потом бабы станут убираться в избах, мужики подметать дворы, поправлять заборы, работать будут вразвалочку, не по необходимости, а так, для души. Вот он никогда не умел работать с прохладцей, уж если брался до поту, до ломоты в костях. Недавно вдруг все бросил, продал всю скотину, куриц и то не оставил. Ни к чему не лежит душа...

Пока сын требовал забот о себе, все вроде бы шло ладно. Правда, уже и тогда временами ржавым гвоздем в душу тоска входила, но гнал ее от себя работой; гордился, что может, в силах дать сыну все, чего он захочет, что в Тайшихе его дом, не в пример другим, отличается справностью.

Но вырос парень, выучился, самостоятельным стал, ничего уже от отца ему не нужно; былая ненависть к Устинье больше не подхлестывала Корнюху, незаметно зачахла, пропала без остатка: то, к чему он рвался всю жизнь, обдирая ногти, достаток, незаметно пришло в каждый дом Тайшихи. Он понял, что жизнь снова посмеялась над ним. В который раз! Иногда припоминал слова Игната о расстанях. Теперь, кажется, подошел к ним. Но куда поворачивать? И зачем, если за плечами груз лет? Спроси, что ему от жизни нужно, вряд ли сможет ответить.

Речка бесконечно бормотала что-то свое, скрипели в траве кузнечики, на другом берегу в кустах пела птица. Сегодняшний день ему годом покажется. Думал, рыбалка затянет, а кинул удочку и забыл про нее. Напиться, что ли? К вечеру протрезвеешь, опять надо закладывать, а завтра будет голова раскалываться. И все-таки лучше выпить...

Оставив удочку и банку с червями на берегу, Корнюха пошел в деревню. Недалеко от реки вдоль дороги тянулся высокий забор из досок и горбыля, за ним подымались тополя, их листва чуть заметно трепетала. Сад колхоза. Владение Лучки Богомазова. Забор круто повернул вправо, возле угла ворота и калитка, раскрытая настежь. За калиткой скрип-скрип, протез Лучки. Корнюха шагнул в калитку. Лучка шел навстречу из сада, нес в подоле рубахи яблоки.

— Разве тебе нет выходного? — спросил Корнюха.

— Есть, как же... Пришел посмотреть. Бери, — Лучка слегка встряхнул яблоки. — Грушовка московская. Осыпается, холера ее дери.

Еще кислая, но ничего, есть можно.

Корнюха взял яблоко, влажное, холодное, зажал в кулаке.

— Ты бывал у меня в саду?

— Был. Давно уже...

— Сейчас посмотри. Пойдем.

Лучка высыпал яблоки на траву, не дожидаясь согласия Корнюхи, повернулся и заскрипел протезом. Возле забора трава, затененная тополями, еще не обсохла, на ней висели крупные капли росы. За тополями просторно, широкими рядами росла облепиха. Колючие ветки, со всех сторон усаженные желтой ягодой, были похожи на кукурузные початки необыкновенной длины. А на некоторых кустах ни ягодки.

— Не каждый год родит? — спросил Корнюха.

— Мужское растение. Опылитель.

— Ты гляди-ка! — удивился Корнюха. — Мужик, значит. А то женщина?

— Вроде того...

Лучка вывел его на участок ранеток. Рослые деревья гнулись от тяжести плодов, переливались красками, от янтарной до ярко-вишневой. Он на ходу поправлял подпорки, бережно приподнимая ветки. За ранетками зеленые кусты малины, обсыпанные рубиновыми огоньками зрелых ягод.

— Ты ешь, не стесняйся, — радостно предлагал Лучка, сам тоже срывал ягоды, кидал в рот. — Нравится?

— Угу.

— С куста ягода куда вкуснее. А теперь пойдем глядеть смородину. У меня ее двадцать сортов.

Лучка ходил от куста к кусту, поднимал огрузневшие ветки, срывал ягоды и рассказывал, чем один сорт отличается от другого.

— Гляди, на ягодах голубоватый налет, словно дымкой затянуты. Это будет Приморский чемпион... Теперь посмотри на этот куст. Ягоды, видишь, совсем иные, крупные, блестящие, будто их нарочно кто начистил. Эту я из лесу привез. Вкус у нее очень уж хороший. Зимой откроешь банку с вареньем, по всей избе смородиновый запах.

Солнце поднялось уже высоко, начинало припекать. Над головой шумели пчелы. И солнце, и жужжание пчел утомляли, раздражали. Чем-то раздражал и Лучка. Вот о ком уж не скажешь, что время его

подточило. Все такой же, каким был десять и пятнадцать лет назад, только волосы на голове немного поредели, но и в них и в русой кудрявой бороде не видно ни сединок; двигается быстро, забывая о протезе, и лицо все время улыбочное, хоть бы тень какая на него набежала...

С участка смородины перешли на участок крыжовника, наконец добрались и до крупноплодных яблонь. Деревья росли чудно, не ввысь, а вширь, низко над землей распластывали мощные, густо облиственные ветки, из листвы выглядывали яблоки, иные крупные, величиной с кулак мужика, другие даже чуть меньше куриного яйца, на одних румянец, густой, сочный, как заря, на вторых кожица светло-зеленая, с просвечивающими сквозь нее белыми точками. Почти перед каждым деревом Лучка присаживался на корточки, рассказывал, когда оно высажено, чем переболело, сколько яблок дало в прошлом году. И как только не позабудет, не перепутает...

Корнюхе все менее интересным становился разговор, жалел уже, что зашел в сад. На черта ему нужен Лучка со своими яблоками, ягодой, со своей радостью. Повезло больше, чем другим, и пусть радуется. Уж ему-то некогда и не к чему жалеть о том,

что невозможно повернуть время вспять и жизнь свою переиначить. Еще когда выбрал свою стежку-дорожку, шел по ней не сворачивая, а и ругали его, и притесняли, и смеялись над ним... Но и он, Корнюха, со своей дороги не сворачивал, отчего же сейчас ни радости, ни покоя, ни тепла нет?

— А эту яблоньку мой Антошка привез и посадил. Это еще когда на первом курсе учился.

— Сейчас он где?

— На опытной плодово-ягодной станции работает.

— Пишет?..

— Само собой... Советуемся друг с другом. Он по научной части собаку съел, все книжные премудрости постиг, но и я тут кое-что поднакопил, — Лучка постучал себя по лбу корявыми пальцами. — Вот заложим новый сад, раза в три больше этого, перетяну Антона сюда, станем вместе с ним нашу землю пытаться-спрашивать, на что она способна.

— Пойду я, Лука Федорович...

— Не спеши. Я тебя сейчас свежим медом угощу. Куда тебе торопиться? Твой-то парень как живет?

— Живет, что ему... Пошел я.

Поспешно, будто боялся, что Лука остановит и снова что-нибудь спросит, Корнюха вышел из сада. А чего ушел? У Лучки, поди, и бутылка припасена, выпить бы с ним в холодке, поговорить о чем-нибудь, не о саде, тем более не о сыне. Расхвастался тоже... Советуется... Ну и советуйся на доброе здоровье. Его Назар тоже не хуже Антона. Инженер... Правда, по своей специальности работать не стал, зарплатишка не та, по торговой части пошел, миллионами ворочает. Живет, дай бог любому. Его не забывает... В месяц раз, в аккурат десятого числа приходят от него переводы. Ну, не пишет писем так что? О чем ему писать? Что жив-здоров и что все у него благополучно по переводам понять можно. Совета просить не будет, знает, что в торговле отец ни в зуб ногой, а всему другому, что жизни касается, давно научен, не шалопай, самостоятельный парень.

Из сада напрямую Корнюха пошел в магазин, купил бутылку «Московской». У ворот своего дома остановился, постоял, присел на лавочку. Совсем не хотелось заходить в духоту избы, сидеть одиноко за столом и дуть водку из давно не мытого стакана. Пойти к Игнату, что ли? Наверяд ли он дома. Начальство, как же... Не шибко большое, правда, бригадир всего лишь, а ведь начальство. В председателях не удержался... Белозеров на его месте, по всему видно, крепко утвердился. В большой чести у районного начальства. Игнат у него правая рука. Это надо же!.. Вот чего бы никак не подумал. И оба в работе по уши увязли. Белозеров понятно, задурей давнишний, а вот что Игнату надо, почему он не отобьется от упряжи этой, в толк взять невозможно. Вообще Игната за всю жизнь раскусить не мог то ли он слишком умный, то ли с придурью? Был моложе, в полной силе, сычом сидел на мельнице, а теперь, когда уже и годы не те, и здоровье не то, топчется на работе от зари до зари, мало того, выходных не знает. Сегодня наверняка уехал на полевой стан... К Максиму идти не очень хочется. Его недавно в партии восстановили, и он, как Лучка, весь сияет от радости. Тут уж и вовсе непонятно, с чего возрадовался...

Засунув бутылку в карман поглубже, чтобы горлышко не торчало, все-таки пошел к дому младшего брата.

Максим, Татьяна и Митька были во дворе, стояли возле мотоцикла с коляской.

— Куда собрались?

— Хотели в лес поехать за грибами, да вот ехало отказало, — ответил Максим.

Митька, голый по пояс, копался в моторе, его спина лоснилась от пота. Занятый своим делом, Корнюхе он едва кивнул.

— Толкнем еще раз, — Митька взялся за руль.

Максим уперся руками в люльку, Татьяна в заднее сиденье, мотоцикл покатился, оставляя на земле узорчатые змейки следов. Митька опустил сцепление, и цилиндры стали торопливо хлюпать, но мотор не заводился. Максим толкал, багровея от натуги, нелепо припадая на покалеченную ногу. Татьяна отстала, махнула рукой.

— Ну тебя, с твоим мотоциклом! Измаялась начисто. Митька начал оправдываться.

— Зажигание барахлит.

Отдышавшись, Максим усмешливо прищурился.

— Давно заметил, как нам с матерью ехать, так зажигание барахлит. А как подойдет время к ухажерке бежать, от одного толчка заводится. Лукавый у тебя мотоцикл, Митюха.

Митька был повыше отца, пошире в плечах, из-за загара, огрубившего кожу лица, казался старше своих лет. Максима можно было принять за его брата, особенно когда улыбался лицо разглаживалось, синие глаза блестели молодо, порой в них всплескивалось веселое озорство.

Корнюха держал руку в кармане, сжимая в ней бутылку, ладонь вспотела, противно скользила по стеклу. А Максим и Митька все стояли посередине двора, шутили, посмеивались, заходить в дом не спешили. Татьяна, разморенная жарой, сидела на ступеньках крыльца, смотрела на мужа и сына, тихо улыбалась. Она всегда такая, неприметная, тихая, на вид слабенькая, хрупкая, но такую бабу дай бог любому. Долгие годы ждала Максима, и никто о ней худого слова сказать не мог, все вынесла, вытерпела, ни на кого своего мужа не променяла. А что в нем такого, особенного, в Максиме? Чем он лучше его, Корнюхи? Отчего не стала ждать Устинья? Сказать об Усте, что она ветродуйка, никак нельзя. После того как разошлись, к ней многие присватывались,

никого в мужья не взяла, до сих пор живет одна, и не слышно, чтобы с кем-то крутила.

— Ну что, мать, пожалуй, обедать будем? — спросил Максим у Татьяны. — Пойдем, Корнюха, в избу.

Окна на солнечной стороне с утра не открывали, в доме свет был мягкий, сумрачно-прохладный, домотканые половики приглушали шаги, все здесь располагало к покою, отдыху, это было то самое, чего так недоставало Корнюхе. В его доме могло быть так же, даже лучше, если бы Устинья...

Тоска все копилась и копилась в сердце. Скорей бы уж выпить. Но Татьяна с Максимом сидят, беседуют. Разговор у них свой, семейный, его не касается. Выйти потихоньку, не сразу спохватятся, а спохватятся, не побегут догонять больно нужен!

Спросил, чтобы переменили разговор:

— Что делаешь-то, Максим? Не вижу тебя...

— Все там же, в кузнице. Кую подковы-гвозди...

— Повышение тебе будет? — В вопросе Корнюха запрятал насмешку. — Раз вернули красную книжечку, должно быть и повышение.

— А-а, — протянул Максим. — Верно подметил. И сам думал над этим. Наша кузница рядом с каланчой находится. Часы на ней уже давно не отбивают. Вот и надумал, буду утром, в обед и вечером звонить в колокол. Когда поднимусь на каланчу, выше меня в Тайшихе не найдется. Самое высокое место каланча.

— Не зубоскальничал бы ты, Максим, — угрюмо проговорил Корнюха.

Максим пожал плечами.

— Он не зубоскальничает, — сказал Митька, — Хорошо, когда звонит колокол. Не даст позабыть, что время идет.

— Много знаешь про время! — Корнюха поморщился. Племянник в бату выдался, тоже слова с подковыркой любит.

— О времени знаю не много, — охотно признался Митька. — Батя знает больше. Ему и бить в колокол, будить, кто задремал, подбадривать, кто устал...

Что говорил Митька дальше, Корнюха не слышал. Мимо окна, показалось ему, прошла Устинья. Невольно вздрогнул. Столько лет прошло, а встречаться с ней спокойно не научился. Она или нет? Она.

На ней было легкое платье, тапочки, надетые на босые ноги, волосы собраны на затылке в тугой узел.

— Чем занимаетесь? — спросила она.

— Бездельничаем, — сказала Татьяна.

— Пойдемте ко мне обедать. Петрушка приехал в отпуск с бабенкой своей.

— Надо будет поглядеть на его женку. Сходим, Максим? — Татьяна поднялась.

— Собирайтесь, а я к Игнату забегу.

— Его нету. Он вместе с Настей и Ксенькой в улус к Батохе уехал. Еще вечером. — Татьяна подняла крышку сундука, достала рубаху, брюки, кинула Максиму. — Переоденься. Митя, ты пойдешь с нами?

— Конечно. Петра я не видел больше года. И дело у меня к нему есть.

— Тогда тоже переодевайся. С этим мотоциклом вечно ходишь в мазуте.

Устинья села на лавку, стала ждать. Корнюха не сводил с нее взгляда. Почему-то вспомнилось, как жили с ней на заимке, ходили заготовливать лес, а потом купались...

— Ты чего меня разглядываешь так? — Устинья качнула головой, в ушах сумеречно блеснули полумесяцы сережек, старых, девичьих сережек.

Он промолчал. Надо было встать и идти. Теперь уж ничего не остается, как шагать домой. Придется-таки пить одному. Взвыл бы от тоски...

Наконец все трое, Максим, Митька, Татьяна принарядились, и Устинья поднялась.

— Может, с нами пойдешь? — неожиданно спросила она у Корнюхи.

Ему, наверное, следовало отказаться. Но он пошел, и чувство благодарности к Устинье мягко толкнуло сердце, поняла его душевную смуту. А может быть, просто так пригласила?

Петька, приемыш Устиньи, встретил их у ворот дома. Все такой же белобрысый, с лицом круглым, как подсолнух, приземистый, коротконогий, он пожал руки Татьяне, Максиму и Корнюхе, Митьку обнял, стукнул кулаком по спине, засмеялся, и простоватое лицо его стало вдруг красивым.

— Ну, показывай, — потребовал Митька.

— Кого? А-а... Пойдемте.

В доме у стола хлопотала полненькая, кареглазая девчушка с короткими завитыми волосами.

— Валя, — представил ее Петька. — Чудо мое.

Корнюха незаметно поставил на стол бутылку, вытер потную руку о штаны. Когда сели за стол и выпили по первой рюмке, не почувствовал горечи водки, она не ударила ему в голову водой прокатилась по горлу. С тоскливым недоумением слушал совсем неинтересные для него разговоры. Митька, размахивая вилкой с насаженным на нее кружком малосольного огурца, уговаривал Петра.

— Вашим деповским ребятам надо взять шефство над Тайшихой. Концерты будете здесь давать. Инструментуку подкинете механизаторам. Двинь это дело, Петро.

— Я человек маленький, Митюха, я просто слесарь.

— А я просто комбайнер. Но еще и комсомолец. И ты тоже. Вот и давай сблизать город с деревней, ты оттуда, я отсюда. Не может быть, чтобы ребята тебя не поддержали. Мы в долгу не останемся, вот увидишь.

Устинья хвасталась перед Татьяной какими-то кофточками, платками, подарками Петра и его жены. Валя уже перестала смущаться. Живая, бойкая, она почти не сидела за столом, что-то приносила, уносила, рассыпая по полу стук каблучков, и казалось, что всю жизнь прожила в этом доме.

Вспомнил Корнюха свою невестку. Она совсем другая. Нету в ней такой вот простоты и обходительности. И у сына Назара простоты нету. Сошлись, два сапога пара. Эх, сын, сын... Женился в прошлом году. На обороте извещения о переводе написал тогда, что скоро будет у него свадьба. Он все магазины в районе обегал, хотелось преподнести молодым хороший подарок. Нашел кровать с мягкой сеткой, всю изукрашенную блестящими шишечками вещь красивая и долговечная.

Погрузил на машину, поехал поздравить молодых. Назарка, увидев подарок, расхохотался. «Ты где ее, отец, выкопал?» Жена его, высокая, бледнолицая, потрогала пальцами с накрашенными ногтями шишечки, сказала: «На таких в прошлом веке спали. Спрячь ее, Назар, в кладовую, не то засмеют».

Пожить у молодых Корнюха собирался недельки две, но через три дня уехал. В своих сапожищах с железными подковами на каблуках, большой, неповоротливый, он боялся сделать по квартире лишний шаг, ему все казалось, что сын и невестка со страхом ждут: вот-вот что-нибудь опрокинет, поцарапает. Да так оно и было. Однажды он слышал, как невестка шептала Назару: «Скажи ему, пусть сапоги снимает у порога. Топают в них прямо по дорожкам». Сын ничего, правда, ему не сказал. Но когда, позабывшись, он поставил на полированный стол стакан с чаем, Назар молча убрал его и потом целый вечер зашлифовывал суконкой еле заметный кружок, отпечатавшийся на крышке. Уроки отца не прошли даром. Вещи сын беречь научился!

Уехал Корнюха и больше вряд ли когда поедет к сыну. И тот со своей чистюлей женой тоже вряд ли приедет в Тайшиху, разве что на его похороны.

— Ты что-то совсем ничего не ешь.

Устинья положила в его тарелку салат, подвинула ближе чашку со сметаной, стала разливать водку.

— Почему не спросишь про нашего сына? — сказал он. Ее рука с бутылкой замерла, опустилась на стол.

— Я все знаю...

— Нет, ты не все знаешь, Устюха.

Ему вдруг захотелось рассказать о своей тоске, о зависти к Лучке, к Максиму, к Игнату, к ней самой, о том, что он сам из-за себя потерял сначала ее, а сейчас и сына, что только она сможет унять его тоску и помочь сызнова встать на ноги, сызнова ощутить вкус жизни.

— Подожди, Корнюха...

Она стала наполнять рюмки. Он ждал, все больше укрепляясь в мысли, что ей надо рассказать обо всем. Ждал и смотрел в раскрытое окно на заросшее мягкой отавой гумно, на серо-зеленые сопки, на желтые полосы зреющего хлеба, на жарко сверкающую ленточку речки. Кончалось лето, приближалась пора жатвы. А кто что сеял, то и жнет...

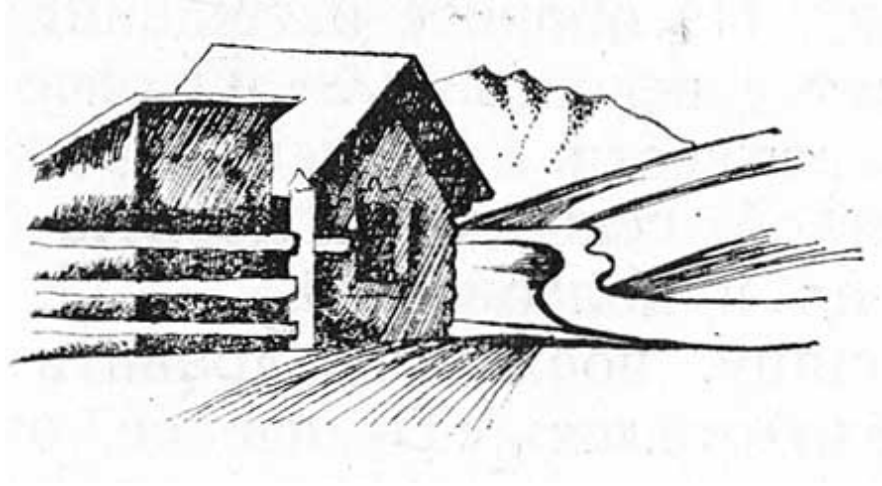


Table of Contents

Исай Калашников Разрыв-трава

ВМЕСТО ПРОЛОГА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Эпилог

